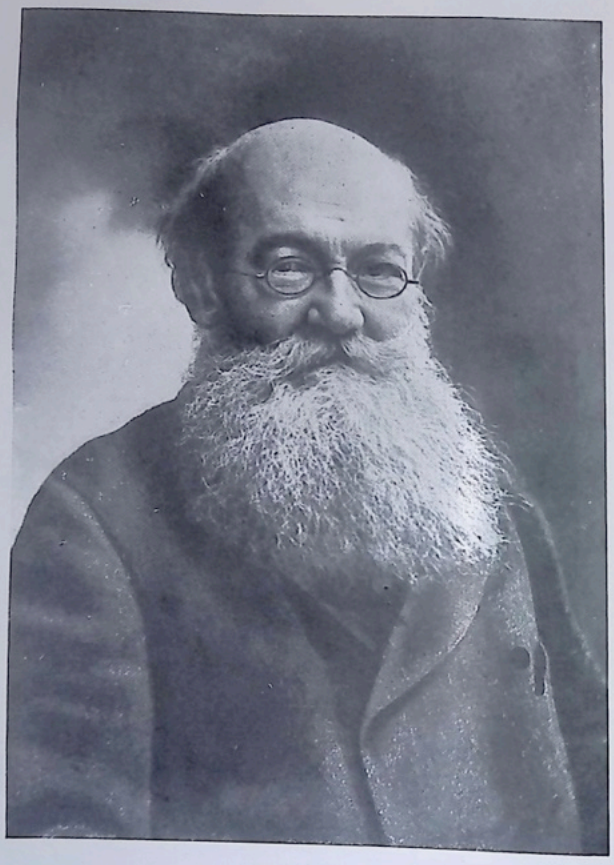
ACADEMIA



П. А. КРОПОТКИН
(1906)

РУССКИЕ МЕМУАРЫ
ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА и МАТЕРИАЛЫ
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
В. И. НЕВСКОГО

П. А. КРОПОТКИН

1842–1921

ACADEMIA
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

П. А. КРОПОТКИН

ЗАПИСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

ПОДГОТОВКА ТЕКСТА К ПЕЧАТИ
И ПРИМЕЧАНИЯ
Н. К. ЛЕБЕДЕВА
ПРЕДИСЛОВИЕ
П. П. ПАРАДИЗОВА

ACADEMIA
1933

KATVIJAS PSR ZINĀTŅU AKADEMIJA
BIBLIOTĒKA • FUNDAMENTĀLĀ • VALOITĒJA
1524

Орнаментация книги и суперобложка гравюры на дереве Л. С. Хижинского, титула и переплет по рисункам его же

KATALOGS
1964.
Z. A. B.
inv. № 81173.
1997

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Нельзя вообразить ничего столь странного и мало вероятного, — говорит Декарт в «Рассуждении о методе», — что не было бы высказано кем-либо из философов». Перефразируя это изречение, можно бы сказать: литература об анархизме столь обширна, все возможные точки зрения выражены с такой предельной резкостью, что сказать об этом вымирающем течении социальной мысли что-нибудь в принципе новое — невозможно. Ничего нового автор нижеследующих строк и не намеревается говорить. И все же краткое предисловие не лишне для тех читателей «Записок революционера», которые не знакомы с учением анархистов и критикой этого учения в произведениях классиков революционного марксизма.

«Записки революционера» — выдающееся произведение мировой мемуарной литературы. Доказывать это было бы совершенно излишним: они переведены почти на все языки мира. В России и некоторых странах Западной Европы они выдержали по несколько изданий. Бесспорно точно так же и то, что П. А. Кропоткин — одна из крупных и оригинальных фигур международного революционного движения последней четверти XIX столетия.

«Записки» — зеркало эпохи, в них освещаемой, но зеркало кривое, анархистское. Именно в этот тон окрашены все воспоминания Кропоткина. Он чувствуется в отдельных отступлениях, даже в первой части «Записок», где автор повествует о временах своего детства и юности; он резко характерен для второй части книги. Словом, «Записки революционера» — произведение глубоко тенденциозное. Это нисколько не снижает их интереса, наоборот, в мемуарах это скорее — достоинство. Но читатель ни на минуту не должен забывать, что перед ним не легендарный летописец, бесстрастно — «добру и злу внимая равнодушно» — свидетельствующий факт прошлого, а выдающийся теоретик так называемого анархического коммунизма, которому мир рисуется в специфическом антимарксистском свете.

Кропоткин со всей его философией анархического коммунизма — продукт социально-экономического развития России и Европы во второй половине истекшего столетия. Анархизм — одно из следствий промышленной революции. При этом, если учение Маркса должно было стать и стало боевым теоретическим знаменем могильщика буржуазии — пролетариата, уже сложившегося в класс, анархизм — во всех тех его течениях, которые пользовались хоть каким-нибудь влиянием в массах — был, в конечном счете, идеологическим выражением протеста мелкобур-

жуазных и полупролетарских элементов города и деревни, брошенных в столкновение с быстро развивающейся капиталистической индустрией, обрекаемых ходом промышленной революции на разорение. Этим элементам свойственна крайняя неустойчивость, неспособность к длительной и организованной борьбе, максимализм и анархизм. От крайней революционности они склонны быстро переходить к унынию, апатии и покорности.

В России, как подчеркивали еще Маркс и Энгельс, в виду ее отсталости, в виду наличия в ней десятков миллионов крестьян, обрекаемых капитализмом на разорение, промышленная революция должна была иметь гораздо более насильственный характер и сопровождаться несравненно бо́льшими страданиями масс, чем в странах Запада. И не случайно, что именно Россия дала двух крупнейших представителей анархизма — Бакунина и Кропоткина.

Существует известная зависимость между уровнем общего развития капитализма и крупнопромышленного пролетариата, степенью его классовой организованности в той или иной стране и степенью влияния немарксистских, в частности анархистских идей в массах пролетариата. В этом, как указывал еще Маркс, ключ к пониманию того успеха, которым анархистская пропаганда в семидесятых годах пользовалась в России и латинских странах Западной Европы. Пролетариат формировался и в этих странах, но в ту эпоху он был еще тесно связан с деревней, ее иллюзиями; еще не сознавала себя в качестве о с о б о г о класса.

Излюбленное анархистами вульгарное противопоставление «антиавторитарного» духа «работников» латинских и славянских стран «государственному духу» германского пролетариата если и имеет какой-нибудь смы́сл, так только один: под этой полумистической формулой кроется реальный исторический факт — резкое столкновение в I Интернационале Маркса и Энгельса, боровшихся за создание подлинно пролетарского движения, с идеологами революционной мелкой буржуазии, вождями так называемого Аллианса — Бакуниным, Гильомом и другими.

Современный анархизм зародился накануне революции 1848 года. Его основоположником был Прудон, которого Маркс характеризовал как типичнейшего философа и экономиста мелкой буржуазии. Достигнув в семидесятые годы довольно пышного расцвета, анархизм к концу прошлого века уже явно шел к упадку. В основе этого упадка лежало развитие массового рабочего движения под идейной гегемонией марксизма. Тонкий и умный наблюдатель, Кропоткин, при всем его доктринерстве, не мог не замечать упадка анархизма. По временам в его писаниях проскальзывают глубоко пессимистические замечания о будущности его собственного учения. Это чувствуется и в публикуемых «Записках».

«Как ни тяжело было бы в мои годы, да еще семейному, тронуться в Россию и окунуться там в революционную агитацию нелегального, скрывающегося агитатора, но и теперь, * — пишет Кропоткин, — если бы я почувствовал необходимость моего там присутствия, нужду во мне, — я пошел бы в львиную пасть... Но никому-то я не нужен в России, и если бы я попал теперь в Россию, то был бы в положении человека, мешающего делать что-нибудь тем, кто что-нибудь делает, вселяя в них

* Писано в 1899—1900 году.

сомнения, а между тем не чувствуя вокруг себя людей, которые в силах были бы сделать что-нибудь лучше». *

Кропоткин пережил расцвет, упадок и вырождение анархистского движения. Он был современником махновщины, в которой анархизм окончательно скомпрометировал себя, выродившись в контрреволюционную смесь карикатурного кулацкого бонапартизма и сатиры на анархистские утопии.

Анархизм в XX столетии — это анахронизм. В качестве течения внутри рабочего движения, а не чисто интеллигентской литературной секты, он существовал только как уродливая и бесплодная реакция на оппортунизм и предательство рабочего движения руководящими верхами партий II Интернационала. Одна уродливость порождала другую и обе взаимно пополняли друг друга. **

Анархизм проявил некоторые признаки оживления в период мировой войны и в годы, непосредственно за ней последовавшие, в связи с катастрофически резким падением жизненного уровня народных масс и временным распадом, благодаря предательству II Интернационала, классовых организаций пролетариата. Основание Коммунистического Интернационала было началом конца и реформизма и анархизма. В наши дни «далекий от какого бы то ни было массового движения в важнейших центрах пролетарской борьбы, анархизм все более превращается в секту, всей своей тактикой и всеми своими выступлениями, в том числе выступлениями против диктатуры рабочего класса в СССР, объективно включающую себя в единый фронт антиреволюционных сил». ***

Отрицая необходимость широких централизованных и дисциплинированных организаций пролетариата, анархизм тем самым оставляет его бессильным перед лицом могущественных организаций капитала. «Отрицая диктатуру пролетариата во имя абстрактной «свободы», анархизм лишает пролетариат важнейшего и самого острого орудия против буржуазии, ее армий, всех ее репрессивных органов». ****

Рассматриваемый с чисто теоретической стороны, анархизм — учение насквозь эклектическое и глубоко противоречивое. Он — продукт соединения насквозь буржуазных (Штирнер) и мелкобуржуазных (Прудон) индивидуалистических теорий с утопическим социализмом Фурье. Кое-что, плохо переварив, анархизм заимствовал и от Маркса. В теоретическом оформлении того течения анархизма, к которому принадлежал Кропоткин, наибольшую роль сыграли он сам и Бакунин.

Здесь не место входить в детальный критический разбор «анархического коммунизма», претендующего на звание целой и целостной философии природы и общества, построенной «на солидном фундаменте индукции». ***** Блестящий анализ и критика мелкобуржуазной сущности и полнейшей научной несостоятельности этого учения даны в произведениях Маркса, Энгельса и Ленина. Однако в связи с «Записками» Кропоткина на двух-трех моментах необходимо остановиться и здесь.

* См. наст. изд., стр. 247.
** См. Ленин, т. XXV, стр. 180.
*** Программа Коммунистического Интернационала.
**** Там же.
***** См. наст. изд., стр 262.

К выводу о преходящем характере капитализма, о неизбежности социалистической революции, диктатуры пролетариата и коммунизма Маркс и Энгельс пришли на основании единственно научного, материалистического понимания истории. Научность, истинность их теории проверена и подтверждена не только массой теоретических исследований, но и всем ходом мировой истории за последние десятилетия. Кропоткин (анархизм вообще) отрицает исторический материализм. Он исходит из идеалистического понимания истории, из волюнтаризма.

«Во всех социальных вопросах главный фактор — хотят ли того-то люди... Скорость человеческой эволюции в данном направлении вполне зависит от интеграла единичных воль», — говорит Кропоткин. *

С этой точки зрения единственной необходимой предпосылкой социалистической революции — воля к ней достаточно большего числа людей. Логически развивая этот взгляд, следует притти к убеждению, что социалистическая революция была мыслима и в эпоху Людовика XVI и даже ранее, в эпоху средневековья, стоило только появиться тогда социалистическим проповедникам и сплотить народные массы в едином стремлении к новому устройству жизни. Высокий уровень развития производительных сил и сам продукт капиталистического развития — индустриальный пролетариат — не так уже необходимы для этой революции. И действительно, анархисты не видят в пролетариате единственного, до конца революционного, социалистического класса. Им он представляется только в качестве одной из наиболее страдающих разновидностей «работников», термин, объединяющий у анархистов и наемного рабочего крупной промышленности, и ремесленника, и мелкого крестьянина.

В своем отрицании капитализма анархисты исходят из этических мотивов. Они выносят смертный приговор капитализму за его «несправедливость» и нередко склонны апеллировать, в духе рационалистов XVIII века и утопистов первой половины XIX века, к разуму и естественному человеку.

Марксизм требует уничтожения классов. Анархисты говорят об уравнении классов.

Марксизм утверждает, что вся история со времени разложения родового строя есть история борьбы классов. Анархизм пытается дополнить это учением о «взаимопомощи». Прудон положил этому учению начало. Кропоткин пытался обосновать его в книге «Взаимная помощь, как фактор эволюции». В конце концов все подобные начинания имеют только один политический смысл: отыскать в буржуазном обществе элементы гармонии интересов. Прудон сознательно преследовал эту цель, Кропоткин названным произведением объективно оказывал помощь тем буржуазным писателям, которые во что бы то ни стало стремились опровергать Маркса.

Маркс подчеркивал все более ускоряющуюся концентрацию капитала и экспроприацию широких масс населения, и история доказала правоту Маркса. Кропоткин пытался критиковать этот тезис. **

Антитезы можно было бы продолжать до бесконечности. О Кропот-

* См. наст. изд., стр. 170. Разрядка моя. — *П. П.* Читая у Бакунина аналогичные рассуждения о революции, Маркс заметил: «Воля, а не экономические условия, является основой его социальной революции»

** «Записки революционера», т. II, изд. 1929 г., стр. 255.

кине как критике марксизма, в сущности, можно сказать, то же самое, что некогда было сказано Марксом о Прудоне: «человек, не понявший современного общества, еще меньше может понять то движение, которое стремится разрушить это общество, и литературное выражение этого революционного движения».

Для Кропоткина теория Маркса и Энгельса — такая же утопия, как и «Путешествие в Икарию» Кабэ.* До какой степени Кропоткин не понимал Маркса, можно судить уже по одному тому, что он, повидимому, искренно рассматривал «Капитал» только как «превосходный комментарий» на книгу Прудона «Собственность есть кража.** Гениальное произведение как комментарий к лишенному научного значения памфлету, Маркс в качестве комментатора Прудона! Для того чтобы говорить такие вещи, нужно было действительно слишком мало разбираться в политической экономии.

Итак, в теоретическом отношении анархизм несостоятелен. Практически он беспомощен. Пышные фразы о ниспровержении бога, капитала и государства в действительности — как только история требует от революционеров настоящего дела — нередко прикрывают самый пошлый оппортунизм и предательство. Таким предстал анархизм и в великой Октябрьской революции и в последней революции в Испании.

*

Перейдем теперь к самим «Запискам революционера». Несмотря на некоторую незавершенность, фрагментарность их, «Записки» несомненно имеют выдающееся историко-культурное значение. На протяжении своей жизни Кропоткин был свидетелем и участником многих исторических событий, сталкивался с представителями самых различных общественных слоев. Перед читателем «Записок» вереницей проходят обитатели Зимнего дворца и особняков на Старой Конюшенной, поселенцы дальневосточных колониальных окраин и крепостные подмосковных губерний, либералы и чайковцы, петербургские металлисты и ткачи, швейцарские и парижские ремесленники, лондонские докеры и фабианцы, крупные ученые и виднейшие деятели европейского революционного движения последней четверти прошлого века. Все это зарисовано человеком, умевшим наблюдать и обладавшим недюжинным литературным дарованием.

Мастерски обрисовано дворянство с его безграничным холопством перед троном и беспощадной эксплоатацией крепостных. Первая часть «Записок» охватывает тот период времени, в который старая, феодально-крепостная Россия переживала глубокий кризис, обостренный поражением в Крымской войне, крестьянскими волнениями и завершившийся «великой» реформой. В записках хорошо отразился упадок дворянства, его ненависть к революции и презрение, смешанное с завистью, к преуспевающему буржуа и бюрократии буржуазного происхождения. На глазах Кропоткина шел этот процесс медленного «оскудения» российского дворянства и быстрого обогащения «новых столпов общества».

В прошлое отходили времена безмятежного существования Старой Конюшенной. В этот дворянский квартал, оскорбляя чувства потомков Рюрика, втирался буржуа, и рядом с особняками, фронтоны которых

* См. наст. изд., стр. 170.
** Записки революционера, т. II, изд. 1929 г., стр. 254.

были украшены древними гербами, вырастали особняки вчера еще безвестных буржуа, разбогатевших на различных спекуляциях. Кропоткина не привлекали эти новые столпы общества, но и старый, помещичий мир отталкивал его своим интеллектуальным и нравственным убожеством.

Хорошо обрисован Петербург конца шестидесятых и семидесятых годов с характерным для этого периода падением идейности среди большинства так называемых «образованных людей», разменявших идеалы начала шестидесятых годов на доходные места в различных департаментах и капиталистических предприятиях, с господством торгашеского духа, с коррупцией и омерзительным развратом, захватившим «общество», двор и императорскую фамилию, с гнусностью и продажностью либеральной прессы, с крайней умеренностью даже левой журналистики.

В этой части «Записок» несколькими штрихами недурно набросан портрет «прогрессиста на ущербе». * Вглядитесь в лицо этой породы людей с их новым жизненным девизом: «довольствуйся, что жив; радуйся, что выжил». Ведь именно ее сущность, сгущая краски до сатиры, дал бессмертный Щедрин в образе Менандра Прелестнова. Главное — «не расплываться, — философствовал Менандр. — Например, ежели взялся писать о ссудо-сберегательных кассах — о них и пиши. Чтоб ни о социализме, ни об интернационалке.. Упаси бог». «Не расплываться!» — именно к этому и призывали Кропоткина «прогрессисты на ущербе», когда он пытался поднять в беседе с ними большие социальные вопросы.

Социализм и революцию прогрессисты решительно отвергали. В дни нечаевского процесса самый левый из органов либеральной журналистики — «Вестник Европы» — пел в унисон с литературной управой благочиния, катковским «Русским Вестником». Словом, «прогрессисты на ущербе — характернейшие представители того безгранично пошлого ручного либерализма, который в семидесятые годы еще не успел выйти из моды и который, в сущности, есть спутник реакции, и законный ее спутник. На такой либерализм был способен и сам тогдашний шеф жандармов П. А. Шувалов.

В то время как «общество», напуганное движением снизу и грозными окриками сверху, поворачивало направо, Кропоткин шел в обратном направлении. На Амур он уезжал исполненным самых радужных надежд на реформаторский курс правительства. Но уже вскоре радужные мечты поблекли. Поднявшаяся, в связи с польским восстанием, новая волна реакции докатилась и до берегов Тихого океана. Из Сибири Кропоткин вернулся уже сильно поколебленным в прежней уверенности быть полезным народным массам в качестве правительственного чиновника. Петербург 1867—1871 годов довершил разрушение либеральных иллюзий. К «обществу» Кропоткин стал проникаться презрением, торжествующая реакция вызывала в нем ненависть к самодержавию. Однако в этот период он еще не социалист и не революционер.

Решающую роль в его идейном развитии сыграла поездка за границу весной 1872 года. Из Швейцарии Кропоткин вернулся в Петербург уже бакунистом и вскоре же примкнул к чайковцам. В этом кружке он стоял на самом левом фланге. Л. Тихомиров, встречавший Кропоткина летом

* См. наст. изд., стр. 154—156.

1873 года, характеризует его как «революционера до мозга костей». Он, — говорит Тихомиров, — хотя и примкнул к чайковцам, но «был несравненно революционнее всех остальных членов кружка. *

Кропоткин в 1872—1874 годах — народник-бакунист, проповедующий немедленный бунт, наивно верящий, что в случае успеха из этого, главным образом крестьянского, бунта родится не буржуазная, а социалистическая Россия.

Отметим еще один крайне характерный момент. Кропоткин довольно продолжительное время вел пропаганду среди петербургских рабочих, как заводских, так и фабричных. К этим последним, «приносившим в город мирской дух русской деревни», его особенно влекло. Через ткачей Кропоткин сблизился и с артелями сезонных рабочих — каменщиков, плотников и т. п. Фабричные и строительные рабочие — вот та среда, в которой бакунистская пропаганда пользовалась успехом. Совершенно иначе обстояло дело с рабочими крупных металлических заводов. Они охотно слушали рассказы об Интернационале, жадно читали радикальную и социалистическую литературу, но вовсе не проявляли склонности к бунту в бакунистском стиле. Из этой заводской серии и вышли основатели замечательной рабочей организации конца семидесятых годов — так называемого «Северного союза русских рабочих».

Вторая часть записок — период эмиграции — интересна не менее, чем первая. Кропоткин окончательно формируется идеологически. Рядом с соратником Бакунина, небезызвестным Джемсом Гильомом, он становится идейным вождем анархического движения.

На этот период падает издание «Le Révolté», пропаганда анархизма на континенте и в Англии, Лионский процесс, трехлетнее заключение в Клевро и бесконечные преследования со стороны русского правительства, мстившего Кропоткину за его борьбу с самодержавием.

Выше отмечалось уже, что мировоззрение автора «Записок» особенно остро дает себя чувствовать во второй их части. И действительно: история борьбы марксистов с бакунистами изображается Кропоткиным в абсолютно ложном свете, в котором анархисты выступают как воплощение всех революционных добродетелей, а марксисты — как средоточие все пороков.

Кропоткин настойчиво пытается представить все марксистское движение нереволюционным и даже более того — враждебным революции. Следуя установленной уже Бакуниным традиции, он пытается взвалить на Маркса и Энгельса ответственность за все шаги германской социал-демократии того времени ** и таким путем изобразить их чуть ли не апологетами буржуазного парламентаризма. Но даже Кропоткин, при всем его доктринерстве и вражде к марксизму, в конце концов вынужден признать в Марксе революционера и коммуниста. Правда, рассматриваемое в свете той ненависти, которую питает к Марксу буржуазия всего мира, это признание не такой уж большой подвиг.

Воспоминания Кропоткина обрываются на девяностых годах. Около этого времени он почти отходит от практического участия в движении, попрежнему сохраняя свое положение теоретика анархизма.

В жизни Кропоткина этого позднейшего периода заслуживают быть

* «Воспоминания Льва Тихомирова», Гиз. 1927, стр. 77—78.
** Семидесятые-восьмидесятые годы.

отмеченными три момента, и все они характеризуют глубочайшее падение его, полную несостоятельность его учения перед лицом грозных исторических событий.

Кропоткин, на протяжении десятков лет звавший угнетенных и эксплоатируемых к разрушению государства и к всеобщему братству народов, во время мировой войны перешел на сторону империалистической буржуазии, став оборонцем антантовской ориентации. Субъективно эта измена может быть объяснена ненавистью к германскому «духу» и т. п. Сам Кропоткин, в письмах к некоторым деятелям анархизма, именно так и пытался объяснить свою позицию, ссылаясь на то, что, мол, еще Бакунин указывал на германскую военщину как на страшную опасность для дела социализма. Но как бы то ни было, объективно позиция Кропоткина была предательством по отношению к международному пролетариату. Только на гранитном основании революционного марксизма можно было устоять против гигантской волны шовинизма, высоко взметнувшейся в те годы. Кропоткин отрицал марксистское понимание истории, — история мстила за себя.

Второй момент — это выступление на знаменитом Государственном Совещании 15 августа 1917 года. Здесь Кропоткин призывал «весь русский народ раз навсегда порвать с циммервальдизмом» и продолжать войну до победного конца. В обстановке голода, локаутов, наглеющей реакции, подготавливающей контрреволюционный переворот, Кропоткин призывал всех к единству, к классовому миру, снискав аплодисменты корниловцев и «социалистов». Как мало в эти минуты был он похож на того Кропоткина, который на Лионском процессе бросил в лицо судьям гордую фразу: соглашение между классами — невозможно.

Логическим следствием анархизма было отрицательное отношение Кропоткина к установившейся в Октябрьские дни пролетарской диктатуре. Оставаясь анархистом, Кропоткин после Октября попал в трагическое положение. В качестве социалиста, хотя и не пролетарского, он не мог не видеть и не приветствовать огромных завоеваний трудящихся масс в революции. В качестве анархиста он должен был отрицать диктатуру пролетариата, то есть ту самую власть, которая одна только и могла гарантировать сохранение этих завоеваний. Известным компромиссным выходом из этого положения было полное устранение от политической деятельности. Этот выход подсказывался и физическим состоянием Кропоткина: он был уже стар и болен.

Нужно отдать справедливость Кропоткину: несмотря на свое отрицательное отношение к диктатуре пролетариата, он не колеблясь признал в Октябре великую революцию, подготовлявшуюся столетием коммунистической и социалистической пропаганды. Хотя и не без оговорок, он все же признал в партии Ленина подлинного вождя этой революции.

Восьмого февраля 1921 года, на 79 году жизни, Кропоткин умер. В его лице в могилу сошел выдающийся революционер, крупный европейский ученый и создатель одной из самых выдающихся книг XIX века, печатаемых нами «Записок».

П. Парадизов

ОТ РЕДАКТОРА

«Записки революционера» П. А. Кропоткина принадлежат к классическим произведениям не только русской, но и мировой литературы. Впервые они появились в печати на английском языке и были затем переведены на французский, русский, немецкий, итальянский, испанский, голландский, польский, шведский, норвежский, датский, болгарский, чешский, китайский, японский и еврейский языки.

Во Франции издание 1921 года помечено девятнадцатым, в Англии вышло шесть изданий, в Германии — семь, в Испании — три.

На русском языке, кроме первого заграничного издания, вышедшего в Лондоне в 1902 году, в России вышло семь полных изданий и два сокращенных.

Первые пять изданий, вышедших в России, представляют перевод с английского языка. В последние два издания (изд. «Недра» 1925 года и изд. «Каторга и Ссылка» 1929 года) были внесены некоторые дополнения из первоначальных рукописей, написанных П. А. по-русски.

После выхода этих изданий в архиве П. А., привезенном из Англии, оказались рукописи «Записок революционера» на русском языке.

Сверяя печатный текст прежних изданий с этими рукописями, я нашел, что в первоначальный печатный текст П. А. не включил много эпизодов своей жизни.

В виду этого для настоящего издания я решил использовать черновые русские рукописи «Записок революционера» и заменить переводный текст прежних изданий подлинным русским текстом самого П. А.

Таким образом настоящее издание представляет п е р в о е издание «Записок революционера» на русском языке, куда вошел, за очень немногими исключениями, почти весь текст «Записок революционера», написанных П. А. п о-р у с с к и, и впервые знакомит читателя с подлинным стилем автора.

Издание иллюстрировано снимками с рисунков П. А. Кропоткина, оригиналы которых находятся в Кропоткинском музее в Москве.

Это большей частью лишь наброски и эскизы карандашом, но они прибавляют лишний штрих к образу П. А. Кропоткина.

ЗАПИСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Многое из того, что рассказано в этой книге, не ново для русского читателя; а многое из того, что особенно могло бы заинтересовать русского, рассказано, может быть, слишком кратко. Но последние годы вымирания крепостного права, никогда не казавшегося так прочным, как в те годы, затем эпоха возрождения России в шестидесятых годах и, наконец, последовавшие затем «семидесятые годы», годы пробуждения общественной совести среди молодежи по отношению к забитому и обманутому русскому народу, — эти три десятилетия так знаменательны в русской жизни и так сильно наложили свой отпечаток на дальнейшую историю нашей родины, что иногда и мелкая подробность личной жизни или общественного настроения имеет свое значение. В некоторых случаях она лучше освещает эпоху, чем целые страницы рассуждений.

Притом же Россия живет быстро за последнее полстолетие. Крепостное право и крепостные нравы — с тех пор как пронеслись над нами шестидесятые годы и прошла полосою очистительная, беспощадная критика нигилизма — как будто отошли куда-то очень далеко, в бледную, туманную перспективу времен. Даже великое движение в народ забыто и представляется современной молодежи каким-то сказочным героическим периодом, который можно толковать так же своевольно, как и дела давно минувших лет, относясь к нему то с чуть не религиозным уважением, то с высокомерным презрением «охранителей порядка».

Между тем, как ни далеко отошло от нас в исторической перспективе крепостное право и его обычаи, как ни кажутся нам забыты крепостнически-государственные идеалы, вызвавшие кровавое усмирение восставшей Польши, наследие тех и других еще живо среди нас. Оно не умерло ни в актах правительства, ни даже в складе мысли передовых людей, до сих пор несущей на себе следы тисков крепостного государства. Задачи, поставленные России освобождением крестьян, но брошенные неразрешенными надвинувшеюся реакцией, стоят и поныне непочатые перед русской жизнью; а идеалы николаевщины по сию пору еще стремятся сызнова водвориться в России.

Громадный шаг, сделанный в начале шестидесятых годов уничтожением личного рабства крестьян и физического истязания «непривилегированных» на лобном месте, — этот шаг, которого все значение могут оценить только люди нашего поколения, забывается понемногу. Крепостной строй, разбитый в 1861 году, вернулся снова в русскую жизнь под покровом новых мундиров, но с теми же приемами, целями и задачами порабощения массы в пользу привилегированных и правящих. Идеал жандармского сосредоточенного сильного государства, который в 1863 году сплотил вокруг престола, против Польши, даже недовольные элементы русского общества — идеал централистов — опять ожил среди нас. Опять он увлекает тех,

кто считает себя призванным руководить судьбами России; опять стоит он на пути развития местной жизни и местной самостоятельности. И, наконец, рабство мысли и раболепие — в науке перед авторитетом, а в жизни перед мундиром, которое так возмущало лучших людей в конце пятидесятых годов и вызвало резкий протест Базарова — вновь оживает среди нас.

И теперь, как и тогда, несмотря на несомненное пробуждение самосознания среди крестьян и городских рабочих, — даже именно вследствие того, что веками угнетенный крестьянин поднимает голову и сам начинает утверждать свои доселе попранные права на волю, — снова является тот же самый вопрос перед всяким думающим молодым человеком из привилегированных классов, который мы себе ставили тридцать лет назад: — «Стану ли я пользоваться своим привилегированным положением и, рассматривая дело освобождения крестьян и рабочих как дело их класса, а не моего, — отнесусь ли я равнодушно к их усилиям? Или же, понимая, что прогресс в человечестве неразделен, что он возможен только тогда, когда он охватывает всех, и что нищета и угнетение одних ведут за собой нищету духа и рабство всех, — сочту ли я себя простой частицей большого целого и не понесу ли я в среду народа те знания, тот свет, ту веру в свободу и освобождение, которые позволили мне стать свободным и побудили стряхнуть с себя ярмо предрассудков и отказаться от наследия рабского прошлого?»

Если эта книга поможет кому-нибудь разрешить этот вопрос, она достигнет своей цели.

Еще два слова. Почему так случилось, что записки русского, преимущественно об русской жизни, пришлось переводить другому с английского языка, — требует нескольких слов объяснения.

Начал я писать эти записки, конечно, по-русски. Первая часть — «Детство» — была уже написана, когда я попал, осенью 1897 года, в Америку. В Америке я встретился с очень симпатичным человеком — Вальтером Пэджем, который был тогда издателем ежемесячного журнала «Atlantic Monthly». Он уговорил меня засесть за мои мемуары, кончить их и начать печатать их в его журнале. Я так и сделал, т. е. описал, опять-таки по-русски, но подробнее, чем здесь, мою юность. Затем для «Atlantic Monthly» я написал все это вновь, в сокращенной форме, по-английски; а потом, когда началось печатание, я успевал писать по-русски только часть того, что должно было войти в каждую книжку, и переходил к английскому тексту.

Когда зашла речь о напечатании группою русских товарищей за границей русского издания «Записок революционера», то возник вопрос — что печатать: русский ли текст, более подробный, особенно по русским делам, чем английский, или перевод с английского? Первое представляло, однако, значительные неудобства, так как, за отсутствием полного русского текста, пришлось бы заполнять значительные промежутки переводами с английского, что, конечно, нарушило бы цельность книги. А так как за русский перевод предложило мне взяться вполне компетентное лицо, то мы остановились на переводе с английского. Мне остается только душевно поблагодарить переводчика за его прекрасный перевод, сделанный им с такой любовью, что он вполне заменяет оригинал.

П. Кропоткин

Июль 1902

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Дом, в котором родился П. А. Кропоткин, в Москве

ДЕТСТВО

I

Москва — город медленного, исторического роста. Оттого различные ее части так хорошо сохранили до сих пор черты, наложенные на них ходом истории. Замоскворечье — с его широкими, сонными улицами и однообразными, серыми, невысокими домами, ворота которых накрепко заперты и днем и ночью — осталось поныне излюбленным местом купечества и твердыней суровых, деспотических, преданных форме старообрядцев. Кремль и теперь * еще является твердыней государства и церкви. Громадная площадь пред ним, застроенная тысячами лавок и лабазов, с незапамятных времен представляла настоящую торговую толчею и до сих пор является сердцем внутренней торговли обширной империи. На Тверской и Кузнецком Мосту издавна сосредоточены главные модные магазины, тогда как заселенные мастеровым людом Плющиха и Дорогомилово сохранили те самые черты, которыми отличалось их буйное население во времена московских царей. Каждая часть составляет сама по себе отдельный мирок, со своей собственной физиономией, и живет своей особой жизнью. Даже склады и мастерские, тяжело нагруженные вагоны и паровозы железных дорог, когда последние вторглись в древнюю столицу, и те сосредоточились отдельно, в особых центрах, на окраинах старого города.

И из всех московских частей, быть может, ни одна так не типична, как лабиринт чистых, спокойных и извилистых улиц и переулков, раскинувшийся за Кремлем, между Арбатом и Пречистенкой **, и известный под названием Старой Конюшенной.

Около пятидесяти лет назад *** тут жило и медленно вымирало старое московское дворянство, имена которого часто упоминаются в русской истории до Петра I. Эти имена исчезли мало-по-малу, уступив место именам новых людей, «разночинцев», призванных на службу основателем русской империи. Чувствуя, что его оттеснили при петербургском дворе, родовитое дворянство удалилось на покой либо в Старую Конюшенную, либо в свои живописные подмосковные. Оттуда оно глядело с некоторым презрением и с тайной завистью на пеструю толпу, занявшую высшие правительственные должности в новой столице на берегах Невы.

* Писано в 1897 году. *Прим. ред.*
** Ныне улица Кропоткина. *Прим. ред.*
*** Писано в 1897 году. *Прим. ред.*

В молодые годы большинство из них тоже пытало счастье на государственной, большею частью, военной службе; но в силу тех или других причин вскоре оставляло ее, не добравшись до высоких чинов. Наиболее счастливые (мой отец был в числе их) получали какую-нибудь покойную, почетную службу в родном городе; большинство же просто выходило в отставку. [Но в какой бы дальний угол России их ни забрасывала служба, родовитые дворяне все как-то ухитрялись доживать старые годы в собственном доме в Старой Конюшенной, вблизи той самой церкви, где их когда-то крестили и где отпевали их родителей. Церквей в этой части Москвы множество: все они со множеством главок, на которых непременно красуется полумесяц, попираемый крестом. Одни из этих церквей раскрашены в красный цвет, другие — в желтый, третьи — в белый или коричневый, и каждого тянуло именно к своей, желтой или зеленой, церкви. Старики любили говорить: «здесь меня крестили, здесь отпевали мою матушку. Пусть и меня будут здесь отпевать».]

Старые корни пускали новые побеги. Некоторые из них более или менее отличались в различных концах России; иные приобретали более роскошные, в новом стиле, дома в других частях Москвы или в Петербурге; но истинной представительницей рода считалась все та же ветвь, какое бы ни было ее положение в родственном древе, которая жила возле зеленой, желтой, розовой или коричневой церкви, ставшей дорогой по семейным событиям. К старомодному представителю рода относились с большим уважением, хотя, должен сознаться, не без некоторой примеси легкой иронии, даже те молодые представители рода, которые покинули свой город и сделали блестящую карьеру в гвардии или же при дворе: старик являлся для молодых олицетворением древности рода и его традиций.

В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой Москвы, все дома были очень похожи друг на друга. Большею частью они были деревянные, с ярко-зелеными железными крышами; у всех фасад с колоннами, все выкрашены по штукатурке в веселые цвета. Почти все дома строились в один этаж, с выходящими на улицу семью или девятью большими светлыми окнами. На улицу выходила «анфилада» парадных комнат. Зала, большая, пустая и холодная, в два-три окна на улицу и четыре во двор, с рядами стульев по стенкам, с лампами на высоких ножках и канделябрами по углам, с большим роялем у стены; танцы, парадные обеды и место игры в карты были ее назначением.

Затем гостиная тоже в три окна, с неизменным диваном и круглым столом в глубине и большим зеркалом над диваном. По бокам дивана — кресла, козетки, столики, а между окон — столики с узкими зеркалами во всю стену. Все это было сделано из орехового дерева и обито шелковой материей. Всегда вся мебель была покрыта чехлами. Впоследствии даже и в Старой Конюшенной стали появляться разные вычурные «трельяжи», стала допускаться фантазия в убранстве гостиных. Но в годы нашего детства фантазии считались недозволенными, и все гостиные были на один лад. За большою гостиною шла маленькая гостиная с цветным фонарем у потолка, с дамским письменным столом, на котором никто никогда не писал, но на котором зато было расставлено множество всяких фарфоровых безделушек. А за маленькой гостиной — уборная, угольная комната с громадным трюмо, перед которым дамы одевались, едучи на бал, и которое было видно всяким входившим в гостиную в глубине

«анфилады». Во всех домах было то же самое, единственным позволительным исключением допускалось иногда то, что «маленькая гостиная» и уборная комната соединялись вместе в одну комнату. За уборной, под прямым углом, помещалась спальня, а за спальней начинался ряд низеньких комнат: здесь были «девичьи», столовая и кабинет. Второй этаж допускался лишь в мезонине, выходившем на просторный двор, обстроенный многочисленными службами: кухнями, конюшнями, сараями, погребами и людскими. Во двор вели широкие ворота, и на медной доске над калиткой значилось обыкновенно: «Дом поручика или штабс-ротмистра и кавалера такого-то». Редко можно было встретить «генерал-майора» или соответственный гражданский чин. Но если на этих улицах стоял более нарядный дом, обнесенный золоченой решоткой с железными воротами, то на доске, наверное, уже значился «коммерции советник» или «почетный гражданин» такой-то. То был народ непрошенный, втершийся в квартал и поэтому не признаваемый соседями.

Лавки в эти улицы не допускались, за исключением разве мелочной или овощной лавочки, которая ютилась в деревянном домике, принадлежавшем приходской церкви. Зато на углу уже, наверное, стояла полицейская будка, у дверей которой днем показывался сам будочник, с алебардой в руках, чтобы этим безвредным оружием отдавать честь проходящим офицерам. С наступлением же сумерек он вновь забирался в свою темную будку, где занимался или починкой сапог, или же изготовлением какого-нибудь особенно забористого нюхательного табака, на который предъявлялся большой спрос со стороны пожилых слуг из соседних домов.

Жизнь текла тихо и спокойно, по крайней мере, на посторонний взгляд, в этом Сен-Жерменском предместье Москвы. Утром никого нельзя было встретить на улицах. В полдень появлялись дети, отправлявшиеся под надзором гувернеров-французов или нянек-немок на прогулку по занесенным снегом бульварам. Попозже можно было видеть барынь в парных санях с лакеем на запятках, а то в старомодных — громадных и просторных, на высоких, висячих рессорах — каретах, запряженных четверкой, с форейтором впереди и двумя лакеями на запятках. Вечером большинство домов было ярко освещено; а так как ставни не запирались, то прохожие могли любоваться играющими в карты или же танцующими. В те дни «идеи» еще не были в ходу; еще не пришла та пора, когда в каждом из этих домов началась борьба между «отцами и детьми», борьба, которая заканчивалась или семейной драмой, или ночным посещением жандармов. Пятьдесят лет назад никто не думал ни о чем подобном. Все было тихо и спокойно, по крайней мере, на поверхности.

В этой Старой Конюшенной родился я в 1842 году; здесь прошли первые пятнадцать лет моей жизни. Отец продал дом, в котором родился я и где умерла наша мать, и купил другой; потом продал и этот, и мы несколько зим прожили в наемных домах, покуда отец не нашел третий, по своему вкусу, в нескольких шагах от той самой церкви, в которой его крестили и отпевали его мать [1]. И все это было в Старой Конюшенной. Мы оставляли ее только, чтобы проводить лето в нашей деревне *.

* Дом, в котором родился П. А. Кропоткин (Кропоткинский пер., 26) занят теперь «Музеем Кропоткина». Второй дом, купленный отцом П. А., находится в М. Левшинском пер., д. № 4. В 1855 году отец П. А. купил новый дом в Малом Власьевском пер., д. № 8. Все эти дома сохранились до настоящего времени. *Прим. ред.*

II

Высокая, просторная угловая комната в нашем доме. В ней — белая постель, на которой лежит мать. Наши детские креслица и столики пододвинуты близко к кровати. Красиво накрытые столики уставлены конфетами и хорошенькими стеклянными баночками с желе, и в эту комнату нас, детей, ввели в необычное время, — таковы мои первые, смутные воспоминания. Наша мать умирала от чахотки. Ей было всего тридцать пять лет. Прежде чем покинуть нас навсегда, она пожелала видеть нас возле себя, ласкать нас, быть на мгновение счастливой нашими радостями; она придумала это маленькое угощение у своей постели, с которой уже не могла более подняться. Я припоминаю ее бледное, исхудалое лицо, ее большие, темно-карие глаза. Она глядит на нас и ласково, любовно приглашает нас есть, предлагает взобраться на постель, затем вдруг заливается слезами и начинает кашлять... Нас уводят.

Немного времени спустя, нас, детей, т. е. меня и брата Александра, перевели из большого дома в маленький флигель во дворе. Апрельское солнце заливает своими лучами комнатку, но немка-бонна, мадам Бурман, и няня Ульяна велят нам ложиться спать. Лица их мокры от слез. Они шьют нам черные рубашечки с широкими белыми оторочками. Нам не спится. Неизвестность пугает нас; мы прислушиваемся к сдержанному разговору нянек. Они говорят что-то такое о нашей матери, чего мы понять не можем. Мы вскакиваем, наконец, и спрашиваем: «Где мама? Где мама?» Обе женщины начинают плакать навзрыд, гладят наши кудрявые головки, зовут нас «бедными сиротами». Ульяна не может скрывать больше и говорит: «Ваша мама улетела туда, на небо, к ангелам».

— Как на небо? Почему? — Наше детское воображение напрасно старается ответить на эти вопросы.

Это было в апреле 1846 года. Мне было всего три с половиной года, а брату Саше еще не минуло пяти. Я не знаю, где были тогда старший брат Николай и сестра Елена; по всей вероятности, уже уехали учиться. Николаю шел двенадцатый год, а Лене — одиннадцатый. Они всегда держались вместе, и мы очень мало знали их. Таким образом, мы с Александром остались во флигеле на попечении мадам Бурман и Ульяны. Добрая старая немка, не имевшая ни своего угла, ни души родных, заменила нам мать. Она воспитала нас, как могла; от времени до времени она покупала нам простые игрушки, закармливала коврижками, которыми торговал заходивший иногда старый немец, по всей вероятности, такой же одинокий бобыль, как и она сама. Мы редко видали отца. Два следующих года прошли, не оставив никакого впечатления в моей памяти.

III

Отец мой очень гордился своим родом и с необыкновенной торжественностью указывал на пергамент, висевший на стене в кабинете. В пергаменте, украшенном нашим гербом (гербом Смоленского княжества), покрытом горностаевой мантией, увенчанной шапкой Мономаха, свидетельствовалось и скреплялось департаментом Герольдии, что род наш ведет начало от внука Ростислава Мстиславича Удалого и что наши предки были великими князьями смоленскими [2].

Петр Николаевич Кропоткин, дед П. А. Кропоткина

— Я за этот пергамент заплатил триста рублей, — говорил нам отец. Как большинство людей его поколения, он не был особенно силен в русской истории и ценил пергамент, главным образом, по стоимости его, а не по историческим воспоминаниям.

Наш род, действительно, очень древний, но, подобно большинству родов, ведущих свое происхождение от Рюрика, он был оттеснен, когда кончился удельный период и вступили на престол Романовы, начавшие объединять Россию. Но хотя род наш и ведется издалека, однако, ничем он не отличился в истории. Встретил я где-то у Соловьева в его «Истории», что некий Иван Кропоткин воеводствовал в Нарве и чуть ли не был бит батогами при Грозном. Другой Кропоткин ходил с Тушинским вором, т. е. с восставшей голытьбой, против московского боярства, за что, должно быть, род Кропоткиных и попал в опалу у Романовых и их бояр, так что при Алексее Михайловиче один из Кропоткиных упоминается только потому, что учинил какое-то «буйство на царском крыльце», где по утрам собирались всякие просители мест. В последнее время никто из Кропоткиных, повидимому, не питал особенной склонности к государственной службе: Мой прадед и дед сперва были военными, но вышли в отставку совсем молодыми и поспешили удалиться в свои родовые поместья. Нужно сказать, впрочем, что одно из этих поместий, Урусово [3], находящееся в Рязанской губернии и расположенное на холме, среди роскошных полей, прельстило бы хоть кого красотой тенистых лесов, бесконечными лугами и извилистой речкой. Мой дед вышел в отставку поручиком, удалился в Урусово, где занялся хозяйством и стал прикупать именья в соседних губерниях.

По всей вероятности, и наше поколение сделало бы то же самое, но наш дед женился на княжне Гагариной [4], принадлежавшей совсем к другому роду. Ее брат был известен как страстный любитель сцены [5]. Он завел свой собственный театр и, к ужасу всей родни, женился даже на крепостной, на великой артистке Семеновой [6], родоначальнице реальной драматической школы в России. Без сомнения, и по характеру Семенова была одна из наиболее привлекательных личностей театрального мира. К ужасу «всей Москвы» Семенова и после замужества продолжала появляться на сцене.

Я не знаю, обладала ли моя бабушка теми же артистическими и литературными вкусами, как ее брат. Я помню ее, когда она уже была разбита параличом и могла говорить только шопотом. Не подлежит, однако, сомнению, что следующее поколение нашей семьи проявило склонность к литературе. Брат отца, Дмитрий Петрович Кропоткин, уже пописывал стихи, и некоторые из его стихотворений даже вошли в смирдинское издание «Сто русских литераторов». Свои стихи дядя издал даже отдельной книжкой, — факт, о котором мой отец всегда стыдился даже упомянуть. Мои двоюродные братья, мой брат и я сам, в большей или меньшей степени, принимали участие в литературе нашего времени.

Отец мой был типичный николаевский офицер. Воспитывался он в школе гвардейских подпрапорщиков, попал затем офицером в Семеновский полк как раз в самый первый год царствования Николая и пошел обычной дорогой гвардейского офицера. Через два года вспыхнула турецкая война, и отец попал на войну со своим крепостным слугой Фролом. Попал он на войну не потому, чтоб он был наделен особенным боевым

духом или особенно любил походную жизнь; я сомневаюсь даже, чтоб он провел хотя бы одну ночь у бивачного огня или же участвовал хотя бы в одном сражении; но при Николае это имело второстепенное значение. Настоящим военным в то время был тот, кто обожал мундир и презирал штатское платье; чьи солдаты бывали вымуштрованы так, что могли выделывать почти невероятные штуки ногами и ружьями (одна из знаменитых штук того времени была, например, разломать приклад, беря на караул); кто на параде мог показать такой же правильный и неподвижный ряд солдат, как будто то были не живые, а игрушечные солдатики.

— Очень хорошо, — сказал раз великий князь Михаил после того, как полчаса заставил простоять полк с ружьем на карауле, — только дышат!

Идеалом моего отца, конечно, было возможно больше походить на военного того времени.

Действительно, как я уже сказал, он принимал участие в 1828 году в войне с Турцией, но устроился так, что все время пробыл в штабах. И если мы, дети, воспользовавшись моментом, когда отец был в особенно хорошем расположении духа, просили его рассказать нам про войну, он мог сообщить нам лишь то, как на него и на его верного слугу Фрола в то время, когда они проезжали одну деревню, напали десятки разъяренных собак. Отцу и Фролу пришлось пустить в ход сабли, чтобы отбиться от голодных животных. Без сомнения, нам больше бы хотелось, чтобы то был отряд турок, но мы мирились и с собаками; но когда после долгих приставаний нам удавалось заставить отца рассказать, за что он получил Анну с мечами и золотую саблю, тут уж мы были совсем разочарованы. История была до крайности прозаична. Штабные офицеры квартировали в турецкой деревне, когда в ней вспыхнул пожар. В одно мгновенье огонь охватил дома, и в одном из них оставался ребенок. Мать рыдала в отчаянии. Фрол, сопровождавший всегда отца, бросился в огонь и спас ребенка. Главнокомандующий тут же наградил отца крестом за храбрость.

— Но, папаша, — восклицали мы, — ведь это Фрол спас ребенка!

— Так что ж такое, — отвечал отец наивнейшим образом. — Разве он не мой крепостной? Ведь это все равно.

Наш отец принимал также участие в войне против поляков во время революции 1831 года. В Варшаве он познакомился с младшей дочерью корпусного командира, генерала Сулимы, и влюбился в нее. Свадьбу отпраздновали очень торжественно в Лазенковском дворце. Посаженным отцом со стороны невесты был Паскевич.

— Но ваша мать, — прибавлял всегда отец, — не принесла мне никакого приданого. Старый Сулима, ваш дедушка, мне золотые горы насулил по службе, а вместо того скоро сам поехал в Сибирь. Так я и остался ни с чем.

То была чистая правда. Отец матери, Николай Семенович Сулима [7], совсем не умел себе сделать карьеру и нажить состояние. Должно быть, в его жилах было слишком много крови запорожцев, которые умели сражаться с отлично вооруженными, храбрыми поляками и с втрое более сильными турецкими полчищами, но не умели уберечься от тенет московской дипломатии. Известно, что после страшного восстания 1648 года,

которое было началом конца польской республики, и кровавой войны с поляками, казаки подпали под иго русских царей и потеряли все свои вольности. Один из Сулима был захвачен тогда поляками и замучен до смерти в Варшаве; но остальные полковники такого же закала дрались еще более упорно, и Польша потеряла Малороссию.

Что касается моего деда, то в двенадцатом году он во главе кирасирского полка сумел врубиться в карэ французов, несмотря на щетину штыков и, оставленный, как убитый, на поле сражения, сумел оправиться, отделавшись глубоким шрамом на голове; но стать лакеем у всемогущего Аракчеева он не захотел, и его отправили в своего рода почетную ссылку, вначале генерал-губернатором в Западную, а потом в Восточную Сибирь. В то время такой пост считался более прибыльным, чем золотой прииск; но мой дед возвратился из Сибири таким же небогатым человеком, каким отправился туда. Он оставил своим трем сыновьям и трем дочерям лишь маленькое наследство. Когда я в 1862 году поехал в Сибирь, то часто слышал его имя, произносившееся с большим уважением. Чудовищное воровство, царившее тогда в Сибири, с которым мой дед был не в силах бороться, приводило его в отчаяние.

Не знаю уже, где и как отец служил после участия в войне против поляков во время революции 1831 года, знаю только, что он всегда жил в Москве, где страшно играл в карты и при жизни матери и особенно после ее смерти. Он всегда проигрывал. Как только игра затянется попозже, он, бывало, вечно полуспит за карточным столом и все проигрывает. Даже под старость за ним осталась эта страсть, хотя наша мачеха всячески отвлекала его от карточной игры. В Москве это ей еще удавалось, но когда он поедет зимою продавать хлеб в тамбовское имение, продаст его и возвращается назад через Тамбов, то целая шайка тамошних помещиков и шулеров там уже ждет его и беспощадно обыгрывает.

— Славные были времена, — говорил мне как-то в подпитии один из этих тамбовских карточных героев, — как мы это с вашим папашенькой состязались. Бывало продаст хлеб, приедет да так все денежки тут и оставит. Много пользовались его добротою, особенно как он сидит и дремлет за картами.

Помнится мне после смерти нашей матери какая-то свечка с большим нагорелым обвислым фитилем, которую в девичьей таинственно показывали друг другу. Отец в этот вечер страшно проигрался в карты. Играли на мелок, и к концу игры на него насчитали 35 000 рублей — громадную сумму по тогдашнему времени. От него потребовали либо немедленной уплаты, либо векселя. Он уперся, не хотел давать векселя, но его принудили: «Заперли двери на ключ и приступили ко мне с пистолетами, я и подписал», — рассказывал он мне как-то в минуту откровенности. Подписавши вексель, он вернулся домой, зажег свечу в своем кабинете на письменном столе и уселся в свое неизменное кресло у стола. Под утро он заснул, а свеча все продолжала гореть; обгоревший фитиль упал на стол и бумаги на столе загорелись. Чуть ли не после этого проигрыша он, кажется, пытался покончить с жизнью, но его верный Фрол помешал этому, за что и был пожалован в дворецкие и стал называться с тех пор Фролом Фадеичем.

Любил ли отец нашу мать — не знаю. Если и любил, то по-своему. Знаю только, что она не была счастлива с ним, и в ее дневниках,

которые она вела в Германии, когда уже с чахоткою в груди, ездила лечиться на воды, эта скорбь выливалась грустными строками. Мать моя, без сомнения, для своего времени была замечательная женщина. Много лет спустя после ее смерти я в углу, в кладовой, в нашем деревенском доме нашел много бумаг, написанных ее твердым и красивым почерком. То были дневники, в которых она описывала красоту природы в Германии на водах и говорила о своих печалях и о жажде счастья. Тут были также тетради запрещенных русских стихотворений, между прочим «Думы» Рылеева. В других тетрадях были ноты, французские драмы, стихи Ламартина, поэмы Байрона. Она любила музыку и, кажется, хорошо понимала ее. Нашел я также много акварелей, рисованных моей матерью. Когда отец задумал строить церковь в Петровском [8], мать писала для нее иконы: одну из них, Алексея божьего человека, крестьяне указывали мне с любовью, когда я был в Петровском.

Высокая, стройная, с массой каштановых волос, с темно-карими глазами, с маленьким ртом, она, как живая, глядит с портрета, написанного с любовью масляными красками хорошим художником. Она была всегда весела, подчас беззаботна и очень любила танцы. Никольские крестьянки часто рассказывали нам, как, бывало, любовалась она с балкона на их хороводы, а потом не утерпит и сама присоединится к ним. Она была артистической натурой. На балу моя мать схватила простуду, которая кончилась воспалением легких и довела ее до могилы.

Все, знавшие ее, любили ее. Слуги боготворили ее память. Ради ее мадам Бурман взялась заботиться о нас. В память ее Ульяна так любила нас. Когда она чесала нас или крестила пред сном, она часто говаривала: «Бедные сиротки! Теперь ваша мамаша смотрит на вас с неба и плачет по вас».

Все мое детство перевито воспоминаниями о ней. Как часто где-нибудь в темном коридоре рука дворового ласково касалась меня или брата Александра. Как часто крестьянка, встретив нас в поле, спрашивала: «Вырастете ли вы такими добрыми, какой была ваша мать? Она нас жалела, а вы будете жалеть?»

«Нас» означало, конечно, крепостных. Не знаю, что стало бы с нами, если бы мы не нашли в нашем доме среди дворовых ту атмосферу любви, которой должны быть окружены дети. Мы были детьми нашей матери; мы были похожи на нее; и в силу этого крепостные осыпали нас заботами, подчас, как видно будет дальше, в крайне трогательной форме. Мы не знали матери. Она рано покинула нас, но память о ней прошла через все наше детство и согрела его. Ее не было, но память о ней носилась в нашем доме, и, когда я теперь оглядываюсь на свое детство, я вижу, что я ей обязан теми лучшими искорками, которые запали в мое ребяческое сердце.

Люди жаждут бессмертия; но они часто упускают из виду тот факт, что память о действительно добрых людях живет вечно. Она запечатлевается на следующем поколении и передается снова детям. Неужели им мало такого бессмертия?

IV

Два года после смерти матери отец мой женился во второй раз. Он уже, было, высмотрел красивую невесту из богатой семьи, когда судьба его решилась иначе. Раз утром, когда отец сидел еще в халате, вбежали

перепуганные слуги и возвестили о прибытии генерала Тимофеева, начальника шестого армейского корпуса, в котором служил отец. Любимец Николая I был ужасный человек. За ошибку на параде он мог отдать приказ запороть солдата до полусмерти. Он мог разжаловать офицера и сослать в Сибирь, если бы встретил его на улице с расстегнутыми крючками высокого, тугого воротника. У Николая слово генерала Тимофеева значило все. В это утро генерал, который до тех пор никогда не бывал у нас, явился самолично, чтобы посватать отцу племянницу жены, девицу Елизавету Марковну Карандино, одну из дочерей адмирала черноморского флота, — говорят, очень красивую тогда девицу, с правильным греческим профилем. Отец согласился, и вторая свадьба, как и первая, была отпразднована с большою торжественностью.

— Вы, молодые, ничего не понимаете в этих делах, — заканчивал всегда отец, когда он впоследствии, с непередаваемым тонким юмором рассказывал мне эту историю. — Знаешь ли ты, что в то время значило «корпусный»? А вдруг сам он, одноглазый чорт, приехал сватом. Конечно, приданого было всего большой сундук, набитый бабьими тряпками, да еще сидит на нем крепостная девка Марфа, черная, как цыганка.

Я решительно ничего не помню об этом событии. Припоминается лишь большая гостиная в богато убранном доме, а в этой гостиной молодая привлекательная дама с слишком острыми южными глазами, заигрывает с нами, повторяя: «Видите, какая веселая мамаша будет у вас!» На что Саша и я, насупившись, отвечали: «Наша мама улетела на небо!» Мы с недоверчивостью относились к такой, слишком большой живости.

До свадьбы отца мы жили во флигеле нашего дома под надзором мадам Бурман. Но как только свадьба была сыграна, — тоже в какой-то аристократической церкви и с «корпусным» за посаженного отца, — все в доме переменилось, и для нас началась новая жизнь. Дом продали и купили другой, который омеблировали совершенно заново. Исчезло все, что могло бы напомнить мать: ее портреты, рисунки, вышиванье. Напрасно молила мадам Бурман оставить ее в доме и обещала посвятить себя всецело ребенку, которого ожидала мачеха, — ее рассчитали.

— Не хочу иметь у себя никого из дома Сулимы! — говаривала мачеха. Она порвала все связи с нашими дядьями, тетками и бабушкой. Ульяну назначили ключницей и выдали за Фрола, которого сделали дворецким. Старший брат, Коля, учился в кадетском корпусе в Москве и жил там. Он мог бы приезжать домой каждую субботу, но его ухитрялись брать только на долгие праздники — на рождество и на пасху, а лето он проводил в лагерях. Старшая сестра, Лена, которая была всего только годом моложе Коли, но на шесть лет старше Саши, была в институте, и по тогдашним правилам могла быть отпущена домой только в самом экстренном случае, например, по случаю смерти бабушки, и то всего на несколько часов в сопровождении классной дамы.

Так мы поэтому и остались вдвоем: брат Саша, который был всего на шестнадцать месяцев старше меня, и я. С ним мы выросли, с ним мы сроднились. С ним и после мы были вместе до тех пор, пока судьба не разбросала нас по тюрьмам и ссылкам. Чтобы учить нас, приставили дорогого француза-гувернера, мосье Пулэна, и наняли задешево русского студента, Н. П. Смирнова. Во многих домах в Москве были тогда французы-гувернеры, обломки наполеоновской великой армии. Пулэн тоже

принадлежал к ней и только что закончил воспитание младшего сына романиста Загоскина. В Старой Конюшенной Сережа Загоскин считался таким благовоспитанным молодым человеком, что отец мой, не колеблясь, пригласил Пулэна за высокую по тому времени плату в 600 рублей в год.

Пулэн явился со своей охотничьей собакой, Трезором, наполеоновским кофейником, французскими учебниками и стал править нами и крепостным Матвеем, которого приставили нам в прислуги. Его план воспитания был очень прост. Разбудив нас, он варил себе кофе, который пил в своей комнате. В то время как мы приготовляли уроки, он очень тщательно занимался своим туалетом: зачесывал свои седые волосы так, чтобы скрыть расползавшуюся плешь, надевал фрак, прыскал себя и вытирал одеколоном, а затем вел нас вниз поздороваться с родителями. Отца и мачеху обыкновенно заставали за утренним кофе. Подойдя к ним, мы повторяли официальным тоном:

— Bonjour, mon cher papa (Доброе утро, дорогой папа).

— Bonjour, ma chere maman (Доброе утро, дорогая мама).

Затем мы целовали руки.

Мосье Пулэн выделывал очень сложный и элегантный пируэт, произнося:

— Bonjour, monsieur le prince (Доброе утро, князь).

— Bonjour, madame la princesse (Доброе утро, ваше сиятельство).

Выполнив все это, мы немедленно уходили к себе наверх. Эта церемония повторялась каждое утро.

Затем начиналось наше учение. Мосье Пулэн вместо фрака облачался в халат, надевал на голову кожаную шапочку, погружался в кресло и говорил: «Скажите урок».

Мы сказывали «наизусть» от одного места, отмеченного нам ногтем, до другого. Мосье Пулэн принес с собою памятную не одному поколению русских мальчиков и девочек грамматику Ноэля и Шапсаля, книжку французских вокабул, всемирную историю в одном томике и всеобщую географию, тоже в одной книжке. Мы должны были вызубрить грамматику, вокабулы, историю и географию. С грамматикой, начинавшейся знаменитой фразой: «Что такое грамматика? — Искусство правильно читать и писать», с грамматикой, говорю, дело обходилось благополучно. Но, к несчастью, история начиналась с предисловия, в котором перечислялись все выгоды, проистекающие из знания этой науки. С первыми предложениями дело шло довольно гладко. Мы твердили: «Государь находит в истории примеры великодушия, чтоб следовать им при управлении своим народом; полководец изучает по ней благородное искусство ратного дела...» Но как только дело доходило до юриспруденции, — все портилось. «Юрисконсульт находит в истории...», но что именно находит он, мы так и не могли узнать. Трудное слово «юрисконсульт» портило все. Как только мы добирались до него, мы останавливались.

— На колени, gros pouff (это ко мне), — восклицает Пулэн. — На колени, grand dada (это по адресу брата). — И мы становились на колени и обливались слезами, тщетно стараясь выучить, что находит юрисконсульт в истории.

Это предисловие дорого нам обошлось! Мы уже выучили про римлян. Мы бросали «как Брен» палки на чашки весов, когда Ульяна отвешивала

Прасковья Алексеевна Кропоткина, урожд. Гагарина,
бабка П. А. Кропоткина

рис. Подражая Курцию, мы, для спасения отчизны, прыгали в бездну со стола; но мосье Пулэн все еще, время от времени, возвращал нас к предисловию и ставил на колени все из-за того же юрисконсульта. Нужно ли удивляться после этого, что и я, и мой брат возымели непреодолимое отвращение к юриспруденции!

Не знаю, что стало бы с географией, если бы в книжке мосье Пулэна тоже было предисловие. К счастью, первые двадцать страниц были вырваны (я думаю, эту великую услугу оказал нам Сережа Загоскин). В силу этого наши уроки начались прямо с двадцать первой страницы, со слов: «из рек, орошающих Францию».

Должен сознаться, что дело не всегда кончалось наказанием — на колени. В классной имелась также розга, к которой и прибегал мосье Пулэн, когда на прогресс в предисловии или же в диалогах о добродетели и благопристойности не было больше надежды. В таких случаях мосье Пулэн доставал розгу с высокого шкапа, схватывал которого-нибудь из нас, расстегивал штанишки и, захватив голову под свою левую руку, начинал хлестать нас этой розгой. Мы, конечно, стремились ускользнуть из-под его ударов, и тогда в комнате начинался отчаянный вальс под мерный свист его розги.

Эти вальсы просто в отчаяние приводили сестру Лену [9], когда она вышла из Екатерининского института и была поселена внизу, в комнате под нами. Так, что она раз не вытерпела и, услыхав наш плач, стремительно вбежала в слезах в кабинет к отцу. Она горько стала упрекать его за то, что он отдал нас мачехе, которая сдала нас на произвол «отставному французскому барабанщику».

— Конечно, — кричала она в слезах, — здесь некому заступиться за них; но я не могу видеть, как барабанщик обращается с моими братьями.

Отец был захвачен врасплох и смешался. Он сначала стал бранить Лену, но кончил тем, что похвалил за любовь к братьям. После этого вальс стал повторяться гораздо реже, но розга долгое время все еще хранилась на большом шкапу, хотя Пулэн ограничивался только тем, что иногда снимал ее и, поднося к нашим носам, выкрикивал: «нюк! нюк!» (нюхай). Вскоре розга сохранялась лишь для того, чтобы внушить Трезорке правила благопристойности.

Покончив с тяжелыми учительскими обязанностями, мосье Пулэн мгновенно преображался; пред нами был уже не свирепый педагог, а веселый товарищ. После завтрака он водил нас на прогулку, и здесь не было конца его рассказам. Мы болтали, как птички. Хотя мы не забирались с Пулэном дальше первых страниц синтаксиса, но мы скоро научились «правильно говорить». Мы стали *думать* по-французски. Когда же он продиктовал нам полкниги о мифологии (он исправлял ошибки по книге, никогда не пытаясь даже объяснить, почему слово должно быть писано так, а не иначе), то мы постигли так же, как «правильно писать» по-французски.

После обеда мы занимались с учителем русского языка, студентом юридического факультета московского университета. Он обучал всем «русским» предметам: грамматике, арифметике и т. п. В те годы серьезное учение еще не начиналось. Одновременно он диктовал нам ежедневно по странице из истории, и таким образом мы на практике быстро научились совершенно правильно писать по-русски.

Z. A. B.
inv. № 81173.

Наше лучшее время бывало по воскресеньям, когда все наши, кроме детей, отправлялись на обед к генеральше Тимофеевой. Порой случалось также, что отпуск получали в этот день Пулэн и Николай Павлович Смирнов. В таком случае мы оставались на попечении Ульяны. Наскоро пообедав, мы отправлялись в парадный зал, куда скоро являлась и молодежь из горничных. Затевались всевозможные игры: в жмурки, в коршуна и т. д. Затем мастер на все руки, Тихон, являлся со скрипкой. Начиналась пляска: не скучные, мерные танцы под управлением танцмейстера француза «на резиновых ножках» (танцы, конечно, входили в программу нашего воспитания), а живой танец — не урок. Пар двадцать кружилось в разные стороны, но это было лишь вступлением к еще более оживленному казачку. Тихон тогда вручал скрипку одному из стариков и начинал вывертывать ногами такие мудреные фигуры, что в дверях показывались повара и даже кучера, желавшие поглядеть на любезный их сердцу танец.

В девять часов за нашими посылалась большая карета. Тихон, вооружившись щеткой, ползал по паркету, чтобы восстановить опять его девственный блеск. В доме воцарялся образцовый порядок. И если бы нас с братом на другой день подвергли самому строгому опросу, мы не обмолвились бы ни словом о развлечениях предыдущего вечера. Мы ни за что не выдали бы никого из слуг, точно так же, как никто из них не выдал бы нас.

Раз, в воскресенье, мы с братом играли одни в большой зале и набежали на подставку, поддерживавшую дорогую лампу. Лампа разбилась вдребезги. Немедленно же «дворовые» собрали совет. Никто не упрекал нас. Решено было, что на другой день, рано утром, Тихон, на свой страх и ответственность, выберется потихоньку, побежит на Кузнецкий Мост и там купит такую же лампу. Она стоила пятнадцать рублей — для дворовых громадная сумма. Но лампу купили, а нас никто никогда не попрекнул даже словом.

Когда я думаю теперь о прошлом и в моей памяти восстают все эти сцены, я припоминаю также, что во время игр мы никогда не слыхали грубых слов; не видали мы также в танцах ничего такого, чем теперь угощают даже детей в театре. В людской, промеж себя, дворовые, конечно, употребляли неприличные выражения. Но мы были дети, ее дети, и это охраняло нас от всего худого.

В те времена детей не заваливали такой массой игрушек, как теперь. Собственно говоря, их у нас почти вовсе не имелось, и мы вынуждены были прибегать к нашей собственной изобретательности. С другой стороны, мы с братом рано приобрели вкус к театру. Впечатление, произведенное масленичными балаганами, с их представлениями сражений и разбойников, продолжалось недолго: мы сами предостаточно играли в казаков и разбойников. Но в Москву прибыла балетная звезда первой величины Фанни Эльслер, и мы увидали ее. Когда отец покупал билет в театр, то брал всегда лучшую ложу, не жалея денег; но зато он хотел, чтобы за эти деньги наслаждалась вся семья. Взяли и меня, несмотря на то, что я был тогда очень мал. Фанни Эльслер произвела на меня такое глубокое впечатление грациозностью, воздушностью и изяществом всякого движения, что с тех пор танцы, относящиеся скорее к области гимнастических упражнений, чем искусства, никогда меня не интересовали.

Нечего и говорить, что «Гитану, испанскую цыганку», балет, в котором Эльслер участвовала, мы решили поставить дома, т. е. содержание балета, а не танцы. У нас была готовая сцена: дверь из спальни в классную закрывалась занавесью. Несколько стульев полукругом и кресло для мосье Пулэн составили зрительный зал и царскую ложу. Публику мы легко собрали: тут были Ульяна, русский учитель и две-три горничных. Мы решили во что бы то ни стало поставить две сцены: ту, в которой цыгане привозят в табор маленькую Гитану в тачке, и ту, где Гитана в первый раз появляется на сцене, спускается с пригорка и переходит по мосту через ручей, в котором отражается ее образ. Зрители тогда стали бешено аплодировать, и мы решили, что рукоплескания были вызваны отражением в ручье.

Для роли Гитаны мы выбрали одну из самых маленьких девочек в девичьей. Ее оборванное пестрядинное платье не составляло препятствия. Перевернутый стул вполне заменил тачку. Но ручей! Из двух кресел и гладильной доски портного Андрея мы соорудили мост, а из куска синей китайки — ручей. Для получения отражения мы пустили в ход маленькое круглое зеркало, перед которым брился М. Пулэн; но сколько мы ни старались, отражения во весь рост не получалось. После многих неудачных попыток мы должны были отказаться от опытов с зеркалом. Но мы упросили Ульяну, чтобы она поступила так, как будто бы видела отражение в ручье и аплодировала бы громко. Таким образом, в конце концов, мы сами начали верить, что, быть может, что-нибудь и видно в самом деле.

Расиновская «Федра», или, по крайней мере, последний акт трагедии, сходила тоже очень не дурно, а именно: Саша прекрасно декламировал звучные стихи:

«A peine nous sortions des portes de Trezène»*.

А я сидел совершенно неподвижно, во все время трагического монолога, возвещавшего мне о смерти сына, до тех пор, покуда, согласно книжке, я должен был подать реплику:

«Oh, dieux!»**.

Но что бы мы ни играли, все наши представления неизменно заканчивались адом. Мы тушили все свечи, кроме одной, которую ставили за прозрачный экран, намазанный суриком, что должно было изображать пламя. Мы с братом затем прятались и принимались отчаянно выть, как осужденные грешники. Ульяна не любила поминать чорта к ночи и пугалась; но я задаю себе вопрос, не содействовало ли это слишком конкретное представление ада, при помощи сальной свечки и листа бумаги, тому, что мы с братом уже в раннем возрасте освободились от страха геенны огненной. Наше представление было слишком реально, чтобы не пробудить скептицизма.

Вероятно, я был еще очень мал, когда увидал знаменитых московских актеров: Щепкина, Садовского и Шумского в «Ревизоре» и в «Свадьбе Кречинского». Тем не менее, я живо помню не только все выдающиеся сцены в обеих комедиях, но даже интонацию наших великих актеров реалистической школы: их игра так сильно запечатлелась во мне, что, когда

* Едва мы вышли из Трезенских ворот.
** О, боги!

я впоследствии видел те же пьесы в Петербурге в исполнении актеров французской декламаторской школы, я не мог выносить их. Я сравнивал этих актеров с Щепкиным и Садовским, установившими мой вкус в драматическом искусстве. Это наводит меня, кстати, на мысль, что родители, желающие воспитать в детях художественный вкус, должны их брать изредка в театр смотреть хороших актеров в хороших пьесах, а не так называемые «детские пантомимы».

V

На восьмом году в моей жизни произошло событие, определившее, как пойдет мое дальнейшее воспитание. Я не знаю в точности по какому случаю, но полагаю, что по поводу двадцатипятилетия со дня вступления на престол Николая I в Москве подготовлялся грандиозный бал. Двор должен был прибыть в старую столицу, и московское дворянство решило ознаменовать событие костюмированным балом, в котором детям предстояло принять видное участие. Решено было, что приветствовать императора должны все различные народности, входящие в состав империи. Как у нас, так и у соседей, шли большие приготовления. Для нашей мачехи был приготовлен замечательный русский костюм. Так как отец был военным, то, разумеется, он должен был явиться в мундире; но те из наших родственников, которые не служили, не менее дам были заняты приготовлением русских, греческих, кавказских, монгольских и других костюмов. Когда московское дворянство дает бал государю, бал должен отличаться необыкновенной пышностью. Нас с братом считали слишком молодыми, чтобы принять участие в торжестве.

Но, в конце концов, я попал-таки на бал. Наша мать была очень дружна с Назимовой, женой генерала[10] который был впоследствии виленским генерал-губернатором. Назимовой, очень красивой женщине, предстояло явиться в сопровождении восьмилетнего сына, в великолепном костюме персидской царицы. Соответственно и сын должен был быть в очень богатом костюме, перехваченном поясом, украшенным драгоценными каменьями. Но мальчик заболел как раз перед балом, и Назимова решила, что один из сыновей ее лучшего друга лучше всего заменит больного. Нас с Сашей повезли к Назимовой, чтобы примерить костюм. Он оказался короток для Александра, который был выше меня ростом; но мне костюм пришелся как раз впору. Решено было, что изображать персидского царевича буду я.

Громадный зал московского дворянского собрания был наполнен гостями. Каждому из детей вручили жезл с гербом одной из шестидесяти губерний Российской империи. На моем жезле значился орел, парящий над голубым морем, что, как я узнал впоследствии, изображало герб Астраханской губернии. Нас выстроили в конце громадного зала; затем мы попарно направились к возвышению, на котором находились император и его семья. Когда мы подходили, то расходились направо и налево и выстроились таким образом в один ряд перед возвышением. Тогда, по данному нам приказанию, мы склонили все жезлы с гербами перед Николаем... Апофеоз самодержавия вышел очень эффектным. Николай был в восторге. Все провинции преклонялись пред верховным правителем. Затем мы, дети, стали медленно уходить в глубь залы.

Николай Семенович Сулима, дед П. А. Кропоткина
со стороны матери

Но тут произошло некоторое замешательство; засуетились камергеры в расшитых золотом мундирах, и меня вывели из рядов. Мой дядя, князь Гагарин, одетый тунгусом (я не мог наглядеться на его кафтан из тонкой замши, на его лук и на колчан, наполненный стрелами), поднял меня на руки и поставил на платформу перед царем.

Не знаю, потому ли, что я был самый маленький в процессии, или потому, что мое круглое лицо с кудрями казалось особенно потешным под высокой смушковой шапкой, но Николай пожелал видеть меня на платформе. Мне потом сказали, что Николай, любивший всегда казарменные остроты, взял меня за руку, подвел к Марии Александровне (жене наследника), которая тогда ждала третьего ребенка и, по-солдатски, сказал ей: «Вот каких молодцов мне нужно!» Эта острота, конечно, заставила Марию Александровну покраснеть. Во всяком случае, я очень хорошо помню, как Николай спросил: хочу ли я конфет? На что я ответил, что хотел бы иметь крендельков, которые нам подавали к чаю в торжественных случаях. Николай подозвал лакея и высыпал полный поднос крендельков в мою высокую шапку.

— Я отвезу их Саше, — сказал я Николаю.

В конце концов, фельдфебелеобразный брат Николая, Михаил, имевший репутацию остряка, ухитрился-таки заставить меня заплакать.

— Когда ты пай-дитя, тебя гладят вот так, — сказал он и провел своею большою рукою по моему лицу сверху вниз. — Когда же ты шалишь, тебя гладят вот эдак, — и он провел рукой вверх, сильно нажимая нос, который и без того проявлял уже наклонность расти кверху. На моих глазах показались слезы, которые я напрасно старался удержать. Дамы, впрочем, заступились за меня. Добрая Мария Александровна взяла меня под свое покровительство. Она усадила меня рядом с собою на высокий с золоченой спинкой бархатный стул. Мне говорили впоследствии, что я скоро заснул, положив голову ей на колени, а она не вставала с места во все время бала. Помню я также, что родные, когда мы дожидались кареты, гладили меня по голове, целовали и говорили: «Петя, ты назначен пажем!» на что я отвечал: «Я не паж, я домой хочу», и очень был озабочен моей шапкой, в которой лежали предназначенные для Саши крендельки.

Не знаю, много ли их досталось Саше, но помню, что он крепко обнял меня, когда ему сказали, как я беспокоился о шапке.

Быть записанным в кандидаты в Пажеский корпус считалось тогда большой милостью. Николай редко ее оказывал московскому дворянству. Отец мой был в восторге и мечтал уже о той блестящей карьере, которую сделает при дворе сын; а мачеха, когда она потом рассказывала про это событие, никогда не забывала прибавить: «А все это потому, что я его благословила перед балом!»

Назимова была в восторге и заказала акварельный портрет, на котором она изображена в персидском костюме, и я — рядом с ней.

Через год решилась также судьба Александра. В Петербурге праздновался юбилей Измайловского полка, в котором отец служил в молодости. Раз ночью, когда в доме все спали глубоким сном, у ворот остановилась, гремя колокольчиками, тройка. Выскочил из кибитки фельдъегерь и громко крикнул: «Отпирайте! Приказ от государя императора! . .»

Можно легко себе представить, какой ужас нагнало на весь дом это ночное посещение. Отец, дрожа, накинул халат и спустился в кабинет. «Военный суд, разжалованье в солдаты» мерещилось тогда каждому офицеру. То было ужасное время. Оказалось, однако, что Николай просто пожелал иметь имена всех сыновей офицеров, когда-либо служивших в Измайловском полку, чтобы распределить мальчиков по военно-учебным заведениям, если это еще не было сделано. С этой целью и послали из Петербурга в Москву курьера, который днем и ночью стучался в дома всех бывших офицеров Измайловского полка.

Дрожащей рукой отец записал, что его старший сын Николай уже учится в Первом московском кадетском корпусе, что младший сын Петр — кандидат в Пажеский корпус и что остается лишь средний сын Александр, который еще не поступил в военно-учебное заведение. Через несколько недель пришла бумага, извещавшая отца о «монаршей милости». Александра повелевалось определить в орловский кадетский корпус. Отцу стоило не мало хлопот и денег, чтобы добиться позволения определить Александра в московский кадетский корпус. Новая «милость» была оказана только в виду того, что старший сын уже учился в этом корпусе.

Таким образом, по воле Николая I нам обоим предстояло получить военное воспитание, хотя через несколько лет мы возненавидели военную службу по причине ее нелепости. Но Николай бдительно следил за тем, чтобы все сыновья дворян, кроме хворых, избирали военную карьеру. Таким образом, к великому утешению отца, мы все трое должны были стать офицерами.

VI

В то время богатство помещиков измерялось числом «душ», которыми владел помещик. «Души» означали крепостных мужского пола, женщины в счет не шли. Мой отец считался богатым человеком. У него было более 1200 душ в трех различных губерниях* и еще большие земли, и он жил соответственно своему положению. Это значило, что его дом был открыт для гостей и что отец держал многочисленную дворню. В семье нас было восемь человек, иногда десять или двенадцать; между тем пятьдесят человек прислуги в Москве и около шестидесяти в деревне не считалось слишком большим штатом. Тогда казалось непонятным, как можно обойтись без четырех кучеров, смотревших за двенадцатью лошадьми, без трех поваров для господ и кухарок для «людей», без двенадцати лакеев, прислуживавших за столом во время обеда (за каждым обедающим стоял лакей с тарелкой), и без бесчисленных горничных в девичьей.

В то время заветным желанием каждого помещика было, чтобы все необходимое в хозяйстве изготовлялось собственными крепостными людьми. Все это вот для чего. Если кто-нибудь из гостей заметит:

— Как хорошо настроен ваш рояль. Ваш настройщик, вероятно, Шиммель?

То помещик гордо отвечал:

— У меня собственный настройщик.

* В Калужской, Рязанской, Тамбовской.

— Что за прекрасное пирожное! — бывало, воскликнет кто-нибудь из гостей, когда к концу обеда появлялось своего рода художественное произведение из мороженого и печений. — Признайтесь, князь, это от Трамбле (модный кондитер того времени).

— Нет, это делал мой собственный кондитер, ученик Трамбле. Я позволил ему сегодня показать свое искусство.

Заветным желанием каждого богатого и знатного помещика было иметь мебель, сбрую, вышивки — словом, все от собственных мастеров. Когда детям дворовых исполнялось десять лет, их отдавали на выучку в модные мастерские. Пять или семь лет они подметали лавку, получали бесчисленные колотушки и состояли, главным образом, на побегушках. Я должен сказать, что немногие выучивались в совершенстве ремеслу. Портные и сапожники могли шить платье и сапоги только на прислугу; когда же нужно было действительно хорошее пирожное, его заказывали у Трамбле, а наш кондитер в это время играл на барабане в крепостном оркестре. Этот оркестр был другим пунктом тщеславия моего отца. Не то, чтобы он сам был большой любитель музыки, но так требовалось для большей важности, а потому почти каждый дворовый, помимо своего ремесла, состоял еще басом, тромбоном и кларнетом в оркестре. Настройщик Макар, он же помощник дворецкого, играл также на флейте. Портной Андрей играл на валторне. Обязанностью же кондитера было вначале бить в барабан, но он так усердствовал, что оглушал всех. Тогда ему купили чудовищную трубу в надежде, что, может быть, легкими он не будет в состоянии производить такой шум, как руками. Но когда и эта надежда не оправдалась, его сдали в солдаты. Что же касается рябого Тихона, то, помимо бесчисленных обязанностей в доме, в роли ламповщика, полотёра или выездного лакея, он еще не без пользы помогал в оркестре, сегодня на тромбоне, завтра на контр-басе, а не то и как вторая скрипка.

Две первых скрипки составляли единственное исключение из правила. Они были только скрипками. Отец купил их за большие деньги, с семьями, у сестер (он никогда не покупал крепостных у посторонних и не продавал людей чужим). И вот по вечерам, когда отец не уезжал в клуб или когда у нас бывали гости, отец приказывал дворецкому «собрать музыку». На наш оркестр был большой спрос, когда соседи, в особенности в деревне, устраивали вечера с танцами. Каждый раз, конечно, в подобных случаях нужно было спросить разрешение отца.

Ничто не доставляло отцу такого удовольствия, как когда к нему обращались с просьбой по поводу оркестра или чего-либо другого: например, определить мальчика на казенный счет в школу или освободить кого-нибудь от наказания, наложенного судом. Хотя отец способен был на взрывы бешенства, но по натуре, без сомнения, он был довольно мягкий человек. И когда к нему обращались за протекцией, он писал десятки писем во все стороны ко всем высокопоставленным лицам, которые могли быть полезны его протеже. В таких случаях его и без того немалая переписка увеличивалась еще полудюжиной специальных писем, написанных в крайне характерном, полуофициальном-полушутливом тоне. Каждое письмо, конечно, запечатывалось гербовой печатью отца. Большой квадратный конверт шумел тогда, как детская погремушка, по причине песка, которым густо посыпалось письмо: промокательной бумаги в то

время еще не знали. Чем труднее была просьба, тем бо́льшую энергию проявлял отец, покуда не добивался просимого для протеже, которого во многих случаях никогда даже в глаза не видал.

Отец мой любил, чтобы у него были гости. Обедали мы в четыре часа, а в семь вся семья собиралась вокруг самовара. В это время мог приходить всякий, принадлежавший к нашему кругу. В особенности не было недостатка в гостях, когда Лена возвратилась из института. Если в окнах, выходивших на улицу, был свет, знакомые знали, что наши до́ма и что гостям будут рады.

Гости собирались почти каждый вечер. В зале раскрывались ломберные столы. Молодежь же и дамы оставались в гостиной или же собирались возле рояля. После ухода дам картежная игра продолжалась до рассвета, и значительные суммы переходили тогда из рук в руки. Отец мой постоянно проигрывал. Опасной для него, однако, являлась игра не дома, а в английском клубе, где ставки были выше. В особенности опасно было, когда отца звали на партию «с очень почтенными господами» в один из наиболее уважаемых домов в Старой Конюшенной, где большая игра шла всю ночь. В подобных случаях отец проигрывал очень много.

Нередко устраивались танцовальные вечера, не говоря уже о двух обязательных балах каждую зиму. В подобных случаях отец не смотрел на издержки, а устраивал все как можно лучше. В то же время в будничной нашей жизни проявлялась такая скаредность, что, если бы я стал рассказывать подробности, их сочли бы за преувеличение. Об одном претенденте на французский престол, который прославился великолепными охотничьими партиями, говорят, что в его доме даже сальные огарки были на счету. Такая же мелочная экономия во всем практиковалась и в нашем доме, и скупость доходила до того, что мы, дети, когда выросли, возненавидели бережливость и расчет. Впрочем, в Старой Конюшенной такая манера жить заставляла лишь всех относиться еще с бо́льшим уважением к отцу.

— Старый князь, — говорили все, — скуповат на домашние расходы, зато уж знает, как следует жить дворянину.

В наших тихих и чистеньких уличках именно такая жизнь уважалась в особенности. Один из наших соседей, генерал Дурново, вел дом на широкую ногу; а между тем ежедневно между барином и поваром происходили самые комические сцены. После утреннего чая старый генерал, посасывая трубку, сам заказывал обед.

— Ну, братец, — говорил он повару, являвшемуся в малую столовую в белоснежной куртке и колпаке, — сегодня нас будет немного, не более двух-трех гостей. Ты соорудишь суп, знаешь, с какой-нибудь первинкой: с зеленым горошком, фасолью . . .

— Слушаю-с, ваше превосходительство.

— Затем, что там хочешь на второе.

— Слушаю-с, ваше превосходительство.

— Конечно, спаржа еще дороговата, хотя я видел вчера в лавке такие славные пучки . . .

— Точно так, ваше превосходительство, по четыре целковых за пучок.

— Совершенно верно. Ну, твои жареные цыплята и индейки нам надоели до смерти. Ты приготовь нам что-нибудь новое.

— Не прикажете ли дичи, ваше превосходительство?

— Да, да, братец, что-нибудь такое.

Когда все шесть блюд бывали обсуждены, старый генерал спрашивал:

— Ну, а сколько тебе на расходы? Я думаю, три рубля хватит.

— Десять целковых, ваше превосходительство.

— Не говори глупостей, любезный. Вот тебе три рубля. Я знаю, что их за глаза достаточно.

— Как же так? Четыре целковых за спаржу да два с полтиной за зелень.

— Ну, слушай, любезный, посовестись. Так и быть прибавлю еще три четвертака, а ты экономничай.

Торг таким образом продолжался около получаса. Наконец, сходились на семи рублях с четвертаком, с условием, чтоб обед на другой день стоил бы не больше полутора рублей. Генерал, счастливый тем, что устроил все так выгодно, приказывал закладывать сани и отправлялся в модные лавки, откуда возвращался сияющий, и привозил жене флакон тонких духов, за который заплатил бешеную цену во французском магазине, а единственной своей дочери он сообщал, что пришлют от мадам такой-то для примерки «очень простенькую», но очень дорогую бархатную мантилью.

Вся наша бесчисленная родня со стороны отца жила точно таким же образом. Если порой проявлялись какие-нибудь новые стремления, они, обыкновенно, принимали религиозную форму. Так, например, к великому смущению «всей Москвы» один князь Гагарин [11] поступил в одеи иезуитов, другой молодой князь пошел в монастырь, а несколько старых дам стали отчаянными святошами.

Бывали и исключения. Один из наших ближних родственников, назову его Мирским [12], провел молодость в Петербурге, где служил в гвардии. Иметь крепостного портного или мебельщика его не занимало. Дом его был великолепно убран, а платье он носил от лучшего петербургского портного. Он не любил карт и играл лишь с дамами; зато его слабостью была еда, на которую он тратил невероятные деньги.

В особенности развертывался он во время поста и пасхи. Постом он погружался всецело в изобретение тонких рыбных блюд. С этой целью он перерывал лавки в обеих столицах, а из вотчин командировались специальные гонцы к устьям Волги, чтобы доставить оттуда на почтовых (железных дорог тогда еще не было) громадного осетра или какой-нибудь необыкновенный балык. Когда же наступала пасха, его изобретательности не было конца.

Пасха — наиболее чтимый и наиболее веселый праздник в России — праздник весны. Тают громадные сугробы, лежащие всю зиму, и бурные ручьи бегут по улицам. Весна приходит не как тать, крадучись, незаметно, но открыто. Каждый день замечается перемена как в снежных сугробах, так и в наливающихся почках. Ночные морозы лишь слегка замедляют оттепель. В мое время страстная неделя встречалась в Москве необыкновенно торжественно. Толпы народа ходили в церкви, особенно в четверг, послушать те трогательные места евангелия, в которых говорится о страданиях Христа. На страстной не ели даже рыбы, а наиболее благочестивые вовсе не касались еды в страстную пятницу. Тем более разителен был переход к пасхе.

В субботу все отправлялись ко всенощной. Начало ее, как известно, очень печально. Но в полночь возвещается о воскресении христовом.

Все церкви разом освещаются. С сотен колоколен раздается радостный трезвон колоколов. Начинается всеобщее веселье... Церкви, залитые светом, пестреют нарядными туалетами дам. Даже самая бедная женщина постарается на пасху надеть обновку, и если она шьет себе новое платье только раз в год, то сошьет его, конечно, к этому дню.

Как и тогда, так и теперь пасха является также временем крайней невоздержанности в пище. В богатых домах готовятся к этому времени самые вычурные пасхи и куличи, и как бы беден кто ни был, он должен иметь хотя бы одну пасху и маленький кулич и хотя бы одно красное яйцо, чтобы освятить их в церкви и разговеться.

Большинство начинало есть ночью, после заутрени, непосредственно после того, как освященные куличи приносились из церкви. В богатых же барских домах розговенье откладывалось до воскресенья. К утру накрывался громадный стол и устанавливался всякого рода яствами, и, когда господа выходили в столовую, вся многочисленная дворня, вплоть до последней судомойки, приходила христосоваться.

Всю пасхальную неделю в зале стоял накрытый стол, и гости приглашались закусить. И в этом случае князь Мирский, бывало, развернется! Даже когда он встречал пасху в Петербурге, гонцы одинаково привозили ему из деревни нарочито приготовленный творог для пасхи, из которого повар мастерил своего рода художественные произведения; а другой нарочный скакал в новгородскую деревню за медвежьим окороком, который специально коптился для княжеского пасхального стола.

Княгиня бывала всю страстную неделю в очень удрученном настроении, посещая с двумя дочерьми самые суровые монастыри, где каждая всенощная длилась по три и по четыре часа, и съедая только кусок черствого хлеба в промежутках между службами и посещением православных, католических и протестантских проповедников. А муж ее в это время каждое утро объезжал знаменитые Милютины лавки, где гастрономы находят деликатесы со всех концов земли. Здесь князь выбирал для пасхального стола все самое дорогое и тонкое. Зато во время пасхальной недели сотни гостей являлись к нему, и их просили «только отведать» ту или другую диковину.

Кончилось тем, что князь ухитрился буквально проесть свое значительное состояние. Его роскошно омеблированный дом и прекрасное именье продали, и на старости лет у князя и княгини ничего не осталось: не было даже своего угла. Они должны были жить у детей.

Так шла жизнь в наших краях, и нечего удивляться поэтому, что после освобождения крестьян почти вся Старая Конюшенная разорилась. Но я забегаю вперед.

VII

Содержать такую многочисленную дворню, как у нас, было бы накладно, если бы приходилось всю провизию покупать в Москве. Но во время крепостного права все устраивалось очень просто. Когда наступала зима, отец садился за стол и писал:

«Бурмистру моему, села Никольского [12], Калужской губернии, Мещовского уезда, что на реке Серене, от князя Алексея Петровича Кропоткина, полковника и кавалера

Приказ

По получению сего, как только установится санный путь, предписывается тебе отправить в мой дом, в город Москву, двадцать пять крестьянских парных подвод, по лошади от двора да по человеку и по дровням от другого; нагрузить столько-то четвертей овса, столько-то пшеницы, столько-то ржи, а также кур, гусей и уток, которые должны быть убиты в эту зиму, хорошо заморожены, хорошо упакованы и препровождены при описи с верными людьми...»

В том же духе шли две страницы до первой точки. Далее шло перечисление наказаний, которые постигнут виновников, если провизия не прибудет во-время и в хорошем состоянии в дом номер такой-то, на такой-то улице.

Незадолго до рождества двадцать пять крестьянских саней, действительно, въезжали в ворота и заполняли весь громадный двор.

Как только докладывалось отцу об этом важном событии, он начинал звать громко:

— Фрол! Кирюшка! Егорка! Где вы там! Все раскрадут! Фрол, ступай принимать овес. Ульяна, ступай принимать птицу! Кирюшка, зови княгиню!

Во всем доме начиналось смятение. Слуги метались, как угорелые, во все стороны, из передней во двор, а из двора опять в переднюю, но, главным образом, в девичью, чтобы сообщить никольские новости: «Паша выходит замуж после рождества. Тетка Анна отдала богу душу» и т. п. Прибывали также и письма из деревни. Вскоре которая-нибудь из горничных уже пробиралась наверх в мою комнату.

— Петенька, вы одни? Учителя нет?

— Нет, он в университете.

— Так ты, пожалуйста, прочитай письмо от матери.

И я принимался читать наивное письмо, которое неизменно начиналось словами «родители шлют тебе свое благословение, навеки нерушимое». Затем следовали уже новости. «Тетка Афросинья больна, ноют у ней все кости. Братан еще не женился, но уповаем, женится на красную горку. Тетки Степаниды корова пала на всех святых». За новостями шли две страницы поклонов: «Братец Павел посылает поклон, и сестрицы Марья и Дарья шлют поклон и еще низкий поклон от дяди Митрия» и т. д. Несмотря на монотонность перечисления, каждое имя вызывало какое-нибудь замечание. «Значит, еще жива, бедная! Вот уже девять лет как она лежит пластом». Или: «Ишь, не забыл меня. Значит, вернулся к рождеству. Такой славный парень. Вы напишете мне письмецо? Тогда и его не забыть бы». Я обещал, конечно, и в должное время писал письмо точно в таком же роде.

Когда сани бывали разгружены, передняя наполнялась крестьянами. Они стояли в армяках поверх полушубков и дожидались, покуда отец позовет их в кабинет, чтобы расспросить о том, каков снег выпал и каковы виды на урожай. Они робели ступать по навощенному паркету, и немногие решались присесть на краешек дубовой скамьи. От стульев они наотрез отказывались. Так они дожидались целыми часами, глядя с тоской на каждого входившего или же выходившего из кабинета.

Несколько попозже, обыкновенно на другой день, кто-нибудь из слуг украдкой пробирался в нашу классную комнату.

— Князинька, вы одни?

— Да.

— Так бегите скорее в переднюю. Мужики хотят вас видеть. Гостинцы привезли от кормилицы.

Когда я спускался в переднюю, кто-нибудь из крестьян вручал мне узелок с гостинцем: несколько ржаных лепешек, полдюжины крутых яиц и несколько яблок. Все это бывало завязано в пестрый ситцевый платок.

— Вот это тебе гостинцы от кормилицы Василисы. Уж не замерзли ли яблоки? Авось нет. Я их всю дорогу держал за пазухой. Да уж не дай бог, какой мороз! — И широкое, бородатое лицо сияло от улыбки, а из-под густой стрехи усов сверкали два ряда ослепительных зубов.

— А это для братца, от его кормилицы Анны, — прибавлял другой, вручая мне такой же узелок. — Бедный, — сказывала она, — поди, никогда не доест-то там в корпусе.

Я краснел и не знал, что ответить. Наконец, я бормотал: «Скажи Василисе, что я целую ее; то же самое скажи Анне от брата». При этом лица у крестьян еще более расцветали.

— Да, ужо передам, само собою.

Кирила, который караулил у дверей отцовского кабинета, начинал шептать: «Бегите скорее наверх, папаша сейчас выйдут. Не забудьте платок: они хотят его взять обратно», — шептал он, догоняя меня на лестнице; и когда я тщательно складывал поношенный платок, мне сильно хотелось послать Василисе что-нибудь. Но у меня ничего не было, не было даже игрушек. Никогда нам не давали карманных денег.

Лучшее наше время было, конечно, в деревне. Наступала весна. Снег таял, и вниз по Пречистенке, вдоль тротуаров, бежали шумные потоки воды. Около бульвара потоки сливались с другой, более шумной речкой, несшей вниз по Сивцеву Вражку пустые бутылки, студенческие тетради и всякий мусор. Эти потоки образовали у бульвара большое озеро. С каждым днем становилось все теплее, и все наши мысли неслись в Никольское.

Вот и половина мая наступила. Сирень, должно быть, отцвела в Никольском, а сборы в дорогу еще не начинались. Но вот в один прекрасный день во двор въезжают пять-шесть крестьянских телег, нагруженных овсом и мукою, — это телеги «под обоз».

Начинаются сборы. Ученье идет вяло: мы то и дело спрашиваем посреди уроков, взять ли с собою такие-то книги в Никольское; и раньше всех мы начинаем укладывать наши книги, аспидные доски, бумаги и самодельные игрушки. Во двор выкатываются из каретника громадная, шестиместная карета на висячих рессорах, коляска, тарантас, и из кабинета доносятся громкие крики отца. Дворецкому, кучерам, мачехе — всем достается, оказывается, что надо отсылать экипажи в починку, нужно перековывать лошадей или исправлять хомуты.

Легко ли в самом деле собраться в деревню. Вся семья, человек в десять-двенадцать, все дворовые и весь кухонный и домашний скарб должны быть перевезены за 230 верст от Москвы.

Наконец, хомуты и экипажи налажены, «важи», т. е. большие плоские чемоданы, которые кладутся на верх большой кареты, уложены, целый воз нагружен громадными ящиками с пустыми стеклянными банками, которые

Екатерина Николаевна Кропоткина, мать П. А. Кропоткина

осенью вернутся полными всякого варенья; на другом возу громоздятся матрацы, постели и кое-какая мебель, негодная уже для города, но полезная в деревне... Как только повезут такие возы крестьянские клячи!

Мужики каждый день набиваются в переднюю в ожидании приказа о выезде, кряхтят, кланяются, утираются клетчатыми тряпицами и тяжело вздыхают. Пора по домам, работы дома не оберешься. Их послали с конными подводами в Москву, в зачет барщины, но кто знает, — зачтут ли все дни, прожитые в Москве? Да и дома работа не ждет, и вот Аксинья, улучив добрую минуту, говорит мачехе, как бы мимоходом: «Мужики плачутся, домой им нужно, готовиться к покосу».

— Давно пора, — отвечает мачеха, — но князь не может справиться со своими делами.

Проходит день, другой, третий. Отец все пишет по утрам в кабинете, а вечером пропадает в клубе, возы стоят увязанные во дворе, а приказа о выезде все нет.

Наконец, вечером к отцу требуют дворецкого Фрола и первую скрипку — Михаила Алеева. Отец вручает дворецкому «кормовые» всей дворне, по пятнадцать копеек серебром мужчинам, по десять копеек женщинам в сутки, и длинный список в сорок с лишком человек, где фигурирует весь оркестр, повара, поваренки, судомойки, кухарки, Секлетинья, жена Андрея-повара (был еще Андрей-портной) с семьей из шести ребятишек, Полька-косая, Мишка-повар (ему сорок лет) и т. д.

Затем Михаилу Алееву — он же первая скрипка — вручается приказ, написанный отцом крупным почерком, в большом конверте с кучею песку (тогда еще не знали пропускной бумаги).

«Дворецкому человеку Михаилу Алееву князя Алексея Петровича Кропоткина полковника и кавалера

Приказ:

Предписывается тебе такого-то числа, в 6 часов утра выступить с моим обозом из Москвы в имение мое, в село Никольское, Калужской губернии, Мещовского уезда, что на реке Серене, в 230 верстах от сего дома; смотреть за порядком между людьми, и ежели который-нибудь окажется виновным в пьянстве или бесчинстве и неповиновении, то ты должен явиться в ближайший город — Подольск или Малый Ярославец — к начальнику внутренней стражи и от моего имени просить о примерном наказании. Смотреть неукоснительно за целостью обоза и следовать по нижеследующему расписанию:

Село такое-то — привал,
г. Подольск — ночлег, и т. д.».

И вот на другой день, в десять часов вместо шести — точность не в числе русских добродетелей («Слава богу, мы не немцы») — обоз тронулся в путь. Вдоль по Штатному и Денежному переулкам, вверх по Пречистенке, по направлению к Крымскому мосту и Калужским воротам вытягивалась дворня. «Оркестр» преображался в каких-то цыган, во всевозможных казакинах и хламидах; и старые, и молодые, женщины и дети брели вдоль московских улиц по направлению к Калужским воротам. Покуда шли в Москве, строго соблюдалось, чтобы «люди» шли в приличной одежде. Заткнуть брюки в голенища сапог или подпоя-

саться — строго запрещалось. Но как только выходили на большое Варшавское шоссе, дисциплина исчезала: и когда мы нагоняли, дня через два-три, обоз, — особенно, если известно было, что отец останется в Москве и приедет позже, на почтовых — «дворня» в каких-то кафтанах, запыленная, с обгорелыми лицами, подпираясь самодельными палками, походила скорее на кочующий цыганский табор, чем на «дворню» княжеского дома. Дети сидели на верху и на задах нагруженных телег, туда же иногда подсаживались женщины, но мужчины все двести тридцать верст шли пешком и в жару, по пыли или в слякоть, по грязи.

И так делалось везде в Старой Конюшенной. Из всех дворянских домов выступали каждую весну такие же обозы, так странствовали в то время дворовые всех барских домов. Когда мы видели толпу слуг, проходивших по одной из наших улиц, мы знали уже, что Апухтины или Прянишниковы перебираются в деревню.

Обоз выезжал, а семья наша все еще не трогалась. Дня два-три спустя наступал, наконец, радостный для нас день. Всем уже надоело слоняться по опустелым комнатам, где вся мебель стояла в белых чехлах, чехлы были надеты и на зеркала, бронзовые часы и т. п., и все ждали вожделенной минуты отъезда. Случалось, на самые последки отец позовет Сашу или меня и даст переписывать в толстую большую книгу свои последние бесконечно длинные приказы бурмистру села Никольского, старосте деревни Басова и старосте деревни Каменки и, наконец, вручит мачехе серый лист бумаги, крупно исписанный, и громко прочтет ей:

«Княгине Елизавете Марковне Кропоткиной, урожденной Карандино, князя Алексея Петровича Кропоткина, полковника и кавалера

Маршрутное расписание:

Выступление в 8 часов утра мая такого-то дня.
1. Переезд в 15 верст до станции такой-то.
2. Переезд до города Подольска и т. д. вплоть до Никольского».

Май, впрочем, давно уже прошел и, вместо 8 часов утра «по расписанию», мы выезжаем в 3 часа дня; но это отец предвидел в маршрутном расписании, где имелось примечание:

«Если же, паче чаяния, выступление означенного мая 29-го дня в назначенный час не состоится, то предлагается Вашему Сиятельству поступать согласно Вашему разумению без утомления вверенных Вам лошадей и к вящшему успеху».

Сколько радости приносило всем чтение этой бумаги. Все, включая прислугу, присаживались на минуту в зале на кончики стульев, затем мачеха с притворным благоговеньем крестилась, благословляла нас в дорогу, и мы прощались с отцом.

К крыльцу подъезжала большая карета, шестернею: четыре лошади в ряд, с форейтором, форейтор был хромоногий Филька, у него ноги были вывернуты вовнутрь (ему еще, когда он был мальчиком лошадь разбила копытом нос, свернувши его на сторону: бедняга так и не вырос, и, хотя ему было уже за 25 лет, он оставался подростком, потому и шел за форейтора).

Чего только не набивалось в карету.

— Это твоей покойной матери я купил эту карету в Варшаве, варшавской работы, — говаривал мне отец.

Из нее выкидывали складную лесенку, и целых шесть человек, иногда семь, свободно помещались в карете: мачеха, Леночка, Полинька, Мария Марковна, София Марковна, иногда Елена Марковна и Аксинья.

Затем подъезжала коляска, и в нее залезал Пулэн, учитель Н. П. Смирнов и мы, дети, иногда Елена Марковна и кто-нибудь из горничных, все значилось точно в маршрутном расписании.

Отцовский тарантас часто оставался во дворе. Отец всегда находил причины, чтобы остаться еще несколько дней в Москве.

— Умоляю тебя, Алексис, не ходи в клуб, — шептала мачеха при прощании.

Наконец, ко всеобщему удовольствию, мы трогались.

Отец приезжал потом на почтовых. Или же он отправлялся из Москвы объезжать свой округ внутренней стражи и в Никольское попадал гораздо позже — большею частью, в августе, ко дню своего рожденья.

Сколько радости для нас во время этого медленного пятидневного переезда «на своих» из Москвы в Никольское.

Переезды делались маленькие, верст 20—25 утром, до жары, и столько же после полудня, двигались, стало быть, не спеша, и где только начинался спуск или подъем, экипажи ехали шагом, а мы выскакивали и шли пешком, то забегая в лес собирать землянику, то просто идя по дорожке рядом с шоссе, встречая богомольцев и всякий люд, который плетется пешком из одной деревни в другую.

Останавливались мы на привал и на ночлег или в хорошеньких нарядных станциях под красный кирпич, расположенных по шоссе, или еще чаще на постоялых дворах, в больших селах, вытянувшихся по шоссе. Железных дорог тогда не было, и бесконечные обозы шли, особенно осенью, по дороге из Варшавы в Москву. Конечно, сперва Тихон — мастер на все руки — посылался на разведки, и только условившись заранее в цене овса и сена, въезжали в просторный топкий двор того или другого постоялого двора. Торгуются до тошноты. — Ты уж, любезнейший, должен уважить княгиню, всякий год к тебе заезжаю, — уверяет мачеха содержателя постоялого двора.

— Известно, матушка, ваше сиятельство, как не уважать, — уверяет в свою очередь дворник.

Наконец, экипажи въезжают во двор, и начинается разгрузка.

Повар Андрей покупает курицу и варит суп. Приносятся большие кринки цельного молока; на столе появляется самовар.

Мы тем временем бегаем по двору, где все так ново и интересно: свиньи, завязшие по уши в жидкой грязи, телята и утопающие в навозе куры. Хотелось бы поиграть с ребятишками, но нам не позволяют. Иногда мы бежим в соседнюю рощу собирать землянику, покуда кормят лошадей.

Вечером еще больше суеты. Из кареты и коляски выносятся подушки и налаживаются постели, для нас приносится свежее сено и постилается на пол, потом сено покрывается простынями и шалями, и весь кочующий табор скоро погружается в сон.

И так целых пять дней.

В Мало-Ярославце мы всегда ночуем, и Пулэн не преминет отправиться с нами на поле сражения, где в 1812 году русские старались остановить Наполеона во время его отступления из Москвы. Пулэн объяснял нам, как русские пытались задержать Наполеона и как великая армия опро-

кинула их и прорвалась сквозь наши линии. Он рассказывал все так подробно, как будто сам участвовал в битве. Здесь казаки пробовали обойти французов, но Даву или другой какой-нибудь маршал разбил их и преследовал вон до того холма направо. Вон там левое крыло наполеоновской армии опрокинуло русскую пехоту, а вот здесь сам Наполеон повел свою старую гвардию против центра кутузовской армии и покрыл себя и гвардию неувядаемой славой.

Раз мы поехали по старой калужской дороге и остановились в Тарутине. Тут мосье Пулэн был не так красноречив, потому что здесь, после кровавой битвы, Наполеон, рассчитывавший пойти на юг, вынужден был вновь следовать дорогой на Смоленск через места, разоренные во время наступления на Москву. Но (так выходило по рассказам Пулэна) все это произошло единственно оттого, что Наполеон был обманут маршалами. Иначе он пошел бы на Киев и Одессу, и его знамена развевались бы на берегу Черного моря.

Всего веселее было добраться до Калуги — не столько из-за пресловутого «калужского теста» с имбирем, которое, говорят, мерилось локтями, сколько из-за того, что тут кончалось путешествие по «большой дороге». Дорога эта, невероятной ширины, обсаженная с двух сторон двумя рядами берез, была действительно ужасна. Все время в гору и под гору, а под горою — сухая ли стоит погода или дождливая — неизменно стоит топь из жидкой красной глины. Есть, конечно, и мостик, но на мост никто не отважится ездить; и ямские тройки, и тем более наши тяжелые экипажи, всегда, бывало, объезжают эти мосты и после предварительной рекогносцировки и вправо и влево, высадив всех пассажиров, неизбежно с криком и гиканием въезжают в самую топь.

И несчастные лошади, иногда с подмогой добавочных пристяжных, както ухитряются вывезти тяжелые экипажи из топи, где казалось бы им век сидеть.

В ту пору громадные обозы чумаков с солью, бывало, плетутся по этой дороге, и любимое занятие нашей дворни было дразнить их: «Чи хохол мазепа ваксу съел». На что чумаки в холщевых рубашках и холщевых штанах, вымазанных дегтем, неизбежно отвечали ругательствами. За Калугою начинался тогда громадный сосновый бор. Целых семь верст приходилось ехать сыпучими песками; лошади и экипажи вязли в песке чуть ли не по ступицу, и эти семь верст до перевоза через Угру мы шли пешком. В моем детстве эти семь верст в сосновом бору, среди вековых сосен, соединены у меня с самыми счастливыми воспоминаниями.

Все идут врассыпную, а я любил уходить один (конечно, когда Пулэн уже покинул нас) далеко вперед. Громадные вековые сосны надвигаются со всех сторон. Где-нибудь в ложбине вытекает ключ холодной воды, кто-то оставил для прохожих берестяной ковшик, прикрепленный к расщепленной палке. Напьешься холодной воды и идешь дальше, дальше — один, пока не выберешься из бора и экипажи не нагонят, выбравшись на лучшую дорогу. В этом лесу зародилась моя любовь к природе и смутное представление о бесконечной ее жизни.

За лесом — перевоз через Угру на пароме и дорога в гору к необыкновенно обнищавшей деревне. «Удельные», — говорят нам в объяснение их невероятной бедноты. А за этой деревней и поворот с большой дороги на проселочную или просто «проселок».

Алексей Петрович Кропоткин, отец П. А. Кропоткина

Лошадям, может быть, и тяжелее по проселку. Но все как-то веселеют, когда экипажи покатятся по узкой дороге, врезанной глубоко среди полей, так что рукой можно достать нагибающиеся колосья. Пристяжные отпрягаются, а если едут тройкой, то все время им приходится карабкаться, спотыкаясь по косогорам и жаться к оглоблям; а все-таки и лошади даже бегут дружнее, урывая пучки травы на обочинах дороги, точно и они чувствуют, что близок конец путешествию.

Вот, наконец, и Крамино, — несчастнейшая деревушка из разваливающихся курных изб, — а там, за нею, пойдут скоро уже знакомые места: село Высокое, имение князя Волконского, а далеко, верст за семь, с горы выглянет светло-желтая колокольня нашего Никольского. Вот, наконец, «последняя ива», «поповский луг», и мы проезжаем через громадную площадь, где бывает «Никольская ярмарка», затем мимо длинного забора, сложенного из камня, пересыпанного землею, и, наконец, въезжаем на широкий двор Никольского.

Никольское как нельзя лучше соответствовало тихой жизни тогдашних помещиков. Там не было великолепия, которое встречалось в более богатых поместьях. Но художественный вкус сказался в планировке построек сада и вообще во всем. Кроме главного, недавно выстроенного отцом дома *, на большом дворе было еще несколько флигелей. Они давали большую независимость жившим в них и в то же время не разрушали тесных сношений, устанавливаемых семейной жизнью. Большой фруктовый «верхний сад» тянулся до церкви; на южном скате, который вел к реке, был разбит сад для гулянья. Здесь цветочные клумбы чередовались с аллеями, обсаженными липами, сиренью и акациями. С балкона главного дома открывался великолепный вид на реку и на остатки земляной Серенской «крепости», в которой русские когда-то упорно отсиживались от татар. Далее расстилалось громадное желтеющее море колосьев, окаймленное на горизонте лесами.

В ранние дни детства мы, двое, с братом и мосье Пулэн занимали один из флигелей. После того как методы преподавания нашего гувернера смягчились вследствие вмешательства Лены, мы были с ним в самых лучших отношениях. Отца никогда не было летом: он все время проводил в смотрах. Мачеха не обращала на нас много внимания, в особенности с тех пор, как у ней родилась дочь Полина. Таким образом, мы все время были с мосье Пулэном, нам было весело с ним: он купался с нами, увлекался грибами и охотился за дроздами и даже воробьями. Он всячески старался развивать в нас смелость, и, когда мы боялись ходить в темноте, старался отучить нас от этого суеверного страха. Сначала он приучил нас ходить в темной комнате, а потом и по саду поздно вечером. Бывало, во время прогулки Пулэн положит свой неразлучный складной нож со штопором под скамейку в саду и посылает нас за ним, когда стемнеет. В деревне не было конца приятным впечатлениям: леса, прогулки вдоль реки, карабканье на холмы старой крепости, где Пулэн объяснял нам, как русские защищали ее и как татары взяли ее; иногда — случайные встречи с волками.

Бывали приключения. Во время одного из них мосье Пулэн стал героем на наших глазах: он вытащил из реки тонувшего Александра.

* Сгорел «от неизвестной причины» в 1927 году. *Прим. ред.*

Иногда отправлялись на прогулку большой партией, всей семьей, с горничными, по грибы. Тогда пили чай в лесу, на пчельнике, где жил столетний пасечник с маленьким внуком. Или же мы отправлялись в одну из наших деревень, где был вырыт глубокий пруд, в котором лавливали тысячи золотых карасей. Часть улова шла помещику, остальное распределялось между крестьянами. Моя кормилица жила в этой деревне. Ее семья была из беднейших. Кроме мужа, в семье был маленький мальчик, уже помощник, да девочка, моя молочная сестра, ставшая впоследствии проповедницей и «богородицей» в раскольничьей секте, к которой принадлежала. Кормилица бывала страшно рада, когда я приходил повидать ее. Угостить меня она могла лишь сливками, яйцами, яблоками и медом. Но глубокое впечатление производили на меня ее любовь и ласки. Она накрывала стол белоснежной скатертью (чистота — религиозный культ у раскольников), подавала угощенье в сверкающих деревянных тарелках, ласково говорила со мной, как с родным сыном. Я должен сказать то же самое о кормилицах двух старших братьев моих — Николая и Александра. Они тоже принадлежали к семьям, принимавшим видное участие в двух раскольничьих толках в Никольском. Немногие знают, как много доброты таится в сердце русского крестьянина, несмотря на то, что века сурового гнета, повидимому, должны были бы озлобить его.

В ненастные дни у мосье Пулэна был большой запас историй для нас, в особенности про войну в Испании. Мы постоянно просили рассказать нам опять, как он был ранен в сражении, и каждый раз, как он доходил до того места, что почувствовал, как теплая кровь льется в сапог, мы бросались целовать его и давали ему всевозможные нежные имена.

Все, повидимому, подготовляло нас к военному поприщу: пристрастие отца (единственная игрушка, которую он, как припоминаю, купил нам — было ружье и настоящая будка), военные рассказы Пулэна, более того, даже библиотека, имевшаяся в нашем распоряжении. Эта библиотека принадлежала когда-то деду нашей матери, генералу Репнинскому, видному военному деятелю XVIII века, и состояла из сочинений, большею частью французских, по истории войн, тактике и стратегии, прекрасно переплетенных в кожу и украшенных многочисленными гравюрами. Нашим величайшим удовольствием в ненастные дни было просматривать эти картинки, изображавшие различное оружие со времени евреев и планы всех битв со времен Александра Македонского. Увесистые томы были также великолепным строительным материалом для сооружения сильных крепостей, которые некоторое время выдерживали удары тарана и метательные снаряды Архимедовой катапульты (она, впрочем, скоро была запрещена, так как камни неизбежно попадали в окна). Тем не менее, ни я, ни Александр не стали военными. Литература шестидесятых годов вытравила все, чему нас учили в детстве.

М. Пулэн держался того же мнения о революциях, как и орлеанистский журнал «Illustration Française», старые номера которого он получал от приятеля француза, красильщика на Арбате, и все рисунки которого были нам отлично знакомы. Долгое время революция представлялась мне не иначе, как смертью, скачущей на коне, с красным флагом в одной руке, с косой в другой, чтобы косить людей. Так было нарисовано в «Illustration». Теперь я думаю, однако, что нелюбовь Пулэна ограни-

чивалась лишь революцией 1848 года, так как один из его рассказов о революции 1789 года произвел на меня глубокое впечатление.

Княжеский титул употреблялся в нашем доме впопад и невпопад, при всяком удобном случае. По всей вероятности, это раздражало Пулэна, потому что раз он принялся рассказывать нам то, что знал о великой революции. Я не могу теперь вспомнить всего, что он говорил: припоминаю только, что Пулэн рассказал нам, как «граф Мирабо» и другие отказались от своих титулов и как Мирабо, чтобы выразить свое презрение к аристократическим претензиям, открыл мастерскую с вывеской «Портной Мирабо» (передаю историю как слышал ее от Пулэна). Долгое время после того я все думал, какое бы занятие я бы избрал, чтобы изобразить на вывеске: «Таких-то дел мастер Кропоткин». Впоследствии мой русский учитель Н. П. Смирнов и общий демократический дух русской литературы понудили меня к тому же, и, когда я начал писать повести, — что было на двенадцатом году, — я стал подписываться просто «П. Кропоткин». То же делал я и впоследствии, когда был и в военной службе, несмотря на замечания моих начальников.

В окрестностях Никольского было много имений помещиков.

Трудно найти в центральной России более красивые места для жизни летом, чем берега реки Серены. Высокие известняковые холмы спускаются местами к реке глубокими оврагами и долинами, а по ту сторону реки расстилаются заливные луга; темнеют уходящие вдаль тенистые леса, пересекаемые лощинами с быстро текущими речками. Там и сям виднеются помещичьи усадьбы, окруженные фруктовыми садами, а с вершины холмов можно насчитать сразу не менее семи церковных колоколен. Десятки деревень раскинуты среди ржаных полей.

Наша семья мало с кем из соседей водила знакомство. Только ближайшие к нам помещики иногда навещали нас. Самыми близкими нашими соседями были Толмачовы. Редкая неделя проходила без того, чтобы во дворе не раздавалось дребезжанье их старой большой кареты, запряженной парой шершавых лошадей. Как только карета останавливалась у парадного крыльца, из нее вылезала вся семья — отец, мать и дети.

Иван Сидорович Толмачов, глава семьи, был представительный мужчина, высокого роста. Он постоянно вел разные тяжбы со своими крестьянами, писал жалобы в Петербург на местных представителей власти и был занят составлением всевозможных проектов для усиления власти помещиков над крестьянами.

По обыкновению, Толмачов, не успев еще войти в комнату, говорил громким голосом:

— Здравствуйте, дорогая княгиня, а, знаете, вчера я написал в Петербург министру. Я ему пишу вторично; на первое свое письмо я не получил ответа. В Петербурге не заботятся о наших нуждах, а что мы можем поделать сами с этими скотами крестьянами? Подумайте только, недавно один из них грозил мне, мне — потомственному дворянину, пробывшему восемнадцать лет на государевой службе, и который столько лет пользуется расположением вашего сиятельства, — как вам это покажется? . .

Другой брат Толмачева был генералом в отставке. Будучи полковником, он, подобно многим другим, нажил большое состояние, урезывыя солдатские пайки и продавая сукно, выдававшееся на солдатские шинели. Кроме того, он заставлял солдат, знавших какое-нибудь ремесло, работать на себя. Генерал Толмачов был очень высокого мнения о себе. Он говорил всегда с большим апломбом и торжественностью.

Своим соседям помещикам, которые были беднее его или ниже чином, он подавал только два пальца — и с таким видом, словно он делал этим великую честь. Но когда он подходил к «ручке» нашей мачехи, то он весь изгибался и всегда повторял одну и ту же фразу:

— В Петербурге я всегда говорю, что для меня большое счастье иметь летом таких уважаемых и достопочтенных соседей, как вы, дорогая княгиня.

После этого, он сейчас же просил разрешения закурить и, раскуривая папироску, говорил:

— Когда я был командиром полка, я пил всегда только русскую очищенную и курил простую махорку... ничего нет полезнее для здоровья, как чистая махорка...

И это говорилось лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть свое уважение к дамам.

Толмачовы обыкновенно приезжали к нам с двумя своими дочерьми и мальчиком сыном. Старшая дочь была очень тихой девочкой. К несчастью своему, она воспитывалась в фешенебельном петербургском институте для «благородных девиц» и там получила такое ложное представление о жизни и людях, что когда после окончания института она познакомилась с действительной жизнью, то разочаровалась в людях и кончила тем, что постриглась в монахини.

Ее младшая сестра была ее полной противоположностью. Она была воплощением здоровья и веселья; о чем бы серьезном с ней ни заговаривали, она всегда разражалась громким смехом, но не потому, что была истеричкой, но таков был ее веселый нрав. Иногда, сидя за обеденным столом, брат ее серьезно обращался к ней:

— Посмотри, Катя, на потолок, видишь, как там мухи ходят кверху ногами?

И этого было достаточно, чтобы Катя залилась таким безудержным смехом, что единственным для нее спасением было выйти из-за стола и на некоторое время убежать в сад. Когда она не смеялась, то ее жизнерадостность проявлялась в поцелуях: она беспрестанно целовала своих товарищей по игре, девочек и мальчиков без различия. Пулэн, заметив это, сделал нам строгий выговор и сказал, что если мы будем позволять девочкам часто целовать себя, то у нас на губах вырастут усы, а в нашем возрасте это позорно.

Мы, дети, очень любили бывать в гостях у Толмачовых. У них был огромный фруктовый сад, и мы в этом саду играли «в разбойников». В саду была старая, заброшенная сторожка, и она нам служила разбойничьей пещерой.

В наших играх принимали участие и девочки: Катя и ее две подруги Варенька и Юлия. Катя была незаменимым товарищем для игр, лучше нельзя было и желать, но любовью нашей пользовалась ее подруга

П. А. Кропоткин в возрасте 4-х лет

Варенька, красивая, серьезная девочка. В нее одновременно были влюблены брат Кати Толмачовой и мой брат Саша, а потом и я разделил их участь. Нужно заметить, что Варенька была на два года старше самого старшего из нас, ей было около пятнадцати лет, а нам лет по двенадцати-тринадцати. Варенька не обращала на своих поклонников ни малейшего внимания и смотрела на нас, как на мальчишек. Ее же подруга Юленька замечала нашу влюбленность, зло вышучивала нас и очень ревновала к своей подруге.

Однажды мы втроем — брат Кати Толмачовой, мой брат Саша и я — созвали «совет» и решили похитить Вареньку и Юленьку и заманить их в разбойничью пещеру, и там заставить Вареньку поцеловать каждого из нас. Мы выработали очень сложный, стратегический план, по образцу тех, о которых мы читали в истории о войнах древних персов с греками. Наш план удался. Мы заманили девочек к сторожке и, к ужасу Кати, похитили ее двух подруг. Но Катя храбро ворвалась в разбойничью пещеру на защиту своих подруг и стала отбивать Вареньку. Юленька вырвалась и, плача, побежала жаловаться Пулэну. Я не знаю, чем кончилась бы вся эта история, если бы сама Катя Толмачова не примирила всех нас. После этого мы перестали дразнить Юлю, а Вареньку стали «обожать» еще больше. Но вскоре наступила осень, и мы переехали в Москву и здесь скоро ее забыли.

Усадьба Толмачовых не отличалась чистотой и порядком. Коровы, гуси и куры свободно разгуливали по двору, а на обширном дворе достраивалась огромная постройка. Старый генерал очень любил живопись, и, когда он жил в Петербурге, он накупил сотни разных картин, большей частью довольно плохие копии с полотен старых мастеров. Все стены его небольшого дома были увешаны картинами, а многие из них лежали нераспакованными в ящиках в амбаре.

И вот генералу пришла мысль выстроить для картин специальный дом и устроить там своего рода «картинную галлерею». Я никогда не видал более безобразной постройки в смешанном стиле барокко и готики. Нет надобности, конечно, говорить, что здание строилось трудом крепостных, и крестьяне Толмачовых не одну зиму возили кирпич и известь для дома из Калуги, отстоявшей за двадцать верст.

Другой наш сосед по имению построил свою усадьбу среди огромного парка с бесконечным числом аллей, с прекрасным цветником, беседками, теплицами и вырытыми прудами.

Он был также военным, «генералом от артиллерии», и поэтому в парке устроил небольшую крепость с настоящими укреплениями и несколькими пушками, из которых делали салюты в дни семейных торжеств.

Освобождение крестьян в 1861 году положило конец всем таким затеям. Картинная галлерея у Толмачовых так и осталась незаконченной, а крепость вскоре обратилась в бесформенную груду валов. Пруды заросли камышом и осокой, а памятники былого свидетельствовали лишь о сумасбродных затеях бывших владельцев крепостных.

Всего печальнее было то, что все эти затеи исполнялись подневольным трудом крепостных в ущерб их хозяйству. Обычно все поместья, где помещики вели сытую и привольную жизнь, состояли из небольших деревень в двести-триста душ, и на долю крестьян этих деревень выпадала тяжелая обязанность три дня в неделю отдавать работе на помещика.

Крестьянские девушки и женщины, кроме сельских работ, выполняли еще различные рукоделья, ткали холст и т. д.

Все имения у большинства помещиков были заложены и перезаложены. И все наши соседи были похожи в этом отношении друг на друга. Молодые помещики не многим чем отличались от старых. Один из таких помещиков, получивший высшее образование в Петербурге, поселившись в имении, решил вести хозяйство на новых началах.

Прежде всего он выписал английские машины и пригласил немца в управляющие. Но машины оказались не под силу для изнуренных крестьянских лошадей, и в случае поломки машины приходилось посылать для ремонта чуть ли не в Москву. Немец-управляющий так восстановил крестьян против себя своим презрительным отношением, что помещик вынужден был ему отказать от места. После неудачных попыток вести хозяйство на новых началах, молодой помещик снова взял бывшего управляющего своего отца, ловкого и хитрого мужика, который своей жестокостью нагонял страх на крепостных. И так кончались почти все опыты во многих имениях.

Нам, детям, больше всего нравилась семья небогатой помещицы Сорокиной. Мать, старая вдова, сама вела хозяйство и на небольшой доход, получаемый от имения, воспитывала семь дочерей и одного сына, который был студентом в Московском университете. Моя сестра Елена и я сам больше всего любили бывать в этой семье, хотя наш отец не любил старой помещицы и называл ее «гордячкой». Но нам, детям бесконечно нравился ее небольшой домик и старый запущенный сад.

Все в этой семье, начиная со старшего сына-студента и старшей дочери, учившейся вместе с моей сестрой Еленой в институте, интересовались серьезными вопросами и любили литературу.

Это было одно из тех семейств, которое описывал Тургенев в своих произведениях. Тургенев был любимым писателем и в этой семье. Как часто мы, сидя за круглым столом, читали повести Тургенева, а также последнюю книжку толстого журнала. Какую массу сведений о жизни мы почерпнули в этой семье. Из таких-то семей и вышли потом молодые интеллигентные силы, когда наступила пора действовать. Это произошло через несколько лет после освобождения крестьян от крепостной зависимости.

VIII

Осенью 1852 года Александр поступил в кадетский корпус, и с тех пор мы видались лишь на праздниках да иногда по воскресеньям. До кадетского корпуса от нашего дома было верст семь, и хотя у нас держали десяток лошадей, но всегда как-то выходило, что когда следовало послать сани в корпус за братом, все лошади были в разгоне. Николай приезжал домой очень редко. Относительная свобода, которую Александр нашел в военном училище, а в особенности влияние двух преподавателей литературы, быстро содействовали его развитию. Дальше мне придется еще сказать о том благотворном влиянии, которое имел он на мое развитие. Мне выпало на долю большое счастье иметь любящего, развитого старшего брата.

Я тем временем оставался дома. Приходилось дожидаться, покуда придет мой черед поступить в Пажеский корпус, а он пришел, когда мне

было почти пятнадцать лет. Пулэн уже в 1853 году получил отставку, и вместо него пригласили учителя-немца, Карла Ивановича, оказавшегося одним из тех идеалистов, которые нередко встречаются среди немцев. В особенности помню я, как он читал Шиллера: наивная его декламация приводила меня в восторг. Прожил он у нас только одну зиму.

Осенью 1853 года я поступил учиться в Первую московскую гимназию, а для домашних уроков отец пригласил студента Московского университета Н. П. Смирнова. Гимназия помещалась тогда на Пречистенке почти рядом с нашим домом. Меня приняли в третий класс, мне было всего 11 лет, а уже приходилось проходить целый ряд предметов, большей частью выше детского понимания. Преподавались же все предметы самым бессмысленным образом. Геометрии нас учил некто Невенгловский, шутливо-грубо обращавшийся с учениками. Большинство из нас ничего не понимало в тех премудростях, которые он вычерчивал на доске, и мы заучивали на память, по книжке, мудреные теоремы Эвклида. Мне Невенгловский ставил «пять», но я решительно не знаю за что. Я ровно ничему не выучился в гимназии из геометрии и когда, четыре года спустя, я снова стал учиться геометрии в Пажеском корпусе, все, с самых первых определений, было для меня совершенно ново. Я знал хорошо только четыре правила арифметики.

Всего лучше обстояло дело с русским языком. Писал я совершенно правильно под диктовку, и «сочинения» на заданные темы вполне удовлетворяли учителя Магницкого, который был грозой всего класса, но мне он всегда ставил «пятерки», вплоть до экзамена, когда я жестоко срезался на каких-то деепричастиях и мне поставили «двойку».

По истории дела у меня шли из рук вон плохо. История преподавалась у нас таким образом: в класс приносилась доска, разграфленная на квадратики, каждые сто квадратиков изображали столетие, а каждый квадратик — год. Как только доску устанавливали — начиналась пытка. Во всех квадратиках были изображены значки, — кружочки, палочки, кресты. Учитель брал трость и тыкал ею то в палочку, обозначавшую вступление на престол какого-нибудь царя, то в кружочек, обозначавший какую-либо войну, и грозно спрашивал: — «Григорьев, что это обозначает; Николаев, а это что» и т. д.

Начиналось всеобщее нервничанье. Отвечать надо было сразу, и хотя кружок или палочка уже по самому своему положению обозначали год и то, что в этом году произошла война, но второпях каждый из нас отвечал невпопад, на столетие раньше или позже. Мы перевирали войны и «вступления на престол», и «единицы» и «двойки» так и сыпались в классный журнал. По истории у меня неизменно красовалась двойка вплоть до экзамена. На экзамене мне досталось царствование Александра I и война 1812 года, и мой связный и одушевленный рассказ о наполеоновских войнах, о которых я так много слышал от Пулэна, так понравился экзаменаторам, что мне единодушно поставили «пять» да еще с плюсом, уничтожая, таким образом, все следы моих неизменных «двоек». Горе у меня было также и с географией. Я любил географию и учился с удовольствием. Я с моим другом Николаевым составили даже географию нашей гимназии. Написали целый курс с картами и планами. Помню наш третий класс мы описывали так: «с юга он омывается морем-«Пречистенкой», на востоке граничит с государством второклас-

ников, а с запада прилегает к обширному государству четвероклассников, говорящих на чужестранном языке, именуемом латынью».

Описывалась и «поверхность» нашего класса с «горою» — кафедрой, «вулканами», классной доской, перечислялись и «долины» между партами и характеризовались их «обитатели» — смирные и степенные на первой скамье и все более и более буйные по мере удаления от главного «залива», в который приплывают чужестранцы, сиречь учителя, несущие страх и смятение в нашу страну. Тут же мы рассказывали историю нашей страны и описывали, как один из чужестранцев был сброшен вместе со своим троном с горы — кафедры злокозненным обществом горных стрелков, которые ухитрились прорыть «канал» между кафедрой и стеной, то есть попросту отодвинули кафедру несколько от стены, поставили трон чужестранца на самый край «обрыва», вследствие чего чужестранец, не заметивший козней своих врагов, усевшись по обычаю на трон, полетел на землю и стукнулся головой о стену. «Казенной» географии я тоже хорошо учился и вычерчивал очень тщательно карты. Но все-таки я был на дурном счету у «чужестранца», учившего нас географии, и за что? — За излишнее усердие.

Учитель географии задавал нам чертить карты разных государств, но он заставлял нас просто копировать карты с географического атласа. Меня это не удовлетворяло и поэтому я вместе с Н. П. Смирновым чертил карты на географической сетке и раскрашивал их. Когда я принес изящно раскрашенную карту Англии и преподнес ее учителю, он ужасно рассердился и к великому моему огорчению поставил мне двойку.

Научился я в гимназии очень не многому, но зима, проведенная в школе, среди других мальчиков, бывших большей частью гораздо старше меня, — все это дало толчок моему развитию. С этих пор начинается моя сознательная жизнь. Все, что я помню из моего раннего детства, рисуется мне в виде отдельных сцен, отделенных друг от друга большими пробелами.

С весны же 1854 года, то есть с одиннадцати с половиной лет, я начинаю помнить все события, год за годом. Люди вокруг меня, их лица, их манеры — все стало врезаться мне в память. С этих пор я стал более или менее сознательно читать и с этих же пор начинаются мои первые детские литературные упражнения, которые развивал во мне мой учитель Н. П. Смирнов.

Отсюда начинается переход от детства к отрочеству, и я расскажу теперь то, что я наблюдал вокруг себя в эти три года—лучшие годы моего детства, которые пронеслись между гимназией и Пажеским корпусом.

Мой учитель Н. П. Смирнов к тому времени кончил университет и получил небольшое место в гражданской палате, где проводил все утро; я же оставался один до обеда. После приготовления уроков и прогулки у меня оставалось еще много времени, чтоб читать и в особенности чтоб писать. Осенью же, когда учитель возвращался в Москву, а мы все еще продолжали жить в деревне, я опять оставался один. Уроков никаких не было, и, поболтавши в семье и поигравши с маленькой сестрой Полинькой [14], я мог вволю отдаваться чтению и письму.

Крепостное право доживало тогда последние годы. Все это было еще так недавно, — точно вчера, — а между тем немногие в России ясно

сознают, чем было крепостное право. Большинство, конечно, знает, что тогдашние условия были плохи; но как сказывались эти условия физически и нравственно на живых существах, едва ли многие понимают. Просто поразительно видеть, как быстро было забыто учреждение и общественные условия, порожденные им, едва только учреждение перестало существовать. Так быстро меняются обстоятельства и люди! Постараюсь поэтому рассказать, как жили при крепостном праве. Буду передавать не то, что слышал, а то, что сам видел.

Ключница Ульяна стоит в коридоре, ведущем в кабинет отца, и крестится. Она не смеет ни войти, ни повернуть назад. Наконец, она прочитывает молитву, входит в кабинет и едва слышным голосом докладывает, что запас чая почти на исходе, что сахара осталось всего лишь фунтов двадцать и что остальная провизия также скоро выйдет.

— Воры! Грабители! — кричит отец. — А ты заодно с ними!

Голос его гремит на весь дом. Мачеха послала Ульяну, чтобы на ней разразилась гроза.

— Фрол, позови княгиню! — кричит отец. — Где она? — И когда мачеха входит, он встречает ее таким же образом.

— И ты заодно с хамовым отродьем! Ты заступаешься за них. — и так далее в продолжение целого получаса, а иногда и больше.

Затем отец принимается проверять счета. При этом он вспоминает о сене. Посылается Фрол перевесить, сколько осталось его; мачехе приказывается присутствовать при взвешивании, а отец вычисляет, сколько должно быть сена на сеновале. Выходит, повидимому, что исчезло много пудов, а Ульяна не может сказать, как израсходовано несколько фунтов какой-то провизии. Голос отца становится все более и более грозным. Ульяна трепещет. Теперь зовут к допросу кучера. На нем разражается гроза. Отец бросается на него и принимается бить. Кучер твердит одно: «Ваше сиятельство изволили ошибиться».

Отец снова принимается считать. На этот раз выходит, что на сеновале больше сена, чем следовало. Крики продолжаются. Теперь отец ругает кучера за то, что он задает лошадям меньше корма, чем надлежит; но кучер призывает в свидетели всех святых, что лошади получают корма, сколько следует. Фрол призывает в свидетельницы богородицу, что кучер говорит правду.

Но отец не желает угомониться. Он призывает настройщика и подворецкого Макара и высчитывает ему все недавние проступки и прегрешения. Макар на прошлой неделе напился и наверное был пьян также вчера, потому что разбил несколько тарелок. В сущности, разбитые тарелки были первопричиной всей тревоги. Мачеха сообщила об этом отцу утром; в силу этого Ульяна была встречена большею бранью, чем обыкновенно в подобных случаях; в силу этого состоялась проверка сена. Отец продолжает кричать, что хамово отродье заслуживает всяческого наказания.

Внезапно наступает затишье. Отец садится за стол и пишет записку. «Послать Макара с этой запиской на съезжую. Там ему закатят сто розог».

В доме ужас и оцепенение.

Бьет четыре. Мы все спускаемся к обеду, но ни у кого нет охоты есть. Никто не дотрагивается до супа. Нас за столом десять человек.

За каждым стоит скрипка или тромбон, с чистой тарелкой в левой руке, но Макара нет.

— Где Макар? — спрашивает мачеха. — Позвать его.

Макар не является, и приказ отдается снова. Входит Макар, бледный, с искаженным лицом, пристыженный, с опущенными глазами. Отец глядит в тарелку. Мачеха, видя, что никто из нас не дотронулся до супа, пробует оживить нас.

— Не находите ли вы, дети, — говорит она по-французски, — что суп сегодня превосходный?

Слезы душат меня. После обеда я выбегаю; нагоняю Макара в темном коридоре и хочу поцеловать его руку; но он вырывает ее и говорит не то с упреком, не то вопросительно.

— Оставь меня; небось, когда вырастешь, и ты такой же будешь?

— Нет, нет, никогда!

А между тем отец мой был не из жестоких помещиков. Наоборот, слуги даже и мужики считали его хорошим барином. Но то, что я только что описал, происходило всюду, часто в гораздо более жестокой форме. Сечение крепостных входило в круг обязанностей полиции и пожарных.

Один помещик раз спросил другого:

— Почему это в вашем имении число душ так медленно прибывает? Вы, по всей вероятности, мало следите за тем, чтобы люди женились?

Через несколько дней после этого генерал возвратился в свою деревню. Он велел принести себе список всех крестьян, отметил имена всех парней, достигших восемнадцати лет, и девушек, которым исполнилось шестнадцать, т. е. всех тех, которых по закону можно венчать. Затем генерал отдал приказ: «Ивану жениться на Анне, Павлу на Парашке, Федору на Прасковье» и т. д. Так он наметил пять пар. «Пять свадеб, — гласил приказ, — должны состояться в воскресенье, через десять дней».

Вой поднялся по всей деревне. В каждой избе вопили женщины, молодые и старые, Анна надеялась выйти за Григория. Павловы старики уже сговорились с Федотовым насчет их дочери, которая скоро входила в возраст. На придачу, время было пахать, а не свадьбы играть! Да и как можно приготовиться к свадьбе в десять дней. Десятки крестьян приходили, чтобы повидать барина. Группы баб с кусками тонкого полотна в руках дожидались у черного входа барыни, чтобы заручиться ее заступничеством. Но все было напрасно. Помещик заявил, что свадьбы должны быть через десять дней; так оно и быть должно.

В назначенный день свадебные процессии, скорее напоминавшие похороны, направились в церковь. Женщины вопили и причитывали, как по покойникам. Одного из лакеев командировали в церковь, чтобы доложить, когда обряд свершится. Скоро, однако, лакей прибежал, бледный и расстроенный, с шапкой в руках.

— Парашка упрямится, — доложил он. — Она не хочет выходить за Павла. Когда батюшка спросил: «Согласна ты?» она громко крикнула: «Нет, не согласна!»

Помещик рассвирепел.

— Ступай и скажи ему, долгогривому, что если он не обвенчает Парашку, я донесу на него архиерею, он — пьяница: Как смеет он, мерзавец, не слушаться меня. Скажи, что я его сгною в монастыре. Парашкиных же родителей сошлю в степную деревню.

Лакей передал приказ. Парашку обступили поп и родные. Мать на коленях молила дочь не губить всех. Девушка твердила: «Не хочу», но все более и более слабым голосом: потом шопотом; наконец, совсем замолчала. Ей возложили венец... Она не сопротивлялась. Лакей помчался в барский дом с докладом: «Повенчали».

Полчаса спустя, у ворот помещичьего дома забряцали бубенчики свадебных поездов. Пять пар слезли с телег, перешли двор и вошли в переднюю. Помещик принял их и велел поднести по рюмке водки. Родители, стоявшие позади плакавших дочерей, велели им кланяться в ноги барину.

Свадьбы по приказу составляли такое обычное явление, что среди наших дворовых молодые люди, не любившие друг друга, но предвидевшие, что их ведят обвенчать, обыкновенно кумились. По закону, венчание становилось невозможным. Хитрость обыкновенно удавалась: но раз такая хитрость в нашем доме закончилась трагедией. Портной Андрей полюбил девушку, принадлежащую соседнему помещику. Он надеялся, что отец отпустит его на оброк и что, работая усердно, он сможет скопить денег на вольную для девушки. Иначе, выйдя замуж за отцовского крепостного, она тоже стала бы крепостной отца. А так как Андрей предвидел, что ему могут приказать обвенчаться с одной из наших горничных, он решил заранее покумиться с ней.

Случилось именно то, чего они опасались. Раз их позвали в кабинет к отцу и отдали приказ повенчаться.

— Мы всегда рады выполнить вашу волю, — ответили они, — да несколько недель тому назад мы вместе крестили. Андрей также сообщил о своем намерении... Кончилось тем, что его сдали в солдаты.

При Николае I не было всеобщей воинской повинности, как теперь. Дворяне и купцы не были обязаны служить. Когда объявляли новый набор, помещики должны были доставить известное число рекрут. Обыкновенно в каждой деревне крестьяне сами вырабатывали черед; но дворовые зависели всецело от произвола помещика. Если барин был недоволен дворовым, он отправлял его в воинское присутствие и получал рекрутскую квитанцию, которая представляла значительную денежную стоимость, так как ее можно было продать одному из тех, кому предстояло итти в солдаты.

Солдатская служба в то время была ужасна: она продолжалась двадцать пять лет. Стать солдатом значило навсегда оторваться от родной деревни и от родных и находиться в полной власти у такого командира, как, например, Тимофеев, о котором я уже говорил. Побои, розги, палки сыпались каждый день. Жестокость при этом превосходила все, что можно себе представить. Даже в кадетских корпусах, в которых воспитывались дети дворян, присуждалась иногда тысяча розог, в присутствии всего корпуса, за папиросу. Доктор стоял возле истязаемого мальчика и останавливал наказание только тогда, когда пульс почти переставал биться. Окровавленную жертву в обмороке уносили в госпиталь. Великий князь Михаил, начальник военных училищ, быстро удалил бы директора, у которого не было хоть одного или двух подобных случаев в течение года. «Дисциплины нет!» — сказал бы он.

С простыми солдатами поступали, конечно, еще хуже. Если кто попадал под военный суд, приговор был почти всегда — прогнать сквозь

строй. Тогда выстраивали в два ряда тысячу солдат, вооруженных палками толщиною в мизинец (они сохранили свое немецкое название шпицрутены). Осужденного проволакивали сквозь строй три, четыре, пять и семь раз, причем каждый солдат отпускал каждый раз по удару. Унтер-офицеры следили за тем, чтобы солдаты били изо всех сил. После одной или двух тысяч палок харкающую кровью жертву уносили в госпиталь, где ее лечили только для того, чтобы наказание могло быть доведено до конца, как только солдат немного оправится. Если он умирал под палками, окончание приговора производилось над трупом, привязанным к тачке. Николай I и брат его Михаил были безжалостны. Никакое смягчение наказания не было даже возможно.

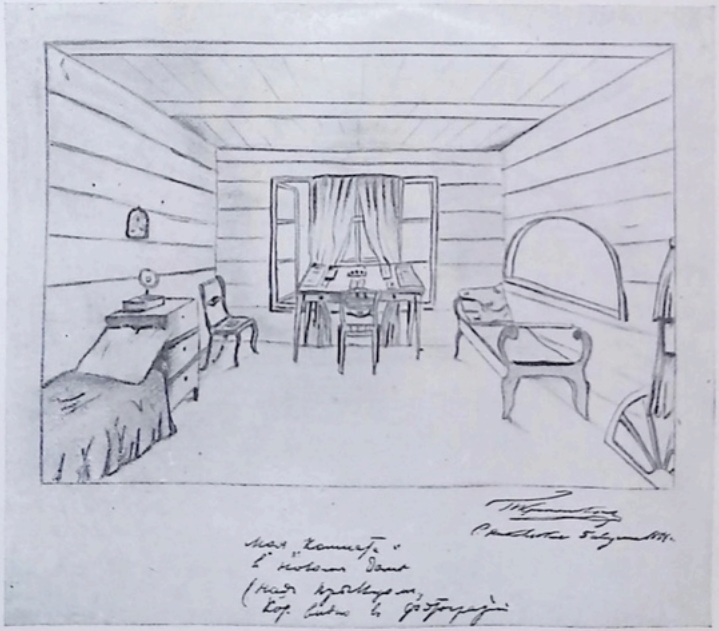
«Я тебя прогоню сквозь строй. Я тебе шкуру спущу под палками!» — такова была обычная угроза в то время.

Мрачный ужас охватывал весь наш дом, когда становилось известно, что кого-нибудь из прислуги отправляют в военное присутствие. Его заковывали и сажали в контору под караулом, чтоб помешать ему наложить на себя руки. Затем к дверям конторы подъезжала телега, и сдаваемого выводили в сопровождении двух караульных. Все дворовые окружали его. Он кланялся всем низко и просил каждого простить ему вольные и невольные прегрешения. Если родители сдаваемого жили в деревне, они приходили также, чтобы проводить. Тогда он клал родителям низкий поклон, причем мать и родственницы начинали причитывать, как по покойнику: «На кого ты нас покинул? Кто порадеет о нас на чужой сторонке? Кто нас, сиротушек, от людей злых да укроет?..»

Таким образом, Андрею предстояло двадцать пять лет тянуть солдатскую лямку. Все его мечты о счастье рухнули сразу.

Свадьба одной из горничных, Пелагеи или Поли, как ее звали, была еще более трагична. В детстве ее сдали в магазин, где она в совершенстве изучила тонкое вышивание. В Никольском ее пяльцы стояли в комнате сестры Лены. Она, обыкновенно, принимала участие в разговорах между Леной и жившей в той же комнате сестрой мачехи. Как по разговору, так и по манерам Поля скорее была похожа на барышню, чем на горничную.

С ней случилось несчастье: она убедилась, что должна скоро стать матерью. Тогда она рассказала все мачехе, которая разразилась упреками: «Не хочу больше иметь в доме эту тварь! Не допущу подобного стыда в моем доме. Бесстыдница, дрянь!» и т. д. На слезы Лены не обратили внимания. Поле отрезали косу и сослали на скотный двор. Но так как она, как раз в то время, вышивала удивительную юбку, то работу приказано было кончать на скотном, в грязной избе, у крошечного оконца. Поля закончила работу и сделала еще много других тонких вышивок, в надежде получить прощение. Но оно не приходило. Отец ребенка, дворовый нашего соседа, молил о разрешении жениться. Но так как у него не было денег, чтобы выкупить Полю, то разрешения не дали. «Дворянские манеры» Поли приняли как отягчающие вину обстоятельства, и ей приготовили горькую долю. Среди наших дворовых был один, который за малый рост ездил форейтором. Звали его Филька. Косолапый. В детстве его жестоко зашибла лошадь, и он не рос больше; ноги у него были колесом, ступни вывернуты вовнутрь, нос сломан и согнут



Детский рисунок П. А. Кропоткина 1854 г.

На рисунке позднейшая приписка П. А.: Моя комната в новом доме

в сторону, а челюсть обезображена. За этого-то урода решили отдать Полю и отдали. Выдали ее силой. Новобрачных послали на крестьянскую работу в рязанскую деревню.

Человеческие чувства не признавались, даже не подозревались в крепостных. Когда Тургенев написал «Муму», а Григорович свои романы, в которых заставлял публику плакать над несчастьем крепостных, для многих читателей то было настоящим откровением. «Возможно ли это? Неужели крепостные любят совсем как мы?» — восклицали сантиментальные дамы, которые при чтении французских романов горько оплакивали злосчастия благородных героев и героинь.

Образование, которое давали иногда помещики своим крепостным, являлось для них новым источником несчастий. Отец мой раз выбрал в крестьянской избе одного способного мальчика и отдал его в фельдшерскую школу. Мальчик был прилежный и через несколько лет сделал значительные успехи. Когда он вернулся из ученья, отец купил все необходимое для хорошей аптеки, и ее устроили очень удобно в одном из флигелей в Никольском. Летом «Саша-доктор», как звали в доме молодого человека, усердно собирал и сушил различные целебные травы. В короткое время он стал очень любим в Никольском и во всей округе: больные крестьяне приходили из соседних деревень, и отец очень гордился успехом своей аптеки. Но это продолжалось недолго. Раз зимой отец приехал в Никольское, прожил здесь несколько дней и уехал. В ту же ночь Саша-доктор застрелился, — нечаянно, как говорили. Но причиной была любовная история. Он любил девушку, на которой не мог жениться, так как она была крепостная другого помещика.

Судьба другого молодого человека, Герасима Круглова, которого отец отдал в московское земледельческое училище, была почти так же печальна. Он блестяще окончил — с золотой медалью. Директор училища употребил все усилия, чтобы убедить отца дать Круглову вольную и открыть ему доступ в университет, куда крепостных не принимали.

— Круглов, наверное, будет замечательным человеком, — говорил директор, — быть может, гордостью России. Вам будет принадлежать честь, что вы оценили его способности и дали такого человека русской науке.

— Он мне надобен в моей деревне, — отвечал отец на настойчивые ходатайства за молодого человека. В действительности, при первобытном способе ведения хозяйства, от которого отец ни за что не отступил бы, Герасим Круглов был совершенно бесполезен. Он снял план имения, а затем ему приказали сидеть в лакейской и стоять с тарелкой в руках за обедом. Конечно, на Герасима это должно было сильно подействовать. Он мечтал об университете, об ученой деятельности. Его взгляд выражал страдание; мачеха же находила особое удовольствие оскорбить Герасима при всяком удобном случае. Раз осенью порыв ветра открыл ворота. Она крикнула проходившему Круглову: «Гараська, ступай, запри ворота!»

То была последняя капля. Герасим резко ответил: «На то у вас есть дворник», — и пошел своей дорогой.

Мачеха вбежала с плачем в кабинет к отцу и принялась ему выговаривать: «Ваши люди оскорбляют меня в вашем доме!..»

Герасима немедленно заковали и посадили под караул, чтобы сдать в солдаты. Прощанье с ним стариков-родителей было одною из самых тяжелых сцен, которые я когда-либо видел...

На этот раз судьба, однако, отомстила. Николай I умер, и военная служба стала менее тяжелой. Замечательные способности Герасима были скоро замечены, и через несколько лет он стал одним из главных письмоводителей и, в сущности, душой одного из департаментов военного министерства. Случилось так, что мой отец, человек абсолютно честный, никогда не бравший взяток — и это в такое время, когда взятками все наживали состояния — нарушил, однако, правила службы и раз допустил неправильность, чтобы угодить своему корпусному командиру генералу Гартунгу: он записал в разряд «неспособных» одного из солдат, служившего у корпусного за управляющего. Отцу это едва не стоило генеральского чина, который должны были дать ему при выходе в отставку. Главная, единственная цель его тридцатипятилетней службы была в опасности. Мачеха помчалась в Петербург, чтобы уладить историю. После долгих хлопот ей сказали, наконец, что единственно, что остается, — это обратиться к одному из письмоводителей такого-то департамента. — Хотя он лишь простой главный писарь, — сказали ей, — но в действительности он руководит всем и может сделать, что захочет. Зовут его Герасим Иванович Круглов.

— Представь себе, — рассказывала мне потом мачеха, — наш Гараська! Я всегда знала, что у него большие способности. Пошла я к нему и сказала о деле, а он мне в ответ: «Я ничего не имею против старого князя и сделаю все, что могу, для него».

Герасим сдержал слово: он сделал благоприятный доклад и отца произвели. Наконец-то, он мог надеть так давно желанные красные штаны, шинель на красной подкладке и каску с плюмажем.

Таковы были дела, которые я сам видел в детстве. Картина получилась бы гораздо более мрачная, если бы я стал передавать то, что слышал в те годы: рассказы про то, как мужчин и женщин отрывали от семьи, продавали, проигрывали в карты, либо выменивали на пару борзых собак или же переселяли на окраину России, чтобы образовать новое село; рассказы про то, как отнимали детей у родителей и продавали жестоким или же развратным помещикам; про то, как ежедневно, с неслыханной жестокостью пороли на конюшне; про девушку, утопившуюся, чтобы спастись от насилия; про старика, поседевшего на службе у барина и потом повесившегося у него под окнами; про крестьянские бунты, укрощаемые николаевскими генералами запарыванием до смерти десятого или же пятого и опустошением деревни. После военной экзекуции остававшиеся в живых крестьяне отправлялись побираться под окнами. Что же касается до той бедности, которую во время поездок я видел в некоторых деревнях, в особенности в удельных, принадлежавших членам императорской фамилии, то нет слов для описания всего.

Заветной мечтой крепостных было — получить вольную. Но мечту эту очень трудно было осуществить, так как за вольную приходилось уплатить помещику большую сумму денег.

— Знаешь ли, — сказал мне раз отец, — ваша мать являлась ко мне после смерти. Вы, молодые, не верите в такие вещи, а между тем это правда. Дремлю я раз поздно ночью в кресле, у письменного стола...

Вдруг вижу она входит, вся в белом, бледная, с горящими глазами. Когда твоя мать умирала, она взяла с меня обещание, что я дам вольную ее горничной Маше. Потом, то за тем, то за другим делом, целый год я не мог исполнить обещания. Ну, вот, твоя мать явилась и говорит мне глухим голосом: «Alexis, ты обещал мне дать вольную Маше; неужели забыл?» Я был поражен ужасом. Вскакиваю из кресел, а она исчезла. Зову людей, но никто из них ничего не видел. На другой день я отслужил панихиду на могиле и сейчас же отпустил Машу на волю.

Когда отец умер, Маша пришла на похороны, и я говорил с ней. Она была замужем и очень счастлива. Брат Александр шутливо передал рассказ отца, и мы спросили, что она знает о привидении?

— Все это было уже очень давно, так что я могу вам сказать правду, — ответила Маша. — Вижу я, что князь совсем позабыл о своем обещании; тогда я оделась в белое, как ваша мамаша, и напомнила князю его обещание. Вы ведь не будете сердиться за это?

— Разумеется, нет!

Десять или двенадцать лет после того, как произошли события, описанные в начале главы, я раз ночью беседовал с отцом в его кабинете о прошлом. Крепостное право было отменено: отец жаловался, хотя не сильно, на новый порядок дел. Он принял его без особенного ропота.

— А ведь сознайтесь, — сказал я, — что вы часто жестоко наказывали слуг, иногда даже без всякого основания.

— С этим народом, — отвечал он, — иначе и нельзя было. Разве они — люди?

Затем он откинулся на спинку кресла и задумался.

— Но что я делал, — начал он опять после долгой паузы, — были пустяки; и говорить не стоит. А вот хоть этот самый Саблев: уж на что кажется мягким и говорит таким сладким голоском, а с крепостными чего он ни делал! Сколько раз они собирались убить его! Я, по крайней мере, хоть никогда не трогал своих девок. А вот этот старый чорт Толмачов такой был, что крепостные собирались жестоко изувечить его... Ну, прощай. Bonne nuit *!

IX

Я хорошо помню Крымскую войну. В Москве, надо сказать, она производила не особенно глубокое впечатление. Правда, в каждом доме, на вечерах щипали корпию; но мало ее даставалось русским войскам: большая часть раскрадывалась и продавалась неприятелю. Когда вмешались «союзники», мы все были охвачены патриотизмом и всюду распевали модную в то время песенку:

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом!
Вдохновлен его отвагой,
И француз за ним туда ж
Машет дядюшкиной шпагой
И кричит: «alons, courage!»

* Покойной ночи!

Но обычный ход общественной жизни в Москве не был нарушен происходившей тогда великой борьбой. В деревне же, напротив, война вызвала очень подавленное настроение. Рекрутские наборы следовали один за другим. Мы постоянно слышали причитанья крестьянок. Народ смотрел на войну, как на божью кару, и поэтому отнесся к ней с серьезностью, составлявшей резкий контраст с легкомыслием, которое я видел впоследствии в военное время в Западной Европе. Хотя я был очень молод, но и тогда понимал чувство торжественной покорности судьбе, которое господствовало в деревнях.

Брат Николай, как и другие, был захвачен военной горячкой и присоединился к кавказской армии, не окончив кадетского корпуса. Больше я никогда уже не видел его[15].

В 1854 году семья наша увеличилась: приехали еще две сестры мачехи. У них был дом и виноградник в Севастополе, но теперь они остались без крова и стали жить с нами. Когда союзники высадились в Крыму, жителям Севастополя объявили, что им бояться нечего и что каждому остается лишь жить спокойно. Но после поражения при Черной речке всем велели выбираться, как можно скорее, так как город будет занят через несколько дней. Лошадей нехватало; на придачу, дороги были запружены войсками, передвигавшимися на юг. Нанять повозку оказывалось почти невозможным. Сестры мачехи должны были оставить по дороге почти все свое имущество и вытерпели не мало, покуда добрались до Москвы.

Я скоро подружился с младшей из сестер, тридцатилетней девицей, которая курила папиросы одну за другой и картинно рассказывала мне о всех ужасах дороги. Со слезами на глазах говорила она про прекрасные военные корабли, которые пришлось потопить у входа в Севастопольскую бухту, и не раз повторяла, что не понимает, как это будут защищать Севастополь с суши, так как город не имеет собственно никаких укреплений. Картины осады ярко рисовались мне.

Н. П. Смирнов, который в то время уже кончил университет (вторым кандидатом, первым был Б. Н. Чичерин, известный впоследствии проф. Московского университета) и поступил в Гражданскую палату писцом, на с е м ь рублей в месяц. Возвращаясь из палаты, он часто покупал мне у Александровского сада, у букиниста, брошюрки о войне, и из этих брошюрок, которые я берег как «библиотеку», я узнавал о подвигах севастопольских героев.

Мне шел тринадцатый год, когда умер Николай I. Поздно вечером 18 февраля городовые разносили по домам бюллетени, в которых возвещалось о болезни царя, и население приглашалось в церкви молиться за выздоровление Николая. Между тем царь уже умер, и власти знали про это, так как Петербург и Москва были соединены телеграфом. Но так как до последнего момента ни слова не было произнесено о болезни царя, то начальство сочло необходимым постепенно подготовить «народ». Мы все ходили в церковь и молились очень усердно.

На другой день, в субботу, повторилось то же самое. Даже в воскресенье утром вышли бюллетени о состоянии здоровья царя. Лишь в полдень, от слуг, возвратившихся с Смоленского рынка, мы узнали про смерть Николая I. Когда известие распространилось, ужас охватил как наш, так и соседние дома. Передавалось, что «народ» на базаре держит

себя очень подозрительно и не только не выражает сожаления, но, напротив, высказывает опасные мнения. Взрослые разговаривали не иначе как шопотом, а мачеха твердила постоянно по-французски: «Ах, не говорите при людях!» Слуги, в свою очередь, шептались про «волю», которую дадут скоро. Помещики ждали ежеминутно бунта крепостных — новой пугачовщины.

В это время на улицах Петербурга интеллигентные люди обнимались, сообщая друг другу приятную новость. Все предчувствовали, что наступает конец как войне, так и ужасным условиям, созданным «железным тираном». Говорили о том, что Николай отравился, и в подтверждение указывалось на быстрое разложение тела. Истина, однако, раскрылась постепенно. Смерть произошла, повидимому, от слишком большой дозы возбуждающего лекарства, принятого Николаем.

В провинции летом 1855 года с сосредоточенным интересом следили за героической борьбой под Севастополем за каждый аршин разрушенных укреплений. Из нашего дома дважды в неделю отправлялся нарочный в уездный город за «Московскими Ведомостями», и когда он возвращался, у него хватали газеты и распечатывали прежде даже, чем он успевал слезть с лошади. Лена читала их всем вслух. Новости немедленно передавались в людскую, оттуда в кухню, в контору, священнику, а потом крестьянам.

Когда я читал донесение о сдаче Севастополя, о страшных потерях, которые понесли наши войска за последние три дня перед сдачей, мы все плакали. Все ходили после этого как если бы потеряли близкого человека. При известии же о смерти Николая никто не проронил слезы. Такое чувство было не у нас одних, но и у всех наших соседей.

X

В августе 1857 года пришла моя очередь поступить в Пажеский корпус, и мачеха меня повезла в Петербург. Мне тогда было почти пятнадцать лет. Уехал я из дому мальчиком; но человеческий характер устанавливается довольно определенно, раньше чем, обыкновенно, предполагают, и я не сомневаюсь в том, что, несмотря на отроческий возраст, я в значительной степени и тогда был уже тем, чем стал впоследствии. Мои вкусы и наклонности уже определились.

Первый толчок в развитии дал мне, как я сказал, мой учитель русского языка Николай Павлович Смирнов. Я считаю прекрасным тогдашний обычай — к сожалению, выводящийся уже теперь — иметь в доме студента, чтобы помогать при приготовлении уроков мальчикам и девочкам, даже когда дети поступят в гимназию. Помощь такого учителя неоценима как для того, чтобы лучше усваивать преподавание в школе, так и вообще для того, чтобы расширять круг знаний. Кроме того, таким образом вносится в семью культурный элемент. Студент становится старшим братом молодежи, зачастую даже лучше старшего брата, так как на студенте лежит известная ответственность за успехи его учеников. А так как методы преподавания меняются с каждым поколением, то студент лучше может помочь детям, чем наиболее интеллигентные родители.

Николай Павлович Смирнов имел развитой литературный вкус. В дикую эпоху николаевщины многие совершенно невинные произведения на-

ших лучших писателей не могли быть напечатаны. Другие вещи были так изуродованы цензурой, что теряли всякий смысл. Например, в гениальной комедии Грибоедова полковника Скалозуба пришлось назвать «господином Скалозубом», от чего пострадали и смысл и некоторые стихи. Представить полковника в смешном виде считалось бы оскорблением армии. Вторую часть такой безобидной книги, как «Мертвые души», не разрешили вовсе, а первую часть запретили выпустить вторым изданием, когда первое разошлось.

Многие стихотворения Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого, Рылеева и других поэтов не были пропущены цензурой. Я уже не говорю про стихотворения, заключавшие какую-нибудь политическую мысль или критиковавшие существующий порядок, но даже совсем невинные стихотворения некоторых авторов не попадали в печать. Зато все эти стихотворения ходили в рукописях. Смирнов переписывал их для себя или для приятелей, и в этой работе я иногда помогал ему. Даже большие произведения Гоголя и Лермонтова ходили по рукам в рукописях. Как настоящий москвич, Н. П. Смирнов питал глубочайшее уважение к писателям, жившим в Москве (некоторые из них даже в Старой Конюшенной). С уважением показывал он мне дом графини Салиас (Евгении Тур), нашей ближайшей соседки. Что же касается дома Герцена *, то Николай Павлович мне указывал его не только с уважением, но даже с благоговением. Дом, в котором умер Гоголь (на Никитском бульваре, д. № 7), являлся для нас обоих предметом особого обожания. Хотя мне шел всего десятый год, когда умер Гоголь (1852), и я тогда еще не читал ни одного его произведения, но я хорошо помню, как опечалила Москву эта смерть. Тургенев хорошо выразил это общее горе в заметке, за которую Николай посадил его под арест, а затем сослал в деревню.

«Евгений Онегин» произвел на меня лишь слабое впечатление. И до сих пор я больше восхищаюсь удивительной простотой и красотой формы романа, чем его содержанием. Зато Гоголь, которого я читал, когда мне было одиннадцать или двенадцать лет, произвел на меня громадное впечатление. Мои первые литературные опыты я, в подражание Гоголю, писал в юмористическом жанре. «Юрий Милославский», роман Загоскина, «Капитанская Дочка» Пушкина и «Королева Марго» Александра Дюма надолго заинтересовали меня историей. Что касается других французских романов, то я стал читать их лишь тогда, когда выступили Золя и Додэ. С раннего детства Некрасов был моим любимым поэтом. Многие его стихотворения я знал наизусть.

Николай Павлович рано приохотил меня писать. При его помощи я написал длинную «Историю гривенника». Мы придумывали вместе различные характеры людей, в руки которых попадал гривенник. Саша [16] в то время больше проявлял поэтические наклонности. Он писал романические истории и рано стал сочинять очень звучные стихи, которые давались ему чрезвычайно легко. Он наверное стал бы видным поэтом, если бы всецело не увлекся впоследствии естественными науками и философией. Слегка покатая крыша под нашим окном в то время была любимым местом, где он искал поэтического вдохновения; а я, конечно, не мог удер-

* Сивцев Вражек, № 27.

жаться, чтобы не дразнить его: «Вот у трубы поэт сидит и стихи строчит». Поддразнивание кончалось иногда жестокой потасовкой, которая приводила Лену в отчаяние. Но Саша был незлопамятен. Мир вскоре бывал восстановлен, и мы страстно любили друг друга. У мальчиков любовь и потасовка часто идут рука об руку.

Я даже тогда пробовал стать журналистом. На двенадцатом году я начал издавать ежедневную газету «Дневные Ведомости». Бумаги у нас было в обрез, и, в силу этого, моя газета была лишь в тридцать вторую долю листа. А так как Крымская война еще не начиналась и отец получал только «Московские Полицейские Ведомости», то у меня не было большого выбора для подражания. «Дневные Ведомости», выходившие каждый день, сообщали все новости дня в роде следующих: «утром готовил уроки, ходил гулять с Н. П. Смирновым, вечером приезжали такие-то». Или — «гулять не ходил, страдал животной болью». Летом, в Никольском (содержание ведомостей несколько разнообразилось: «ходили в Костино, убито два дрозда и одна иволга!» и т. д.*

Вскоре, однако, это перестало удовлетворять меня, и в 1855 году я стал издавать ежемесячный журнал «Временник», в котором помещались стихи Александра, мои повести и еще разные разности. Материально журнал был совершенно обеспечен, так как имел подписчиками: во-первых, самого редактора-издателя и, во-вторых, Н. П. Смирнова, который, даже когда оставил наш дом, аккуратно вносил свою плату за подписку в виде определенного числа листов бумаги. За это я чистенько переписывал для постоянного подписчика второй экземпляр.

Когда Смирнов оставил нас, его заменил медицинский студент Н. М. Павлов, который тоже помогал мне в издании. Николай Михайлович был добрейшая душа, высокий, рыжий, весь в веснушках. Он был медик, и когда возвращался из университета, то от его старого сюртука сильно разило трупным запахом и табаком. Н. М. Павлов достал для журнала поэму одного приятеля и, что еще более важно, вступительную лекцию московского профессора по физической географии! Конечно, лекция еще не появлялась в печати: наш журнал ни за что не унизился бы до перепечатки.

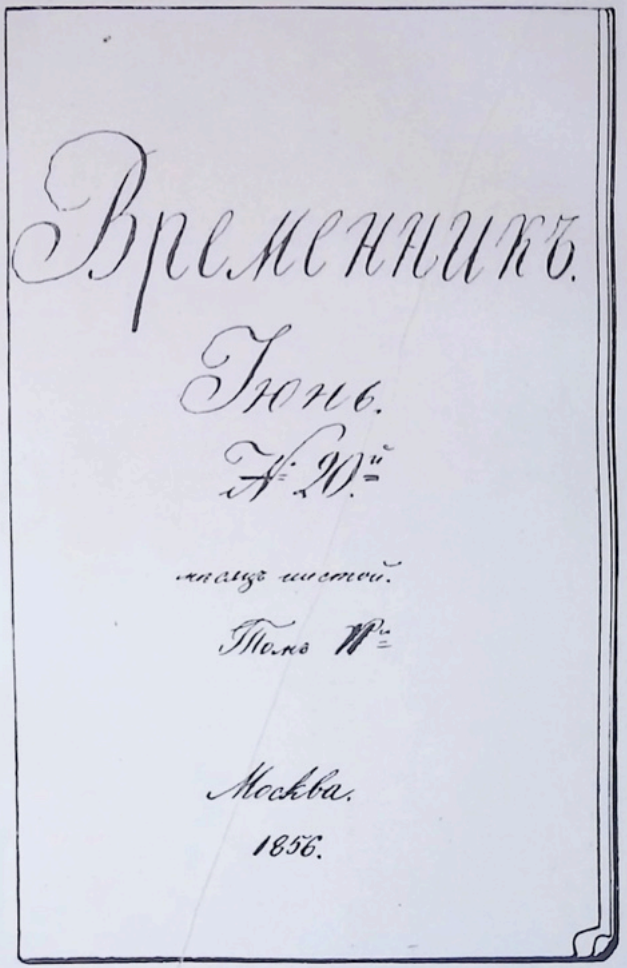
Едва ли нужно говорить, что Саша живо заинтересовался журналом, и слава его вскоре распространилась в стенах кадетского корпуса. Несколько многообещающих молодых писателей задумали издавать соперинческий журнал. Дело принимало серьезный оборот. Что касалось стихотворений и повестей, то преимущество было за нами; но у конкурента был «критик». А «критик», затрагивающий по поводу новых беллетристических произведений всевозможные вопросы, которые не могут быть обсуждаемы иначе, является, как известно, душой русского журнала. У конкурента был критик, а у нас — нет! Он даже написал статью для первого нумера и показал ее брату. Статья, впрочем, была претенциозна и слаба, и Александр немедленно написал антикритику, в которой сокрушил и осмеял автора. Тогда лагерь соперников впал в уныние, узнавши, что антикритика появится в нашем ближайшем номере. Соперники отказались от мысли издавать журнал, и лучшие писатели их лагеря пере-

* Случайно сохранившиеся несколько нумеров рукописных детских журналов П. А. ныне выставлены в Музее им. П. А. Кропоткина. *Прим. ред.*

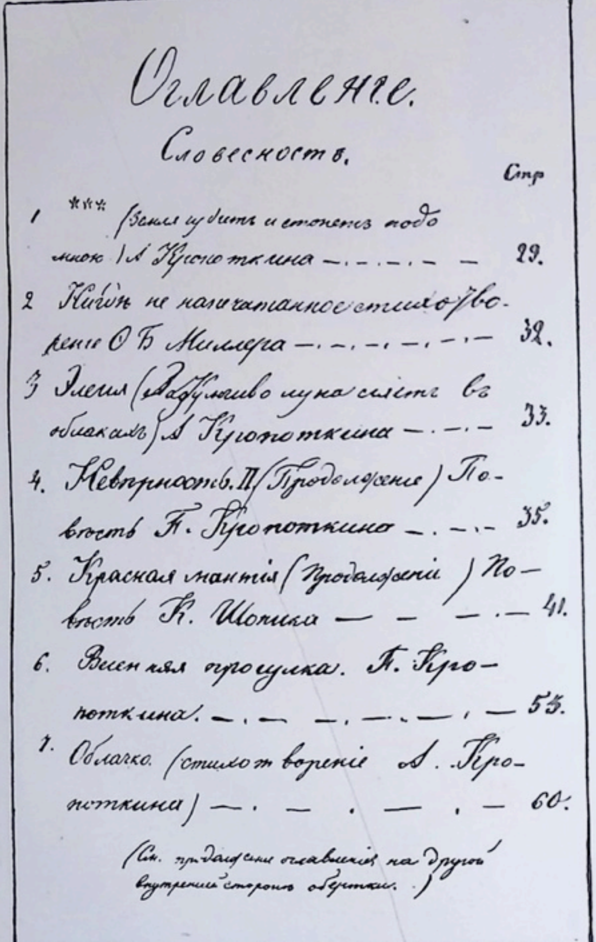
шли к нам. Мы с триумфом возвестили, что заручились исключительным сотрудничеством стольких знаменитых писателей.

Из моих произведений в журнале я помню только «повесть» — «Пребывание в Уицовске», где я довольно комично, подражая, конечно, Гоголю, описал ярмарку в Мещовске с ее оживлением и с антиками-помещиками в благородном собрании.

Журнал прекратился в августе 1857 года, просуществовав два года. Я уехал в Петербург, где меня ждала новая среда и новая жизнь. С сожалением оставлял я Москву, так как в Москве я оставлял любимого брата. Притом я считал уже несчастьем поступление в военное училище.



Титульная страница детского рукописного журнала П. А. Кропоткина „Временникъ"



Оглавленіе.

Словесность.

Стр

1 *** (Земля гудитъ и стонетъ подо мною) А. Кропоткина — 29.

2 Нигдѣ не напечатанное стихотвореніе О. Б. Миллера — 32.

3 Элегія (Задумчиво луна сіяетъ въ облакахъ) А. Кропоткина — 33.

4. Невѣрность. II (Продолженіе) Повѣсть П. Кропоткина — 35.

5. Красная мантія (Продолженіе) Повѣсть К. Шопика — 41.

6. Весенняя прогулка. П. Кропоткина. — 53.

7. Облачко. (стихотвореніе А. Кропоткина) — 60.

(См. продолженіе оглавленія на другой внутренней сторонѣ обертки.)

Факсимиле страницы детского рукописного журнала „Временник"

ПАЖЕСКИЙ КОРПУС

I

Заветное желание моего отца, наконец, осуществилось. Открылась вакансия в Пажеском корпусе, которую я мог занять, прежде чем достиг предельного возраста, старше которого уже не принимают. Мачеха меня отвезла в Петербург, и я поступил в корпус. В этом привилегированном учебном заведении, соединявшем характер военной школы на особенных правах и придворного училища, находящегося в ведении императорского двора, воспитывалось всего сто пятьдесят мальчиков, большею частью дети придворной знати. После четырех- или пятилетнего пребывания в корпусе окончившие курс выпускались офицерами в любой, по выбору, гвардейский или армейский полк — безразлично, имелась ли вакансия или нет. Кроме того, первые шестнадцать учеников старшего класса назначались каждый год камер-пажами к различным членам императорской фамилии: к царю, царице, великим княгиням и великим князьям, что, конечно, считалось большой честью. К тому же молодые люди, которым выпадала подобная честь, становились известны при дворе и имели возможность попасть потом в адъютанты к императору или к одному из великих князей. Таким образом, они могли сделать блестящую карьеру. Поэтому папеньки и маменьки, имевшие связи при дворе, изо всех сил старались, чтобы их дети попали в Пажеский корпус, даже хотя бы в ущерб другим кандидатам, которые тогда никак не могли дождаться вакансии. Теперь, когда я попал, наконец, в привилегированное училище, отец мог дать простор своим честолюбивым мечтам.

Корпус делился на пять классов, из которых старший назывался первым, а младший — пятым, и я держал экзамен в четвертый класс. Но так как на поверочном испытании обнаружилось мое недостаточное знакомство с десятичными дробями, то я, вместо четвертого, попал в пятый класс, тем более, что в четвертом было уже более сорока воспитанников, тогда как для младшего едва набрали двадцать *.

Такое решение крайне огорчило меня. И без этого я очень неохотно поступал в военное училище, а тут еще предстояло пробыть в нем пять лет вместо четырех. Что я стану делать в пятом классе, когда уже знаю все, чему там учат? Со слезами на глазах сказал я это инспектору; но он ответил мне шутливо: «А знаете слова Цезаря: лучше быть первым в де-

* В Пажеском корпусе классы считались сверху вниз; первый класс был старшим, т. е. последним, а пятый был самым младшим.

ревне, чем вторым в Риме?» На что я с жаром возразил, что предпочел бы быть последним, лишь бы я мог окончить военное училище возможно скорее.

— Быть может, со временем вы полюбите корпус, — заметил инспектор, полковник Павел Петрович Винклер, замечательный для того времени человек. С тех пор он стал очень хорошо относиться ко мне.

Преподавателю арифметики, артиллерийскому офицеру Чигареву, также пытавшемуся утешить меня, я поклялся, что никогда не раскрою учебника его предмета; «и несмотря на это, вы мне будете ставить двенадцать», — прибавил я. Слово я сдержал. Ученик, как видно, и тогда уже был с душком.

А между тем теперь я могу благодарить за то, что меня записали в младший класс. Так как первый год мне приходилось лишь повторять уже известное, я привык выучивать уроки в классе по объяснениям учителя. Таким образом, я мог после классов читать и писать, сколько душе угодно. Притом большую половину первой зимы я провел в госпитале. Как все дети, родившиеся не в Петербурге я отдал дань столице «хладных финских берегов»: перенес несколько припадков местной холерины и, наконец, надолго слег от тифа. Первые годы я даже не готовился к экзаменам, а во время, назначенное для подготовки, обыкновенно читал нескольким товарищам вслух Островского или Шекспира. А затем, когда я перешел в старшие, специальные классы, я был хорошо подготовлен к слушанью различных предметов, читавшихся там.

Когда я поступил в Пажеский корпус, во внутренней его жизни происходило полное изменение. Вся Россия пробудилась тогда от глубокого сна и освобождалась от тяжелого кошмара николаевщины. Это пробуждение отразилось и на нашем корпусе. Признаться, я не знаю, что стало бы со мною, если бы я поступил на год или на два раньше. Или моя воля была бы окончательно сломлена, или меня бы исключили, — кто знает с какими последствиями. К счастью для меня, в 1857 году переходный период был уже в полном развитии.

Директор корпуса был превосходный старик, генерал Желтухин, но он только номинально был главою корпуса. Действительным начальником училища был «полковник» — француз на русской службе, полковник Жирардот. Говорили, что он принадлежал к ордену иезуитов, и я думаю, что так оно и было. Его тактика, во всяком случае, была основана на учении Лойолы *, а метод воспитания заимствован из французских иезуитских коллегий.

Нужно представить себе маленького, очень худощавого человека со впалой грудью, с черными, пронизывающими, бегающими глазами, с коротко подстриженными усами, делавшими его похожим на кота; человека очень сдержанного и твердого, не одаренного особенными умственными способностями, но замечательно хитрого; деспота по натуре, способного ненавидеть — и ненавидеть сильно — мальчика, не поддающегося всецело его влиянию, и проявлять эту ненависть не бессмысленными придирками, но беспрестанно, всем своим поведением жестом, улыбкой, восклицанием. Он не ходил, а скорее скользил, а пытливые взгляды, которые он бросал кругом, не поворачивая головы, еще больше довершали

* Основатель ордена иезуитов.

сходство с котом. Печать холода и сухости лежала на губах его, даже когда он пытался быть благодушным. Выражение становилось еще более резким, когда рот Жирардота искривлялся улыбкой неудовольствия или презрения. И вместе с тем в нем ничего не было начальнического. При первом взгляде можно было подумать, что снисходительный отец говорит с детьми, как с взрослыми людьми. А между тем немедленно чувствовалось, что он желал всех и все подчинить своей воле. Горе тому мальчику, который не чувствовал себя счастливым или несчастливым, в соответствии с бо́льшим или меньшим расположением, которое оказывал ему полковник!

Слово «полковник» было постоянно у всех на устах. Все остальные офицеры имели клички; но никто не дерзал дать кличку Жирардоту. Своего рода таинственность окружала его, как будто он был всеведущ и вездесущ. И в самом деле, он проводил весь день и большую часть вечера в корпусе. Когда мы сидели в классах, полковник бродил всюду, осматривал наши ящики, которые отпирал собственными ключами. По ночам же он до позднего часа отмечал в книжечках (их у него была целая библиотечка) особыми значками, разноцветными чернилами и в разных графах проступки и отличия каждого из нас.

Игра, шутки и беседы прекращались, едва только мы завидим, как он, медленно покачиваясь взад и вперед, подвигается по нашим громадным залам об руку с одним из своих любимцев. Одному он улыбнется, остро посмотрит в глаза другому, скользнет безразличным взглядом по третьему и слегка искривит губы, проходя мимо четвертого. И по этим взглядам все знали, что Жирардот любит первого, равнодушен ко второму, намеренно не замечает третьего и ненавидит четвертого. Ненависть эта была достаточной, чтобы нагнать ужас на большинство его жертв, тем более, что никто не знал ее причины. Впечатлительных мальчиков приводило в отчаянье как это немое, неукоснительно проявляемое отвращение, так и эти подозрительные взгляды. В других враждебное отношение Жирардота вызывало полное уничтожение воли, как показал это в автобиографическом романе «Болезни воли» Федор Толстой, тоже воспитанник Жирардота.

Внутренняя жизнь корпуса под управлением Жирардота была жалка. Во всех закрытых учебных заведениях новичков преследуют. Они проходят своего рода искус. «Старики» желают узнать, какая цена новичку. Не станет ли он фискалом? Есть ли в нем выдержка? Затем «старички» желают показать новичкам во всем блеске могущество существующего товарищества. Так дело обстоит в школах и в тюрьмах. Но под управлением Жирардота преследования принимали более острый характер и производились они не товарищами-одноклассниками, а воспитанниками старшего класса, камер-пажами, т. е. унтер-офицерами, которых Жирардот поставил в совершенно исключительное, привилегированное положение. Система полковника заключалась в том, что он предоставлял старшим воспитанникам полную свободу, он притворялся, что не знает даже о тех ужасах, которые они проделывают; зато через посредство камер-пажей он поддерживал строгую дисциплину. Во время Николая ответить на удар камер-пажа, если бы факт дошел до сведения начальства, значило бы угодить в кантонисты. Если же мальчик каким-нибудь образом не подчинялся капризу камер-пажа, то это вело к тому, что 20 воспитани-

ков старшего класса, вооружившись тяжелыми дубовыми линейками, жестоко избивали, с молчаливого разрешения Жирардота, ослушника, проявившего дух непокорства.

В силу этого камер-пажи делали все, что хотели. Всего лишь за год до моего поступления в корпус любимая игра их заключалась в том, что они собирали ночью новичков в одну комнату и гоняли их в ночных сорочках по кругу, как лошадей в цирке. Одни камер-пажи стояли в круге, другие — вне его и гутталерчевыми хлыстами беспощадно стегали мальчиков. «Цирк» обыкновенно заканчивался отвратительной оргией на восточный лад. Нравственные понятия, господствовавшие в то время, и разговоры, которые велись в корпусе по поводу «цирка», таковы, что чем меньше о них говорить, тем лучше.

Полковник знал про все это. Он организовал замечательную сеть шпионства, и ничто не могло укрыться от него. Но система у Жирардота была — закрывать глаза на все проделки старшего класса.

В корпусе повеяло, однако, новой жизнью, и всего за несколько месяцев до моего поступления произошла революция. В том году третий класс подобрался особенный. Многие серьезно учились и читали, так что некоторые из них стали впоследствии известными людьми. Мое знакомство с одним из них — назову его фон-Шауф — произошло, я помню, когда он был занят чтением «Критики чистого разума» Канта. Притом в третьем же классе находились и самые большие силачи корпуса, как, например, замечательный силач Коштов, большой друг фон-Шауфа. Третий класс не так послушно, как его предшественники, подчинялся игу камер-пажей. Последствием одного происшествия была большая драка между первым и третьим классами. Камер-пажи были жестоко побиты. Жирардот замолчал происшествие; но авторитет первого класса был подорван. Хлысты остались, но их больше никогда не пускали в ход. Что же касается «цирка» и других игрищ, то они перешли в область преданий.

Таким образом, многое было выиграно; но самый младший класс, состоявший из очень молодых мальчиков, только что поступивших в корпус, должен был еще подчиняться мелким капризам камер-пажей. У нас был прекрасный старый сад, но пятиклассники мало им пользовались. Как только спускались в сад, они должны были вертеть карусель, в которую садились камер-пажи, или же им приказывали подавать старшим шары при игре в кегли. Дня через два после моего поступления, видя, как обстоят дела в саду, я не пошел туда, а остался наверху. Я читал, когда вошел рыжий, веснущатый камер-паж Васильчиков и приказал мне немедленно отправиться в сад, вертеть карусель.

— Я не пойду. Не видите разве, я читаю, — ответил я.

Гнев искривил и без того некрасивое лицо камер-пажа. Он готов был кинуться на меня. Я стал в оборонительную позицию. Он пробовал бить меня по лицу фуражкой. Я отражал удары, как умел. Тогда он швырнул фуражку на пол.

— Поднимите!

— Сами поднимите!

Подобный факт неподчинения был неслыханной дерзостью в корпусе. Не знаю, почему он не избил меня на месте. Он был и старше и сильнее меня.

На другой день и на следующий я получал подобные же приказы, но не исполнял их. Тогда начался ряд систематических, мелких преследований, которые способны довести мальчика до отчаяния. К счастью, я всегда был в веселом расположении духа и отвечал шутками или вовсе не обращал внимания

К тому же вскоре все кончилось. Полили дожди, и мы большую часть нашего времени проводили в четырех стенах. Но тут случилась новая история. В саду первый класс курил довольно свободно, но внутри здания курильной комнатой была «башня». Она содержалась очень чисто, и камин топился весь день.

Камер-пажи сильно наказывали всякого мальчика, если ловили его с папиросой, но сами постоянно сидели у огня, курили и болтали. Любимым их временем для курения было после десяти часов вечера, когда все остальные уже ложились спать. Заседание в «башне» продолжалось до половины двенадцатого, а чтобы охранить себя от неожиданного посещения Жирардота, они заставляли нас дежурить. Пятиклассников поднимали поочередно, парами, с постелей и заставляли их бродить по лестнице до половины двенадцатого, чтобы поднять тревогу в случае приближения полковника.

Мы решили покончить с этими ночными дежурствами. Долго продолжались совещания; обратились за советом, как поступить к старшим классам. Их решение, наконец, было получено: «Откажитесь стоять на часах; если же камер-пажи начнут бить вас, что, по всей вероятности, будет, соберитесь возможно большей толпой и призовите Жирардота. Он, конечно, знает все, но тогда вынужден будет прекратить дежурства». Вопрос о том не будет ли это «фискальством», был решен отрицательно знатоками в делах чести: ведь камер-пажи не держались с нами, как с товарищами.

Черед стоять на страже выпал в эту ночь на некоего «старичка», Шаховского, и на крайне робкого новичка, Севастьянова, говорившего даже тоненьким, как у девочки, голосом. Вначале позвали Шаховского; тот отказался, и его оставили в покое. Затем два камер-пажа пришли к Севастьянову, который лежал в постели; так как и он отказался, то его принялись жестоко стегать ременными подтяжками. Шаховской тем временем разбудил несколько товарищей, которые спали поближе, и все вместе побежали к Жирардоту.

Я тоже лежал в постели, когда два камер-пажа подошли ко мне и приказали мне стать на часы. Я отказался. Тогда они схватили две пары подтяжек (мы всегда складывали наше платье в большом порядке на табурете, рядом с постелью, подтяжки сверху, а галстук накрест) и стали стегать меня ими. Я сидел в постели и отмахивался руками; мне уже досталось несколько горячих ударов, когда раздался окрик: «Первый класс к полковнику!» Свирепые бойцы разом присмирели и поспешно складывали в порядок мои вещи.

— Смотрите, ничего не говорите полковнику! — шептали они.

— Положите галстук, как следует, в порядке, — шутил я, хотя спина и руки горели от ударов.

О чем Жирардот говорил с первым классом, мы не узнали, но на другой день, когда мы выстроились, чтобы спуститься в столовую, полковник обратился к нам с речью в минорном тоне. Он говорил, как прискорбно, что камер-пажи напали на мальчика, который был прав, когда

отказался итти. И на кого напали? На новичка, на такого робкого мальчика, как Севастьянов! Всему корпусу стало противно от этой иезуитской речи!

Нечего, кажется, прибавлять, что ночным дежурствам положен был конец. Вместе с тем нанесен был окончательный удар системе «приставания к новичкам».

Это событие также нанесло удар авторитету Жирардота, который принял все это близко к сердцу. К нашему классу, а ко мне в особенности, он стал относиться очень неприязненно (история с каруселью была ему, конечно, передана) и проявлял это при всяком удобном случае.

В первую зиму я частенько лежал в госпитале и в декабре заболел тифом, причем во время болезни директор и доктор относились ко мне с истинно отеческой заботливостью. Затем после тифа у меня был ряд острых и мучительных гастрических воспалений. Жирардот, во время своих ежедневных обходов, заставая меня часто в госпитале, стал говорить мне полушутливо по-французски: «Вот валяется в госпитале молодой человек, крепкий, как Новый Мост». Раз или два я отвечал шутками; но, наконец, меня возмутило злорадство в этом беспрерывном повторении одного и того же.

— Как вы смеете говорить так! — крикнул я. — Я попрошу доктора, чтобы он запретил вам ходить в эту палату. И так далее, в том же тоне.

Жирардот отступил шага на два. Черные глаза его сверкнули; его тонкие губы еще больше поджались. Наконец, он произнес: «Я оскорбил вас? Не так ли? Хорошо, в рекреационной зале у нас стоят две пушки. Хотите драться на дуэли?»

— Я не шучу, — продолжал я, — и говорю вам, что не хочу больше терпеть ваших намеков.

Полковник с тех пор не повторял более своей шутки, только окидывал меня еще более неприязненным взглядом, чем прежде.

Все говорили о вражде, питаемой Жирардотом ко мне, но я не обращал на это внимания: по всей вероятности, мой индиферентизм еще больше усиливал чувство неприязни полковника.

Целых полтора года он не давал мне погонов, которые обыкновенно даются новичкам через месяц или два после поступления, после того как новичок получит некоторое понятие о фронтовой службе. Но я чувствовал себя очень счастливым и без этого украшения. Наконец, один офицер, лучший фронтовик в корпусе, вызвался обучить меня. Убедившись, что я, как следует, выделываю все штуки, он решился представить меня Жирардоту, но полковник отказал раз и два, так что офицер принял это за личное оскорбление. И когда раз директор спросил его, почему у меня нет погонов, офицер ответил напрямик: «Мальчик все знает, только полковник не хочет». Немедленно после этого, по всей вероятности, вследствие замечания директора, Жирардот еще раз проэкзаменовал меня, и я получил погоны в тот же день.

Вообще влияние полковника было уже сильно на ущербе. Изменялся весь характер корпуса. Целых двадцать лет Жирардот преследовал в училище свой идеал: чтобы пажики были тщательно причесаны и завиты, как бывали придворные Людовика XIV. Учились ли пажи чему-нибудь или нет, это его не занимало. Любимцами его состояли те, у кого в туалетных шкатулках было больше всевозможных щеточек для ногтей

и флаконов с духами, чьи «собственные» мундиры (они надевались во время отпуска по воскресеньям) были лучше сшиты и кто умел делать наиболее изящный Salut oblique *. Жирардот часто устраивал репетиции придворных церемоний. С этой целью одного из пажей закутывали в красный бумажный постельный чехол, и он изображал императрицу во время baise-main **. Мальчики, когда-то, почти как священнодействие, выполняли обряд прикладывания к руке мнимой императрицы и удалялись с изящным поклоном в сторону. Но теперь даже те, которые были очень изящны при дворе, на репетиции отбивали поклоны с такой медвежьей грацией, что общий хохот не прекращался, а Жирардот приходил в бешенство. Прежде пажики, которых завивали, чтобы повезти на выход во дворец, заботились о том, чтобы возможно дольше сохранить свои завитки после церемонии; теперь же, возвратившись из дворца, они бежали под кран, чтобы распрямить волосы. Над женственной наружностью смеялись. Попасть на выход, чтобы стоять там в виде декорации, считалось уже не милостью, а своего рода барщиной. Пажики, которых возили иногда во дворец, чтобы играть с маленькими великими князьями, как-то заметили, что один из последних, при игре в жгуты, скручивал потуже свой платок, чтобы больнее стегать им. Один из пажей сделал тогда то же самое и так отхлестал князька, что тот ударился в слезы. Жирардот был в ужасе, хотя воспитатель великого князя, старый севастопольский адмирал, даже похвалил пажика.

За одно все-таки следует добром помянуть Жирардота. Он очень заботился о нашем физическом воспитании. Гимнастику и фехтованье он очень поощрял. Я ему обязан за то, что он приучал нас держаться прямо, грудь вперед. Как все читающие, я, конечно, имел склонность горбиться. Жирардот спокойно, проходя мимо стола, подходил сзади и выпрямлял мои плечи, и не уставал делать это много раз под ряд.

В корпусе, как и в других школах, проявилось новое серьезное стремление учиться. В прежние годы пажи были уверены, что так или иначе они получат необходимые отметки для выпуска в гвардию. Поэтому первые годы они ничего не делали; учиться чему-нибудь начинали лишь в последних двух классах. Теперь же и младшие классы учились очень хорошо. Моральная атмосфера тоже стала совершенно иной в сравнении с тем, что было несколько лет назад. Одна или две попытки воскресить былое закончились скандалами. Жирардот должен был подать в отставку. Ему разрешили, однако, остаться на старой холостой квартире в здании корпуса, и мы часто видели его потом, когда он, закутанный в шинель, проходил, погруженный в размышления — по всей вероятности, печальные; полковник не мог не осуждать новых веяний, которые быстро определялись в корпусе.

II

Вся Россия говорила тогда об образовании. После того как заключили мир в Париже и цензурные строгости несколько ослабели, стали с жаром обсуждать вопрос о воспитании. Любимыми темами для обсуждения

* Поклон в пол-оборота.
** Прикладывание к руке.

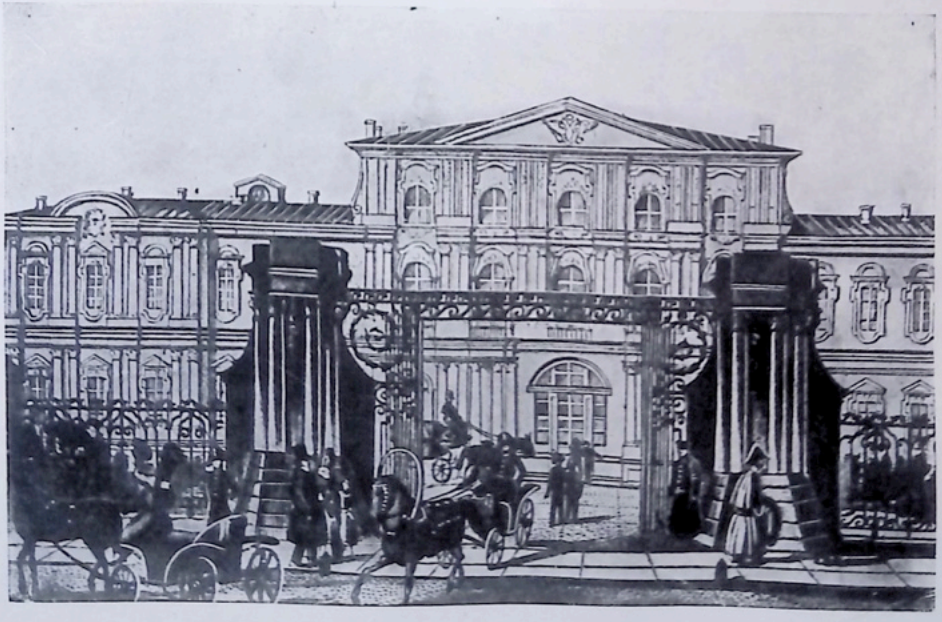
в прессе, в кружках просвещенных людей и даже в великосветских гостиных стало невежество народа, препятствия, которые ставились до сих пор желающим учиться, отсутствие школ в деревнях, устарелые методы преподавания и как помочь всему этому. Первые женские гимназии открылись в 1857 году. Программа и штат преподавателей не оставляли желать лучшего. Как по волшебству, выдвинулся целый ряд учителей и учительниц, которые не только отдались всецело делу, но проявили также выдающиеся педагогические способности. Их труды заняли бы почетное место в западной литературе, если бы были известны за границей.

И на Пажеском корпусе тоже отразилось влияние оживления. За немногими исключениями, все три младших класса стремились учиться. Чтобы поощрить это желание, инспектор П. П. Винклер (образованный артиллерийский полковник, хороший математик и передовой человек) придумал очень удачный план. Он пригласил для младших классов, вместо прежних посредственностей, самых лучших преподавателей. Винклер был того мнения, что лучшие учителя всего лучше дадут начинающим учиться мальчикам первые понятия. Таким образом, для преподавания начальной алгебры в четвертом классе Винклер пригласил отличного математика и прирожденного педагога, капитана Сухонина. Весь класс сразу пристрастился к математике. Между прочим скажу, что капитан преподавал и наследнику, Николаю Александровичу, и что наследник поэтому приезжал в Пажеский корпус раз в неделю, чтобы присутствовать на уроках алгебры капитана Сухонина. Императрица Мария Александровна была образованная женщина и думала, что, быть может, общение с прилежными мальчиками приохотит и ее сына к учению. Наследник сидел на скамье вместе с другими и, как все, отвечал на вопросы. Но, большею частью, во время урока Николай Александрович или рисовал (очень недурно) или же рассказывал шопотом соседям смешные истории. Он был добродушный и мягкий юноша, но легкомысленный как в учении, так еще больше в дружбе.

Для пятого класса инспектор пригласил двух замечательных людей. Раз он сияющий вошел к нам в класс и объявил, что нам выпало завидное счастье. Большой знаток классической и русской литературы, профессор Классовский[17], говорил нам Винклер, согласился преподавать вам русскую грамматику и пройдет с вами из класса в класс, все пять лет, до самого выпуска. То же самое для немецкого языка сделает другой профессор университета, г-н Беккер, библиотекарь императорской публичной библиотеки. Винклер выразил уверенность, что мы будем сидеть тихо в классе, так как профессор Классовский чувствует себя больным в эту зиму. Случай иметь такого хорошего преподавателя слишком завиден, чтобы упустить его.

Винклер не ошибся. Мы очень гордились сознанием, что нам будут читать профессора из университета. Правда, в «камчатке» держались того мнения, что «колбасника» следует сделать шелковым, но общественное мнение класса высказалось в пользу профессоров.

«Колбасник», однако, сразу завоевал наше уважение. В класс вошел высокий человек, с громадным лбом и добрыми, умными глазами, с искрой юмора в них, и совершенно правильным русским языком объявил нам, что намерен разделить класс на три группы. В первую войдут



Пажеский корпус в Петербурге, где учился П. А. Кропоткин

немцы, знающие язык, к которым он будет особенно требователен. Второй группе он станет читать грамматику, а впоследствии немецкую литературу по установленной программе. В третью же группу, прибавил профессор с милой улыбкой, войдет «камчатка». «От нее я буду требовать только, чтобы каждый во время урока переписал из книги по четыре строки, которые я укажу. Когда перепишет свои четыре строчки, «камчатка» вольна делать, что хочет, — при одном условии: не мешать другим. Я же обещаю вам, что в пять лет вы научитесь немного немецкому языку и литературе. Ну, кто идет в группу немцев? Вы, Штакельберг? Вы, Ламсдорф? Быть может, кто-нибудь из русских тоже желает? А кто в «камчатку?» Пять или шесть из нас, не знавших ни звука по-немецки, поселились на отдаленном полуострове. Они добросовестно переписывали свои четыре строчки (в старших классах строчек двенадцать — двадцать), а Беккер так хорошо выбирал эти строчки и так внимательно относился к ученикам, что через пять лет «камчадалы» действительно имели некоторое представление о немецком языке и литературе.

Я присоединился к немцам. Брат Саша в своих письмах так убеждал меня учиться немецкому языку, на котором есть не только богатая литература, но существуют также переводы всякой книги, имеющей научное значение, что я сам уже засел за этот язык. Я переводил тогда и выучивал трудное, в смысле языка, поэтическое описание грозы. По совету профессора, я выучил все спряжения, наречия и предлоги и стал переводить. Это — отличный метод для изучения языков. Беккер посоветовал мне, кроме того, подписаться на дешевый, еженедельный иллюстрированный журнал «Gartenlaube». Картинки и коротенькие рассказы приохочивали к чтению.

К концу зимы я попросил Беккера дать мне «Фауста». Я уже читал его в русском переводе; прочитал я также чудную тургеневскую повесть «Фауст» и теперь жаждал узнать великое произведение в подлиннике.

— Вы ничего не поймете в нем, — сказал мне Беккер с доброй улыбкой, — слишком философское произведение. — Тем не менее, он принес мне маленькую, квадратную книжечку с пожелтевшими от времени страницами. Философия Фауста и музыка стиха захватили меня всецело. Начал я с прекрасного, возвышенного посвящения и скоро знал целые страницы наизусть. Монолог Фауста в лесу приводил меня в экстаз, в особенности те стихи, в которых он говорил о понимании природы:

«Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir alles,
Warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst
Dein Angesicht im Feuer zugewendet... etc*.

И теперь еще это место производит на меня сильное впечатление. Каждый стих постепенно стал для меня дорогим другом. Есть ли более вы-

* «Могучий дух, ты все мне, все доставил,
О чем просил я. Не напрасно мне
Твой лик явил ты в пламенном сиянье.
Ты дал мне в царство чудную природу,
Познать ее, вкусить мне силы дал...
Ты показал мне ряд созданий жизни,
Ты научил меня собратий видеть
В волнах и в воздухе и в тихой роще.

сокое эстетическое наслаждение, чем чтение стихов на не совсем хорошо знакомом языке? Все покрывается тогда своего рода легкой дымкой, которая так подобает поэзии. Те слова, которые, когда мы знаем разговорный язык, режут наше ухо несоответствием с передаваемым образом, сохраняют свой тонкий, возвышенный смысл. Музыкальность стиха особенно улавливается.

Первая лекция В. И. Классовского явилась для нас откровением. Было ему под пятьдесят; роста он был небольшого, стремителен в движениях, имел сверкающие умом и сарказмом глаза и высокий лоб поэта. Явившись на первый урок, он тихо сказал нам, что не может говорить громко, так как страдает застарелой болезнью, а поэтому просит нас сесть поближе к нему. Классовский поставил свой стул возле первого ряда столов, и мы облепили его, как рой пчел.

Он должен был преподавать нам грамматику, но вместо скучного предмета мы услыхали нечто совсем другое. Он читал, конечно, грамматику; но то он сопоставлял место из былины со стихом из Гомера или из Магабгараты, прелесть которых давал нам понять в переводе, то вводил строфу из Шиллера, то вставлял саркастическое замечание по поводу какого-нибудь современного предрассудка. Затем следовала опять грамматика, а потом какие-нибудь широкие, поэтические или философские обобщения.

Конечно, мы не все понимали и упускали глубокое значение многого; но разве чарующая сила учения не заключается именно в том, что оно постепенно раскрывает пред нами неожиданные горизонты? Мы еще не постигаем вполне всего, но нас манит итти все дальше и дальше к тому, что вначале кажется лишь смутными очертаниями... Одни из нас навалились на плечи товарищей, другие стояли возле Классовского. У всех глаза блестели. Мы жадно ловили его слова. К концу урока голос профессора упал, но тем более внимательно слушали мы, затаив дыхание. Инспектор приоткрыл было дверь, чтобы посмотреть, как у нас идут дела с новым преподавателем, но, увидав рой застывших слушателей, удалился на цыпочках. Даже Донауров, натура вообще мятежная, и тот вперился глазами в Классовского, как будто хотел сказать: «Так вот ты какой!» Неподвижно сидел даже безнадежный Клюгенау, кавказец с немецкой фамилией. В сердцах большинства кипело что-то хорошее и возвышенное, как будто пред нами раскрывался новый мир, существования которого мы до сих пор не подозревали. На меня Классовский имел громадное влияние, которое с годами лишь усиливалось. Предсказание Винклера, что, в конце концов, я полюблю школу, оправдалось.

К несчастью, к концу зимы Классовский заболел и должен был уехать из Петербурга. Вместо него был приглашен другой учитель — Тимофеев, тоже очень хороший человек, но другого рода. Классовский был в сущности политический радикал. Тимофеев был эстетик. Тимофеев был большой почитатель Шекспира и много говорил нам о нем. Благодаря ему я глубоко полюбил Шекспира и по нескольку раз перечитывал все его драмы в русском переводе, часто я читал Шекспира вслух кому-нибудь из товарищей.

Когда мы перешли в третий класс, Классовский вернулся к нам, и я еще больше привязался к нему.

Западная Европа и, по всей вероятности, Америка не знают этого типа учителя, хорошо известного в России. У нас же нет сколько-нибудь вы-

дающихся деятелей и деятельниц в области литературы или общественной жизни, которые первым толчком к развитию не обязаны были преподавателю словесности. Во всякой школе, всюду должен был быть такой учитель. Каждый преподаватель имеет свой предмет, и между различными предметами нет связи. Один только преподаватель литературы, руководствующийся лишь в общих чертах программой, и которому предоставлена свобода — выполнять ее по своему усмотрению, имеет возможность связать в одно все гуманитарные науки, обобщить их широким философским мировоззрением и пробудить, таким образом, в сердцах молодых слушателей стремление к возвышенному идеалу. В России эта задача, естественно, выпадает на долю преподавателя русской словесности. Так как он говорит о развитии языка, о раннем эпосе, о народных песнях и музыке, а впоследствии о современной беллетристике и поэзии, о научных, политических и философских течениях, отразившихся в ней, то он обязан вести обобщающие понятия о развитии человеческого разума, излагаемые врозь в каждом отдельном предмете.

То же самое следовало бы делать при преподавании естественных наук. Мало обучать физике и химии, астрономии и метеорологии, зоологии и ботанике. Как бы ни было поставлено преподавание естественных наук в школе, ученикам следует сказать о философии естествознания, внушить им общие идеи о природе, по образцу, например, обобщений, сделанных Гумбольдтом [18] в первой половине «Космоса».

Философия и поэзия природы, изложение метода точных наук и широкое понимание жизни природы — вот что необходимо сообщать в школе ученикам, чтобы развить в них реальное естественно-научное мировоззрение. Мне думается, что преподаватель географии мог бы всего лучше выполнить эту задачу; но тогда нужны, конечно, совсем другие преподаватели этого предмета в средних школах и совсем другие профессора на кафедрах географии в университетах.

У нас в корпусе географию преподавал «знаменитый» Белоха. Белоха требовал, чтобы каждый ученик, вызванный к доске, провел на ней мелом градусную сеть и затем начертил карту. Прекрасная вещь, если бы все умели это делать. Но вычертить на память карту, сколько-нибудь похожую на что-нибудь, могли только всего пять-шесть учеников. Каждому, кто не умел вычертить карту на классной доске, Белоха ставил безжалостно нули.

Чтобы избежать нулей, мы обзавелись маленькими, сантиметров в пять длины, карточками, которые мы называли почему-то шпаргалками. Пользовались мы ими таким образом: вызывает, например, Белоха Донаурова.

Донауров идет к доске, затем возвращается обратно на место и говорит:

— Кропоткин, дай твой платок, я свой забыл.

Я уже подготовил маленькую карту Европы и передаю ее Донаурову вместе с платком. Донауров сморкается и вкладывает карточку в ладонь левой руки. Покуда Белоха спрашивает другого ученика или смотрит в журнал, Донауров чертит карту со «шпаргалки», называет приблизительно верно города, горы, реки и получает «бал душевного спокойствия», то есть шесть. Иначе Донауров непременно получил бы двойку

или тройку, а то и нуль, а нуль — это значит быть два воскресенья без отпуска.

Я с жаром взялся за изготовление карт-шпаргалок и у меня составился целый географически миниатюрный атлас в двух или трех экземплярах. Когда я в полутемном каземате Петропавловской крепости вычерчивал с претензией на художественность карты Финляндии, не раз повторял я, любуясь своей работой:

— Спасибо Белохе, без шпаргалок я никогда не научился бы так чертить.

Конечно, если бы Белоха давал нам уже готовую литографированную сетку и заставлял бы нас раза два-три счертить каждую карту на глаз, а не на память, с другой карты, мы также или даже лучше удержали бы в памяти географические очертания той или иной страны.

Белоха никому из нас не привил любви к географии, а между тем преподавание географии можно было бы сделать интересным и увлекательным. Учитель географии мог бы развернуть перед учениками всю картину мира во всем ее разнообразии и гармонической сложности. К сожалению, школьная география до сих пор является одной из самых скучных наук.

Другой учитель покорил наш шумный класс совсем иным путем. То был учитель чистописания, последняя спица в педагогической колеснице. Если к «язычникам», т. е. к преподавателям французского и немецкого языков, вообще питали мало уважения, то тем хуже относились к учителю чистописания Эберту, немецкому еврею. Он стал настоящим мучеником. Пажи считали особым шиком грубить Эберту. Вероятно, лишь его бедностью объяснялось, почему он не отказался от уроков в корпусе. Особенно плохо относились к учителю старички, безнадежно засевшие в пятом классе на второй и третий год. Но так или иначе Эберт заключил с ними договор: «По одной шалости в урок, не больше». К сожалению, должен сознаться, что мы не всегда честно выполняли договор.

Однажды один из обитателей далекой «камчатки» намочил губку в чернила, посыпал ее мелом и швырнул в учителя чистописания. «Эберт, лови!» — крикнул он, глупо ухмыляясь. Губка попала Эберту в плечо. Белесая жижа брызнула ему в лицо и залила рубаху.

Мы были уверены, что на этот раз Эберт выйдет из класса и пожалуется инспектору; но он вынул бумажный платок, утерся и сказал: «Господа, одна шалость, больше нельзя! Рубаха испорчена», — прибавил он подавленным голосом и продолжал исправлять чью-то тетрадь.

Мы сидели, пристыженные и ошеломленные. Почему вместо того, чтобы жаловаться, он прежде всего вспомнил о договоре? Расположение класса сразу перешло на сторону учителя.

— Свинство ты сделал! — стали мы упрекать товарища. — Он бедный человек, а ты испортил ему рубаху!

Виноватый сейчас же встал и пошел извиняться.

— Учиться надо, господа, учиться! — печально ответил Эберт. И больше — ничего.

После этого класс сразу притих. На следующий урок, точно по уговору, большинство из нас усердно выводило буквы и носило показывать тетради Эберту. Он сиял и чувствовал себя счастливым в этот день.

Этот случай произвел на меня глубокое впечатление и не изгладился из

Петр Алексеевич Кропоткин
С фотографии 1861 г.

памяти. До сих пор я благодарен этому замечательному человеку за его урок.

С учителем рисования, Ганцом, у нас никогда не могли установиться мирные отношения. Он постоянно «записывал» шаловливых во время его урока, а между тем, по нашим понятиям, он не имел права так поступать, во-первых, потому, что был лишь учителем рисования, а во-вторых, и самое главное, потому, что не был человеком добросовестным. Во время урока он на большинство из нас не обращал никакого внимания, так как исправлял рисунки лишь тем, которые брали у него частные уроки или заказывали ему рисунки к экзамену. Мы ничего не имели против товарищей, заказывавших рисунки. Напротив, мы считали вполне естественным, что ученики, не проявлявшие способностей к математике или не обладавшие памятью, чтобы заучивать географию, и получавшие по этим предметам плохие отметки, заказывали писарю хороший рисунок или топографическую карту, чтобы получить «полные двенадцать» и улучшить таким образом общий вывод. Только первым двум ученикам не следовало этого делать. «Но самому учителю не подобает, — рассуждали мы,— выполнять рисунки на заказ. А раз он делает так, то пусть же покорно переносит наш шум и проказы». Но Ганц, вместо того, чтобы покориться, жаловался после каждого урока и с каждым уроком все больше и больше «записывал».

Когда мы перешли в четвертый класс и почувствовали себя полноправными гражданами корпуса, мы решили обуздать Ганца.

— Сами виноваты, что он так заважничал у вас, — говорили нам старшие товарищи. — Мы его держали в ежовых рукавицах. — Тогда мы тоже решили вышколить его.

Однажды двое из нашего класса, отличные товарищи, подошли к Ганцу с папиросами в руках и попросили огонька. Конечно, это была лишь шутка; никто не думал курить в классе. По нашим понятиям, Ганц попросту должен был сказать проказникам: «Убирайтесь!», но вместо того он записал их в журнал, и обоих сильно наказали. То была капля, переполнившая чашу. Мы решили устроить Ганцу «балаган». Это значило, что весь класс, вооружившись одолженными у старших пажей линейками, станет барабанить ими по столам до тех пор, покуда учитель уберется вон.

Выполнение заговора представляло, однако, некоторые затруднения. В нашем классе было не мало маменькиных сынков, которые дали бы обещание присоединиться к демонстрации, но в решительный момент струсили бы и пошли на попятный. Тогда учитель мог пожаловаться на остальных. Между тем, по нашему мнению, в подобных предприятиях единодушие означает все, так как наказание, какое бы оно ни было, всегда легче, когда падает на целый класс, а не на немногих.

Затруднение было преодолено с чисто маккиавеллиевской ловкостью. Условились, что по данному сигналу все повернутся спиной к Ганцу, а затем уже начнут барабанить линейками, которые будут лежать для этой цели наготове на столах второго ряда. Таким образом, маменькиных сынков не испугает вид Ганца. Но сигнал? Разбойничий посвист, как в сказке, крик или даже чиханье не годились. Ганц сейчас бы донес на того, кто свистнул или чихнул. Предстояло придумать беззвучный сигнал. Решили, что один из нас, хорошо рисовавший, понесет показать Ганцу рисунок. Сигналом будет, когда он вернется и сядет на место.

Все шло прекрасно, Нестеров понес рисунок, а Ганц исправлял его несколько минут, которые показались нам бесконечными. Но вот Нестеров вернулся, наконец, остановился на мгновение, взглянул на нас, затем сел... Сразу весь класс повернулся спиной к учителю; линейки отчаянно затрещали по столам. Некоторые, покрывая трескотню, кричали: «Ганц, пошел вон!» Шум получился оглушительный. Все классы знали, что Ганц получил полностью бенефис. Он поднялся, пробормотал что-то, наконец, удалился. Вбежал офицер. Шум продолжался. Тогда влетел субинспектор, а за ним и инспектор. Шум прекратился. Началась разноска.

— Старший под арест! — скомандовал инспектор.

Так как первым учеником в классе, а потому и старшим, был я, то меня повели в карцер. В силу этого я не видел всего дальнейшего. Явился директор. Ганцу предложили указать зачинщиков; он не мог никого назвать.

— Они все повернулись ко мне спиной и стали шуметь, — ответил он. Тогда весь класс повели вниз. Хотя телесное наказание совершенно уже не практиковалось в нашем корпусе, но на этот раз высекли двух пажей, попросивших у Ганца закурить. Мотивировались розги тем, что бенефис устроили в отмщение за наказание проказников.

Узнал я о всем этом десять дней спустя, когда мне разрешили возвратиться в класс. Меня стерли с красной доски, чем я ничуть не огорчился. Зато должен сознаться, что десять дней без книг в карцере показались мне несколько длинными. Чтобы скоротать время, я сочинил в дубовых стихах оду, в которой воспевались славные деяния четвертого класса.

Само собой разумеется, мы стали героями корпуса. Целый месяц потом мы все рассказывали другим классам про наши подвиги и получали похвалы за то, что выполнили все так единодушно, и никого не поймали отдельно. Затем потянулись воскресенья без отпуска, вплоть до самого рождества... Весь класс был так наказан. Впрочем, так как мы сидели все вместе, то проводили эти дни очень весело. Маменькины сынки получали целые корзины с лакомствами. У кого водились деньжонки, те накупали горы пирожков. Существенное до обеда, а сладкое — после. По вечерам товарищи из других классов доставляли контрабандным путем славному четвертому классу массу фруктов.

Ганц не записывал больше никого; но с рисованием мы покончили. Никто не хотел учиться рисованию у этого продажного человека.

III

Как только я поступил в корпус, у меня началась с Сашей оживленная переписка. Брат Саша в это время был в Москве, в кадетском корпусе. Покуда я оставался дома, от переписки пришлось отказаться, так как отец считал своим правом распечатывать все письма, прибывавшие в наш дом, и скоро положил бы конец всякой, не банальной корреспонденции. Теперь мы имели полную возможность обсуждать в письмах что угодно. Было лишь одно затруднение, как достать денег на почтовые расходы? Мы, однако, скоро приучились писать так мелко, что умудрялись передавать невероятную массу вещей в одном письме. Александр писал удивительно. Он ухитрялся умещать по четыре печатных страницы на одной стороне

листка обыкновенной почтовой бумаги. При всем том его микроскопические буквы читались так же легко, как четкий нонпарель. Крайне жаль, что некоторые из этих писем, которые я хранил, как святыню, исчезли. Жандармы забрали их у брата во время обыска *.

В первых письмах мы говорили, главным образом, про мелочи корпусной жизни, но вскоре переписка приняла более серьезный характер. Брат не умел писать о пустяках. Даже в обществе он оживлялся лишь тогда, когда завязывался серьезный разговор, и жаловался, что испытывает «физическую боль в голове», как он говорил, когда находился среди людей, болтающих о пустяках. Саша сильно опередил меня в развитии и побуждал меня развиваться. С этой целью он поднимал один за другим вопросы философские и научные, присылал мне целые ученые диссертации в своих письмах, будил меня, советовал мне читать и учиться. Как счастлив я, что у меня такой брат, который при этом еще любил меня страстно. Ему больше всего и больше всех обязан я моим развитием.

Иногда, например, он советовал мне читать стихи и посылал в письмах длинные выдержки, а то и целые поэмы Лермонтова, А. К. Толстого и т. д., которые писал на память. «Читай поэзию: от нее человек становится лучше», — писал он. Как часто потом вспоминал я это замечание и убеждался в его справедливости! Читайте поэзию: от н е е человек становится лучше! Саша сам был поэтом и мог писать удивительно звучные стихи. Но реакция против искусства, прошедшая в молодежи в начале шестидесятых годов и изображенная Тургеневым в «Отцах и детях», заставила брата смотреть с пренебрежением на свои поэтические опыты. Его всецело захватили естественные науки. Должен, однако, сказать, что моим любимым поэтом был не тот, кого более всего ценил брат. Любимым поэтом Александра был Веневитинов, тогда как моим был Некрасов. Правда, стихи Некрасова часто не музыкальны, но они говорили моему сердцу тем, что заступались за «униженных и обиженных».

«Человек должен иметь определенную цель в жизни, — писал мне брат, — без цели жизнь не в жизнь» И он советовал мне наметить такую цель, ради которой стоило бы жить. Я был тогда слишком молод, чтобы найти ее; но, в силу призыва, что-то неопределенное, смутное, «хорошее» закипало уже во мне, хотя я сам не мог бы определить, что такое будет это «хорошее».

Отец давал нам очень мало карманных денег. У меня их никогда не имелось столько, чтобы купить хотя бы одну книгу. Но если Александр получал несколько рублей от какой-нибудь тетушки, то никогда не тратил ни копейки лично на себя, а покупал книгу и посылал ее мне. Саша был против беспорядочного чтения. «Приступая к чтению книги, у каждого должен быть вопрос, который хотелось бы разрешить», — писал он мне. Тем не менее, я тогда не вполне оценил это замечание. Теперь я не могу без изумления вспомнить громадное количество книг, иногда совершенно специального характера, которые я тогда прочитал по всем отраслям знания, а главным образом, по истории. Я не тратил времени на

* Часть сохранившейся юношеской переписки братьев была отвезена Александром Алексеевичам в 1872 году за границу и передана на хранение П. Л. Лаврову. Впоследствии эти письма были переданы П. А. Кропоткину и ныне хранятся в Музее им. П. А. Кропоткина в Москве. В сокращенном виде переписка издана в двух томах издательством Academia. *Прим. ред.*

французские романы с тех пор как Александр решительно определил их так: «Они глупы, и там ругаются скверными словами».

Главной темой нашей переписки был, конечно, вопрос о выработке миросозерцания. В детстве мы никогда не отличались религиозностью. Нас брали в церковь, но в маленькой деревенской церкви торжественное настроение народа производит гораздо более сильное впечатление, чем сама служба. Из всего того, что я слышал в церкви, лишь две вещи произвели на меня впечатление: чтение в страстной четверг «двенадцати евангелий» и молитва Ефрема Сирина, которая действительно прекрасна как по простоте, так и по глубине чувства. Пушкин переложил ее, как известно, в стихи:

«Владыка дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей» и пр.

Еще раз у меня шевельнулось чувство вроде религиозного — это когда мы с Ульяной, нашей няней, вышли рано утром к заутрене в страстную пятницу. Утренний холодок, замерзшие лужицы, весенний воздух и встающее солнце — все это создавало какое-то особое настроение. Но что тут было главное — заутреня или поэзия природы? Заутрени я вовсе не помню, но помню и воздух, и замерзшие лужицы, и весеннее солнце — точно живая страница из Тургенева в природе.

Вообще православная церковная служба в маленьких церквах и особенно в деревнях обставлена так, что производит в ней впечатление не сама служба, а скорее молящийся народ. В Никольском, например, священник торопится — нужно бежать на покос — отжаривает с поразительной скоростью царскую фамилию, которую при Николае I приходилось отчитывать четыре раза во время обедни, с начала до конца, заканчивая королевой Нидерландской Анной Павловной (королеву «Меделянскую», как мы тогда говорили).

Рыжий пономарь, когда ему приходилось сорок раз под ряд говорить «господи помилуй», жарил так, что на всю церковь так и раздавалось — «помело-с, помело-с» А дьячок Иван Степанович с копной никогда не расчесываемых седых волос на голове, с соломой и репейником в волосах и в бороде поет «иже херувимы», а сам в это время найдет кусок сухой баранки в налое и грызет ее среди пения: «иже хе-хе-хе (проглотит) ру-ви-и-и-имы», а потом вытаскивает какое-то насекомое из бороды и давит: «тайно о-бра-зу (хлоп его) у-ю-ще» и т. д.

Ну, да и в Москве бывало не лучше. Уж на что «выразительно» служил у Успенья на могильцах Ипполит Михайлович Богословский-Платонов. И певчие превосходные, и сам так выразительно произносит слова, и даже проповеди читал. Все дамы из Старой Конюшенной ходили к нему. А между тем, однажды, когда он выносил дары и дьякон пыжился, бася, «благочестивейшего, самодержавнейшего!..» Ипполит Михайлович, заметив, что рослый лакей загородил одну из наших красавиц, близ амвона, густым отчетливым шопотом сказал ему: «Куда лезешь, болван! Ступай назад!»

Да и вообще вся обедня с «дарами», которые считаются «телом господним», и «херувимами» и с вычитыванием тут же царской фамилии всегда коробила меня. Когда служат «соборне» и каждый священник

своим голосом — один басом, другой гнусавым голосом, третий старческим шопотом наперерыв друг за другом бормочут — «и супругу его, благочестивейшую. . .» и «великого князя такого-то» и так далее без конца — все это вызывало во мне отвращение и я видел в этом только одну смешную сторону.

Впоследствии в Петербурге я бывал несколько раз в католической церкви, но меня поразила там театральность и отсутствие истинного чувства. Впечатление это было еще сильнее, когда я видел простую веру какого-нибудь отставного польского солдата или же крестьянки, молившихся в дальнем углу. Заходил я также и в протестантскую церковь; но когда я вышел оттуда, то поймал себя на том, что шептал стихи Гете:

. . . . . пожалуй, этим
вы угодите дуракам и детям:
Но сердце к сердцу речь не привлечет,
Коль не из сердца ваша речь течет.

Александр в то время с обычным пылом увлекся лютеранством. Он прочел книгу Мишлэ о Сервете [19] и составил себе собственную веру по образу этого знаменитого антитринитария. С энтузиазмом изучил он Аугсбургскую декларацию [20], которую перевел и прислал мне: наши письма тогда переполнены были рассуждениями о благодати и цитатами из посланий апостола Павла и Якова. Я слушал брата, но богословские беседы не особенно глубоко интересовали меня. Я стал читать книги совсем другого характера, когда оправился от тифа.

Лена была тогда уже замужем [21], жила в Петербурге, и по субботам вечером я отправлялся к ней. Муж ее имел порядочную библиотеку, в которой находились энциклопедисты и лучшие произведения современных французских философов. Я погрузился в чтение этих книг. Они были запрещенные, и я не мог брать их с собою в корпус, но зато по субботам до глубокой ночи я читал энциклопедистов, «Философский словарь Вольтера [22], произведения стоиков, в особенности Марка Аврелия [23] и т. д. Бесконечность вселенной, величие природы, поэзия и вечно бьющаяся ее жизнь производили на меня все большее и большее впечатление, а никогда не прекращающаяся жизнь и гармония природы погружали меня в тот восторженный экстаз, которого так жаждут молодые натуры. В то же время у моих любимых поэтов я находил образцы для выражения той пробуждавшейся любви и веры в прогресс, которой красна юность и которая оставляет впечатление на всю жизнь.

Александр между тем постепенно дошел до кантианского критицизма. Письма его наполнились «относительностью представлений», «представлениями во времени и в пространстве и во времени только» и т. д. Почерк становился все более и более микроскопическим по мере того как возрастала важность предмета. Но ни тогда, ни впоследствии, когда мы целыми часами обсуждали кантовскую философию, брату не удалось превратить меня в поклонника кенигсбергского философа.

Моими любимыми предметами стали точные науки: математика, физика и астрономия.

В 1858 году, еще до появления бессмертного труда Дарвина [24], профессор зоологии Московского университета К. Ф. Рулье [25] напечатал три лекции о трансформизме. Мой брат тотчас же ухватился за идею об изменчивости видов; но он не довольствовался приблизительными доказа-

тельствами, а занялся изучением специальных работ о наследственности и т. п. В письмах он сообщал мне главные факты, а также свои выводы и сомнения. Появление «Происхождения видов» не разрешило его сомнений по поводу некоторых специальных пунктов. Книга Дарвина только подняла ряд новых вопросов, которые побудили его заниматься еще с большим усердием. Впоследствии мы обсуждали — и наши обсуждения продолжались много лет — различные вопросы, касающиеся происхождения уклонений в видах, возможности передачи этих уклонений по наследству и усиление их. Короче, нас занимали те трудности в теории естественного подбора, которые были недавно подняты в научном споре между Спенсером и Вейсманом [26], в исследованиях Гальтона и в трудах современных неоламаркистов. Благодаря своему философскому и критическому уму, Александр сразу заметил, какое важное значение для теории изменчивости видов имеют эти вопросы, которые тогда были недосмотрены многими учеными.

Должен я также упомянуть о временной экскурсии в область политической экономии. В 1858 и 1859 годах все в России говорили о политической экономии. Лекции о протекционизме и свободной торговле привлекали массу слушателей. Горячо, хотя и не надолго, заинтересовался экономическими вопросами и Александр, который тогда еще не был поглощен всецело происхождением видов. Он прислал мне для прочтения курс Жана Батиста Сея; я прочел, однако, лишь несколько глав: тарифы и банковые операции не интересовали меня. Зато Александр увлекся всеми этими материями так сильно, что писал даже о них мачехе, пытаясь заинтересовать ее системой таможенных пошлин. Впоследствии, в Сибири мы перечитывали эти письма. Мы хохотали, как дети, когда дошли до одного послания, в котором Саша горько жаловался на неспособность мачехи заинтересоваться даже такими жгучими вопросами и неистовствовал по поводу одного «меднолобого зеленщика», которого изловил на улице. Со многими восклицательными знаками Саша писал: «Поверишь ли, несмотря на то, что он лавочник, этот болван со свинским равнодушием относился к тарифным вопросам!»

Каждое лето половина всех пажей уходила в лагерь в Петергоф. Два младших класса освобождались, однако, от этого. Таким образом, два года я проводил каникулы в Никольском. Оставить корпус, поехать по машине в Москву и встретить там Александра было для меня таким счастьем, что я считал дни. Но раз в Москве меня ждало большое разочарование. Александр не выдержал экзамена и остался на второй год в том же классе. В сущности, он был еще слишком молод для специальных классов, но, тем не менее, отец очень рассердился и не позволил нам видеться. Меня это крайне опечалило. Мы уже не были детьми, и у нас много накопилось, что сказать друг другу. Я попытался отпроситься к тетке Сулима, в доме которой надеялся встретить брата, но получил решительный отказ. После второй женитьбы отца нам запретили ходить к родственникам матери.

В ту весну наш московский дом был полон гостей. Каждый вечер приемные ярко освещались, играл оркестр, кондитер приготовлял мороженое и печенья, а картежная игра в большой зале шла до поздней ночи. Я бродил бесцельно по ярко освещенным комнатам и чувствовал себя несчастным.

Раз ночью, после десяти, кто-то из слуг поманил меня знаком и шепнул, чтобы я вышел в переднюю. Я вышел. «Идите в людскую, — шепнул старый дворецкий Фрол, — Александр Алексеевич там».

Я помчался через двор, быстро взбежал на крыльцо, в людскую. В полутемной большой комнате, за громадным столом я увидел Александра.

— Саша, мой милый, откуда ты? — Мы кинулись в объятия друг другу. Некоторое время мы ничего не могли сказать от волнения.

— Тише! Еще услышат вас! — зашептала кухарка Прасковья, утирая глаза углом передника. — Бедные сиротки! Если бы ваша мамаша жива была! . .

Старый Фрол тоже стоял, понурив голову, и у него глаза мигали.

— Смотри же, Петя, никому ни слова! Слышишь, никому,—сказал он.

Прасковья, между тем, поставила на стол перед Александром горшок с кашей.

Сверкающий здоровьем Саша принялся уже говорить о разных разностях, уписывая в то же время кашу. Горшок пустел. Я едва мог добиться от Саши, как он явился так поздно. Жили мы тогда близ Смоленского бульвара, в Лёвшинском переулке, в нескольких шагах от того дома, в котором умерла мать *, кадетский же корпус находился на другом конце Москвы, в Лефортове, верстах в семи.

Саша вместо себя уложил под одеяло чучело, сделанное из платья, затем спустился незаметно через окно «башни» и все семь верст прошел пешком.

— А ты не боялся проходить пустырями, возле корпуса? — спросил я.

— Кого мне бояться. Разве что на меня накинулись собаки, но я их сам же раздразнил. Завтра захвачу с собой тесак.

Кучера и другие слуги приходили между тем. Они вздыхали, глядя на нас, затем садились у стен и тихо перешептывались порой, чтобы не помешать нам. А мы, обнявшись, просидели до полуночи и беседовали о туманных пятнах и о гипотезе Лапласа [27], о строении вещества, о борьбе папской и императорской власти при Бонифации VIII и т. п.

Время от времени вбегал кто-нибудь из слуг и говорил:

— Петенька, пойди покажись в зале, а то они поднялись от карт и могут хватиться тебя.

Я умолял Сашу, чтобы он не приходил на следующую ночь, но он, тем не менее, явился, выдержав предварительную стычку с собаками, против которых захватил тесак. Еще быстрее вчерашнего помчался я на другой день, когда меня позвали в людскую. На этот раз Саша часть дороги проехал на извозчике. Прошлой ночью один из слуг принес ему деньги, которые получил от игравших в карты гостей, и упросил принять их. Саша взял немного мелочи на извозчика и поэтому прибыл раньше.

* Вместо этого особняка теперь (лето 1917 года) выстроен большой каменный дом. Дом же в Штатном переулке, в котором умерла наша мать, остался, как был, до сих пор, со своим балконом и его шестью красивыми колоннами и палисадником из акаций. Сохранилась и спальня, где умирала наша мать и происходило то, что описано мною во второй главе. *Прим. П. К.*

В настоящее время в доме, где родился П. А. Кропоткин (Кропоткинский пер., 6. Штатный, д. 26), помещается Кропоткинский музей. *Прим. ред.*

Думал он приехать на следующий день, но так как наши свидания могли навлечь беду на слуг, то мы решили расстаться до осени. Из коротенького официального письма, полученного на другой день, я узнал, что его ночные похождения остались нераскрытыми. Если бы про них узнали в корпусе, наказание было бы ужасно. Страшно даже подумать об этом! Сечение розгами перед всем корпусом до потери сознания, покуда несчастного унесут на простыне в госпиталь, а затем разжалованье в кантонисты, — все было возможно в то время.

Не менее жестоко пострадали бы слуги, если бы отец узнал про наши свидания. Но они умели хранить тайны и не выдавали друг друга. Все они знали про посещения Александра, но никто не обмолвился ни словом перед кем-нибудь из наших. Лишь только они да я во всем доме знали про свидания.

IV

К тому же году относится мой первый опыт исследования народной жизни. Он пододвинул меня на шаг ближе к нашим крестьянам и показал мне их в новом свете, а также пригодился впоследствии в Сибири.

Ежедневно в июле, в день казанской божьей матери, в храмовой праздник нашей церкви в Никольском бывала большая ярмарка. Съезжались купцы из соседних городов; несколько тысяч крестьян собиралось из окрестных деревень, верст за сорок. Никольское тогда кипело народом два дня. В этом году Аксаков [28] напечатал свое замечательное исследование украинских ярмарок. Саша, которого увлечение политической экономией стояло тогда в зените, посоветовал мне сделать статистическое описание нашей ярмарки, с целью определить оборот ее. Я последовал совету и, к великому моему изумлению, выполнил работу довольно успешно. Мои вычисления оборота, насколько я могу теперь припомнить, заслуживали столько доверия, сколько результаты многих статистических исследований.

Ярмарка наша продолжалась немного больше суток. Накануне храмового праздника ярмарочная площадь кипела жизнью. Наскоро сооружался длинный ряд навесов, под которыми продавались ситцы, нитки, ленты и всякие деревенские обновы. В большой каменный сарай привозились столы, стулья и скамьи, и он превращался в трактир. Пол его посыпался ярким, желтым песком. Сооружались три новых кабака, издали привлекавшие внимание крестьян веником, насаженным на длинный шест. С изумительной быстротой вырастали ряды меньших лавчонок, в которых продавались посуда, сапоги, пряники и разная мелочь. В одном конце ярмарки вырывали в земле походные кухни. В громадных котлах варились целые бараны и четверики пшена и гречневой крупы. Тут стряпали щи и кашу для всей ярмарки. Накануне казанской, к полудню, на всех дорогах, ведущих к селу, уже не было проезда от пригнанного скота и крестьянских телег и возов, нагруженных глиняной посудой, бочками с дегтем, хлебом.

Всенощная служилась в нашей церкви с необычайной торжественностью. Служили ее соборне около десятка священников и диаконов из всех соседних сел. А дьячки на клиросе, подкрепленные молодыми сидельцами, заливались, совсем как архиерейские певчие в Калуге. Церковь бывала набита битком. Все молились усердно. Торговцы соперничали

друг с другом числом и величиной свеч, поставленных перед иконами, чтобы торговля шла бойчее. В церкви бывало так тесно, что пришедшие позже не могли протолкаться к алтарю. Постоянно, вследствие этого, от дверей к алтарю, из рук в руки переходили, смотря по состоянию молящегося, толстые и тонкие, белые и желтые свечи. Передававшие шептали: «Заступнице нашей, пресвятой казанской божьей матери», «Николаю угоднику», «Фролу и Лавру». А то и просто: «всем святым» без дальнейших определений.

Немедленно после всенощной начиналось подторжье. Я вполне отдался работе: опрашивал сотни людей о стоимости привезенного ими товара. К моему удивлению, работа спорилась. Конечно, и мне тоже задавали вопросы: «Зачем это вам?» «Уж не для старого ли князя? Не хочет ли он увеличить ярмарочный сбор?» Но мое уверение, что «старый князь» ничего не знает и знать не будет (он, конечно, счел бы величайшим позором, что сын его занимался подобной переписью), разрешало все сомнения. Скоро я научился, как ставить вопросы. После нескольких стаканов чая, распитых с лавочником в трактире (в какой ужас пришел бы отец, если бы узнал это), все устроилось очень хорошо. Моей работой заинтересовался также никольский староста, Василий Иванов, красивый молодой крестьянин, с умным лицом и шелковистой русой бородой.

— Коли тебе это нужно для твоей науки, то ты и делай, а потом, может, и нам пригодится, — заметил он и говорил потом крестьянам, что с моими опросами все — ладно.

Короче сказать, «привоз» определился довольно точно. Но продажа, начавшаяся на другой день, представляла некоторые затруднения. Торгующие красным товаром сами еще не знали, на сколько они продали. В день храмового праздника молодые крестьянки просто брали лавки приступом. Каждая из них, продавши немного самотканного полотна, теперь покупала ленту, ситцу, цветной головной платок для себя, шейный платок для мужа и небольшие гостинцы для стариков и ребятишек, оставшихся дома. Что касается до тех, кто торговал посудой, пряниками, скотом или пенькой, то они (в особенности же старухи) сразу определяли сумму.

— Хорошо торговала, бабушка? — задавал я вопрос.

— Грех жаловаться. Что бога гневить! Почти все уж продала.

И из маленьких итогов, которые они мне давали, у меня в записной книжке в общем складывались суммы в десятки тысяч рублей. Только один пункт остался невыясненным. Под палящим солнцем стояли сотни баб. Каждая принесла на продажу кусок самотканного холста, очень тонкого. Десятки покупателей с цыганскими лицами и ястребиными глазами шныряли в толпе, покупая холст. Эти сделки я мог определить лишь приблизительно, при помощи Василия Иванова.

Я тогда не философствовал над своим опытом и просто радовался, что он удался. Но здравый смысл и способность быстрого русского крестьянина, выяснившиеся мне в эти два дня, произвели на меня глубокое впечатление. Впоследствии, когда мы занимались революционной пропагандой в народе, я нередко удивлялся тому, что мои товарищи, получившие гораздо более демократическое воспитание, чем я, не знали, как приступиться к крестьянам или фабричным. Они пытались подделаться под народный говор, вводили много так называемых «народных оборотов», но этим делали свою речь более непонятной.

Ничего подобного не требуется, когда говоришь или же пишешь для народа. Великорусский крестьянин отлично понимает интеллигентного человека, если только последний не начиняет свою речь иностранными словами. Крестьянин не понимает лишь отвлеченных понятий, если они не пояснены наглядными примерами. Вообще я убедился из опыта, что нет такого вопроса из области естественных наук или социологии, которого нельзя бы изложить совершенно понятно для крестьян и вообще для деревенского населения всех стран. Требуется только, чтобы вы сами совершенно ясно понимали, о чем вы говорите, и говорили просто, исходя из наглядных примеров. Главное отличие между образованным и необразованным человеком то, что второй не может следить за цепью умозаключений. Он улавливает первое, быть может, и второе; но третье уже утомляет его, если он еще не видит конечного вывода, к которому вы стремитесь. Впрочем, как часто то же самое мы видим и в образованных людях.

Вынес я еще одно впечатление из этой юношеской работы, хотя оформил его лишь впоследствии. По всей вероятности, оно удивит не одного читателя. Я имею в виду дух равенства, крайне определенно выраженный не только в русских крестьянах, но вообще в деревенском населении всех стран. Мужик может рабски повиноваться помещику или полицейскому чиновнику; он подчиняется беспрекословно их воле, но он отнюдь не считает их высшими людьми. Через минуту тот же крестьянин будет с барином разговаривать, как равный с равным, если речь пойдет о сене или об охоте. Во всяком случае, никогда я не наблюдал в русском крестьянине того подобострастия, ставшего второй натурой, с которым маленький чиновник говорит о своем начальнике или лакей о своем барине. Крестьянин слишком легко подчиняется силе, но не поклоняется ей.

В то лето я возвратился из Никольского в Москву не обычным путем. Тогда железная дорога между Калугой и Москвой еще не существовала, а был некто Козел, державший род почтовых дилижансов между обоими городами. Наши, конечно, никогда не ездили таким образом: на то были свои лошади и экипажи. Но отец, чтобы избавить мачеху от двойного путешествия, полушутливо предложил мне поехать дилижансом «на Козле». Я с радостью ухватился за это предложение. Мачеха довезла меня до Калуги, а оттуда я отправился с козловским тарантасом. В тарантасе нас было всего четыре человека: очень толстая купчиха, я да еще купец с мещанином на переднем сиденье. Путешествие оказалось чудное. Прежде всего я путешествовал сам (мне шел всего шестнадцатый год), а затем купчиха запаслась для трехдневного путешествия громадной корзиной с припасами и все время угощала меня всевозможными пирожками, печеньями и фруктами.

Но больше всего у меня запечатлелся один вечер. Мы остановились на постоялом дворе в большом селе. Старая купчиха заказала для себя самовар, а я отправился бродить по улицам. Мое внимание обратила белая харчевня, и я зашел туда. За столами, покрытыми белыми скатертями, сидели крестьяне и распивали чай. Заказал и я себе пару.

Все было для меня ново. Село было не господское, а казенных крестьян, сравнительно зажиточных, так как в селе было развито тканье полотна. За столами шел тихий, спокойный разговор; лишь иногда раз-

давался смех. Кто-то спросил меня, откуда я, куда еду, и скоро у меня завязался разговор с десятком крестьян об урожае в наших местах, о погоде, о сене. Затем мне стали задавать различные вопросы. Крестьяне желали знать все о Петербурге, а в особенности о ходивших тогда слухах о близости воли. И на меня повеяло каким-то особенно теплым чувством простоты, сердечности и сознания равенства — чувством, которое я всегда испытывал впоследствии среди крестьян. Ничего особенного не случилось в этот вечер, так что я даже себя спрашиваю, стоит ли упоминать о нем. А между тем теплая, темная ночь, спустившаяся на деревню, маленькая харчевня, тихие беседы крестьян, их пытливые расспросы о сотне предметов, лежащих вне круга их обычной жизни — все это сделало то, что с тех пор бедная белая харчевня стала для меня привлекательнее богатого, модного ресторана.

V

Корпус наш в 1860 году переживал бурное время. Когда Жирардот вышел в отставку, место его занял один из наших офицеров, капитан Фед. Кондр. фон-Бреверн. Он вообще был добрый человек, но ему засело в голову, что мы почитаем его не так, как соответствует высокому посту, занимаемому им. И вот наш капитан стал вселять в нас большое уважение и благоговение к себе и начал с того, что стал притеснять старший класс из-за всякой мелочи. Что казалось нам еще хуже, он посягнул на наши «вольности», происхождение которых терялось во мраке времен. Права эти были очень маленькие, но мы очень дорожили ими.

В результате получилось то, что корпус наш несколько дней «бунтовал». Последовало поголовное наказание и даже исключение из корпуса двух камер-пажей, наших любимцев.

Затем тот же капитан стал заходить в классы, где в течение часа до начала занятий приготовляли уроки. Мы считали, что в классах избавлены от надзора фронтового начальства, так как находимся в ведении инспектора. Нас сильно задело вторжение в класс, и раз я громко заявил капитану, что «тут место инспектора классов, а не ротного командира». За эту дерзость я был посажен на несколько недель в карцер [29].

Карцером в корпусе служили две совершенно темных комнаты, в одну из которых я и был заперт. Заключенный получал только кусок черного хлеба и кружку воды — и больше ничего. Очутившись в темноте карцере в первый раз, я скоро почувствовал сильную скуку. Бездеятельность буквально тяготила меня. Я начал делать гимнастику, пел отрывки из опер, но, несмотря на все это, время тянулось чрезвычайно медленно.

Прошла неделя, я все сидел. Тогда я придумал новое занятие... Я стал учиться лаять и выть по-собачьи. Через несколько дней я развил этот талант до совершенства. Я умел передавать лай собак на луну, представлял, как лают две собаки при встрече, одна огромная и сильная, лающая басом на маленькую собачонку, которая в ответ, поджав хвост, тявкает со страхом из-за угла на большую, и т. д.

Это, казалось бы, совершенно бесполезное занятие впоследствии имело практическое значение. Когда я плавал по Амуру в почтовой лодке, то ночью мое уменье лаять по-собачьи оказывало нам большую пользу. Часто, плывя в темноте в безлунные ночи по реке, мы с трудом разли-

чали очертания берегов и не знали, где находятся селенья. И всякий раз, когда нужно было пристать к берегу, мой товарищ, командир почтовой лодки, серьезно говорил мне: «Петр Алексеевич, будь так добр, полай немножко».

Я не заставлял себя просить, и мой звонкий лай тотчас же разносился по широкой реке. Через несколько минут на мой лай отзывались собаки из селений на берегу, и мы могли тогда легко ориентироваться и пристава ли к берегу. Так в жизни всякое знание может пригодиться.

В карцере я просидел больше двух недель. Но вот однажды в соседний карцер посадили одного пажа, и он стал сообщать мне через стенку корпусные новости.

Выслушав его, я захотел показать ему свое искусство и начал выть и лаять на всякие манеры и так напугал его, что он, как только его освободили, немедленно сообщил товарищам:

— Кропоткин, должно быть, с ума сошел за время своего пребывания в карцере, — говорил он, — я ему рассказываю все наши новости, а он лает и воет, как собака, мне в ответ . . .

Эта сенсационная новость сейчас же дошла до начальства, и на следующий же день меня стали выпускать на занятия, а в карцер отводили только ночевать.

Наконец, меня позвали к директору, генералу Желтухину. Директор был добрый человек, но, увидав меня, он принял грозный и суровый вид, начал меня бранить и грозил исключением из корпуса.

— Что это ты выдумал оскорблять капитана? Как осмелился ты отвечать так инспектору корпуса? Ты знаешь, что тебя следует одеть в бараний тулуп и отправить к твоему отцу . . .

Директор старался придать свирепое выражение своему добродушному лицу. Военная дисциплина требовала, чтобы я стоял «на вытяжку», не издавая ни звука, и молча выслушивал выговор директора. Но вскоре его гневный тон сменился на обыкновенный. Заметив это, директор вдруг приказал мне итти «к себе» в карцер. Я ушел. На следующий день я был освобожден из карцера.

Мое освобождение было встречено с восторгом всем классом. Капитан, с которым директор имел также беседу наедине в кабинете, прекратил после этого посещения классной комнаты. Я оказался победителем.

Благодаря тому, что начальство сознавало, что инспектор позволял себе лишнее и выводил нас своими придирками из терпения, мой поступок не повлек за собою строгой кары. Я не был исключен из корпуса, а отделался лишь двумя неделями карцера и отметкой об этом в «журнале» об успехах и поведении.

После этого жизнь в корпусе вошла в свою обычную колею. Капитан больше не посягал на наши «вольности».

Едва эти волнения кончились, смерть вдовствующей императрицы снова прервала правильное течение занятий.

Похороны высочайших особ устраиваются всегда так, чтобы произвести особенно сильное впечатление на народ. Тело императрицы было доставлено из Царского Села, где она умерла, в Петербург и с вокзала его перевезли по главным улицам в Петропавловскую крепость. Гроб провожала вся императорская фамилия, высшие сановники, десятки тысяч чиновников и бесчисленные корпорации. Впереди шли сотни священников

и хоры певчих. Сто тысяч гвардии было выстроено вдоль улиц. Тысячи людей в парадных формах участвовали в процессии, сопровождали колесницу или же шли впереди ее. На каждом перекрестке пелась лития. Звон церковных колоколов, пение громадных хоров, смешанные звуки соединенных военных оркестров, — все это должно было внушать народу, что громадная толпа действительно оплакивает смерть императрицы.

Покуда гроб стоял в соборе Петропавловской крепости, пажи в числе прочих стояли возле него на часах днем и ночью. Три камер-пажа и три фрейлины постоянно дежурили возле гроба, помещавшегося на высоком катафалке, а пажей двадцать стояли на платформе, на которой два раза в день служились панихиды в присутствии императора и всей его семьи. Ради этого ежедневно отвозили в крепость чуть не половину нашего корпуса. Мы сменялись каждые два часа, и днем дежурить было не трудно. Но жутко бывало вставать ночью, одеваться в придворное платье и затем итти в собор темными и мрачными дворами крепости, при печальном перезвоне башенных часов. Холод тогда пробегал у меня, когда я вспоминал о заключенных, замурованных где-то тут, в этой русской Бастилии. «Кто знает, — думал я, — быть может и мне предстоит когда-нибудь попасть в число их».

Похороны не обошлись без происшествия, которое могло бы иметь очень серьезные последствия. Над гробом, под куполом собора, сделан был громадный балдахин, увенчанный большой, позолоченной короной. От нее к четырем громадным пилястрам, поддерживающим купол, ниспадала огромная пурпурная мантия, подбитая горностаем. Впечатление получалось сильное; но мы, пажи, скоро открыли, что золоченая корона сделана из картона и дерева, что лишь нижняя часть мантии — бархатная, верхняя же — из красного кумача и что вместо горностая употребили белую бумазею с нашитыми беличьими хвостиками. Покрытые крепом щиты с гербами были тоже картонные. Но народу, которому вечером разрешили проходить мимо катафалка, чтобы приложиться к золотой парче, прикрывавшей гроб, не было времени рассмотреть бумазейный горностай и картонные щиты. Желанный театральный эффект получался и притом обходился не дорого.

Во время панихид члены императорской фамилии, как водится, стояли с зажженными свечами, которые тушились после прочтения известных молитв. Раз один из маленьких великих князей, увидавши, что «большие» тушат свечи, перевернув их, сделал то же самое и нечаянно поджег черный креп, ниспадающий позади его, с щита. Через мгновенье щит и бумажная ткань пылали. Громадный огневой язык побежал вверх по тяжелым складкам, так называемой, горностаевой мантии.

Панихида прекратилась. Глаза всех были устремлены с ужасом на этот огненный язык, который взбегал все выше и выше, к картонной короне и к деревянной раме, поддерживавшей все сооружение. Стали падать куски горящей ткани, грозя зажечь траурные вуали дам.

Александр II потерялся лишь на мгновение, но немедленно оправился. «Нужно гроб нести», — приказал он. Камер-пажи тотчас же покрыли гроб золотой парчей, и все стали подходить, чтобы поднять его. Но в это время громадный огненный язык распался на мелкие голубые огоньки, которые пошли по ворсу ткани. Мало-по-малу и они потухли среди пыли и копоти, накопившейся наверху.

Не могу сказать, на что я тогда больше засмотрелся: на ползущий ли огненный язык или на величественные и стройные фигуры трех фрейлин, стоявших возле гроба. Черные кружевные вуали висели у них вдоль плеч, а длинные шлейфы траурных платьев покрывали ступени катафалка. Ни одна из них не шелохнулась. Они стояли как прекрасные изваяния, лишь на глазах одной из них, Гамалеи, слезы блеснули, как жемчужины. Она была украинка родом и единственная красавица среди всех фрейлин.

В корпусе все было верх дном. Занятия прекратились. Те из нас, которые возвращались с дежурства из крепости, жили временно в разных залах и классных комнатах. Так как делать было нечего, то придумывались различные проказы. Так, мы открыли стоявший в одной комнате шкап, в котором находилась великолепная коллекция моделей животных, предназначавшаяся для преподавания естественной истории.

Собственно говоря, таково было ее официальное назначение, но нам никогда не показывали животных. Зато мы решили воспользоваться моделями теперь. Из черепа, который мы нашли в шкапу, мы сделали привидение, чтобы пугать ночью товарищей и офицеров. Животных же мы разместили в самых уморительных положениях и группах: обезьяны разъезжали верхом на львах, овцы играли с леопардами, жирафы танцовали со слонами и т. д. Хуже всего было то, что в корпус приехал прусский принц, прибывший на похороны (кажется, тот самый, который стал впоследствии императором Фридрихом). Наш директор не преминул похвастать прекрасными педагогическими коллекциями и подвел гостя к злосчастному шкапу. Едва прусский принц увидал нашу зоологическую классификацию, у него вытянулось лицо, и он быстро отвернулся. Директор оцепенел от ужаса; он лишился способности произносить членораздельные звуки и только тыкал рукой, все по направлению морских звезд, помещенных в стеклянных коробках возле шкапа. Свита принца притворилась, будто ничего не замечает и лишь украдкой окидывала взглядом курьезную коллекцию. А мы употребляли все усилия, чтобы не расхохотаться.

VI

Школьная жизнь юноши в России резко отличается от западно-европейской. У нас юноша в университете или в военной школе живо интересуется вопросами социальными, политическими и философскими. Так было, по крайней мере, в начале шестидесятых годов. Правда, из всех учебных заведений Пажеский корпус представлял наименее удобную почву для такого развития, но в ту эпоху всеобщего пробуждения прогрессивные идеи проникли к нам и захватили некоторых из нас. Это, впрочем, не мешало нам принимать деятельное участие в бенефисах и других проказах.

В четвертом классе я заинтересовался историей. По заметкам, составленным во время уроков и при помощи книг (Саша, конечно, прислал мне «Всеобщую историю» Лоренца), я написал для себя целый курс ранней истории средних веков. На следующий год меня заинтересовала борьба между папской властью и светской при Бонифации VIII и Филиппе IV; мне страстно хотелось получить разрешение работать в пуб-

личной библиотеке, чтобы там изучать великую борьбу. Это было, однако, не согласно с правилами: воспитанники средних учебных заведений туда не допускались. Добрый Беккер *, старший библиотекарь в одном из отделений библиотеки, впрочем, уладил все препятствия: мне разрешили доступ в святилище. Я мог занять теперь место на одном из красных бархатных диванчиков, перед одним из столиков, составлявших тогда меблировку читальни. Познакомившись с учебниками, а затем с книгами, имевшимися в нашей библиотеке, я перешел к первоисточникам. Я не знал латыни, но вскоре открыл богатые источники на старом немецком и старом французском языках. Архаические формы и выразительность языка французских летописей доставляли мне высокое эстетическое наслаждение. Передо мной раскрылся совершенно новый общественный строй; я узнал про неведомый, сложный мир. С тех пор я научился ценить исторические первоисточники больше, чем модернизированные сочинения. Из последних действительная жизнь описываемого периода вытесняется партийными тенденциями, а не то и модной формулой. Замечу также, что ничто не дает такого толчка умственному развитию, как самостоятельно сделанные изыскания. Гораздо позже эти юношеские работы очень помогли мне.

К сожалению, я должен был прекратить занятия историей, когда перешел во второй (предпоследний) класс. Пажам в два года предстояло пройти то, что в других военных школах проходится в трех специальных классах. Работать поэтому приходилось много. Естественные науки, математика и школьные военные науки отодвинули историю на задний план.

Во втором классе мы начали серьезно заниматься физикой. Преподаватель Чарухин был превосходный — умный, саркастический, ненавидевший зубрячку, он хотел, чтобы мы учились д у м а т ь, а не просто заучивали факты.

Он был хорошим математиком и налегал на алгебраический анализ в физике. При этом он обладал удивительным даром: он умел выяснить основную мысль каждого физического закона и физических приборов, не теряясь в мелочах, как это делает большинство составителей учебников физики. Некоторые его вопросы были так оригинальны и объяснения так хороши, что они навеки врезались в моей памяти.

Учебник физики Ленца, которым мы пользовались, не был плох (большая часть учебников в военно-учебных заведениях была составлена лучшими учеными того времени), но он устарел: в эти годы шла уже перестройка физических теорий. В силу этого наш преподаватель, следовавший собственной методе, начал составлять краткий конспект по своему предмету, и этот конспект мы отдавали литографировать. Случилось, однако, так, что через две-три недели составлять конспект пришлось мне. Как хороший педагог, Чарухин предоставил это мне всецело и сам читал лишь корректуры. Отделы о теплоте, электричестве и магнетизме пришлось писать заново, вводя новейшие теории, и таким образом я составил почти полный учебник физики, который отлитографирован для употребления в корпусе. Легко понять, как помогла мне впоследствии эта работа.

* Преподавал в Пажеском корпусе немецкий язык.

Во втором классе мы стали также изучать химию. И для нее мы имели великолепного преподавателя, артиллерийского офицера Петрушевского, страстного любителя предмета, сделавшего несколько важных исследований.

Годы 1859—1861 были временем расцвета точных наук. Грове [30], Клаузиус [31], Джоуль [32] и Сегэн [33] доказали, что теплота и электричество суть лишь различные формы движения. Около этого времени Гельмгольц [34] начал свои исследования о звуке, которые составили эпоху в науке. Тиндаль [35] в своих популярных лекциях, так сказать, прикоснулся к самым атомам и молекулам. Герард [36] и Авогадро [37] ввели в химию теорию замещений, а Менделеев [38], Лотар Мейер [39] и Ньюланде [40] открыли периодическую законность химических элементов. Дарвин своим «Происхождением видов» совершил полный переворот в биологических науках, а Карл Фогт [41] и Молешотт [42], следуя за Клодом Бернаром [43], создали физиологическую психологию.

То было время всеобщего научного возрождения. Непреодолимый поток мчал всех к естественным наукам, и в России вышло тогда много очень хороших естественно-научных книг в русских переводах. Я скоро понял, что основательное знакомство с естественными науками и их методами необходимо для всякого, для какой бы деятельности он ни предназначал себя. Нас соединилось пять или шесть человек, и мы завели род химической лаборатории. При помощи самых простых приборов, указанных для начинающих в превосходном учебнике Штэкгардта, мы засели в комнате двух товарищей, братьев Замыцких, за химические опыты. Отец их, отставной адмирал, был очень рад, что дети его с такой пользой употребляют время, и не препятствовал нам собираться по воскресеньям и праздникам в «лаборатории», находившейся рядом с его кабинетом. Руководствуясь учебником Штэкгардта, мы проделали все указанные там опыты. Должен прибавить, что мы чуть не подожгли дом и не раз отравляли воздух во всех комнатах хлором и тому подобными зловонными веществами. Но старый адмирал относился к этому очень добродушно. Когда мы за обедом рассказывали старику наши приключения, он тоже сообщал нам, как раз с товарищами чуть не спалил дом, преследуя менее полезную цель, чем мы, именно, приготовляя жженку. А добрейшая мать товарищей говорила, между припадками удушливого кашля: «Что ж, ничего не поделаешь, если для ваших занятий вам н у ж н о возиться с такими снадобьями».

Мы ласкались к ней за такое милое отношение, и после обеда она обыкновенно садилась за рояль, и до поздней ночи мы пели дуэты, трио и хоры из опер. А не то мы брали партигуру какой-нибудь оперы — нередко «Руслана» — и пели ее всю, от начала до конца. Мать Замыцких и их сестра пели партии примадонн, старший брат прекрасно исполнял теноровую партию, а я, с его младшим братом, с грехом пополам, выполняли остальные. Химия и музыка шли таким образом рука об руку.

Высшая математика заняла тоже немалую часть моего времени. Многие из нас уже решили, что не пойдут в гвардию, где фронтовая служба и парады отнимали все время. Мы намеревались после производства поступить в артиллерийскую академию или в инженерную. Для этого мы должны были изучить аналитическую геометрию, дифференциальное и

Александр Алексеевич Кропоткин, старший брат
П. А. Кропоткина
С фотографии 1861 г.

начало интегрального исчисления и брали частные уроки. Элементарная астрономия преподавалась нам тогда под именем математической географии, и я увлекся, в особенности в последний год пребывания в корпусе, чтением по астрономии. Никогда не прекращающаяся жизнь вселенной, которую я понимал, как ж и з н ь и развитие, стала для меня неистощимым источником поэтических наслаждений, и мало-по-малу философией моей жизни стало сознание единства человека с природой как одушевленной, так и неодушевленной.

Если бы у нас преподавались только перечисленные предметы, то и тогда все наше время было бы совершенно заполнено. Но нам читали еще гуманитарные науки: историю, законоведение, то есть общее знакомство со сводом законов, затем основы политической экономии и сравнительной статистики. Кроме того, нужно было одолеть громаднейшие курсы военных наук: тактики, военной истории (походы 1812 и 1815 годов в мельчайших подробностях), артиллерии и полевой фортификации.

Припоминая теперь прошлое, я прихожу к заключению, что наша программа (кроме военных предметов, вместо которых мы могли бы с большей пользой изучать точные науки) была вовсе не дурна и, несмотря на свое разнообразие, вполне приходилась по силам юноше со средними способностями. Вследствие хорошего знакомства с низшей математикой и физикой, которое мы приобретали в младших классах, большинство из нас справлялось вполне удовлетворительно с программой. Многие из нас занимались, конечно, спустя рукава некоторыми предметами, например, законоведением или новой историей, которая читалась у нас прескверно престарелым Шульгиным[44]: его держали только ради выслуги полной пенсии. Но нам предоставляли известный простор в выборе любимых предметов. По ним нас экзаменовали очень строго, а по остальным — довольно снисходительно. Вообще я объясняю себе сравнительную успешность прохождения этой обширной программы конкретным характером всего преподавания. Как только мы познакомились теоретически с элементарной геометрией, мы тотчас же применяли ее в поле, при помощи вех, землемерной цепи, а потом с астролябией, компасом или мензулой. После таких наглядных уроков начальная астрономия уже не представляла для нас затруднений, тогда как съемка планов, как работа в поле, становилась для нас источником удовольствий.

Та же система наглядного преподавания применялась и для фортификации. Зимой мы разрешали задачи в роде следующих: имея в распоряжении тысячу солдат, построить в двухнедельный срок возможно более сильное укрепление, чтобы защитить мост для отступающей армии; и разрешивши задачу, мы потом горячо отстаивали наши проекты, когда преподаватель критиковал их. Летом же мы применяли наши теоретические познания на деле, в поле, строя профили укреплений. Таким образом, благодаря практическим упражнениям, большинство из нас, в возрасте 17—18 лет, очень нерудно усвоивало все эти разнообразные предметы.

За всем тем у нас оставалось еще вдоволь времени для развлечений и для проказ различного рода. Лучшее время наступало, когда кончались экзамены; до выступления в лагери у нас тогда имелся почти месяц, совершенно свободный, а затем, по возвращении из лагерей, мы были опять свободны целых три или четыре недели. Немногие из нас, которые оставались в училище, пользовались тогда полной свободой и отпуском

в любое время. В корпус мы возвращались только есть и спать. Я работал в это время в публичной библиотеке, ходил в Эрмитаж и изучал там картины, одну школу за другой, или же посещал казенные ткацкие фабрики, литейные, хрустальные и гранильные заводы, куда доступ всегда открыт. Иногда мы отправлялись компанией кататься на лодках по Неве и проводили белые ночи — когда вечерняя заря встречается с утренней и когда в полночь можно без свечи читать книгу — на реке или у рыбаков на взморье.

Вспоминается мне особенно один вечер. Раз как-то я уговорил нескольких товарищей отправиться на взморье. Мы тронулись с ранним пароходом. Пообедали в каком-то грязном трактире, а затем весь день до вечера пробродили по взморью.

Я декламировал товарищам Огаревское стихотворение «Искандеру». Это стихотворение произвело на меня сильное впечатление, и я заучил его наизусть и с глубоким чувством произносил:

«Когда я был отроком тихим и нежным,
Когда я был юношей страстно-мятежным,
И в возрасте зрелом, со старостью смежном,
Всю жизнь мне все снова, и снова, и снова
Звучало одно неизменное слово:
Свобода! Свобода!
Измученный рабством и духом унылый,
Покинул я край мой родимый и милый,
Чтоб было мне можно, насколько есть силы,
С чужбины до самого края родного
Взывать громогласно заветное слово:
Свобода! Свобода!
И вот на чужбине, в тиши полунощной,
Мне издали голос послышался мощный...
Сквозь вьюгу сырую, сквозь мрак беспомощный
Сквозь все завывания ветра ночного,
Мне слышится с родины юное слово:
Свобода! Свобода!
И сердце, так дружное с горьким сомнением,
Как птица из клетки, простясь с заточением,
Взыграло впервые отрадным биением,
И как-то торжественно, весело, ново
Звучит теперь с детства знакомое слово:
Свобода! Свобода!
И все-то мне грезится снег и равнина,
Знакомое ветру лицо селянина,
Лицо бородатое, мощь исполина,
И он говорит мне, снимая оковы,
Мое неизменное, вечное слово:
Свобода! Свобода!
Но еслиб грозила беда и невзгода
И рук для борьбы захотела свобода, —
Сейчас полечу на защиту народа,
И если паду я средь битвы суровой,
Скажу, умирая, могучее слово:
Свобода! Свобода!
А, еслиб пришлось умереть на чужбине,
Умру я с надеждой и верою ныне.
Но в миг предсмертный — в спокойной кручине,
Не дай мне остынуть без звука святого,
Товарищ, шепни мне последнее слово:
Свобода! Свобода!»

Но плохо отзывались чудные стихи и чудные мысли в сердцах моих товарищей. Они слушали и только. Я рос и развивался один. В эту пору еще одна повесть Тургенева глубоко запала мне в душу и на всю жизнь наложила свой отпечаток. Это было «Накануне».

«Накануне» вышло в начале 1860 года. Наступила весна, кончились у нас экзамены, и мы жили тогда в лазарете. Помню я начал читать «Накануне» под вечер, сидя у раскрытого окна, выходившего на наш плац. Напротив, через плац, стоял маленький домик, где жил один из наших дежурных офицеров со своими двумя молоденькими племянницами. Я читал «Накануне» всю ночь не отрываясь. Инсаров, болгарский патриот, поглощенный о д н о й идеей — мыслью об освобождении своей родной страны, произвел на меня сильное впечатление. Эта же повесть определила с ранних лет и мое отношение к женщине.

Из посещения фабрик я вынес тогда же любовь к могучим и точным машинам. Я понял поэзию машин, когда видел, как гигантская паровая лапа, выступавшая из лесопильного завода, вылавливает бревно из Невы и плавно подкладывает его под машину, которая распиливает ствол на доски; или же смотрел, как раскаленная докрасна железная полоса, пройдя между двумя цилиндрами, превращается в рельс. В современных фабриках машина убивает личность работника. Он превращается в пожизненного раба известной машины и никогда уже не бывает ничем иным. Но это лишь результат неразумной организации, и виновна в этом случае не машина. Чрезмерная работа и бесконечная ее монотонность одинаково вредны с ручным орудием, как и с машиной. Если же уничтожить переутомление, то вполне понятно удовольствие, которое может доставить человеку сознание мощности его машины, целесообразный характер ее работы, изящность и точность каждого ее движения. Ненависть, которую питал к машине Вильям Моррис [45], доказывает только, что, несмотря на его могучий талант, мощность и красота машин были ему недоступны.

Музыка тоже играла важную роль в моем развитии. Она являлась для меня еще большим источником наслаждения и энтузиазма, чем поэзия. В то время русская опера почти еще не существовала; но то был период расцвета итальянской оперы. В Петербурге она была чрезвычайно популярна и насчитывала не мало крупных талантов. Когда заболела примадонна Бозио [46], тысячи людей, в особенности молодежи, простаивали до поздней ночи у дверей гостиницы, чтобы узнать о здоровье дивы. Она не была хороша собой, но казалась такой прекрасной, когда пела, что молодых людей, безумно в нее влюбленных, можно было считать сотнями. Когда Бозио умерла, ей устроили такие похороны, каких Петербург до тех пор никогда не видел.

Весь Петербург делился тогда на два лагеря: на поклонников итальянской оперы и на завсегдатаев французского театра, где уже тогда зарождалась гнилая оффенбаховщина, через несколько лет заразившая всю Европу. Наш класс тоже разделился на два лагеря, и я принадлежал к итальянцам. Нам не позволялось посещать кресла или галлереи, а ложи в итальянской опере разбирались за несколько месяцев до начала сезона по подписке, а в некоторых домах абонементы передавались даже по наследству. Нам оставалось, таким образом, пробираться в оперу по субботам на верхнюю галлерею, где мы скучивались «в проходе» и пари-

лись как в бане. Чтобы скрыть наши бросающиеся в глаза мундиры, мы должны были стоять даже там, несмотря на духоту, в застегнутых черных ватных шинелях с меховыми воротниками. Удивительно, как это никто из нас не схватил воспаления легких, в особенности, если вспомнить, что мы, разгоряченные овациями нашим любимицам, простаивали потом подолгу на улице, у театрального подъезда, чтобы еще раз поаплодировать им. В то время опера каким-то странным образом связана была с радикальным движением. Революционные речитативы в Вильгельме Телле или Пуританах всегда вызывали шумные овации, не мало смущавшие Александра II. А в шестом ярусе, в курительной и на подъезде собиралась лучшая часть петербургской молодежи, объединенная общим благоговением к благородному искусству. Все это может показаться теперь ребячеством; но тогда не мало возвышенных идей и чистых стремлений было заронено в нас поклонением пред любимыми артистами.

VII

Летом мы выступали в лагерь, в Петергоф, вместе с другими военными училищами петербургского округа. В общем, жилось нам там очень хорошо и, без сомнения, мы значительно поправлялись в лагере. Спали мы в просторных палатках, купались в море и возвращались в город с запасом здоровья.

В военных училищах главное занятие в лагерях, конечно, фронтовая служба. Мы все ее терпеть не могли; но скука ее порой смягчалась тем, что мы принимали участие в маневрах. Раз, когда мы уже ложились спать, Александр II поднял лагерь, приказавши бить тревогу. Через несколько минут весь лагерь ожил. Несколько тысяч мальчиков собрались вокруг знамен. В ночной тишине раздался тяжелый гул пушек артиллерийского училища. Весь военный Петергоф прискакал в лагерь; но вследствие какого-то недоразумения царю не приводили лошади. Поскакали во все концы ординарцы, чтобы достать царю коня; но коня не оказывалось. Так как Александр II был не особенно хороший наездник, то он не садился на чужую лошадь. Он был очень сердит, и когда к нему подскакал ординарец, рапортуя: «Лошадь вашего величества ведут с Бабьигоны», он грозно разразился: «Дурак, разве у меня одна лошадь?»

Сгущавшаяся темнота, пушечные выстрелы, топот кавалерии, все это действовало на нас, мальчиков, сильно возбуждающим образом, и когда Александр II пустил нашу колонну в атаку, оставаясь впереди ее, мы едва не смяли его. Сомкнутые в ряды, с опущенными штыками, мы, должно быть, имели грозный вид; и я видел, как император, который все еще стоял пешим, тремя громадными скачками очистил путь для колонны. Я понял тогда, что значит колонна, идущая сомкнутыми рядами, возбужденная музыкой и наступлением. Перед нами стоял император, наш военный начальник, к которому мы все относились с благоговением. Между тем, я чувствовал, что ни один из нас не подвинулся бы на вершок и не остановился бы, чтобы дать ему дорогу. Мы составляли идущую колонну, он являлся препятствием, и колонна смяла бы его. В подобных случаях мальчики с ружьями в руках еще страшнее старых солдат.

На следующий год, когда мы приняли участие в больших маневрах под Петербургом, я получил некоторое представление о том, что такое

война. Два дня под ряд мы только и делали, что двигались взад и вперед на протяжении каких-нибудь двадцати верст. Мы не имели ни малейшего представления о том, что делается кругом, ни о том, с какой целью мы двигаемся. Пушки гремели то возле нас, то где-то вдали. Порой в лесу и на холмах начиналась жаркая ружейная перестрелка. Ординарцы скакали и привозили приказы то наступать, то отступать. А мы все шли, шли и шли, не видя смысла в этом передвижении. Конница прошла той же дорогой и превратила ее в широкую реку зыбучего песка, по которому мы еле тащились взад и вперед. Наконец, всякая дисциплина порвалась в нашей колонне. Из стройного целого она превратилась в толпу усталых путников. По дороге шли одни знаменные унтер-офицеры; остальные же медленно плелись обочинами в лесу. Приказы и мольбы офицеров не приводили ни к чему.

Вдруг сзади донесся крик: «Государь едет!» Офицеры засуетились, умоляя нас построиться в ряды; но никто не слушался.

Прискакал император и приказал еще раз отступать.

— Налево кругом! — раздалась команда. — Господа, государь позади. Пожалуйста обернитесь! — шептали офицеры. Но батальон почти не обращал внимания ни на команду, ни на мольбы. К счастью, Александр II не был фронтовиком-фанатиком. Сказав несколько слов, чтобы ободрить нас, и обещав нам отдых, он ускакал.

Я понял тогда, как много в военное время зависит от духа армии, и как мало можно сделать путем одной дисциплины, когда от солдат требуется больше, чем среднее усилие. Одной дисциплиной нельзя привести усталый отряд к определенному часу на поле битвы. Лишь энтузиазм и доверие могут в подобные минуты заставить солдат сделать невозможное. А для успеха на войне постоянно приходится выполнять «невозможное». Как часто, впоследствии, вспоминал я этот наглядный урок в Сибири, где во время научных экспедиций нам тоже приходилось все время выполнять невозможное.

Фронтовое учение и маневры отнимали, однако, лишь небольшую часть лагерного времени. Мы много занимались практическими съемками и фортификацией. После нескольких предварительных упражнений нам давали бусоль и говорили: «Снимите план этого озера или парка с его дорогами. Измеряйте углы бусолью, а расстояние шагами».

Рано утром, позавтракав наскоро, юноша набивал свои просторные военные карманы ломтями черного хлеба и отправлялся на четыре-пять часов за несколько верст в парк. Он набрасывал на план прекрасные тенистые дороги, ручьи и озера. Работа его сравнивалась впоследствии с точными картами, и, в виде награды, по выбору юноши, давались оптические инструменты или готовальни. Мне эта съемка доставляла невыразимое удовольствие. Независимый характер работы, одиночество под столетними деревьями, лесная жизнь, которой я мог отдаваться без помехи, оставили глубокий след в моей памяти. Была интересна и сама работа. Когда я впоследствии стал исследователем Сибири, а некоторые из моих товарищей — исследователями Средней Азии, мы нашли, что корпусные съемки послужили нам хорошей подготовительной школой.

В последнем классе, три раза в неделю партии из четырех пажей отправлялись в деревни, лежащие на значительном расстоянии от

лагеря. Там мы делали точные съемки при помощи мензулы и кипрегеля. Порой наезжали офицеры генерального штаба, чтобы проверить работы и подать кое-какие советы. Жизнь же среди крестьян, в деревенских избах, отлично влияла на наше умственное и нравственное развитие.

В то же время мы упражнялись в возведении в настоящую величину частей укреплений. Мы отправлялись с офицерами в открытое поле и здесь нам поручалось возвести разрез бастиона или сложного мостового укрепления. Мы сколачивали гвоздями драницу и шесты таким же образом, как делают инженеры, когда им нужно провешить новую железную дорогу. При постройке профилей барбетов и бойниц нам нужно было вычислять довольно много, чтобы определить наклон и сечения различных плоскостей, и после этого стереометрия уже не представляла для нас затруднений, а синусы и тангенсы получали вещественный, определенный смысл.

Работа так нравилась нам, что раз, уже в городе найдя в саду кучи глины и щебня, мы принялись за постройку настоящего укрепления в уменьшенном виде. Барбеты, прямые и косые бойницы были тщательно вычислены. Все было сделано очень изящно. Мы мечтали теперь о том, как бы достать досок, чтобы сделать платформы для орудий и поставить на них модели пушек из нашей классной. Но — увы! — наши панталоны были в плачевном состоянии!

— Что вы тут делаете! — кричал на нас капитан. — Взгляните на себя! Вы похожи на землекопов. (Этим именно мы и гордились теперь!) Что, если великий князь приедет и застанет вас в таком виде!

— Мы покажем ему наше укрепление и попросим дать нам инструменты и доски для платформ.

Но напрасно мы протестовали. На другой день десяток работников свез тачками наше прекрасное укрепление, как будто бы оно было лишь кучей мусора!

Упоминаю об этом для того, чтобы показать, как детям и юношам хочется применить на практике приобретенные в школе знания, и как ограничены те воспитатели, которые не могут воспользоваться этим стремлением для педагогических целей. В нашем корпусе все было, конечно, направлено к тому, чтобы пробудить военный дух; но мы с таким же увлечением прокладывали бы железную дорогу, строили избу или обрабатывали бы поле и огород. Стремление детей к живой, настоящей работе пропадает бесплодно, потому что в школе господствует еще дух схоластики, завещанный средневековыми монастырями.

VIII

Годы 1857—1861 были, как известно, эпохой умственного пробуждения России. Все то, о чем поколение, представленное в литературе Тургеневым, Герценом, Бакуниным, Огаревым, Толстым, Достоевским, Григоровичем, Островским и Некрасовым, говорило шопотом, в дружеской беседе, начинало теперь проникать в печать. Цензура все еще свирепствовала; но чего нельзя было сказать открыто в политической статье, то проводилось контрабандным путем в виде повести, юмористического очерка, или в замаскированной критике западно-европейских событий.

Все умели читать между строками и понимали, что означает, например, «Критика китайской финансовой системы».

У меня не было знакомых в Петербурге, кроме школьных, да тесного круга родных. Я стоял, таким образом, далеко в стороне от радикального движения того времени. Тем не менее (и это была, быть может, наиболее характерная черта движения), идеи проникали даже в такое благонамеренное училище, как наше, и отражались даже в кругу наших московских родственников.

Воскресенья и праздники я теперь проводил у моей тетки, княгини Друцкой, о которой я упоминал уже выше. Князь Дмитрий Сергеевич Друцкой, мой дядя, думал только о необыкновенных завтраках и обедах, а княгиня и княжна проводили время очень весело. Моей двоюродной сестре шел двадцатый год. Она была очень хороша и привлекательна. Все двоюродные братья были влюблены в нее; она тоже полюбила одного из них Ив. Ив. Мусин-Пушкина и хотела выйти за него замуж. Но венчать двоюродных — великий грех по законам православной церкви, и княгиня напрасно добивалась особого разрешения от высших представителей церковной иерархии. Теперь княгиня Друцкая привезла дочку в Петербург в надежде, что, быть может, она выберет среди бесчисленных поклонников более подходящего жениха, чем родного, двоюродного брата. Должен прибавить, что старания княгини ни к чему не привели, хотя в ее доме всегда было много блестящей гвардейской и дипломатической молодежи.

Можно было думать, что меньше всего революционные идеи проникнут в такой дом. А между тем именно там я впервые познакомился с революционной литературой. Герцен [47] только что начал тогда издавать в Лондоне «Полярную Звезду», которая быстро и широко распространилась в публике и произвела смятение даже в придворных кругах. Моя двоюродная сестра Варенька Друцкая доставала эти книги, и мы обыкновенно читали их вместе. Сердце ее было возмущено препятствиями, которые мешали ее счастью, и тем охотнее ее ум воспринимал герценовскую резкую критику самодержавия и подгнившей государственной системы. А я почти с молитвенным благоговением глядел на напечатанный на обложке «Полярной Звезды» медальон с изображением голов повешенных декабристов — Бестужева, Каховского, Пестеля, Рылеева и Муравьева-Апостола. Красота и сила творений Герцена, мощность размаха его мыслей, его глубокая любовь к России охватили меня. Я читал и перечитывал эти страницы, блещущие умом и проникнутые глубоким чувством. Тургенев правду сказал, что Герцен писал слезами и кровью, что с тех пор у нас никто так не писал.

Когда Саша прислал мне переписанное им «С того берега» Герцена, то я наизусть запомнил сейчас же целые страницы об июньских днях. Тетушка, видя как я зачитываюсь «Полярной Звездой» и горячо говорю о Герцене, не раз с грустью замечала:

— Смотри, Петя, тебя так же повесят когда-нибудь, как и их!

1859 году или в начале 1860 года я стал издавать мою первую революционную газету [48]. В том возрасте я мог быть, конечно, только конституционалистом, и я горячо доказывал в моей газете необходимость конституции для России. Я писал о безумных расходах двора, о суммах, затраченных в Ницце на ничего не делавшую эскадру, сопровождавшую

вдовствующую императрицу, которая умерла в 1860 году. Я упоминал о злоупотреблениях чиновников, о которых слышал постоянно, и доказывал необходимость правового порядка. Мою газету я переписал в трех экземплярах и подсунул их в столы товарищам старших классов, которые, по моим соображениям, должны были интересоваться общественными делами. Я просил читателей положить свои замечания за большими часами в нашей библиотеке.

С бьющимся сердцем вошел я на другой день в библиотеку, чтобы посмотреть, нет ли там чего для меня. Действительно за часами лежали две записки. Два товарища писали, что вполне сочувствуют мне и только советовали не рисковать слишком сильно. Я выпустил второй номер, еще более резкий. В нем я доказывал необходимость объединиться всем во имя свободы... На этот раз за часами ничего не было, но зато два товарища сами подошли ко мне.

— Мы убеждены, что газету издаете вы, — сказали они, — и пришли поговорить о ней. Мы с вами совершенно согласны и хотим сказать: «Будем друзьями». Но газету не следует издавать. Во всем корпусе всего еще два товарища, которых интересуют подобные вещи. Если же станет известно, что существует подобная газета, последствия для всех нас будут ужасны. Составим лучше кружок и станем говорить обо всем. Быть может, удастся убедить в чем-нибудь и других.

Все это было так разумно, что мне оставалось лишь согласиться, и мы скрепили союз сильным рукопожатием. С тех пор мы стали большими друзьями, много читали вместе и обсуждали различные вопросы.

Освобождение крестьян приковывало тогда внимание всех мыслящих людей.

Революция 1848 года глухо отразилась среди русских крестьян. С 1850 года бунты крепостных стали принимать очень серьезные размеры. Когда началась Крымская война и по всей России стали набирать ратников, возмущения крестьян распространились с невиданной до тех пор силой. Несколько помещиков было убито крепостными. Бунты приняли такой грозный характер, что для усмирения приходилось посылать целые полки с пушками, тогда как прежде небольшие отряды солдат нагоняли ужас на крестьян и прекращали возмущения.

Эти вспышки, с одной стороны, и глубокое отвращение к крепостному праву в том поколении, которое выдвинулось при вступлении на престол Александра II, с другой — сделали освобождение крестьян насущным вопросом. Александр II, ненавидевший сам крепостное право и поддерживаемый, точнее, побуждаемый в собственной семье женой, братом Константином [49] и великой княгиней Еленой Павловной, сделал первый шаг в этом направлении. Он хотел, чтобы инициатива реформы исходила от самих помещиков. Но ни в одной губернии нельзя было убедить помещиков подать подобный адрес государю. В марте 1856 года Александр II сам обратился к московскому дворянству с речью, в которой доказывал необходимость реформы; но ответом было упорное молчание. Александр II рассердился тогда и закончил речь памятными словами Герцена: «Лучше, господа, чтобы освобождение пришло сверху, чем ждать, покуда оно придет снизу». Но даже и эти слова не подействовали.

Почин был сделан, наконец, литовскими губерниями: Гродненской, Виленской и Ковенской, в которых Наполеон уничтожил в 1812 году (на

бумаге) крепостное право. Генерал-губернатору Назимову удалось убедить литовское дворянство подать желаемый адрес, и в ноябре 1857 года был опубликован знаменитый рескрипт на имя виленского генерал-губернатора, в котором Александр II выражал намерение освободить крестьян. Со слезами на глазах читали мы знаменитую статью Герцена: «Ты победил, галилеянин». Лондонские изгнанники заявляли, что отныне не считают Александра II врагом, а будут поддерживать его в великом деле освобождения крестьян.

Отношение крестьян было в высшей степени замечательно. Как только разнеслась весть, что страстно желанную волю скоро дадут, восстания почти совершенно прекратились. Крестьяне ждали. Когда Александр II объезжал среднюю Россию, они окружали его и умоляли дать волю; но к этим повторявшимся просьбам Александр относился недружелюбно. Любопытно, однако, до какой степени сильна традиция Великой революции: среди крестьян шел слух, что Наполеон III при заключении мира после Севастопольской войны потребовал от Александра II дать волю. Я часто слышал это. Даже накануне освобождения крестьяне сомневались, чтобы волю дали без давления извне. «Если Гарибалка [50] не придет, ничего не будет», говорил как-то в Петербурге один крестьянин моему товарищу, который толковал ему, что скоро «дадут волю». И так думали многие *.

За моментом всеобщей радости последовали, однако, годы тревог и сомнений. В губерниях и в Петербурге работали специально избранные комитеты; но Александр II, повидимому, колебался. Цензура следила особенно строго за тем, чтобы печать не обсуждала вопроса об освобождении крестьян в подробностях. Мрачные слухи ходили по Петербургу и достигали до нашего корпуса.

Среди дворянства не было недостатка в молодых людях, которые искренно работали для полного освобождения крестьян. Но партия крепостников все более и более тесным кольцом окружала Александра II и оказывала на него давление. Крепостники нашептывали, что в день освобождения крестьян начнется всеобщее избиение помещиков и что Россию тогда ждет новая пугачевщина, еще страшнее 1773 года. Александр II был человек слабохарактерный и прислушивался к подобным зловещим предсказаниям. Но громадная машина для выработки «Положения» была уже пущена в ход. Комитеты заседали. Десятки записок с проектами освобождения крестьян посылались царю, ходили в рукописи или же печатались в Лондоне. Герцен, при содействии Тургенева, уведомлявшего его о положении дел, обсуждал подробности каждого проекта в «Колоколе» и «Полярной Звезде». То же делал и Чернышевский [51] в «Современнике». Славянофилы, с своей стороны, особенно Аксаков и Беляев [52], воспользовались сравнительным облегчением

* Оказывается теперь, что этот слух о давлении Франции, как это ни странно, имел некоторое основание. Мой друг, бельгийский профессор Нис (Nys), заметил мне по поводу этих строк, что по заключении Парижского мира в мае 1856 года Наполеон III предложил, чтобы в Париже происходили «разговоры» между представителями держав об общем положении дел в Европе. Докладчиком был известный в то время экономист министр Воловский (Volowsky), и он, несомненно, говорил о крепостном праве и о том, что Россия не будет считаться вполне европейской державой, пока крепостное право не будет уничтожено. *Прим. П. К. 1919 года.*

печати, чтобы дать мысли об освобождении крестьян широкое распространение. Они тоже, с большим знанием технической стороны дела, во всех подробностях обсуждали, как совершить освобождение. Весь образованный Петербург соглашался с Герценом и в особенности с Чернышевским. Я помню, как стояли за него даже конногвардейские офицеры, которых я видел по воскресеньям, после церковного парада, у моего двоюродного брата Дмитрия Николаевича Кропоткина[53], полкового адъютанта и флигель-адъютанта. Настроение Петербурга в гостиных и на улице показывало, что итти назад теперь уже невозможно. Освобождение крестьян д о л ж н о было быть выполнено. Отвоеван был и другой очень важный пункт, именно освобождение с землей.

Но партия крепостников не теряла надежды. Она добивалась отсрочки реформы, уменьшения наделов и такой высокой выкупной платы за землю, которая делала бы экономическую независимость призраком. И в этом крепостники вполне успели. Александр II отстранил Николая Милютина[54] (брата военного министра), являвшегося душой дела.

— Мне крайне жаль расстаться с вами, — сказал он, — но я должен: дворянство называет вас «красным».

Комитеты первого созыва, выработавшие проект освобождения крестьян, были распущены. Новые комитеты пересматривали теперь весь план в интересах крепостников. Печати опять зажали рот.

Дела принимали, таким образом, мрачный характер. Теперь уже возникал вопрос: состоится ли освобождение? Я лихорадочно следил за борьбой, и по воскресеньям, когда товарищи возвращались в корпус, спрашивал их, что говорят их родители. Осенью 1860 года вести стали все хуже и хуже. «Партия Валуева[55] одержала верх». «Они хотят пересмотреть заново все дело». «Родственники княжны Долгорукой (приятельницы царя) сильно влияют на государя». «Освобождение крестьян отложено: боятся революции».

В январе 1861 года стали, впрочем, доходить несколько более утешительные слухи. Все надеялись теперь, что 19 февраля, в день вступления Александра на престол, будет объявлен какой-то манифест об освобождении.

Наступил и этот день, но он не принес ничего. В этот день я был во дворце, где вместо большого был лишь малый выход. Пажей второго класса посылали на такие выходы, чтобы приучать к придворным порядкам, и девятнадцатого была моя очередь. Я сопровождал одну из великих княгинь при выходе из церкви, а так как ее муж не показывался, то она меня попросила найти его. Его вызвали из кабинета императора, и я в полушутливом тоне сказал великому князю о том, как беспокоится его жена. Я не подозревал даже, какой важный вопрос обсуждался в тот момент в кабинете. Кроме нескольких посвященных, никто во дворце не знал что манифест подписан 19 февраля. Его держали в секрете две недели только потому, что через неделю, 26 февраля, начиналась масленица. Боялись, что в деревнях пьянство в эти дни вызовет бунты. Даже масленичные балаганы перевели в этом году с Дворцовой площади на Марсово поле, подальше от дворца, из опасения народного восстания. Войскам были даны самые строгие инструкции, каким образом усмирять беспорядки.

Через две недели, утром 5 марта, в последний день масленицы, я был в корпусе, так как в полдень должен был итти на развод в Михайловский

манеж. Я лежал еще в постели, когда мой денщик Иванов вбежал с чайным подносом в руках и воскликнул:

— Князь, воля! Манифест вывешен в Гостином дворе (напротив корпуса).

— Ты сам видел манифест?

— Да. Народ стоит кругом. Один читает, а все слушают. Воля!

Через две минуты я уже оделся и был на улице.

— Кропоткин, воля! — крикнул входивший в корпус товарищ. — Вот манифест. Мой дядя узнал вчера, что его будут читать за ранней обедней в Исаакиевском соборе. Народа было немного, одни мужики. После обедни прочитали и раздали манифест. Крестьяне хорошо поняли его значение. Когда я выходил из собора, много мужиков стояло на паперти. Двое из них, в дверях, так смешно мне сказали: «Что барин? Теперь фюить!» Товарищ мимикой передал, как мужики указали ему дорогу. Годы томительного ожидания сказались в этом жесте выпроваживания барина. Я читал и перечитывал манифест. Он был составлен престарелым московским митрополитом Филаретом напыщенным языком. Церковнославянские обороты только затемняли смысл.

Но то была воля, без всякого сомнения, хотя не немедленная. Крестьяне оставались крепостными еще два года, до 19 февраля 1863 года; тем не менее, ясно было одно: крепостное право уничтожено, и крестьяне получают надел. Им придется выкупать его, но пятно рабства смыто. Рабов больше нет. Реакции не удалось одержать верх.

Мы отправились на развод. Когда военная церемония кончилась, Александр II, который все еще продолжал сидеть на коне, громко крикнул: «Господа офицеры, ко мне!» Офицеры окружили царя, и он громко начал речь о великом событии дня.

— Господа офицеры... Представители дворянства в армии...— долетели до нас отрывки речи. — Положен конец вековой несправедливости... Я жду жертв от дворянства... Благородное дворянство сомкнется вокруг престола... — И так далее. Когда Александр кончил, ему ответили восторженными криками у р а!

Назад мы скорее добежали, чем дошли до корпуса. Мы спешили в итальянскую оперу на последний в сезоне сборный дневной спектакль. Не подлежало сомнению, что будут какие-нибудь манифестации. Поспешно сбросили мы военную амуницию, и я, с несколькими товарищами, помчался в театр, на галлерею шестого яруса. Театр был переполнен.

Во время первого же антракта курильная наполнилась возбужденной молодежью. Знакомые и незнакомые восторженно обменивались впечатлениями. Мы тут же порешили возвратиться в зал и запеть всем вместе «Боже, царя храни!»

Но вот донеслись звуки музыки, и мы поспешили обратно в зал. Оркестр играл уже гимн; но звуки его скоро стали утопать в криках «ура!» всех зрителей. Я видел, как дирижер Бавери махал палочкой, но не мог уловить ни одного звука громадного оркестра. Бавери кончил, но восторженные крики «ура!» не прекращались. Он снова замахал палочкой; я видел движение смычков, видел, как надувались щеки музыкантов, игравших на медных инструментах, но восторженные крики опять заглушали музыку. Бавери в третий раз начал гимн. И только тогда, к самому

концу, отдельные звуки медных инструментов стали порой прорезывать гул человеческих голосов.

Такие же восторженные сцены повторялись и на улицах. Толпы крестьян и образованных людей стояли перед Зимним дворцом и кричали «ура!» Когда царь показался на улице, за его коляской помчался ликующий народ. Герцен был прав, сказавши два года спустя, когда Александр II топил польскую революцию в крови, а Муравьев-вешатель душил ее на эшафоте: «Александр Николаевич, зачем вы не умерли в этот день? Вы остались бы героем в истории!»

Где же были восстания, предсказанные крепостниками? Трудно было придумать состояние более неопределенное, чем то, которое вводило «Положение». Если что-нибудь могло вызвать мятежи, то именно запутанная неопределенность условий, созданная законом. А между тем, кроме двух мест, где были возмущения, да небольших беспорядков, кое-где созданных, главным образом, непониманием, вся Россия оставалась спокойной — более спокойной, чем когда-либо. С обычным здравым смыслом крестьяне поняли, что крепостному праву положен конец, что пришла воля.

Я посетил Никольское в августе 1861 года, а затем снова летом 1862 года, и был поражен тем, как разумно и спокойно приняли крестьяне новые условия. Они знали очень хорошо, как тяжело будет платить выкуп, который являлся, в сущности, вознаграждением за даровой труд отобранных душ; но они так высоко ценили свое личное освобождение от рабства, что приняли даже такие разорительные условия. Правда, делалось это не без ропота, но крестьяне покорились необходимости. В первые месяцы они праздновали по два дня в неделю, уверяя, что грех работать по пятницам; но когда наступило лето, они принялись за работу еще с большим усердием, чем прежде.

Когда я увидел наших никольских крестьян через пятнадцать месяцев после освобождения, я не мог налюбоваться ими. Врожденная доброта их и мягкость остались, но клеймо рабства исчезло. Крестьяне говорили со своими прежними господами, как равные с равными, как будто бы никогда и не существовало иных отношений между ними. К тому же из крестьян уже выделились такие личности, которые могли постоять за их права. «Положение» — было большой и тяжело написанной книгой. Я затратил не мало времени, покуда понял ее. Но когда раз никольский староста Василий Иванов пришел ко мне с просьбой объяснить ему одно темное место в «Положении», я убедился, что он отлично разобрался в запутанных главах и параграфах, хотя и читал-то далеко не бойко.

Хуже всего было дворовым. Они не получили надела да и вряд ли знали бы, что делать с ним, если бы получили. Дворовым дали свободу и ничего больше. В нашей округе почти все они оставили своих прежних господ; у моего отца, например, никто не остался. Они разбрелись в поисках за занятиями. Многие нашли сейчас же места у купцов, которые гордились тем, что у них служит кучер князя такого-то или повар генерала такого-то. Знавшие какое-нибудь ремесло находили работу в городе. Так, например, оркестр моего отца так и остался оркестром, хорошо зарабатывал в Калуге и поддерживал дружелюбные отношения с нашим домом. Приходилось плохо тем, которые не знали никакого ремесла. А между тем большинство их предпочитало лучше перебиваться кое-как, чем оставаться у прежних господ.

Что касается помещиков, то крупные землевладельцы все пустили в ход в Петербурге, чтобы возобновить крепостное право под каким-нибудь новым названием (отчасти они и успели в этом при Александре III); но большая часть остальных помещиков покорилась реформе, как неминуемому бедствию. Молодое поколение дало России тех замечательных мировых посредников, а впоследствии мировых судей, которые содействовали так много мирному проведению эмансипации. Люди же старого поколения только мечтали заложить выкупные свидетельства (земля была оценена гораздо выше ее стоимости) и соображали, как прокутить эти деньги в ресторанах или же пустить на зеленое поле. И действительно, большинство из них прокутили или проиграли выкупные деньги, как только получили их.

Для многих помещиков освобождение крестьян оказалось в сущности выгодной сделкой. Так, например, та земля, которую отец мой, предвидя освобождение, продавал участками по одиннадцати рублей за десятину, крестьянам ставилась в сорок рублей, то есть в три с половиной раза больше. Так было везде в нашей округе. В тамбовском же степном имении отца мир снял всю землю на двенадцать лет, и отец получал вдвое больше чем прежде, когда землю обрабатывали ему крепостные.

Лет десять после этого памятного дня я попал в тамбовское именье, которое досталось мне по наследству от отца. Я прожил там несколько недель. Вечером, после моего отъезда, наш молодой священник, умный, независимого образа мыслей (такие иногда встречаются в южных губерниях), вышел погулять. Закат солнца был великолепный. Из степи тянул напоенный ароматом ветерок. За деревней, на пригорке, он нашел не очень старого крестьянина, Антона Савельева, который читал псалтырь. Крестьянин с трудом разбирал по складам церковную печать и часто читал книгу, начиная с последней страницы. Ему нравился больше всего процесс чтения; затем какое-нибудь слово поражало его, и ему было приятно повторение этого слова; теперь он читал 106-й псалом, где часто повторяется «радуюсь я».

— Что вы читаете, Антон Савельевич? — спросил священник.

— А вот, батюшка, расскажу вам. Четырнадцать лет тому назад приехал сюда старый князь. Была зима. Я только-что вернулся домой с работы и совсем замерз. Кружила метель. Только стал я раздеваться — слышу староста стучит в окно и кричит: «Ступай к князю; он тебя требует!» Тут мы все, моя баба и ребятишки перепугались. «Зачем это ты понадобился князю?» — переполошилась моя хозяйка. Я перекрестился и пошел. Как переходил плотину, метель мне все глаза совсем залепила. Ну, обошлось все благополучно. Старый князь спал после обеда, прождал я часа два в передней, а когда выспался князь, то только спросил меня:

— А что, Антон Савельев, умеешь штукатурить?

— Умею, ваше сиятельство.

— Ну, так приходи завтра, поправишь штукатурку в этой комнате.

Пошел я домой совсем веселый. Только прихожу на плотину — вижу хозяйка моя стоит. Все время, в метель, простояла она с дитей на руках — меня дожидалась.

— Что такое, Савельич? — спрашивает.

— Ничего, — говорю я, — все благополучно, штукатурку звал поправить. Так вот, батюшка, как оно было при старом князе. А теперь вот

приехал молодой князь, пошел я на него посмотреть. Сидит он в саду, в холодке, около дома, чай пьет. Вы, батюшка, сидите с ним, и волостной старшина с медалью тут же.

— Хочешь чаю, Савельич? — спрашивает князь. — Подсаживайся. Дай ему стул, Петр Григорьевич. И Петр Григорьевич — уж каким сатаной был он для нас, когда служил управляющим у старого князя — несет стул! Сели мы за стол, калякаем, а он всем чай наливает. — Ну, батюшка, сегодня такая благодать, вечер хороший, со степи воздух несет такой легкий, — так вот я сижу и читаю: «Радуюсь я! Радуюсь я!»

Вот что означала воля для крестьян!

IX

В июне 1861 года я был произведен в фельдфебели Пажеского корпуса. Должен сознаться, что некоторым из наших офицеров это не нравилось. Они говорили, что с таким фельдфебелем не будет никакой дисциплины. Но они ничего не могли поделать. Обыкновенно фельдфебелем назначался первый ученик старшего класса, а я был первым уже несколько лет. Такое назначение считалось крайне завидным не только потому, что фельдфебель занимал особое положение в корпусе и пользовался преимуществами офицера, но также потому, что он в то же время был камер-пажем императора. Таким образом, он становился лично известен государю, что считалось, конечно, важным шагом в дальнейшей карьере.

Для меня важней всего было то, что производство избавляло меня от тяжелой повинности дежурств в самом корпусе, которая выпадала на долю камер-пажей, и что отныне я буду иметь для моих занятий отдельную комнату, куда могу удаляться от школьного гама. Правда, была и оборотная сторона медали. Я всегда находил скучным ходить мерным шагом по комнатам и предпочитал лучше мчаться бегом, что было строго воспрещено. Теперь уже нельзя будет промчаться через все залы, а придется чинно шагать с дежурной книгой подмышкой! По этому важному поводу было даже совещание моих приятелей, но они решили, что время от времени я все-таки смогу позволить себе пробежаться, а что касается до моих отношений с другими воспитанниками, то от меня самого зависит установить их на товарищескую ногу. Что я и сделал.

Камер-пажи часто бывали во дворце на больших и малых выходах, на балах, приемах, парадных обедах и т. д. Во время рождества, нового года и пасхи нас требовали во дворец почти каждый день, а иногда и по два раза в день. Кроме того, как фельдфебель, я каждое воскресенье должен был докладывать царю на разводе, что «по роте Пажеского корпуса все обстоит благополучно», даже если треть воспитанников была больна. «Докладывать ли сегодня, что не все обстоит благополучно?» — спросил я раз полковника, когда чуть не полкорпуса переболело какою-то болезнью. «Боже сохрани! — ужаснулся он. — Так докладывать можно только, если в корпусе случится бунт».

В придворной жизни, без сомнения, много живописного. Элегантная утонченность манер (хотя, быть может, и поверхностная), строгий этикет, блестящая обстановка, несомненно, производят впечатление. Большой выход — красивое зрелище. Даже простой прием у императрицы нескольких дам резко отличается от обыкновенного визита. Прием происходит

в великолепной зале, гости вводятся камергерами в расшитых золотом мундирах, за императрицей следуют великолепно одетые пажи и фрейлины, — и все выполняется с особой торжественностью. Быть действующим лицом в придворной жизни для мальчика моих лет, конечно, было больше чем любопытно. К тому же нужно сказать, что на Александра II я тогда смотрел как на героя своего рода: он не придавал значения придворным церемониям, начинал тогда работать в шесть часов утра и упорно боролся с реакционной партией, чтобы провести ряд реформ, в ряду которых освобождение крестьян составляло лишь первый шаг.

Но по мере того, как я присматривался к казовой стороне придворной жизни и время от времени видел мельком, что творится за кулисами, я убедился в ничтожности этих церемоний, которыми лишь слабо прикрывается то, что желают скрыть от толпы. Больше того, я убедился, что эти мелочи до такой степени поглощают внимание двора, что препятствуют видеть явления первой важности, и что из-за театральности часто забывается действительность. Мало-по-малу стал тускнеть также и тот ореол, которым я окружил Александра. И если бы я когда-нибудь лелеял иллюзию насчет деятельности в придворных сферах, она исчезла бы к концу первого же года.

В большие праздники, а также в царские дни, во дворце бывал большой выход. Тысячи офицеров, от генералов до капитанов, а также высшие гражданские чиновники выстраивались в громадных залах дворца, чтобы отвесить низкий поклон, когда император с семьею торжественно проследуют в церковь. Все члены императорской фамилии собирались для этого в гостиной и весело болтали, покуда не наступал момент надеть маску торжественности. Затем процессия выстраивалась. Император подавал руку императрице и шел впереди. За ним следовал его камер-паж, а за ним дежурный генерал-адъютант и министр двора. За императрицей, или точнее за бесконечным шлейфом ее платья, шли два камер-пажа, поднимавшие этот шлейф на поворотах и потом расправлявшие его во всей красе. Далее шли: наследник, которому тогда было лет восемнадцать, великие князья и княгини, согласно порядку престолонаследия. За каждой из великих княгинь следовал ее камер-паж. Далее тянулась длинная вереница старых и молодых статс-дам и фрейлин в так называемых русских костюмах, то есть в бальном платье, которое почему-то предполагалось похожим на сарафан.

Когда процессия проходила, я мог наблюдать, как каждый из высших военных и гражданских чиновников, прежде чем отвесить свой поклон, старался украдкой уловить взгляд царя. И если тот отвечал кому-нибудь на поклон улыбкой, одним или двумя словами или даже чуть заметным кивком, то преисполненный гордости счастливец оглядывал соседей, ожидая от них поздравлений.

Из церкви процессия возвращалась в том же порядке. Затем каждый спешил по своим собственным делам. Кроме немногих фанатиков придворного этикета да молодых дам, большинство присутствовавших считали выходы скучной барщиной.

Два или три раза в зиму во дворце давались большие балы, на которые приглашались тысячи гостей. После того как император открывал танцы полонезом, каждому предоставлялось веселиться как угодно. В бесконечных, блестяще освещенных залах было сколько угодно места молодым

девушкам укрыться от бдительного глаза маменек и тетушек. Молодежь веселилась во время танцев, а за ужином всегда как-то выходило так, что молодые пары усаживались вдали от стариков.

Моя служба на балах была не из легких. Александр II не танцовал и не сидел, а все время ходил между гостей. Камер-пажу приходилось итти на некотором расстоянии от царя так, чтобы не торчать слишком близко и, вместе с тем, быть под рукой, чтобы явиться немедленно на зов. Это сочетание присутствия с отсутствием давалось не легко. Не требовал его и император: он предпочел бы, чтобы его оставили одного, но таков уже был обычай, которому царю приходилось подчиниться. Хуже всего было, когда Александр II входил в толпу дам, стоявших вокруг танцующих великих князей, и медленно двигался там. Не особенно легко было пробираться среди этого живого цветника, который расступался, чтобы дать дорогу царю, но сейчас же замыкался за ним. Сотни дам и девиц не танцовали, а стояли тут же в надежде, что, быть может, кто-нибудь из великих князей заметит их и пригласит на польку или на тур вальса.

О влиянии двора на петербургское общество можно судить по следующему. Если родители замечали, что какой-нибудь великий князь обратил внимание на их дочь, они прилагали все старания, чтобы девушка влюбилась в высокую особу, хотя отлично знали, что дело не может кончиться браком. Я не мог бы даже представить себе тех разговоров, которые услыхал раз в «почтенной» семье, после того как наследник два или три раза потанцовал с молодой семнадцатилетней девушкой. По этому поводу родители ее строили различные, блестящие, по их мнению, планы.

Каждый раз, когда мы бывали во дворце, мы обедали и завтракали там. Придворные лакеи тогда рассказывали нам — желали мы их слушать или нет — скандальную придворную хронику. Они знали решительно все, что происходило во дворцах. То была их среда. В интересах истины должен сказать, что в тот год, о котором я говорю, скандальная хроника была беднее событиями, чем в семидесятых годах. Братья Александра II тогда только что женились, а сыновья его были еще слишком молоды. Но об отношениях императора к княжне Долгорукой, которую Тургенев так хорошо обрисовал в «Дыме» под именем Ирины, во дворце говорили еще более открыто, чем в петербургских салонах. Раз, когда мы вошли в комнату, где переодевались всегда, нам сообщили, что «княжна Долгорукая сегодня получила отставку, на этот раз полную». Полчаса спустя я увидел княжну Долгорукую. Она явилась в церковь с распухшими от слез глазами. Все время службы она глотала слезы. Остальные дамы держались поодаль от несчастной, как бы для того, чтобы ее лучше видели. Прислуга уже вся знала про событие и обсуждала его на свой собственный лад. Было нечто отвратительное в толках этих людей, которые за день до того пресмыкались перед этой самой дамой.

Система шпионства, практикующаяся во дворце, а в особенности вокруг самого императора, покажется совершенно невероятной непосвященным, но следующий случай даст о ней некоторое представление. В семидесятых годах один из великих князей получил хороший урок от одного петербуржца. Последний запретил великому князю приезжать в его дом. Раз, возвратившись неожиданно и найдя великого князя в гостиной, он бросился на него с палкой. Молодой человек бегом спустился с лестницы и, было, уже совсем успел вскочить в карету, когда преследующий настиг его

и ударил палкой. Околоточный, который стоял у подъезда, побежал с докладом к обер-полицеймейстеру Трепову, а этот в свою очередь вскочил в дрожки и помчался к государю, чтобы раньше всех отрапортовать о «прискорбном случае». Александр II вызвал великого князя и переговорил с ним. Дня два спустя один старый чиновник, служивший в Третьем отделении, передавал в доме моего товарища, где он был свой человек, весь разговор между царем и великим князем.

— Государь был очень сердит, — сообщил им чиновник, — и сказал в конце великому князю: «и как это вы своих дел не умеете устраивать!» — Чиновника спросили, конечно, как он может знать о беседе с глаза-на-глаз, и его ответ был очень характерен:

— Слова и мнения его величества должны быть известны нашему отделению. Разве иначе можно было бы вести такое важное учреждение, как государственная полиция? Могу вас уверить, что ни за кем так внимательно не следят в Петербурге, как за его величеством.

В этих словах не было хвастовства. Каждый министр, каждый генерал-губернатор, прежде чем войти с докладом в кабинет к царю, справлялся тогда предварительно у камердинера царя, в каком расположении духа сегодня его величество. Сообразно с ответом министр или докладывал императору о каком-нибудь щекотливом деле, или же держал его в портфеле до более благоприятного момента. Когда в Петербург приезжал генерал-губернатор Восточной Сибири, он всегда посылал своего личного адъютанта к камердинеру с хорошим подарком. «Бывают дни, — говорил генерал-губернатор, — когда государь пришел бы в бешенство и отдал бы под суд всех и меня в том числе, если бы я доложил ему о некоторых делах, но бывают также дни, когда все сходит гладко. Золотой человек этот камердинер. Знать изо дня в день о настроении духа императора считалось необходимым для тех, которые желали удержаться на высоком посту. Это искусство впоследствии в совершенстве постигли граф Шувалов [56] и Трепов [57], а также граф Н. П. Игнатьев [58]. Впрочем, насколько я знаю его, Игнатьев сумел бы обойтись и без камердинера.

В начале моей службы я относился восторженно к Александру II, как к царю-освободителю. Воображение часто уносит мальчика далеко за пределы действительности, и мое чувство тогда было таково, что если бы в моем присутствии кто-нибудь свершил покушение на царя, я бы грудью закрыл Александра II.

Раз, в начале января 1862 года, я увидал, что Александр II вышел из процессии и один направился в залы, где были выстроены для парада отряды от всех полков петербургского гарнизона. Этот парад обыкновенно происходил на площади, но в тот день, по случаю сильного мороза, он должен был состояться в залах. Александру II предстояло, таким образом, пройти пешком перед войсками, вместо того чтобы проскакать перед ними галопом. Я знал, что мои придворные обязанности кончаются, как только император выступает как командующий войсками, и что я должен итти за ним только до тех пор, но не дальше. Оглянувшись, однако, я увидел, что он остался совершенно один. Флигель-адъютант и генерал-адъютант куда-то исчезли.

Не знаю, спешил ли Александр II в тот день или имел какие-нибудь другие причины желать, чтобы парад скорее кончился, но он буквально промчался перед рядами. Он делал такие быстрые и большие шаги (он

был очень высок ростом), что я должен был итти самым скорым шагом, а порой даже бегом. Он спешил так, как будто бы убегал от опасности. Его возбуждение передалось и мне, и ежеминутно я готов был броситься вперед, жалея лишь о том, что при мне не моя собственная шпага с толедским клиником, который пробивал пятаки, а обыкновенное форменное оружие. Александр II замедлил шаг лишь тогда, когда прошел перед последним полком. Выходя в другой зал, он оглянулся и встретился с моим взглядом, блестевшим от возбуждения и быстрой ходьбы. Младший флигель-адъютант мчался бегом две залы позади нас. Я приготовился выслушать строгий выговор, но вместо этого Александр II, быть может, обнаруживая мысли, которые занимали его тогда, сказал мне: «Ты здесь,—молодец!» И, медленно удаляясь, он вперил в пространство тот неподвижный, загадочный взгляд, который все чаще и чаще я стал замечать у него.

Таков был тогда мой образ мыслей. Но ряд мелких случаев, а также реакционный характер, который все более и более принимала политика Александра II, стали поселять сомнения в моем сердце. Ежегодно 6 января, как известно, происходит полухристианский, полуязыческий обряд освящения воды на иордани. Он также соблюдается при дворе. На Неве, против дворца, сооружается павильон. Императорская фамилия, предшествуемая духовенством, идет из дворца поперек великолепной набережной к павильону, где после молебствия крест погружается в воду. Тысячи народа на набережной и на льду следят издали за церемонией. Все, конечно, стоят без шапок во время молебствия. В тот год был очень сильный мороз, и один старый генерал надел из предосторожности парик; но когда старик, пред выходом на улицу, поспешно накидывал в передней шинель, то не заметил, как парик его был сбит на сторону и был посажен пробором поперек. Константин Николаевич увидел это и во все время службы пересмеивался с молодыми великими князьями. Все они смотрели на генерала, который глупо ухмылялся, не понимая, чем он мог вызвать такое веселье. Константин, наконец, шепнул брату, который тоже взглянул на генерала и рассмеялся.

Несколько минут спустя, когда процессия, на обратном пути, опять была на набережной, старый крестьянин протолкался сквозь двойную цепь солдат, стоявших вдоль пути, и упал на колени перед царем, держа вверх прошение.

— Батюшка-царь, заступись! — крикнул он со слезами, и в этом восклицании сказалось все вековое угнетение крестьян. Но Александр II, смеявшийся за несколько минут пред тем по поводу съехавшего на бок парика, прошел теперь мимо, не обратив даже внимания на мужика. Я шел за Александром и заметил в нем только легкое содрогание испуга, когда мужик внезапно появился и упал перед ним. Затем он прошел, не удостоив даже взглядом человека, валявшегося в его ногах. Я оглянулся. Флигель-адъютанта не было. Константин, который шел за нами, так же не обратил внимания на просителя, как и его брат. Не было никого, кто бы мог принять бумагу. Тогда я взял ее, хотя знал, что мне сделают за это выговор: принимать прошения было не моим делом; но я вспомнил, сколько должен был перенести мужик, покуда добрался до Петербурга, а затем, пока пробрался сквозь ряды полиции и солдат. Как и все крестьяне, подающие прошение царю, мужик рисковал попасть в острог, кто знает на какой срок.

В день освобождения крестьян Александра II боготворили в Петербурге; но замечательно то, что, помимо этого момента энтузиазма, его не любили в столице. Брат его Николай Николаевич [59], неведомо почему, был очень популярен среди мелких лавочников и извозчиков. Но ни Александр II, ни Константин, вождь партии реформ, ни Михаил не пользовались особою любовью ни одного класса из населения столицы. Александр II унаследовал от отца много черт деспота, и они просвечивали иногда, несмотря на обычное добродушие его манер. Он легко поддавался гневу и часто обходился крайне пренебрежительно с придворными. Ни в вопросах политики, ни в личных симпатиях он не был человеком, на которого можно было положиться, и вдобавок отличался мстительностью. Сомневаюсь, чтобы он искренно был привязан к кому-нибудь. Окружали его и были близки ему, порой, люди совершенно презренные, как, например, граф Адлерберг [60], за которого Александр II постоянно платил долги; другие же прославились колоссальным воровством. Уже с 1862 года можно было опасаться, что Александр II вновь вступит на путь реакции. Правда, было известно, что он хочет преобразовать суд и армию, что ужасное телесное наказание отменяется и что России дадут местное самоуправление, а может быть, какой-нибудь вид конституции, но малейшие беспорядки подавлялись по его приказанию с беспощадной строгостью. Каждое такое возмущение он принимал за личное оскорбление. В силу этого постоянно можно было ждать от Александра II самых реакционных мер. Студенческие беспорядки в октябре 1861 года в университетах Петербургском, Московском и Казанском подавлялись с возраставшей строгостью. Петербургский университет закрыли, закрыли также вольные курсы, начатые многими профессорами в городской думе, и лучшие профессора, как Стасюлевич [61] и Костомаров [62], должны были выйти в отставку. Затем, вскоре после освобождения крестьян, началось сильное движение для основания воскресных школ. Они открывались частными лицами и учреждениями: все учителя, конечно, занимались безвозмездно, и в числе учителей были офицеры, студенты и даже несколько пажей. Крестьяне и работники, старые и молодые, устремились в эти школы, и скоро выработался такой метод, что в девять-десять уроков мы выучивали крестьян читать. В этих школах в несколько лет без всяких расходов со стороны правительства большинство крестьян научилось бы грамоте. Но внезапно все воскресные школы были закрыты. В Польше, где начались патриотические манифестации, арестовали сотни людей в церквах, и казаки, с обычной жестокостью, разгоняли толпу нагайками. В конце 1861 года в Варшаве на улице даже стреляли по народу, и несколько человек было убито, а в конце декабря или первых числах января 1862 года начались казни. При усмирении же немногих крестьянских беспорядков вновь ввели «прогнание сквозь строй» — любимое наказание Николая I. Таким образом, уже в 1862 году можно было опасаться, что Александр II станет тем деспотом, каким он действительно проявил себя позже, в семидесятых годах.

Из всей императорской фамилии, без сомнения, наиболее симпатичной была императрица Мария Александровна [63]. Она отличалась искренностью, и когда говорила что-либо приятное кому, то чувствовала так. На меня произвело глубокое впечатление, как она раз благодарила меня за маленькую любезность (после приема посланника Соединенных Штатов).

Так не благодарит женщина, привыкшая к придворной лести. Она, без сомнения, не была счастлива в семейной жизни. Не любили ее также и придворные дамы, находившие ее слишком строгой: они не могли понять, отчего это Мария Александровна так близко принимает к сердцу «шалости» мужа. Теперь известно, что Мария Александровна принимала далеко не последнее участие в освобождении крестьян. Но тогда про это мало знали. Вождями партии реформы при дворе считались великий князь Константин и великая княгиня Елена Павловна, главная покровительница Николая Милютина в высших сферах. Больше знали о том деятельном участии, которое принимала Мария Александровна в учреждений женских гимназий. С самого начала, в 1859 году, они были поставлены очень хорошо, с широкой программой и в демократическом духе. Ее дружба с Ушинским [64] спасла этого замечательного педагога от участи многих талантливых людей того времени, то есть от ссылки.

Мария Александровна сама получила хорошее образование и хотела дать такое же своему старшему сыну. С этой целью она пригласила в преподаватели лучших специалистов в различных областях знания, в том числе Кавелина [65], хотя она и знала о дружбе его с Герценом. Когда Кавелин упомянул ей про это, Мария Александровна ответила, что сердита на Герцена только за резкие отзывы о вдовствующей императрице.

Наследник [66] был необыкновенно красив, быть может, даже слишком женственен. Он ничуть не был горд и во время выходов приятельски болтал с камер-пажами. (Помню даже, что во время новогоднего приема дипломатического корпуса я пытался объяснить ему, насколько просто одетый посланник Соединенных Штатов, Уашберн, выгодно отличается от разряженных, как попугаи, остальных посланников). Но те, которые хорошо знали наследника, совершенно верно отзывались о нем, как о глубоком эгоисте, совершенно не способном душевно привязаться к кому-нибудь. Что касается учения, то все старания матери пропали даром. В августе 1861 года наследник окончательно провалился на экзаменах, происходивших в присутствии отца. Помню даже, как через несколько дней после этого провала, на параде в Петергофе, на котором командовавший наследник сделал какую-то ошибку, Александр крикнул ему громко, так что все слышали: «Даже этому не можешь научиться!» Как известно, наследник умер двадцати двух лет от болезни спинного мозга.

Александр Александрович [67], ставший наследником в 1865 году, являлся полной противоположностью брату. Он так напоминал мне лицом и сознанием своего величия Павла I, что я часто говорил: «Если Александр когда-нибудь вступит на престол, то будет другим Павлом I в Гатчине и примет такую же смерть от своих придворных, как прадед его». Он упорно не хотел ничему учиться. Говорили, что Александр II нарочно не учил второго сына, а сосредоточивал все внимание на наследнике, так как пережил сам не мало неприятных минут вследствие того, что Константин был образованнее его. Сомневаюсь, однако, чтобы это было так. Александр Александрович с детства терпеть не мог учения. Писал он (мой брат видел оригиналы его телеграмм к невесте в Копенгаген) до невероятности безграмотно. По-французски писал он так: Eeri a oncle a propos parade... les nouvelles sont mauvaisent», а по-русски: «Сидим за субботиным столом и едим батвению» и так далее в таком роде.

Говорят, к концу жизни его характер исправился: но в 1870 году и гораздо позднее он являлся настоящим потомком Павла I. Я знал в Петербурге офицера, шведа по происхождению (родом из Финляндии), которого командировали в Соединенные Штаты заказать ружья для русской армии. Во время аудиенции цесаревич дал полный простор своему характеру и стал грубо говорить с офицером. Тот, вероятно, ответил с достоинством. Тогда великий князь пришел в настоящее бешенство и обругал офицера скверными словами. Офицер принадлежал к тому типу вполне верноподданных людей, держащихся, однако, с достоинством, какой часто встречается среди шведских дворян в России. Он немедленно ушел и послал цесаревичу письмо, в котором требовал, чтобы Александр Александрович извинился. Офицер прибавлял, что если через двадцать четыре часа извинения не будет, то застрелится. Это был род японской дуэли. Александр Александрович не извинился, и офицер сдержал свое слово. Я видел его у моего близкого друга в тот день, когда он ежеминутно ждал, что прибудет извинение. На другой день его не было в живых. Александр II очень рассердился на сына и приказал ему итти за гробом офицера вплоть до могилы; но даже и этот страшный урок не излечил молодого человека от романовской надменности и запальчивости.

СИБИРЬ

I

В середине мая 1862 года, за несколько недель до нашего производства, наш полковник сказал мне:

— Кропоткин, приготовьте список выпускных. Сегодня его нужно будет отослать великому князю.

Я взял список воспитанников нашего класса и стал обходить товарищей. Каждый знал очень хорошо тот полк, в который поступит. Большинство щеголяло уже в саду в офицерской фуражке своего полка. Нам предоставлялось право выйти в любой гвардейский полк с первым чином или же в армейский с чином поручика.

«Кирасирский его величества», «Преображенский», «в конную гвардию», — отмечал я в списке.

— Ну, а ты, Кропоткин, куда? В казаки, в артиллерию? — задавали мне вопросы со всех сторон. Меня взяла грусть-раздумье; я попросил товарища докончить список и ушел в свою комнату, чтобы еще раз обдумать окончательное решение.

Я уже давно решил, что не поступлю в гвардию и не отдам свою жизнь придворным балам и парадам. Пошлость светской жизни тяготила меня. Я мечтал поступить в университет, чтобы учиться и жить студенческой жизнью. Это значило бы, конечно, порвать окончательно с отцом, который мечтал совсем об ином, и перебиваться уроками. Тысячи студентов живут так, и такая жизнь меня нисколько не страшила. Но как сделать первые шаги в новой жизни? Через несколько недель я оставлю корпус и должен буду обзавестись своим платьем, своей квартирой. Мне неоткуда было взять даже те небольшие деньги, которые нужны для начала... Таким образом, на поступление в университет не было надежды, и я давно думал об артиллерийской академии. Это избавило бы меня на два года от фронтовой лямки; а в академии, кроме военных наук, я мог бы изучать математику и физику. Но в Петербурге тянул уже ветер реакции. В прошлую зиму с офицерами академии обращались уже как со школьниками. В двух академиях тогда были беспорядки, и в одной из них, инженерной, все офицеры, в том числе один мой большой приятель, вышли из академии.

И все более и более я останавливался на мысли о Сибири. Амурский край тогда только что был присоединен к России. Я читал об этом Миссисипи Дальнего Востока, о горах, прерываемых рекой, о суб-тропической

растительности по Уссури; я восхищался рисунками, приложенными к Уссурийскому путешествию Маака [68], и мысленно переносился дальше, к тропическому поясу, так чудно описанному Гумбольдтом, и к великим обобщениям Риттера [69], которыми я так увлекался. Кроме того, я думал, что Сибирь — бесконечное поле для применения тех реформ, которые выработаны или задуманы. Там, вероятно, работников мало, и я легко найду широкое поприще для настоящей деятельности. Хуже всего было то, что пришлось бы расстаться с Сашей; но он вынужден был оставить университет после беспорядков 1861 года [70], и я рассчитывал, что так или иначе, через год или через два, мы будем вместе.

— Конечно, на Амур, — говорил я себе. — Отец рассердится, но мне его помощь не нужна! Сибирская жизнь? — Но я заберу книг, по математике и по физике, выпишу научный журнал. Буду учиться. Да, да, в университет нельзя, стало быть на Амур...

Муж моей сестры — она жила в Ярославле, и мы тогда еще не переписывались — в это время усерднейшим образом списывался с моим отцом, стараясь вынудить его назначить мне подходящее содержание для службы в одном из гвардейских полков. Но я решил уже окончательно уехать на Дальний Восток.

Оставалось только выбрать полк в Амурской области. Уссурийский край привлекал меня больше всего; но, увы! там был лишь пеший казачий батальон. Я был все-таки еще мальчиком, и «пеший казак» казался мне уже слишком жалким, так что, в конце концов, я остановился на Амурском конном казачьем войске. Так и отметил я в списке, к великому огорчению всех товарищей. «Это так далеко!» — говорили они. А приятель мой Донауров схватил «Памятную книжку для офицеров» и к ужасу всех присутствующих начал вычитывать: «Мундир — черного сукна, с простым красным воротником, без петличек. Папаха из собачьего или иного какого меха, смотря по месту расположения. Шаровары — серого сукна».

— Ты только подумай, что за мундир! — воскликнул он. — Папаха еще куда ни шло: можешь носить волчью или медвежью. Но шаровары! Ты только подумай: серые, как у фурштатов! — После этого огорчение моих приятелей еще более усилилось.

Я отшучивался, как мог, и понес список к полковнику.

— Кропоткин всегда со своими шутками! — воскликнул он. — Ведь сказал я вам, что список нужно отправить сегодня же великому князю.

Но когда я ему объяснил, что совсем не шучу, на лице доброго полковника изобразились изумление и полное огорчение. После минутного раздумия, полковник произнес:

— Я сейчас отнесу список директору. Список окончательный? Никаких больше изменений не будет?

— Нет, не будет.

На другой день, однако, я едва не переменил решения, когда увидал, как принял его Классовский. Он желал, чтобы я поступил в университет и с этой целью давал мне даже уроки латинского языка, пока мы стояли в лагере. Я же не решался сказать ему, что мешает мне сделаться студентом. Я знал, что если скажу, то Классовский предложит поделиться своими крохами или выхлопочет мне стипендию. Я просто сказал ему, что поступаю в военную службу, в Амурское войско.

Старик был страшно огорчен.

— Поступайте в университет, поверьте мне, вы будете гордостью России.

Но что я мог сказать в ответ на это. Отец и слышать не хотел об университете, а учиться на стипендию, полученную от кого-нибудь из царской фамилии, я ни за что не хотел.

И я молча стоял перед ним и не смел сказать ему настоящей сути дела. В душе Классовский должно быть решил, что «карьера» меня увлекла. И он как-то горько улыбнулся и не стал больше меня уговаривать.

О своем решении уехать на Амур я сейчас же написал отцу. Он жил тогда в Калуге. Дня через два — список еще не был отослан «по начальству» — меня позвали к директору корпуса Озерову.

Директор показал мне телеграмму, полученную от отца. Телеграмма была такого содержания: «Выходить на Амур воспрещаю. Прошу принять нужные меры. Климат вредный для здоровья».

— Видите, я должен буду доложить великому князю о вас, и он не позволит итти против воли отца...

Я стоял на своем. По закону я имел право выбрать по своему желанию любой из полков русской армии.

— Ну, делайте как знаете. Пишите отцу. Но предупреждаю, если он не согласится, вас на Амур не выпустят.

Я взглянул еще раз на телеграмму. Ее конец открывал возможность для переговоров. И я снова написал отцу письмо, расхваливая ему климат Приамурья, пользу путешествий после двух лет усиленных занятий. Писал также и о возможности блестящей карьеры на Амуре, хотя тогда уже «карьера» для меня не представляла ни малейшего интереса.

Последние дни пребывания в корпусе я ходил как в воду опущенный. Горькая улыбка Классовского не выходила у меня из головы. Через несколько дней меня потребовали к Корсакову, помощнику начальника военноучебных заведений. Опять тот же вопрос.

— Его высочество очень удивился. С какой это стати вы вздумали записаться на Амур?

Я боялся выдать свою мечту об университете, так как был уверен, что, если заикнусь об этом, то великий князь Михаил Николаевич предложит мне стипендию. Отголоски либеральных идей еще носились в это время в Петербурге, а в придворных кругах много говорили о моих способностях, о моих дарованиях, что я так и ждал, что, если я проговорюсь — мне предложат стипендию. И опять мне пришлось путаться. Я стал говорить Корсакову о желании путешествовать, о флоре Приамурья и т. д.

Корсаков слушал, слушал и неожиданно прервал меня.

— Вы верно влюблены.

— Нет, если бы я был влюблен, я бы здесь остался: ближе к цели.

— Какая самонадеянность, — шутливо заметил Корсаков и добавил: — я доложу его высочеству.

Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы не случилось одно очень важное событие — большой пожар в Петербуге; оно косвенно разрешило мои затруднения.

26 мая, в духов день, начался страшный пожар Апраксина двора. Середину двора, почти полверсты в квадрате, занимал тогда Толку-

чий рынок, весь застроенный деревянными лавчонками. Здесь продавались всевозможные подержанные вещи. В лавчонках, в проходах между ними и даже на крышах нагромождались подержанная мебель, перины, ношеное платье, книги, посуда. Словом, всякий хлам свозился сюда из всех концов города. Позади этого громадного склада горючего материала находилось министерство внутренних дел, в архиве которого хранились все документы, касавшиеся освобождения крестьян; а впереди Толкучего, окаймленного рядом каменных лавок, стоял на другой стороне Садовой Государственный банк. Узкий переулок, частью обстроенный каменными лавками, отделял Апраксин двор от крыла здания Пажеского корпуса. Нижний этаж этого крыла занят был лавками с бакалейными и москательными товарами, а в верхнем этаже помещались квартиры офицеров. Почти насупротив министерства внутренних дел, на другом берегу Фонтанки, находились громадные дровяные склады. И вот, Апраксин двор и дровяные склады занялись почти одновременно, в четыре часа пополудни.

Будь в это время сильный ветер, огонь уничтожил бы пол-Петербурга, в том числе и Государственный банк, несколько министерств, Гостиный двор, Пажеский корпус и Публичную библиотеку.

В тот день я был в корпусе и обедал у одного из офицеров. Мы помчались на пожар, как только увидали из окон первые черные клубы дыма. Зрелище было ужасное. Огонь трещал и шипел. Как чудовищная змея, он метался из стороны в сторону и охватывал кольцами лавчонки. Затем он поднимался внезапно громадным столбом, высовывая в сторону свои языки, и лизал ими новые и новые балаганы и груды товаров. Образовались вихри огня и дыма; а когда вихрь закружил тучу горящих перьев из перинного ряда, оставаться на Толкучем уже было невозможно. Приходилось бросить все на произвол огня.

Власти совершенно потеряли голову. Во всем Петербурге не было тогда ни одной паровой пожарной трубы. Какие-то рабочие вызвались привезти такую трубу из колпинских заводов, то есть верст за тридцать от Петербурга по железной дороге. Когда машину привезли на Николаевский вокзал, народ же приволок ее на пожар. Из четырех кишек одна оказалась, однако, поврежденной неизвестной рукой; остальные же три кишки направили на здание министерства внутренних дел.

На пожар приехали великие князья и скоро уехали. Поздно вечером, когда Государственный банк находился уже вне опасности, явился Александр II и велел отстаивать Пажеский корпус, как центральный пункт позиции. Это и без него все знали. Было очевидно, что если загорится Пажеский корпус, погибнут Публичная библиотека и половина Невского проспекта.

Толпа, народ делали все, чтобы остановить огонь. Был момент, когда Государственный банк находился в сильной опасности. Вынесенные из лавок товары сваливали кучами на Садовой, у стен левого крыла банка. От падающих головешек загорались постоянно товары, сваленные на улице; но народ, задыхаясь в невыносимой жаре, не давал разгораться вещам, лежащим на улице. В толпе ругали начальство за то, что тут не было ни одной пожарной трубы. Всюду слышалось: «Что они там, черти, делают в министерстве внутренних дел, когда вот-вот загорятся банк и воспитательный дом? Все с ума сошли, что ли! Где обер-полицеймей-

стер? Почему он не посылает пожарную команду к банку?» Обер-полицеймейстера, генерала Анненкова, я знал лично, так как встречался с ним в доме помощника инспектора, куда Анненков приходил со своим братом, известным критиком. Тогда я вызвался найти его и действительно нашел. Он бродил бесцельно по Чернышеву переулку. Когда я доложил ему о положении вещей, то он, как ни невероятно, поручил мне, мальчику, перевести одну пожарную команду от здания министерства к банку. Я воскликнул, конечно, что пожарные меня не послушаются, и просил письменного приказа; но у Анненкова не было при себе, или он уверял, что не имеет, ни клочка бумаги. Тогда я попросил одного из наших офицеров, Л. Л. Госсе, пойти со мной и передать приказ. Мы, наконец, убедили одного брандмейстера, ругавшего весь свет и свое начальство отборными словами, перейти со своей командой на Садовую.

Горело не министерство внутренних дел, а архивы. Много молодежи, главным образом, кадеты и пажи, при содействии канцелярских, выносили из горящего здания пачки бумаг и складывали на извозчиков. Иногда пачка падала на землю, ветер тогда подхватывал отдельные листы и гнал их по площади. Сквозь черные тучи дыма видны были зловещие огни пылавших дровяных складов на другом берегу Фонтанки.

Узкий Чернышев переулок, отделявший Пажеский корпус от Апраксина двора, был в отчаянном состоянии. В каменных лавках, напротив корпуса, находились большие запасы серы, деревянного масла, скипидара и тому подобных горючих веществ. Разноцветные огненные языки, выбрасываемые взрывами из лавок, лизали крышу низкого Пажеского корпуса, выходившего на другую сторону переулка. Оконные рамы и стропила уже дымились. Пажи и кадеты, очистив здание, поливали его крышу из небольшой пожарной трубы кадетского корпуса, для которой вода с большими промежутками подвозилась в бочках, наливавшихся от руки, шайками. Пожарные, стоявшие на раскаленной крыше, все время кричали надрывавшими душу голосами: «Воды! Воды!» Я не мог выносить эти крики и помчался на Садовую, где силой завернул на наш двор одну из полицейских пожарных бочек. Но когда я попытался сделать это вторично, пожарный наотрез отказался. «Меня отдадут под суд, если я сверну», — сказал он. Со всех сторон товарищи торопили меня: «Пойди и найди кого-нибудь, обер-полицеймейстера или великого князя. Скажи им, что без воды мы больше не можем отстаивать Пажеский корпус».

— Не доложить ли директору? — предложил кто-то.

— Чорт побери их всех! Их теперь с фонарем не разыщешь! Пойди и сделай все сам.

Я пошел опять разыскивать Анненкова. Мне, наконец, сказал кто-то, что он, должно быть, во дворе Государственного банка. Там, действительно, стояло несколько офицеров около одного генерала, в котором я узнал петербургского генерал-губернатора, князя Суворова. Ворота, однако, были заперты. Банковый чиновник, стоявший возле них, наотрез отказался впустить меня. Я настаивал, грозил и, наконец, меня впустили. Тогда я подошел прямо к князю Суворову, который писал записку на спине одного из своих адъютантов.

Когда я доложил ему о положении вещей, то Суворов прежде всего спросил:

— Кто вас послал?

— Никто, — отвечал я, — товарищи.
— Так вы говорите, что Пажеский корпус скоро загорится?
— Да. Мы больше не можем отстаивать.
— Идемте со мной.

Суворов быстрыми шагами вышел на улицу, подобрал картонку от шляпы, покрыл ею голову и побежал, что было сил, в Чернышев переулок. С одной его стороны пылали лавки, с другой — тлели рамы и стропила корпуса. Мостовая же была покрыта пустыми бочками, деревянными ящиками, соломой и тому подобным. Суворов принялся действовать решительно.

— У вас во дворе рота солдат. Возьмите отряд и немедленно очистите переулок. Сейчас проведут сюда одну из кишек паровой пожарной машины. Управляйте ею. Я вам лично поручаю ее.

Не легко было двинуть солдат из нашего сада. Они вычистили из бочек и ящиков все содержимое, набили карманы кофейными зернами, а в кепи запрятали, каждый, по большому куску сахара, и теперь, в эту теплую, весеннюю ночь они прохлаждались под деревьями, пощелкивая орехи. Никто не хотел двинуться с места, покуда, наконец, не вмешался офицер. Переулок очистили и кишку пустили в ход. Товарищи были в восторге. Каждые двадцать минут мы сменяли солдат, направлявших кишку. Кто-нибудь из нас стоял рядом с ними, несмотря на адскую жару.

Около трех или четырех часов утра стало очевидно, что с огнем удалось справиться. Пажеский корпус находился теперь вне опасности. Утолив жажду несколькими стаканами чая в белой харчевне, у Александровского театра, полумертвые от усталости, мы завалились спать на первые свободные койки в госпитале корпуса. На другой день я поднялся рано и в некогда белом, суконном, а теперь черном от копоти кепи пошел на пожарище. Возвратившись в корпус, я встретил великого князя Михаила, которого, согласно требованию службы, я провожал, когда он обходил здание. Пажи поднимали головы с подушек. У всех лица почернели от дыма, глаза и веки распухли; у многих были опалены волосы. Нарядных пажей с трудом можно было узнать, но они гордились сознанием, что проявили себя не белоручками и работали не хуже других.

Это посещение великого князя разрешило мои затруднения. Выходя, он спросил меня:

— Ты на Амур выходишь? Что за охота?
— Путешествовать хочется.
— У тебя родные там есть?
— Нет, никого.
— А генерал Корсаков (генерал-губернатор) тебя знает?
— Нет.
— Так как ты поедешь? Тебя ушлют в какую-нибудь глухую казачью станицу, — с тоски умрешь. Я лучше напишу о тебе генерал-губернатору и попрошу оставить тебя где-нибудь при штабе.

Мне оставалось только поблагодарить великого князя.

Я был уверен теперь, что, после такого предложения, отец мой не будет больше против моей поездки. Так оно и было. Теперь я мог свободно ехать в Сибирь.

Пожар Апраксина двора стал поворотным пунктом не только в политике Александра II, но и в истории России того периода. Не подлежало сомнению, что пожар не был делом случайности. В троицу и в духов день в Апраксином дворе, кроме нескольких сторожей, никого не было. Кроме того, Апраксин двор и дровяные склады на другой стороне Фонтанки занялись почти одновременно; а за пожаром в Петербурге последовало несколько таких же пожаров в некоторых провинциальных городах. Несомненно, кто-то поджигал; но кто именно? На этот вопрос нет ответа до сих пор.

Катков [71], руководимый личной ненавистью к Герцену, а в особенности к Бакунину [72], с которым раз должен был драться на дуэли, на другой же день после пожара обвинил в поджоге поляков и русских революционеров. И в Петербурге, и в Москве этому обвинению поверили.

Польша готовилась тогда к революции, которая разразилась в январе следующего года. Тайное революционное правительство заключило союз с лондонскими изгнанниками. Жонд имел членов даже в самом сердце петербургской администрации. Немного времени спустя после пожара русский офицер стрелял в варшавского наместника, графа Людерса; а когда, вместо Людерса, назначили наместником Константина Николаевича (говорили тогда, что из Польши сделают отдельное королевство для великого князя), то и на него сделано было 26 июня покушение. В августе кто-то стрелял также в маркиза Велепольского, вождя партии слияния с Россией. Англия и Наполеон III поддерживали в поляках надежду на вооруженное вмешательство в пользу их независимости. В таких условиях, с обыкновенной, военной точки зрения, уничтожение Государственного банка, нескольких министерств и распространение паники в столице могли казаться хорошим боевым планом. Но в подтверждение этого предположения не было приведено ни малейшего факта.

С другой стороны, крайние партии в России видели, что на инициативу Александра II в реформационном движении нельзя больше возлагать никаких надежд. Не подлежало сомнению, что течение его все больше и больше относит к лагерю реакционеров. Для передовых людей было очевидно, что, вследствие высокого выкупа, назначенного за землю, освобождение означает для крестьян полное разорение. В силу этого в Петербурге появились в мае прокламации, призывавшие народные массы к поголовному восстанию, образованным же классам предлагалось настаивать на необходимости земского собора. При таком настроении какому-нибудь революционеру могла, конечно, притти в голову мысль разрушить правительственную машину пожаром.

Наконец, неопределенный характер освобождения вызвал сильное брожение среди крестьян, составляющих большую часть населения во всех городах; а брожения среди крестьян всегда сопровождались в России подметными письмами и поджогами.

Возможно, таким образом, что мысль поджечь Апраксин рынок могла возникнуть в голове единичных представителей революционного лагеря; но ни тщательное следствие, ни массовые аресты, начавшиеся в России и в Польше немедленно после пожара, не дали ни малейших на это указаний. Если бы что-нибудь в этом роде было найдено, реакционная партия наверное поспешила бы им воспользоваться. С тех пор появилось также в печати много воспоминаний, опубликовано много писем, относя-

щихся к тому времени, но опять-таки в них нет ни малейшего намека в подтверждении такого предположения.

Напротив того, когда вспыхнули пожары во многих приволжских городах, а в особенности в Симбирске, и когда туда был послан для следствия сенатор Жданов, он закончил расследование с твердым убеждением, что симбирский пожар был делом реакционной партии. В ней существовала уверенность, что возможно еще убедить Александра II отложить окончательное освобождение крестьян, которое должно было состояться 19 февраля 1863 года. Реакционеры знали слабость характера Александра II и немедленно после пожаров сильно стали агитировать в пользу отсрочки освобождения и пересмотра практического применения закона. В хорошо осведомленных кругах говорили, что Жданов возвращался в Петербург с положительными доказательствами виновности симбирских реакционеров; но он внезапно умер в дороге, а портфель его исчез и никогда не был найден.

Как бы то ни было, пожар Апраксина двора имел весьма печальные последствия. После него Александр II открыто выступил на путь реакции. 12 июня был арестован Чернышевский и заключен в Петропавловскую крепость. Общественное мнение той части общества в Петербурге и в Москве, которая имела сильное влияние на правительство, сразу сбросило либеральный мундир и восстало не только против крайней партии, но даже против умеренных. Несколько дней спустя после пожара я пошел навестить моего двоюродного брата, флигель-адъютанта. В конногвардейских казармах, где он жил, я часто встречал офицеров, сочувствовавших Чернышевскому. Двоюродный брат мой до тех пор сам был усердным читателем «Современника»; теперь же он принес мне несколько книжек журнала и положил их предо мною на стол говоря: «Отныне, после э т о г о, не хочу иметь ничего общего с зажигательными писаниями, довольно!» Слова эти отражали мнение «всего Петербурга». Толковать о реформах стало неприлично. Атмосфера была насыщена духом реакции. «Современник» и «Русское Слово» были приостановлены. Все виды воскресных школ запретили. Начались массовые аресты. Петербург был поставлен на военное положение.

Через две недели, 13 июня, наступил, наконец, день, которого кадеты и пажи дожидались с таким нетерпением. Александр II произвел нам род короткого экзамена в военных построениях. Мы командовали ротами, а я гарцовал на коне впереди сводного батальона из выпускных, в должности «младшего штаб-офицера». Затем нас всех произвели в офицеры.

Когда парад кончился, Александр II громко скомандовал: «Произведенные офицеры, ко мне!» Мы окружили его. Он оставался на коне. Тут я увидел Александра II в совершенно новом для меня свете. Во весь рост встал предо мною свирепый укротитель Польши и вешатель последних годов. Он весь сказался в своей речи, и он стал после этого дня противен мне.

Начал он в спокойном тоне: «Поздравляю вас. Вы теперь офицеры». Он говорил о военных обязанностях и о верности государю, как это всегда говорится в подобных случаях. Но затем лицо его стало злое, свирепое, и он принялся выкрикивать злобным голосом, отчеканивая каждое слово: «Но если — чего боже сохрани — кто-нибудь из вас из-

менит царю, престолу и отечеству, я поступлю с ним по всей строгости закона, без ма-лейшего по-пу-щения! . .»

Его голос оборвался. Лицо его исказилось злобой и тем выражением слепой ярости, которое я видел в детстве у отца, когда он кричал на крепостных и дворовых: «я с тебя шкуру спущу!» Даже некоторое сходство между отцом и царем промелькнуло. Александр II сильно пришпорил коня и поскакал от нас. На другой день, 14 июня, по его приказу в Модлине расстреляли трех офицеров, а рядового Шура засекли шпицрутенами до смерти.

«Реакция — полным ходом», — говорил я себе, возвращаясь с парада.

Александра II я увидал еще раз, прежде чем оставил Петербург. Через несколько дней после производства все офицеры представлялись ему во дворце. Мой, более чем скромный, мундир с знаменитыми серыми шароварами привлекал всеобщее внимание. Ежеминутно я должен был удовлетворять любопытство офицеров всех чинов, спрашивавших меня, что это за форма такая? Амурское казачье войско было тогда самое молодое в армии, и я стоял почти в конце нескольких сотен представлявшихся офицеров. Александр II отыскал меня и спросил:

— Так ты едешь в Сибирь? Что ж, твой отец согласился?

Я ответил, что да.

— Тебя не страшит ехать так далеко?

Я с жаром ответил:

— Нет, я хочу работать, а в Сибири так много дела, чтобы проводить намеченные реформы.

Александр II взглянул на меня пристально. Он задумался на минуту и, глядя куда-то вдаль, сказал, наконец: «Что ж, поезжай. Полезным везде можно быть». — И лицо его приняло выражение такой усталости, такой полной апатии, что я тут же подумал: «Он конченый человек. Он теперь сдастся совсем».

Петербург принял мрачный характер. По улицам ходили отряды пехоты. Казачьи патрули разъезжали кругом дворца. Петропавловская крепость наполнялась политическими заключенными. Куда я ни приходил, всюду я видел одно и то же — торжество реакции. Я оставлял Петербург без сожаления.

Каждый день я наведывался в казачье управление с просьбой выправить скорее мои бумаги. И, как только они были готовы, я поспешил в Москву, к брату Саше.

II

Пять лет, проведенных мною в Сибири, были для меня настоящей школой изучения жизни и человеческого характера. Я приходил в соприкосновение с различного рода людьми, с самыми лучшими и с самыми худшими, с теми, которые стоят на верху общественной лестницы, и с теми, кто прозябает и копошится на последних ее ступенях: с бродягами и, так называемыми, неисправимыми преступниками. Я видал крестьян в их ежедневной жизни и убеждался, как мало может дать им правительство, даже если оно одушевлено лучшими намерениями. Наконец, мои продолжительные путешествия, во время которых я сделал более семидесяти тысяч верст на перекладных на пароходах, в лодках — главным

образом, верхом—удивительно закалили мое здоровье. Путешествия научили меня также тому, как мало, в действительности, нужно человеку, когда он выходит из зачарованного круга условной цивилизации. С несколькими фунтами хлеба и маленьким запасом чая в переметных сумах, с котелком и топором у седла, с кошмой под седлом, чтобы покрыть ею постель из свеже-нарезанного молодого лиственяка, человек чувствует себя удивительно независимым даже среди неизвестных гор, густо поросших лесом или же покрытых глубоким снегом. Я мог бы написать целую книгу об этой поре моей жизни, но мне приходится коснуться ее лишь слегка.

Сибирь — не мерзлая страна, вечно покрытая снегом и заселенная лишь ссыльными, как представляют ее себе иностранцы и как еще очень недавно представляли ее себе у нас. Растительность Южной Сибири по богатству напоминает флору Южной Канады. Сходны также их физические положения. На пять миллионов инородцев в Сибири — четыре с половиной миллиона русских *, а южная часть Западной Сибири имеет такой же совершенно русский характер, как и губернии к северу от Москвы.

В 1862 году высшая сибирская администрация была гораздо более просвещенной и в общем гораздо лучше, чем администрация любой губернии в Европейской России. Пост генерал-губернатора Восточной Сибири в продолжение нескольких лет занимал замечательный человек, граф Н. Н. Муравьев [73], присоединивший Амурский край. Он был очень умен, очень деятелен, обаятелен, как личность, и желал работать на пользу края. Как все люди действия правительственной школы, он в глубине души был деспот; но Муравьев в то же время придерживался крайних мнений, и демократическая республика не вполне бы удовлетворила его. Ему удалось отделаться почти от всех старых чиновников, смотревших на Сибирь, как на край, где можно грабить безнаказанно, и он окружил себя, большею частью, молодыми, честными офицерами, из которых многие имели такие же благие намерения, как и сам он. В его кабинете молодые люди, вместе с сосланным Бакуниным (он бежал из Восточной Сибири в августе 1861 года), обсуждали возможность создания Сибирских Соединенных Штатов, вступающих в федеративный союз с Северо-Американскими Соединенными Штатами.

Когда я приехал в Иркутск, реакционная волна, поднимавшаяся в Петербурге, еще не достигла столицы Восточной Сибири. Меня очень хорошо принял молодой генерал-губернатор Корсаков [74], только что заменивший Муравьева, и заявил, что он очень рад видеть возле себя людей либерального образа мыслей. Корсаков никак не мог поверить мне, что я по собственному желанию выбрал Сибирь. Он думал, что меня назначили в Сибирь за какую-нибудь провинность. Когда же я его разуверял в этом, он лишь добавил:

— Впрочем, это меня не касается.

Помощником Корсакова был молодой, тридцатипятилетний генерал Кукель [75], он занимал должность начальника штаба Восточной Сибири (он сейчас же взял меня к себе адъютантом) и, как только ознакомился со мной, повел меня в одну комнату в своем доме, где я нашел лучшие

* Писано в 1897 году. Теперь их около десяти миллионов. *Прим. П. К. 1917 года.*

русские журналы и полную коллекцию лондонских революционных изданий Герцена. Скоро мы стали близкими друзьями.

В то время Б. К. Кукель временно занимал пост губернатора Забайкальской области, и через несколько недель мы переправились через Байкал и поехали на восток, в Читу. Здесь мне пришлось отдаться всецело, не теряя времени, великим реформам, которые тогда обсуждались. Из петербургских министерств присланы были местным властям предложения выработать планы полного преобразования администрации, полиции, судов, тюрем, системы ссылки, городского самоуправления. Все это должно было быть преобразовано на широких либеральных основах, намеченных в царских манифестах.

Кукелю помогали: умный, практический человек, полковник К. Н. Педашенко, старший член казачьего управления, адъютант военного округа А. Л. Шанявский [76] (впоследствии основатель Московского народного университета) и два-три честных гражданских чиновника, в том числе Ядринцев [77]. Все они работали усердно, весь день и часть ночи. Я стал секретарем двух комитетов: для реформы тюрем и всей системы ссылки и для выработки проекта городского самоуправления. Я взялся за работу со всем энтузиазмом девятнадцатилетнего юноши и много читал об историческом развитии этих учреждений в России и о современном положении их в Западной Европе. Министерства внутренних дел и юстиции издавали тогда в своих журналах отличные работы, относящиеся к обоим вопросам, и я изучал их. Но в Забайкальской области мы не довольствовались одними теориями. Я сперва обсуждал с практическими людьми, хорошо знакомыми с местными условиями и с нуждами края, общие черты проекта, а затем мы вырабатывали его во всех подробностях, пункт за пунктом. С этой целью мне приходилось встречаться с целым рядом лиц как в городе, так и в деревнях. Затем полученные результаты мы вновь обсуждали с Кукелем и Педашенко. После этого я составлял проект, который снова, тщательно, пункт за пунктом, разбирался в комитете. Один из этих комитетов — для выработки проекта самоуправления — состоял из читинцев, выбранных всем населением города: в нем заседал даже один поселенец. Короче сказать, наша работа была очень серьезна. И даже в настоящее время, глядя на нее в перспективе нескольких десятилетий, я искренно могу сказать, что если бы самоуправление дано было по тому скромному плану, который мы тогда выработали, сибирские города имели бы теперь совсем другой вид. Но из нашей работы, как видно будет, ничего не вышло.

Не было недостатка и в других случайных работах. То приходилось найти деньги для поддержания детского приюта, то нужно было сделать описание экономического положения области, на основании местной земледельческой выставки [78], то предстояло начать какие-нибудь важные исследования или произвести какое-нибудь следствие.

— Мы живем в великую эпоху; работайте, милый друг; помните, что вы секретарь всех существующих и будущих комитетов, — говорил мне иногда Кукель. И я работал с двойной энергией.

Следующий пример покажет, каковы были результаты. В Забайкальской области, в одной из волостей служил заседатель М. [79], творивший невероятные вещи. Он грабил крестьян, сек немилосердно — даже женщин, что было уже против закона. Если ему в руки попадало уголовное

Пожар Апраксина рынка в 1862 г.
С гравюры того времени

дело, он гноил в остроге тех, которые не могли дать ему взятку. Кукель давно бы прогнал заседателя, но на это не соглашались в Иркутске, так как М. имел сильных покровителей в Петербурге. После долгих колебаний решили, что я поеду и произведу следствие на месте, чтобы собрать факты против заседателя. Выполнить это было не легко, так как напуганные крестьяне отлично помнили, что до бога высоко, а до царя далеко, и не решались давать свидетельские показания. Даже женщина, которую высек заседатель, вначале опасалась свидетельствовать. Лишь после того, как я прожил две недели с крестьянами и заслужил их доверие, выплыли мало-по-малу деяния М. Я собрал подавляющие факты, и заседателю велели подать в отставку. Каково же было наше удивление, когда через несколько месяцев мы узнали, что тот же М. назначен исправником в Камчатку! Там он мог беспрепятственно грабить инородцев, что и делал, конечно, так, что через несколько лет он возвратился в Петербург богатым человеком. Теперь он порой сотрудничает в консервативных газетах и, разумеется, парадирует, как «настоящий русский человек».

Как я сказал, волна реакции еще не дошла до Сибири. С политическими ссыльными обращались со всевозможной мягкостью как при Муравьеве. Когда в 1861 году сослали в каторжные работы М. Л. Михайлова [80] за составление прокламации, тобольский губернатор дал в честь его обед, на котором присутствовали все местные власти. В Забайкальской области Михайлова не держали в каторжной работе. Ему официально разрешили оставаться в тюремном госпитале села Кадаи, близ Нерчинского завода; но здоровье Михайлова было очень слабо — он вскоре умер от чахотки — и Кукель разрешил ему жить у брата, горного инженера, арендовавшего у казны золотой прииск. Об этом знали все в Сибири. Но вот мы получили известие из Иркутска, что, в силу полученного доноса, в Читу едет жандармский генерал для следствия по делу М. Л. Михайлова. Привез нам это известие адъютант генерал-губернатора, князь Дадешкалиани. Мы сейчас же собрались на совет, и меня откомандировали немедленно предупредить Михайлова и сказать ему, чтобы он сейчас же перебрался в Кадаю, покуда жандармского генерала задержат в Чите. Так как генерал выигрывал за зеленым полем в доме Кукеля значительные суммы денег, то он скоро решил не менять этого приятного занятия на долгое путешествие в горный округ, тем более, что и холода тогда стояли жестокие. В конце концов, жандармский генерал возвратился в Иркутск очень довольный своею выгодною командировкою.

Гроза, тем не менее, надвигалась все ближе и ближе. Она все смела пред собою вскоре после того, как в Польше разразилась революция.

III

В январе 1863 года Польша восстала против русского владычества. Образовались отряды повстанцев, и началась война, продолжавшаяся полтора года. Лондонские эмигранты умоляли польские революционные комитеты отложить восстание, так как предвидели, что революция будет подавлена и что она положит конец реформам в России. Но ничего нельзя уже было сделать. Свирепые казачьи расправы с националисти-

ческими манифестациями на улицах Варшавы в 1861 году, жестокие, беспричинные казни, последовавшие затем, привели поляков в отчаяние. Англия и Франция обещали им поддержку, — жребий был брошен.

Никогда раньше польскому делу так много не сочувствовали в России, как тогда. Я не говорю о революционерах. Даже многие умеренные люди открыто высказывались в те годы, что России выгоднее иметь Польшу хорошим соседом, чем враждебно настроенной подчиненной страной. Польша никогда не потеряет своего национального характера: он слишком резко вычеканен. Она имеет и будет иметь свое собственное искусство, свою литературу и свою промышленность. Держать ее в рабстве Россия может лишь при помощи грубой физической силы; а такое положение дел всегда благоприятствовало и будет благоприятствовать господству гнета в самой России. Это сознавали многие, и когда я был еще в корпусе, петербургское общество одобрительно приветствовало передовую статью, которую славянофил Иван Аксаков имел мужество напечатать в своей газете «День». Он начинал с предположения, что русские войска очистили Польшу, и указывал благие последствия для самой Польши и для России. Когда началась революция 1863 года несколько русских офицеров отказались итти против поляков, а некоторые даже открыто присоединились к ним и умерли или на эшафоте, или на поле битвы. Деньги на восстание собирались по всей России, а в Сибири даже открыто. В университетах студенты снаряжали тех товарищей, которые отправлялись к повстанцам.

Но вот среди общего возбуждения распространилось известие, что в ночь на 10 января повстанцы напали на солдат, квартировавших по деревням, и перерезали сонных, хотя накануне казалось, что отношения между населением и войсками дружеские. Происшествие было несколько преувеличено, но, к сожалению, в этом известии была и доля правды. Оно произвело, конечно, самое удручающее впечатление на общество. Снова между двумя народами, столь сродными по происхождению, но столь различными по национальному характеру, воскресла старая вражда.

Постепенно дурное впечатление изгладилось до известной степени. Доблестная борьба всегда отличавшихся храбростью поляков, неослабная энергия, с которой они сопротивлялись громадной армии, скоро вновь пробудили симпатию к этому героическому народу. Но в то же время стало известно, что революционный комитет требует восстановления Польши в старых границах, со включением Украины, православное население которой ненавидит панов и не раз в течение трех последних веков начинало восстание против них кровавой резней.

Кроме того, Наполеон III и Англия стали угрожать России новой войной, и эта пустая угроза принесла полякам более вреда, чем все остальные причины, взятые вместе. Наконец, радикальная часть русского общества с сожалением убедилась, что в Польше берут верх чисто националистические стремления. Революционное правительство меньше всего думало о наделении крепостных землей, и этой ошибкой русское правительство не преминуло воспользоваться, чтобы выступить в роли защитника хлопов против польских панов.

Когда в Польше началась революция, все в России думали, что она примет демократический, республиканский характер и что Народный

Жонд освободит на широких демократических началах крестьян, сражающихся за независимость родины.

Освобождение крестьян в России представляло весьма удобный случай для подобного действия. Личные обязательства крестьян к помещикам кончились 19 февраля 1863 года. Затем следовало выполнить очень долгую процедуру установления добровольного соглашения между помещиками и крепостными относительно величины и местонахождения надела. Размер ежегодных платежей за наделы (оцененные очень высоко) был утвержден правительством по стольку-то с десятины. Но крестьянам приходилось еще платить дополнительные суммы за усадебные земли, причем правительство определило лишь высшую норму; помещикам же предоставлялось или отказаться от дополнительных платежей, или удовольствоваться частью. Что же касается выкупа наделов, при котором правительство платило помещикам полностью выкупными свидетельствами, а крестьяне обязаны были погашать долг в течение сорока девяти лет взносами по шести процентов в год, то эти платежи не только были чрезмерно велики и разорительны для крестьян, но не был определен также срок выкупа. Он предоставлялся воле помещика, и во многих случаях выкупные сделки не были заключены даже через двадцать лет после освобождения крестьян.

Такое положение вещей предоставляло польскому революционному правительству широкую возможность улучшить русский закон. Оно обязано было выполнить акт справедливости по отношению к крестьянам (положение их было так же плохо, а в некоторых случаях даже хуже, чем в России); оно могло выработать лучшие и более определенные законы освобождения крепостных. Но ничего подобного не было сделано. Верх одержала партия чисто националистическая и шляхетская, и великий вопрос об освобождении хлопов был отодвинут на задний план. Вследствие этого русскому правительству открылась возможность заручиться расположением польских крестьян против революционеров.

Оно широко воспользовалось этой ошибкой. Александр II послал Н. Милютина в Польшу с полномочием освободить крестьян по тому плану, который последний думал осуществить в России, не считаясь с тем, разорит ли такое освобождение помещиков или нет.

— Поезжайте в Польшу и там примените против помещиков вашу красную программу, — сказал Александр II Милютину.

И Милютин, вместе с князем Черкасским и многими другими, действительно сделал все возможное, чтобы отнять землю у помещиков и дать крестьянам большие наделы.

Раз я встретился с одним из тех чиновников, которые действовали в Польше вместе с Милютиным и князем Черкасским.

— Мы имели полную возможность, — говорил он, — передать всю землю крестьянам. Обыкновенно я начинал с того, что созывал крестьянский сход. «Скажите сперва, какою землею вы владеете теперь?» Мне указывали ее. «Вся ли это земля, которая когда-либо принадлежала вам?» — спрашивал я. «Нет, — отвечали они, бывало, как один человек. — В былые годы вон те луга принадлежали нам; владели мы еще тем лесом и теми полями». Я предоставлял им высказать все, а затем говорил: «Ну, кто из вас может показать под присягой, что та земля была когда-то ваша?» Конечно, никто не выступал, потому что дело

шло о давно прошедшем времени. Наконец, выталкивали вперед какого-нибудь дряхлого старика. Остальные говорили: «Он знает все; он может присягнуть». Старик начинал бесконечный рассказ про то, что видал в молодости, или про то, что слыхал от отца: но я круто обрывал: «Покажи под присягой, что участок когда-то принадлежал гмине, и земля будет ваша». И как только старик присягал, — такой присяге можно слепо верить, — я составлял бумаги и объявлял сходу: «Теперь у вас нет никаких обязательств к вашим бывшим помещикам; вы — простые соседи. Платите только по стольку-то в год в казну. Усадьбы идут вместе с землей. Платить за них вам ничего не нужно».

Легко себе представить, какое впечатление все это произвело на крестьян. Мой двоюродный брат, Петр Николаевич Кропоткин, брат того флигель-адъютанта, о котором я упоминал выше, был в Польше или в Литве с гвардейским уланским полком, в котором служил. Революция имела такой серьезный характер, что против поляков двинули из Петербурга даже гвардию. Теперь известно, что когда Михаила Муравьева[81] посылали в Литву, и он пришел проститься с императрицей Марией Александровной, она сказала ему:

— Спасите хоть Литву!

Польша считалась уже утерянной.

— Вооруженные банды повстанцев держали весь край, — рассказывал мой двоюродный брат. — Мы не могли не только разбить, но и найти их. Банды нападали беспрестанно на наши небольшие отряды; а так как повстанцы сражались превосходно, отлично знали местность и находили поддержку в населении, то они оставались победителями в таких случаях. Поэтому мы вынуждены были ходить всегда большими колоннами. И вот мы ходили все время по всему краю, взад и вперед, среди лесов, а конца восстанию не предвиделось. Пока мы пересекали какую-нибудь местность, мы не встречали никакого следа повстанцев. Но как только мы возвращались, то узнавали, что банды опять появлялись в тылу и собирали патриотическую подать. И если какой-нибудь крестьянин оказал услуги нашим войскам, мы находили его повешенным повстанцами. Так дело тянулось несколько месяцев, без всякой надежды на скорый конец, покуда не прибыли Милютин и Черкасский. Как только они освободили крестьян и дали им землю, все сразу изменилось. Крестьяне перешли на нашу сторону и стали помогать нам ловить повстанцев. Революция кончилась.

В Сибири я часто беседовал с ссыльными поляками на эту тему, и некоторые из них понимали ошибку, которая была сделана. Революция с самого начала должна явиться актом справедливости по отношению к «униженным и оскорбленным», а не обещанием поправки зла в будущем; иначе она наверное не удастся. К несчастью, часто случается, что вожди бывают так поглощены вопросами политики и военной тактики, что забывают самое главное. Между тем революционеры, которым не удается убедить массу, что для нее начинается новая эра, готовят верную гибель своему собственному делу.

Бедственные последствия революции для Польши — известны и принадлежат уже истории. Никто еще доподлинно не знает, сколько тысяч человек погибло на поле битвы, сколько сотен повешено и сколько десятков тысяч человек было сослано во внутренние русские губернии

и в Сибирь. Но даже по официальным сведениям, обнародованным недавно, в одном лишь Литовском крае палач Муравьев, — которому правительство поставило памятник, — повесил собственной властью 128 поляков и сослал в Сибирь 9423 мужчин и женщин. По официальным сведениям в Сибирь было сослано 18 672 человека; из них 10 407 — в Восточную Сибирь, и я помню, что генерал-губернатор Восточной Сибири упоминал мне приблизительно ту же цифру: он говорил, что в его край в каторжные работы и на поселение прислано одиннадцать тысяч человек. Я видел их, видел и их страдания на соляном промысле Усть-Куте. В общем, от шестидесяти до семидесяти тысяч человек, если не больше, были оторваны от Польши и сосланы в Европейскую Россию, на Урал, на Кавказ или же в Сибирь.

Для России последствия были одинаково бедственны. Польская революция положила конец всем реформам. Правда, в 1864 и 1866 годах ввели земскую и судебную реформы, но они были готовы еще в 1862 году. Кроме того, в последний момент Александр II отдал предпочтение плану земской реформы, выработанному не Николаем Милютиным, а реакционною партией Валуева, по австро-немецким образцам. Затем, немедленно после обнародования обеих реформ, значение их сократили, а в некоторых случаях даже уничтожили при помощи многочисленных «временных правил».

Хуже всего было то, что само общественное мнение сразу повернуло на путь реакции. Героем дня стал Катков, парадировавший теперь, как русский «патриот», и увлекавший за собою значительную часть петербургского и московского общества. Он немедленно помещал в разряд «изменников» всех тех, кто еще дерзал говорить о реформах.

Волна реакции скоро добралась и до нашей далекой окраины. Раз, в феврале или марте 1863 года, в Читу прискакал нарочный из Иркутска и привез бумагу. В ней предписывалось генералу Кукелю немедленно оставить пост губернатора Забайкальской области, вернуться в Иркутск и там дожидаться дальнейших распоряжений, «не принимая должности начальника штаба».

Почему так? Что все это означает? Про это в бумаге не было ни слова. Даже генерал-губернатор, личный друг Кукеля, не решился прибавить ни одного пояснительного слова к таинственной бумаге. Значила ли она, что Кукеля повезут с двумя жандармами в Петербург и там замуруют в каменный гроб, в Петропавловскую крепость? Все было возможно. Позднее мы узнали, что так именно и предполагалось. Так бы и сделали, если бы не энергичное заступничество графа Николая Муравьева-Амурского, который лично умолял царя пощадить Кукеля.

Наше прощание с Б. К. Кукелем и его прелестной семьей было похоже на похороны. Сердце мое надрывалось. В Кукеле я не только терял дорогого, близкого друга, но я сознавал также, что его отъезд означает похороны целой эпохи, — богатой «иллюзиями», как стали говорить впоследствии, — эпохи, на которую возлагалось столько надежд.

Так оно и вышло. Прибыл новый губернатор, добродушный, беззаботный человек. Видя, что терять время нельзя, я с удвоенной энергией принялся за работу и закончил проект реформ тюремного и городского самоуправления. Губернатор оспаривал мои доклады, делал возражения, а впрочем подписал проекты, и они были отправлены в Петербург. Но

там больше уже не желали реформ. Там наши проекты и покоятся по сию пору с сотнями других подобных записок, поданных со всех концов России. В столицах выстроили несколько «образцовых» тюрем, — еще более ужасных, чем старые, не образцовые, — чтобы было что показать знатным иностранцам во время тюремных конгрессов. Но в 1886 году Кеннан [82] нашел всю систему ссылки в таком же виде, в каком я ее оставил в 1867 году. Лишь теперь, через много лет, правительство вводит в Сибири новые суды и пародию на самоуправление; лишь теперь назначены снова комиссии для расследования системы ссылки *.

Когда Кеннан, возвращаясь из своего путешествия по Сибири, приехал в Лондон, он на другой же день разыскал Степняка [83], Чайковского [84], меня и еще одного русского эмигранта. Вечером мы собрались у Кеннана в небольшой гостинице близ Чаринг-Кросса. Видели мы Кеннана в первый раз, а предприимчивые англичане, которые до него брались изучить все, касающееся Сибири и ссылки, не давши себе труда научиться хоть немного по-русски, приучили нас к недоверию. Поэтому мы подвергали путешественника строгому перекрестному допросу. К великому нашему изумлению, он не только отлично говорил по-русски, но знал все, что заслуживало внимания относительно Сибири. Мы, четверо, знали многих ссыльных, находившихся в Сибири, и осаждали Кеннана вопросами: Где такой-то? Женат ли он? Счастлив ли в семейной жизни? Сохранился ли он? Мы быстро убедились, что Кеннан был знаком со всеми.

Когда этот допрос кончился, я спросил:

— А не знаете ли вы, г-н Кеннан, построена каланча пожарная в Чите?

Степняк взглянул на меня, как будто упрекая за излишнюю пытливость. Но Кеннан расхохотался, и я — тоже. Смеясь мы перекидывались вопросами:

— Как? Вы знаете об этом?

— И вы тоже?

— Выстроили, наконец?

— Да, по двойной смете!

И так далее. Наконец, вмешался Степняк и наиболее суровым тоном, на какой лишь был способен при своем добродушии, заявил:

— Скажите же нам, наконец, чему вы смеетесь?

Тогда Кеннан рассказал историю читинской каланчи, которую, вероятно, помнят читатели его книги. В 1855 году читинцы пожелали выстроить каланчу и собрали деньги для этого; но смету пришлось послать в Петербург. Она пошла к министру внутренних дел, но когда утвержденная смета вернулась через два года в Читу, то оказалось, что цены на лес и на труд значительно поднялись в молодом, разраставшемся городе. Это было в 1862 году, когда я жил в Чите. Составили новую смету и отправили в Петербург. История повторилась несколько раз и тянулась целых двадцать пять лет, покуда, наконец, читинцы потеряли терпение и выставили в смете почти двойные цифры. Тогда фантастическую смету торжественно утвердили в Петербурге. Таким образом, Чита получила каланчу.

За последние годы нам часто приходилось слышать, что Александр II совершил большую ошибку, вызвав так много ожиданий, которых потом

* Писано в 1897 году.

не мог удовлетворить. Таким образом, говорят, он уготовил свою собственную гибель. Из всего того, что я сказал, — а история маленькой Читы была историей всей России, — видно, что Александр II сделал нечто худшее. Он не только пробудил надежды. Уступив на время течению, он побудил по всей России людей засесть за построительную работу; он побудил их выйти из области надежд и призраков и дал им возможность, так сказать, осязать, почти осуществить назревшие реформы. Он заставил их узнать, что можно сделать немедленно, и как легко это сделать. Александр II убедил этих людей пожертвовать частью их идеалов, которых нельзя было немедленно осуществить, и требовать только практически-возможного в данное время. И когда они отлили свои идеалы в форму готовых законов, требовавших лишь подписи императора, чтоб стать действительностью, он отказался подписать. Ни один реакционер не высказывал и не смел высказать, что дореформенные суды, отсутствие городского самоуправления и старая система ссылки были хороши и достойны сохранения. Никто не дерзал утверждать этого. И тем не менее, из страха сделать что-нибудь, все оставили, как оно было. Тридцать пять лет вносили в разряд «подозрительных» всех тех, кто дерзал заметить, что нужны перемены. Из одного страха перед страшным словом «реформы» учреждения, осужденные всеми, признанные всеми за гнилые пережитки старого, были оставлены в нетронутом виде.

IV

Я видел, что в Чите мне делать больше нечего, так как с реформами тут покончено, и весною того же 1863 года охотно принял предложение поехать со сплавом на Амур.

Все необъятное левое побережье Амура и берег Тихого океана, вплоть до залива Петра Великого, были присоединены графом Муравьевым почти против воли петербургских властей — во всяком случае, без какой-либо значительной помощи с их стороны. Когда Муравьев задумал смелый план овладеть великой рекой, южное положение и плодоносные берега которой в течение двух столетий манили сибиряков, когда он решил, прежде чем Япония откроется для Европы, занять для России прочное положение на берегу Тихого океана и вступить, таким образом в сношения с Соединенными Штатами, против генерал-губернатора ополчились почти все в Петербурге. У военного министра не было лишних солдат, у министра финансов — свободных денег. В особенности противилось министерство иностранных дел, всегда старающееся избегать «дипломатических осложнений». Муравьеву поэтому оставалось действовать на собственный страх и рассчитывать, при выполнении грандиозного предприятия, лишь на те скудные средства, которые могла доставить слабо населенная Восточная Сибирь. Кроме того, приходилось действовать, как можно скорее, чтобы возможному протесту западно-европейских дипломатов противопоставить «свершившийся факт».

Номинальная лишь оккупация не имела бы никакого значения, и вот явилась мысль выстроить по Амуру и по Уссури, на протяжении 3500 слишком верст, цепь станиц и, таким образом, установить правильное сообщение между Сибирью и берегами Великого океана. Для станиц

нужны были засельщики, которых Восточная Сибирь не могла дать. Тогда Муравьев прибег к необычайным мерам. Ссыльно-каторжным, отбывшим срок в каторжных работах и приписанным к кабинетским промыслам, возвратили гражданские права и обратили в Забайкальское казачье войско. Затем часть их поселили по Амуру и по Уссури. Возникли, таким образом, еще два новых казачьих войска.

Затем Муравьев добился полного освобождения тысячи каторжников (большею частью убийц и разбойников), которых решил устроить, как вольных переселенцев, по низовьям Амура. Отправляя их с Кары на новые места, Муравьев перед тем, как они сели на плоты, чтобы плыть вниз по Шилке и Амуру, произнес им речь: «С богом, детушки. Вы теперь свободны. Обрабатывайте землю, сделайте ее русским краем, начните новую жизнь» и так далее. Русские крестьянки почти всегда добровольно следуют в Сибирь за сосланными мужьями. Таким образом, поселенцы имели свои семьи. Но были и холостые, которые заметили Муравьеву: «Мужик без бабы — ничего; жениться нам нужно». Генерал-губернатор сейчас же согласился, велел освободить каторжанок и предложил им выбрать мужей. Времени терять было нельзя. Полая вода быстро спадала в Шилке, плотам следовало сниматься. Тогда Муравьев велел поселенцам стать на берегу парами, благословил их и сказал: «Венчаю вас, детушки. Будьте ласковы друг с другом; мужья, не обижайте жен и живите счастливо».

Я видел этих новоселов лет шесть спустя после описанной сцены. Деревни были бедны; поля пришлось отвоевывать у тайги, но, в общем, мысль Муравьева осуществилась, а браки, заключенные им, были не менее счастливы, чем браки вообще. Добрый, умный епископ Амурский, Иннокентий [85] признал впоследствии эти браки и детей, рожденных в них, законными и приказал так и отметить в церковных книгах.

Менее счастлив был Муравьев с другим разрядом переселенцев. Нуждаясь в людях для заселения Восточной Сибири, он принял, как колонистов, две тысячи солдат из штрафных батальонов. Их распределили, как приемных сыновей, в казачьи семьи или же устроили артельными холостыми хозяйствами в деревнях Восточной Сибири. Но десять или двадцать лет казарменной жизни, под ужасной николаевской дисциплиной, очевидно, не могли быть подготовительной школой для земледельческого труда. «Сынки» убегали от «отцов», присоединялись к бездомному, бродячему городскому населению, перебивались случайной работой, пропивали весь заработок, а затем, беззаботные, как птицы, дожидались, покуда набежит новая работа.

Пестрые толпы забайкальских казаков, освобожденных каторжников и «сынков», поселенных наскоро и кое-как по берегу Амура, конечно, не могли благоденствовать, — в особенности, по низовьям реки и по Уссури, где каждый квадратный аршин приходилось расчищать из-под девственного суб-тропического леса; где проливные дожди, приносимые муссонами в июле, затопляли громадные пространства; где миллионы перелетных птиц часто выклевывали хлеба. Все эти условия привели население низовьев в отчаяние, а затем породили апатию.

Таким образом, ежегодно приходилось отправлять целые караваны барж с солью, мукой, солониной и так далее для продовольствия как войск, так и переселенцев в низовьях Амура. В Чите для этого строили

ежегодно около ста пятидесяти барж, которые и сплавлялись весной в половодье по Ингоде, Шилке и Амуру. Вся флотилия делилась на отряды в двадцать, тридцать судов, которыми заведывали казачьи офицеры и чиновники. Большинство из них не очень много понимало в навигационном деле; но на них можно было хоть положиться, что они не раскрадут провизию и не покажут ее потом затонувшей. Я был прикомандирован помощником к начальнику всего сплава этого года, майору Малиновскому.

Мой первый опыт в новой роли сплавщика был совсем неудачен. Мне надлежало поспешить, насколько возможно, из Сретенска с несколькими баржами к известному пункту на верхнем Амуре и там сдать их. С этой целью приходилось взять команду из «сынков», о которых я говорил выше. Никто из них ничего не понимал в речном плавании. Немногим больше понимал и я. В день отправки пришлось собирать мою команду по кабакам. В пять часов утра, когда следовало сняться некоторые были так пьяны, что их приходилось выкупать предварительно в реке, чтобы хоть несколько вытрезвить. Когда мы тронулись, мне пришлось их учить всему. Тем не менее, днем дело шло не дурно. Баржи, сносимые быстрым течением, плыли по середине реки. Хотя моя команда и отличалась неопытностью, но ей не было никакого расчета посадить суда на берег: для этого потребовалось бы специальное усилие. Но когда стемнело и наступила пора причалить наши неуклюжие, тяжело нагруженные баржи к берегу на ночь, то оказалось, что одна ушла далеко вперед от той, на которой я был; остановилась она лишь тогда, когда крепко наткнулась на камень у подножья страшно высокого, крутого утеса. Здесь баржа засела основательно. Уровень реки, поднятый ливнями, быстро падал. Мои десять «сынков», находившиеся на этой барже, конечно, не могли снять ее. Я поплыл в лодке в ближайшую станицу, чтобы позвать на помощь казаков, и в то же время отправил гонца к приятелю, казачьему офицеру, жившему в Сретенске, старому опытному сплавщику.

Наступило утро. На помощь явилось около сотни казаков и казачек, но под утесом было так глубоко, что невозможно было установить сообщение с берегом с целью разгрузить баржу. Когда же мы попробовали сдвинуть ее с камня, в дне образовалась пробоина, через которую хлынула вода, размывая наш груз: муку и соль. К великому ужасу моему, я видел множество рыбок, попавших через пробоину и теперь плававших в барже. Я беспомощно стоял, не зная, что делать. Есть очень простое средство в подобных случаях: нужно заткнуть пробоину кулем муки, который быстро всосется в отверстие. Образовавшаяся из теста кора не даст воде проникнуть через муку, но никто из нас этого не знал.

К счастью для меня, мы через несколько минут усмотрели вверх по реке баржу, плывшую к нам. Вряд ли обрадовалась так доведенная до отчаяния Эльза при виде плывущего к ней на лебеде Лоэнгрина, как возликовали мы, завидев неуклюжую баржу. Легкий голубой туман, висевший в этот ранний час над красавицей Шилкой, придавал еще большую поэзию нашему видению. То был мой приятель, казачий офицер, понявший из моей записки, что никакими человеческими силами не сдвинуть баржу: что она погибла. Он приплыл поэтому на пустой барже, чтобы спасти груз.

Пробоину заткнули; воду вычерпали, груз перенесли на новое судно, и на следующее утро я мог продолжать плаванье. Этот маленький опыт

был мне очень полезен, и вскоре я достиг назначения без дальнейших приключений, о которых стоило бы упомянуть. Мы всегда находили по вечерам небольшую полосу крутого, но сравнительно невысокого берега, чтобы причалить. Скоро затем на берегу быстрой и чистой реки пылали наши костры. А фоном бивуака был великолепный горный пейзаж. Трудно представить себе более приятное плаванье, чем днем, на барже, сносимой по воле течения. Нет ни шума, ни грохота, как на пароходе. Порой приходится лишь раза два повернуть громадное кормовое весло, чтобы держать баржу среди реки. Любителю природы не сыскать лучших видов, чем по нижнему течению Шилки и на верхнем Амуре, где широкая и быстрая прозрачная река течет между горами, поросшими лесами, спускающимися к воде высокими, крутыми скалами, тысячи в две футов в вышину. Но эти самые скалы делают сообщение с берегом крайне затруднительным. Проехать можно только верхом, горной тропой. Это я испытал на личном опыте осенью того же года. В Восточной Сибири зовут последние семь перегонов по Шилке (около 180 верст) «семью смертными грехами». Эта часть сибирской железной дорги, если когда-нибудь ее проложат здесь, обойдется в страшно большие деньги, — гораздо дороже, чем участок канадской железной дороги, проходящей в скалистых горах, в ущелье реки Фразер *.

Сдав мои баржи, я сделал около 1500 верст вниз по Амуру в почтовой лодке. Середина ее покрыта навесом, как кибитка, а на носу стоит ящик, набитый землей, на которой разводят огонь. Гребцов у меня было трое. Нам приходилось торопиться, и мы гребли поочередно весь день, а ночью предоставляли лодке плыть по течению, держа ее по средине реки. Я сидел тогда на корме часа четыре, чтобы удерживать лодку в фарватере и не угодить в протоку, и эти ночные дежурства были полны невыразимой прелести. На небе сиял полный месяц, а черные горы отражались в заснувшей прозрачной реке.

Гребцы мои были из «сынков», прогнанных сквозь строй, а теперь бродяживших из города в город и не всегда признававших права собственности. А между тем я имел на себе тяжелую сумку с порядочным количеством серебра, бумажек и меди. В Западной Европе такое путешествие по пустынной реке считалось бы опасным, но не в Восточной Сибири. Я сделал его преблагополучно, не имея при себе даже старого пистолета. Вообще, мои «сынки» оказались очень хорошими людьми; только подъезжая к Благовещенску, они затосковали.

— Ханшина (китайская водка) уж очень дешева тут, — скорбели они. — Водка крепкая; как выпьешь, сразу с ног сшибет с непривычки! — Я предложил им оставить следуемые им деньги у одного приятеля с тем, чтобы он выдал плату моим «сынкам», когда усадит их на обратный пароход.

— Не поможет, — мрачно повторяли они, — уж кто-нибудь да поднесет чашку. Дешева, подлая. А как выпьешь, так и сшибает с ног.

Сынки огорчались не даром. Когда, через несколько месяцев, я возвращался обратно через Благовещенск, то узнал, что один из моих «сынков», как народ звал их в городе, действительно, попал в беду. Пропив

* Его, конечно, обошли. Дорога проведена к северу от долины Шилки по сравнительно ровной местности. *Прим. 1917 года.*

последние сапоги ,он украл что-то и попал в тюрьму. Мой приятель, в конце концов, добился его освобождения и усадил на обратный пароход.

Лишь те, кто видел Амур или знает Миссисипи и Янтцекианг, могут себе представить, какой громадной рекой становится Амур после слияния с Сунгари и какие громадные волны ходят по реке в непогоду. В июле, во время проливных дождей, обусловленных муссонами, вода в Сунгари, Уссури и в Амуре страшно поднимается. Полая вода заливает или же смывает тысячи островов, поросших тальником. Река достигает трех, а в некоторых местах даже семи верст ширины и заливается в озера, которые тянутся цепью по сторонам главного русла. Свежий восточный ветер разводит на реке и в протоках невероятное волнение. Еще хуже, когда с Китайского моря налетит тайфун.

Мы испытали это верстах в четырехстах ниже Хабаровска. Начальника сплава Малиновского я догнал в Благовещенске. Теперь мы шли с ним по нижнему Амуру в большой, крытой лодке, которую он оснастил парусами так, что она могла итти в бейдевинд; и когда начался шторм, нам удалось добраться до заветерья и укрыться в протоке. Здесь мы простояли двое суток, покуда ревела буря. Ярость ее была так велика, что когда я отважился выйти в тайгу за несколько сот шагов, го вынужден был возвратиться, так как ветер валил кругом меня деревья. Мы начали сильно беспокоиться об участи наших барж. Было очевидно, что если они отчалили утром, то никак не могли укрыться от ветра. Их должно было пригнать к тому берегу, где ярость бури и волн особенно свирепствовала, где громадные волны должны были бить их о крутой берег. В таком случае гибель барж была неминуема. Таких ударов они не могли бы выдержать. Мы почти были уверены, что весь сплав разбит.

Мы тронулись в путь, как только ослабела ярость бури. По расчетам мы скоро должны были обогнать два отряда барж, но прошел день и два, а караванов не было и следа. Где-то, у одного крутого берега, виднелись какие-то бревна; но ни складов, ни людей не было видно. Малиновский потерял сон и аппетит и выглядывал так, как будто только что перенес тяжелую болезнь. С утра до вечера он сидел неподвижно на палубе и шептал: «Все пропало, все пропало!» В этой части Амура поселения редки, и никто не мог дать нам никаких сведений. Началась новая буря. Вечером, когда мы добрались, наконец, до одной деревни, нам сказали, что баржи не проходили, но что накануне много обломков плыло по реке. Не подлежало сомнению, что погибло, самое меньшее, сорок барок с грузом в сто двадцать тысяч пудов. Это означало неизбежный голод в низовьях Амура в следующую весну, если запасы не подоспеют во-время, потому что близилась осень, навигация скоро должна была прекратиться, а телеграфа вдоль реки тогда еще не существовало.

Мы устроили совет и решили, что Малиновский поплывет возможно скорее к устью Амура в Николаевск. Быть может, до прекращения навигации удастся закупить хлеб в Японии. Я же должен был поспешить вверх по реке, чтобы определить потери, и затем торопиться в Читу, как придется: в лодке, верхом или на пароходе, если таковой попадется. Чем раньше удастся предупредить читинские власти и выслать вниз провиант, тем лучше. Быть может, запасы достигнут осенью верховьев Амура, откуда их удастся сплавить в низовья по первой воде. С голодом легче бу-

дет бороться, если запасы прибудут хотя бы на несколько недель или даже на несколько дней раньше.

Мое обратное путешествие в три тысячи верст я начал в маленькой лодке, меняя гребцов в каждой деревне, то есть приблизительно через каждые тридцать верст.

Я очень медленно подвигался вперед, но пароход с низовьев мог притти не раньше, как через две недели, а за это время я мог быть уже на месте крушения и определить, спасена ли какая-нибудь часть груза. Затем в устье Уссури, в Хабаровске, я мог бы сесть на пароход. Лодки были жалкие, начались опять бури. Мы держались, конечно, близко к берегу, но приходилось перерезывать несколько довольно широких протоков Амура. В этих местах гонимые ветром волны грозили залить нашу утлую посудину. Раз нам пришлось пересечь устье протока, почти в версту шириной. Короткие волны поднимались высокими буграми. Два крестьянина, сидевшие на веслах, бледные как полотно, с ужасом смотрели на гребни расходившихся волн; их посиневшие губы шептали молитву. Но державший корму пятнадцатилетний мальчик не потерялся. Он скользил между волнами, когда они опускались; когда же они грозно поднимались впереди нас, он легким движением весла направлял лодку носом через гребни. Лодку постоянно заливало, и я отливал воду старым ковшом, причем убеждался, что она набирается скорее, чем я успеваю вычерпывать. Одно время в лодку хлестнули два таких больших вала, что по знаку дрожащего гребца я отстегнул тяжелую сумку с серебряными и медными деньгами, висевшую у меня через плечо... Такие переправы бывали у нас несколько дней под ряд. Я, конечно, не понуждал гребцов, но они знали, почему я тороплюсь, и сами решали в известную минуту, что можно попытаться. «Семи смертей не бывать, а одной не миновать»,— говорили тогда гребцы, крестились и брались за весла. Через несколько дней я добрался, наконец, до того места, где произошло главное крушение нашего сплава. Буря разбила сорок четыре баржи. Разгрузить их во время бури было невозможно, так что спасли лишь очень небольшую часть провианта. Около ста тысяч пудов муки погибло в Амуре. С этой грустной вестью тронулся я дальше в путь.

Через несколько дней меня нагнал пароход, медленно ползший вверх по течению, и мы причалили к нему. От пассажиров я узнал, что капитан допился до чортиков и прыгнул через борт; его спасли, однако, и теперь он лежал в белой горячке в каюте. Меня просили принять командование пароходом, и я согласился. Но скоро, к великому моему изумлению, я убедился, что все идет так прекрасно само собою, что мне делать почти нечего, хотя я и прохаживался торжественно весь день по капитанскому мостику. Если не считать нескольких действительно ответственных минут, когда приходилось приставать к берегу за дровами, да порой два-три одобрительных слова кочегарам, чтобы убедить их тронуться с рассветом, как только выяснятся очертания берегов, — дело шло само собою. Лоцман, разбиравший карту, отлично справился бы за капитана. Все обошлось, как нельзя лучше, и в Хабаровске я сдал пароход Амурской компании и пересел на другой пароход.

То пароходом, то верхом я добрался, наконец, до Забайкалья. Меня мучила все время мысль о голоде, который может начаться весной в низовьях Амура, а потому, заметив, что наш пароход шел очень тихо вверх

по верхнему Амуру я сошел и поехал, сопутствуемый казаком, верхом, горной тропой по берегу Аргуни. Эти триста верст — Газимурского хребта — представляют одно из самых диких мест в Сибири. Я ехал весь день, только в полночь останавливался, где попало, в лесу, чтобы отдохнуть до рассвета. Я мог выгадать, таким образом, всего десять или двенадцать часов, но и они имели значение, так как с каждым днем приближалось прекращение навигации. Ночью на реке появлялась уже шуга. Наконец, я встретил на Каре забайкальского губернатора и моего приятеля, полковника Педашенко, который сейчас же позаботился о немедленной отправке нового транспорта. Я же поспешил с докладом в Иркутск.

Там все удивились, как это я мог проехать так скоро такой длинный путь, но я совсем выбился из сил и спал в течение недели так много, что теперь стыдно даже сказать.

— Вы хорошо отдохнули? — спросил меня генерал-губернатор дней через восемь или десять после моего приезда. — Можете ли вы выехать завтра курьером в Петербург, чтобы лично доложить о гибели барж?

Ехать курьером в Петербург значило отмахать в двадцать дней — не больше — в осеннее бездорожье 4800 верст до Нижнего-Новгорода, откуда я мог уже ехать до Петербурга по машине; это значило мчаться день и ночь на перекладных, в кибитке, потому что никакой рессорный экипаж не выдержал бы такой длинной дороги по мерзлым выбоинам. Но повидать брата было слишком большим соблазном, чтобы устоять, и я тронулся в путь в следующую же ночь. В Барабе и на Урале путешествие превратилось в настоящую пытку. Бывали дни, когда колеса кибиток ломались на каждой станции. Реки только что начинали замерзать. Через Обь и Иртыш я переправлялся, когда уже густо шел лед, который, казалось, вот-вот затрет нашу лодку. Но когда я добрался до Томи, которая стала всего накануне, крестьяне наотрез отказались переправить меня. После долгих переговоров они стали требовать с меня «расписку».

— Какую вам расписку? — спросил я.

— А вот, напишите нам бумагу: «Я, мол, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, что утонул по воле божьей, а не по вине крестьянской», и дайте нам эту расписку.

— Отлично — на другом берегу!

Все повеселели и решили, что шествие будет открывать молодой парень (его я выбрал за смелый и смышленый взгляд), пробуя прочность льда пешней. Вторым пойду я с сумкой с бумагами через плечо, и нас обоих будут держать на длинных вожжах идущие в некотором отдалении крестьяне. Один из них понесет охапку соломы, чтобы бросить на лед, если он окажется не крепким.

Так и сделали, и только в одном месте пришлось подстилать солому для вящшей безопасности.

Наконец, я добрался до Москвы, где брат встретил меня на вокзале, и мы тотчас же вместе поехали в Петербург.

Молодость — великое дело. После этого ужасного путешествия, продолжавшегося беспрерывно двадцать четыре дня и ночи, я прибыл рано утром в Петербург, сдал в тот же день бумаги и не преминул навестить одну из теток или, точнее, кузин. Она сияла.

— Сегодня у нас танцуют. Придешь ли ты? — спросила она.

— Конечно, — был мой ответ.

И не только пришел, но танцовал еще до раннего утра.

Побывавши в Петербурге у властей, я понял, почему именно меня послали с докладом. Сначала никто не хотел верить крушению барж.

— Вы сами были на месте? Видели ли вы обломки вашими собственными глазами? Уверены ли вы вполне в том, что о н и не украли просто груз и не показали вам для отвода глаз обломки нескольких барж? — Вот на какие вопросы я должен был все время отвечать.

Высшие сановники, заведывавшие в Петербурге сибирскими делами, были восхитительны в своем полном неведении края.

— Mais, mon cher *, — сказал мне один из них, Бутков ** (он всегда говорил со мной, мешая русский с французским), — возможно ли, чтобы, например, на Неве погибли сорок барж и чтобы никто не поспешил спасать их?

— Нева! — воскликнул я, — представьте себе три, четыре Невы рядом, и вы получите Амур в низовьях.

— Неужели он так широк? — Через две минуты мой штатский генерал на отменном французском языке болтал о разных разностях.

— Когда вы в последний раз видели художника Шварца? Не правда ли, его «Иван Грозный» — удивительная картина? Знаете ли вы, почему они хотели арестовать Кукеля? — И он сообщил мне о перехваченном письме, в котором Кукеля просили оказать содействие польскому восстанию. — А знаете, что Чернышевский арестован? Он теперь сидит в крепости.

— За что? Что он сделал? — спросил я.

— Ничего особенного! Но знаете, mon cher **, государственные соображения!.. Такой талантливый человек, удивительно талантливый! Притом такое влияние на молодежь. Вы понимаете, конечно, правительство не может терпеть этого. Решительно не может! Intolérable, mon cher, dans un État bien ordonné ***.

Граф Н. П. Игнатьев не задавал много вопросов: он очень хорошо знал Амур и знал также Петербург. Среди шуток и острот по поводу Сибири, которые сыпались у него с удивительной быстротой, Игнатьев заметил:

— Как это хорошо вышло, что вы были на месте и видели крушение. О н и устроили это очень ловко, послав вас. Умно сделано. Сперва никто не хотел верить крушению барж: думали, что новое мошенничество. Но вы хорошо известны здесь, как паж, и недолго пробыли в Сибири, так что не стали бы выгораживать их плутовства. Вам здесь доверяют.

Единственный человек в Петербурге, отнесшийся вполне серьезно к делу, был военный министр Милютин. Он задал мне ряд вопросов, которые все шли к делу, и сразу понял всю суть. Весь наш разговор шел короткими фразами: без излишней торопливости, но и без лишних слов.

— Вы думаете, что на низовья Амура лучше всего доставлять провиант морем, а на остальные части — через Читу? Очень хорошо. Ну, а если и в будущем году случится буря, не погибнет ли опять весь сплав?

* Но, мой дорогой.
** Мой дорогой.
*** Это недопустимо, мой дорогой, в благоустроенном государстве.

— Едва ли, если сплав будут сопровождать два буксирных парохода.

— Довольно двух?

— Если бы у нас был хоть один пароход, потери были бы уже не так велики.

— Очень возможно. Сделайте мне доклад письменно. Изложите все, что сказали, совершенно просто, без всяких формальностей: военному министру, — больше ничего.

V

Я недолго оставался в Петербурге и в ту же зиму возвратился в Иркутск. Через несколько месяцев должен был приехать туда и брат, принятый офицером в иркутский казачий полк.

Не знающие Сибири думают, что зимнее путешествие ужасно тяжело. Но, в сущности, оно легче, чем в какое бы то ни было другое время года. Сани несутся по накатанной дороге. Холод сильный, но он переносится сравнительно легко, когда лежишь в кошеве, как это принято в Сибири, закутанный в двойную меховую полость, но не особенно страдаешь от мороза даже в сорок или пятьдесят градусов ниже нуля. Путешествуя, как курьер, то есть с быстрыми перепряжками и с остановками лишь раз в сутки, на один час для обеда, я через девятнадцать дней после выезда из Петербурга был уже в Иркутске. В сутки я проезжал средним числом триста верст, а тысячу верст от Красноярска до Иркутска сделал в семьдесят часов. Мороз стоял не особенно сильный, дорога была отличная, и ямщики хорошо получали «на водку». Тройке быстрых лошадок как будто доставляло удовольствие мчать легкую кошеву по горам и долам, по замерзшим рекам и среди тайги, сверкавшей на солнце в серебряном уборе.

Меня вскоре назначили чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири по казачьим делам. Жить приходилось в Иркутске, но дела, собственно, было немного. Из Петербурга отдали молчаливый приказ — не предлагать никаких перемен, а предоставить делам итти по заведенному порядку. Вследствие этого я тем охотнее принял предложение заняться географическими исследованиями в Маньчжурии.

Взглянув на карту Азии, вы увидите, что русская граница с Китаем, которая, в общем, идет по пятидесятому градусу северной широты, в Забайкалье круто поворачивается на северо-восток. На протяжении четырехсот верст она идет вниз по Аргуни; а затем, дойдя до Амура, поворачивает вниз по Амуру, на юго-восток, вплоть до Благовещенска, который лежит под тем же пятидесятым градусом. Таким образом, между юго-восточным углом Забайкальской области (Ново-Цурухайтуем) и Благовещенском на Амуре расстояние по прямой линии всего семьсот верст; но по Аргуни и Амуру — более полуторы тысячи верст, кроме того, что сообщение по Аргуни, которая не судоходна, крайне затруднительно: в ее низовьях нет другой дороги, кроме горной тропы.

В Забайкалье очень много скота, а потому казаки, богатые гуртовщики, жившие в юго-восточном углу области, желали установить прямое сообщение с средней частью Амура, где был бы хороший сбыт на их скот. Торгуя с монголами, они слышали от них, что до Амура не трудно

добраться, если итти на восток через Большой Хинган. Держась этого направления, выйдешь на старую китайскую дорогу, пересекающую Хинган и ведущую в маньчжурский город Мерген (на притоке Сунгари — реке Нонни), а оттуда до Амура — великолепный колесный тракт.

Мне предложили принять начальство над торговым караваном, который казаки хотели снарядить, чтобы найти эту дорогу, на что я и согласился с величайшим удовольствием. Ни один европеец никогда еще не посещал этих мест; русский топограф Ваганов, направившийся туда незадолго перед тем, был убит. Лишь два иезуита, при императоре Кан-си, проникли с юга до Мергена и определили его широту. Весь же громадный край к северу, шириной верст в 750 и длиной верст в 900, был совершенно неизвестен. Я, конечно, ознакомился с источниками. Но даже у китайских географов ничего нет об этом крае. Соединение Амура с Забайкальем имело, между тем, громадное значение. Теперь Ново-Цурухайтуй стал отправным пунктом маньчжурской части сибирской железной дороги. Таким образом, мы оказались пионерами великого дела.

Представлялось, впрочем, одно затруднение. По договору богдыхан давал русским право торговать в Китайской империи и Монголии; Маньчжурия же не была упомянута. Одинаково свободно можно было толковать, что она входит и не входит в договор. Китайские власти толковали оговор на свой лад, русские — на свой. Кроме того, говорилось лишь купцах, и офицеру вовсе не разрешили бы въезд в Маньчжурию. Мне риходилось, стало быть, пробраться, как торговцу. В Иркутске я накупил и взял на комиссию различные товары и оделся купцом. Генерал-губернатор вручил мне паспорт: «Иркутскому второй гильдии купцу Петру Алексееву с товарищами», и, шутя, просил меня, ни в каком случае не выдавать его, назвавши себя, «даже если китайские власти арестуют вас и повезут в Пекин, а оттуда через Гоби, до русской границы, в клетке на спине верблюда» (так китайцы всегда возят арестантов через (Монголию). Я принял, конечно, все условия. Перед искушением посетить край, в котором ни один европеец никогда еще не бывал, путешественнику трудно было устоять.

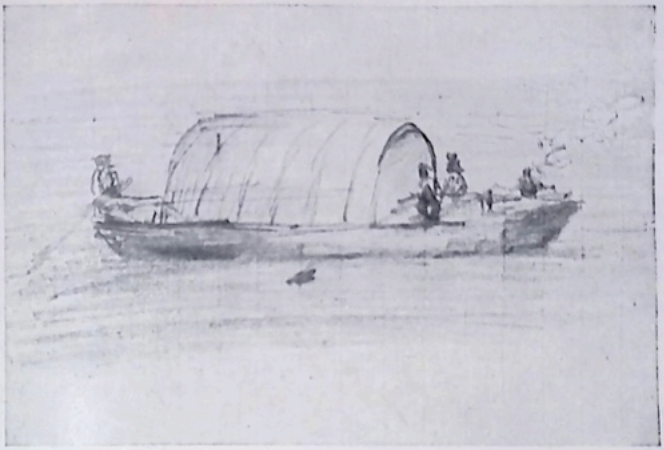
Скрыть, кто я, было не так легко, покуда мы ехали по Забайкалью. Казаки по части проницательности и пытливости заткнут за пояс монголов [57]. Когда чужой приезжает в деревню, хозяин избы, хотя и встречает гостя с большим радушием, тем не менее подвергает его настоящему допросу.

— Однако, дорога трудная, — начинает он. — Далеконько от Читы? («Однако» значит «должно быть»).

— А особливо, если ехать, может быть, не из Читы, а из самого Иркутска?

— Торгуете? Много торговых людей проезжает здесь. Однако, и до Нерчинского доедете? В ваши годы тоже женаты бывают. Хозяйка, пожалуй, осталась дома? Деток тоже имеете? Тоже, поди, не все парнишки: и дочки есть?

И так — добрых полчаса. Командир местной казачьей бригады, капитан Букегевден, отлично знал своих казаков, и мы приняли предосторожности в Чите и Иркутске мы часто устраивали любительские спектакли и ставили пьесы Островского. Я в них играл несколько раз, притом с таким увлечением, что написал даже раз брату восторженное письмо,



Путешествие П. А. Кропоткина по Амуру
Рисунок карандашом П. А. Кропоткина

По Амуру в почтовой лодке
Рисунок карандашом П. А. Кропоткина

в котором сообщал свое решительное намерение бросить службу и пойти в актеры. Большею частью я играл молодых купчиков и поэтому хорошо изучил их манеру говорить и ухватки, в том числе, конечно, чаепитие с блюдечка (что постиг еще в Никольском). Теперь выпадал случай сыграть купца не на сцене, а в жизни.

— Присаживайтесь, Петр Алексеевич, — говорил мне капитан Буксгевден, когда на столе почтовой станции в станице появлялся пыхтевший самовар.

— Покорно благодарим-с, и здесь посидим! — говорил я, садясь вдали на кончик стула и принимаясь пить чай совсем по-московски. Буксгевден надрывался от смеха, глядя, как я, выпучив глаза, дул на блюдечко и грыз кусочек сахару, с которым выпивал три-четыре стакана.

Мы знали, что казаки скоро все проведают; но самое важное было выиграть несколько дней, чтобы переправиться через границу, покуда не станет известно, кто я. Повидимому, я играл мою роль удачно, потому что казаки принимали меня всюду за мелкого торговца. В одной из станиц старуха-хозяйка окликнула меня.

— За тобой едет кто-нибудь еще? — спросила она.

— Не слыхал, бабушка.

— Как же, сказывали, какой-то князь Рапотский, что ли, должен проехать. Будет он, нет ли?

— Да, точно, бабушка, — отвечал я. — Их сиятельство, действительно, хотели приехать из Иркутска. Ну да где же им в такую погоду! Так они и остались в городе.

— Что и говорить, где уж ему ехать!

Короче сказать, мы беспрепятственно переехали через границу. Нас было, кроме меня, одиннадцать казаков да один тунгуз, все верхами. Мы гнали на продажу косяк в сорок лошадей и имели две повозки, из которых одна одноколка принадлежала мне. В ней я вез на продажу сукно, плис, позументы и тому подобные товары. С конем и одноколкой справлялся я совершенно один. Мы выбрали старшиной каравана одного казака для дипломатических переговоров с китайскими властями. Все казаки говорили по-монгольски, а тунгуз понимал по-маньчжурски. Казаки, конечно, знали, кто я; один из них видел меня в Иркутске; но никто не выдал меня, так как все понимали, что от молчания зависит успех предприятия. На мне был такой же синий бумажный халат, как и на остальных казаках, и китайцы до такой степени не замечали меня, что я мог свободно делать съемку при помощи бусоли. Только в первый день, когда нас осаждали всякого рода китайские солдаты в надежде получить еще чашку водки, я должен был украдкой справляться с бусолью и записывал засечки и расстояние в кармане, не вынимая бумаги. Мы совсем не имели при себе оружия. Один только тунгуз, который собирался жениться, вез с собою фитильное — даже не кремневое — оружие, и из него он убивал косуль, шкуры которых припасал, чтобы уплатить калым; а мясо мы съедали.

Когда китайские солдаты убедились, что больше водки не получат, они оставили нас одних. И мы пошли на восток, пробираясь, как умели, в горах и долинах. Через четыре или пять дней мы, действительно, вышли на китайскую дорогу, которая должна была нас привести через Хинган в Мерген.

К великому удивлению, перевал через горный хребет, который кажется на карте таким грозным и страшным, в сущности, оказался очень легок. Мы нагнали по дороге крайне жалкого на вид, старого китайского чиновника, ехавшего в одноколке. Он медленно плелся впереди нашего каравана. По характеру местности видно было, что мы поднялись на большую высоту. Почва стала болотистой, а дорога грязной. Виднелась лишь скудная трава, деревья встречались тонкие, малорослые, часто искривленные и покрытые лишаями. Справа и слева поднимались гольцы. Мы уже думали о тех трудностях, которые встретим при перевале через хребет, когда увидали, что старый китайский чиновник остановился и вылез из своей таратайки у обо (кучи камней и ветвей, к которым привязаны конские волосы и тряпочки). Он выдернул несколько волос из гривы своего коня и навязывал их на ветвь.

— Что это такое? — спросили мы.

— Обо! [88] Отсюда воды текут уже в Амур.

— И это весь Хинган?

— Да весь. До самого Амура нет более гор. Дорога идет в долинах между горами.

Сильное волнение охватило весь наш караван.

— Отсюда реки текут уже в Амур! В Амур! — восклицали казаки. Постоянно они слышали от стариков рассказы про великую реку, по берегам которой растет в диком виде виноград и тянутся на сотни верст степи, могущие дать богатство миллионам людей. Когда реку присоединили к России, казаки слышали про далекий путь до нее, про затруднения первых засельщиков и про благосостояние родственников, поселившихся в верховьях Амура. И теперь мы нашли к его берегам короткий путь! Перед нами был крутой спуск, и дорога вниз шла зигзагами до небольшой речки, которая пробивалась по довольно широкой долине среди застывшего моря гор и текла в Нонни. До Амура больше не было препятствий: Хинган, в сущности, не горный хребет, а окраинный хребет высокого плоскогория.

Всякий путешественник легко представит себе мой восторг при виде этого неожиданного географического открытия. Что касается казаков, то они спешились и в свою очередь привязывали к ветвям о б о по пучку волос, выдернутых из конских грив. Сибиряки вообще побаиваются языческих богов. Они не очень высоко ставят их, но так как считают их способными на всякую пакость, то предпочитают лучше не ссориться с ними. Отчего не подкупить их небольшим знаком внимания?

— Глядите, что за странное дерево: дуб, должно быть! — восклицали казаки, когда мы спускались с плоскогория.

Дуб в Сибири не растет и встречается лишь на восточном склоне высокого плоскогория.

— Глядите, орешник! — говорили казаки дальше. — А это что за дерево? — спрашивали они при виде липы или же других деревьев, не растущих в Сибири, но составляющих часть маньчжурской флоры. Северяне, много лет мечтающие про теплый край, были теперь в восторге. Лежа на земле, покрытой роскошной травой, они жадно вглядывались в нее и казалось вот-вот примутся целовать ее. Теперь казаки горели нетерпением как можно скорее добраться до Амура. Когда мы, две недели спустя, заночевали в последний раз в тридцати верстах от реки, они стали нетерпе-

ливы, как дети, начали седлать коней вскоре после полуночи и убедили меня тронуться в путь задолго до рассвета. Когда же, наконец, с гребня холма мы увидели синие воды Амура, то в глазах бесстрастных сибиряков, которым вообще чуждо поэтическое чувство, загорелся восторг. Тогда мне ясно стало, что рано или поздно, при поддержке русского правительства или без нее оба берега Амура, покуда пустынные, но удобные для колонистов, заселятся русскими. Таким же образом канадские путешественники-исследователи заселили берега Миссисипи.

Между тем полусленой китайский чиновник, с которым мы вместе переваливали через Хинган, облачился в свой синий халат и в форменную шапку, с стеклянным шариком на ней, и на другой день утром объявил нам, что не позволит итти дальше. Наш старшина принял чиновника и его писаря в палатке. Старик выставлял различные доводы против нашего дальнейшего путешествия, повторяя то, что нашептывал ему «божко» (писарь). Он желал, чтобы мы стали лагерем и ждали, покуда он пошлет наш паспорт в Пекин и получит оттуда распоряжение. Мы наотрез отказались. Тогда старик стал придираться к нашему паспорту.

— Что это за паспорт? — говорил он, глядя с презрением на несколько строк, по-русски и по-монгольски написанных на обыкновенном листе писчей бумаги и скрепленных сургучной печатью. — Вы сами могли написать его и припечатать пятаком. Вы взгляните на мой паспорт. Это стоит посмотреть! Он развернул пред нами лист, в два фута длиной, весь исписанный китайскими знаками.

Я спокойно сидел в стороне во время совещания и укладывал что-то в сундуке, когда мне попался нумер Московских Ведомостей, на которых, как известно, помещается государственный герб.

— Покажи ему, — сказал я старшине.

Он развернул громадный лист и показал на орла:

— Неужто тут все про вас написано? — с ужасом спросил старик.

— Да, все про нас, — ответил, не моргнув даже глазом, наш старшина.

Старик, как настоящая приказная крыса, был совершенно ошеломлен такой массой письма. Покачивая головой, он поглядывал одобрительно на каждого из нас. Но «божко» опять что-то зашептал, и чиновник, в конце концов, заявил, что не позволит нам итти дальше.

— Довольно разговаривать, — сказал я старшине, — вели седлать коней.

Того же мнения были и казаки, и наш караван тронулся в путь. Мы распрощались с стариком, обещая ему донести по начальству, что он употребил все меры, чтобы не дать нам вступить в Маньчжурию; и если мы все-таки вступили, то виноваты уже мы сами.

Через несколько дней после этого мы были в Мергене, где торговали немного, и вскоре добрались до китайского города Айгунь, на правом берегу Амура, немного ниже Благовещенска. Таким образом, мы открыли прямой путь и, кроме того, еще несколько интересных вещей: характер окраинного хребта в большом Хингане, легкость перевала, третичные вулканы округа Уйюн Холдонзи, долго составлявшие для географов загадку, и так далее. Теперь другие путешественники уже подтвердили наше открытие, а из Старо-Цурухайтуя, через Хинган, пересекая его недалеко от того места, где мы спустились с высокого плоскогорья, идет большая железная дорога к Великому океану. Не могу сказать, чтобы я проявил

большие коммерческие таланты: в Мергене, например, я упорно запрашивал (на ломаном маньчжурском языке) за часы тридцать пять рублей, тогда как китаец давал за них сорок пять, но казаки расторговались отлично. Они продали с большой выгодой всех своих лошадей. А когда были проданы ими и мои два коня, товары и палатка, то оказалось, что экспедиция обошлась правительству всего в двадцать два рубля [89].

VI

Все это лето я путешествовал по Амуру. Я спустился до самого устья реки или точнее до лимана, до Николаевска, и здесь встретился с генерал-губернатором, которого сопровождал на пароходе вверх по Уссури. А осенью того же года я сделал еще более интересное путешествие по Сунгари, до самого сердца Маньчжурии, вплоть до Гирина [90].

Многие реки в Азии образуются из слияния двух одинаково мощных потоков, так что географу трудно определить, какую реку следует считать главной и какую — притоком. Слияние Ингоды с Ононом образует Шилку, Шилка и Аргунь составляют Амур, а Амур, слившись с Сунгари, становится той громадной рекой, которая поворачивается на северо-восток и впадает в Тихий океан под суровыми широтами Татарского пролива.

До 1864 года великую маньчжурскую реку знали очень мало. Все скудные сведения о ней восходили ко времени иезуитов.

Теперь, когда имелся в виду ряд исследований в Монголии и Маньчжурии, и когда страх, внушаемый России Китаем, начинал рассеиваться, мы, молодежь, настойчиво убеждали генерал-губернатора в необходимости исследовать Сунгари. Нам казалось почти обидой то, что у порога, так сказать, Амура лежит громадный край, так же мало известный, как какая-нибудь африканская пустыня. И вот генерал Корсаков решил послать пароход вверх по Сунгари, под предлогом отвезти дружеское письмо к генерал-губернатору Гиринской провинции. Послание должен был везти наш ургинский консул Шишмарев, и в состав экспедиции вошли: доктор Конради, астроном Усольцев, два топографа и я. Мы находились под начальством полковника Черняева. Нам дали маленький пароход «Уссури», который тащил на буксире баржу с углем, и с нами ехали на барже двадцать пять солдат, ружья которых тщательно спрятали под углем.

Все было устроено очень поспешно. На пароходе не было никаких приспособлений для нас, но мы все горели энтузиазмом и потому охотно поместились, как попало, в тесных каютах: один из нас должен был спать на столе. Когда мы тронулись, то оказалось, что нет даже вилок и ножей для всех, не говоря уже о других принадлежностях. Один из нас поэтому за обедом пользовался своим перочинным ножом; а мой китайский нож с двумя палочками вместо вилки явился желанным пополнением нашего хозяйства.

Плаванье вверх по Сунгари не особенно легко. В своем нижнем течении великая река проходит по такой же низменности, как Амур, и так мелка, что хотя наш пароходик сидел в воде на три фута, мы не всегда могли найти достаточно глубокого фарватера. Бывали дни, когда мы проходили всего 60 верст и беспрестанно слышали, как скрипел песок под килем.

То и дело приходилось посылать лодку, чтобы расследовать путь. Но наш молодой капитан решил добраться до Гирина непременно раньше конца осени, и мы подвигались каждый день. Чем дальше мы шли, тем река становилась красивее и удобнее для плавания. Когда же мы оставили позади себя песчаные пустыни при слиянии Сунгари с Нонни, подвигаться стало легко и приятно. Таким образом мы добрались через несколько недель до главного города этой провинции Маньчжурии. Капитан Васильев и его товарищ Андреев сняли великолепную карту реки. К сожалению, время не терпело, и мы лишь изредка приставали у какого-нибудь города или деревни. Поселения вдоль берегов реки — редки. В нижнем течении мы видели лишь низины, заливаемые ежегодно во время половодья; несколько дальше на сотни верст вдоль берегов тянутся песчаные дюны, и только в верхней части Сунгари, ближе к Гирину, берега густо населены.

Если бы нашей целью было завязать дружеские сношения с Маньчжурией, а не попросту исследовать Сунгари, то поездку следовало бы считать совершенно неудавшейся. У маньчжурских властей свежо было в памяти, как восемь лет тому назад «посещение» Муравьева окончилось присоединением Амура и Уссури; а потому к нежданным и незванным гостям китайцы отнеслись очень подозрительно. Двадцать пять винтовок под углем, о которых китайским властям, конечно, донесено было раньше, чем мы тронулись в путь, усиливали подозрительность. А потому, когда наш пароход бросил якорь у многолюдного Гирина, все купцы в городе оказались вооруженными заржавленными саблями из старого арсенала. Нам, однако, не препятствовали ходить по улицам; но как только мы высаживались, все лавки запирали. Купцам запретили что-либо продавать нам. Власти прислали нам на пароход кое-какую провизию, но как подарок, отказавшись принять деньги.

Наступала уже поздняя осень. Начались заморозки, и нужно было торопиться в обратный путь, так как мы не могли зимовать на Сунгари. Таким образом, мы видели Гирин, но говорили лишь с двумя переводчиками, являвшимися ежедневно на пароход. Цель путешествия, однако, была достигнута: мы убедились, что река судоходна и сняли подробную карту Сунгари от устья до Гирина. Руководствуясь ею, мы могли итти теперь полным ходом, без приключений. Раз, однако, мы сели на мель. Гиринские власти, больше всего боявшиеся, чтобы мы не зазимовали на реке, сейчас же прислали нам на помощь двести китайцев, и нам удалось сняться. Когда сотня китайцев стояла в воде, безуспешно работая стягами, чтобы сдвинуть пароход, я соскочил в воду, схватил стяг и запел «Дубинушку», чтобы под ее звуки разом толкать пароход. Китайцам это очень понравилось, и при неописуемых криках их тонких голосов пароход, наконец, тронулся и сошел с мели. Это маленькое приключение установило между нами и китайцами самые лучшие отношения. Я говорю, конечно, о народе, который, повидимому, очень не любит дерзких маньчжурских властей.

Мы останавливались у нескольких китайских деревень, населенных ссыльными из Небесной империи, и всюду нас принимали очень дружелюбно. Остался у меня в памяти, в особенности, один вечер. Мы остановились у одной живописной деревеньки, когда сумерки уже сгущались. Некоторые из нас сошли на берег и отправились бродить по деревне.

Вскоре меня окружила толпа, не менее чем в сотню китайцев. Хотя я не знал ни слова по-китайски, а они столько же по-русски, но мы оживленно и дружелюбно болтали (если только это слово применимо здесь) при помощи знаков и отлично понимали друг друга. Решительно все народы понимают, что значит, если дружелюбно потрепать по плечу. Предложить друг другу табачок или огонька, чтобы закурить, тоже очень понятное выражение дружеского чувства. Одна вещь в особенности, повидимому, интересовала китайцев: почему у меня борода, хотя я такой молодой? Им позволяется отращивать растительность на подбородке только когда стукнет шестьдесят лет. Я объяснил своим «собеседникам» знаками, что в случае крайности, могу питаться бородой, если нечего будет есть. Шутка была понята и немедленно передана от одного к другому. Китайцы заливались от смеха и еще более дружелюбно принялись трепать меня по плечу. Они водили меня к себе, показывали дома, каждый предлагал свою трубку, а затем вся толпа дружески проводила меня до парохода. Должен прибавить, что в этой деревне не было и следа «божко» (полицейского). В других деревнях как наши солдаты, так и мы всегда завязывали дружелюбные сношения с китайцами; но чуть только показывался «божко», все дело портилось. Зато нужно было видеть, какие рожи они ему строили за спиной! Повидимому, китайцы ненавидели этого представителя предержащей власти.

Про эту экспедицию потом забыли. Астроном Ф. Усольцев и я, мы напечатали отчеты о поездке в «Записках» Восточно-Сибирского Отдела Географического Общества; но через несколько лет, во время страшного пожара в Иркутске, погибли все оставшиеся экземпляры «Записок», а также карта Сунгари. И только в последнее время, когда начались работы по маньчжурской железной дороге, русские географы откопали наши отчеты и нашли, что Сунгари была исследована еще тридцать лет тому назад.

Так как с реформами покончили, то я пытался сделать все, что возможно было при наличных условиях в других областях; но я скоро убедился в бесполезности всяких усилий. Так, например, как чиновник особых поручений при генерал-губернаторе по казачьим делам, я сделал тщательное исследование хозяйственного положения уссурийских казаков, терпевших недород каждый год, так что правительство должно было кормить их всю зиму, чтобы избавить от голодной смерти. Когда я возвратился в Уссури с моим докладом, то получил поздравления со всех сторон; я был произведен, мне дали специальную награду. Все меры, указанные мною, были приняты. По моему совету некоторым станицам помогли деньгами, другим — скотом, а третьи выселили на лучшие места, на побережье Тихого океана. Но практическое выполнение намеченных мер поручили старому пьянице, который розгами приучал казаков к земледелию. И так дело шло всюду, начиная от Зимнего дворца до Уссурийского края и Камчатки.

Высшая сибирская администрация имела самые лучшие намерения; опять повторяю, состояла она, во всяком случае, из людей гораздо лучших, гораздо более развитых и более заботившихся о благе края, чем остальные власти в России. Но все же то была администрация — ветвь дерева, державшегося своими корнями в Петербурге. И этого вполне было достаточно, чтобы парализовать все благие намерения и мешать

местным самородным проявлениям общественной жизни и прогресса. Если местные жители задумывали что-нибудь для блага края, на это смотрели подозрительно, с недоверием. Попытка немедленно парализовалась, не столько вследствие дурных намерений (вообще, я заметил, что люди лучше, чем учреждения), но просто потому, что сибирские власти принадлежали к пирамидальной, централизованной администрации. Уже один тот факт, что они были ветвью правительственного дерева, коренившегося в далекой столице, заставлял сибирские власти смотреть на все прежде всего с чиновничьей точки зрения. Раньше всего возникал у них вопрос не о том, насколько то или другое полезно для края, а о том, что скажет начальство т а м, как взглянут на это начинание заправляющие правительственной машиной?

Постепенно я все более стал отдаваться научным исследованиям. В 1865 году я исследовал Западные Саяны. Здесь у меня прибавилось еще несколько новых данных для построения схемы орографии Сибири, и я также нашел другую важную вулканическую область на границе Китая, к югу от Окинского караула [91]. Наконец, в 1866 году я предпринял далекое путешествие, чтобы открыть прямой путь из Забайкалья на Витимские и Олекминские золотые прииски. В продолжение нескольких лет (1860—1864) члены Сибирской экспедиции пытались найти этот путь и пробовали пробраться через параллельные ряды диких, каменных хребтов, отделяющих золотые промыслы от Забэйкальской области. Но когда исследователи подходили с юга к этим страшным горам, заполняющим страну к северу на несколько сот верст в ширину, все они (кроме одного, убитого инородцами) возвращались назад.

Ясно было, что попытку надо сделать с севера на юг — из страшной, неизвестной пустыни в более теплый и населенный край, и я так и решил сделать, т. е. плыть вниз по Лене до приисков и оттуда снарядить экспедицию на юг. Когда я готовился к экспедиции, мне попалась среди другого материала, собранного на Олекминских приисках М. В. Рухловым, — он же и задумал эту экспедицию, — небольшая карта, вырезанная тунгусом ножом на куске бересты. Эта берестяная карта (она, между прочим, является отличным примером полезности геометрической способности даже для первобытного человека и могла бы поэтому заинтересовать А. Р. Уоллэса) [92] так поразила меня своею очевидною правдоподобностью, что я вполне доверился ей и выбрал путь, обозначенный на ней, от Витима к устью большой реки Муи.

Вместе с молодым, талантливым зоологом И. С. Поляковым [93] и топографом П. Н. Мошинским мы сначала спустились по Лене и затем проехали горною тропою к Олекминским приискам. Там мы снарядили экспедицию, забрали с собой провизии на три месяца и тронулись на юг. Старый промышленник-якут, который двадцать лет тому назад прошел путем, указанным тунгусом на бересте, взялся быть нашим проводником через горы, занимавшие почти четыреста верст в ширину, следуя долинами рек и ущельями, отмеченными на карте. Он действительно выполнил этот удивительный подвиг, хотя в горах не было положительно никакой тропы. Все заросшие лесом долины, которые открывались с вершины каждого перевала, неопытному глазу казались совершенно одинаковыми, а между тем якут каким-то чутьем угадывал, в которую из них нужно было спуститься. Так мы достигли до устья реки Муи, откуда, перева-

ливши еще через один высокий хребет (очень похожий на Саянский хребет), путь лежал уже по плоскогорью.

На этот раз мы нашли путь с Олекминских приисков в Забайкалье. Три месяца мы странствовали по почти совершенно безлюдной горной стране и по болотистому плоскогорью, пока, наконец, добрались до цели наших странствований, до Читы. Найденным нами путем теперь гоняют скот с юга на прииски. Что касается до меня, то это путешествие значительно помогло мне впоследствии найти ключ к общему строению сибирских гор и плоскогорий. Но я не пишу книги о путешествиях, а потому должен ограничиться этими замечаниями о моих разведках по Сибири [24].

Годы, которые я провел в Сибири, научили меня многому, чему я вряд ли мог бы научиться в другом месте. Я быстро понял, что для народа решительно невозможно сделать ничего полезного при помощи административной машины. С этой иллюзией я распростился навсегда.

Затем я стал понимать не только людей и человеческий характер, но также скрытые пружины общественной жизни. Я ясно сознал созидательную работу неведомых масс, о которой редко упоминается в книгах, и понял значение этой построительной работы в росте общества. Я видел, например, как духоборы переселялись на Амур; видел, сколько выгод давала им их полу-коммунистическая жизнь, и как удивительно устроились они там, где другие переселенцы терпели неудачу; и это научило меня многому, чему бы я не мог научиться из книг. Я жил также среди бродячих инородцев и видел, какой сложный общественный строй выработали они, помимо всякого влияния цивилизации. Эти факты помогли мне впоследствии понять то, что я узнавал из чтения по антропологии. Путем прямого наблюдения я понял роль, которую неизвестные массы играют в крупных исторических событиях — переселениях, войнах, выработке форм общественной жизни. И я пришел к таким же мыслям о вождях и толпе, которые высказывает Л. Н. Толстой в своем великом произведении «Война и мир».

Воспитанный в помещичьей семье я, как все молодые люди моего времени, вступил в жизнь с искренним убеждением в том, что нужно командовать, приказывать, распекать, наказывать и тому подобное. Но как только мне пришлось выполнять ответственные предприятия и входить для этого в сношения с людьми, причем каждая ошибка имела бы очень серьезные последствия, я понял разницу между действием на принципах дисциплины или же на началах взаимного понимания. Дисциплина хороша на военных парадах, но ничего не стоит в действительной жизни, там, где результат может быть достигнут лишь сильным напряжением воли всех, направленной к общей цели. Хотя я тогда еще не формулировал моих мыслей словами, заимствованными из боевых кличей политических партий, я все-таки могу сказать теперь, что в Сибири я утратил всякую веру в государственную дисциплину: я был подготовлен к тому, чтобы сделаться анархистом.

На множестве примеров я видел всю разницу между начальническим отношением к делу и «мирским» — общественным и видел результаты обоих этих отношений. И я на деле приучался самой жизнью к этому «мирскому» отношению и видел, как такое отношение ведет к успеху.

В возрасте от девятнадцати до двадцати пяти лет я вырабатывал всякие планы реформ, имел дело с сотнями людей на Амуре, подготовлял и выполнял рискованные экспедиции с ничтожными средствами. И если эти предприятия более или менее удавались, то объясняю я это только тем, что скоро понял, что в серьезных делах командованием и дисциплиной немногого достигнешь. Люди личного почина нужны везде: но раз толчок дан, дело, в особенности у нас в России, должно выполняться не на военный лад, а скорее мирским порядком, путем общего согласия. Хорошо было бы, если бы все господа, строящие планы государственной дисциплины, прежде чем расписывать свои утопии, прошли бы школу действительной жизни. Тогда меньше было бы проектов постройки будущего общества по военному — пирамидальному образцу.

При всем том жизнь в Сибири становилась для меня все менее и менее привлекательной, хотя мой брат и жил теперь со мной в Иркутске, где он командовал казачьей сотней. Мы были счастливы вместе, читали много и обсуждали все философские, научные и социалистические вопросы дня; но оба мы жаждали умственной жизни, которой не было в Сибири. Великим событием для нас был проезд через Иркутск американского геолога Рафаэля Пумпэлли [95] и известного немецкого антрополога Адольфа Бастиана [96]. Но они пробыли с нами несколько дней и умчались туда, на Запад. Нас привлекала научная, а в особенности политическая жизнь Западной Европы, которую мы знали по газетам. И в наших разговорах мы постоянно поднимали вопрос о возвращении в Россию. В конце концов, восстание польских ссыльных в Сибири в 1866 году открыло нам глаза и показало то фальшивое положение, которое мы оба занимали как офицеры русской армии.

VII

Я был тогда далеко, в Витимских горах, когда ссыльные поляки, работавшие на кругобайкальской дороге, сделали отчаянную попытку сбросить оковы и пробраться в Китай через Монголию. Против них послали войска, и один русский офицер был убит повстанцами. Я узнал подробности этого восстания, когда возвратился в Иркутск, где около пятидесяти поляков должны были судиться военным судом; а так как заседания военных судов в России бывают открытыми, то я присутствовал все время и записывал речи. Я составил подробный отчет, который и был к великому неудовольствию генерал-губернатора помещен целиком в Биржевых Ведомостях за 1866 год (другой отчет, составленный Вагиным, был помещен в Петербургских Ведомостях) [97].

После восстания 1863 года в одну Восточную Сибирь прислали одиннадцать тысяч мужчин и женщин, главным образом, студентов, художников, бывших офицеров, помещиков и, в особенности, искусных ремесленников — лучших представителей варшавского пролетариата. Большую часть их послали в каторжные работы, остальных же поселили в деревнях, где они не находили работы и почти умирали с голода. Каторжники-поляки работали или в Чите, где они строили баржи (то были наиболее счастливые), или на казенных чугунолитейных заводах, или на соляных варницах. Я видел последних в Усть-Куте на Лене. Полуголые,

они стояли в балагане вокруг громадного котла и мешали кипевший густой рассол длинными веслами. В балагане жара была адская; но через широкие раскрытые двери дул леденящий сквозняк, чтобы помогать испарению рассола. В два года работы при подобных условиях мученики умирали от чахотки.

Впоследствии значительное число ссыльных поляков поставили на постройку кругобайкальской дороги. Байкал, как известно, длинное и узкое альпийское озеро, окруженное живописными горами от трех до пяти тысяч футов высоты, которое отделяет Иркутскую губернию от Забайкалья и Амурской области. Зимой переправляются по льду, а летом — на пароходах. Но весной и осенью добраться до Читы и до Кяхты можно было только окружной горной тропой, по старой кругобайкальской дороге, пересекая хребты в семь-восемь тысяч футов высоты. Я раз проехал этой дорогой и, конечно, глубоко наслаждался великолепною панорамою гор, покрытых в мае толстым слоем снега. Но в общем дорога была ужасна. Тракт идет у подножья высоких гор, круто спускающихся к озеру и покрытых снизу доверху первобытным лесом. Ущелья и потоки на каждом шагу пересекают дорогу. Двенадцать верст перевала через хребет Хамар-Дабан заняли у меня семнадцать часов, от трех утра до восьми вечера. Лошади наши постоянно проваливались в рыхлый снег и погружались вместе с всадниками в ледяные потоки, текущие под снежной покров. В конце концов, решено было проложить постоянную тележную дорогу вдоль самого берега озера, взрывая порохом отвесные скалы и перекидывая мосты через бесчисленные горные потоки. Эту трудную работу выполняли польские ссыльные.

За последние сто лет в Сибирь было послано не мало русских политических ссыльных, но по характерной русской черте они подчинялись своей участи и никогда не восставали. Они давали убивать себя медленной смертью и не пытались даже освободиться. Поляки же, к чести их будь сказано, никогда не несли своего жребия с такою покорностью. На этот раз они устроили настоящее восстание. Конечно, шансов на успех у них не было никаких, но они, тем не менее, восстали. Впереди их было громадное озеро, а позади их возвышались горные пустыни Северной Монголии. Они решили поэтому обезоружить карауливших их солдат, выковать страшное оружие повстанцев — косы и пробиться через горы Монголии к морю, в Китай, где их могли бы принять английские корабли. И вот раз в Иркутск пришло известие, что часть поляков, работавших на кругобайкальской дороге, возмутилась и обезоружила около дюжины солдат. Против них могли отправить из Иркутска отряд пехоты, всего в восемьдесят человек. Переправившись через Байкал на пароходе, солдаты пошли против повстанцев, находившихся на другом берегу озера.

Зима 1866 года в Иркутске была особенно скучная. В столице Восточной Сибири не наблюдалось такого резкого деления на классы, как в остальных русских провинциальных городах. Иркутское «общество» состояло из офицеров, чиновников, жен и дочерей местных купцов и священников. Зимой они все встречались по четвергам в собрании. В том году, однако, не чувствовалось оживления на вечерах. Любители драматического искусства тоже терпели неудачи. Даже картежная игра обыкновенно процветающая в Сибири, и та шла вяло в эту зиму. Среди офицеров чувствовался недостаток вденьгах, и даже приезд нескольких

горных инженеров не ознаменовался грудами бумажек, являвшимися прежде так кстати для рыцарей зеленого поля.

Сезон решительно был скучный: настоящий сезон для спиритических опытов и говорящих столов. Один господин, баловень иркутского общества, который в предыдущую зиму забавлял всех рассказами из народной жизни, принялся теперь за стучащие столы, когда увидал что его анекдоты потеряли прежний интерес. Он был ловкий человек, и через неделю весь Иркутск помешался на таких «опытах». Новая жизнь открылась для тех, которые не знали, как убить время. Стучащие столы появились в каждой гостиной. Ухаживание очень удобно уживалось со стуком духов. Поручик Прохоров очень серьезно отнесся и к столам, и к ухаживанию. Быть может, это последнее ему менее удавалось, чем первое. Во всяком случае, когда прибыло известие о польском восстании, он отпросился присоединиться к отряду.

«Иду против поляков, — писал он в своем дневнике, — интересно было бы вернуться легко раненым».

Он был убит. Он гарцовал на коне, рядом с полковником, командовавшим солдатами, когда началась «битва с повстанцами», пышное описание которой можно найти в архивах генерального штаба. Солдаты медленно двигались по дороге, когда встретили около пятидесяти поляков, из которых пять или шесть были вооружены ружьями, а остальные — косами. Поляки засели в лесу и время от времени попаливали. Солдаты отвечали на выстрелы. Прохоров дважды просил у полковника разрешения спешиться и броситься в цепь, так что полковник, в конце концов, сердито приказал поручику оставаться на своем месте. Несмотря на приказ, Прохоров вдруг исчез. В лесу раздалось несколько выстрелов, затем послышались дикие крики. Солдаты бросились по направлению к ним и нашли поручика, плавающего в крови на траве. Поляки выпустили последние заряды и сдались. Битва кончилась; Прохоров лежал мертвым.

Он бросился с револьвером в руках в чащу, где наткнулся на несколько косиньеров, выпустил в них наудачу все свои заряды и ранил одного. Тогда остальные кинулись на Прохорова с косами.

На другом конце дороги, на западном берегу озера, два русских офицера самым позорным образом обошлись с «мирными» поляками, работавшими в этом месте, но не присоединившимися к восстанию. С грубыми ругательствами один из офицеров вбежал в балаган, где жили ссыльные, и стал стрелять по ним из револьвера, причем тяжело ранил двух. Другой привязывал мирных поляков к возам и жестоко расправлялся с ними нагайкой — так себе, для потехи.

По логике сибирских властей выходило, что так как убит русский офицер, то следует казнить несколько поляков. Военный суд приговорил к смертной казни пять человек: Шарамовича, красивого, умного и энергичного тридцатилетнего пианиста, командовавшего восстанием; шестидесятилетнего старика Целинского, бывшего прежде русским офицером, и трех других, фамилий которых я не помню.

Генерал-губернатор телеграфировал в Петербург и просил разрешения смягчить приговор, но ответа не последовало. Он обещал нам не приводить в исполнение смертного приговора; но, прождав несколько дней и не получив ответа из Петербурга, приказал совершить казнь секретно, рано утром. Ответ из Петербурга прибыл почтой, через месяц! Гене-

ралу-губернатору предоставлялось «поступить по собственному благоусмотрению».

Пять человек были уже расстреляны.

Мне часто приходилось слышать, что это восстание было безрассудно; а между тем горсть храбрых повстанцев добилась кое-чего. О бунте стало известно за границей. Казни, жестокость двух офицеров, которая раскрылась на суде, вызвали сильное волнение в Австрии. Австрийское правительство заступилось за галичан, принимавших участие в революции 1863 года и сосланных тогда в Сибирь, и некоторые из них были возвращены на родину. Вообще, вскоре после мятежа 1866 года положение всех ссыльных поляков заметно улучшилось. И этим они обязаны были бунту, — тем, которые взялись за оружие, и тем пяти мужественным людям, которые были расстреляны в Иркутске.

Для меня и для брата восстание послужило уроком. Мы убедились в том, что значит, так или иначе, принадлежать к армии. Я находился далеко, в экспедиции, но Александр был в Иркутске, и его сотню двинули против поляков. К счастью, командир полка, в котором служил брат, хорошо знал его и под каким-то предлогом приказал другому офицеру командовать отрядом. Иначе Александр, конечно отказался бы выступить в поход. Если бы я был тогда в Иркутске, то сделал бы то же самое.

Мы решили расстаться с военной службой и возвратиться в Россию. Сделать это было не особенно легко, в особенности брату, который женился в Сибири, но, в конце концов, все устроилось, и весной 1867 года мы поехали в Петербург.

ПЕТЕРБУРГ. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ

I

В начале осени 1867 года я и брат с семьей поселились в Петербурге. Я поступил в университет и сидел теперь на скамье вместе с юношами, почти мальчиками, гораздо моложе меня. Заветная мечта, которую я так долго лелеял, наконец, осуществилась. Теперь я мог учиться. Я поступил на математическое отделение физико-математического факультета, так как считал, что основательное знание математики — единственный солидный фундамент для всякой дальнейшей работы. Брат поступил в военно-юридическую академию, я же совершенно отказался от военной службы, к великому неудовольствию отца, который не выносил даже вида штатского платья. Чтобы не окончательно огорчать отца, я перешел на гражданскую службу. Но служба эта была совершенно номинальная. Я «состоял» при министерстве внутренних дел по статистическому комитету. Директором комитета был П. П. Семенов.

В Петербурге мы с братом зажили трудовой жизнью. Отец, который и в Сибирь почти ничего не высылал, обрадовался тому, что я ничего не просил у него, и он ничем не выразил своего желания помочь мне материально. Приходилось рассчитывать исключительно на литературный заработок. Я с Сашей стал переводить «Основы биологии» Спенсера, затем «Философию геологии» Пэджа. Я перевел также «Геометрию» Дистервега, а затем стал писать научные фельетоны в «Петербургских Ведомостях» Корша.

Занятия в университете и научные труды поглотили все мое время в течение пяти следующих лет. У студента-математика, конечно, очень много работы, но так как я прежде уже занимался высшей математикой, то теперь мог уделить часть моего времени географии. Кроме того, в Сибири я не утратил способности усиленно работать.

Отчет о моей последней экспедиции печатался; но в это время у меня стали зарождаться географические обобщения, вскоре всецело захватившие меня. Путешествия по Сибири убедили меня, что горные цепи, как они значились тогда на картах, нанесены совершенно фантастически и не дают никакого представления о строении страны. Составители карт не подозревали тогда даже существования обширных плоскогорий, составляющих столь характерную черту Азии. Вместо них обозначали несколько больших горных кряжей. Так, например, в чертежных, несмотря на указание Л. Шварца [95], сочинили восточную часть Станового хребта

в виде громадного червя, ползущего по карте на восток. Этого хребта в действительности, не существует. Истоки рек, текущих с одной стороны в Ледовитый океан, а с другой — в Великий океан, переплетаются на том же плоскогорье и зарождаются в одних и тех же болотах. Но в воображении европейских топографов самые высокие хребты должны находиться на главных водоразделах, и вследствие этого тут изображали высокие цепи гор, которых нет в действительности. Много таких несуществующих хребтов бороздило карту Северной Азии по всем направлениям.

Мое внимание теперь в продолжение нескольких лет было поглощено одним вопросом — открыть руководящие черты строения нагорной Азии и основные законы расположения ее хребтов и плоскогорий. Долгое время меня путали в моих изысканиях прежние карты, а еще больше — обобщения Александра Гумбольдта, который после продолжительного изучения китайских источников покрыл Азию сетью хребтов, идущих по меридианам и параллельным кругам. Но, наконец, я убедился, что даже смелые обобщения Гумбольдта не согласны с действительностью.

Я начал сначала чисто индуктивным путем. Собравши все барометрические наблюдения, сделанные прежними путешественниками, я на основании их вычислил сотни высот. Затем я нанес на большую карту Шварца все геологические и физические наблюдения путешественников, отмечая факты, а не гипотезы. На основании этого материала я попытался выяснить, какое расположение хребтов и плоскогорий наиболее согласуется с установленными фактами. Эта подготовительная работа заняла у меня более двух лет. Затем последовали месяцы упорной мысли, чтобы разобраться в хаосе отдельных наблюдений. Наконец, все разом внезапно осветилось и стало ясно и понятно. Основные хребты Азии тянутся не с севера на юг и не с запада на восток, а с юго-запада на северо-восток, точно так же, как Скалистые горы и нагорья Северной Америки тянутся с северо-запада к юго-востоку. Одни только второстепенные хребты убегают на северо-запад. Далее, горы Азии отнюдь не ряды самостоятельных хребтов, как Альпы, но окаймляют громадное плоскогорье — бывший материк, который направлялся когда-то от Гималаев к Берингову проливу [99]. Высокие окраинные хребты вырастали вдоль его берегов, и с течением времени террасы, образованные позднейшими осадками, поднимались из моря, увеличивая основной материк Азии в ширину.

В человеческой жизни мало таких радостных моментов, которые могут сравниться с внезапным зарождением обобщения, освещающего ум после долгих и терпеливых изысканий. То, что в течение целого ряда лет казалось хаотическим, противоречивым и загадочным, сразу принимает определенную, гармоническую форму. Из дикого смешения фактов, из-за тумана догадок, опровергаемых, едва лишь они успеют зародиться, возникает величественная картина, подобно альпийской цепи, выступающей во всем своем великолепии из-за скрывавших ее облаков и сверкающей на солнце во всей простоте и многообразии, во всем величии и красоте. А когда обобщение подвергается проверке, применяя его ко множеству отдельных фактов, казавшихся до того безнадежно противоречивыми, каждый из них сразу занимает свое положение и только усиливает впечатление, производимое общей картиной. Одни факты оттеняют некоторые характерные черты, другие раскрывают неожиданные подробности, полные глубокого значения. Обобщение крепнет и расширяется. А дальше,

сквозь туманную дымку, окутывающую горизонт, глаз открывает очертание новых и еще более широких обобщений.

Кто испытал раз в жизни восторг научного творчества, тот никогда не забудет этого блаженного мгновения. Он будет жаждать повторения. Ему досадно будет, что подобное счастье выпадает на долю немногим, тогда как оно всем могло бы быть доступно в той или другой мере, если бы знание и досуг были достоянием всех.

Эту работу я считаю моим главным вкладом в науку. Вначале я намеревался написать объемистую книгу, в которой мои взгляды на орографию Сибири подтверждались бы подробным разбором каждого отдельного хребта; но когда, в 1873 году, я увидал, что меня скоро арестуют, я ограничился тем, что составил карту, содержащую мои взгляды, и приложил объяснительный очерк [100]. И карта, и очерк были изданы Географическим Обществом под наблюдением брата, когда я уже сидел в Петропавловской крепости. Петерман [101], составлявший тогда свою карту Азии и знавший мои предварительные работы, принял мою схему для атласа Штиллера и своего карманного маленького атласа, где орография так превосходно была выражена гравюрою на стали. Впоследствии ее приняло большинство картографов.

Карта Азии, как она составляется теперь, я думаю, объясняет главные физические черты громадного материка, распределение климатов, фауны, флоры, а также и историю его. Она показывает также, как я мог убедиться во время моего путешествия в Америку, поразительную аналогию в структуре и в геологическом росте обоих материков северного полушария *.

II

В то же время, как секретарь отделения физической географии, я много работал для Географического Общества [102]. Тогда сильно интересовались исследованиями Туркестана и Памира. Северцов [103] только что возвратился из путешествия, продолжавшегося несколько лет. Он был выдающийся зоолог, талантливый географ и один из самых умных людей, которых я когда-либо встречал; но, как многие русские, Северцов не любил писать. Когда он делал доклад, его невозможно было убедить написать что-нибудь, кроме коротенького отчета. И вот почему все, что появилось в печати за подписью Северцова, далеко не исчерпывает всех его наблюдений и обобщений. К сожалению, крайняя неохота излагать письменно свои мысли и наблюдения очень распространена в России. Те замечания, которые при мне делал Северцов об орографии Туркестана, географическом распределении растений и животных, роли ублюдков (гибридов) в зарождении новых видов птиц, а также его наблюдения относительно важности взаимной поддержки в прогрессивном развитии видов (эти наблюдения упоминаются в нескольких строках в отчете заседания), все свидетельствует о недюжинном таланте и об оригинальности. Но Северцов не обладал даром письменно излагать свои мысли

* Увы! — в атласе Штиллера опять взяли верх карты Сибири и Маньчжурии, где орография взята вовсе *не из новых съемок* (их не было), а из фантастических изображений древних китайских карт, переделанных наугад иркутскими топографами. На это уже было указано во Франции. *П. К. (декабрь 1917 года).*

в соответственно красивой форме, который сделал бы его одним из наиболее выдающихся ученых нашего времени.

Миклуха-Маклай [104], хорошо известный в Австралии, ставшей потом его второй родиной, тоже принадлежал к той же категории людей, которые могли бы сказать гораздо больше, чем высказали в печати. Он был маленький, нервный человек, постоянно страдавший лихорадкой. Когда я познакомился с ним, он только что возвратился с берегов Красного моря, где, как последователь Геккеля, много работал над изучением морских беспозвоночных в их естественной среде. Географическому Обществу потом удалось выхлопотать, чтобы русский клипер отвез Миклуху-Маклая на неизвестный берег Новой Гвинеи, где путешественник хотел изучать дикарей самой низкой культуры. С одним лишь матросом его оставили, выстроив близ туземной деревни хижину для обоих робинзонов на негостеприимном берегу, население которого слыло страшными людоедами. Здесь они вдвоем прожили полтора года в самых дружественных отношениях с туземцами. Миклуха-Маклай поставил себе правилом, которому неуклонно следовал — быть всегда прямым с дикарями и никогда их не обманывать даже в мелочах, даже для научных целей. Когда он впоследствии путешествовал по Малайскому архипелагу, к нему на службу поступил туземец, выговоривший, чтобы его никогда не фотографировали, — как известно, дикари считают, что вместе с фотографией берется некоторая часть их самих. И вот однажды, когда дикарь крепко спал, Маклаю, собиравшему антропологические материалы, страшно захотелось сфотографировать своего слугу, так как он мог служить типичным представителем своего племени. Дикарь, конечно, никогда бы не узнал про фотографию, но Маклай вспомнил свой уговор и устоял перед искушением. Эта мелкая черта вполне характеризует его. Зато когда он оставлял Новую Гвинею, дикари взяли с него обещание возвратиться. И он выполнил его через несколько лет, хотя был тогда сильно болен. Этот замечательный человек напечатал, однако, лишь самую незначительную часть своих поистине драгоценных наблюдений.

Федченко [105], который сделал многочисленные зоологические наблюдения в Туркестане, вместе со своей женой Ольгой Федченко, тоже естествоиспытательницей, мы называли «европейцем». Он с увлечением трудился над разработкой своих наблюдений; но, к несчастью, он погиб в Швейцарии, во время восхождения на Монблан. Пылая юношеским жаром после путешествия по горам Туркестана и полный уверенности в свои силы, Федченко предпринял восхождение на Монблан без подходящих проводников и погиб во время метели. К счастью, его жена закончила издание его «Путешествия». Если не ошибаюсь, их сын также продолжает работы своих родителей.

Был я также хорошо знаком с Пржевальским [106], или точнее Пшевальским, как следовало бы произносить это польское имя, хотя сам он любил выставлять себя «настоящим русаком». Он был страстный охотник. Энтузиазм, который он проявил при исследовании Центральной Азии, был почти в такой же мере результатом его страсти к охоте на всевозможную редкую и крупную дичь, — гуранов, диких верблюдов и лошадей, — как и желания посетить новые, неизвестные еще земли. Когда его убеждали рассказать что-нибудь о всех путешествиях, он скоро прерывал свой скромный рассказ восторженным восклицанием: «А что

за дичь там! Какая охота!» — И он принимался с энтузиазмом рассказывать, как прополз такое-то расстояние, чтобы подобраться на выстрел к кулану. В нем сошлись географ-исследователь, зоолог и охотник.

Едва только он возвращался в Петербург, как уже начинал строить план новой экспедиции и бережливо копил для нее деньги, пробуя даже увеличить свои сбережения биржевыми спекуляциями. По крепкому здоровью и по способности выносить годами суровую жизнь горного охотника Пржевальский был идеальным путешественником. Такая жизнь была ему по душе. Первое свое знаменитое путешествие он сделал в сопровождении всего троих товарищей, и в ту пору он постоянно был в самых лучших отношениях с туземцами. Но когда впоследствии его экспедиции стали принимать более военный характер, Пржевальский, к несчастию, стал больше полагаться на силу своего вооруженного конвоя, чем на миролюбивые сношения с туземцами. Я слышал от хорошо осведомленных людей, что, если бы он не умер в начале тибетской экспедиции, так прекрасно и так мирно законченной его спутниками, — Певцовым, Роборовским и Козловым, — он, вероятно, все равно не вернулся бы из нее живым.

В то время в Географическом Обществе было большое оживление, и наше отделение, а, следовательно, и секретарь его, были заинтересованы разными вопросами. Большинство из них было слишком специального характера, чтобы здесь упоминать о них, но не мешает напомнить пробуждения интереса к плаванию и рыбным промыслам в русской части Ледовитого океана. Сибирский купец и золотопромышленник Сидоров [107] в особенности старался пробудить этот интерес. Он доказывал, что при небольшой правительственной помощи, например — устройством мореходных классов и несколькими экспедициями, можно было бы сильно подвинуть исследование берегов Белого моря, а также поддержать рыбные промыслы и мореплавание. Но, к несчастию, эта небольшая поддержка должна была получиться из Петербурга. А стоящих у власти в этом придворном, чиновничьем, литературном, артистическом и космополитическом городе трудно заинтересовать чем бы то ни было «провинциальным». Бедного Сидорова просто поднимали на смех. Интерес к нашему северу был пробужден в Географическом Обществе из-за границы.

В 1869—1871 годах смелые норвежские китобои совершенно неожиданно доказали, что плаванье в Карском море возможно. К великому нашему изумлению мы узнали, что в «ледник, постоянно набитый льдом», как мы с уверенностью называли Карское море, вошли небольшие норвежские шкуны и избороздили его по всем направлениям. Предприимчивые норманны посетили даже место зимовки знаменитого голландца Баренца [108], которое, как мы полагали, навсегда скрыто от людей ледяными полями, насчитывающими не одну сотню лет. Наши ученые моряки решили, что такие неожиданные успехи норвежцев объяснялись исключительно теплым летом и исключительным состоянием льда. Но для немногих из нас было совершенно очевидно, что смелые норвежские китобои, чувствующие себя среди льдов, как дома, дерзнули пробраться со своими небольшими экипажами и на своих небольших судах через плавучие льды, загромождающие вход в Карские ворота, тогда как командиры военных кораблей, скованные ответственностью морской службы, никогда не рискнули этого сделать.

Открытия норвежцев пробудили интерес к арктическим исследованиям. В сущности, эти промышленники возбудили тот энтузиазм к полярным путешествиям, который привел к открытию Норденшильдом [108] северо-восточного прохода, к исследованиям Пири [109] в Северной Гренландии и к нансеновской экспедиции на Фраме. Зашевелилось также и наше Географическое Общество. Назначена была комиссия, чтобы выработать план русской полярной экспедиции и наметить те научные работы, которые такая экспедиция могла бы выполнить. Я был избран секретарем этой комиссии. Специалисты взялись составлять каждый свою часть этого доклада.

Но, как это часто случается, к сроку готово было только несколько отделов: по ботанике, зоологии и метеорологии. Все остальное пришлось составить секретарю комитета, то есть мне. Некоторые вопросы — как, например, зоология морских животных, приливы, наблюдения над маятником, земной магнетизм — были для меня совершенно новы. Но трудно себе представить, какое количество работы может выполнить в короткое время здоровый человек, если напряжет все свои силы и прямо пойдет к корню каждого вопроса. Я засел за работу и просидел над нею, выходя только обедать, две с половиной недели. Я спал только часов пять в сутки и поддерживал бодрость сперва чаем, а потом красным вином, которое я пил маленькими глотками по ночам, чтобы не заснуть за столом. Мой доклад был готов к сроку и содержал программу предстоящих ученых работ [111]. Он заканчивался предложением большой полярной экспедиции, которая пробудила бы в России постоянный интерес к арктическим вопросам и к плаванию в северных морях, но в то же время мы рекомендовали разведочную экспедицию, которая направилась бы на норвежской шкуне, под командой норвежского капитана, на север или же на северо-восток от Новой Земли. Эта экспедиция могла бы, указывал я, сделал также попытку добраться до большой неизвестной земли, которая должна находиться не в далеком расстоянии от Новой Земли. Возможное существование такого архипелага указал в своем превосходном, но мало известном докладе о течениях в Ледовитом океане русский флотский офицер барон Шиллинг. Когда я прочитал этот доклад, а также путешествие Лютке [112] на Новую Землю и познакомился с общими условиями этой части Ледовитого океана, то мне стало ясно, что к северу от Новой Земли, действительно, должна существовать земля, лежащая под более высокой широтой, чем Шпицберген. На это указывали неподвижное состояние льда на северо-запад от Новой Земли, камни и грязь, находимые на плавающих здесь ледяных полях, и некоторые другие мелкие признаки. Кроме того, если бы такая земля не существовала, то холодное течение, несущееся на запад, от меридиана Берингова пролива к Гренландии (то самое, в котором дрейфовал Фрам — на него указывал уже Ломоносов), непременно достигло бы Норд-Капа и покрывало бы берега Лапландии льдом точно так, как это мы видим на крайнем севере Гренландии. Теплое течение, являющееся слабым продолжением Гольфстрема, не могло бы помешать нагромождению льдов у северных берегов Европы, если бы такой земли не существовало. Этот архипелаг, как известно, был открыт два года спустя австрийской экспедицией и назван Землей Франца Иосифа.

Доклад по поводу полярной экспедиции имел для меня совершенно

неожиданные последствия. Я сразу попал в арктические авторитеты. Мне предложили стать во главе разведочной экспедиции, для которой будет специально нанята норвежская шкуна. Я заметил, конечно, что никогда не бывал в море; но мне возразили, что если сочетать опытность норвежца Карльсэна или Иогансэна с почином человека науки, то наверное можно получить очень ценные результаты. И я принял бы предложение, если бы министерство финансов не наложило на предприятие своего veto, ответив, что министр финансов не может ассигновать необходимых для экспедиции тридцати или сорока тысяч рублей. С того времени русские не принимали никакого участия в исследовании полярных морей. Земля, которую мы провидели сквозь полярную мглу, была открыта Пайером и Вейпрехтом [113], а архипелаг, который должен находиться на северо-восток от Новой Земли (я в этом убежден теперь еще больше, чем тогда), так еще не найден *.

Вместо полярного путешествия, Географическое Общество предложило мне скромную экспедицию в Финляндию и Швецию для исследования ледниковых отложений, и это путешествие направило меня на совершенно новую дорогу.

Летом того года Академия Наук командировала двух своих членов, старого геолога генерала Г. П. Гельмерсена [114] и неутомимого исследователя Сибири Фридриха Шмидта [115], изучить строение длинных наносных гряд, которые в Финляндии и Швеции известны под названием «озов», а в Англии называются eskers, kames и т. п. С тою же целью Географическое Общество послало меня в Финляндию. Мы посетили втроем великолепную гряду Пунгахарью и затем разделились. Я много работал в то лето, объездил значительную часть Финляндии и переправился в Швецию, где изучал Упсальский «оз» и провел в Стокгольме несколько счастливых дней вместе с Норденшильдом. Уже тогда, в 1871 году, он сообщал мне свое намерение добраться до устьев сибирских рек, а не то и до Берингова пролива, через Леловитый океан. Возвратившись в Финляндию, я продолжал мои исследования до глубокой осени и собрал массу в высшей степени интересных наблюдений относительно оледенения края. Но во время этого путешествия я думал также очень много о социальных вопросах, и эти мысли имели решающее влияние на мое последующее развитие.

В Географическом Обществе через мои руки проходили всевозможные ценные материалы относительно географии России. Мало-по-малу у меня начала складываться мысль написать пространную физическую географию этой громадной части света, уделяя при этом видное место экономическим явлениям. Я намеревался дать полное географическое описание всей России, основывая его на строении поверхности — орографии, характер которой я начинал себе уяснять после сделанной мною работы о строении Сибири. И я хотел очертить в этом описании различные формы хозяйственной жизни, которые должны господствовать в различных физических областях. Много вопросов, насущных для русского народа, можно было бы выяснить такою работою. Возьмите, например, громадные южно-русские степи, так часто страдающие от засухи и неурожая. Последние нельзя считать случайным бедствием; они являются

* Только в 1901 году экспедиция Толля отправилась с целью открыть его, и, как известно, смелый исследователь погиб, быть может, на пути к земле Санникова.

такою же естественной чертой данного округа, как и его положение на южном скате средней возвышенности или как его плодородие. Засухи, от которых так страдает юг России, вовсе не случайны: эти засухи нужно раз навсегда признать за такую же особенность черноземной полосы, как и ее географическое положение и ее плодородие. Поэтому надо выработать способы обеспечения населения хлебом в засушливые годы, а также нужно выработать способы борьбы с засухой, какие укажет современная наука[116]. Вся хозяйственная жизнь Южной России должна быть поэтому построена на предусмотрении неизбежных повторений периодических недородов. Каждую область России следовало бы описать так же научно, как Азия была описана в великолепном труде Риттера.

Но для такой работы нужна была масса времени и полная свобода, и я часто думал, как споро пошло бы дело, если бы меня выбрали со временем секретарем Географического Общества. И вот осенью 1871 года, когда я работал в Финляндии и медленно подвигался пешком к Финскому заливу вдоль строившейся железной дороги, высматривая где появятся первые неоспоримые следы после-ледникового моря, я получил телеграмму от Географического Общества: «Совет просит вас принять должность секретаря Общества». В то же время выходивший в отставку секретарь барон Остен-Сакен убедительно просил меня не отказываться.

Мое желание, таким образом, осуществлялось. Но в эту пору другие мысли и другие стремления уже овладели мною и, серьезно обдумав мое решение, я телеграфировал в ответ: «Душевно благодарю, но должность принять не могу».

III

Часто случается, что люди тянут ту или другую политическую, социальную или семейную лямку только потому, что им некогда разобраться, некогда спросить себя: так ли устроилась их жизнь, как нужно? Соответствует ли их занятие их склонности и способности и дает ли оно им нравственное удовлетворение, которое каждый в праве ожидать в жизни? Деятельные люди всего чаще оказываются в таком положении. Каждый день приносит с собою новую работу, и ее накопляется столько, что человек поздно ложится, не выполнив всего, что собирался сделать за день, а утром поспешно хватается за дело, недоконченное вчера. Жизнь проходит, и нет времени подумать, что некогда обсудить ее склад. То же самое случилось и со мной.

Но теперь, во время путешествия по Финляндии, у меня был досуг. Когда я проезжал в финской одноколке по равнине, не представлявшей интереса для геолога, или когда переходил с молотком на плечах от одной баластной ямы к другой, я мог *думать*, и одна мысль все более и более властно захватывала меня гораздо сильнее геологии.

Я видел, какое громадное количество труда затрачивает финский крестьянин, чтобы расчистить поле и раздробить валуны, и думал: «Хорошо, я напишу физическую географию этой части России и укажу лучшие способы обработки земли. Вот здесь американская машина для корчевания пней принесла бы громадную пользу. А там наука могла бы указать новый способ удобрения...

Но что за польза толковать крестьянину об американских машинах, когда у него едва хватает хлеба, чтобы перебиться от одной жатвы до другой; когда арендная плата за эту усеянную валунами землю растет с каждым годом по мере того, что крестьянин улучшает почву! Он грызет свою твердую, как камень, ржаную лепешку, которую печет дважды в год, съедает с нею кусок невероятно соленой трески и запивает снятым молоком... Как смею я говорить ему об американских машинах, когда на аренду и подати уходит весь его заработок! Крестьянину нужно, чтобы я жил с ним, чтобы я помог ему сделаться собственником или вольным пользователем земли. Тогда он и книгу прочтет с пользой, но не теперь».

И мысленно я переносился из Финляндии к нашим никольским крестьянам, которых видел недавно. Теперь они свободны и высоко ценят волю, но у них нет покосов. Тем или иным путем помещики захватили все луга для себя. Когда я был мальчиком, Савохины посылали в ночное шесть лошадей, Толмачевы — семь. Теперь у них только по три лошади. У кого было прежде по три, теперь и двух нет, а иные бедняки остались с одной. Какое же хозяйство можно вести с одной жалкой клячонкой! Нет покосов, нет скота и нет навоза! Как же тут толковать крестьянам про травосеяние! Они уже разорены, а еще через несколько лет их разорят вконец, выколачивая чрезмерные подати. Как обрадовались они, когда я сказал, что отец разрешает им обкосить полянки в Костином лесу! «Ваши никольские мужики л ю т ы на работу», — говорили все наши соседи. Но пашни, которые мачеха оттягала у них в силу «закона о минимуме помещичьей земли» (диавольский параграф, внесенный крепостниками, когда им позволили пересмотреть Уложение), теперь поросли чертополохом и бурьяном. Л ю т ы м работникам не позволяют пахать эти земли. И то же самое творится по всей России. Уже в то время было очевидно, что первый серьезный неурожай в центральной России приведет к страшному голоду. О том же предупреждали и правительственные комиссии (валуевская в том числе). И действительно, голод был в 1876, 1889, 1891, 1895 и 1898 годах.

Наука — великое дело. Я знал радости, доставляемые ею, и ценил их, быть может, даже больше, чем многие мои собратья. И теперь, когда я всматривался в холмы и озера Финляндии, у меня зарождались новые, величественные обобщения. Я видел, как в отдаленном прошлом, на заре человечества, в северных архипелагах, на Скандинавском полуострове и в Финляндии скоплялись льды. Они покрыли всю Северную Европу и медленно расползлись до ее центра. Жизнь тогда исчезла в этой части северного полушария и жалкая, неверная, отступала все дальше и дальше на юг перед мертвящим дыханьем громадных ледяных масс. Несчастный, слабый, темный дикарь с великим трудом поддерживал непрочное существование. Прошли многие тысячелетия, прежде чем началось таянье льдов, и наступил озерный период. Бесчисленные озера образовались тогда во впадинах; жалкая субполярная растительность начала робко показываться на безбрежных болотах, окружавших каждое озеро, и прошли еще тысячелетия, прежде чем началось крайне медленное высыхание болот, и растительность стала надвигаться с юга. Теперь мы — в периоде быстрого высыхания, сопровождаемого образованием степей, и человеку нужно найти способ, каким образом остановить это угрожающее

Юго-Восточной Европе высыхание, жертвой которого уже пала Центральная Азия [117].

В то время вера в ледяной покров, достигавший до Центральной Европы, считалась непозволительной ересью [118], но перед моими глазами возникала величественная картина, и мне хотелось передать ее в мельчайших подробностях, как я ее представлял себе. Мне хотелось разработать теорию о ледниковом периоде, которая могла бы дать ключ для понимания современного распространения флоры и фауны, и открыть новые горизонты для геологии и физической географии.

Но какое право имел я на все эти высшие радости, когда вокруг меня — гнетущая нищета и мучительная борьба за черствый кусок хлеба? Когда все, истраченное мною, чтобы жить в мире высоких душевных движений, неизбежно должно быть вырвано из рта сеющих пшеницу для других и не имеющих достаточно черного хлеба для собственных детей? У кого-нибудь кусок должен быть вырван изо рта, потому что совокупная производительность людей еще так низка.

Знание — могучая сила. Человек должен овладеть им. Но мы и теперь уже знаем много. Что если бы это знание, только это стало достоянием всех? Разве сама наука тогда не подвинулась бы быстро вперед? Сколько новых изобретений сделает тогда человечество и насколько увеличит оно тогда производительность общественного труда! Грандиозность этого движения вперед мы даже теперь уже можем предвидеть.

Массы хотят знать. Они хотят учиться; они могут учиться. Вон там, на гребне громадной морены, тянущейся между озерами, как будто бы великаны насыпали ее поспешно, чтобы соединить два берега, стоит финский крестьянин, он погружен в созерцание расстилающихся перед ним прекрасных вод, усеянных островами. Ни один из этих крестьян, как бы забит и беден он ни был, не проедет мимо этого места, не остановившись, не залюбовавшись. Или вон там на берегу озера стоит другой крестьянин и поет что-то до того прекрасное, что лучший музыкант позавидовал бы чувству и выразительности его мелодии. Оба чувствуют, оба созерцают, оба думают. Они готовы расширить свое знание, только дайте его им, только предоставьте им средства завоевать себе досуг.

Вот в каком направлении мне следует работать, и вот те люди, для которых я должен работать. Все эти звонкие слова насчет прогресса, произносимые в то время, как сами делатели прогресса держатся в сторонке от народа, все эти громкие фразы — одни софизмы. Их придумали, чтобы отделаться от разъедающего противоречия . . .

И я послал мой отказ Географическому Обществу.

IV

Петербург сильно изменился с 1862 года, когда я оставил его.

— О, да! — говорил мне как-то поэт Аполлон Майков [119], — вы знали Петербург Чернышевского.

Да, действительно, я знал тот Петербург, чьим любимцем был Чернышевский. Но как же мне назвать город, который я нашел по возвращении из Сибири? Быть может, Петербургом кафешантанов и танцклассов, если только название «весь Петербург» может быть применено к высшим кругам общества, которым тон задавал двор.

При дворе и в придворных кружках либеральные идеи были на плохом счету. После выстрела Каракозова 4 апреля 1866 года правительство окончательно порвало с реформами, и реакционеры всюду брали верх. На всех выдающихся людей шестидесятых годов, даже и на таких умеренных, как граф Николай Муравьев и Николай Милютин, смотрели как на неблагонадежных. Александр II удержал лишь военного министра Дмитрия Милютина[129], да и то только потому, что на осуществление начатого им преобразования армии требовалось еще много лет. Всех остальных деятелей реформенного периода выбросили за борт.

Раз как-то я беседовал с бароном Ф. Р. Остен-Сакеном, занимавшим видный пост в министерстве иностранных дел. Он резко критиковал деятельность другого сановника, и я заметил в защиту, что последний никогда, однако, не захотел принять никакого места на службе при Николае I.

— А теперь он служит при Шувалове и Трепове! — воскликнул мой собеседник. Замечание так верно передавало истинное положение дел, что мне оставалось только замолчать.

Действительно, настоящими правителями России были тогда шеф жандармов Шувалов и петербургский обер-полицеймейстер Трепов. Александр II выполнял их волю, был их орудием. Правили же они страхом. Трепов до того напугал Александра II призраками революции, которая вот-вот разразится в Петербурге, что, если всесильный обер-полицеймейстер опаздывал во дворец на несколько минут с ежедневным докладом, император справлялся: «Все ли спокойно в Петербурге?»

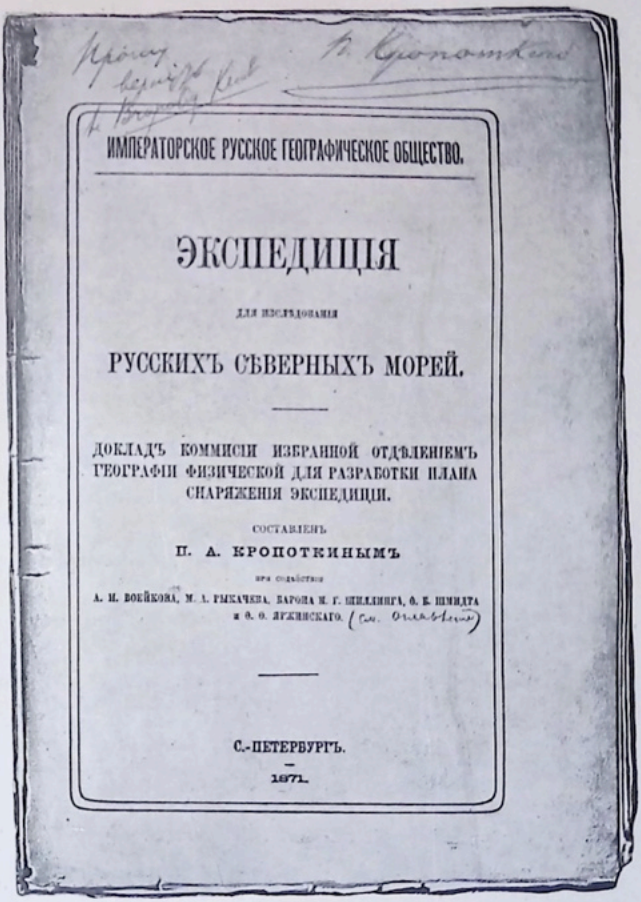
Вскоре после того, как Александр II дал «чистую отставку» княжне Долгорукой, он очень подружился с генералом Флери, адъютантом Наполеона III, этой гадиной, бывшей душой государственного переворота 2 декабря 1851 года. Их постоянно можно было видеть вместе. Флери раз уведомил даже парижан про великую честь, оказанную ему русским царем. Последний, едучи по Невскому в своей э г о и с т к е (пролетке с крошечным сиденьем для одного: они тогда были в моде), увидал Флери, шедшего пешком, и позвал его в свой экипаж. Французский генерал подробно описал в газетах, как царь и он, крепко обнявшись, сидели на узком сиденьи, наполовину на весу. Достаточно назвать этого нового закадычного приятеля, на челе которого еще не завяли лавры Компьени, чтобы понять, что означала эта дружба.

Шувалов широко пользовался настроением своего повелителя и вырабатывал одну реакционную меру за другой. Если же Александр II не соглашался подписать их, Шувалов принимался говорить о приближающейся революции, о судьбе Людовика XVI и «ради спасения династии» умолял царя ввести новые репрессии. При всем том угрызения совести и подавленное состояние духа часто овладевали Александром II. Он впадал тогда в мрачную меланхолию и уныло говорил о блестящем начале своего царствования и о реакционном характере, которое оно теперь принимает. Тогда Шувалов устраивал медвежью охоту. В новгородские леса отправлялись охотники, придворные, партии балетных танцовщиц. Александр II, который был хорошим стрелком и подпускал зверя на несколько шагов, укладывал двух-трех медведей. И среди возбуждения охотничьих празднеств Шувалову удавалось получить от своего повелителя санкцию какой угодно реакционной меры, сочиненной им, или же

утверждения любого грандиозного грабежа, намеченного клиентами графа.

Александр II, конечно, не был заурядной личностью; но в нем жили два совершенно различных человека, с резко выраженными индивидуальностями, постоянно боровшимися друг с другом. И эта борьба становилась тем сильнее, чем более старился Александр II. Он мог быть обаятелен и немедленно же выказать себя грубым зверем. Перед лицом настоящей опасности Александр II проявлял полное самообладание и спокойное мужество, а между тем он постоянно жил в страхе опасностей, существовавших только в его воображении. Без сомнения, он не был трусом и спокойно пошел бы на медведя лицом к лицу. Однажды, медведь, которого он не убил первым выстрелом, смял охотника, бросившегося вперед с рогатиной. Тогда царь бросился на помощь своему подручному. Он подошел и убил зверя, выстрелив в упор (я слышал этот рассказ от самого медвежатника). И тем не менее, Александр II всю жизнь прожил под страхом ужасов, созданных его воображением и неспокойной совестью. Он был очень мягок с друзьями; между тем эта мягкость уживалась в нем рядом со страшной, равнодушной жестокостью, достойной XVII века, которую он проявил при подавлении польского мятежа и впоследствии, в 1880 году, когда такие же жесткие меры были приняты для усмирения восстания русской молодежи, причем никто не счел бы его способным на такую жестокость. Таким образом, Александр II жил двойной жизнью, и в тот период, о котором я говорю, он подписывал самые реакционные указы, а потом приходил в отчаяние по поводу их. К концу жизни эта внутренняя борьба, как мы увидим дальше, стала еще сильнее и приняла почти трагический характер.

В 1877 году Шувалова назначили посланником в Англию; но друг его, генерал Потапов, продолжал ту же политику вплоть до Турецкой войны. За это время шел в широчайших размерах самый бессовестный грабеж казны и расхищались государственные и башкирские земли, а также и имения, конфискованные после восстания 1863 года в Литве. Впоследствии, когда Потапов сошел с ума, а Трепов был удален в отставку, их придворные враги захотели показать Александру II этих героев в истинном свете, и некоторые их подвиги выплыли на свет, когда, по знаменитому логишинскому делу, креатура Потапова — минский губернатор тайный советник Токарев и их заступник в министерстве внутренних дел палач крестьян генерал Лошкарев были отданы под суд. Тогда обнаружилось, как «обруситель» Токарев, при помощи своего приятеля Потапова, бесстыдно ограбил логишинских крестьян и отнял их землю. Пользуясь высоким покровительством в министерстве внутренних дел, он устроил так, что крестьян, искавших суда, арестовывали, пороли поголовно и нескольких перестреляли. Это одно из самых возмутительных дел даже в русских летописях, чреватых грабежами всякого рода. Лишь после выстрела Веры Засулич [121], мстивший за наказание розгами политического заключенного, выяснилось воровство потаповской шайки, и министра удалили в отставку. Трепов же, думая, что ему приходится умирать, составил завещание, причем оказалось, что генерал, беспрерывно твердивший царю, что беден, хотя занимает прибыльный пост обер-полицеймейстера, оставил своему сыну значительное состояние. Некоторые придворные донесли об этом Александру II, который потерял



ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО.

ЭКСПЕДИЦІЯ

ДЛЯ ИЗСЛѢДОВАНІЯ

РУССКИХЪ СѢВЕРНЫХЪ МОРЕЙ.

ДОКЛАДЪ КОММИСІИ ИЗБРАННОЙ ОТДѢЛЕНІЕМЪ ГЕОГРАФІИ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА СНАРЯЖЕНІЯ ЭКСПЕДИЦІИ.

СОСТАВЛЕНЪ

П. А. КРОПОТКИНЫМЪ

при содѣйствіи

А. И. ВОЕЙКОВА, М. А. РЫКАЧЕВА, БАРОНА М. Г. ШИЛЛИНГА, Ф. Б. ШМИДТА и Ф. О. ЛЕНЗИНСКАГО.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

—

1871.

Титульная страница доклада П. А. Кропоткина о полярной экспедиции

доверие к генералу и расстался с ним. Тогда-то выплыли некоторые грабежи, совершенные шайкою Шувалова, Потапова, Трепова и К°. Но перед сенатом логишинское дело разбиралось только в декабре 1881 года— «при открытых дверях».

Повсеместно в министерствах, а в особенности при постройке железных дорог и при всякого рода подрядах, грабеж шел на большую ногу. Таким путем составлялись колоссальные состояния. Флот, как сказал сам Александр II одному из своих сыновей, находился «в карманах такого-то». Постройка гарантированных правительством железных дорог обходилась баснословно дорого. Всем было известно, что невозможно добиться утверждения акционерного предприятия, если различным чиновникам в различных министерствах не будет обещан известный процент с дивиденда. Один мой знакомый захотел основать в Петербурге одно коммерческое предприятие и обратился за разрешением, куда следовало. Ему прямо сказали в министерстве внутренних дел, что 25% чистой прибыли нужно дать одному чиновнику этого министерства, 15% — одному служащему в министерстве финансов, 10% — другому чиновнику того же министерства и 5% — еще одному. Такого рода сделки совершались открыто, и Александр II отлично знал про них. О том свидетельствуют его собственноручные заметки на полях докладов государственного контролера (они напечатаны были за несколько лет в Берлине). Но царь видел в этих ворах своих защитников от революции и держал их, покуда их грабежи не становились слишком уже гласны.

Все молодые князья, кроме Александра Александровича, который всегда был большой скопидом и хороший отец семейства, следовали примеру главы дома. Оргии, которые устраивал один из них, Владимир, в ресторане на Невском, были до того отвратительны и до того известны, что раз ночью обер-полицеймейстер должен был вмешаться. Хозяину пригрозил Сибирью, если он еще раз сдаст великому князю «его специальный кабинет». «Мое-то положение каково! — жаловался ресторатор, показывая мне «великокняжеский кабинет», стены и потолок которого были покрыты толстыми атласными подушками. — С одной стороны, как отказать члену императорской фамилии, который может меня скрутить в бараний рог, а с другой — Трепов грозит Сибирью! Конечно, я послушался генерала. Вы знаете, он всесилен теперь». Другой великий князь Сергей Александрович [122] прославился пороками, относящимися к области психопатологии. Третьего [123] сослали в Ташкент за кражу бриллиантов у матери, великой княгини Александры Иосифовны.

Императрица Мария Александровна, оставленная мужем и, по всей вероятности, приведенная в ужас от его оргий и безобразий при дворе, все больше и больше становилась святошей и вскоре всецело находилась в руках придворного священника, представителя совершенно новой формации русской церкви — иезуитской. Эта новая, гладко причесанная, развратная и иезуитская порода поповства в то время быстро шла в гору, и они усиленно и успешно работали, чтобы стать государственной силой и забрать в свои руки школы.

Много раз было доказано в России, что сельское духовенство так занято требами, что не может уделять времени народным школам. Даже тогда, когда священник получает вознаграждение за преподавание закона божьего в деревенской школе, он обыкновенно поручает уроки кому-

нибудь другому, так как у него нет времени. Тем не менее высшее духовенство, пользуясь ненавистью Александра II к так называемому революционному духу, начало поход с целью забрать в руки школы. Лозунгом духовенства стало: «или приходская школа, или никакой». Вся Россия жаждала образования; но даже включавшаяся в государственный бюджет до смешного ничтожная сумма в пять-шесть миллионов рублей на начальное образование, и та не расходовалась вся министерством народного просвещения, которое каждогодно возвращало в казначейство почтенный остаток. В то же время почти такая же сумма отпускалась ежегодно синоду, как пособие приходским школам, которые тогда, так же, как и позже, существовали только на бумаге.

Вся Россия желала реальных школ; но министерство открывало только классические гимназии, так как полагалось, что громадные курсы древних языков не дадут ученикам времени думать и читать. В этих гимназиях лишь две сотых учеников, поступавших в первый класс, успешно добирались до аттестата зрелости. Все мальчики, подававшие надежды или проявлявшие какую-нибудь независимость характера, тщательно замечались, и их удаляли раньше восьмого класса. При этом приняты были также меры, чтобы уменьшить число учеников. Образование признано было роскошью, пригодной лишь для немногих. В то же время министерство народного просвещения занялось усиленной и ожесточенной борьбой и с частными лицами, земствами и городскими управами, пытавшимися открывать учительские семинарии, технические, а то даже и начальные школы. На техническое образование — в стране, нуждавшейся в инженерах, ученых агрономах и геологах — смотрели как на нечто революционное. Оно преследовалось, запрещалось. Ежегодно несколько тысяч молодых людей не попадали в высшие технические учебные заведения по недостатку вакансий. Чувство отчаяния овладевало всеми теми, которые хотели принести какую-нибудь пользу обществу. А в это время непосильные подати и выколачивание недоимок полицейскими властями разоряли навсегда крестьян. В столице в милости были лишь те губернаторы, которые особенно беспощадно выколачивали недоимки.

Таков был официальный Петербург. Таково было его влияние на всю Россию.

V

Перед отъездом из Сибири мы часто беседовали с братом о той умственной жизни, которую найдем в Петербурге, и о предстоящих интересных знакомствах в литературных кружках. Действительно, мы завязали такие знакомства как среди радикалов (кружок «Отечественных Записок»), так и умеренных славянофилов; но надо сознаться, что мы несколько были разочарованы. Встретили мы массу прекрасных людей (в России их везде много), но они вовсе не соответствовали нашему идеалу политических писателей. Лучшие литераторы — Чернышевский, Михайлов, Лавров — были в ссылке или, как Писарев, сидели в Петропавловской крепости. Другие, мрачно смотревшие на действительность, изменили свои убеждения и теперь тяготели к своего рода отеческому самодержавию. Большинство же хотя и сохранило еще свои взгляды,

но стало до такой степени осторожным в выражении их, что эта осторожность почти равнялась измене.

Когда реформационное течение царило в России, почти все писатели, принадлежавшие к передовым кружкам, были так или иначе в сношениях с Герценом, Тургеневым и их друзьями или даже с тайными обществами «Великоросс»[124] и «Земля и Воля»[125], имевшими тогда кратковременное существование. Теперь эти люди заботились лишь о том, чтобы спрятать поглубже свои прежние симпатии и казаться вполне «благонадежными» в политике.

Известно, как Некрасов отнесся к Муравьеву, когда его назначили начальником следственной комиссии по каракозовскому делу. Некрасов был больше всех скомпрометирован своими сношениями в 60-е годы, он больше всех и старался заслужить раскаянием перед палачом Муравьевым.

Два-три журнала, которые терпело начальство, — главным образом благодаря необыкновенной дипломатической ловкости их издателей, — помещали богатый бытовой материал, наглядно доказывавший, что нищета и разоренность большинства крестьян постепенно растут из года в год. В этих же журналах достаточно прозрачно говорилось и о тех препятствиях, которые ставились всякому прогрессивному деятелю, в какой бы области он ни пытался приложить свои силы. Фактов в подтверждение приводилось столько, что они могли бы всякого привести в отчаянье. «Отечественные Записки», например, печатали много интересного материала, касавшегося народной крестьянской жизни, и этим конечно сослужили хорошую службу молодежи, поддерживая в ней любовь к народу, интерес к материальной стороне его быта и симпатии к общинным формам жизни. Но никто не смел сказать, как помочь делу; никто не дерзал хоть намеком указать на поле возможной деятельности или же на выход из положения, которое признавалось безнадежным. Некоторые писатели все еще надеялись, что Александр II опять станет преобразователем; но у большинства страх, что запретят журнал и сошлют издателей и сотрудников в более или менее отдаленные места, заглушал все остальные чувства. Опасение и надежды в одинаковой степени парализовали писателей.

Чем сильнее радикальничали они десять лет назад, тем больше трепетали они теперь. Нас с братом очень хорошо приняли в двух-трех литературных кружках, и мы иногда бывали на их приятельских собраниях.

С кружком «Отечественных Записок» я познакомился через Пятковского, который в то время получал хорошие деньги за «Историю Воспитательного Дома» от ведомства императрицы Марии Федоровны и раз в месяц устраивал вечеринки, на которые приходили Курочкин, Лейкин, Минаев и иногда Михайловский. «Генералы», как звали издателей «Отечественных Записок», то есть Некрасов и Щедрин, на этих вечерах никогда не бывали, а Елисеев был только один раз. В Елисееве я сразу увидал настоящего человека (я не знал тогда его почетного прошлого), но близко познакомиться с Елисеевым мне не пришлось.

Михайловский был тогда в высшей степени скромный юноша, сидевший большей частью молча, в стороне от других. Мне он казался очень симпатичным, но разговоров я с ним не помню. Героем вечеров у Пят-

ковского бывал Курочкин, который иногда читал свои стихи. Серьезных разговоров на политические темы не велось. Когда брат пробовал заводить разговор о том, что дело во Франции принимает серьезный оборот (весна 1870 года), то все старались переводить разговор на другие темы. Кто-нибудь из старших уже наверное прерывал разговор громким вопросом: «А кто был, господа, на последнем представлении Прекрасной Елены?» или: «А какого вы, сударь, мнения об этом балыке»? Разговор так и обрывался.

Вне литературных кружков положение дел обстояло еще хуже. В шестидесятых годах в России, а в особенности в Петербурге, было много передовых людей, которые, как казалось тогда, готовы были всем пожертвовать для своих убеждений. «Что сталось с ними?» задавал я себе вопрос. Я заговаривал с некоторыми из них: «Осторожней, молодой человек!» — отвечали они. Их кодекс житейской философии заключался теперь в пословицах: «Сила солому ломит», «Лбом стены не прошибешь» и тому подобных, которых, к несчастью, так много в русском языке. «Мы кое-что уже сделали, не требуйте больше от нас», или: «Потерпите, такое положение вещей долго не продержится». Так говорили нам. А мы, молодежь, готовы были начать борьбу, действовать, рисковать, если нужно, жертвовать всем. Мы просили у стариков лишь совета, кое-каких указаний и некоторой интеллектуальной поддержки.

Тургенев [126] в романе «Дым» вывел некоторых экс-реформаторов высшего круга, и картина вышла довольно унылая. Но шестидесятников «на ущербе» нужно в особенности изучать по надрывающим душу романам и очеркам г-жи Хвощинской [127], писавшей под псевдонимом «В. Крестовский» (не следует смешивать с В. Крестовским, автором «Петербургских трущоб»). Правилом прогрессистов на ущербе стало: «довольствуйся, что жив» или точнее «радуйся, что выжил». Вскоре они, как и та безличная толпа, которая десять лет тому назад составляла силу прогрессивного движения, отказывались даже слушать «про разные сантименты». Они спешили воспользоваться богатствами, плывшими в руки «практическим людям».

После освобождения крестьян открылись новые пути к обогащению, и по ним хлынула жадная к наживе толпа. Железные дороги строились с лихорадочной поспешностью. Помещики спешили закладывать имения в только что открытых частных банках. Недавно введенные нотариусы и адвокаты получали громаднейшие доходы. Акционерные компании росли, как грибы после дождя; их учредители богатели. Люди, которые прежде скромно жили бы в деревне на доход от ста душ, а не то на еще более скромное жалованье судейского чиновника, теперь составляли себе состояния или получали такие доходы, какие во времена крепостного права перепадали лишь крупным магнатам.

Самые вкусы «общества» падали все ниже и ниже. Итальянская опера, прежде служившая радикалам форумом для демонстраций, теперь была забыта. Русскую оперу, робко выставлявшую достоинства наших великих композиторов, посещали лишь немногие энтузиасты. И ту и другую находили теперь «скучной». Сливки петербургского общества валили в один пошленький театр Берга, в котором второстепенные звезды парижских малых театров получали легко заслуженные лавры от своих поклонников, конногвардейцев. Публика шла на «Прекрасную Елену»,

с Лядовой, в Александринском театре, а наших великих драматургов забывали. Оффенбаховщина царила повсюду.

Нужно, впрочем, сказать, что политическая атмосфера была такова, что лучшие люди имели некоторое основание или, во всяком случае, находили веские оправдания, чтобы примириться. После каракозовского выстрела 4 апреля 1866 года третье отделение стало всесильным. Заподозренные в «радикализме» — все равно, сделали они что-нибудь или нет — жили под постоянным страхом. Их могли забрать каждую ночь за знакомство с лицом, замешанным в политическом деле, за безобидную записку, захваченную во время ночного обыска, а не то и просто за «опасные» убеждения. Арест же по политическому делу мог означать все, что хотите: годы заключения в Петропавловской крепости, ссылку в Сибирь или даже пытку в казематах.

Каракозовское движение мало известно даже в самой России. Я находился в то время в Сибири и знаю о нем лишь понаслышке. Повидимому, в нем слилось тогда два различных течения. Одно из них представляло в зародыше то движение в народ, которое впоследствии приняло такие громадные размеры; второе же имело характер чисто политический. Несколько молодых людей, из которых вышли бы блестящие профессора, выдающиеся историки и этнографы, решили в 1864 году стать, несмотря на все препятствия со стороны правительства, носителями знания и просвещения среди народа. Они селились, как простые работники, в больших промышленных городах, устраивали там кооперативные общества, открывали негласные школы. Они надеялись, что при известном такте и терпении удастся воспитать людей из народа и таким образом создать центры, из которых постепенно среди масс будут распространяться лучшие идеи. Для осуществления плана были пожертвованы большие состояния. Любви и преданности делу было очень много. Вообще я склонен думать, что, в сравнении с последующими движениями, каракозовцы стояли на наиболее практической почве. Их организаторы, без сомнения, очень близко подошли к рабочему народу.

С другой стороны, Каракозов [128], Ишутин [129] и некоторые другие члены кружка придали движению чисто политический характер. В период времени 1862—1866 годов политика Александра II приняла решительно реакционный уклон. Царь окружил себя крайними ретроградами и сделал их своими ближайшими советниками. Реформы, составлявшие славу первых лет его царствования, были изуродованы и урезаны рядом временных правил и министерских циркуляров. В лагере крепостников ждали вотчинного суда и возвращения крепостного права в измененном виде. Никто не надеялся, что главная реформа — освобождение крестьян — устоит от ударов, направленных против нее из Зимнего дворца. Все это должно было привести Каракозова и его друзей к убеждению, что даже то немногое, что сделано, рискует погибнуть, если Александр II останется на престоле, что России грозит возврат ко всем ужасам Николаевщины. В то же время возлагались большие надежды (Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neue) на либерализм наследника и Константина Николаевича. В доказательство либерализма наследника (будущего императора Александра III) приводилось то, что он, например, не надевает немецкого мундира; что как-то на обеде, когда пили за здоровье немецкого императора, он разбил бокал; что на такой-то обед

он приехал в русском мундире и когда отец (Александр II) сделал ему выговор, он отделался тем, что сказал, что «его немецкий мундир распоролся, когда он его надевал». Повторяли также, что когда его после смерти первого наследника, его старшего брата Николая Александровича, засадили учиться, он говорил учителям: «К чему мне все это? У меня будут ответственные министры!» На основании всех этих разговоров в обществе и выводили заключение, что наследник в «оппозиции». Нужно также сказать, что подобные опасения и надежды довольно часто выражались и в гораздо более высоких кругах, чем те, где вращался Каракозов. Как бы то ни было, 4 апреля 1866 года Каракозов сделал покушение на Александра II, когда тот выходил из Летнего сада и садился на свою коляску. Как известно, он дал промах *, и его тут же арестовали.

Глава реакционной партии в Москве, Катков, в совершенстве постигший искусство извлекать денежную выгоду из каждой политической смуты, немедленно обвинил всех либералов и радикалов в сообществе с Каракозовым — что, конечно, было чистейшей ложью — и стал намекать в своей газете (и вся Москва ему поверила), что Каракозов явился лишь орудием в руках Константина Николаевича. Можно себе представить, как воспользовались этими обвинениями всесильные Трепов и Шувалов и в каком страхе они стали держать Александра. Михаил Муравьев, заслуживший при усмирении польского восстания прозвище «вешателя», получил приказ произвести тщательное дознание и раскрыть всеми способами предполагавшийся заговор, и он немедленно арестовал массу лиц, принадлежавших ко всем слоям общества, сделал бесчисленное множество обысков и похвалялся, что «найдет средство развязать язык арестованным». Муравьев-вешатель, конечно, не отступился бы пред допросом «с пристрастием», и общественное мнение в Петербурге почти единодушно говорило, что Каракозова пытали, но не добились признаний.

Государственные тайны хорошо сохраняются в крепостях — в особенности в этой каменной громаде напротив Зимнего дворца, видевшей столько ужасов, лишь недавно раскрытых историками. Петропавловская крепость хранит до сих пор тайны Муравьева; но следующий эпизод бросит, быть может, на них некоторый свет.

В 1866 году я был в Сибири. Один из наших сибирских офицеров, который в конце того года ехал из России в Иркутск, встретил на одной из станций двух жандармов. Они сопровождали в Сибирь одного чиновника, сосланного за воровство, и теперь возвращались домой. Наш иркутский офицер, очень милый человек, застал жандармов за чаем и, покуда перепрягали лошадей, подсел к ним и завел разговор. Оказалось, что один из жандармов знал Каракозова.

— Хитрый был человек, — говорил жандарм. — Когда он сидел в крепости, нам велено было не давать ему спать. Мы по-двое дежурили при нем, и сменялись каждые два часа. Вот, сидит он на табурете, а мы караулим. Станет он дремать, а мы встряхнем его за плечо

* Промах произошел, как говорят, вследствие того, что в момент выстрела руку Каракозова толкнул картузник-мастеровой Осип Комиссаров, и поэтому пуля пролетела, не задев Александра II.

и разбудим. Что станешь делать? Приказано так. Ну, смотрите, какой же он хитрый. Сидит он, ногу за ногу перекинул и качает ее. Хочет показать нам, будто не спит, сам дремлет, а ногой все дрыгает. Но мы скоро заметили его хитрость, тоже передали и тем, что пришли на смену. Ну, и стали его трясти каждые пять минут — все равно, качает ли он ногой или нет.

— А долго это продолжалось? — спросил мой приятель.

— Долго, больше недели!

Наивный характер этого рассказа уже сам по себе свидетельствует о правдивости: выдумать его нельзя было, а потому можно принять за достоверное, что, по крайней мере, лишением сна Каракозова пытали.

Один из моих товарищей по корпусу, присутствовавший на казни Каракозова вместе со своим кирасирским полком, рассказывал мне: «Когда его вывезли из крепости, привязанного к столбу на высокой платформе телеги, прыгавшей по неровной поверхности гласиса, я думал вначале, что везут вешать резиновую куклу. Я думал, что Каракозов верно уже умер и что вместо него везут куклу. Представь себе, голова, руки висели, точно костей не было вовсе или их переломали. Страшно было смотреть. Но потом, когда два солдата сняли Каракозова с телеги, он двигал ногами и употреблял все усилия, чтобы без поддержки подняться на эшафот, так что это не была кукла и он не в обмороке. Все мы, офицеры, были очень поражены и не могли объяснить себе дело». Я намекнул товарищу, что, быть может, Каракозова пытали, он покраснел и сказал: «Мы все так думали!»

Конечно, одного даже лишения сна в продолжение нескольких недель было бы достаточно, чтобы объяснить то состояние, в котором находился в день казни Каракозов — человек, как известно, очень сильный духом. Могу только прибавить к этому, что мне достоверно известно, что в Петропавловской крепости, по крайней мере, в одном случае, а именно в 1879 году, Адриану «Сабурову» давали одуряющее пойло. Ограничился ли Муравьев при применении пытки только такими средствами? Помешали ли ему пойти дальше? Или никто не мешал? Этого я не знаю; но я слышал не раз от высокопоставленных лиц в Петербурге, что при допросе Каракозова была применена пытка.

Муравьев обещал искоренить всех радикалов в Петербурге; и потому все, имевшие радикальное прошлое, трепетали теперь, страшась попасть в лапы вешателю. Больше всего сторонились они от молодежи, чтобы не запутаться как-нибудь в опасное революционное общество. Таким образом пропасть открылась не только между «отцами и детьми» — не только между двумя поколениями, но даже между людьми, перевалившими за тридцать, и теми, кто еще не достиг этого возраста. Русская молодежь стояла теперь в таком положении, что ей не только приходилось бороться с отцами, которые защищали крепостные порядки, но и старшие братья отстранили от нее: они не захотели примкнуть к ней в ее тяготении к социализму и боялись вместе с тем поддержать ее в борьбе за расширение политических прав.

Встречался ли прежде когда-нибудь в истории подобный пример, чтобы горсти молодежи пришлось одной выступить на бой против такого могучего врага — оставляемой и отцами и старшими братьями — тогда, как эта молодежь только приняла горячо к сердцу и пыталась осуществить

в жизни умственное наследие самых этих отцов и братьев? Велась ли когда-нибудь где-нибудь борьба при таких трагических условиях?

VI

Единственным светлым явлением в петербургской жизни было движение среди молодежи обоего пола. Здесь слилось несколько различных течений и они образовали мощный агитационный поток, который вскоре принял подпольный и революционный характер и на пятнадцать лет приковал к себе внимание всей России. Об этом движении я скажу ниже. Теперь же остановлюсь на борьбе русских женщин из-за высшего образования. Центром этого движения был тогда Петербург.

Каждый день, когда молодая жена моего брата возвращалась с педагогических курсов, на которых слушала лекции, она сообщала нам что-нибудь новое об оживлении, господствовавшем там. Там шли горячие толки об открытии для женщин особых университетов и медицинских курсов; устраивались лекции и собеседования о школах и о различных методах образования, и тысячи женщин принимали в них горячее участие, обсуждая разные частные вопросы в своих кружках. Появились общества переводчиц, издательниц, переплетчиц и типографщиц, в которых женщины, съезжавшиеся в Петербург и готовые взяться за всякий труд, лишь бы добиться возможности получить высшее образование, могли бы получать занятие. Словом, в этих женских кругах пульс жизни бился сильно и часто представлял резкую противоположность тому, что я видел в других сферах.

Когда выяснилось, что правительство твердо решило не допускать женщин в существующие университеты, они употребили все усилия, чтобы добиться открытия своих собственных высших курсов. В министерстве народного просвещения им сказали, что девушки, окончившие женскую гимназию, не имеют достаточной подготовки для слушания университетских лекций. «Отлично, — ответили они, — разрешите нам, в таком случае, устроить подготовительные курсы. Введите какую хотите программу. Мы не просим даже денежной помощи от государства. Только дайте разрешение. Все остальное мы сделаем сами». Но разрешения, конечно, не дали.

Тогда женщины организовали в различных частях Петербурга научные курсы в частных домах. Многие профессора, сочувствовавшие движению, вызвались читать лекции и, хотя сами люди не богатые, они предупредили основательниц, что всякий намек о вознаграждении сочтут за личное оскорбление. Затем, летом, под руководством профессоров университета, устраивались в окрестностях Петербурга геологические и ботанические экскурсии, и большею частью на экскурсии собирались женщины. На акушерских курсах слушательницы убедили профессоров читать каждый предмет гораздо полнее, чем требовалось по программе, и добились преподавания предметов, вовсе не входивших в программу. Словом, женщины пользовались всякою возможностью, всякою брешью в крепости, чтобы взять ее штурмом. Они добились доступа в анатомический театр профессора Грубера [130] и своими превосходными работами заручили на свою сторону старого ученого, для которого анатомия была культом. И если они узнавали, что какой-нибудь профессор согласен

допустить их в свою лабораторию по вечерам или по воскресеньям, то немедленно пользовались этим случаем учиться.

Наконец, несмотря на все нежелание министерства, подготовительные курсы, под названием педагогических, открылись. В самом деле, нельзя же было воспретить будущим матерям изучение методов воспитания! Но так как метод преподавания ботаники или естественных наук вообще нельзя изучать абстрактно, то вскоре в программу педагогических курсов вошли эти предметы, а потом еще и другие.

Шаг за шагом женщины расширяли свои права. Как только становилось известно, что тот или другой профессор в Германии собирается открыть свою аудиторию женщинам, как в его двери уже стучались русские слушательницы. Они изучали право и историю в Гейдельберге, математику в Берлине. В Цюрихе более ста женщин и девушек работали в лабораториях университета и политехникума. Там они добились более важного, чем докторские дипломы, а именно — уважения лучших профессоров, которые и высказывали его публично. Когда я приехал в Цюрих в 1872 году и познакомился с некоторыми студентками, то был поражен тем, как молодые девушки в политехникуме разрешали, при помощи дифференциального исчисления, сложные задачи по теории теплоты или упругости так легко, будто много лет учились математике. Среди русских девушек, изучавших математику в Берлине под руководством Вейерштраса, была, как известно, Софья Ковалевская [111], ставшая впоследствии профессором Стокгольмского университета. Кажется, она была первый профессор-женщина в мужском университете, по крайней мере, в XIX веке. Ковалевская была так молода, что в Швеции все называли ее не иначе, как уменьшительным именем.

Александр II ненавидел ученых женщин. Когда он встречал девушку в очках и в гарибальдийской шапочке, то пугался, думая, что перед ним нигилистка, которая вот-вот выпалит в него из пистолета. А между тем, несмотря на его нежелание, несмотря на оппозицию жандармов, изображавших царю каждую учащуюся женщину революционеркой, несмотря на громы против всего движения и на гнусные обвинения, которые Катков печатал в каждом номере своей подлой газеты, женщины все же добились открытия ряда курсов. Некоторые из них получили докторские дипломы за границей, а в 1872 году они добились разрешения открыть в Петербурге высшие медицинские курсы на частные средства. Когда же правительство отозвало учащихся женщин из Цюриха из страха, что они будут знакомиться там с революционерами и проводить потом революционные идеи на родине, то оно вынуждено было открыть в России для них высшие курсы, то есть женские университеты, в которых скоро оказалось более тысячи слушательниц. Не поразительно ли, в самом деле, что, несмотря на правительственное гонение на медицинские курсы, несмотря на временное закрытие их, в России теперь более 670 женщин-врачей *.

Без сомнения, то было великое движение, изумительное по своим результатам и крайне поучительное вообще. Победа была одержана благодаря той преданности народному делу, которую проявили женщины. Они проявили ее как сестры милосердия во время Крымской войны,

* Писано в 1898 году. *Прим. ред.*

впоследствии как учредительницы школ, как земские акушерки и фельдшерицы и, наконец, еще позже, они стали сестрами милосердия и врачами в тифозных бараках во время Русско-турецкой войны и здесь заслужили уважение не только военных властей, но и самого Александра II, недружелюбно относившегося к ним сначала. Я знаю двух женщин, которые служили на войне сестрами милосердия. Они отправились с чужим паспортом, так как их усердно разыскивали жандармы. Одну из них — наиболее важную «преступницу», С. Н. Лаврову [122], принимавшую большое участие в моем побеге, — назначили даже старшей сестрой в военном госпитале, где подруга ее едва не умерла от тифа. Короче, женщины брались за всякое дело, с какими бы трудностями оно ни было сопряжено, если только могли быть полезны народу. И так поступали не единичные личности, а тысячи. Они в буквальном смысле слова завоевали свои права.

Другой характерной чертой женского движения было то, что в нем не образовалось упомянутой выше пропасти между двумя поколениями: старших и младших сестер. Во всяком случае, через овраг было не мало мостиков. Те женщины, которые были первыми инициаторами движения, никогда не порывали потом связи с младшими сестрами даже тогда, когда последние ушли гораздо дальше вперед и стали придерживаться крайних взглядов. Они преследовали свои цели в высших сферах, они держались в стороне от всяких политических агитаций, но они никогда не забывали, что сила движения в массе более молодых женщин, большая часть которых примкнула впоследствии к революционным кружкам. Эти вожаки женского движения были олицетворением корректности; я считал их даже слишком корректными; но они не порывали с молодыми студентками, типичными нигилистками по внешности: стриженными, без кринолинов, щеголявшими демократическими замашками. От этой молодежи вожаки движения держались немного в стороне; иногда даже отношения обострялись; но они никогда не отрекались от своих младших сестер, — великое дело, скажу я, — во время тогдашних безумных преследований.

Вожаки женского движения, казалось, говорили более демократической молодежи: «Мы будем носить наши бархатные платья и шиньоны, потому что нам приходится иметь дело с глупцами, видящими в наряде признак политической благонадежности; но вы, девушки, вольны в ваших вкусах и наклонностях». Когда русское правительство приказало студенткам, учившимся в Цюрихе, возвратиться на родину, изящные дамы-вожаки не отвернулись от них. Они только сказали правительству: «Вам это не нравится? Так откройте высшие женские курсы в России. Иначе наши девушки поедут за границу в еще большем числе и, конечно, будут вступать там в сношения с эмигрантами». Когда же их попрекали тем, что они воспитывают революционерок, и грозили, что закроют высшие женские курсы и академию, они отвечали: «Да, многие студенты становятся революционерами, но разве из этого следует, что надо закрыть все университеты?» Как редки политические вожаки, имеющие мужество не отвернуться от крайнего крыла своей собственной партии!

Секрет этой благоразумной и успешной тактики объясняется тем, что ни одна из женщин, стоящих во главе движения, не была просто «феми-

ницкой», желавшей занять привилегированное положение в обществе или в государстве. Совсем напротив. Симпатии большинства были на стороне народа. Я помню живое участие, которое принимала Стасова [133] в воскресных школах 1861 года, помню те дружеские отношения, которые она и ее друзья завязывали среди девушек-фабричных, интересуясь тяжелой жизнью работниц, их борьбой с жадными хозяевами. Помню также то горячее участие, которое слушательницы педагогических курсов приняли в сельских школах и в трудах тех немногих, которым, как барону Корфу [134], на некоторое время разрешали заниматься педагогической деятельностью среди народа. Помню также общественный дух, которым были проникнуты эти курсы. Права, за которые они боролись, — как вожаки, так и масса этих женщин, — были вовсе не право на получение лично для себя высшего образования, а гораздо больше, несравненно больше: право быть полезными деятельницами среди народа. В этом и была причина их успеха.

VII

В последние годы здоровье нашего отца все ухудшалось. Когда мы приехали с братом Александром повидать его весной 1871 года, доктора сказали нам, что он доживет только до первых морозов. Он жил по-прежнему в Старой Конюшенной; но в этом аристократическом квартале произошли за последнее время большие перемены. Богатые помещики, игравшие здесь когда-то такую видную роль, исчезли. Они прокутили выкупные свидетельства, заложили и перезаложили свои имения в только что учрежденных земельных банках, которые воспользовались их беспомощностью, а затем удалились в свои имения или провинциальные города, где и были забыты всеми. Их дома в Старой Конюшенной достались богатым купцам, железнодорожникам и тому подобным «выскочкам», тогда как почти в каждой из старых дворянских семей новая жизнь боролась за свои права среди развалин старой. Единственными знакомыми отца остались два-три старых отставных генерала, проклинавших новшества и облегчавших душу предсказаниями неминуемой гибели России, да еще, может быть, кто-нибудь из родни, случайно заглядывавший к нему проездом через Москву. Из всех наших многочисленных родственников, которых было когда-то в Москве не меньше двадцати семейств, теперь в столице жило всего две семьи, тоже увлеченные потоком новой жизни: матери в этих семьях обсуждали с дочерьми и сыновьями вопросы о народных школах или толковали о женских курсах... Отец, конечно, глядел на них с презрением. Он не мог примириться с новыми порядками... Мачеха и младшая сестра Полина, по мере сил ухаживала за ним; но и они тоже чувствовали себя неловко в изменившейся среде.

Отец всегда был суров и в высшей степени несправедлив к Александру; но Александр отличался замечательной незлобивостью. Когда со своей доброй улыбкой на губах и в кротких голубых глазах он вошел в комнату, где лежал отец, и тотчас же нашел, что следует сделать, чтобы больному было удобнее, причем все это выходило так просто и естественно, точно Александр все время просидел в комнате больного, отец был совершенно поражен. Он глядел на Александра, повидимому,

ничего не понимая. Наше посещение внесло несколько жизни в мрачный печальный дом. Уход за больным стал несколько живее. Мачеха, Поля, даже прислуга оживились, и отец сразу почувствовал перемену.

Одно, впрочем, смущало его. Он ожидал, что мы явимся как блудные сыновья, с мольбой о прощении и помощи. Но когда он обиняками завел разговор о деньгах, мы весело ответили ему: «Не беспокойтесь, папаша, мы отлично устроились». Это еще больше сбило его. Он совсем подготовился к сцене, как бывало в его время: сыновья просят прощения и... денег. Быть может, одну минуту он испытал даже разочарование, что ее не было, но зато потом он стал относиться к нам с большим уважением. Расставаясь, мы все трое были очень растроганы. Отца почти страшило возвращение к мрачному одиночеству среди развалин строя, который он поддерживал всю жизнь. Но Александра ждала служба, а мне необходимо было ехать в Финляндию на геологическую работу.

Осенью, когда меня вызвали по телеграфу из Финляндии, я поспешил в Москву, но приехал уже к отпеванию — в той самой красной церкви Иоанна Предтечи в Старо-Конюшенном переулке, в которой крестили отца и отпевали бабушку. И, следуя за катафалком по знакомым мне с детства улицам, я думал о совершившихся переменах. Дома, мимо которых шла процессия, мало изменились, но я знал, что в каждом из них началась новая жизнь.

Вот дом, прежде принадлежавший матери моего отца, затем княгине Друцкой, а потом старожилу Старой Конюшенной генералу Дурново [135]. Единственная его дочь [136] упорно боролась два года с добродушными, боготворившими ее, но упрямыми родителями из-за разрешения посещать высшие курсы. Наконец, девушка победила; но ее отправляли на курсы в элегантной карете под надзором маменьки, которая мужественно высиживала часы на скамейках аудитории вместе со слушательницами, рядом с любимой дочкой. И, несмотря на бдительный надзор, через год или два дочь присоединилась к революционному движению, была арестована и просидела целый год в Петропавловской крепости.

Вот, например, дом графов Z. Две дочери их, которым опротивела бесполезная, бесцельная праздная жизнь, долго боролись из-за разрешения присоединиться к другим девушкам, посещавшим курсы и чувствовавшим себя там столь счастливыми. Борьба продолжалась несколько лет. Родители не уступали. В результате старшая сестра отравилась; только тогда младшей разрешили поступать, как ей угодно.

А вот, наискось от дома нашей бабушки, дом, где мы прожили когда-то год. Он принадлежал впоследствии родным Наталии Армфельд [137], трогательный портрет которой дал Кеннан, видевший ее в вольной команде на Каре, деятельного члена нашего кружка, уцелевшей от разгрома 1874 года и смело продолжавшей нашу работу; и в этом доме состоялось первое заседание московского отдела нашего кружка, который мы с Чайковским основали [138].

А вот еще в нескольких шагах от дома, в котором скончался отец, небольшой серенький дом, где через несколько месяцев после смерти отца я встречал Степняка, переодетого мужиком. Он только что был арестован в деревне за социалистическую пропаганду среди крестьян, но успел убежать и приехал в Москву.

Такие-то перемены произошли в барском квартале Старой Конюшенной за последние пятнадцать лет. Крепость старого дворянства — и та не выдержала напора молодых сил.

VIII

Ранней весной следующего года я в первый раз побывал за границей. Переезжая рубеж, я испытал даже сильнее, чем я ожидал этого, то, что чувствуют все русские, выезжающие из России. Пока поезд мчится по мало населенным северо-западным губерниям, испытываешь чувство, как будто пересекаешь пустыню. На сотни верст тянутся заросли, к которым едва применимо название леса. Там и сям виднеется жалкая деревушка, полузанесенная снегом. Но со въездом в Пруссию все меняется сразу — и пейзаж и люди. Из окон вагона видны чистенькие деревни и фермы, садики, мощеные дороги, и чем дальше проникаешь в Германию, тем противоположность становится разительнее. После русских городов даже скучный Берлин кажется оживленным.

А разница в климате! Два дня тому назад, когда я оставлял Петербург, все было покрыто снегом; здесь же, в центральной Германии, я ходил по платформе железнодорожной станции без пальто. Солнце припекало; почки уже налились, и цветы готовы были распуститься. А потом пошел Рейн, а еще дальше Швейцария, залитая яркими лучами солнца, с ее маленькими отелями, где завтрак вам дают под открытым небом, в виду снежных гор. До тех пор я никогда так ясно не представлял себе, что значит северное положение России, и какое влияние на ее историю имело то обстоятельство, что центр ее умственной жизни лежит на севере, у самых берегов Финского залива. Только теперь я понял вполне, почему юг всегда так привлекал русских, почему они употребили такие невероятные усилия, чтобы достигнуть Черного моря, и почему сибирские засельщики так упорно стремятся на юг, в глубь Маньчжурии.

В то время в Цюрихе училось множество русских студентов и студенток. Знаменитая Обершграссе была настоящим русским городком; русская речь здесь преобладала. Студенты, а в особенности студентки, жили так, как вообще живут русские учащиеся, то есть на самые ничтожные средства. Чай, хлеб, немного молока, маленький ломтик мяса, зажаренный на спиртовой лампочке, под оживленные разговоры про последние события в социалистическом мире или по поводу прочитанной книги, этим вполне довольствовалась молодежь. Те, которые имели больше денег, чем требовалось для подобной жизни, отдавали их на общее дело: на библиотеку, на русский революционный журнал, на швейцарские рабочие газеты. Относительно нарядов публика была до крайности неприхотлива.

«Но девушке в семнадцать лет
Какая шапка не пристанет?»

и в старом городе Цвингли русские студентки как бы ставили населению вопрос: может ли быть такой простой наряд, который не пристал бы девушке, когда она молода, умна и полна энергии? [139]

И, вместе с тем, русские женщины работали упорно и настойчиво; так никогда еще не работали с тех пор, как существуют университеты. Профессора не переставали ставить женщин в пример студентам.

Наши студенты и студентки, конечно, принимали горячее участие в рабочем движении, т. е. следили за ним, читали рабочие газеты и брошюры и горячо принимали сторону той или другой партии. Социал-демократы, конечно, были в подавляющем большинстве, но было и несколько бакунистов: — Сонечка, [140] Смецкая, [141] Росс [142] и несколько других. Но тогда уже меня поразил тот факт, что все они далеко держались в стороне от местного швейцарского рабочего движения. Слушая их споры, казалось, что они готовы жизнь отдать за свою партию в Цюрихе, а между тем к рабочему движению в самом Цюрихе они не приставали, они «кипели в своем соку», страстно споря в своих кружках и ссорясь из-за заграничных течений вместо того, чтобы на работе, среди заграничных рабочих, на практике учиться будущей работе среди русских рабочих и крестьян и знать, по крайней мере, не из журналов, а из действительной жизни те направления, из-за которых они ссорились. Русские ходили только на большие собрания, где агитаторы-социалисты гремели речами. Повседневную бесшумную работу среди рабочих масс они избегали. Так было тогда, так осталось и потом.

Уже много лет мне страстно хотелось изучить все, касающееся Интернационала [143]. Русские газеты часто упоминали о нем, но им не разрешалось писать ни о целях, ни о деятельности Международного союза работников. Я догадывался, что это должно быть великое движение, имеющее богатое будущее, но я не мог хорошо уловить его цели. Теперь, в Швейцарии, я решился найти ответ на все мои вопросы.

Интернационал находился тогда на высшей точке своего развития. Сороковые годы пробудили в сердцах западно-европейских рабочих большие надежды. Лишь теперь мы узнаем, какую массу литературы распространили тогда среди пролетариата социалисты всех оттенков: христианские и государственные социалисты, фурьеристы, сен-симонисты, оуэнисты и так далее; и только теперь мы начинаем понимать, как глубоко было это движение. Многое из того, что наше поколение считает своим открытием, было выражено уже тогда, подчас с большею силой и большим пониманием. Республиканцы под словом «республика» понимали тогда вовсе не демократическую организацию капитализма, как понимается это теперь, а нечто совершенно другое. Когда республиканцы говорили об Европейских Соединенных Штатах, они подразумевали братство всех работников и обращение орудий истребления в орудия производства, предоставленные всем членам общества: «Мечи, перекованные в орала», «железо, возвращенное работникам», как говорил в одной из своих песен Пьер Дюпон [144]. Республиканцы стремились не только к равенству перед законом и к равным политическим правам, но, главным образом, к экономическому равенству. Даже националисты думали тогда о такой молодой Германии, молодой Италии и молодой Венгрии, которые возьмут на себя почин смелых аграрных и экономических реформ.

Разгром июньского восстания в Париже, поражение венгерской армии Николаем I и молодой Италии французами и австрийцами, потом мрачная политическая и умственная реакция, начавшаяся вскоре после 1848 года по всей Европе, совершенно задавили громадное движение того времени, и в последующие двадцать лет люди просто забыли литературу социалистов сороковых годов, их деятельность и самые принципы экономической революции и всеобщего братства. Во Франции, после

июньских дней 1848 года, социалистическую литературу скупало и уничтожало особое общество под председательством Тьера [145], основанное для борьбы с социализмом.

Но одна идея уцелела среди этого разгрома — мысль о братстве работников всех стран. Несколько французских изгнанников продолжали проповедывать ее в Соединенных Штатах, а в Англии она жила среди учеников Роберта Оуэна [146]. И в 1862 году соглашение, состоявшееся между немногими английскими работниками и французскими делегатами во время всемирной выставки в Лондоне, послужило отправною точкою для мощного движения, которое вскоре распространилось по всей Европе, захватив миллионы представителей труда. Спавшие двадцать лет надежды снова пробудились, когда из Лондона раздался призыв к работникам «всех наций, религий, рас, цветов и полов» соединиться и заявить, что «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих». Их приглашали внести в поток эволюции человечества новую мощную силу интернациональной организации, борющейся не во имя слащавой любви и милосердия, а во имя справедливости, которая неизбежно должна быть оказана людям, сознавшим свой идеал и цели жизни.

В 1868 и 1869 годах в Париже произошли две стачки, до известной степени поддержанные небольшими суммами, присланными из-за границы, главным образом из Англии. Хотя эти стачки сами по себе были незначительны, но они, а вслед затем преследование Интернационала наполеоновским правительством породили мощное движение, которое противопоставило соперничеству государств единение всех работников. Мысль о международном объединении всех отдельных ремесл и о борьбе против капитала при международной поддержке увлекла всех, даже самых индиферентных рабочих. Как степной пожар, движение быстро охватило Францию, Италию, Бельгию и Испанию и выдвинуло множество развитых, деятельных и преданных рабочих. К движению присоединилось также несколько выдающихся личностей обоего пола из высших классов. В Европе с каждым днем крепла сила, существование которой до тех пор даже не подозревалось. И если бы движение не было задержано Франко-прусской войной, в Европе произошли бы, вероятно, великие события, которые ускорили бы процесс и изменили характер нашей цивилизации. Но сокрушившая Францию победа Германии создала ненормальные условия. Она на двадцать пять лет затормозила правильное развитие Франции и породила период военщины, из которого мы до сих пор еще не выбились.

В то время среди работников были в ходу всякие полумеры, предлагавшиеся для разрешения великого социального вопроса: потребительные и производительные общества, поддержанные государством, народные банки, даровой кредит и так далее. Проекты всех этих полумер вносились один за другим в «секции» или «отделы» Международного союза, а затем в местные, окружные, национальные и, наконец, интернациональные съезды и горячо обсуждались. Вместо всех этих полумер вырастала идея великой социальной революции. Каждый год международный съезд союза работников знаменовал собою новый шаг вперед в развитии вопроса, который стоит теперь перед нашим поколением и грозно требует разрешения. До настоящего времени никем еще не была сделана должная оценка всех тех умных, научно-верных и глубоких мыслей

(все они были результатом коллективного мышления работников), которые были высказаны на этих конгрессах *. Достаточно сказать, — и в этом не будет никакого преувеличения, — что все проекты преобразования общества, известные теперь под названием «научного социализма» и «анархизма», имеют свое начало в рассуждениях съездов и в различных докладах Интернационала. Немногие образованные люди, присоединившиеся к движению, только облекли в теоретическую форму желания и критику действительности, высказанные рабочими в отделах Международного союза и на его съездах.

Война 1870—1871 годов замедлила, но не прекратила развития Союза. Во всех промышленных центрах Швейцарии продолжали существовать многочисленные и оживленные секции (отделы) Интернационала, и тысячи работников посещали их заседания, на которых объявлялась война существующей системе частного владения землей и фабриками и провозглашалось, что близок конец капиталистического строя. В различных местах Швейцарии устраивались местные съезды, и на каждом из них обсуждались наиболее животрепещущие и трудные вопросы современного общественного строя, причем знание предмета и широта постановки вопросов пугали буржуазию едва ли не больше, чем все возраставшее число членов в секциях и федерациях Интернационала. Соперничество и зависть, всегда существовавшие между привилегированными работниками (часовщиками, ювелирами) и представителями более грубых производств (например, строительными рабочими и ткачами) и препятствовавшие до тех пор объединению, исчезали мало-по-малу. Работники все с большею и большею силою заявляли, что из всех перегородок, настроенных в современном обществе, самая главная и самая вредная — та, которая делит общество на обладателей капитала и на пролетариев, обреченных, в силу своей прирожденной бедности, навсегда оставаться производителями богатства для капиталистов.

Италия, в особенности средняя и северная, была тогда покрыта отделами Интернационала, и в них открыто заявлялось, что национальное единство Италии, из-за которого так долго боролись патриоты, оказалось чистою иллюзией. Народ призывали теперь произвести собственную революцию: забрать землю для крестьян и фабрики для работников и уничтожить гнет централизованного государства, исторической миссией которого всегда было поддерживать эксплоатацию и порабощение человека человеком.

В Испании отделы Интернационала возникли во множестве в Каталонии, Валенсии и Андалузии. Они поддерживались сильными рабочими союзами в Барцелоне, которые уже тогда добились восьмичасового дня в строительном деле. Интернационал насчитывал в Испании не меньше весьмидесяти тысяч платящих членов. В него вошли все деятельные и энергичные элементы общества. Нежеланием вмешиваться в политические интриги 1871—1872 годов они расположили к себе громадную массу населения. Отчеты о провинциальных и национальных съездах в Испании и их манифесты всегда были образцами строгой логики в кри-

* Я должен, однако, отметить книгу, отвечающую отчасти этому запросу, которая начала выходить осенью 1905 года. Это — «L'Internationale, Documents et souvenirs» (1864—1878) моего друга James Guillaume. Она вышла в четырех томах (Париж, 1912—1914). *П. К. 1917 года.*

тике существующего строя и превосходными изложениями идеалов рабочего класса.

То же самое движение распространялось в Бельгии, Голландии и даже в Португалии. Лучшие элементы бельгийских ткачей и углекопов присоединились к Интернационалу. В Англии трэд-юнионы, т. е. рабочие союзы, известные своею косностью, присоединились к движению, по крайней мере, в принципе, то есть, еще не признавая себя социалистами, они выразили готовность поддерживать своих братьев на материке в борьбе с капиталом, в особенности во время стачек. В Германии социалисты заключили союз с многочисленными последователями Лассаля [147], и таким образом заложен был фундамент социал-демократической партии. Австрия и Венгрия шли тем же путем. Во Франции после поражения Коммуны и наступившей вслед за тем реакции никакая организация Интернационала не была возможна, так как Союз был запрещен и против членов Союза изданы были драконовские законы, но все, тем не менее, были убеждены, что вскоре Франция не только присоединится к движению, но даже станет во главе его.

По приезде в Цюрих я вступил в одну из местных секций Интернационала и спросил своих русских приятелей, по каким источникам можно познакомиться с великим движением, начавшимся в других странах. «Читайте», — сказали мне, и одна моя родственница (Софья Николаевна Лаврова), учившаяся тогда в Цюрихе, принесла мне целую кипу книг, брошюр и газет за последние два года. Я читал целые дни и ночи напролет, и вынесенное мною впечатление было так глубоко, что никогда ничем не изгладится. Поток новых мыслей, зародившихся во мне, связывается в моей памяти с маленькой, чистенькой комнаткой на Оберштрассе, из окна которой видно было голубое озеро, высокие шпили старого города, свидетеля стольких ожесточенных религиозных споров и горы на другом берегу, где швейцарцы боролись за свою независимость.

Социалистическая литература никогда не была богата книгами. Она писана для рабочих, у которых и несколько копеек — уже деньги, да и времени мало на чтение после долгого рабочего дня. Поэтому она состоит преимущественно из брошюр и газет. К тому же желающий ознакомиться с социализмом мало найдет в книгах того, что больше всего ему нужно узнать. В книгах изложены теории и научная аргументация социализма, но они не дают понятия о том, как работники принимают социалистические идеалы и как последние могут быть осуществлены на практике. Остается взять кипы газет и читать их от доски до доски: хронику, передовые статьи и все остальное; хроника рабочего движения даже важнее передовых.

Зато совершенно новый мир социальных отношений и совершенно новые методы мышления и действия раскрываются во время этого чтения, которое дает именно то, чего ни в каком другом месте не узнаешь, а именно: объясняет глубину и нравственную силу движения и показывает, насколько люди проникнуты новыми теориями, насколько работники подготовлены провести идеи социализма в жизни и пострадать за них. Всего этого из другого чтения нельзя узнать, а потому все толки теоретиков о неприменимости социализма и о необходимости медленного развития имеют мало значения, потому что о быстроте развития можно

судить только на основании близкого знакомства с людьми, о развитии которых мы говорим. Можно ли узнать сумму, пока не известны ее слагаемые?

Какая польза, например, мне знать, что Энгельс [148] построил такую-то утопию или Кабе [149] выражался так-то о будущем обществе, пока у меня нет никаких элементов для того, чтобы сказать: «Да, рабочие способны вести такие-то свои дела без помощи буржуа» или «в рабочей среде достаточно развит элемент взаимопомощи, взаимной поддержки и инициативы, чтобы приступить к осуществлению идеалов социализма».

Общественная (социальная) гипотеза и утопия должны оставаться утопией и гипотезой, если нет людей, стремящихся к осуществлению именно этой утопии в такой-то форме. Простой факт, например, что во время Парижской Коммуны, когда все чиновники оставили Париж и почта была дезорганизована, рабочему Тейшу [150] достаточно было собрать простых почтальонов и сказать им: «Вам, господа, предстоит самим организовать сортировку и разноску писем, не ожидая организации сверху», чтобы через два-три дня разноска почты в Париже сорганизовалась с тем же механическим совершенством, как это было и до Коммуны. Такой факт — а их тысячи в хронике рабочего движения — больше проливает света на возможность безгосударственной утопии, чем десятки блестящих рассуждений о руководящих импульсах человеческих поступков.

Во всех социальных вопросах главный фактор — хотят ли того-то люди? Если хотят, то насколько хотят они этого? Сколько их? Какие силы против них? Все теории эволюции ничего не стоят, покуда на этот вопрос нет ответа. Медленность эволюции — конек Спенсера и многих других ученых. А между тем никто никогда еще в науке не пытался определить факторы, от которых зависит скорость эволюции. Скорость человеческой эволюции в данном направлении вполне зависит от интеграла единичных воль. А между тем найти этот интеграл или хотя бы только оценить его количественно можно, только живя среди людей и следя за самыми простыми, обыденными, мелкими проявлениями человеческой воли.

Вот в каком смысле чтение социалистических газет несравненно важнее чтения книг по социализму. Сочинение, большая книга, резюмирует идеал, нарождающийся в человечестве с придачей аргументов, более или менее умно придуманных автором. Рабочая социалистическая газета дает просто факты, знакомясь с которыми, мы можем составить себе приблизительное понятие об этом интеграле воль в данном направлении. Так, в метеорологии невозможно судить о предстоящей погоде, не зная, сколько есть шансов, чтобы барометрический максимум такого-то рода появился в данном месяце в такой-то части Европы.

Чтение социалистических и анархических газет было для меня настоящим откровением. И из чтения их я вынес убеждение, что примирения между будущим социалистическим строем, который уже рисуется в глазах рабочих, и нынешним — буржуазным быть не может. Первый должен уничтожить второй.

Чем больше я читал, тем сильнее я убеждался, что предо мною новый для меня мир, совершенно неизвестный ученым авторам социологических теорий. Мир этот я мог изучить, только проживши среди рабочего

Интернационала и присматриваясь к его повседневной жизни. Поэтому я решил посвятить такому изучению два-три месяца. Мои русские знакомые одобрили мой план, и после нескольких дней, проведенных в Цюрихе, я отправился в Женеву, которая была тогда крупным центром Интернационала.

Женевские секции Интернационала собирались в огромном масонском храме Temple Unique. Во время больших митингов просторный зал мог вместить более двух тысяч человек. По вечерам же всякого рода комитеты и секции заседали в боковых комнатах, где читались также курсы истории, физики, механики и так далее. Очень немногие интеллигентные люди, приставшие к движению, большею частью французские эмигранты-коммунисты, учили без всякой платы. Храм служил, таким образом, и народным университетом и вечевым сборным местом.

Одним из главных руководителей в масонском храме был Николай Утин [134], образованный, ловкий и деятельный человек. Утин принадлежал к марксистам. Жил он в хорошей квартире с мягкими коврами, где, думалось мне, зашедшему простому рабочему было бы не по себе. Душой же всего являлась симпатичная русская женщина, которую работники величали m-me Olga. Она деятельнее всех работала во всех комитетах. Утин и m-me Olga приняли меня очень радушно, познакомили со всеми выдающимися работниками различных секций, организованных по ремеслам, и приглашали на комитетские собрания. Я побывал и на этих собраниях, но гораздо более предпочитал им среду самих рабочих.

За стаканом кислого вина я просиживал подолгу вечером в зале у какого-нибудь столика среди работников и скоро подружился с некоторыми из них, в особенности с одним каменщиком-эльзасцем, покинувшим Францию после Коммуны. У него были дети: двое из них в возрасте детей моего брата, недавно умерших скоропостижно. Я скоро сдружился с детьми, а через них и с родителями. Теперь я мог наблюдать жизнь движения изнутри и лучше понимать, как смотрели на него сами работники. Они все свои надежды основывали на Интернационале. Молодые и старые спешили после работы в Temple Unique, чтобы подобрать там крупицы знания или послушать ораторов, говоривших о великой будущности. Затаив дыхание, они слушали про строй, который будет основан на общности орудий производства, на полном братстве без различия сословий, рас и национальностей. Все верили, что так или иначе вскоре наступит великая социальная революция, которая совершенно изменит экономические условия. Никто не желал междоусобной войны, но все говорили, что если правящие классы своим слепым упрямством сделают ее неизбежной, то нужно будет воевать, лишь бы только борьба принесла с собою благоденствие и свободу угнетенным.

Нужно было жить среди рабочих, чтобы понять, какое влияние имел на них быстрый рост Интернационала, как верили они в движение, с какою любовью говорили про него и какие делали для него жертвы. Изо дня в день, из года в год тысячи работников жертвовали своим временем и деньгами, чтобы поддержать свою секцию, основать газету, покрыть расходы по устройству какого-нибудь национального или международного съезда, чтобы помочь товарищам, пострадавшим за Союз, или просто, чтобы присутствовать на собраниях и манифестациях. Глубокое впечатление произвело также на меня то облагораживающее влияние, которое

имел Интернационал. Большинство парижских интернационалистов не пило спиртных напитков, все оставили курение: «Зачем я стану потакать этой слабости?» — говорили они. Все мелкое, низменное исчезало, уступая место величественному и возвышенному.

Посторонние наблюдатели совершенно не способны понять, какие жертвы приносят рабочие, чтобы поддерживать движение. Уже для того, чтобы открыто присоединиться к какой-нибудь секции Интернационала, требовалось не мало мужества; это значило восстановить против себя хозяина и, по всей вероятности, получить расчет при первом удобном случае, а следовательно, долгие месяцы безработицы. Но даже при наилучших условиях присоединение к рабочему союзу или к той или другой крайней партии требует целого ряда беспрерывных жертв. Даже те несколько копеек, которые европейский работник дает на общее дело, чувствительно отзываются на его средствах жизни. А между тем не мало копеек ему приходится давать каждую неделю. Частое посещение собраний тоже представляет собою некоторую жертву. Для нас провести вечер на митинге является даже удовольствием, но работник, трудовой день которого начинается в пять или шесть часов утра, должен отнять несколько часов своего сна, чтобы провести вечер на собрании далеко от своей квартиры.

Для меня этот ряд непрерывных жертв служил постоянным укором. Я видел, как жадно стремились рабочие к образованию, а между тем число добровольных учителей было так ничтожно, что было от чего притти в отчаяние. Я видел, как нуждаются трудящиеся массы в помощи образованных людей, обладающих досугом, для устройства и развития их организации. Но как ничтожно было число буржуа, являвшихся с бескорыстным предложением своих услуг, без желания извлечь известные личные выгоды из самой беспомощности народа! Все больше и больше я чувствовал, что обязан посвятить себя всецело массам. Степняк в своем романе «Андрей Кожухов» говорит, что каждый революционер переживает в жизни такой момент, когда какие-нибудь обстоятельства, иногда ничтожные сами по себе, заставляют его дать себе «аннибалову клятву» беззаветно отдаться революционной деятельности. Я знаю этот момент и пережил его после одного большого собрания в Temple Unique по случаю Парижской Коммуны (18 марта). Незадолго перед этим Тьер расстрелял Росселя и Ферре. Они были расстреляны спустя почти семь месяцев после подавления Коммуны, без нужды уже, просто чтобы порадовать буржуа. Митинг 18 марта был чрезвычайно многолюден и оживлен. Рабочие были возбуждены и готовы итти в бой и жертвовать всем. Слушая ораторов из рабочей и интеллигентной среды, я в этот вечер как-то особенно сильно почувствовал как трусливы образованные люди, медлящие отдать массам свои знания, энергию и деятельность, в которых народ так нуждается. Вот люди, — думал я, смотря на рабочих, — сознавшие свое рабство и стремящиеся освободиться от него. Но где помощники им? Где те, которые придут служить массам, а не для того чтобы пользоваться ими ради собственного честолюбия?»

Возвратившись в свою комнатку в небольшом отеле возле горы, я долго не мог заснуть, раздумывая под наплывом новых впечатлений. Я все больше и больше проникался любовью к рабочим массам, и я ре-

шил, я дал себе слово отдать мою жизнь на дело освобождения трудящихся. Они борются. Мы им нужны, наши знания, наши силы им необходимы — я буду с ними.

Но мало-по-малу зарождалось во мне также сомнение насчет искренности пропаганды, которая велась в Temple Unique. Раз вечером хорошо известный женевский адвокат Амберни явился на собрание и заявил, что если он до сих пор не присоединился к Интернационалу, то только потому, что ему необходимо было устроить предварительно свои собственные денежные дела. Так как теперь он этого достиг, то намерен пристать к рабочему движению. Меня поразил цинизм этого заявления, и я сообщил свои мысли моему приятелю-каменщику. Оказалось, что на предыдущих выборах адвокат искал поддержки радикальной партии, но был разбит. Теперь он думал выехать на рабочей партии. «Покуда мы принимаем услуги подобных господ, — прибавил мой приятель, — но после социальной революции нашим первым делом будет вышвырнуть их за борт».

Вскоре вслед затем поспешно был созван митинг для протеста, как говорили, против «Journal de Genève». Эта газета богатых классов в Женеве писала, что в Temple Unique затевается что-то недоброе и что строительные ремесла подготовляют такую же общую стачку, как и в 1869 году. Поэтому вожаки Temple Unique созвали сходку. Тысячи работников наполнили зал, и Утин предложил им принять резолюцию, выражения которой показались мне очень странными: собрание приглашалось «с негодованием протестовать» против невинной, по-моему, заметки, что работники собираются устроить стачку. «Почему же эту заметку хотят назвать клеветой? — недоумевал я. — Разве в стачке есть нечто преступное?» Утин между тем торопился и закончил свою речь словами: «Если вы, граждане, согласны с моим предложением, я пошлю его сейчас же для напечатания». Он уже готов был сойти с платформы, когда кто-то заметил, что не мешало бы, однако, сперва обсудить вопрос; и тогда один за другим поднялись представители различных строительных ремесл, заявляя, что в последнее время заработная плата была так низка, что нельзя жить, что к весне предвидится много работы и что этим обстоятельством рабочие хотят воспользоваться, чтобы поднять заработок. Если же предприниматели не согласятся, то работники немедленно начнут стачку.

Я был в ярости и на другой день стал попрекать Утина за его предложение. «Как же это возможно? — говорил я. — Как вожак вы должны были знать, что стачка действительно подготовлялась». По наивности я не понял даже истинных мотивов вожаков, и сам Утин объяснил мне, что «стачка гибельно отозвалась бы на выборах адвоката Амберни».

Я не мог согласить этих махинаций вожаков с теми пламенными речами, которые они произносили с платформы. Я был вполне разочарован и сказал Утину, что хочу познакомиться с «бакунистами» или «федералистами», то есть с другой женевской секцией Интернационала. Слово «анархизм» тогда еще мало употреблялось. Утин тотчас же дал записку, с которой я мог пойти к Николаю Жуковскому [152], принадлежавшему к «бакунистам».

Жуковский принял меня дружески и сразу заявил, что их женевская секция ничего собою не представляет, но если я хочу познакомиться

с идеями и с борцами Юрской федерации Интернационала, то мне надо съездить в Невшатель и оттуда в горы, к часовщикам в Сэнт-Имье и в Сонвильё.

Я решил ехать. Пошел проститься с Утиным. Мы расстались с ним дружески, и я обещал ему писать.

— Только какая у вас на этот счет формула, — спросил я, — cher compagnon (дорогой товарищ) или cher citoyen (уважаемый гражданин)?

Утин посмотрел на меня и со вздохом сказал:

— Нет, вы к нам не вернетесь. Вы с ними останетесь, и писать мне не будете, а напишете разве «cher сукин сын».

Я было горячо запротестовал, но он сердечно только пожал мне руку и повернулся к себе. Я пошел в другую сторону.

IX

Я поехал сперва в Невшатель и провел затем около недели среди часовщиков в Юрских горах. Таким образом, я впервые познакомился с знаменитой Юрской федерацией [153], которая впоследствии сыграла такую видную роль в развитии социализма, введя в него принцип отрицания правительства, т. е. анархии.

В 1872 году Юрская федерация восстала против авторитета Генерального Совета Интернационала [154]. Великий Международный союз был вполне рабочим движением, и сами рабочие так и смотрели на него, вовсе не считая свой союз политической партией. В Восточной Бельгии, например, работники внесли в устав параграф, в силу которого не занимающийся ручным трудом не мог быть членом секции. Даже нарядчики не допускались. Кроме того, рабочие были вполне федералистами. Каждая нация, каждая отдельная область и даже каждая отдельная секция должны были пользоваться полною самобытностью развития. Но буржуазные революционеры старой школы, вступившие в Интернационал и проникнутые понятиями о централизованных пирамидальных тайных обществах прежних времен, ввели те же понятия в Международный союз рабочих.

Кроме федеральных и национальных советов, был выбран в Лондоне Генеральный Совет, который становился посредником между различными национальностями. Маркс [155] и Энгельс были его руководителями. Скоро, однако, выяснилось, что самый факт существования подобного центрального совета влечет за собою весьма большие неудобства. Генеральный Совет не удовольствовался ролью центрального бюро для сношений. Он стремился захватить все движение в свои руки, то одобряя, то порицая деятельность не только различных секций и федераций, но и отдельных членов. Когда началось восстание Коммуны в Париже и вождям приходилось лишь следовать за движением, не зная, куда оно их приведет на следующий день, Генеральный Совет непременно хотел руководить ходом дел, сидя в Лондоне. Он требовал ежедневных рапортов, отдавал приказы, одобрял, делал внушения и, таким образом, наглядно доказывал, как невыгодно иметь правительственное ядро. Невыгода стала еще более очевидна, когда Генеральный Совет созвал позднее тайный съезд в 1871 году и, поддерживаемый немногими делегатами, решил повернуть все силы Интернационала на выборную политическую агитацию. Многие

увидали тогда всю нежелательность правительства, как бы демократично ни было его происхождение. Так начинался современный анархизм, и Юрская федерация стала центром его развития.

В Юрских горах не было того разобщения между вожаками и работниками, которое я заметил в Женеве, в Temple Unique. Конечно, некоторые члены были более развиты, а главное, более деятельны, чем другие, но этим и ограничивалась вся разница. Джемс Гильом [154] один из наиболее умных и широко образованных людей, которых я когда-либо встречал, служил корректором и управляющим в маленькой типографии. Зарабатывал он этим так мало, что должен был еще по ночам переводить с немецкого на французский язык романы.

Когда я приехал в Невшатель, Гильом выразил мне сожаление, что не может уделить нашей беседе больше часа или двух. Их типография в этот день выпускала первый номер местной газеты, и Гильом не только редактировал и корректировал ее, но должен был еще надписывать по три тысячи адресов для первых номеров и заклеивать бандероли.

Я вызвался помочь ему писать адреса, но ничего не выходило. Гильом либо хранил адреса в памяти, либо отмечал их одной-двумя буквами на лоскутках бумаги.

— Нечего делать, — сказал я. — В таком случае я приду после обеда в типографию и стану заклеивать бандероли, а вы уделите мне то время, которое я вам сберегу.

Мы поняли друг друга, обменялись крепкими рукопожатиями, и с этого времени у нас завязалась крепкая дружба. Мы провели несколько часов в типографии. Гильом надписывал адреса, я заклеивал бандероли, а один из наборщиков — коммунар — болтал с нами обоими, быстро набирая в то же время какую-то повесть. Беседу он пересыпал фразами из набираемого оригинала, которые прочитывал вслух. Выходило приблизительно так:

— На улицах началась жаркая схватка... — «Дорогая Мария, люблю тебя...» — Работники были разъярены, и на Монмартре дрались как львы... — «И он упал перед ней на колени...» — И они отстаивали свое предместье целых четыре дня. Мы знали, что Галифэ [157] расстреливает всех пленных, и поэтому дрались с еще большим упорством. — И так далее. Рука его быстро летала по кассе.

Было уже очень поздно, когда Гильом снял, наконец, рабочую блузу. И тогда мы могли побеседовать по душе часа два, пока ему не пришла пора снова приняться за работу. Он редактировал «Бюллетень» Юрской федерации.

В Невшателе я познакомился также с Бенуа Малоном [158]. Он родился в деревне и в молодости был пастухом. Впоследствии он перебрался в Париж, где и выучился ремеслу: плести корзины. Вместе с переплетчиком Варлэном [159] и столяром Пэнди [160] он стал всем известен как один из наиболее видных деятелей Интернационала в период преследования его наполеоновским правительством (в 1869 году). Эти трое положительно полонили сердца парижских работников, и когда началось восстание Коммуны, Варлэн, Пэнди и Малон подавляющим большинством были избраны членами в совет Коммуны. Малон был также мэром одного из парижских округов. Теперь, когда я с ним познакомился в Швейцарии, он перебивался плетением корзин. За несколько су в месяц он снимал за городом, на склоне горы, небольшой открытый навес, откуда во время

работы мог любоваться великолепным видом на Невшательское озеро. Ночью же он писал письма и статьи для рабочих газет и составлял книгу о Коммуне. Таким образом, понемногу он стал писателем.

Я навещал его каждый день, чтобы послушать рассказы о Коммуне этого широколицего, трудолюбивого, слегка поэтического, спокойного и чрезвычайно добродушного революционера. Он принимал деятельное участие в восстании и теперь заканчивал книгу о нем под заглавием: «Третье поражение французского пролетариата».

Раз утром, когда я взобрался к навесу, сияющий Малон встретил меня восклицанием: «А знаете, Пэнди жив! Вот письмо от него. Он в Швейцарии!» Про Пэнди ничего не было слышно с 25 или 26 мая, когда его видели в последний раз в Тюильри. Думали, что он расстрелян, между тем как он все это время скрывался в Париже. Не переставая гнуть ивняк, Малон тихим голосом, в котором лишь порой слышалась дрожь, рассказывал мне, сколько человек версальцы расстреляли, принимая их за Пэнди, за Варлэна или за него самого. Он передал мне то, что знал про смерть переплетчика Варлэна, которого парижские рабочие боготворили, про старого Делеклюза [161], не желавшего пережить нового поражения, и про многих других. Все ужасы кровавой масленицы, которой богатые классы отпраздновали свое возвращение в Париж, проходили передо мною, а затем — дух мщения, вызванный ими в толпе, предводимой Раулем Риго [162], которая и расстреляла заложников Коммуны.

Губы Малона дрожали, когда он говорил про героизм парижских мальчуганов, и слезы капали у него из глаз, когда он рассказал мне про одного мальчика, которого версальцы собрались расстрелять. Перед смертью мальчик обратился к офицеру с просьбой позволить ему снести серебряные часы матери, жившей неподалеку. Тогда офицер из жалости дал разрешение, надеясь, вероятно, что мальчик не возвратится. Но через четверть часа маленький герой прибежал и, ставши у стены среди трупов, крикнул им: «Я готов».

Двенадцать пуль пресекли его молодую жизнь.

Кажется, никогда я не испытал такого нравственного страдания, как при чтении ужасной книги «Le Livre rouge de la Justice rurale» *. Она была составлена исключительно из парижских корреспонденций, помещенных в «Standard», «Daily Telegraph», «Times» в конце мая 1781 года, в которых говорилось об ужасах, совершенных версальцами под начальством Галифэ, а также приводились выдержки из «Figaro», пропитанные самою ярою кровожадностью по отношению к инсургентам. Мною овладевало мрачное отчаяние. И оно сохранилось бы, если бы впоследствии, в побежденных, переживших все эти ужасы, я не видел полного отсутствия ненависти, веры в окончательное торжество идеала; спокойного, хотя грустного взгляда, обращенного к будущему; стремления забыть кошмар прошлого, словом, всех тех черт, которые поражали меня не только в Малоне, но во всех коммунарах, живших в Женеве, а также во всех тех, кого я встретил впоследствии: Луизы Мишель [163], Лефрансэ [164], Элизэ Реклю и других.

* «Красная книга деревенской справедливости». Деревенской (rurale) справедливостью названа иронически расправа версальского правительства над коммунарами потому, что большинство членов учредительного собрания, заседавшего в Бордо и в Версале, были избранники крестьян и землевладельцев. *Прим. ред.*

— Nous avons subi une terrible défaite. La Commune est écrasée mais non vaincue *, — говорили они, и принимались за самую тяжелую и черную работу в ожидании лучших дней.

Из Невшателя я поехал в Сонвильé. Здесь, в маленькой долине среди Юрских гор, разбросан ряд городков и деревень, французское население которых тогда исключительно было занято различными отраслями часового дела. Целые семьи работали сообща в мастерских. В одной из них я познакомился с другим вожаком, Адэмаром Швицгебелем [103], с которым впоследствии очень сблизился. Я нашел его в мастерской среди десятка других молодых людей, гравировавших крышки золотых и серебряных часов. Меня пригласили присесть на скамье или на столе, и скоро у нас завязался оживленный разговор о социализме, о том, нужно ли или не нужно правительство, о приближавшемся съезде.

В тот вечер бушевала жестокая метель. Снег слепил нас, а холод «вымораживал кровь в жилах», покуда мы плелись до ближайшей деревни, где должна была собраться сходка, но, несмотря на метель, из соседних городков и деревень там собралось около пятидесяти часовщиков, главным образом, все пожилые люди. Некоторым из них пришлось пройти до десяти верст, и все-таки они не захотели пропустить маленького очередного собрания, созванного на тот вечер, чтобы познакомиться с русским товарищем.

Самой организацией часового дела, дающей возможность людям отлично узнать друг друга и работать на дому, где они могут свободно беседовать, объясняется, почему в умственном развитии местное население стоит выше, чем работники, проводящие с детства всю свою жизнь на фабриках. Юрские часовщики действительно отличаются большою самобытностью и большою независимостью. Но также и отсутствием разделения на вожаков и рядовых объяснялось то, что каждый из членов федерации стремился к тому, чтобы самому выработать собственный взгляд на всякий вопрос. Здесь работники не представляли стада, которым вожаки пользовались бы для своих политических целей. Вожаки здесь просто были более деятельные товарищи, скорее — люди почина, чем руководители. Способность юрских работников, в особенности средних лет, схватить самую суть идеи и их уменье разбираться в самых сложных общественных вопросах произвели на меня глубокое впечатление, и я твердо убежден, что если Юрская федерация сыграла видную роль в развитии социализма, то не только потому, что стала проводником безгосударственной и федералистической идеи, но еще и потому, что этим идеям дана была конкретная форма здравым смыслом юрских часовщиков. Без нее они, вероятно, еще долго оставались бы в области чистой отвлеченности.

Теоретические положения анархизма, как они начинали определяться тогда в Юрской федерации, — в особенности Бакуниным, — критика государственного социализма, который, как указывалось тогда, грозит развиться в экономический деспотизм, еще более страшный, чем политический, и, наконец, революционный характер агитации среди юрцев неотразимо действовали на мой ум. Но сознание полного равенства всех членов федерации, независимость суждений и способов выражения их, которые

* Мы потерпели ужасное поражение. Коммуна разгромлена, но не побеждена.

я замечал среди этих рабочих, а также их беззаветная преданность общему делу еще сильнее того подкупали мои чувства. И когда, прожив неделю среди часовщиков, я уезжал из гор, мой взгляд на социализм уже окончательно установился. Я стал анархистом.

После путешествия по Бельгии, где я мог сравнить централистическую политическую агитацию в Брюсселе с независимой и экономической агитацией, которая шла среди суконщиков в Вервье, мое воззрения еще более окрепли. Эти суконщики принадлежали к числу самых симпатичных групп людей, которых я встречал за границей.

X

Бакунин в то время жил в Локарно. Я не видел его, и теперь крайне сожалею о том потому, что когда через четыре года я снова очутился в Швейцарии, его уже не было в живых. Он помог Юрским друзьям разобраться в мыслях и точно выразить свои стремления; он сумел вселить в них могучий, непреодолимый, революционный энтузиазм. Как только Бакунин усмотрел в маленькой газете, издаваемой Гильомом в Юрских горах (в Локле), новую, независимую струю в социалистическом течении, он тотчас же приехал в Локль. Целые дни и ночи беседовал он с новыми своими друзьями об исторической необходимости нового движения в сторону анархии. В газете он начал ряд глубоких и блестящих статей об историческом поступательном движении человечества к свободе. Он вселил в своих друзей энтузиазм и создал тот центр пропаганды, из которого впоследствии анархизм распространился по всей Европе.

После того как Бакунин переселился в Локарно, он создал подобное же движение в Италии и в Испании (при помощи симпатичного, талантливого эмиссара Фанелли). Работу же, которую он начал в Юрских горах, продолжали сами юрцы. Они часто поминали «Мишеля», но говорили о нем не как об отсутствующем вожде, слово которого закон, а как о дорогом друге и товарище. Поразило меня больше всего то, что нравственное влияние Бакунина чувствовалось даже сильнее, чем влияние его, как умственного авторитета.

В разговорах об анархизме или о текущих делах федерации я никогда не слыхал, чтобы спорный вопрос разрешался ссылкой на авторитет Бакунина. Рабочие никогда не говорили «Бакунин сказал то-то» или «Бакунин думает так-то». Его писания и изречения не считались безапелляционным авторитетом, как, к сожалению, это часто наблюдается в современных политических партиях. Во всех тех случаях, где разум является верховным судьею, каждый выставлял в спорах свои собственные доводы. Иногда их общий характер и содержание были, может быть, внушены Бакуниным, но иногда и он сам заимствовал их от своих юрских друзей. Во всяком случае, аргументы каждого сохраняли свой личный характер. Только раз я слышал ссылку на Бакунина, как на авторитет, и это произвело на меня такое сильное впечатление, что я до сих пор помню во всех подробностях, где и при каких обстоятельствах это было сказано. Несколько молодых людей болтали в присутствии женщин не особенно почтительно о женщинах вообще.

— Жаль, что нет здесь Мишеля! — воскликнула одна из присутствовавших. — Он бы вам задал! — И все примолкли.

Они все находились под обаянием колоссальной личности борца, пожертвовавшего всем для революции, жившего только для нее и черпавшего из нее же высшие правила жизни.

Я возвратился из этой поездки с определенными социалистическими взглядами, которых и держался с тех пор, посильно стараясь развивать их и облечь в более определенную и конкретную форму.

Был, однако, один пункт, который я принял только после долгих дум и бессонных ночей. Я ясно видел, что великие перемены, долженствующие передать все необходимое для жизни и производства в руки общества, — все равно будет ли то народное государство социал-демократов или же союз свободных групп, как хотят анархисты, — не могут свершиться без великой революции, какой еще не знает история. Больше того. Уже во время Французской революции крестьяне и республиканцы должны были напрячь все усилия, чтобы опрокинуть прогнивший аристократический строй. Между тем в великой социальной революции народу придется бороться с противником гораздо более сильным умственно и физически — с средними классами, которые имеют притом в своем полном распоряжении могущественный механизм современного государства.

Но я скоро заметил, что никакой революции ни мирной, ни кровавой не может совершиться без того, чтобы новые идеалы глубоко не проникли в тот самый класс, которого экономические и политические привилегии предстоит разрушить. Я видел освобождение крестьян и понимал, что если бы сознание несправедливости крепостного права не было широко распространено среди самих помещиков (под влиянием эволюции, вызванной революциями 1793 и 1848 годов), освобождение крестьян никогда не совершилось бы так быстро, как в 1861 году. И я также видел, что идея освобождения работников от капиталистического ига начинает распространяться среди самой буржуазии. Наиболее горячие сторонники современного экономического строя отказываются уже от защиты своих привилегий на почве *права*, а довольствуются обсуждением *своевременности* преобразования. Они не отрицают желательности некоторых перемен, но только спрашивают, действительно ли новый экономический строй, предлагаемый социалистами, будет лучше нынешнего? Сможет ли общество, в котором рабочие будут иметь преобладающее влияние, лучше руководить производством, чем отдельные капиталисты, побуждаемые личной выгодой, как в настоящее время?

Кроме того, я постепенно начал понимать, что революции, то есть периоды ускоренной эволюции, ускоренного развития и быстрых перемен, так же сообразны с природой человеческого общества, как и медленная постепенная эволюция, наблюдаемая теперь в культурных странах. И каждый раз, когда темп развития ускоряется и начинается эпоха широких преобразований, может вспыхнуть гражданская война в более или менее широких размерах. Таким образом, вопрос не в том, как избежать революции, — ее не избегнуть, — а в том, как достичь наибольших результатов при наименьших размерах гражданской войны, то есть с наименьшим числом жертв, и, по возможности, не увеличивая взаимной ненависти. Все это возможно лишь при одном условии: угнетенные должны составить себе возможно более ясное представление о том, что им предстоит совершить, и проникнуться достаточно сильным энтузиазмом.

В таком случае они могут быть уверены, что к ним присоединятся лучшие и наиболее передовые элементы из самих правящих классов.

Парижская Коммуна — страшный пример социального взрыва без достаточно определенных идеалов. Когда в марте 1871 года работники стали хозяевами Парижа, они не только не тронули прав собственности буржуазии, но даже охраняли их. Вожди Коммуны грудью покрывали Национальный банк. Несмотря на кризис, парализовавший промышленность, и последовавшую от того безработицу, Коммуна своими декретами охраняла права владельцев фабрик, торговых учреждений и жилых помещений города Парижа. Между тем, несмотря на это, когда движение было подавлено, буржуазия не зачла бунтовщикам скромности их требований. Проживши два месяца в постоянном страхе, что коммунары посягнут на их права собственности, версальцы, когда они взяли Париж, стали мстить, как будто это покушение уже было совершено. Около тридцати тысяч рабочих, как известно, было перебито не в сражении, а после того как сражение было кончено. Вряд ли месть могла быть ужаснее, если бы Коммуна приняла самые решительные меры к социализации собственности.

Если в развитии человеческого общества, — рассуждал я, — существуют периоды, когда борьба неизбежна и когда гражданская война возникает помимо желания отдельных личностей, то необходимо, по крайней мере, чтобы она велась во имя точных и определенных требований, а не смутных желаний. Необходимо, чтобы борьба шла не за второстепенные вопросы, незначительность которых не уменьшит взаимного озлобления, но во имя широких идеалов, способных воодушевить людей величием открывающегося горизонта.

В последнем случае исход борьбы будет зависеть не столько от ружей и пушек, сколько от творческой силы, примененной к переустройству общества на новых началах. Исход будет зависеть в особенности от созидательных общественных сил, перед которыми на время откроется широкий простор, и от нравственного влияния преследуемых целей, ибо в таком случае преобразователи найдут сочувствующих даже в тех классах, которые были против революции. Борьба, происходя на почве широких идеалов, очистит социальную атмосферу. В таком случае число жертв как с той, так и с другой стороны будет гораздо меньше, чем если бы борьба велась за второстепенные вопросы, открывающие широкий простор всяким низменным стремлениям.

Проникнутый такими идеями, я возвратился в Россию.

XI

Во время поездки я накупил много книг и собрал коллекцию социалистических газет. В России, конечно, все они были, безусловно, запрещены цензурой. Некоторые газеты и отчеты международных съездов ни за какие деньги нельзя было бы приобрести даже в Бельгии. «Неужели так и бросить литературу, —думал я, — которой в Петербурге так были бы рады брат Александр и мои друзья?» Я решил во что бы то ни стало перевести книги в Россию.

Возвращался я в Петербург через Вену и Варшаву. Тысячи евреев живут на нашей западной границе контрабандой, и я не без основания думал,

что если найду хоть одного их них, мои книги будут переправлены благополучно через границу. Но сойти на маленькой станции близ границы и там разыскивать контрабандиста было бы неблагоразумно. Тогда я свернул с прямой дороги в Краков. «Столица старой Польши близка к границе, — думал я. — Там, вероятно, я раздобуду еврея, который меня сведет с необходимыми людьми».

Я прибыл в знаменитую некогда столицу вечером, а на другой день, рано утром, отправился из гостиницы на поиски. Велико, однако, было мое смущение, когда на каждом углу и всюду на пустынной базарной площади я встречал еврея с пейсами, в традиционном долгополом кафтане, выглядывавшего какого-нибудь пана или купца, которые послали бы его с поручением и дали бы заработать несколько грошей. Мне нужен был о д и н е в р е й, а тут их оказалась целая куча. К кому же обратиться? Я обошел весь город и, наконец, в отчаянии решил обратиться к еврею, стоявшему у дверей моей гостиницы, — громадного старинного палаца, в залах которого когда-то танцовали толпы изящных дам и галантных кавалеров. Теперь старинный дворец исполнял более прозаическое назначение, давая убежище редким и случайным проезжающим. Я объяснил фактору, что желаю переправить в Россию довольно тяжелую пачку книг и газет.

— То пану зараз будет сделано. Я приведу комиссионера от «Главной компании международного обмена тряпок и костей» (скажем так). Она ведет самую широкую контрабанду во всем мире. Комиссионер послужит господину.

Через полчаса фактор действительно возвратился с «комиссионером», изящным молодым человеком, отлично говорившим по-русски, польски и немецки.

«Комиссионер» осмотрел мой узел, взвесил его на руках и спросил, какого рода эти книги?

— Все они строжайше запрещены в России. Потому-то их и нужно переправить контрабандой.

— Собственно говоря, книгами мы не занимаемся, — ответил он. — Наше дело — шелковый товар. Если я стал бы платить нашим людям по весу, как за шелк, то должен был бы запросить с вас совсем не подходящую цену. На придачу, скажу вам правду, не люблю я путаться с книгами. Случись, не дай бог, несчастье, так «они» сделают политический процесс. «Международная компания тряпок и костей» должна тогда будет заплатить громадные деньги, чтобы выпутаться из истории.

Должно быть, вид у меня был очень опечаленный, потому что элегантный «комиссионер» сейчас же прибавил:

— Не огорчайтесь. Он (то есть фактор) устроит это дело для вас другим путем.

— То чистая правда! — весело заметил фактор, когда комиссионер ушел. — Найдем сто дорог, чтобы угодить пану.

Через час он возвратился с другим молодым человеком, который взял узел, сложил его возле дверей и сказал:

— Добре, если пан выедет завтра, он найдет свои книги на такой-то станции в России. — Он объяснил мне подробно все.

— А сколько это будет стоить? — спросил я.

— А сколько пан хочет дать? — ответил он.

Я высыпал на стол все, что у меня было в кошельке, и сказал:

— Вот столько-то мне на дорогу. Остальные вам. Я поеду в третьем классе.

— Ай, ай, ай! — закрутили разом головами и фактор и молодой человек. — Разве это можно, чтобы такой пан ехал третьим классом? Никогда! Нет, нет, нет! . . Для нас — десять рублей; потом фактору — два рубля, если вы довольны им. Мы не грабители какие-нибудь, а честные люди! — Они наотрез отказались взять больше денег.

Мне часто приходилось слышать с тех пор о честности еврейских контрабандистов на северо-западной границе. Впоследствии, когда наш кружок ввозил много книг из-за границы, а затем еще позже, когда так много революционеров переправлялось в Россию и из России, не было ни одного случая, чтобы контрабандист выдал кого-нибудь или чтобы он воспользовался исключительностью положения для вымогательства чрезмерной платы.

На другой день я выехал из Кракова. На условленной станции в России к моему вагону подошел носильщик и сказал так громко, чтобы его мог слышать стоявший на платформе жандарм: «Вот чемодан, который ваше сиятельство оставил вчера». Он вручил мне мой ценный пакет.

Я так был ему рад, что даже не остановился в Варшаве, а прямо отправился в Петербург, чтобы показать мои трофеи брату.

XII

В это время развивалось сильное движение среди русской интеллигентной молодежи. Крепостное право было отменено. Но за два с половиной века существования оно породило целый мир привычек и обычаев, созданных рабством. Тут было и презрение к человеческой личности, и деспотизм отцов, и лицемерное подчинение со стороны жен, дочерей и сыновей. В начале XIX века бытовой деспотизм царил и в Западной Европе. Массу примеров дали Теккерей и Диккенс, но нигде он не расцвел таким пышным цветом, как в России. Вся русская жизнь — в семье, в отношениях начальника к подчиненному, офицера к солдату, хозяина к работнику — была проникнута им. Создался целый мир привычек, обычаев, способов мышления, предрассудков и нравственной трусости, выросший на почве бесправия. Даже лучшие люди того времени платили широкую дань этим нравам крепостного права.

Против них закон был бессилен. Лишь сильное общественное движение, которое нанесло бы удар самому корню зла, могло преобразовать привычки и обычаи повседневной жизни. И в России это движение — борьба за индивидуальность — приняло гораздо более мощный характер и стало более беспощадно в своем отрицании, чем где бы то ни было. Тургенев в своей замечательной повести «Отцы и дети» назвал его «нигилизмом» [166].

В Западной Европе нигилизм понимается совершенно неверно; в печати, например, постоянно смешивают его с терроризмом и упорно называют нигилизмом то революционное движение, которое вспыхнуло в России к концу царствования Александра II и закончилось трагической его смертью. Все это основано на недоразумении. Смешивать нигилизм с терроризмом — все равно, что смешать философское движение,

как, например, стоицизм или позитивизм с политическим движением, например, республиканским. Терроризм был порожден особыми условиями политической борьбы в данный исторический момент. Он жил и умер. Он может вновь воскреснуть и снова умереть. Нигилизм же наложил у нас свою печать на всю жизнь интеллигентного класса, и эта печать не скоро изгладится. Нигилизм без его грубоватых крайностей, неизбежных, впрочем, в каждом молодом движении, придал нашей интеллигенции тот своеобразный оттенок, которого, к великому нашему сожалению, мы, русские, не находим в западно-европейской жизни. Тот же нигилизм, в одном из своих многочисленных проявлений, придает многим нашим писателям их искренний характер, их манеру «мыслить вслух», которые так поражают европейских читателей.

Прежде всего нигилизм объявил войну так называемой условной лжи культурной жизни. Его отличительной чертой была абсолютная искренность. И во имя ее нигилизм отказался сам — и требовал, чтобы то же сделали другие — от суеверий, предрассудков, привычек и обычаев, существования которых разум не мог оправдать. Нигилизм признавал только один авторитет — разум, он анализировал все общественные учреждения и обычаи и восстал против всякого рода софизма, как бы последний ни был замаскирован.

Он порвал, конечно, с суеверием отцов. По философским своим понятиям нигилист был позитивист, атеист, эволюционист в духе Спенсера [167] или материалист. Он щадил, конечно, простую и искреннюю веру, являющуюся психологической необходимостью чувства, но зато беспощадно боролся с лицемерием в христианстве.

Вся жизнь цивилизованных людей полна условной лжи. Люди, ненавидящие друг друга, встречаясь на улице, изображают на своих лицах самые блаженные улыбки; нигилист же улыбался лишь тем, кого он рад был встретить. Все формы внешней вежливости, которые являются одним лицемерием, претили ему. Он усвоил себе несколько грубоватые манеры, как протест против внешней полированности отцов. Нигилисты видели, как отцы гордо позировали идеалистам и сантименталистам, что не мешало им быть настоящими дикарями по отношению к женам, детям и крепостным. И они восстали против этого сантиментализма, отлично уживавшегося с вовсе не идеальным строем русской жизни. Искусство тоже подпало под это широкое отрицание. Нигилисту были противны бесконечные толки о красоте, об идеале, искусстве для искусства, эстетике и тому подобном, тогда как и всякий предмет искусства покупался на деньги, выколоченные у голодающих крестьян или и обираемых ратников. Он знал, что так называемое «поколение прекрасному» часто было лишь маской, прикрывавшей пошлый разврат. Нигилист тогда еще отлил беспощадную критику искусства в одну формулу: «Пара сапог важнее всех ваших мадонн и всех утонченных разговоров про Шекспира».

Брак без любви и брачное сожитие без дружбы — нигилист отрицал. Девушка, которую родители заставляли быть куклой в кукольном домике и выйти замуж по расчету, предпочитала лучше оставить свои наряды и уйти из дома. Она надевала самое простое, черное шерстяное платье, остригала волосы и поступала на высшие курсы, с целью добиться личной независимости. Женщина, видевшая, что брак перестал быть браком, что ни любовь, ни дружба не связывают ее больше

с мужем, порывала со всем и мужественно уходила с детьми, предпочитая одиночество и зачастую нищету вечной лжи и разладу с собою.

Нигилист вносил свою любовь к искренности даже в мелкие детали повседневной жизни. Он отказался от условных форм светской болтовни и выражал свое мнение резко и прямо, даже с некоторой аффектацией внешней грубоватости.

В Иркутске мы собирались раз в неделю в клубе, где танцовали. Одно время я усердно посещал эти вечера, но потом мало-по-малу отстал, отчасти из-за работы. Раз как-то одна из дам спросила моего молодого приятеля, почему это меня не видно в клубе уже несколько недель?

— Когда Кропоткину нужен моцион, он ездит верхом, — грубовато отрубил приятель.

— Почему же ему не заглянуть и не посидеть с нами, не танцуя? — вставила одна из дам.

— А что ему здесь делать? — отрезал по-нигилистичьи мой друг. — Болтать с вами про моды и тряпки? Вся эта дребедень уже надоела ему.

— Но ведь он бывает иногда у Манечки такой-то, — нерешительно заметила одна из барышень.

— Да, но она занимающаяся девушка, — отрубил приятель. — Он дает ей уроки немецкого языка.

Должен сказать, что эта, бесспорно, грубоватая отповедь имела благие результаты. Большинство иркутских девушек скоро стало осаждать брата, нашего приятеля и меня просьбами посоветовать им, что читать и чему учиться.

С тою же самою откровенностью нигилист отрезывал своим знакомым, что все их соболезнования о «бедном брате» — народе — одно лицемерие, покуда они живут в богато-убранных палатах, на счет народа, за который так болеют душой. С той же откровенностью нигилист заявлял крупному чиновнику, что тот не только не заботится о благе подчиненных, а попросту — вор.

С некоторой суровостью нигилист дал бы отпор и «даме», болтающей пустяки и похваляющейся «женственностью» своих манер и утонченностью туалета. Он прямо сказал бы ей: «Как вам не стыдно болтать глупости и таскать шиньон из фальшивых волос?» Нигилист желал прежде всего видеть в женщине товарища, человека, а не куклу, не «кисейную барышню». Он абсолютно отрицал те мелкие знаки внешней вежливости, которые оказываются так называемому «слабому полу». Нигилист не срывался с места, чтобы предложить его вошедшей даме, если он видел, что дама не устала и в комнате есть еще другие стулья. Он держался с ней, как с товарищем. Но если девушка, хотя бы и совершенно ему незнакомая, проявляла желание учиться чему-нибудь, он помогал ей уроками и готов был хоть каждый день ходить на другой конец города. Молодой человек, который пальцем не шевельнул бы, чтобы подвинуть барышне чашку чая, охотно передавал девушке, приехавшей на курсы в Москву или в Петербург, свой единственный урок и свой единственный заработок, причем говорил: «Нечего благодарить, мужчине легче найти работу, чем женщине, — вовсе не рыцарство, а простое равенство».

И Тургенев, и Гончаров пытались изобразить этот новый тип в своих романах. Гончаров в «Обрыве» дал портрет с живого лица, но вовсе не типичного представителя класса; поэтому Марк Волохов только карика-

тура на нигилизм. Тургенев был слишком тонкий художник и слишком уважал новый тип, чтобы быть способным на карикатуру, но и его Базаров не удовлетворял нас. Мы в то время нашли его слишком грубым, например, в отношениях к старикам-родителям, а в особенности, мы думали, что он слишком пренебрегал своими обязанностями, как гражданин. Молодежь не могла быть удовлетворена исключительно отрицательным ко всему отношением тургеневского героя. Нигилизм, с его декларацией прав личности и отрицанием лицемерия, был только переходным моментом к появлению «новых людей», не менее ценивших индивидуальную свободу, но живших, вместе с тем, для великого дела. В нигилистах Чернышевского, выведенных в несравненно менее художественном романе «Что делать», мы уже видели лучшие портреты самих себя.

Но «горек хлеб, возделанный рабами», писал Некрасов. Молодое поколение отреклось от этого хлеба и от богатств, накопленных отцами при помощи подневольного труда людей — крепостных или закабаленных на фабрике.

Вся Россия читала с удивлением во время процесса каракозовцев, что подсудимые, владевшие значительными состояниями, жили по три, по четыре человека в одной комнате, никогда не расходовали больше, чем по десяти рублей в месяц на каждого, и все состояние отдавали на устройство кооперативных обществ, артелей, в которых сами работали. Пять лет спустя тысячи молодых людей, цвет России, поступили так же. Их лозунг был «в народ». В начале шестидесятых годов почти в каждой богатой семье происходила упорная борьба между отцами, желавшими поддержать старые порядки, и сыновьями и дочерьми, отстаивавшими свое право располагать собою согласно собственным идеалам. Молодые люди бросали военную службу, конторы, прилавки и стремились в университетские города. Девушки, получившие аристократическое воспитание, приезжали без копейки в Петербург, Москву и Киев, чтобы научиться делу, которое могло бы их освободить от неволи в родительском доме, а впоследствии, может быть, и от мужского ярма. Многие из них добились этой личной свободы после упорной и суровой борьбы. Теперь они жаждали приложить с пользою приобретенное знание; они думали не о личном удовольствии, а о том, чтобы дать народу то знание, которое освободило их самих.

Во всех городах, во всех концах Петербурга возникали кружки саморазвития. Здесь тщательно изучали труды философов, экономистов и молодой школы русских историков. Чтение сопровождалось бесконечными спорами. Целью всех этих чтений и споров было — разрешить великий вопрос, стоявший перед молодежью: каким путем может она быть наиболее полезна народу? И постепенно она приходила к выводу, что существует лишь один путь. Нужно итти в народ и жить его жизнью. Молодые люди отправлялись поэтому в деревню как врачи, фельдшера, народные учителя, волостные писаря. Чтобы еще ближе соприкоснуться с народом, многие пошли в чернорабочие, кузнецы, дровосеки. Девушки сдавали экзамены на народных учительниц, фельдшериц, акушерок и сотнями шли в деревню, где беззаветно посвящали себя служению беднейшей части народа.

У всех их не было никакой еще мысли о революции, о насильственном перестройстве общества по определенному плану. Они просто желали

обучить народ грамоте, просветить его, помочь ему каким-нибудь образом выбраться из тьмы и нищеты, и в то же время узнать у самого народа, каков его идеал лучшей социальной жизни.

Когда я возвратился из Швейцарии, то нашел это движение в полном разгаре.

XIII

Я поспешил, конечно, поделиться с друзьями моими книгами и впечатлениями, вынесенными из знакомства с Интернационалом. Собственно говоря, в университете у меня не было друзей: я был старше большинства моих товарищей, а среди молодых людей разница в несколько лет всегда является помехой тесному сближению. Нужно также прибавить, что с тех пор, как был введен Устав 1861 года, лучшие молодые люди, то есть наиболее развитые и независимые, отсеивались в гимназиях и не допускались в университет. Поэтому большинство моих товарищей были хорошие юноши, трудолюбивые, но они не интересовались ничем, кроме экзаменов. Я подружился только с одним, Дмитрием Клеменцом [168]. Он был родом из Южной России и хотя носил немецкую фамилию, вряд ли говорил по-немецки, а в типичном его лице не было ничего тевтонского. Он был развитой, начитанный человек и много думал, очень любил науку и глубоко уважал ее; но, подобно большинству из нас, скоро пришел к заключению, что стать ученым — значит перейти в стан филистеров, тогда как впереди такое множество другой, не терпящей отлагательства работы. Он посещал университет около двух лет, затем бросил его и весь отдался социальной деятельности. Жил он, бог весть как. Сомневаюсь даже, была ли у него постоянная квартира. Иногда он приходил ко мне и спрашивал: «Есть у вас бумага?» Забрав запас ее, он примащивался где-нибудь у края стола и прилежно переводил часа два. То немногое, что он зарабатывал подобным образом, с избытком покрывало его скромные потребности, и, кончив работу, Клеменц плелся на другой конец города, чтобы повидаться с товарищами или помочь нуждающемуся приятелю. Он готов был исколесить весь Петербург пешком, чтобы выхлопотать прием в гимназию какого-нибудь мальчика, в котором товарищи принимали участие. Он, несомненно, был очень талантлив. В Западной Европе гораздо менее одаренный человек, чем он, наверное стал бы видным политическим или социалистическим вождем. Но мысль о главенстве никогда не приходила ему в голову. Честолюбие было ему совершенно чуждо; зато я не знаю такой общественной работы, которую Дмитрий счел бы слишком мелкой. Впрочем, эта черта была свойственна не только ему одному. Ею отличались все те, которые в то время вращались в студенческих кружках.

Вскоре после моего возвращения из-за границы Дмитрий предложил мне поступить в кружок, известный в то время среди молодежи под названием кружка Чайковского. Под этим именем он сыграл важную роль в социальном развитии России и под тем же именем перешел в историю.

— Члены нашего кружка большею частью конституционалисты, — сказал мне Клеменц, — но все они прекрасные люди. Они готовы принять всякую честную идею. У них много друзей повсюду в России; вы сами увидите впоследствии, что можно сделать.

Я был уже знаком с Н. В. Чайковским и некоторыми членами его кружка. Чайковский произвел на меня обаятельное впечатление с первого же раза. И до настоящего времени, в продолжение многих лет, наша дружба не поколебалась.

Кружок возник из очень небольшой группы мужчин и женщин, — в числе последних была Софья Перовская[169] и три сестры Корниловы[170], — соединившихся для самообразования и самоусовершенствования. В 1869 году Нечаев попытался организовать тайное революционное общество из молодежи, желавшей работать среди народа. Но для достижения своей цели он прибег к приему старинных заговорщиков и не останавливался даже пред обманом, чтобы заставить членов сообщества следовать за собою. Такие приемы не могут иметь успеха в России, и скоро нечаевская организация рухнула. Всех членов арестовали; несколько лучших людей из русской интеллигенции сослали в Сибирь, прежде чем они успели сделать что-нибудь. Кружок саморазвития, о котором я говорю, возник из желания противодействовать нечаевским способам деятельности. Чайковский и его друзья рассудили совершенно верно, что нравственно развитая личность должна быть в основе всякой организации, независимо от того, какой бы политический характер она потом ни приняла и какую бы программу деятельности она ни усвоила под влиянием событий. Вот почему кружок Чайковского[171], постепенно раздвигая свою программу, так широко распространился по России и достиг таких серьезных результатов. Поэтому также впоследствии, когда свирепые преследования со стороны правительства породили революционную борьбу, кружок выдвинул ряд выдающихся деятелей и деятельниц, павших в бою с самодержавием.

В то время, то есть в 1872 году, кружок не имел в себе ничего революционного. Если бы он остался простым кружком саморазвития, то члены его скоро закаменели бы, как вските. Но кружок нашел подходящую работу. Чайковцы стали распространять хорошие книги. Они покупали целыми изданиями сочинения Лассаля, Флеровского Берви[172] («О положении рабочего класса в России»), Маркса, труды по русской истории и распространяли их среди студентов в провинциальных городах. Через несколько лет в «тридцати восьми губерниях Российской империи», употребляя подсчет обвинительного акта, не было сколько-нибудь значительного города, где кружок не имел бы товарищей, занимавшихся распространением этого рода литературы. С течением времени, под влиянием общего хода событий и побуждаемый вестями, прибывавшими из Западной Европы о быстром росте рабочего движения, кружок все больше становился центром социалистической пропаганды среди учащейся молодежи и естественным посредником между членами провинциальных кружков. А затем наступил день, когда преграда, отделявшая студентов от работников, рухнула и завязались прямые сношения с петербургскими и отчасти провинциальными рабочими. В это самое время, весной 1872 года, я присоединился к кружку.

Мои читатели в Западной Европе, вероятно, не мало были разочарованы, когда узнали, что принятие в тайное общество не сопровождалось никакими клятвами и обрядами, о которых так много наговорили им романисты. Ничего этого, конечно, не было. Даже одна мысль о ритуале приема насмешила бы нас и вызвала бы со стороны Клеменца такую

саркастическую усмешку, от которой любитель церемоний, если бы такой нашелся, устыдился бы. У кружка даже не было устава. В члены принимались только хорошо известные люди, испытанные много раз, так что им можно было безусловно доверять. Прежде чем принять нового члена, характер его обсуждался со всею откровенностью, присущею нигилистам.

Малейший признак неискренности или сомнения, — и его не принимали. Чайковцы не гнались за тем, чтобы набрать побольше членов. Тем меньше стремились они к тому, чтобы непременно руководить всеми многочисленными кружками, зарождавшимися в столицах и в провинции, и взять, так сказать, на откуп все движение среди молодежи. С большинством из кружков мы были в дружеских сношениях; мы помогали им, и они помогали нам; но мы не покушались на их независимость.

Наш кружок оставался тесной семьей друзей. Никогда впоследствии я не встречал такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать, которых я встретил на первом заседании кружка Чайковского. До сих пор я горжусь тем, что был принят в такую семью.

XIV

Когда я присоединился к чайковцам, они горячо спорили о том, какой характер следует придать их деятельности. Некоторые стояли за революционную и социалистическую пропаганду среди учащейся молодежи. Другие же держались того мнения, что у кружка должна быть одна цель: подготовить людей, которые могли бы поднять громадную, косную рабочую массу, а потом стояли бы за перенесение центра агитации в среду крестьян и городских работников. Такие же споры шли во всех кружках и группах, которые тогда возникали в Петербурге и в провинциальных городах. И всюду сторонники второй программы брали верх.

Впрочем, когда мне поручили составить программу нашего кружка и я ставил целью движения крестьянские восстания и намечал захват земли и всей собственности, на моей стороне были только Перовская, Кравчинский, Чарушин и Тихомиров. Но все мы были социалистами.

Если бы молодежь того времени была только за абстрактный социализм, она удовлетворилась бы тем, что выставила бы несколько общих принципов, например, о желательности в более или менее отдаленном будущем коммунистического владения орудиями производства, а затем занялись бы политической агитацией. В Западной Европе и Америке так именно и поступают социалисты, вышедшие из средних классов. Но русская молодежь того времени подошла к социализму совсем иным путем. Молодые люди не строили теории социализма, а становились социалистами, живя не лучше, чем работники, не различая в кругу товарищей между «моим» и «твоим» и отказываясь лично пользоваться состояниями, полученными по наследству. Они поступали по отношению к капитализму так, как, по совету Толстого, следует поступить по отношению к войне: то есть вместо того, чтобы критиковать войну и в то же время носить мундир, каждый должен отказаться от военной службы и от ношения оружия. Таким же образом молодые люди, каждый и каждая за себя, отказывались от пользования доходами родителей. Такая молодежь неизбежно должна была пойти в народ — и она пошла. Тысячи молодых

людей и девушек уже оставили дома своих родителей и жили в деревнях и в фабричных городах под всевозможными видами. Это не было организованное движение, а стихийное: одно из тех массовых движений, которые наблюдаются в моменты пробуждения человеческой совести. Теперь, когда начали возникать небольшие организованные кружки, готовившиеся сделать систематическую попытку распространения идей свободы и революции, самая сила вещей толкнула их на путь пропаганды среди крестьян и городских рабочих.

Различные писатели пробовали объяснить движение в народ влиянием извне. Влияние эмигрантов — любимое объяснение всех полиций всего мира. Нет никакого сомнения, что молодежь прислушивалась к мощному голосу Бакунина; верно также и то, что деятельность Интернационала производила на нас чарующее впечатление. Но причины движения в народ лежали гораздо глубже. Оно началось раньше, чем «заграничные агитаторы» обратились к русской молодежи, и даже раньше возникновения Интернационала. Оно обозначилось уже в каракозовских кружках в 1866 году. Его видел еще раньше Тургенев в 1859 году и отметил в общих чертах. В кружке чайковцев я всеми силами содействовал развитию этого уже наметившегося движения; но в этом отношении мне приходилось только плыть по течению, которое было гораздо сильнее, чем усилие отдельных личностей.

Конечно, мы часто говорили также о необходимости политической агитации против самодержавия. Мы видели, что крестьяне совершенно разорены чрезмерными податями и продажей скота для покрытия недоимок. Мы, мечтатели, тогда уже предвидели то полное обнищание всего населения, которое — увы! — теперь стало совершившимся фактом, охватило большую часть Средней России и признается ныне даже правительством *.

Мы знали, какой наглый грабеж идет повсеместно в России. Мы знали о произволе чиновников, о почти невероятной грубости многих из них, и каждый день приносил нам новые факты в этом направлении. Мы постоянно слышали о ночных обысках, об арестованных друзьях, которых гноили по тюрьмам, а потом ссылали административным порядком в глухие поселки на окраинах России. Мы сознавали поэтому необходимость политической борьбы против этой страшной власти, убивавшей лучшие умственные силы страны. Но мы не видели никакой почвы, легальной или полулегальной, для подобной борьбы.

Наши старшие братья не признавали наших социалистических стремлений, а мы не могли поступиться ими. Впрочем, если бы некоторые из нас и отреклись от этих идеалов, то и то бы не помогло. Все молодое поколение огулом признавалось «неблагонадежным», и потому старшее поколение боялось иметь что-нибудь общее с ним. Каждый молодой человек, проявлявший демократические симпатии, всякая курсистка были под тайным надзором полиции и обличались Катковым, как крамольники и внутренние враги государства. Обвинения в политической неблагонадежности строились на таких признаках, как синие очки, подстриженные волосы и плед. Если к студенту часто заходили товарищи, то полиция уже наверное производила обыск в его квартире. Обыски студенческих квар-

* Писано было в 1898 году. *Прим. ред.*

тир производились так часто, что Клеменц, со своим обычным добродушным юмором, раз заметил жандармскому офицеру, рывшемуся у него: «И зачем это вам перебирать все книги каждый раз, как вы у нас производите обыск? Завели бы вы себе список их, а потом приходили бы каждый месяц и проверяли, все ли на месте и не прибавилось ли новых». По малейшему подозрению в политической неблагонадежности студента забирали, держали его по году в тюрьме, а потом ссылали куда-нибудь подальше на «неопределенный срок», как выражалось начальство на своем бюрократическом жаргоне. Даже в то время, когда чайковцы занимались только распространением пропущенных цензурой книг, Чайковского дважды арестовывали и продержали в тюрьме по пяти или шести месяцев; причем в последний раз арест произошел в критический для него момент. Только что перед тем появилась его работа по химии в «Бюллетене Академии Наук», а сам он готовился сдать последние экзамены на кандидата. В конце концов его выпустили, так как жандармы не могли найти никаких поводов для ссылки его. «Но помните, — сказали ему, — если мы арестуем вас еще раз, вы будете сосланы в Сибирь». Заветной мечтой Александра II действительно было основать где-нибудь в степях отдельный город, зорко охраняемый казаками, и ссылать туда всех подозрительных молодых людей. Лишь опасность, которую представлял бы такой город с населением в двадцать — тридцать тысяч политически «неблагонадежных», помешала царю осуществить его поистине азиатский план.

Один из наших членов, офицер Шишко [173], принадлежал к группе молодежи, которая стремилась на земскую службу. Она считала эту службу своего рода миссией и усиленно готовилась к ней серьезным изучением хозяйственного положения России. Многие молодые люди некоторое время лелеяли такие надежды, которые рассеялись, как туман, при первом столкновении с государственной машиной. Правительство дало слабое подобие самоуправления некоторым губерниям и сейчас же, путем урезок, приняло меры, чтобы реформа потеряла всякое жизненное значение и смысл. Земству пришлось довольствоваться ролью чиновников при сборе дополнительных налогов для покрытия местных государственных нужд. Каждый раз, когда земство брало на себя инициативу в устройстве народных школ и учительских семинарий, в заботах о народном здравии, в земледельческих улучшениях, оно встречало со стороны правительства подозрительность и недоверие, а со стороны «Московских Ведомостей» — доносы и обвинения в сепаратизме, в стремлении устроить «государство в государстве», в «подкапывании под самодержавие».

Если бы кто-нибудь вздумал, например, рассказать подлинную историю борьбы тверского губернского земства из-за его учительской семинарии и поведал про все мелкие преследования, придирки и запрещения, никто за границей ему бы не поверил. Читатель отложил бы книгу, говоря: «Слишком уж глупо, чтобы так было на деле». А между тем все так именно и происходило. Не мало гласных отрешалось от должности, высылалось из губернии, а то и попросту отправлялось в ссылку за то, что они осмеливались подавать царю верноподданнические прошения о правах, принадлежащих и так уже земствам по закону. «Гласные уездных и губернских земств должны быть простыми министерскими чиновниками и повиноваться министерству внутренних дел». Такова была теория петербургского правительства. Что же касается до народа

помельче, состоявшего на земской службе, например, учителей, врачей, акушерок, то их без церемонии, по простому распоряжению всесильного Третьего отделения, отрешали в двадцать четыре часа от службы и отправляли в ссылку. Не дальше, как в 1896 году, одна помещица, муж которой занимал видное положение в одном из земств, пригласила на свои именины восемь народных учителей. «Они, бедняги, никого не видят там, кроме мужиков», — сказала про себя барыня. На другой день после бала явился к ней урядник и потребовал список приглашенных учителей для рапорта по начальству. Помещица отказала.

— Ну, хорошо, — сказал урядник, — я сам дознаюсь и отрапортую. Учителя не имеют права собираться вместе. Если они собирались, я обязан донести.

Высокое общественное положение барыни в данном случае спасло учителей; но соберись они у одного из товарищей, к ним нагрянули бы жандармы, и половина была бы уволена министерством народного просвещения. А если бы у кого-нибудь из них сорвалось резкое слово во время нашествия, то его наверное отправили бы подальше. Такие дела происходят теперь, через тридцать три года после введения земского положения; но в семидесятых годах было еще хуже. Какую же основу для политической борьбы могли представлять подобные учреждения?

Когда я получил по наследству от отца тамбовское поместье, село Петровское-Кропоткино, я некоторое время серьезно думал поселиться там и посвятить всю свою энергию земской службе. Некоторые крестьяне и бедные священники окружных деревень просили об этом. Что касается меня, я удовольствовался бы всяким делом, как бы скромно оно ни было, если бы только оно дало мне возможность поднять умственный уровень и благосостояние крестьян. Раз, когда некоторые из тех, которые советовали мне остаться, собрались вместе, я спросил их: «Ну, предположим, я попробую открыть школу, заведу образцовую ферму, артельное хозяйство, а вместе с тем заступлюсь вот за такого-то из наших крестьян, волостного судью, которого недавно выпороли в угоду помещику Свечину [174]. Дадут ли мне возможность продолжать?» И все мне ответили единодушно: «Ни за что».

Несколько дней спустя, пришел ко мне очень уважаемый в окрестности седой священник с двумя влиятельными раскольничьими наставниками.

— Потолкуйте с ними хорошенько, — сказал он мне. — Если у вас лежит к тому сердце, так вы идите с ними и с евангелием в руках проповедуйте крестьянам... Вы сами знаете, что проповедывать... Никакая полиция не разыщет вас, если они вас будут скрывать. Ничего другого не поделаешь. Вот какой совет я, старик, могу вам подать.

От этой роли я, конечно, наотрез отказался. Я откровенно сказал им, почему не могу стать новым Виклифом. «Не могу я говорить «от евангелия», когда оно для меня такая же книга, как и всякая другая. Ведь для успеха религиозной пропаганды нужна вера, а не могу же я верить в божественность Христа и в веления божии». — Так я тогда говорил, а теперь из жизненного опыта прибавлю еще, что если революционная пропаганда во имя религии и захватывает действительно массу людей, которых чистая социалистическая пропаганда не трогает, зато и несет эта религиозная пропаганда с собою такое зло, которое пересиливает добро. Она учит повиновению; она учит подчинению авторитету:

а выдвигает она вперед людей прежде всего самовластных, любящих п р а в и т ь! И, в конце концов, неизбежно, в силу этого самого, она выдвинет ц е р к о в ь, т. е. организованную защиту подчинения людей всякой власти. Так всегда было со всеми религиозными движениями, даже когда они начинались таким революционным движением, как п е р е к р е щ е н с т в о (анабаптизм) и с такими анархическими философскими учениями, как учение Декарта. Но старик был прав по-своему. Теперь среди крестьян быстро распространяется движение, подобное религиозному движению лоллардов. Пытки, которым подвергались миролюбивые духоборы, и набеги, совершавшиеся в 1897 году на штундистов, у которых отнимали детей для воспитания их в провинциальных монастырях, придадут движению еще большую силу, чем оно могло проявить двадцать пять лет назад.

Так как во время наших споров в кружке постоянно поднимался вопрос о необходимости агитации в пользу конституции, то я однажды предложил серьезно обсудить это дело и выработать план действий. Я всегда держался того мнения, что, если кружок что-нибудь решает единогласно, каждый должен отложить свое личное чувство и приложить все усилия для общей работы. «Если вы решите вести агитацию в пользу конституции, — говорил я, — то сделаем так: я отделюсь от кружка в видах конспирации и буду поддерживать сношения с ним через кого-нибудь одного, например, Чайковского. Через него вы будете сообщать мне о вашей деятельности, а я буду знакомить вас в общих чертах с моею. Я же поведу агитацию в высших придворных и высших служебных сферах. Там у меня много знакомых, и там я знаю не мало таких, которые уже недовольны современным порядком. Я постараюсь объединить их вместе и, если удастся, объединю в какую-нибудь организацию. А впоследствии наверное выпадет случай двинуть все эти силы, с целью заставить Александра II дать России конституцию. Придет время, когда все эти люди, видя, что они скомпрометированы, в своих собственных же интересах вынуждены будут сделать решительный шаг. Те из нас, которые были офицерами, могли бы вести пропаганду в армии. Но вся эта деятельность должна вестись отдельно от вашей, хотя и параллельно с ней.

Я вносил это предложение, серьезно взвесив его, в январе или феврале 1874 года. Я знал, какие есть у меня связи в дворцовых кругах, на кого я мог бы полагаться, и могу даже прибавить, что некоторые недовольные в придворных сферах смотрели на меня как на лицо, вокруг которого группируется оппозиция.

Кружок не принял этого предложения. Зная отлично друг друга, товарищи, вероятно, решили, что, вступив на этот путь, я не буду верен самому себе. В видах чисто личных я теперь в высшей степени рад, что мое предложение тогда не приняли. Я пошел бы по пути, к которому не лежало мое сердце, и не нашел бы лично счастья, которое встретил, пойдя по другому направлению.

Но шесть или семь лет спустя, когда террористы были всецело поглощены страшной борьбой с Александром II, я пожалел о том, что кто-нибудь другой не занялся в высших петербургских кругах выполнением плана, который я изложил пред кружком. Если бы почва была подготовлена, то разветвившееся по всей империи движение, быть может, сделало бы то, что тысячи жертв не погибли бы напрасно. Во всяком случае, рядом с подпольной деятельностью Исполнительного Комитета обя-

зательно должна была бы вестись параллельная агитация в Зимнем дворце и в верхних слоях общества. Но для этой работы у Исполнительного Комитета не было подходящих людей.

Не раз обсуждали мы в нашем кружке необходимость политической борьбы, но не приходили ни к какому результату. Апатия и равнодушие богатых классов были безнадежны, а раздражение среди молодежи еще не достигло того напряжения, которое выразилось шесть или семь лет спустя борьбой террористов под руководством Исполнительного Комитета [175]. Мало того—такова трагическая ирония истории—та самая молодежь, которую Александр II в слепом страхе и ярости отправлял сотнями в ссылку и в каторжные работы, охраняла его в 1871—1878 годы. Самые социалистические программы кружков мешали повторению нового покушения на царя. Лозунгом того времени было «Подготовьте в России широкое социалистическое движение среди крестьян и рабочих. О царе же и его советниках не хлопочите. Если движение начнется, если крестьяне присоединятся массами и потребуют землю и отмену выкупных платежей, правительство прежде всего попробует опереться на богатые классы и на помещиков и созовет Земский Собор. Точно таким же образом крестьянские восстания во Франции, в 1789 году, принудили королевскую власть созвать Национальное Собрание. То же самое будет и в России».

Но это было еще не все. Отдельные личности и кружки, видя, что царствование Александра II фатально все больше и больше погружается в реакционное болото, и питая в то же время смутные надежды на «либерализм» наследника (всех молодых наследников престола подозревают в либерализме), настаивали на необходимости повторить попытку Каракозова. Но организованные кружки упорно были против этого и настойчиво отговаривали товарищей. Теперь я могу обнародовать факт, который до сих пор был неизвестен. Из южных губерний приехал однажды в Петербург молодой человек с твердым намерением убить Александра II. Узнав об этом, некоторые чайковцы долго убеждали юношу не делать этого; но так как они не могли переубедить его, то заявили, что помешают ему силой. Зная, как слабо охранялся в ту пору Зимний дворец, я могу утвердительно сказать, что чайковцы тогда спасли Александра II. Так твердо была настроена тогда молодежь против той самой войны, в которую она бросилась потом с самоотвержением, когда чаша ее страданий переполнилась.

XV

Те два года, что я проработал в кружке Чайковского, навсегда оставили во мне глубокое впечатление. В эти два года моя жизнь была полна лихорадочной деятельности. Я познал тот мощный размах жизни, когда каждую секунду чувствуешь напряженное трепетание всех фибр внутреннего я, тот размах, ради которого одного только и стоит жить. Я находился в семье людей, так тесно сплоченных для общей цели, и взаимные отношения которых были проникнуты такой глубокой любовью к человечеству и такой тонкой деликатностью, что не могу припомнить ни одного момента, когда жизнь нашего кружка была бы омрачена хотя бы малейшим недоразумением. Этот факт оценят в особенности те, которым приходилось когда-нибудь вести политическую агитацию.

Прежде чем совершенно оставить ученую деятельность, я считал моею обязанностью закончить для Географического Общества отчет о поездке в Финляндию, а также и другие географические работы. Мои новые друзья так и советовали мне. «Не хорошо было бы поступить иначе», — говорили они. Поэтому я засел усердно за работу, чтобы поскорее закончить мои книги по географии и геологии.

Наш кружок собирался часто, и я никогда не пропускал сходок. Мы собирались тогда в предместье Петербурга, в домике, который снята Софья Перовская, жившая под паспортом жены мастерового.

Со всеми женщинами в кружке у нас были прекрасные товарищеские отношения. Но Соню Перовскую мы все л ю б и л и. С Кувшинской и с женой Синегуба и с другими все здоровались по-товарищески, но при виде Перовской у каждого из нас лицо расцветало в широкую улыбку, хотя сама Перовская мало обращала внимания и только буркнет: «а вы ноги вытрите, не натаскивайте грязи».

Перовская, как известно, родилась в аристократической семье. Отец ее одно время был петербургским военным губернатором. С согласия матери, обожавшей дочь, Софья Перовская оставила родной дом и поступила на высшие курсы, а потом, с тремя сестрами Корниловыми, дочерьми богатого фабриканта, основала тот маленький кружок саморазвития, из которого впоследствии возник наш. Теперь, в повязанной платком мещанке, в ситцевом платье, в мужских сапогах таскавшей воду из Невы, никто не узнал бы барышни, которая недавно блистала в аристократических петербургских салонах. По нравственным воззрениям она была ригористка, но отнюдь не «проповедница». Когда она была недовольна кем-нибудь, то бросала на него строгий взгляд исподлобья, но в нем виделась открытая, великодушная натура, которой все человеческое не было чуждо. Только по одному пункту она была непреклонна. «Бабник», — выпалила она однажды, говоря о ком-то, и выражение, с которым она произнесла это слово, не отрываясь от работы, навеки врезалось в моей памяти.

Говорила Перовская мало, но думала много и сильно. Достаточно посмотреть на ее портрет, на ее высокий лоб и выражение лица, чтобы понять, что ум ее был вдумчивый и серьезный, что поверхностно увлекаться было не в ее натуре, что спорить она не станет, а если выскажет свое мнение, то будет отстаивать его, пока не убедится, что переубедить спорящего нельзя.

Перовская была «народницей» до глубины души и в то же время революционеркой и бойцом чистейшего закала. Ей не было надобности украшать рабочих и крестьян вымышленными добродетелями, чтобы полюбить их и работать для них. Она брала их такими, как они есть, и раз, помню, сказала мне: «Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придется лечь на нем, но сделать его надо». Ни одна из женщин нашего кружка не отступила бы пред смертью на эшафоте. Каждая из них взглянула бы смерти прямо в глаза. Но в то время, в этой стадии пропаганды, никто об этом еще не думал. Известный портрет Перовской очень похож на нее. Он хорошо передает ее сознательное мужество, ее открытый, здравый ум и любящую душу. Никогда еще женщина не выразила так всего чувства любящей души, как Перовская в том письме к матери, которое она написала за несколько часов до того, как взошла на эшафот.

За исключением двух-трех, все женщины нашего кружка сумели бы взглянуть смерти бесстрашно в глаза и умереть, как умерла Перовская. Если бы в 1881 году они не были уже в тюрьмах и в Сибири, они были бы в Исполнительном Комитете, и доведись им взойти на эшафот, взошли бы бесстрашно. Но в те ранние годы движения никто из них, да и большинство из мужчин не предвидели возможности такого исхода движения. Перовская же, должно быть, с самого начала сказала себе, что к чему бы ни привела агитация, она нужна, а если она приведет к эшафоту — пусть так: стало быть это будет нужная жертва.

Следующий случай покажет, каковы были остальные женщины, принадлежащие к нашему кружку. Раз ночью мы с Куприяновым [116] отправились с важным сообщением к Варваре Батюшковой [117]. Было уже далеко за полночь; но так как мы увидали свет в ее окне, то поднялись по лестнице. Батюшкова сидела в маленькой комнатке за столом и переписывала программу нашего кружка. Мы знали ее решительность, и нам пришла в голову мысль выкинуть одну из тех глупых шуток, которые люди иногда считают остроумными.

— Батюшкова, мы пришли за вами, — начал я. — Мы хотим сделать почти безумную попытку освободить товарищей из крепости.

Батюшкова не задала ни одного вопроса. Она положила перо, спокойно поднялась и сказала: «Идем!» Она произнесла это так просто, что я сразу понял, как глупа была моя шутка, и признался во всем. Она опять опустилась на стул, и на глазах у ней блеснули слезы. «Так это была только шутка? — переспросила она с упреком. — Как можно э т и м шутить!» Я вполне понял жестокость моих слов.

Другим общим любимцем нашего кружка был Сергей Кравчинский, хорошо известный в Англии и в Америке под псевдонимом Степняка. Мы иногда называли его «Младенцем», так мало заботился он о собственной безопасности. Но эта беззаботность являлась результатом бесстрашия, которое, в конце концов, бывает часто лучшим средством спастись от преследований полиции. Он скоро стал хорошо известен рабочим как пропагандист, под именем «Сергея», и поэтому полиция усиленно его разыскивала. Несмотря на это, он не принимал никаких мер предосторожности. Помнится, раз на сходке ему задали большую головомойку за то, что товарищи сочли большой неосторожностью. Сергей, по обыкновению, опоздал на сходку, и, чтобы попасть во-время, он, одетый мужиком, в полушубке помчался бегом по середине Литейной.

— Как же можно так делать? — упрекали его. — Ты мог возбудить подозрение, и тебя забрали бы как простого вора!

Но я желал бы, чтобы все были так осторожны, как Сергей, в тех случаях, когда могли быть скомпрометированы другие.

Мы сблизились с ним впервые по поводу книги Стэнли «Как я нашел Ливингстона». Раз наша сходка затянулась до полуночи; когда мы уже собирались расходиться, вошла с книгой одна из Корниловых и спросила, кто из нас возьмется перевести к восьми часам утра шестнадцать страниц английского текста. Я взглянул на размер страниц и сказал, что если кто-нибудь поможет мне, то работу можно сделать за ночь. Вызвался Сергей, и к четырем часам утра печатный лист был переведен. Мы прочитали друг другу наши переводы, причем один следил по английскому тексту. Затем мы опорожнили горшок каши, который оставили для нас

на столе, и вместе вышли, чтобы возвратиться домой. С той ночи мы стали близкими друзьями.

Я всегда любил людей, умеющих работать и выполняющих свою работу как следует. Поэтому перевод Сергей и его способность быстро работать уже расположили меня в его пользу. Когда же я узнал его ближе, то сильно полюбил его за честный, открытый характер, за юношескую энергию, за здравый смысл, за выдающийся ум и простоту, за верность, смелость и стойкость. Сергей много читал и много думал, и, оказалось, мы держались одинаковых взглядов на революционный характер начатой нами борьбы. Он был лет на десять моложе меня и, быть может, не вполне еще отдавал себе отчет, какую упорную борьбу вызовет предстоящая революция. Впоследствии он с большим юмором рассказывал эпизод из своего раннего хождения в народ. «Раз, — рассказывал он, — идем мы с товарищем по дороге. Нагоняет нас мужик на дровнях. Я стал толковать ему, что податей платить не следует, что чиновники грабят народ и что по писанию выходит, что надо бунтовать. Мужик стегнул коня, но и мы прибавили шагу. Он погнал лошадь трусцой, но и мы побежали вслед, и все время продолжал я ему втолковывать насчет податей и бунта. Наконец, мужик пустил коня вскачь, но лошаденка была дрянная, так что мы не отставали от саней и пропагандировали крестьянина, покуда совсем перехватило дыханье».

Некоторое время Сергей жил в Казани, и мне приходилось вести с ним переписку. Он ненавидел шифровку писем, поэтому я предложил ему другой способ переписки, который часто и прежде применялся для конспиративных целей. Вы пишите самое обыкновенное письмо о разных разностях, но в нем следует читать только некоторые слова, например, пятое. Так, вы пишите: «Прости, что пишу второпях. Приходи ко мне сегодня вечером. Завтра утром я должен поехать к сестре Лизе. Моему брату Николаю стало хуже. Теперь уже поздно сделать операцию». Читая каждое пятое слово, получается: «Приходи завтра к Николаю поздно».

Очевидно, что при такой переписке приходилось писать письма на шести-семи страницах, чтобы передать одну страницу сообщений. Нужно было, кроме того, изощрять воображение, чтобы выдумать письмо, в которое можно было втиснуть все необходимое. Сергею, от которого невозможно было добиться зашифрованного письма, очень понравился этот способ переписки. Он строчил мне послания, содержавшие целые повести с потрясающими эпизодами и драматической развязкой. Впоследствии он говорил мне, что эти письма помогли ему развить беллетристический талант. Если у кого есть дарование, то все содействует его развитию.

В январе или феврале 1874 года я жил в Москве в гостях у сестры Леночки. Она жила тогда в маленьком сереньком домике в Москве, в Малом Власьевском переулке, почти напротив дома отца (который отец купил у генерала Пуля). Раз рано утром мне сказали, что меня желает видеть какой-то крестьянин. Я вышел и увидал Сергея, который только что бежал из Тверской губернии. Он был очень силен и ходил по деревням, как пильщик, вместе с другим, таким же силачом, отставным офицером Рогачевым [178]. Работа была очень тяжела, в особенности для непривычных рук; но и Рогачев и Сергей полюбили ее. Никто не узнал

бы в здоровых пильщиках двух бывших офицеров. Они ходили таким образом, не возбуждая подозрения, недели две, смело пропагандируя направо и налево. Иногда Сергей, знавший евангелие почти наизусть, толковал его мужикам и доказывал стихами из него, что следует начать бунт. Иногда он толковал от великих экономистов. Крестьяне слушали пропагандистов, как настоящих апостолов, водили их из избы в избу и отказывались брать деньги за харчи. В две недели пропагандисты создали настоящее брожение в нескольких деревнях. Молва про них распространилась широко вокруг. Старые и молодые крестьяне стали шептаться по амбарам про «ходоков» и начали громче говорить, что скоро землю отберут от господ, которых царь возьмет на жалованье. Молодежь стала посмелее по отношению к полиции и говорила: «Подождите, скоро придет наш черед. Не будете вы, иродово племя, верховодить над нами!» Но слава пильщиков дошла и до станового, и их забрали. Отдан был приказ доставить их в стан, находившийся верстах в двадцати.

Повели их под конвоем несколько мужиков. По пути пришлось проходить деревней, где был храмовой праздник.

— Кто такие? Арестанты? Ладно. Валяй к нам, дяденьки, — говорили пировавшие мужики.

Арестантов и стражу задержали на целый день, водя их из избы в избу и угощая брагой. Стражники не заставляли себя упрашивать долго. Они пили и убеждали арестантов тоже пить. «К счастью, — рассказывал Сергей, — брага обходила кругом в таком большом жбане, что никто не мог видеть, сколько я пью, когда я прикладывался к посудине». К вечеру стража перепилась; и так как она не хотела предстать в таком виде перед становым, то решено было заночевать в деревне. Сергей все время беседовал с крестьянами. Он говорил им от «евангелия» о несправедливых порядках на земле. Они слушали его и жалели, что таких хороших людей ведут в стан. Когда все укладывались спать, один из молодых конвойных шепнул Сергею: «Ворота я притворю только, — не запру на запор». Сергей и Рогачев поняли намек. Когда все заснули, они выбрались на улицу и пошли скорым шагом и к пяти часам утра были уже верстах в двадцати пяти от деревни, на полустанке, где с первым поездом отправились в Москву. Сергей тут и остался. В Москве Сергей приютился у Лебедевых: они были, кажется, знакомы с нашим московским кружком. Тут он встретил Татьяну Лебедеву [179], которая впоследствии сыграла видную роль в Исполнительном Комитете партии «Народной Воли», а тогда была молодой девушкой из барской семьи. Вероятно, Сергей имел ее больше всего в виду, когда писал свой полуавтобиографический роман «Андрей Кожухов». Потом, когда нас всех в Петербурге арестовали, московский кружок, в котором вдохновителями были он и Войнаральский, сделался главным центром агитации.

Говоря о Сергее, я забежал вперед, а теперь возвращусь к весне 1872 года, когда я вступил в кружок чайковцев. В это время там и сям пропагандисты селились небольшими группами, под различными видами, в городах, в деревнях. Устраивались кузницы, другие садились на землю, и молодежь из богатых семей работала в этих мастерских или же в поле, чтобы быть в постоянном соприкосновении с трудящимися массами. В Москве несколько бывших цюрихских студенток основали свою собственную организацию и сами поступили на ткацкие фабрики, где рабо-

тали по четырнадцати — шестнадцати часов в день и вели в общих казармах тяжелую, неприглядную жизнь русских фабричных женщин. То было великое подвижническое движение, в котором, по меньшей мере, принимало активное участие от двух до трех тысяч человек, причем вдвое или втрое больше этого сочувствовало и всячески помогало боевому авангарду. Наш петербургский кружок регулярно переписывался (конечно, при помощи шифров) с доброй половиной этой армии.

Мы скоро нашли недостаточной легальную литературу, в которой строгая цензура запрещала всякий намек на социализм, и завели за границей собственную типографию. Приходилось, конечно, составлять особые брошюры для рабочих и крестьян, так что у «литературного комитета», членом которого я состоял, работы всегда было много. Сергей написал некоторые из этих брошюр, между прочим, «Слово на великий пяток», в духе Ламенэ; в другой же «Мудрица Наумовна» он излагал социалистическое учение в форме сказки. Обе брошюры имели большой успех. Книги и брошюры, отпечатанные за границей, ввозились в Россию контрабандой, тюками, складывались в известных местах, а потом рассылались местным кружкам, которые распространяли уже литературу среди крестьян и рабочих. Для всего этого требовалась громадная организация, частые поездки за границу, обширная переписка. В особенности это нужно было, чтобы охранять наших помощников и книжные склады от полиции. У нас имелись специальные шифры для каждого из провинциальных кружков, и часто, после шести- или семичасового обсуждения мельчайших подробностей, женщины, не доверявшие нашей аккуратности в шифрованной переписке, работали еще ночь напролет, исписывая листы кабалистическими знаками и дробными числами.

Наши заседания отличались всегда сердечным отношением членов друг к другу. Председатель и всякого рода формальности крайне не по сердцу русским, и у нас ничего подобного не было. И хотя наши споры бывали порой очень горячи, в особенности, когда обсуждались «программные вопросы», мы всегда отлично обходились без западно-европейских формальностей. Довольно было одной абсолютной искренности, общего желания разрешить дело возможно лучше и нескрываемого отвращения ко всякому проявлению театральности. Если бы кто-нибудь из нас прибег к декламаторским эффектам в речи, мы шутками напомнили бы ему, что цветы красноречия неуместны. Часто нам приходилось обедать на сходках же, и наша еда неизменно состояла из черного хлеба, соленых огурцов, кусочка сыра или колбасы и жидкого чая вволю. Ели мы так не потому, что у нас мало было денег (их у нас всегда было много), но мы считали, что социалисты должны жить так, как живет большинство рабочих. Деньги же, кроме того, нужны были на революционное дело.

В Петербурге мы скоро завели обширные знакомства среди рабочих. За год до моего вступления в кружок Чайковского, Сердюков [180], юноша, получивший прекрасное образование, завел многих приятелей среди заводских рабочих, большая часть которых работала на казенном оружейном заводе, и устроил кружок человек в тридцать, собиравшийся для чтения и бесед. Заводским недурно платили в Петербурге, и холостые жили, не нуждаясь. Они скоро освоились с радикальной и социалистической литературой того времени, и Бокль [181], Лассаль, Милль [182], Дрэпер [183], Шпильгаген [184] стали для них знакомыми именами. По развитию

эти заводские мало чем отличались от студентов. Они любили поговорить о «железном законе заработной платы», о классовой борьбе и классовом самосознании, о коллективизме, а также и о свободе — по Миллю, о цивилизации — по Дрэперу. «Капитал» Маркса тогда только что вышел, и мы все его читали, между молодежью тогда еще не было той узости понятий, какая встречается теперь.

Когда Дмитрий, Сергей и я присоединились к чайковцам, мы, втроем, часто посещали их кружок и вели там беседы на различные темы. Однако наши надежды, что эти молодые люди станут пропагандистами среди остальных работников, положение которых гораздо хуже нашего, не вполне оправдались. В свободной стране они стали бы обычными ораторами на общественных сходках, но, подобно привилегированным женевским часовщикам, они относились к простым фабричным с некоторого рода пренебрежением и отнюдь не горели желанием стать мучениками социалистического дела. Только после того, как большинство из них арестовали и некоторых продержали в тюрьме года по три за то, что они дерзнули *думать* как социалисты, после того лишь, как некоторые измерили всю безграничность российского произвола, они стали горячими пропагандистами, главным образом, политической революции.

Мои симпатии влекли меня преимущественно к ткачам и к фабричным рабочим вообще. В Петербург сходятся тысячи таких работников, которые на лето возвращаются в свои деревни пахать землю. Эти полукрестьяне, полу-фабричные приносят в город мирской дух русской деревни. Революционная пропаганда среди них шла очень успешно. Мы должны были даже удерживать рвение наших новых друзей: иначе они водили бы к нам на квартиры сотни товарищей, стариков и молодежь. Большинство их жило небольшими артелями, в десять — двенадцать человек на общей квартире и харчевались сообща, причем каждый участник вносил ежемесячно свою долю расходов. На эти-то квартиры мы и отправлялись. Ткачи скоро познакомили нас с другими артелями: каменщиков, плотников и тому подобными, и в некоторых из этих артелей Сергей, Дмитрий, Шишко и другие товарищи были своими людьми; целые ночи толковали они тут про социализм. Во многих частях Петербурга и предместий у нас были особые квартиры, снимаемые товарищами. Туда, особенно к Чарушину [185] и Кувшинской [186] на Выборгской стороне, и к Синегубу [187] за Нарвской заставой, каждый вечер приходило человек десять работников, чтобы учиться грамоте и потом побеседовать. Время от времени кто-нибудь из нас отправлялся также на неделю или на две в те деревни, откуда были родом наши приятели, и там пропагандировали почти открыто среди крестьян.

Конечно, все те, которые вели пропаганду среди рабочих, переодевались крестьянами. Пропасть, отделяющая в России «барина» от мужика, так глубока, они так редко приходят в соприкосновение, что появление в деревне человека, одетого «по-господски», возбуждало бы всеобщее внимание. Но даже и в городе полиция немедленно бы насторожилась, если бы заметила среди рабочих человека, не похожего на них по платью и разговору. «Чего ему якшаться с простым народом, если у него нет злого умысла?» Очень часто, после обеда в аристократическом доме, а то даже в Зимнем дворце, куда я заходил иногда повидать приятеля, я брал извозчика и спешил на бедную студенческую квартиру в дальнем пред-

местье, где снимал изящное платье, надевал ситцевую рубаху, крестьянские сапоги и полушубок и отправлялся к моим приятелям-ткачам, перешучиваясь по дороге с мужиками. Я рассказывал моим слушателям про рабочее движение за границей, про Интернационал, про Коммуну 1871 года. Они слушали с большим вниманием, стараясь не проронить ни слова, а затем ставили вопрос: «Что мы можем сделать в России?» Мы отвечали: «Следует проповедывать, отбирать лучших людей и организовать их. Другого средства нет». Мы читали им историю Французской революции по переделке из превосходной «Истории крестьянина» Эркмана Шатриана. Все восторгались «г-м Шовелевым», ходившим по деревням и распространявшим запрещенные книги. Все горели желанием последовать его примеру. «Толкуйте с другими, — говорили мы, — сводите людей между собою, а когда нас станет больше, мы увидим, чего можно добиться». Рабочие вполне понимали нас, и нам приходилось только удерживать их рвение.

Среди них я проводил не мало хороших часов. В особенности памятен мне первый день 1874 года, последний новый год, который я провел в России на свободе. Новый год я встретил в избранном обществе. Говорилось там не мало выспренних, благородных слов о гражданских обязанностях, о благе народа и тому подобном. Но во всех этих прочувствованных речах чуялась одна нота. Каждый из гостей, казалось, был в особенности занят мыслью, как бы ему сохранить свое собственное благосостояние. Никто, однако, не смел прямо и открыто признаться, что он готов сделать только то, что не сопряжено ни с какими опасностями для него. Софизмы, бесконечный ряд софизмов насчет медленности эволюции, косности масс, бесполезности жертв высказывались для того только, чтобы скрыть истинные мотивы, вперемешку с уверениями насчет готовности к жертвам... Мною внезапно овладела тоска, и я ушел с этого вечера.

На другое утро я пошел на сходку ткачей. Она происходила в темном подвале. Я был одет крестьянином и затерялся в толпе других полушубков. Товарищ, которого работники знали, представил меня запросто «Бородин, мой приятель». «Расскажи нам, Бородин, — предложил он, — что ты видел за границей». И я принялся рассказывать о рабочем движении в Западной Европе, о борьбе пролетариата, о трудностях, которые предстоит ему преодолеть, о его надеждах.

На сходке большею частью были люди среднего возраста. Рассказ мой чрезвычайно заинтересовал их, и они задавали мне ряд вопросов, вполне к делу: о мельчайших подробностях рабочих союзов, о целях Интернационала и о шансах его на успех. Затем пошли вопросы, что можно сделать в России и о последствиях нашей пропаганды. Я никогда не уменьшал опасностей нашей агитации и откровенно сказал, что думал. «Нас, вероятно, скоро сошлют в Сибирь, а вас, то есть некоторых из вас, продержат долго в тюрьме за то, что вы нас слушали». Мрачная перспектива не охладила и не испугала их. «Что ж, и в Сибири не все, почитай, медведи живут: есть и люди? Где люди живут, там и мы не пропадем». «Не так страшен чорт, как его малюют». «Волков бояться, — в лес не ходить». «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».

И когда потом некоторых из них арестовали, они почти все держались отлично и не выдали никого

XVI

В те два года, о которых я говорю, было произведено много арестов как в Петербурге, так и по всей России. Не проходило месяца без того, чтобы мы не досчитывались кого-либо из нас, или без того, чтобы не забрали еще кого-нибудь из членов провинциальных групп. К концу 1873 года аресты участились. В ноябре полиция нагрянула на одну из наших главных квартир за Нарвской заставой. Мы потеряли Перовскую, Синегуба и двух других товарищей. Все сношения с рабочими в этой части Петербурга пришлось прекратить. Жандармы стали очень бдительными и сразу замечали появление студента в рабочем квартале. Мы основали новое поселение, еще дальше за городом, но и его скоро пришлось оставить. Среди рабочих шныряли шпионы и зорко следили за нами. В наших полушубках, с нашим крестьянским видом Дмитрий, Сергей и я пробирались незамеченными. Мы продолжали посещать кварталы, кишевшие жандармами и шпионами. Но положение Дмитрия и Сергея было очень опасно. Полиция усиленно разыскивала их, так как их имена приобрели широкую известность в рабочих кварталах. Если бы Клеменца или Кравчинского случайно нашли на квартире знакомых, куда полиция явилась бы с обыском, их бы немедленно забрали. Бывали периоды, когда Дмитрию каждый день приходилось разыскивать квартиру, где он сравнительно спокойно мог бы провести ночь.

— Могу я переночевать у вас? — спрашивал он, появляясь у товарища в десятом часу вечера.

— Совсем невозможно! За моей квартирой в последнее время сильно следят. Лучше ступайте к N.

— Да я только что от него. Он говорит, что его дом окружен шпионами.

— Ну, ступайте к М. Он мой большой приятель и вне подозрения; но до него далеко. Возьмите извозчика. Вот деньги. — Но из принципа Дмитрий денег не брал и плелся пешком на ночлег в противоположный конец города, а не то оставался у товарища, к которому ежеминутно могли нагрянуть с обыском.

В январе 1874 года полиция захватила нашу главную цитадель на Выборгской, служившую нам для пропаганды среди ткачей. Некоторые из наших лучших пропагандистов исчезли за таинственными воротами Третьего отделения. Наш кружок поредел. Собраться на общую сходку становилось все труднее. Мы напрягали все усилия, чтобы образовать новые кружки из молодежи, которая могла бы продолжать дело, когда нас арестуют. Чайковский был тогда на юге. Мы убедили или попросту заставили Сергея и Дмитрия уехать из Петербурга. Нас оставалось тогда в Петербурге не больше пяти-шести человек, чтобы продолжать дело нашего кружка. Я же намеревался, как только сделаю доклад Географическому Обществу о начатой работе, отправиться на юг, чтобы там создать род земельной лиги — нечто в роде той организации, которая достигла таких грозных размеров в Ирландии в конце семидесятых годов.

Два месяца прошло сравнительно спокойно, но вдруг в середине марта мы узнали, что почти весь кружок заводских рабочих арестован и вместе с ним бывший студент Низовкин[188], к несчастью, пользовавшийся их доверием.

Мы были уверены, что Низовкин, выгораживая себя, выдаст все, что ему известно. Кроме Дмитрия и Сергея он знал основателя кружка Сердюкова и меня, и мы предвидели, что на допросах он, вероятно, назовет наши настоящие имена. Через несколько дней забрали двух ткачей, крайне ненадежных парней, замотавших даже деньги своих товарищей. Они знали меня под именем Бородина[189]. Эти двое наверное должны были направить полицию на след Бородина, одетого по-крестьянски и говорившего на сходках ткачей. Таким образом в одну неделю забрали всех наличных членов нашего кружка, кроме Сердюкова и меня.

Нам не оставалось ничего другого, как только бежать из Петербурга, но именно этого мы не хотели. На наших руках была громадная организация как внутри России, так и за границей для печатания там наших изданий и ввоза контрабандою. Как оставить, не найдя заместителей, всю нашу сеть кружков и колоний в сорока губерниях, которую мы с таким трудом создали в эти годы и с которыми мы вели правильную переписку? Как, наконец, оставить наши рабочие кружки в Петербурге и наши четыре различных центра для пропаганды среди столичных рабочих? Как бросить все это, прежде чем мы найдем людей, которые поддержат наши сношения и переписку? Мы с Сердюковым решили принять в наш кружок двух новых членов и передать им все дела. Каждый вечер мы встречались в различных частях города и усердно работали. Имен и адресов мы никогда не записывали. Зашифрованы у нас были и сложены в безопасном месте только адреса по перевозке книг. Поэтому нам нужно было, чтобы новые члены заучили сотни адресов и десяток шифров. Мы до тех пор повторяли их нашим новым товарищам, покуда они не зазубрили их. Каждый вечер мы давали им наглядный урок по карте Европейской России, останавливаясь в особенности на западной границе, где жили получавшие переправленные контрабандой книги, и на поволжских губерниях, где находилось большинство наших поселений. Затем, конечно переодевшись, мы водили наших новых товарищей знакомить их с рабочими в разных частях города.

Самое лучшее в таком случае было бы исчезнуть из своей квартиры и появиться в новом месте под чужим именем и с чужим паспортом. Сердюков оставил свою квартиру; но так как у него не было паспорта, то он скрывался у знакомых. Я должен был бы сделать то же самое, но странное обстоятельство задержало меня. Я только что кончил записку о ледниковых отложениях в Финляндии и в России, которую должен был прочесть на общем собрании в Географическом Обществе. Приглашения были уже разосланы, но вышло так, что в назначенный день должно было состояться соединенное заседание двух геологических обществ Петербурга, и геологи просили Географическое Общество отложить на неделю мой доклад. Было известно, что я выскажу несколько мыслей о распространении ледникового покрова до Средней России, а наши геологи, кроме моего друга и учителя Фридриха Шмидта, считали это предположение слишком смелым и хотели основательно разобрать его. Приходилось, таким образом, остаться еще на неделю.

Между тем таинственные незнакомцы бродили вокруг моего дома и заходили ко мне под различными фантастическими предлогами. Один из них предлагал купить лес в моем тамбовском имении, которое лежало в безлесной степи. К моему удивлению, я увидал на моей улице, на Ма-

лой Морской, одного из упомянутых выше арестованных ткачей. Таким образом, я мог убедиться, что за моим домом следят. Между тем я должен был держаться так, как будто не произошло ничего необыкновенного, потому что в следующую пятницу мне предстояло читать доклад в Географическом Обществе.

Заседание состоялось [190]. Прения были очень оживленные, и, во всяком случае, хоть один пункт удалось отвоевать. Наши геологи признали, что все старые теории о дилювиальном периоде и разносе валунов по России ловучими льдинами решительно ни на чем не основаны и что весь вопрос следует изучить заново. Я имел удовольствие слышать, как наш выдающийся геолог Барбот де Марни [191] сказал: «Был ли ледяной покров или нет, но мы должны сознаться, господа, что все, что мы до сих пор говорили о действии плавающих льдин, в действительности не подтверждается никакими исследованиями». Мне предложили занять место председателя отделения физической географии, тогда как я сам задавал себе вопрос: «Не проведу ли я эту самую ночь уже в Третьем отделении?»

Мне следовало бы совсем не возвращаться в мою квартиру, но я изнемогал от усталости и вернулся ночевать. В эту ночь жандармы не нагрянули. Я пересмотрел целый ворох моих бумаг, уничтожил все, что могло кого-нибудь скомпрометировать, уложил все вещи и приготовился к отъезду. Я знал, что за моей квартирой следят, но рассчитывал, что полиция явится с визитом только поздно ночью и что поэтому в сумерках, под вечер, мне удастся выбраться незаметно. Стемнело, и когда я собрался уходить, одна из горничных шепнула мне: «Вы бы лучше вышли по черной лестнице». Я понял ее, быстро спустился вниз и выбрался из дома. У ворот стоял только один извозчик. Я вскочил на дрожки, и мы поехали по направлению к Невскому проспекту. Вначале за мною не было погони, и я уже думал, что все обстоит благополучно, но вдруг, уже на Невском, около думы, я заметил другого извозчика, который гнался за мной вскачь и вскоре стал обгонять нас.

К великому изумлению, я увидал на дрожках одного из двух арестованных ткачей, а рядом с ним какого-то неизвестного мне господина. Ткач сделал мне знак рукой, как будто хотел сказать что-то. Я сказал моему извозчику остановиться. «Быть может, — думал я, — его только что выпустили и у него ко мне важные поручения». Но как только извозчик остановился, господин, сидевший рядом с ткачем (то был шпион), крикнул громко: «Г-н Бородин, князь Кропоткин, я вас арестую». — Он подал сигнал полицейским, которых всегда масса на Невском, прыгнул ко мне в дрожки и показал бумагу с печатью петербургской городской полиции. «У меня приказ пригласить вас немедленно к генерал-губернатору для объяснения», — сказал он. Сопротивление было бесполезно. Два полицейских уже стояли рядом. Я сказал моему извозчику повернуть назад и ехать к генерал-губернатору. Ткач остался на своем извозчике и поехал за нами.

Очевидно, полиция дней десять колебалась арестовать меня, так как не была уверена, что Бородин и я одно и то же лицо. Мой ответ на призыв ткача разрешил все сомнения.

Случилось так, что как раз тогда, когда я уезжал из дому, приехал из Москвы молодой человек с письмом ко мне от моего приятеля П. И. Войнаральского [192] и к нашему приятелю Полякову от Дмитрия Клеменца.

Войнаральский сообщал о том, что в Москве заведена тайная типография. Вообще в его письме было много отрадных вестей о революционной деятельности в этом городе. Я прочитал письмо и уничтожил его, а так как во втором письме не было ничего, кроме невинной приятельской болтовни, то я захватил его с собою. Теперь, когда меня арестовали, я счел за лучшее уничтожить и это письмо. Я потребовал опять у шпиона его бумагу, и в то время, как он доставал ее из кармана, незаметно бросил письмо на мостовую. Но... когда мы подъехали к генерал-губернаторскому дому, ткач подал злосчастную бумажку сыщику, прибавляя: «Я видел, как они выбросили письмо на мостовую, и поднял его».

Наступили теперь утомительные часы ожидания прокурора. Представитель судебной власти играет, как известно, роль подставного лица в руках жандармов. Они выставляют его, чтобы придать тень законности обыскам и допросу. Прошло не мало времени, покуда разыскали прокурора и привезли его, чтобы он фигурировал будто бы в виде представителя законности. Меня опять повезли на мою квартиру, где был произведен самый тщательный обыск, продлившийся до трех часов утра. Жандармы не нашли, однако, ни клочка бумаги, который мог бы явиться уликой против меня или кого-нибудь другого.

После обыска меня доставили в Третье отделение, которое правило и правит под различными именами Россией со времени Николая I, вплоть до настоящего времени, и составляет истинное государство в государстве. Родоначальником его был, при Петре I, Преображенский приказ, в котором противники основателя военной Русской империи подвергались жестоким пыткам и бывали замучиваемы до смерти. При императрицах «Приказ» преобразовался в «Тайную канцелярию». А при Анне Иоанновне застенок жестокого Бирона нагонял ужас на всю Россию. Железный деспот Николай I преобразовал канцелярию в «Третье отделение» и присоединил к нему корпус жандармов, причем шеф жандармов стал лицом более страшным, чем сам император.

Вскоре после того, как Мезенцев [193] был убит, при Лорис-Меликове [194] Третье отделение было уничтожено по имени, но, как феникс, оно возродилось и еще более прежнего расцвело под новыми вывесками *. В каждой губернии, в каждом городе, даже на каждой железнодорожной станции находятся жандармы, доносящие непосредственно своим полковникам и генералам, которые сносятся с шефом жандармов. Последний же видит царя каждый день и докладывает ему, что считает нужным доложить. Все чиновники в империи находятся под надзором жандармов. Генералы и полковники этого корпуса следят по обязанности за общественной и частной жизнью всех царских подданных, в том числе губернаторов, министров и даже великих князей. Сам император находится под их бдительным надзором. И так как они хорошо осведомлены о секретных делишках дворца и знают каждый шаг императора, то шеф жандармов становится, так сказать, наперсником правителей России в их наиболее интимных делах.

В тот период царствования Александра II, о котором я говорю, Третье отделение было всесильно. Жандармские полковники производили обыски тысячами, ничуть не заботясь о том, есть ли в России суды и законы или нет. Они арестовывали, кого хотели, держали в тюрьме, сколько им

* Писано в 1898 году. *Прим. ред.*

было угодно, и сотни людей отправлялись в ссылку в Северную Россию или в Сибирь по усмотрению какого-нибудь полковника или генерала. Подпись министра внутренних дел была только пустой формальностью, потому что у него не было контроля над жандармами, и он даже не знал, что они делают.

Было уже четыре часа утра, когда начался допрос.

— Вы обвиняетесь,—заявили мне торжественно,—в принадлежности к тайному сообществу, имеющему цель ниспровергнуть существующую форму правления, и в заговоре против священной особы его императорского величества. Признаете ли вы себя виновным в этих преступлениях?

— До тех пор, покуда я не буду пред гласным судом, я не дам никакого ответа, — сказал я.

— Запишите, — продиктовал прокурор секретарю, — не признает себя виновным. Я должен вам задать еще некоторые вопросы, — начал он после короткой паузы. — Знаете ли вы некоего Николая Чайковского?

— Если вы все-таки желаете задавать мне вопросы на ваших допросах, то так и пишите «нет» на все те, которые вы будете мне задавать.

— Ну, а если мы спросим — знакомы ли вы, например, с г. Поляковым, о котором вы говорили прокурору несколько минут тому назад?

— Если вы зададите мне такой вопрос, то пишите «нет». И если вы спросите меня, знаком ли я с сестрой, братом или мачехой, пишите тоже «нет». Никакого другого ответа вы от меня не получите. Я знаю, что если я отвечу «да» по отношению к какому-нибудь лицу, вы тотчас же учините ему крупную неприятность, нагрянете с обыском или сделаете что-нибудь похуже. А потом скажете ему, что я его выдал.

Мне предложили тогда длинный список вопросов, и каждый раз я спокойно отвечал: «Запишите н е т». Так продолжалось около часа. И из допроса я мог убедиться, что все арестованные, кроме двух ткачей, держали себя очень хорошо. Ткачи же знали только, что я раза два встречался с десятком работников. Жандармы, повидимому, ничего не знали существенного о нашем кружке.

— Что вы делаете, князь? — сказал мне жандармский офицер, который отводил меня в пятом часу утра в мою камеру. — Вашим отказом отвечать на вопросы воспользуются как страшным оружием против вас же.

— Разве это не мое право?

— Да, но... вы знаете... Надеюсь, вы найдете комнату удобной. Ее топят с момента вашего ареста.

Я нашел ее очень удобной и немедленно крепко заснул. Разбудил меня через несколько часов жандарм, который принес мне чай. За ним скоро явилось другое лицо, которое шепнуло мне неожиданно: «Вот бумага и карандаш; пишите вашу записку». Это был сочувствующий, которого я знал по имени. Через него велась наша переписка с арестованными в Третьем отделении.

Со всех сторон я слышал легкий стук в стены. То переговаривались условным образом арестованные. Но так как я был новичком, то не мог разобраться в этом стуке, который, казалось, исходил из стен со всех сторон.

Одно смущало меня. Когда производили у меня обыск, я слышал, как прокурор шепнул жандармскому офицеру о том, что они поедут с обыском

к Полякову, к которому было адресовано письмо Дмитрия. Поляков был молодой студент, очень талантливый зоолог и ботаник, с которым мы вместе совершили Витимскую экспедицию. Родился он в бедной казачьей семье, на границе Монголии. Преодолев всевозможные затруднения, Поляков добрался до Петербурга и поступил в университет, где стал известен как зоолог, подававший большие надежды. В это время он сдавал кандидатский экзамен. Со времени долгого путешествия мы были большими друзьями и даже одно время жили в Петербурге вместе. Но Поляков не интересовался моею политическою деятельностью.

Я заговорил о нем с прокурором. «Даю вам честное слово, — сказал я, — что Поляков никогда не принимал участия ни в каких политических делах. Завтра у него последний экзамен. Вы разрушите навсегда ученую деятельность молодого человека, который боролся много лет и должен был преодолеть большие препятствия, чтобы добиться настоящего положения. Я знаю, до всего этого вам дела нет, но университет смотрит на Полякова, как на будущую славу русской науки».

Обыск, тем не менее, сделали у Полякова, но его не арестовали и дали отсрочку на три дня для экзамена. Несколько дней спустя меня вызвали к прокурору, который с сияющим видом показал мне конверт, написанный моею рукою, а в нем записку, тоже моей рукой, в которой говорилось: «Пожалуйста, передайте этот пакет В. Е. и попросите хранить, покуда его потребуют установленным образом». Лица, к которому записка была адресована, в ней не упоминалось.

— Это письмо найдено у г-на Полякова, — сказал прокурор. — И теперь, князь, его судьба в ваших руках. Если вы мне скажете, кто такой «В. Е.», мы сейчас же освободим г-на Полякова, в противном случае мы его будем держать, покуда он нам не назовет упомянутого лица.

Взглянув на конверт, который был надписан тушевальным карандашом, и на записку, написанную обыкновенным, я немедленно вспомнил все обстоятельства относительно письма и конверта.

— Я положительно утверждаю, — сказал я, — что конверт и записка не найдены вместе. Это вы вложили письмо в конверт. Прокурор покраснел. — Неужели вы уверите меня, — продолжал я, — что вы, практический человек, не заметили, что засписка и конверт написаны разными карандашами? И теперь вы меня хотите уверить, что все это — одно целое? Нет, милостивый государь, я заявляю вам, что письмо было адресовано не к Полякову.

Замешательство прокурора продолжалось несколько секунд; затем он оправился и с прежним апломбом сказал:

— Поляков, однако, сознался, что ваша записка была к нему.

Теперь я знал, что прокурор лжет. Поляков мог бы еще признать все, касающееся его самого, но он скорее пошел бы в Сибирь, чем оговорил бы другого. Я посмотрел пристально в глаза прокурору и ответил:

— Нет, милостивый государь, Поляков никогда не говорил вам ничего подобного. Вы сами отлично знаете, что говорите неправду.

Прокурор пришел в бешенство или притворился так.

— Хорошо, — отрезал он, — если вы подождете здесь несколько минут, я вам принесу письменное показание г-на Полякова. Он в соседней комнате.

— С удовольствием, буду ждать, сколько вам угодно.

Я уселся на диване и стал курить бесконечное число папирос. Показание, однако, не явилось ни в этот день, ни позже, и впоследствии каждый раз, при встрече с прокурором, я дразнил его вопросом:

— Ну, а где же показание Полякова?

Само собою разумеется, никакого показания не существовало. Я встретился с Поляковым в Женеве в 1878 году, откуда мы сделали необыкновенно приятную экскурсию к Алечскому леднику. Нечего и прибавлять, что Поляков ответил именно так, как я ожидал. Он сказал, что решительно ничего не знает как о письме, так и о лице, упомянутом под литерами В. Е. Мы обменивались с ним десятками книг, записку нашли в одной из них. Что же касается конверта, то его извлекли из кармана старого пальто. Полякова продержали в заключении несколько недель, а затем выпустили благодаря ходатайству его ученых друзей. Полиция так и не дозналась, кто такое было лицо «В. Е.». Оно в свое время выдало, кому нужно, все мои бумаги.

Меня повели обратно в камеру, а через несколько времени возвратился прокурор в сопровождении жандармского офицера.

— Ваш допрос теперь кончен, — сказал он мне. — Вас переведут в другое место.

У ворот стояла карета. Меня пригласили войти в нее, а рядом сел дюжий жандармский офицер, кавказец родом. Я заговорил с ним, но он только сопел. Карета проехала Цепной мост, Марсово поле, затем покатилась вдоль каналов, как будто бы избегая наиболее людные улицы.

— Мы едем в Литовский замок? — спросил я офицера, так как знал, что многие товарищи сидят уже там. Офицер не ответил. С того момента, как я сел в карету, началась та система молчания по отношению ко мне, которая применялась потом целых два года. Но когда карета покатилась по Дворцовому мосту, я понял, что меня везут в Петропавловскую крепость.

Я любовался рекой-красавицей, зная, что не скоро увижу ее опять. Солнце близилось к закату. Тяжелые серые тучи нависли на западе над Финским заливом; прямо над головой плыли белые облака, разрываясь порой и открывая клочки голубого неба. Проехав мост, карета повернула налево. Мы въехали под мрачный свод, в ворота крепости.

— Ну, теперь меня продержат здесь годика два, — сказал я офицеру.

— Нет, зачем же так долго! — ответил кавказец, который, раз мы добрались до крепости, снова приобрел дар слова. — Дело ваше почти кончено, и недели через две его передадут в суд.

— Дело мое очень простое — сказал я, — но прежде, чем вы предадите меня суду, вы захотите арестовать всех социалистов в России, а их много, очень много, и в два года вы всех не переловите. — Я тогда не сознавал, как много пророческого было в этом предсказании.

Карета остановилась у подъезда комендантской квартиры. Мы вошли в приемную. К нам вышел генерал Корсаков, высокий старик с брюзгливым выражением лица. Жандармский офицер шепнул ему что-то на ухо, и старик ответил «хорошо», окинув его почти презрительным взглядом; затем он повернулся ко мне. Видно было, что комендант вовсе не был доволен получением нового квартиранта и несколько стыдился своей обязанности, но взгляд его как будто бы говорил «я солдат и исполняю только долг». Мы опять сели в карету, но скоро остановились у других ворот;

здесь нас продержали некоторое время, покуда солдаты не отперли их изнутри. Всякими длинными, узкими проходами мы подошли, наконец, к третьим железным воротам: они вели под темный свод, из которого мы попали в небольшую комнату, где тьма и сырость сразу охватили меня.

Несколько унтер-офицеров крепостной стражи забегали неслышно в своих войлочных ботиках, не говоря ни слова, покуда смотритель расписывался в книге кавказца в приеме арестанта. Мне велели раздеться совершенно и надеть арестантское платье: зеленый фланелевый халат, бесконечные шерстяные чулки, плотности невероятной, и желтые туфли такой величины, что они едва держались на ногах, когда я попробовал ступить шаг. Я всегда ненавидел халаты и туфли. Толстые чулки внушали мне отвращение. Меня заставили даже снять шелковую фуфайку, которая особенно была бы кстати в сырой крепости. Я, конечно, шумно запротестовал по этому поводу, и через час мне ее отдали по распоряжению генерала Корсакова.

Затем меня повели темным коридором, по которому шагали часовые, и ввели в одиночную камеру. Захлопнулась тяжелая дубовая дверь, щелкнул ключ в замке, и я остался один в полутемной комнате.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ. ПОБЕГ

I

Итак, я был в Петропавловской крепости, где за последние два века гибли лучшие силы России. Самое ее имя в Петербурге произносилось вполголоса.

Здесь Петр I пытал своего сына Алексея и убил его собственной рукой. Здесь, в каземате, куда проникла вода во время наводнения, была заключена княжна Тараканова. Крысы, спасаясь от потопа, взбирались на ее платье. Здесь ужасный Миних пытал своих политических противников, а Екатерина II заживо похоронила тех, кто возмущался убийством ее мужа. И со времен Петра I, в продолжение ста семидесяти лет, летописи этой каменной громады, возвышающейся из Невы против Зимнего дворца, говорят только об убийствах, пытках, о заживо погребенных, осужденных на медленную смерть или же доведенных до сумасшествия в одиночных, мрачных, сырых казематах.

Здесь перетерпели начальные стадии своей мученической жизни декабристы, первые развернувшие у нас знамя республики и уничтожения крепостного права. Следы их до сих пор можно еще найти в русской Бастилии. Здесь были заключены Рылеев, Шевченко, Достоевский, Бакунин, Чернышевский, Писарев и много других из наших лучших писателей. Здесь пытали и повесили Каракозова.

Здесь, где-то в Алексеевском равелине, сидел еще Нечаев, выданный Швейцарией, как уголовный, но с которым обращались как с опасным политическим преступником. Ему уже не суждено было больше увидать свободу. В том же равелине, гласила молва, сидело несколько человек, заключенных на всю жизнь по приказу Александра II за то, что они знали дворцовые тайны, которых другие не должны были знать. Одного из них, старика с длинной бородой, видел в таинственной крепости один из моих знакомых.

Все эти тени восставали в моем воображении; но мои мысли останавливались в особенности на Бакунине, который, хотя и просидел два года на цепи, прикованный к стене, в австрийской крепости после 1848 года, и потом, выданный русскому правительству, прожил еще шесть лет в Алексеевском равелине, вышел, однако, из тюрьмы, после смерти железного деспота, более энергичным, чем многие его товарищи, которые все это время пробыли на свободе. «Он выжил все это, — говорил я самому себе, — так и я не поддамся тюрьме».

Первым движением моим было подойти к окну. Оно было прорезано в виде широкого, низкого отверстия в двухаршинной толстой стене на такой высоте, что я едва доставал до него рукой. Оно было забрано двумя железными рамами со стеклами и, кроме того, решоткой. За окном, саженях в пяти, я видел перед собою внешнюю крепостную стену необыкновенной толщины; на ней виднелась серая будка часового. Только глядя вверх, мог я различить клочок неба.

Я тщательно осмотрел камеру[195], в которой, быть может, мне предстояло провести несколько лет. По положению высокой трубы монетного двора я догадался, что моя камера находится в юго-западном углу крепости, в бастионе, выходящем на Неву. Здание, в котором я сидел, было, однако, не бастион, а то, что в фортификации называют редюит, то есть внутреннее, пятиугольное, двухэтажное каменное здание, поднимающееся несколько над стенами бастиона и заключающее два этажа пушек. Моя комната была казематом, предназначавшимся для большой пушки, а окно — его амбразура. Солнечные лучи никогда не проникали туда. Даже летом они терялись в толще стены. Меблировку составляли: железная кровать, дубовый столик и такой же табурет. Пол был покрыт густо закрашенным войлоком, а стены оклеены желтыми обоями. Чтобы заглушить звуки, обои были, однако, наклеены не непосредственно на стену, а на полотно, под которым я открыл проволочную сетку, а за ней слой войлока. Только под ним мне удалось нащупать камень. У внутренней стены стоял умывальник. В толстой дубовой двери было прорезано запиравшееся квадратное отверстие, чтобы подавать через него пищу, и продолговатый глазок со стеклом, закрывавшийся с наружной стороны маленькою заслонкою. Через этот глазок часовой, стоявший в коридоре, мог видеть во всякое время, что делает заключенный. Действительно, он часто поднимал заслонку глазка, причем сапоги его жестоко скрипели всякий раз, как он по-медвежьи подкрадывался к моей двери. Я пробовал заговорить с ним, но тогда глаз, который я видел сквозь стеклышко, принимал выражение ужаса, и заслонка немедленно опускалась. И через минуту или две я опять слышал скрип, но никогда я не мог добиться ни слова от часового.

Кругом царила глубокая тишина. Я придвинула табуретку к окну и стал смотреть на клочок неба. Тщетно старался я уловить какой-нибудь звук с Невы или из города на противоположном берегу. Мертвая тишина начинала давить меня. Я попробовал петь, вначале тихо, потом все громче и громче: «Ужели мне во цвете лет любви сказать: прости навек», — пел я из «Руслана и Людмилы».

— Господин, не извольте петь! — раздался густой бас из-за двери.

— Я хочу петь и буду.

— Петь не позволяется, — басил солдат.

— А я все-таки буду.

Тогда явился смотритель, начавший убеждать меня, что я не должен петь, так как об этом он вынужден будет доложить коменданту крепости, и так далее.

— Но у меня засорится горло, и легкие отучатся действовать, если я не буду ни говорить, ни петь, — пробовал убеждать я.

— Уж вы лучше пойте вполголоса, про себя, — просил старый смотритель.

П. А. Кропоткин в каземате Петропавловской крепости

Рисунок карандашом П. А. Кропоткина

Но в просьбе не было надобности. Через несколько дней у меня пропала охота петь. Я пробовал было продолжать пение из принципа, но это ни к чему не повело.

«Самое главное, — думал я, — сохранить физическую силу. Я не хочу заболеть. Нужно себе представить, что предстоит провести несколько лет на севере, во время полярной экспедиции. Буду делать много движения, гимнастику,—не надо поддаваться обстановке. Десять шагов из угла в угол уже не худо. Если пройти полтораста раз, вот уже верста». И я решил делать ежедневно по семи верст: две версты утром, две—перед обедом, две—после обеда и одну перед сном. «Если положить на стол десять папирос и передвигать одну, проходя мимо стола, — думал я, — то легко сосчитаю те триста раз, что мне надо пройти взад и вперед. Ходить надо скоро, но поворачивать в углу медленно, чтобы голова не закружилась, и всякий раз в другую сторону. Затем дважды в день буду проделывать гимнастику с моей тяжелой табуреткой». Я поднимал ее за ножку и держал в вытянутой руке, затем вертел ее колесом и скоро научился перебрасывать ее из одной руки в другую, через голову, за спиной и между ногами.

Через несколько часов после того, как меня привезли, явился смотритель и предложил кое-какие книги. Между ними были старые знакомые, как: «Физиология обыденной жизни» Льюиса; но второй том, который мне особенно хотелось прочитать, снова куда-то затерялся. Я попросил, конечно, письменные принадлежности, но мне наотрез отказали. Перья и чернила никогда не выдаются в крепости иначе, как по специальному разрешению самого царя. Я, конечно, сильно страдал от вынужденной бездеятельности и начал сочинять в памяти ряд повестей для народного чтения, на сюжеты, заимствованные из русской истории, — нечто в роде «Mystères du Peuple» * Евгения Сю. Самую идею мне подали «Очерки из истории рабства», которые я прочел в одной из старых книжек «Дела». Я придумывал фабулу, описания, диалоги и пробовал запомнить все от начала до конца. Можно себе представить, как изнурила бы мозг подобная работа, если бы я ее продолжал больше, чем два или три месяца.

В крепости от нескольких поколений заключенных накопилась целая библиотека. Чернышевский, каракозовцы, нечаевцы — все оставили что-нибудь для следующих поколений заключенных. Было даже несколько книг, оставшихся от декабристов, и одна из них попалась мне, и я с чувством благоговения читал какое-то туманное мистически-философское сочинение, которое было в руках этих первых мучеников борьбы против самодержавия в нашем веке, отыскивая каких-нибудь следов — имен или разговоров — в старинной книге. Все книги были, между прочим, до того исчерчены ногтем, что трудно было до чего-нибудь добраться. Одно только имя раз попалось мне, совершенно ясно очерченное ногтем, буква за буквой: «Нечаев 1873». — Он, стало быть, еще недавно был жив, заключенный где-то в каком-то каземате, может быть, недалеко от нас.

Многим заключенным только в тюрьме и удается читать спокойно, без перерыва, серьезные книги. Попадая рано в круговорот кружковой жизни и политической агитации, большинству революционеров только и удается читать толстые книги в тюрьме. Иоган Мост [190] как-то писал мне, что он только в немецкой тюрьме получил порядочное образование. Лионским

* «Тайны народа».

анархистам только в Клерво удалось получить кое-какое образование. Вообще, где же молодому рабочему учиться, если не в тюрьме! Но и большинству молодых студентов только в тюрьме удалось прочесть многое и познакомиться основательно с историей.

За Льюисом, конечно, последовала «История XVIII века» Шлоссера, — книга, которую все без исключения, попавшие в русскую тюрьму, прочитывают по нескольку раз. Тюремная цензура охотно пропускала этот тяжеловесный труд немецкого историка, довольно либерального, и из нее наша молодежь знакомилась с французской революцией — за неимением лучших сочинений. Мне тоже позволили пополнить, в свою очередь, крепостную библиотеку, и я приобрел всю «Историю» Соловьева и пополнил то, чего нехватало из Костомарова, Сергеевича, Беляева. Все это я прочитал по нескольку раз в крепости и глубоко наслаждался, читая не только общие исследования, но даже такие специальные работы, как, например, «Одежды русских царей и цариц» и т. п., которые мне потом носили из библиотеки Черкасова.

Еще одну книгу хотелось бы мне помянуть добром за вынесенное из нее наслаждение. Это Стасюлевича «Хрестоматия средних веков». Если по новейшим или древнейшим периодам истории каждый писатель по-своему толкует события, то нигде произвол и даже полнейшее непонимание периода не доходят до такой степени, как в исследованиях по средним векам. Историки, выросшие на государственности, римском праве, в большинстве случаев совершенно неспособны понять смысл средневековой жизни. Им важно ленное начало, отношение феодалов к королевской власти, — которую они все, кроме Огюстэна Тьери и даже включая его, преувеличивают, — правовые, установленные грамотами или договорами отношения крестьян к землевладельцам, или же отношения церкви, как государственного учреждения, к королю, папе или своей пастве; но взаимные отношения крестьян и горожан между собою, не определенные никакими письменными документами — так же, как отношения сельчан в сельском «обществе», в общине — совершенно ускользают от них. Выросши на школе римской государственности и римского права, большинство историков даже не подозревает этого обширного мира правовых отношений, построенных на неписанном обычном праве.

Вот почему я с таким удовольствием читал выборки из хроник, из которых составлена «Хрестоматия» Стасюлевича. Я не поручусь, что Стасюлевич тоже не упустил в этих выборках самого существенного, то есть намеков, попадающихся в этих хрониках, на взаимные обычные отношения людей. Но уже потому, что выборки так обширны, в них попадаются там и сям ценные намеки; затем хотя бы и придворная и монастырская жизнь, выступающая в этих хрониках, сама по себе в высшей степени интересна, иногда драматична и всегда дышит самою жизнью.

Больше всего я зачитывался, конечно, такими сочинениями, как «Вече и князь» Сергеевича, или такими исследованиями, как Беляева «Крестьяне на Руси», в которых выступала жизнь масс в средние века русской жизни. С большим удовольствием читал я также «Жития святых», где иногда попадаются среди массы хлама такие бытовые картины, которых больше нигде не найдешь. Наши русские летописи — такая роскошь, что удивляешься, как мало их читают! Псковская летопись, в особенности, так живописна и такой драгоценный материал для понимания средневекового

городского уклада, что ни в одной, кажется, литературе нет ничего подобного. Дело в том, что в Пскове средневековая жизнь удержалась в первобытных формах до сравнительно позднего периода, когда писание летописей уже достигло более высокой степени совершенства. А затем сама демократическая жизнь Пскова, без очень богатых купеческих семей, становящихся «тиранами» города, более выдвигает в истории народные массы, и потому Псковская летопись — образец для жизни целой массы подобных городов в Западной Европе, не оставивших своих летописей.

Вообще изучение, подробное, доскональное и оригинальное (т. е. со с в о и м и соображениями и выводами) истории одной страны дает совершенно неподозреваемую силу для понимания истории всех стран Европы. Казалось бы с первого взгляда: что общего между историей Франции или Германии и России? А между тем и там повторяются те же формы развития родовой, мирской, городской и государственной жизни, и — что всего поразительнее — известные периоды выражаются в сходных личностях. Конечно, все эти личности имеют специальную физиономию — на то они и личности, и на то каждая страна сама по себе. Каждый человек имеет свою физиономию, и француз отличается от русского, даже когда он принадлежит к тому же типу — дипломата или воина, или мыслителя. Но если признать это неизбежное л и ч н о е выражение и н а ц и о н а л ь н о е и всматриваться в различные стадии человеческой культуры, то сходство поразительное.

Меровингский период во Франции — тот же первоначальный Рюриковский период России. Городское народоправство проходит во Франции и в России те же стадии развития. Между Людовиком XI и Иоанном Грозным, в их борьбе с боярством, сходство полное, и — что всего поразительнее — в обеих личностях много общего. Между Петром I и Людовиком XIV, конечно, разница громадная, но их историческая роль — укрепление самодержавия государства — чрезвычайно сходная. Затем царствование императриц в России и любовниц Людовика XV во Франции — опять сходные периоды государственного развития. И, наконец, Александр II и Людовик XVI шли одною стезею, и, если бы не замешались террористы, царствование Александра II, вероятно, закончилось бы Учредительным собранием.

Большего сходства напрасно было бы искать. История повторяется, но не в виде слепка — все равно как в истории развития сумчатых повторилась история развития млекопитающих (или, вернее, наоборот) и создались сходные параллельные типы.

Но зато в развитии учреждений и правовых отношений между различными частями общественного организма сходство еще больше.

Итак, с первого же дня в крепости было что читать. Но я так привык писать, творить из прочитанного, что одно чтение не могло меня удовлетворить.

В одном из старых номеров «Дела» мне попался перевод двух очерков из романа французского писателя Евгения Сю «Тайны Народа». Имя Сю, конечно, не упоминалось, — цензура не пропустила бы, — но перевод был довольно полный. И, не зная, откуда взяты эти очерки, я был поражен их мыслью. Я стал составлять в уме такие же очерки из русской истории для народа. Придумывал завязку, лиц, события, разговоры, главу за главою, и, ходя из угла в угол, повторял себе эти написанные

в уме главы. Я где-то читал, что Милль делал нечто подобное, раньше чем писать.

Такая усиленная мозговая работа скоро довела бы мой мозг до истощения, если бы, благодаря все тому же бесценному, милому брату Саше, мне не позволили месяца через два-три засесть за письменную работу.

Когда меня арестовали, Саша был в Цюрихе. С юношеских лет он стремился из России за границу, где люди могут думать, что хотят, свободно выражать свои мысли, читать, что хотят, и могут открыто высказывать свои мысли.

К агитации среди народа в России он не пристал. Он не верил в возможность народной революции, и сама революция представлялась ему, как действие организованного представительства народа, Национального Собрания и смелых «интеллигентов». Он знал Французскую революцию, как ее рассказывали парламентские историки, и сочувствовал толпам только парижским, когда они шли на приступ Бастилии или Тюильри под руководством интеллигентных вожаков. Его изящную, философски-артистическую натуру, вероятно, коробило от прикосновения толпы, обнищалой, иногда высоконастроенной, но иногда и грубой, пьяной, аплодирующей казням своих лучших защитников.

Он понимал социалистическую агитацию, как она ведется в Западной Европе: образованные вожаки, увлекающие толпу на митингах, организующие ее; но мелкая повседневная толчея — разговоры сегодня с Яковом Ивановичем, завтра с Павлом Петровичем в рабочих квартирах, возвания к крестьянству, быть может, крестьянское восстание с его крайностями, а подчас и с неизбежными зверствами, — не привлекали его. Он не верил в революционные инстинкты крестьянства, в возможность пробуждения их, и к нашему движению он не пристал. «Признаюсь, — говорил он осторожно, не желая подрывать мою веру своей критикой, — признаюсь, я не понимаю, как можешь ты верить в возможность революции в России, особенно крестьянской».

Надо, впрочем, сказать, что он выехал из России в Швейцарию очень скоро по моему возвращению из-за границы, когда я только что примкнул к кружку чайковцев, и наша пропаганда среди рабочих только что начиналась.

Вообще, брат Саша не был народником революционером. Социалист по убеждениям, он, попавши за границу, душою был с «Интернационалом», но с более умеренною его фракциею. Случись восстание, случись нам быть в Париже во время Коммуны, он дрался бы на баррикадах до последней капли крови, с последнею горсточкою рабочих на последней баррикаде. С Исполнительным Комитетом он пошел бы всею душою и был бы одним из самых решительных бойцов. Но в подготовительном периоде он пошел бы с умеренною фракциею, веря в политическую борьбу прежде всего и в массовую агитацию митингов, конгрессов, манифестаций.

Атмосфера, царившая в то время в России среди интеллигентных слоев, была ему противна. Главной чертой его характера была глубокая искренность и прямодушие. Он не выносил обмана в какой бы то ни было форме. Отсутствие свободы слова в России, готовность подчиниться деспотизму, «эзоповский язык», к которому прибегали русские писатели, все это до крайности было противно его открытой натуре. Побывав в литературном кружке «Отечественных Записок», он только мог укрепиться в своем пре-

зрении к литературным представителям и вожакам интеллигенции. Все ему было противно в этих людях: и их покорность, и их любовь к комфорту, которая для него не существовала, и их легкомысленное отношение к великой политической драме, готовившейся в то время во Франции.

Вообще, русскою жизнью, где и думать, и говорить нельзя, и читать приходится только то, что велят, он страшно тяготился. Думал он найти в Петербурге волнующуюся, живую умственную среду, но ее не было нигде, кроме молодежи; а молодежь либо рвалась в народ, либо принадлежала к типу самолюбующихся говорунов, довольных своим полузнанием и решающих самые сложные общественные вопросы на основании двух-трех прочитанных книг — всегда в ту сторону, что с такою «невежественною толпою ничего не поделаешь».

Когда я попал за границу и писал из Швейцарии восторженные письма о жизни, которую я там нашел, и о климате и о здоровых детях, он решил перебраться в Швейцарию. После смерти обоих детей — чудного, приветливого, умного и милого Пети, унесенного в двое суток холерою, когда ему было всего три года, и Саши, двухмесячного очаровательного ребенка, унесенного чахоткою, — Петербург еще более ему опостылел. Он оставил его и переехал в Швейцарию, в Цюрих, где тогда жило множество студентов и студенток, а также жил Петр Лаврович Лавров[197], которого Саша был большим почитателем.

Саша начал, как я уже говорил, на девятнадцатом году своей жизни большое сочинение «Бог перед судом разума». Но и в отрицании бога, и в физическом миросозерцании он не доходил до совершенно определенных выводов.

В существование бога он не верил — абсолютно не допускал его ни в какой форме — и превосходно разбирал невозможность бога-личности, бога-творца, бога-все и бога-ничего. Он прекрасно понимал историческое, антропоморфическое возникновение идеи божества...

— Стало быть, бога нет; так прямо и скажи, — говорил я.

— Нет, научно я не имею права это сказать, — отвечал он, — и по какой-то диалектической тонкости, которой я никогда не мог понять, так-таки просто неспособен никогда, несмотря на сотни разговоров, понять, не говоря уже оправдать — он заключал, что научно он не имеет права сказать, что бога нет: — Все равно, как я не имею права сказать, — говорил он, — что не существует какой-нибудь силы вне известных нам физико-химических сил.

— Хорошо, — возражал я, — но можешь ты сказать, что какую бы новую силу мы ни открыли, она будет опять-таки физико-химическая, то есть подлежащая законам механики, каковы бы эти законы ни были?

— Нет, этого я не имею права сказать: я ничего о ней не знаю и ничего сказать достоверного не могу. Я верю, что она будет физико-химическая сила... или, вернее, ничему не верю, ничего не знаю, и если ты берешь на себя нахальство утверждать, что она должна быть физико-химическая сила, то это только — нахальство невежества.

Я пробовал давать спору такую постановку — единственно правильную, по моему мнению, но которая, сколько мне известно, не встречается в философских сочинениях:

— Все утверждения науки, — говорил я, — простые утверждения вероятностей. Если я говорю, что эта свинья родит четвероногих поросят

об одной голове, это громадная вероятность. Но когда-нибудь может случиться и случается, что вследствие обстоятельств, не принятых мною в расчет, свинья родит поросенка о двух головах и с шестью ногами. Слова «уродливость», «случайность» только то и выражают, что тут могли повлиять причины, которых я не принял в расчет и не мог принять, не зная и не предвидя их.

Все утверждения науки имеют тот же характер. И подобно тому, как при всяком измерении всегда следовало бы указывать возможную неточность измерений, то есть говорить «окружность земного шара — сорок миллионов метров, + или — тысяча метров», точно так же, утверждая, что такое-то явление совершится так-то, что шар, например, отскочит от стены под таким-то углом, следовало бы прибавить, что вероятность этого отскакивания под таким-то углом — такая-то: малейшая неоднородность стены или шара изменит угол; теплота шара может изменить его упругость и т. д., и т. д. Точно так же, если я говорю, что планета Венера завтра будет стоять там-то, в такой-то точке, то это не фантазия, а громаднейшая вероятность. Я могу только сказать, что хотя и есть миллионы причин, которые могли бы помешать Венере быть в такой-то точке своей орбиты, но вероятность, что эти причины ускользнули от нашего наблюдения или проявятся внезапно в измеримых пределах, до того ничтожна, что я могу признать несомненным, что Венера завтра будет там. А что через тысячу лет Венера будет в такой-то точке, я и вовсе сказать не могу, потому что если бы я и вычислил пертурбации на тысячу лет вперед и мог вычислить их с громадною точностью, то и тогда непредвиденным мною нарушениям осталось бы столько места, что всякое предсказание было бы ложно.

Вероятность малая, большая или почти бесконечная — основание всех научных предсказаний. Так можешь ли ты сказать, что вероятность открытия новой силы, не физико-химической, так же мала, как вероятность того, что завтра Венеры не будет в нашей солнечной системе или даже не будет солнца?

— Нет, — отвечал он, — это совершенно другого разряда явления: о них я ничего не знаю.

Так он и остался кантианцем, отрицая материализм, который он называл нахальным невежеством, и, отрицая бога, говорил, что он не может сказать, что такого существа нет.

— Если бы я сошел с ума, разве только тогда я мог бы уверовать в бога. Я недавно видел во сне, что уверовал в бога, и проснулся сию минуту, заливаясь хохотом. Но утверждать научно, что бога нет, я не имею права. Наука не может ни доказать существования бога, ни опровергнуть его.

— Но ведь ты знаешь генезис этой идеи.

— Генезис плох, но и генезис идеи о круглых орбитах был плох: это ничего не доказывает.

Так мы никогда и не могли согласиться. Точно так же и в физико-химическом основании психической жизни. Здесь мы спорили с ним до хрипоты, поднимали крик на весь дом, ссорились — и никогда согласиться не могли. «Явления могут быть познаваемы только в пространстве и во времени. Психологические явления мы познаем только во времени», — так повторял он мне сотни, тысячи раз, и, признав это за дока-

занную теорему, выводил, что если нам удастся проследить все молекулярные движения, происходящие в мозгу человека, и провести полнейшую параллель между такою-то кривою вибраций и такими-то ощущениями, — и этого мы, конечно, достигнем, — то и тогда все, что сможем сказать, это то, что это два ряда параллельных явлений. «Я могу сказать еще, что я думаю, что с у щ н о с т ь их — едина; но это будет не научное утверждение, так как наука о с у щ н о с т и явлений ничего не знает».

Сколько мы ни спорили, слово с у щ н о с т ь стояло, как преграда, не дававшая возможности дойти до соглашения.

— Но ведь ты локализируешь боль — ощущение; физиолог локализирует химический процесс или электрическую силу в таком-то нерве; он изучает ощущения в пространстве!

— Нет, он моего ощущения не знает; я локализирую боль, но ощущение боли существует для меня только во времени. Сущность его непознаваема.

Замечательно, что у брата, как и у всех держащихся подобных воззрений, был ряд других мыслей, которые он в большинстве случаев не договаривал; брат, впрочем, со своею беспредельною искренностью, иногда высказывал и эти задушевные вопросы, с наукою не имеющие ничего общего.

Так он говорил раз или два:

— Н о д л я ч е г о весь этот мир существует? Где же цель его существования?

И он, эволюционист (он не был дарвинист) в смысле Ламарка, отрицатель идеи о боге, задавался и мучился вопросом о цели существования мира!

— Да все это антропоморфизм! Перенесение человеческих представлений и целей на природу! Ты теперь рассуждаешь как дикарь, который, перенеся свои чувства на внешний мир, видит в нем творца, разумную силу, думающую по-человечески . . .

Но его поэтическая натура не могла себе представить бесцельный мир. Она искала человеческого чувства и в природе.

Точно так же мысль о возможности существования сил природы, неведомых нам, привела его впоследствии и к некоторой вере в спиритизм. . .

Саша был натуралист в душе. Он, едва зная математику и путаясь в самых элементарных геометрических теоремах, писал статьи по астрономии — к р и т и ч е с к и е обзоры открытий по падающим звездам и по строению вселенной, о которых астрономы говорили с большим уважением.

Помнится, раз на улице меня остановил астроном Савич [198]. «Знаете ли вы, — говорил он, — что статья вашего брата — замечательная статья! Мы все путаемся все время в мелочах подробностей, а он так хорошо разобрал все новейшие работы и так прекрасно распутывает самые сложные вопросы строения вселенной».

Недавно в Америке профессор Хольден — большой умница и творческий ум в астрономии — говорил мне то же и жалел, что не может показать мне письма русского астронома Гильдена, рекомендовавшего Сашу в таких выражениях: «Замечательный дар обобщения и образного представления строения вселенной».

В вопросе о падающих звездах Саша так же распутывал самые трудные вопросы.

Но вместе с тем, его ум не был ум естественника, привыкшего к точному измерению, опыту и наблюдению — его м е т о д не был методом естественника. В биологии он взвешивал к р и т и ч е с к у ю цену аргументов за и против на основании опыта; в астрономии он тоже оценивал критическую вескость тех или других аргументов или гипотез, на основании согласия гипотезы или аргумента с массою других групп фактов. Но м е т о д его оставался не научным, а скорее критическим или диалектическим — обще-критическим, а не существенно научно-критическим.

Так, в надежде, что откроются неведомые силы, он самым некритическим, то есть самым ненаучным образом принимал на веру фокусы спиритов. Так, например, когда я был в Доме предварительного заключения, я получил от него длиннейшее письмо, где он отстаивал реальность таких фокусов. «Такой-то (ученый) свидетельствует, что при нем угол рояля стал подниматься и отделяться от пола», и он упрекал меня в нахальном невежестве за то, что я отрицал возможность этого без помощи проволоки или рычага.

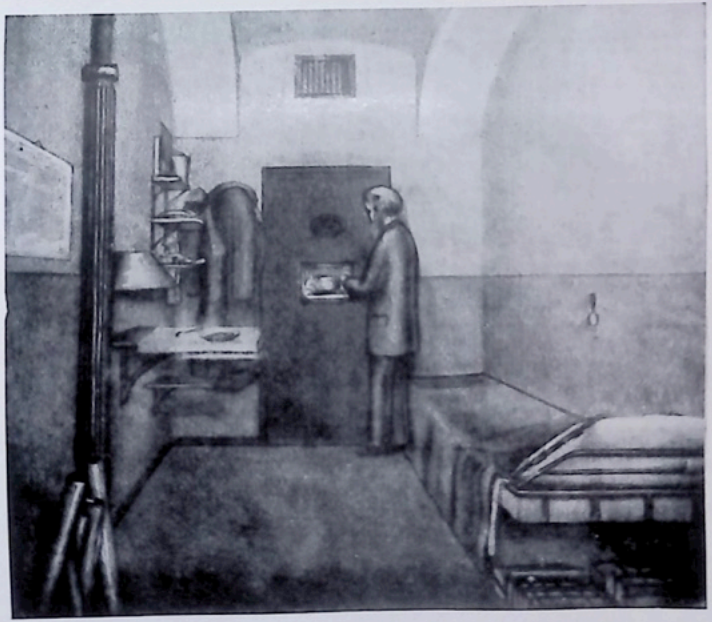
Я получил это письмо на пасху. Мне прислали в тюрьму кулич, в который были вставлены бумажные цветки, посаженные на довольно длинных, очень тонких проволочках. Я закрепил одну из них и подвешивал к ней книги. Оказалось, что проволока из желтой меди, тонкая, как тонкая нитка, выдерживала какое-то просто невероятное число тяжелых книг — я забыл уже их вес, но он был очень большой.

Сообщая Саше результат этого тюремного опыта, я писал ему, что первый попавшийся фокусник поступил бы научнее ученого. Он освидетельствовал бы, не подвязан ли угол рояля к проволоке, и определил бы, какую тончайшую стальную проволоку достаточно было бы подвязать, чтоб приподнять угол рояля.

Но, как и всем кантианцам, Саше и в голову не приходило проверить такие утверждения о п ы т о м. Он принимал их на веру, потому что все его миросозерцание, хотя и атеистическое, подготовляло его к принятию таких фактов на веру.

Лучшее выражение своих философских воззрений Саша находил в статье П. Л. Лаврова «Механическая теория мира», которая произвела на него глубокое впечатление еще в юности; он записал ее в число немногих книг, имевших влияние на его развитие. Вообще, он вполне сходился в философском миросозерцании, в кантианстве и в отношении к материализму с Лавровым и, уже едучи в Цюрих, чувствовал к нему глубокое уважение. Знакомство с П. Лавровым только усилило это уважение личною дружбою, можно было бы сказать, если бы дружба была возможна при разнице их лет.

В Цюрихе в то время шла жестокая борьба «лавристов» [199] с «бакунистами» [200]. Оставаться нейтральным в этой борьбе не было возможности. Саша попробовал остаться нейтральным, вместе с двумя-тремя «цюришанками»; но за это обе партии относились к нему не особенно дружелюбно. Если бы не его открытая натура, бесконечное добродушие и всеподкупающая доброта, к нему, может быть, отнеслись бы даже враждебно. Но при своей абсолютной правдивости, он не мог одобрить способ действий тех, к кому его более влекло по убеждениям, то есть «лаври-



П. А. Кропоткин в камере Дома предварительного заключения

Рисунок П. А. Кропоткина карандашом, рисованный в камере в 1876 г.

стов», и когда он порицал их за похищение части библиотеки, на него злились как на врага. Потом, когда он не одобрял избиения Смирнова Соколовым, на него косились «бакунисты», а когда он видел, сколько было притворства в последующем поведении Смирнова и его якобы болезни, происшедшей от побоев, и не одобрял этого, на него косились «лавристы» и т. д. Если б его не так любили все, лично ему верно стало бы неприятно жить в Цюрихе. С Лавровым он, конечно, остался в дружбе, несмотря на все это, так как Лавров, хотя и стоял за своих, но едва ли мог одобрять их действия.

Кстати, мне следовало бы рассказать об отношении чайковцев к этим ссорам, которые имели свой отголосок и у нас. У нас была своя типография в Цюрихе, которой заведывал сперва некий Александров. Я раз или два видел этого Александрова в Цюрихе, мельком, и мало с ним говорил, а может быть, только перекинулся несколькими словами. Он был человек высокого роста, плотный, не очень далекий, говорили мне, но умевший воодушевлять молодежь. Около него всегда было несколько наборщиц-студенток, учившихся набирать, которые помогали по типографии.

В Цюрихе говорили тогда об его нехорошем отношении к некоторым барышням; вообще, его не любили. Когда мы решили усилить наше печатание, кружок послал туда Гольденберга [201], который сменил Александрова. Гольденберг и издал наши брошюры: «Мудрицу Наумовну», «Чтой-то, братцы», «Сказку о четырех братьях», «Пугачевщину», «Слово в Великий пяток» и т. д.

Но, кроме своих народных книжек, нам хотелось еще поддержать заграничный журнал.

Журналов тогда предполагалось два, один — Лаврова, другой — Бакунина. Лавров хотел сначала издавать конституционный журнал, весьма умеренный, программу которого я видел в Петербурге еще до моего поступления в кружок Чайковского и до поездки за границу, если не ошибаюсь. Помнится, я тогда, не зная Лаврова и никакого движения в Петербурге, отнесся к этой программе с полным равнодушием. В ней не было, сколько помнится, даже намека на рабочее и социалистическое движение.

Потом Лавров усилил эту программу в социалистическом смысле.

Когда я вернулся из-за границы и рассказал мои впечатления об Интернационале в кружке чайковцев, которого я был уже членом, кружок решил послать в Цюрих своего делегата, который повидался бы и с Лавровым и с Бакуниным и выбрал бы, который из двух журналов будет более сходен с нашею программою. Я советовал послать Дмитрия *, но кружок решил послать Куприянова (Михрютку), к уму которого кружок относился просто с благоговением.

Не знаю, как Куприянов выполнил поручение; бакунисты говорили, что он ни с кем из них и не повидался, а прямо направился к Лаврову и указал ему на необходимость более социалистической программы (третья программа Лаврова), если он хочет работать для нарождавшегося движения молодежи. Факт тот, что когда он вернулся из-за границы (я ему дал свой паспорт и жил тогда, летом, беспаспортным

* Клеменца.

в Обираловке у Леночки), кружок признал «Вперед» своим органом и оказал денежную поддержку журналу Лаврова. Большинство членов кружка, хотя и знало очень мало о социал-демократизме и анархизме, было и по кружковым связям и по убеждениям скорее социал-демократами, чем анархистами.

Я вполне и отчасти, может быть, Чарушин, и отчасти Сергей Кравчинский и Дмитрий Клеменц предпочли бы поддержать бакунистский орган или оба, но Корниловы горой стояли за социал-демократический орган, и мы спорить не стали. Все находили, что не из-за чего. Выйдет журнал, понравится — будем его ввозить. Выйдет другой — и если понравится, то и его будем ввозить, а публика читающая сама выберет, что ей лучше. Вообще, у нас было свое дело, и мы могли бесстрастно относиться к цюрихской борьбе. Некоторые страстно отнеслись к избиению Смирнова Соколовым; большинство же, хотя кулачную расправу вообще порицало, не защищало ни той, ни другой стороны. Наше собственное дело поглощало нас, и для своего дела мы печатали свои брошюры.

Но первый номер «Вперед» с его статьею о необходимости ученья в университетах, — когда молодежь шла учиться в народ, а у профессоров учиться и нечему было по общественным наукам, — этот номер почти всех возмутил даже в нашем кружке. Точно повеяло на нас из могилы, и вообще первым номером все остались очень недовольны. Руководителя молодежи приходилось самим руководить, тащить за собою. Так и случилось.

Впрочем, этому журналу мы и не придавали особого значения. Распространяли, а свое дело вели сами по себе, и ни на кого из нас увещания Лаврова не произвели никакого впечатления. Помнится, на одном из наших заседаний я заявил, что если, например, кружок пошлет меня перевозить «Вперед», я это сделаю, но души в это дело не положу. Большинство активных членов в нашем кружке, особенно тех, кто работал в рабочей среде, было того же мнения. Скукой веяло от журналов, тогда как у нас шла кипучая жизнь.

Скажу, наконец, еще о наших изданиях. Я был вместе с Сергеем, Дмитрием и Тихомировым [202] (только их троих и помню) в «Литературном Комитете» кружка. Мы собирались в той же квартире, которую держала Перовская — в Казарменном, кажется, переулке, недалеко от Невки.

Из всего, что мы пересматривали, я помню только обе книжки Тихомирова: «Сказку о четырех братьях» и «Пугачевщину», потому что я принимал участие в переделке.

«Сказка» всем нам очень понравилась; но когда мы прочли ее заключение, мы совсем разочаровались. У автора четыре брата, натерпевшись от капитала, государства и т. д., сошлись все четверо на границе Сибири, куда их сослали, и заплакали. Сергей и я настаивали, чтоб конец был переделан, и я переделал его и сделал так, как он теперь в брошюре, что они идут на север, на юг, на запад и на восток проповедывать бунт.

Точно так же и в «Пугачевщине» конец был плох. Некоторые замечали, что военные действия Пугачева были изложены по недавно напечатанному тогда исследованию слишком подробно. Сергей и я, военные люди, отстояли сохранение этих подробностей и находили их ничуть не утомительными, а весьма поучительными. Но зато решили приделать

конец, где бы изображен был идеал безгосударственного послереволюционного строя.

Я и написал этот конец в несколько страниц. Моя рукопись попалась потом в руки жандармов.

Но возвращаюсь после этого длинного отступления к Саше.

Он жил в Цюрихе, не намереваясь возвращаться вовсе в Россию, когда до него дошла весть о моем аресте.

Он все бросил: и работу, и вольную жизнь, которую любил, и вернулся в Россию помогать мне пробиться в тюрьме.

Шесть месяцев спустя после моего ареста мне дали с ним свидание. В мою камеру принесли мое платье и предложили одеться.

— Зачем? Куда итти? — никто не отвечал на слова. Затем попросили пройти к смотрителю, где меня ждал тот же грузин — жандармский офицер; потом через ворота, а за воротами ждала карета. «В Третье отделение», — вот чего я добился от офицера.

Выехать из крепости, прокатиться по городу — и то уже был праздник: а тут еще повезли по Невскому.

Едучи, я все строил планы, как бы сбежать. Офицер дремал в своем углу. Вот бы потихоньку отворить дверцы кареты, выпрыгнуть и на всем скаку вскочить в карету к какой-нибудь барыне, проезжающей на рысаках. Ускакать от погони было бы не трудно. Настоящая барыня, впрочем, ни за что не примет, но какая-нибудь из барынь полусвета, пожалуй, не откажется увезти, если я вскочу к ней в коляску и взмолюсь.

Ну, словом, пофантазировать не мешает. Гораздо серьезнее было, если бы кто-нибудь подъехал к карете, держа запасную лошадь в поводу. Тут можно было бы ускакать.

В Третьем отделении я застал Сашу. Нам дали свидание в присутствии двух жандармов.

Мы оба были очень взволнованы. Саша горячился и громко ругал жандармов ворами. «Они все у тебя украли: я не нашел в твоих бумагах таких-то документов, таких-то бумаг». Все эти бумаги за несколько часов до моего ареста я препроводил в такое место, где бы жандармы не могли их найти. Я старался дать ему понять это, шепча на всех языках: «Оставь это!» Он не унимался. «Да нет, я не хочу этого оставить: я разыщу документы». Насилу мне удалось шепнуть по-французски, что бумаги взяты не жандармами.

Саша поднял на ноги всех наших ученых знакомых в Географическом Обществе и Академии Наук, чтобы добыть мне право писать в крепости. Перо и бумага строго запрещены в крепости, но если Чернышевскому и Писареву было позволено писать, то на это требовалось особое разрешение самого царя.

Саша принялся хлопотать через всех ученых знакомых. Географическому Обществу хотелось получить мой отчет о поездке в Финляндию, но оно, конечно, и пальцем бы не двинуло, чтобы получить разрешение мне писать, если бы Саша не шевелил всех. Академия Наук была также заинтересована в этом деле.

Наконец, разрешение было получено, и в один прекрасный день ко мне вошел смотритель Богородский, говоря, что мне разрешено писать

мой ученый отчет и что мне нужно составить список книг, которые мне нужны. Я написал полсотни книг, и он пришел в ужас. «Столько книг ни за что не пропустят, — говорил он, — а вы напишите книг пять — десять, а потом понемногу будете требовать, что вам нужно». Я так и сделал и, наконец, получил книги, перо и бумагу. Бумага мне выдавалась по стольку-то листов, и я должен был счетом иметь ее у себя в полном комплекте; перо же, чернила и карандаши выдавались только до «солнечного заката».

Солнце зимою закатывалось в три часа. Но делать было нечего. «До заката», — так выразился Александр II, давая разрешение.

II

Итак, я мог снова работать.

Трудно было бы выразить, какое облегчение я почувствовал, когда снова мог писать. Я согласился бы жить всю жизнь на хлебе и воде, в самом сыром подвале, только бы иметь возможность работать.

Я был, однако, единственный заключенный в крепости, которому разрешили письменные принадлежности. Некоторые из моих товарищей, которые провели в заключении три года и даже больше, до знаменитого процесса «ста девяноста трех», имели только грифельные доски. Конечно, в страшном уединении крепости они рады были даже доске и исписывали ее словами изучаемого иностранного языка или математическими формулами. Но каково писать, зная, что все будет стерто через несколько часов!

Моя тюремная жизнь приняла теперь более правильный характер. Было нечто, непосредственно наполнявшее жизнь. К девяти часам утра я уже кончал мои первые две версты и ждал, покуда мне принесут карандаши и перья. Работа, которую я приготовил для Географического Общества, содержала, кроме отчета о моих исследованиях в Финляндии, еще обсуждение основ ледниковой гипотезы. Зная теперь, что у меня много времени впереди, я решил вновь написать и расширить этот отдел. Академия Наук предоставила в мое распоряжение свою великолепную библиотеку. Вскоре целый угол моей камеры заполнился книгами и картами, включая сюда полное издание шведской геологической съемки, почти полную коллекцию отчетов всех полярных путешествий и полное издание «Quarterly Journal» Лондонского Геологического Общества. Моя книга в крепости разрослась в два больших тома. Первый из них был напечатан братом и моим другом Поляковым (в Записках Географического Общества) [203]; второй же, не совсем оконченный, остался в Третьем отделении после моего побега. Рукопись нашли только в 1895 году и передали Русскому Географическому Обществу, которое и переслало ее мне в Лондон. В пять часов вечера, а зимой в три, как только вносили крошечную лампочку, перья и карандаши у меня отбирались, и я должен был прекращать работу. Тогда я принимался за чтение, главным образом, книг по истории. Прочел я также много романов и даже устроил себе род праздника в сочельник. Мои родные прислали мне тогда рождественские рассказы Диккенса. И весь праздник я то смеялся, то плакал над этими чудными произведениями великого романиста.

III

Хуже всего было полное безмолвие вокруг, невозможность перекинуться словечком с кем бы то ни было. Мертвая тишина нарушалась только скрипом сапог часового, подкрадывающегося к «иуде», да звоном часов на колокольне. Я понимаю, что нервного человека этот звон может доводить до отчаяния. Каждые четверть часа колокола звонят «господи помилуй», раз, два, три, четыре раза. Каждый час после медленного перезвона колокол начинает мерно отбивать часы, а затем начинается перезвон «Коль славен наш господь в Сионе»; зимою, при резких переменах температуры, все колокола отчаянно фальшивят, и эта какофония, точно похоронный перезвон в монастыре, длится добрых пять-шесть минут. А в двенадцать, после всего этого, часы отзванивают еще более фальшиво «Боже царя храни». Днем все это хоть немного заглушается городским шумом, но ночью весь этот звон как будто тут, где-то вблизи, и, слушая бой колоколов каждые четверть часа, невольно думаешь о том, как прозябание узника идет бесплодно вдали от всех, вдали от жизни. «Еще час, еще четверть часа твоего бесплодного прозябания прошли», напоминают колокола, и никто не знает, даже сам, кто тебя здесь держит, сколько еще пройдет таких бесплодных часов, дней, годов... много годов, может быть, раньше, чем вспомнят тебя выпустить, или болезнь и смерть откроют тебе двери тюрьмы...

Мертвая тишина кругом...

Напрасно пробовал я стучать в подоконницу направо — нет ответа, налево — нет ответа. Напрасно стучал я полною силою разутой пятки в пол в надежде услыхать хоть какой-нибудь, хоть издалека, неясный ответный гул — его не было ни в первый месяц, ни во второй, ни в первый год, ни в половине второго.

Меня перевели в нижний этаж, покуда верхний чистили или переделывали. Еще меньше света проникало там в каземат, и неба вовсе не было видно; только грязная серая стена из дикого камня стояла перед глазами, и даже голуби не прилетали к окну. Еще темнее было мне чертить свои карты, и только мои крепкие близорукие глаза могли выдерживать мелкую работу ситуаций на маленьких картах, которые я готовил для своего отчета.

Но и там, внизу, ниоткуда не мог я добиться хотя бы глухого стука в ответ на мой стук.

Каждый день, если дождь не лил или пурга не мела, меня выводили гулять. Часов около одиннадцати являлся унтер в мягких войлочных галошах сверх сапог и вносил мою одежду: панталоны, сюртук, сапоги, шубу. Я торопился одеться и радовался, если успевал пройти десяток раз из угла в угол — лишь бы услыхать звук своих собственных шагов...

Если я спрашивал крепостного унтера, приносившего платье, хороша ли погода, нет ли дождя, он испуганно взглядывал на меня и уходил, не отвечая; караульный солдат и унтер из караула стояли в дверях и не спускали глаз с крепостного унтера, готовые сфискалить, если бы он заговорил со мною.

Затем меня вели гулять. Я выходил во внутренний дворик редута, где стояла банька и прохаживались два солдатика из караула. Я пытался с ними заговорить, но они молчали.

Я ходил, ходил вкруговую по тротуарику пятиугольного дворика, и изо дня в день видел все то же и то же. Изредка воробей залетал в этот дворик; иногда, когда вокруг ветер был с той стороны, тяжелые хмурые пары, выходящие из высокой трубы монетного двора, окутывали наш дворик, и все начинали отчаянно кашлять. Иногда, очень редко, видел я девушку, должно быть, дочь смотрителя, выходившую из его крыльца и проходившую шагов десять по тротуару в ворота, которые тотчас запирали за нею, затем слышался стук другой отпертой калитки, стало быть, она вышла. Она выходила обыкновенно из своей квартиры тогда, когда я был на другой стороне дворика; а если я слышал звонок у калитки и она входила во дворик, возвращаясь домой, ее пропускали тоже так, чтобы не встретиться. И она торопилась пройти, не смея взглянуть, как бы стыдясь быть дочерью нашего смотрителя.

Еще, на праздниках, я несколько раз видел кадетика лет пятнадцати — сына смотрителя. Он всегда так ласково, почти любовно смотрел на меня, что, когда я бежал, я сказал товарищам, что мальчик наверное симпатично относится к заключенным. Действительно, я узнал потом, в Женеве, что едва он вышел в офицеры, он присоединился, кажется, к партии «Народной Воли», помогая переписке между революционерами и заключенными в крепости; затем его арестовали и сослали в Восточную Сибирь, в Тунку.

Еще помню я, что летом около бани выросло несколько цветов; голые, худосочные они все-таки пробились сквозь камни мощеного дворика на южной стороне бани, и, увидав их, я сошел с тротуарика и подошел к ним. Оба сторожа и унтер бросились ко мне: «Пожалуйте на тротуар». Я подошел к цветкам. Все три стража уставились на меня, стоя вокруг меня, — все удовольствие было испорчено, и я более не стал подходить к цветам.

Вот одно, другое, третье, десятое, пятнадцатое решотчагое окно... а вот опять первое... только и было разнообразия в этом дворике. Раз или два залетел воробей, и это было событие.

И я ходил и обыкновенно глаз не спускал с золоченого шпица Петропавловского собора. Он один менялся изо дня в день, то горя ярким золотом под лучами солнца, то скрывая свой блеск под дымчатою пеленою серого легкого тумана, то хмурясь, когда темные свинцовые облака ползли в зимнюю пору над Невою, и шпиц темнел, поднимаясь в небо стальной иглой.

«Этак и счет дням потеряешь», — говорил я себе и с первого же дня сделал себе календарь.

У меня были две пары очков, одни для письма, другие для улицы, и одна пара была в кожаном футляре, разграфленном квадратными линиями на ромбики. Я сосчитал: их было на обеих сторонах более сотни. Каждый мог сойти за неделю, и, ложась спать, я ножом выдавливал каждый день палочку поперек ромба. Я знал, таким образом, день недели и число.

Большие праздники мне напоминала пушечная пальба, начинавшаяся из пушек нашего бастиона. Один раз началась пальба не в назначенный день и час. Я с трепетом прислушивался — не будет ли сто один выстрел:

может быть царь умер. Но оказалось всего тридцать один выстрел: значит, в царской семье прибавился новорожденный.

Раз тоже, ветер страшно выл на крыше и в щели окон, и раздался пушечный выстрел. Стало быть наводнение, — и воображение рисовало, конечно, известную картину, изображающую княжну Тараканову, на которую взбираются крысы из заливаемого каземата.

Пришла зима, и пришли тяжелые, темные, сумрачные дни. Каземат топили так жарко, что я задыхался. Иногда он наполнялся угаром... Я звонил, просил открыть вьюшки; но это делали неохотно, и трудно было этого добиться.

По вечерам в каземате бывало жарко, как в натопленной бане, и также чувствовалось, что воздух полон парами. Я просил, настаивал, чтобы не топили так жарко, и, как только заслышу, что закрывают трубу, упрашиваю, требую, чтобы не закрывали.

— Сыро у вас будет, очень сыро, — предупреждал полковник, но я предпочитал сырость этой жаркой натопленной и угарной атмосфере и добился, чтобы печь не закрывали так рано.

Тогда наружная стена стала становиться совсем мокрою. На обоях показалась сырость, что дальше, то больше, и, наконец, желтые полосатые обои стали совсем мокрые — точно на них каждый день выливали кувшины воды. Но выбора не было, и я предпочитал эту сырость жаре, от которой у меня разбаливалась голова.

Зато ночью я сильно страдал от ревматизма. Ночью вдруг температура в каземате сразу понижалась. По полу шел ток холодного воздуха, и сразу сырость в каземате становилась, как в погребе. Как бы жарко ни было натоплено, ток холодного воздуха шел по коридору, врывался в каземат, пары сгущались. И у меня начинали жестоко ныть колени. Одеяла были легкие, но и никакие одеяла бы не помогли; все пропитывалось сыростью, — борода, простыни, — и начиналась «зубная боль» в костях. Еще в Сибири, раз, возвращаясь осенью вверх по Амуру на пароходе, на узенькой койке, и не имея запасной одежды, чтобы отгородиться от железной наружной стенки парохода, я нажил ревматизм в правом колене. Теперь в крепостной сырости колени отчаянно ныли.

Я спрашивал смотрителя, откуда этот внезапный холод, и он обещался зайти ночью — и зашел раз ночью совершенно пьяный. Впоследствии, в Николаевском госпитале, караульные солдаты говорили мне, что смотритель с ними пьянствовал и по ночам по-фельдфебельски. Вероятно, караульные и выходили проветриться, и оттого по коридору несло холодным воздухом.

Единственная человеческая речь, которую я слышал, была по утрам, когда смотритель заходил ко мне.

— Здравствуйте. Не нужно ли чего купить?

— Да, пожалуйста, четверть фунта табаку и сотню гильз.

— Больше ничего?

— Нет, ничего.

Только и было разговора. Я сам набивал папиросы. «Все-таки занятие», — посоветовал смотритель с первого же дня.

Я продолжал бегать свои семь верст по каземату, делал свои двадцать минут гимнастики, но зима брала свое. Становилось все темнее и темнее:

иногда, когда небо было сумрачное, и в два часа ничего не было видно, а в десять часов утра в каземате бывало еще совсем темно.

Мрачно становилось на душе в эти темные дни; а когда показывалось солнце, оно и не доходило до каземата, и лучи его терялись в толщине стены, освещая какой-нибудь уголок амбразуры.

Мрачные зимние дни скучны в Петербурге, если сидеть в комнате, не выходя на людные, освещенные улицы. Еще скучнее и мрачнее они в крепостном каземате. А тут еще нахлынуло горе: Сашу арестовали.

Он приехал ко мне на свидание с Леною в день моих именин, 21 декабря *. Он не хотел пропустить этого дня и добился свидания в этот день. Я хотел передать ему записку обычным способом, но его записка встретилась с моею, и моя упала на пол. Я в ужас пришел. Это было в минуту прощания. Тут присутствовал только смотритель. Надо было выходить. Я вышел с Леною, Саша остался. Я нарочно взял Лену в руки, держа ее крепко, стоя у окна, и смотритель стоял тут же, пока Саша искал записку, крошечный коричневый сверточек, на полу. Наконец, он вышел и ответил мне кивком головы: «Нашел».

Мы расстались. Но тяжело было у меня на душе.

Через несколько дней я должен был получить от брата письмо касательно печатания книги. Письма не было. Я чувствовал что-нибудь неладное, и начались для меня дни ужасных тревог. «Арестовали», думал я, и молчание, все более и более подозрительное, как свинцом, давило меня.

Через неделю после свидания, вместо ожидаемого письма от брата с сообщением о печатании моей книги, я получил короткую записку от Полякова **. Он уведомлял меня, что с этих пор корректуру будет читать он, и поэтому я должен сноситься с ним обо всем, касающемся печатания. Я тотчас же понял, что с братом случилось недоброе. Если бы он заболел, Поляков так и написал бы. Для меня наступили теперь тяжелые дни. Александра наверно заарестовали, и я — причина этому. Жизнь утратила для меня всякий смысл. Прогулки, гимнастика, работа потеряли всякий интерес. Весь день я бесцельно шагал взад и вперед по камере и не мог думать ни о чем другом, как только об аресте брата. Для меня, одинокого человека, заключение означало только личное неудобство; но Александр был женат, страстно любил жену и имел теперь сына, на которого не мог надышаться. Родители сосредоточили на этом мальчике всю ту любовь, которую питали к двум детям, умершим три года тому назад.

Хуже всего была неизвестность. Что такое мог он сделать? Почему его арестовали? К чему они его присудят? Проходили недели. Моя тре-

* Свидания, даваемые через долгие промежутки, всегда приводят заключенных и их родных в состояние сильного возбуждения. Арестованный видит дорогие ему лица, слышит милые голоса и знает, что все это исчезнет через несколько минут. Он чувствует себя так близко и в то же время так далеко от них, так как интимной беседы не может быть в присутствии постороннего человека, врага и шпиона. Мы расстались с тяжелым сердцем. *Прим. П. К.*

** Друга П. А., бывшего народного учителя в Сибири. П. А., познакомившись с ним, советовал ему поступить в университет, подготовил его и помогал материально. Впоследствии Поляков был магистром зоологии и хранителем Зоологического Музея Академии Наук. *Прим. ред.*

вога усиливалась; новостей не было никаких. Наконец, окольным путем я узнал, что Александра арестовали за письмо к П. Л. Лаврову.

Подробности я узнал гораздо позже. После свидания со мной Александр написал письмо своему старому приятелю Петру Лавровичу Лаврову, издававшему в то время в Лондоне «Вперед». В письме он выражал свое беспокойство по поводу моего здоровья, говорил о многочисленных арестах и открыто высказывал свою ненависть к русскому деспотизму. Третье отделение перехватило письмо на почте и послало, как раз в сочельник, произвести обыск у брата, что жандармы и выполнили даже с еще большей грубостью, чем обыкновенно. После полуночи полдюжины людей ворвались в его квартиру и перевернули вверх дном решительно все. Они ощупывали стены и даже больного ребенка вынули из постели, чтобы обшарить белье и матрац. Они ничего не нашли да и нечего было находить. Мой брат был сильно возмущен этим обыском. С обычной откровенностью он заявил жандармскому офицеру, производившему осмотр: «Против вас, капитан, я не могу питать неудовольствия: вы получили такое ничтожное образование, что едва понимаете, что творите. Но вы, милостивый государь, — обратился он к прокурору, — вы знаете, какую роль играете во всем этом. Вы получили университетское образование. Вы знаете закон и знаете, что попираете сами закон, какой он ни на есть, и прикрываете вашим присутствием беззаконие вот этих людей. Вы, милостивый государь, попросту мерзавец».

Они возненавидели брата и продержали его в Третьем отделении до мая. Ребенок Александра, прелестный мальчик, которого болезнь сделала еще более нежным и умным, умирал от чахотки. Доктора сказали, что ему остается жить всего несколько дней. Брат, никогда не хлопотавший у врагов ни о какой милости, просил разрешить ему повидаться последний раз с ребенком; он просил отпустить его на полчаса домой, на честное слово или под конвоем. Ему не разрешили. Жандармы не могли отказать себе в этой мести.

Ребенок умер. Мать его снова чуть не погибла от нервного удара. В это время брату объявили, что его сошлют в Минусинск: повезут его туда в кибитке с двумя жандармами, а что касается жены, то она может следовать потом, но не должна ехать теперь вместе с мужем.

— Скажите же мне, наконец, в чем мое преступление? — требовал брат. Но никаких обвинений, кроме письма, против Александра не было. Ссылка казалась всем таким произволом, она до такой степени была актом личной мести со стороны Третьего отделения, что никто из наших родственников не допускал, чтобы она могла продолжаться больше, чем несколько месяцев. Брат подал жалобу министру внутренних дел. Тот ответил, что не может вмешиваться в постановление шефа жандармов. Подана была другая жалоба сенату, и тоже без последствий.

Года два спустя, по собственной инициативе, наша сестра Елена подала прошение царю. Мой двоюродный брат Дмитрий, харьковский генерал-губернатор и флигель-адъютант Александра II, большой фаворит при дворе, лично вручил прошение, прибавив несколько слов от себя. Он был глубоко возмущен действием Третьего отделения. Но мстительность составляет фамильную черту Романовых, и в Александре II она была особенно развита. На прошение царь ответил: «Пусть посидит!» Брат пробыл в Сибири двенадцать лет и уже больше не возвратился в Россию.

IV

Бесчисленные аресты, произведенные летом 1874 года, и тот серьезный характер, который полиция придала намерениям нашего кружка, произвели глубокую перемену в воззрениях русской молодежи. До тех пор главной ее задачей было выбирать из рабочих, а также иногда из крестьян, отдельных людей, чтобы подготовлять из них социалистических агитаторов. Но теперь фабрики были наводнены шпионами, и стало очевидно, что, во всяком случае, и пропагандистов и рабочих скоро заберут и навсегда упрячут в Сибирь. Тогда великое движение «в народ» приняло новый характер. Сотни молодых людей, пренебрегая всеми предосторожностями, которые принимались до тех пор, устремились в провинцию. Странствуя по городам и деревням, они подстрекали народ к бунту и почти открыто распространяли революционные брошюры, песни и прокламации. В наших кружках это время прозвали «безумным летом».

Жандармы потеряли голову. Нехватало рук, чтобы ловить, и глаз, чтобы выслеживать каждого революционера в его хождении из губернии в губернию. Тем не менее, около полуторы тысячи человек было арестовано во время этой великой травли, и половину их продержали в тюрьмах несколько лет.

Результаты массовых арестов скоро почувствовались и у нас, в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Он начал заселяться вновь прибывающими узниками.

Раз, летом 1875 года, я ясно расслышал в соседней с моею камере легкий стук каблуков, а несколько минут спустя я уловил и отрывки разговора. Женский голос слышался из каземата, а в ответ ему ворчал густой бас, должно быть, часового. Вскоре вслед затем послышался звон шпор полковника, поспешные его шаги, ругательство по адресу часового и щелканье ключа в замке. Полковник сказал что-то.

— Мы вовсе не разговаривали, — раздался в ответ женский голос. — Я просила только позвать унтер-офицера, а часовой отказывался.

Дверь опять заперли, и я слышал, как полковник вполголоса честил часового.

Итак, я был уже не один. У меня была соседка, которая сразу нарушила строгую дисциплину, связывавшую до тех пор солдат *. С этого дня крепостные стены, которые были немы пятнадцать месяцев, ожили. Со всех сторон я слышал стук ногой о пол: один, два, три, четыре... одиннадцать ударов, двадцать четыре удара, пятнадцать. Затем пауза; после нее — три удара и долгий ряд тридцати трех ударов. В том же порядке удары повторялись бесконечное число раз, покуда сосед догадывался, что они означают вопрос: «Кто вы?» Таким образом, «разговор» завязался и велся затем по сокращенной азбуке, придуманной еще декабристом Бестужевым. Азбука делится на шесть рядов, по пяти букв в каждом. Каждая буква отмечается своим рядом и своим местом в ряду.

* Впоследствии, в Цюрихе, я познакомился с этой соседкой по крепости. Это была Платонова. Каюсь, от одного того, что мы просидели в крепости стена об стену, я сразу почувствовал к ней некоторую нежность. В Цюрихе Платонова была с одним кавказцем, с которым и вернулась в Россию. Кавказец был арестован, а что сталось с Платоновой и была ли это ее настоящая фамилия — я не знаю. *П. К.*

К великому моему удовольствию, я открыл, что с левой стороны сидел мой друг Сердюков, с которым мы вскоре могли перестукиваться обо всем, в особенности, употребляя наш шифр. Однако беседы с людьми в тюрьме приносят не только свои радости, но и свои горести. Подо мной сидел крестьянин, по фамилии Говоруха, знакомый Сердюкова, с которым он перестукивался. Против моей воли, часто даже во время работы я следил за их переговариванием. Я тоже перестукивался с ним. Но если одиночное заключение, без всякой работы, тяжело для интеллигентных людей, то гораздо более невыносимо оно для крестьянина, привыкшего к физическому труду и совершенно неспособного читать весь день под ряд. Наш приятель-крестьянин чувствовал себя очень несчастным. Его привезли в крепость после того, как он просидел уже два года в другой тюрьме, и поэтому он был уже надломлен. Преступление его состояло в том, что что он слушал социалистов. К великому моему ужасу, я стал замечать, что крестьянин порой начинает заговариваться. Постепенно его ум все больше затуманивался, и мы оба с Сердюковым замечали, как шаг за шагом, день за днем он приближался к безумию, покуда разговор его не превратился в настоящий бред. Тогда из нижнего этажа стали доноситься дикие крики и страшный шум. Наш сосед помешался, но его, тем не менее, еще несколько месяцев продержали в крепости, прежде чем отвезли в дом умалишенных, из которого несчастному не суждено уже было выйти. Присутствовать, при таких условиях, при медленном разрушении человеческого ума — ужасно. Я уверен, это обстоятельство содействовало увеличению нервной раздражительноти моего милого Сердюкова. Когда, после четырех лет заключения, суд оправдал его и его выпустили,—он застрелился.

Раз мне нанесли неожиданный визит. В мою камеру, в сопровождении только адъютанта, вошел брат Александра II, великий князь Николай Николаевич, осматривавший крепость. Дверь захлопнулась за ним. Он быстро подошел ко мне и сказал: «Здравствуй, Кропоткин». Он знал меня лично и говорил фамильярным, благодушным тоном, как со старым знакомым.

— Как это возможно, Кропоткин, чтобы ты, камер-паж, бывший фельдфебель, мог быть замешан в таких делах и сидишь теперь в этом ужасном каземате?

— У каждого свои убеждения, — ответил я.

— Убеждения? Так твое убеждение, что нужно заводить революцию?

Что мне было отвечать? Сказать «да»? Тогда из моего ответа сделали бы такой вывод, что я, отказавшийся давать какие бы то ни было показания жандармам, «признался во всем» брату царя. Николай Николаевич говорил тоном начальника военного училища, пытающегося добиться «признания» от кадета. И в то же время я не мог ответить «нет». То была бы ложь, я не знал, что сказать, и молчал.

— Вот видишь! Самому тебе стыдно теперь . . .

Это замечание разозлило меня, и я ответил довольно резко:

— Я дал свои показания судебному следователю на допросах: мне нечего прибавлять.

— Да ты пойми, Кропоткин, — сказал тогда Николай Николаевич самым благодушным тоном, — я говорю с тобой не как судебный следователь, а совсем как частный человек. Совсем как частный человек, — прибавил он, понизив голос.

Мысли вихрем кружились у меня в голове. Сыграть роль маркиза Позы? Передать царю через посредство его брата о разорении России, об обнищании крестьян, о произволе властей, о неминуемом страшном голоде? Сказать, что мы хотели помочь крестьянам выйти из их отчаянного положения, придать им бодрости? Попытаться таким образом повлиять на Александра II? Мысли эти мелькали одна за другой у меня в голове. Наконец, я сказал самому себе: «Никогда! Это — безумие. Они все это знают. Они — враги народа, и такими речами их не переделаешь».

Я ответил, что он для меня всегда остается официальным лицом и что я не могу смотреть на него, как на частного человека.

Николай Николаевич стал тогда задавать мне всякие безразличные вопросы:

— Не в Сибири ли, от декабристов, ты набрался таких взглядов?

— Нет. Я знал только одного декабриста и с тем никогда не вел серьезных разговоров.

— Так ты набрался их в Петербурге?

— Я всегда был такой.

— Как! Даже в корпусе? — с ужасом переспросил он меня.

— В корпусе я был мальчиком. То, что смутно в юности, выясняется потом, когда человек мужает.

Он задал мне еще несколько подобных вопросов, и по его тону, я ясно понимал, к чему он ведет. Он пытался добиться от меня «признаний», и я живо представил себе мысленно, как он говорит своему брату: «Все эти прокуроры и жандармы — дураки. Кропоткин им ничего не отвечал, но я поговорил с ним десять минут, и он все мне рассказал». Все это начинало меня бесить. И когда Николай Николаевич заметил мне нечто в роде: «Как ты мог иметь что-нибудь общее со всеми этими людьми, с мужиками и разночинцами», я грубо отрезал: «Я вам сказал уже, что дал свои показания судебному следователю». Он резко повернулся на каблуках и вышел.

Впоследствии часовые, гвардейские солдаты, сложили целую легенду по поводу этого посещения. Товарищ (известный доктор О. Э. Веймар), приехавший потом во время моего побега в пролетке, чтобы освобождать меня, был в военной фуражке. Светлые бакенбарды придавали ему слабое сходство с Николаем Николаевичем. И вот среди петербургского гарнизона пошла тогда легенда, что меня увез сам великий князь. Таким образом, легенды могут складываться даже в век газет и биографических словарей.

V

Два года прошло, а наше дело не подвигалось. Два года предварительного заключения, во время которых много заарестованных сошло с ума или покончило самоубийством.

Все новых и новых социалистов хватали по всей России, а число их не убывало. Новые люди приставали к движению, оно проникало в новые сферы, захватывая все большие и большие массы людей. Движение «в народ» разрасталось. Пример — Н. Н. Ге. Большой художник в полной силе таланта, окруженный славой за свои картины, бросает Петербург в 1878—1879 годах и едет в Малороссию, говоря, что теперь не время

писать картины, а надо жить среди народа, в него внести культуру, в которой он запоздал против Европы на тысячу лет, у него искать идеалов, словом, делать то, что делали тысячи молодых людей.

Л. Н. Толстой делает то же и выступает со своими письмами о московской переписи, только подходит к тем же результатам другим путем: делает то же, что делали нигилисты за последние пятнадцать лет, под влиянием культурных и революционных импульсов, но ища оправданий своей перемены в христианстве.

Отказавшись давать какие-либо показания, я этим купил себе спокойствие. Меня уже больше не тревожили и только два раза водили на допрос. Следственная комиссия заседала теперь в крепости, в куртине, соединяющей Екатерининский бастион со следующим влево; тут сидели в 1866 году каракозовцы. Тут же заключенные давали и показания.

Председателем Следственной комиссии был жандармский полковник Новицкий — человек чрезвычайно деятельный, умный и если бы не его жандармская деятельность — даже приятный человек: ничуть не злой в душе.

Раз меня привели к нему. Он усадил меня в кресло, предложил своих папирос, от которых я отказался, закурив свою, и показал мне мою рукопись. Это был написанный мною конец к брошюре «Пугачевщина» Тихомирова. Рядом была наша брошюрка, напечатанная в Цюрихе уже после моего ареста. Я очень ей обрадовался: «Ах, покажите, пожалуйства, я ее еще не видел».

Он принялся читать по моей рукописи, предлагая мне следить по печатной брошюрке, очень мило отпечатанной хорошим четким шрифтом без опечаток. Новицкий читал отлично и понемногу стал увлекаться; картина вольных общин, соединенных вольными союзами, владеющих всей землей, без попов, господ и чиновников, управляющихся вечем и вступающих в союз, как средневековые общины, была набросана довольно увлекательно, и Новицкий читал с жаром, увлекаясь все более и более.

Вдруг он прервал со смехом и обратился ко мне:

— Да неужели, князь, вы верите, что все это возможно среди нашей русской тьмы? Все это прекрасно, чудно, но ведь на это надо двести лет, по крайней мере.

— А хоть бы и триста.

— Итак, вы признаете, что это ваша рукопись?

— Конечно.

— И это с нее отпечатано?

— Сами видите.

— Мне только нужно было вам это показать. Вы можете, если хотите, вернуться.

— Да, — ответил я, — все это прекрасно, великолепно, а пока — пожалуйте в крепость.

Он переконфузился ... встал провожать меня и в дверях, протягивая мне руку, которую я не взял, опять пустился в излияния:

— Ах, князь, я уважаю вас, глубоко уважаю за ваш отказ давать показания. Но если бы вы только знали, какой вред вы себе делаете. Я не смею говорить, но одно говорю — у-жас-ный.

Я пожал плечами и вышел.

Через несколько времени меня опять позвали еще раз, последний, в Следственную комиссию. В дверях показался прокурор Масловский, и я уже собрался подразнить его показаниями Полякова, но он только показался в дверях, перекинулся взглядом с Новицким и выбежал.

У Новицкого на столе лежало мое письмо, взятое на мне в момент ареста, с двумя паспортами. Это была коротенькая записка шифром, в которой я писал в Москву: «вот вам два паспорта, переделайте их так-то». Я не успел ее отправить, когда был арестован. При аресте я не отказывался, конечно, что она написана моей рукой.

— Вот, — начал он, — ваша записка, отобранная у вас два года тому назад. Она написана шифром, и я даю вам мое честное и благородное слово, что ключ к шифру найден на одном из ваших товарищей (он был найден у Войнаральского, которому кто-то из кружка, вопреки всем уговорам, дал его, хотя Войнаральский и не был членом кружка, и Войнаральский записал его в свою записную книжку. Масса писем, писанных этим шифром, была уже в руках Третьего отделения). Замечу кстати, что хотя наш шифр был самый простейший, — он напечатан в обвинительном акте процесса 193-х — и хотя эксперты хвастают, что они разбирают всякие шифры, но прежде, чем ключ был найден у Войнаральского, ни одного письма они не прочли.

Шифр был самый простой, в десять слов, которые следовало помнить, не записывая:

«Пустынной Волги берега
Чернеют серых юрт рядами
Железный финогеша Щебальский».

Начало его я взял из стихотворения Рылеева:

«Пустынной Лены берега
Чернеют темных юрт рядами».

Каждая буква обозначалась словом и местом буквы в слове.

П было 11, У было 12, С было 13 или 51, или 07 (10-е слово, 7-я буква). Буквы, часто встречающиеся, как Е или А, обозначались, как видно, разно: 32, 34, 42, 72, 86 или 02 для Е, и 36, 74, 88, 04 для А.

Расшифровать такой шифр невозможно тем более, что мы писали сплошь, иногда ставя нечетное число букв в начале письма и в конце и еще запутывая расшифровку ненужными парами, как 26, 27, 28, 29, 20, вставленными там и сям.

— Если вы знаете ключ, так зачем же вы меня спрашиваете?

— Даю вам честное слово, что мы знаем его, но мы хотели спросить вас.

— Совершенно напрасно. Удивляюсь, как вы, умный человек, не поняли, что не стоило меня беспокоить из-за такого вопроса. Вы же знаете, что я вам никакого ключа не открою.

— Да... — бормотал он... — вот и перевод вашей записки...

— И читать его не намерен. Записка — моя, перевод — ваш. Если вы думаете, что перевод верен — на здоровье. Не мое дело его проверять.

— Да, я знал, я предвидел, конечно, но долг службы.

— И желание выслужиться? Да? Ну, прощайте.

Когда я встал, вбежал Масловский, должно быть, подслушивавший у дверей.

— Ну, что?

— Я говорил вам, что напрасно было тревожить князя. Конечно, он ничего не знает . . .

— Ах, князь, — начал было он опять, провожая меня в коридор.

— Прощайте, — сказал я и вышел со своей сворой конвойных.

Тем и кончились мои допросы.

Расскажу уже заодно, что, когда я был в Доме предварительного заключения, куда меня перевели в марте или апреле в 1876 году, говорили, что теперь дело передано в суд и скоро мы будем судиться.

Меня потребовали к прокурору судебной палаты, некоему Шубину. Меня провели внутренним ходом из тюрьмы в здание суда, и там у стола сидел прокурор Шубин и писарь. Кипы исписанных фолиантов лежали на столе.

Я никогда не видал человека противнее этого маленького прокурора Шубина. Лицо бледное, изможденное развратом; большие очки на поделеповатых глазах; тоненькие злющие губы; волосы неопределенного цвета; большая квадратная голова на крошечном теле. Ломброзо наверное зачислил бы его в представители «преступного типа». Я сразу, поговорив с ним о чем-то, возненавидел его.

Шубин объяснил мне, что теперь предварительное следствие закончено и дело передано судебному ведомству. Теперь он обязан показать мне все имеющиеся против меня показания.

Их оказалось немного.

Один из заводских — один из кружка в тридцать пять человек — показал, что я бывал у рабочих и читал им лекции революционного содержания. Это был один юноша — не назову его, так как он, кажется, просто проболтался. Его приводили раз, кажется к. Новицкому, на очную ставку. Меня спросили, читал ли я лекции рабочим . . . Я ответил, что никаких показаний давать не буду. Тогда в комнату ввели белокурого, конфузящегося молодого человека . . .

— Я вас не знаю, — сказал я очень резко, как только он переступил порог, не давши времени прокурору произнести полслова.

Молодой человек переконфузился . . .

— Не знаю, не помню, я, кажется, их видел . . . не помню, — забормотал он.

— Я вас не знаю, никогда не видал, — крикнул я на него, он еще больше сконфузился, и прокурор, видя, что он готов отказаться от показания, поторопился его вывести.

Сцена не продолжалась и двух минут.

Так вот было его показание, что бывали у них лекции и на этих лекциях бывал я.

Потом еще одно показание Егора — пустого-таки мужика, который околачивался около тех двух ткачей; он показал, что я бывал у них и говорил, что мужикам худо без земли и надо землю отобрать у помещиков. Затем были два показания двух ткачей, что я говорил им, что надо всех — долой и что царя надо убить . . . Егор и другой (забыл имя) были шпионами.

Все это была чистейшая выдумка, так как вся система наша, и особенно моя, была тогда такова, что нам до царя никакого нет дела, а поднимется крестьянский бунт, так царь, пожалуй, еще сам убежит к немцам; что

суть не в царе, а в том, кто землей владеет. Но с этими двумя ткачами я и в разговоры не пускался, так как познакомился с ними, когда они промотали восемь рублей, данные им на наем квартиры, за что я их порядком поругал.

Увидя такое показание, я сразу понял, что оно продиктовано следователями, известно с какой целью.

— Ну, этаких свидетелей я вам по двадцать пять рублей сколько хотите найду, — сказал я.

— А кто же это, позвольте спросить, — зашипел Шубин, — будет им платить?

Я подумал секунду:

— Вы, — сказал я, видя его злобное лицо, и ткнул в его направление пальцем.

Он просто п о з е л е н е л от злости. Не то, что побледнел или пожелтел — нет, так-таки зеленым стал.

Я продолжал просматривать, что еще будет против меня. Протоколы о программе, писанной моей рукой о конце «Пугачевщины», тоже моя рукопись, которую бог знает зачем берегли товарищи, о шифрованном письме.

— Ничего больше?

— Вот еще, — подсунул писарь другое толстейшее дело, заложенное бумажками.

Показания заводских, что они не помнят, чтобы я говорил против царя.

И показание милейшего Якова Ивановича: «Таких речей не слыхал, а что Бородин сильно бранил такого-то и такого-то (обоих ткачей) за то, что они промотали деньги, данные им, чтобы нанять квартиру, точно помню; сильно бранил: не мотайте, мол, денег попусту».

— Только?

— Только.

Я взял перо и на подложенном листе написал крупным почерком, что никаких показаний до суда давать не намерен.

А годы шли, и мы все сидели в крепости.

Вот уже два года прошло; несколько человек умерло в крепости, несколько сошло с ума, а о суде ничего не было слышно.

Мое здоровье тоже пошатнулось в конце второй зимы. Табуретка становилась тяжела в руке, делать мои семь верст мне становилось все труднее и труднее. Я крепился, но «арктическая зимовка», без подъема сил летом, брала свое. У меня уже раньше были признаки цынги: раз весною она объявилась у меня в слабой степени в Петербурге. Должно быть, я вывез ее из сибирских путешествий на одном хлебе, а петербургская жизнь и усиленная работа в маленькой комнатке не способствовали полному избавлению.

Теперь, во тьме и сырости каземата, да еще при усиленной мозговой работе, признаки цынги становились яснее: желудок беспрестанно отказывался переваривать пищу. К тому же на прогулку меня выводили теперь только на двадцать минут или четверть часа, через два дня. В короткие зимние дни пять-шесть часов успевали выпустить всего двадцать человек в день, нас, заключенных, было свыше шестидесяти человек.

В марте или апреле 1876 года нам, наконец, сообщили, что Третье отделение закончило предварительное дознание. Дело перешло к судебным властям, и потому нас перевели в Дом предварительного заключения — в тюрьму, примыкающую к зданию суда.

«Предварительная», как ее называли, громадная, показная четырехэтажная тюрьма, выстроенная по типу французских и бельгийских образцовых тюрем. Ряды маленьких камер все имеют по окну, выходящему во двор, и по двери, открывающейся на железный балкон. Балконы же различных этажей соединены железными лестницами.

Для многих моих товарищей перевод в «Предварилку» явился большим облегчением. Здесь было гораздо больше жизни, чем в крепости, больше возможности переписываться и переговариваться; легче было добиться свидания с родственниками. Перестукивание продолжалось беспрерывно целый день. Подобным путем я даже изложил одному молодому соседу всю историю Парижской Коммуны от начала до конца. Нужно прибавить, однако, что я выстукивал мою историю целую неделю. Что касается здоровья, то в Доме предварительного заключения мне стало еще хуже, чем в крепости. Я не выносил спертого воздуха крошечной камеры. Как только паровое отопление начинало действовать, температура из леденящей становилась невыносимо жаркой. Камера имела только четыре шага по диагонали, и когда я начинал ходить, то приходилось беспрестанно поворачиваться; голова начинала кружиться через несколько минут, а короткая прогулка в маленьком дворике, окруженном высокими каменными стенами, нисколько не освежала меня. Что касается тюремного врача, который не желал даже слышать слова «цынга» в «его тюрьме», то лучше о нем совсем не говорить. Кончилось тем, что я вовсе не мог переваривать даже легкой пищи.

Мне разрешили получать пищу из дому, так как недалеко от суда жила одна моя свояченица, вышедшая замуж за адвоката. Но мое пищеварение стало так плохо, что я съедал в день только кусок хлеба да одно или два яйца. Силы мои быстро падали, и, по общему мнению, мне оставалось жить только несколько месяцев. Чтобы подняться до моей камеры, находившейся во втором этаже, я должен был раза два отдыхать на лестнице. Помню, как-то раз старый солдат-часовой жалостливо заметил: «Не дожить тебе, сердешному, до осени».

Родственники мои сильно встревожились. Сестра Лена пробовала хлопотать, чтобы меня выпустили на поруки; но прокурор Шубин ответил ей с сардонической усмешкой: «Доставьте свидетельство от врача, что брат ваш умрет через десять дней, тогда я его освобожу». Прокурор имел удовольствие видеть, как сестра упала в кресло и громко разрыдалась в его присутствии. Мои родные, однако, добились того, чтобы меня осмотрел хороший доктор, профессор, ассистент Сеченова. Он осмотрел меня самым тщательным образом и пришел к заключению, что у меня нет никакой органической болезни, но что страдаю я, главным образом, от недостатка окисления крови.

— Все, что вам нужно, это — воздух, — заключил он. Он колебался несколько минут, затем сказал решительно: — Что там толковать! Вы не можете оставаться здесь. Вас необходимо перевести.

Дней через десять после этого меня, действительно, перевели в находившийся тогда на окраине Петербурга Николаевский военный госпиталь,

при котором имеется небольшая тюрьма для офицеров и солдат, заболевших во время нахождения под следствием. В эту тюрьму перевели уже двух моих товарищей, когда стало очевидно, что они скоро умрут от чахотки.

В госпитале я начал быстро поправляться. Мне дали просторную комнату в нижнем этаже, рядом с караульной. В ней было громадное, забранное решоткой окно, выходившее на юг, на маленький бульвар, обсаженный двумя рядами деревьев, а за бульваром тянулось большое, открытое пространство, где несколько десятков плотников строили тогда бараки для тифозных больных. По вечерам они обыкновенно пели хором, и так согласно, как только поют в больших плотничьих артелях. По бульварчику взад и вперед ходил часовой; его будка стояла против моего окна.

Окно оставалось открыто весь день, и я упивался солнечными лучами, которых не видал так давно. Всей грудью вдыхал я ароматный майский воздух. Мое здоровье быстро поправлялось, слишком даже быстро, по моему мнению. Скоро я был в состоянии переваривать легкую пищу, силы мои окрепли, и с обновленной энергией я принялся снова за работу. Не видя возможности закончить второй том моего труда, я написал короткое, но довольно обстоятельное, в виде тезисов, изложение неоконченных еще глав, которое и было приложено к первому тому.

В крепости я слышал от товарища, сидевшего одно время в госпитальной тюрьме, что оттуда мне будет нетрудно бежать. Я сообщил, конечно, друзьям, где нахожусь; сообщил и свои надежды. Побег оказался, однако, гораздо более трудным делом, чем меня уверяли. За мной учрежден был самый бдительный, беспримерный до того времени надзор. У моих дверей поместили часового, и мне никогда не позволяли выходить в коридор. Госпитальные солдаты и караульные офицеры, которые иногда входили ко мне, боялись, повидимому, оставаться со мной более одной или двух минут.

Мои друзья составили несколько планов освобождения, и в том числе проекты весьма забавные. По одному из них, например, я должен был подпилить решотку в окне. Затем предполагалось, что когда, в дождливую ночь, часовой задремлет в своей будке, два моих приятеля подползут сзади и опрокинут ее. Таким образом, солдат не будет ранен, но просто пойман, как мышь в мышеловке. В это время я должен был выпрыгнуть из окна... Но неожиданно явилось лучшее разрешение вопроса.

— Попроситесь на прогулку! — шепнул мне раз один из солдат. Я так и сделал. Доктор поддержал меня, и мне разрешили ежедневно, в четыре часа, выходить в тюремный двор на прогулку на один час. Я должен был носить все-таки зеленый фланелевый больничный халат, но мне выдавали мои сапоги, панталоны и жилет.

Никогда я не забуду мою первую прогулку. Когда меня вывели и я увидал перед собою заросший травою двор, в добрых триста шагов в глубину и шагов двести в ширину — я просто замер. Ворота были отперты, и сквозь них я мог видеть улицу, громадный госпиталь напротив и даже прохожих... Я остановился на крылечке тюрьмы и оцепенел на мгновение при виде этого двора и ворот. У одной из стен двора стояла тюрьма — узкое здание, шагов полтораста в длину, с будками для часовых на обоих концах. Оба часовых ходили взад и вперед вдоль здания и таким образом вытоптали тропинку в траве. По этой тропинке мне и ве-

лели гулять, а часовые тем временем продолжали ходить взад и вперед, так что один из них был всегда не дальше, как шагов в десяти или пятнадцати от меня.

На противоположном конце громадного двора, обнесенного высоким забором из толстых досок, несколько крестьян сбрасывали с возов дрова и складывали их в поленницы вдоль стены. Ворота были открыты, чтобы впускать возы.

Эти открытые ворота производили на меня чарующее впечатление. «Не надо глядеть на них», — говорил я самому себе и, тем не менее, все поглядывал в ту сторону. Как только меня опять ввели в комнату, я тотчас же написал друзьям, чтобы сообщить им благую весть. «Я почти не в силах шифровать, — писал я дрожащей рукой, выводя непонятные значки вместо цифр. — От этой близости свободы я дрожу как в лихорадке. Они меня вывели сегодня во двор. Ворота отперты и возле них нет часового. Через эти ворота я убегу. Часовые не поймают меня». И я набросал план побега. «К воротам госпиталя подъезжает дама в открытой пролетке. Она выходит, а экипаж дожидается ее на улице, шагах в пятнадцати от моих ворот. Когда меня выведут в четыре часа на прогулку, я некоторое время буду держать шляпу в руках; этим я даю сигнал тому, который пройдет мимо ворот, что в тюрьме все благополучно. Вы должны мне ответить сигналом: «Улица свободна». Без этого я не двинусь. Я не хочу, чтобы меня словили на улице. Сигнал можно подать только звуком или светом. Кучер может дать его, направив своей лакированной шляпой светового «зайчика» на стену главного больничного здания; еще лучше, если кто нибудь будет петь, покуда улица свободна; разве если вам удастся нанять серенькую дачу, которую я вижу со двора, тогда можно подать сигнал из окна. Часовой побежит за мной как собака за зайцем, описывая кривую, тогда как я побегу по прямой линии. Таким образом, я удержу свои пять-шесть шагов расстояния. На улице я прыгну в пролетку, и мы помчимся во весь опор. Если часовой вздумает стрелять, то тут ничего не поделаешь. Это — вне нашего предвиденья. В виду неизбежной смерти в тюрьме — стоит рискнуть».

Было сделано несколько других предложений; но, в конце концов, этот проект приняли. Наш кружок принялся за дело. Люди, которые никогда не знали меня, приняли участие, как будто дело шло о дорогом им брате. Предстояло, однако, преодолеть массу трудностей, а время мчалось с поразительной быстротой. Я усиленно работал и писал до поздней ночи; но здоровье мое улучшалось, тем не менее, с быстротой, которая приводила меня в ужас. В первый раз, когда меня вывели во двор я только мог ползти по тропинке по-черепашьи. Теперь же я окреп настолько, что мог бы бегать. Правда, я попрежнему продолжал ползти медленно, как черепаха, иначе мои прогулки прекратились бы; но моя природная живость могла всякую минуту выдать меня. А товарищи мои должны были в это время подобрать человек двадцать для этого дела, найти подходящую лошадь и опытного кучера и уладить сотню непредвиденных мелочей, неминуемых в подобном заговоре. Подготовления заняли уже около месяца, а между тем каждый день меня могли перевести обратно в Дом предварительного заключения.

Наконец, день побега был назначен — 29-е июня, день Петра и Павла. Друзья мои внесли струйку сантиментальности и хотели освободить меня

непременно в этот день. Они сообщили мне, что на мой сигнал: «В тюрьме все благополучно», они ответят: «Все благополучно и у нас», выпустив красный игрушечный шар. Тогда подъедет пролетка, и кто-нибудь будет петь песню, покуда улица свободна.

Я вышел 29 июня, снял шапку и ждал воздушного шара; но его не было. Прошло полчаса. Я слышал, как прошумели колеса пролетки на улице; я слышал, как мужской голос выводил незнакомую мне песню, но шара не было.

Прошел час, и с упавшим сердцем я возвратился в свою комнату. «Случилось что-нибудь недоброе, что-нибудь неладно у них», думал я.

В тот день случилось невозможное. Около Гостиного двора, в Петербурге, продаются всегда сотни детских шаров. В этот же день не оказалось ни одного. Товарищи нигде не могли найти шара. Наконец, они добыли один у ребенка, но шар был старый и не летал. Тогда товарищи мои кинулись в оптический магазин, приобрели аппарат для добывания водорода и наполнили им шар; но он, тем не менее, упорно отказывался подняться: водород не был просушен. Время уходило. Тогда одна дама привязала шар к своему зонтику и, держа последний высоко над головой, начала ходить взад и вперед по тротуару, под забором нашего двора. Но я ничего не видел: забор был очень высокий, а дама — очень маленькая.

Как оказалось потом, случай с воздушным шаром вышел очень кстати. Когда моя прогулка кончилась, пролетка проехала по тем улицам, по которым она должна была проскакать в случае моего побега. И тут, в узком переулке, ее задержали возы с дровами для госпиталя. Лошади шли в беспорядке, одни по правую сторону улицы, другие — по левую, и пролетка могла двигаться только шагом; на повороте ее совсем остановили. Если бы я сидел в ней, нас наверное бы поймали.

Теперь товарищи установили целый ряд сигналов, чтобы дать знать, свободны ли улицы или нет. На протяжении около двух верст от госпиталя были расставлены часовые. Один должен был ходить взад и вперед с платком в руках и спрятать платок, как только покажутся возы. Другой — сидел на тротуарной тумбе и ел вишни; но как только возы показывались, он переставал. И так шло по всей линии. Все эти сигналы, передаваясь от часового к часовому, доходили, наконец, до пролетки. Мои друзья сняли также упомянутую выше серенькую дачу, и у ее открытого окна поместился скрипач со скрипкой в руках, готовый заиграть, как только получит сигнал: «Улица свободна».

Побег назначили на следующий день. Дальнейшая отсрочка могла быть опасна: в госпитале уже заметили пролетку. Власти, должно быть, пронюхали нечто подозрительное, потому что накануне побега, вечером я слышал, как патрульный офицер спросил часового, стоявшего у моего окна: «Где твои боевые патроны?» Солдат стал их неловко вытаскивать из сумки; минуты две он возился, доставая их. Патрульный офицер ругался: «Разве не было приказано всем вам держать четыре боевых патрона в кармане шинели?» Он отошел только тогда, когда солдат это сделал.

— Гляди в оба! — сказал офицер, отходя.

Новую систему сигналов нужно было немедленно же сообщить мне. На другой день, в два часа, в тюрьму явилась дама, близкая мне родствен-

ница, и попросила, чтобы мне передали часы *. Все проходило обыкновенно через руки прокурора; но так как то были просто часы, без футляра, их передали. В часах же находилась крошечная зашифрованная записочка, в которой излагался весь план. Когда я увидал ее, меня просто охватил ужас, до такой степени поступок поражал своей смелостью. Жандармы уже разыскивали даму по другому делу, и ее задержали бы на месте, если бы кто-нибудь вздумал открыть крышку часов, но я видел, как моя родственница спокойно вышла из тюрьмы и потихоньку пошла по бульвару, крикнув мне, стоявшему у окна: «А вы часы-то проверьте!»

Я вышел на прогулку, по обыкновению, в четыре часа и подал свой сигнал. Сейчас же я услышал стук колес экипажа, а через несколько минут из серого домика до меня донеслись звуки скрипки. Но я был в то время у другого конца здания. Когда же я вернулся по тропинке к тому концу, который был ближе к воротам, шагах в ста от них, часовой стоял совсем у меня за спиной. «Пройду еще раз!» подумал я. Но прежде чем я дошел до дальнего конца тропинки, звуки скрипки внезапно оборвались.

Прошло больше четверти часа в томительной тревоге, прежде чем я понял причину перерыва: в ворота въехало несколько тяжело нагруженных дровами возов, и они направились в другой конец двора. Немедленно затем скрипач (и очень хороший, должен сказать) заиграл бешеную и подмывающую мазурку Контского, как бы желая внушить: «Теперь смелей! Твое время, — пора!» Я медленно подвигался к тому концу тропинки, который был поближе к воротам, дрожа при мысли, что звуки мазурки могут оборваться, прежде чем я дойду до конца.

Когда я достиг его, то оглянулся! Часовой остановился в пяти или шести шагах за мной и смотрел в другую сторону. «Теперь или никогда!», помню я, сверкнуло у меня в голове. Я сбросил зеленый фланелевый халат и пустился бежать.

Задолго до этого я практиковался, как снимать мой бесконечный и неуклюжий балахон. Он был такой длинный, что мне приходилось таскать подол его на левой руке, как дамы держат шлейф амазонки. Несмотря на все старания, я не мог скинуть халат в один прием. Я подпорол швы под мышками, но и это не помогало. Тогда я решил научиться снимать его в два приема: первый — скинуть шлейф с руки, второй — сбросить халат на землю. Я терпеливо упражнялся в моей комнате до тех, пор, покуда научился делать это чисто, как солдат ружейные приемы: «Раз, два!» — и халат лежал на земле.

Не очень-то доверяя моим силам, я побежал сначала медленно, чтобы сберечь их. Но едва я сделал несколько шагов, как крестьяне, складывавшие дрова на другом конце двора, заголосили: «Бежит, держи его! Лови его!» — и кинулись мне наперерез к воротам. Тогда я помчался, что было сил. Я думал только о том, чтобы бежать скорее. Прежде меня беспокоила выбоина, которую возы вырыли у самых ворот, теперь я забыл ее. — Бежать, бежать! Насколько хватит сил!

Друзья мои, следившие за всем из окна серенького домика, рассказывали потом, что за мной погнались часовой и три солдата, сидевшие на

* Теперь я могу сказать, что это была общественная деятельница, сестра жены моего брата, Софья Николаевна Лаврова, скончавшаяся за два месяца до русской революции. *П. К. (прим. 1917 года).*

крылечке тюрьмы. Несколько раз часовой пробовал ударить меня сзади штыком, бросая вперед руку с ружьем. Один раз друзья даже подумали, что вот меня поймали. Часовой не стрелял, так как был слишком уверен, что догонит меня. Но я удержал расстояние. Добежавши до ворот, солдат остановился.

Выскочив за ворота, я, к ужасу моему, заметил, что в пролетке сидит какой-то штатский в военной фуражке. Он сидел, не оборачиваясь ко мне! «Пропало дело!»—мелькнуло у меня. Товарищи сообщили мне в последнем письме: «Раз вы будете на улице, не сдавайтесь; вблизи будут друзья, чтобы отбить вас», и я вовсе не желал вскочить в пролетку, если там сидит враг. Однако, когда я стал подбегать, я заметил, что сидевший в пролетке человек с светлыми бакенбардами очень похож на одного моего дорогого друга. Он не принадлежал к нашему кружку, но мы были близкими друзьями, и не раз я имел возможность восторгаться его поразительным мужеством, смелостью и силой, становившейся неимоверной в минуту опасности.

«С какой стати он здесь? — подумал я. — Возможно ли это?»

Я едва не выкрикнул имени, но во-время спохватился и, вместо этого, захлопал на бегу в ладоши, чтобы заставить сидящего оглянуться. Он повернул голову. Теперь я узнал, кто он *.

— Сюда, скорее, скорее! — крикнул он, отчаянно ругая на чем свет стоит и меня и кучера, и держа в то же время наготове револьвер. — Гони! гони! Убью тебя, — кричал он кучеру. Великолепный призовой рысак, специально купленный для этой цели, помчался сразу галопом. Сзади слышались вопли: «Держи его! Лови!» а друг в это время помогал мне надеть пальто и цилиндр.

Но главная опасность была не столько со стороны преследовавших, сколько со стороны солдата, стоявшего у ворот госпиталя, почти напротив того места, где дожидалась пролетка. Он мог помешать мне вскочить в экипаж или остановить лошадь, для чего ему достаточно было бы забежать несколько шагов вперед. Поэтому одного из товарищей командировали, чтобы отвлечь беседой внимание солдата. Он выполнил это с большим успехом. Солдат одно время служил в госпитальной лаборатории; поэтому приятель завел разговор на ученые темы, именно: о микроскопе и о чудесах, которые можно увидеть посредством его. Речь зашла о некоем паразите человеческого тела.

— Видел ли ты, какой большущий хвост у ней? — спросил приятель.

— Откуда у ней хвост? — возражал солдат.

— Да как же! Во какой — под микроскопом.

— Не ври сказок! — ответил солдат. — Я-то лучше знаю. Я ее, подлую, первым делом под микроскоп сунул.

Научный спор происходил как раз в тот момент, когда я пробегал мимо них и вскакивал в пролетку. Оно похоже на сказку, но между тем так было в действительности.

Экипаж круто повернул в узкий переулок, вдоль той самой стены, у которой крестьяне складывали дрова и где теперь никого не было, так как

* Это был доктор Орест Эдуардович Веймар, поразивший впоследствии всех своим смелым хладнокровием на перевязочных пунктах во время Турецкой войны и скончавшийся от чахотки в каторге, на Каре, куда его сослали в 1880 году, как народовольца.

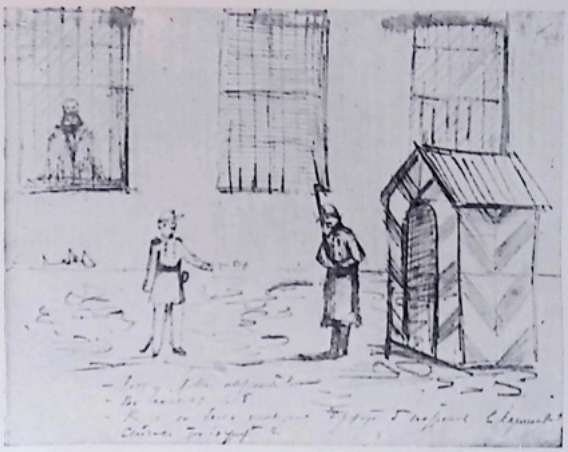


Рисунок карандашом П. А. Кропоткина, на котором он изображает себя за решетчатым окном в госпитальной тюрьме весной 1876 г.

Набросок побега
Рисунок карандашом П. А. Кропоткина

все погнались за мной. Поворот был такой крутой, что пролетка едва не перевернулась. Она выровнялась только тогда, когда я сильно навалился во-внутрь и потянул за собой приятеля. Лошадь теперь бежала крупной красивой рысью по узкому переулку, и мы повернули налево. Два жандарма, стоявшие у дверей питейного, отдали честь военной фуражке Веймара. «Тише, тише, — говорил я ему, так как он был все еще страшно возбужден. — Все идет отлично. Жандармы даже отдают тебе честь!» Тут кучер обернулся ко мне, и в сияющей от удовольствия физиономии я узнал другого приятеля.

Всюду по дороге мы встречали друзей, которые подмигивали нам или желали успеха, когда мы мчались мимо них на нашем великолепном рысаке. Мы выехали на Невский проспект, повернули в боковую улицу и остановились у одного подъезда, где и отослали экипаж. Я вбежал по лестнице и упал в объятия моей родственницы, которая дожидалась в мучительной тоске. Она и смеялась, и плакала, в то же время умоляя меня переодеться поскорее и подстричь бросающуюся в глаза бороду. Через десять минут мы с моим другом вышли из дома и взяли извозчичью карету.

Тем временем караульный офицер в тюрьме и госпитальные солдаты выбежали на улицу, не зная, что, собственно, делать. На версту кругом не было ни одного извозчика, так как все были наняты товарищами. Старая баба в толпе оказалась умнее всех.

— Бедненькие! — произнесла она, как будто говоря сама с собой. — Они наверное выедут на Невский, а там их и поймают, если кто-нибудь поскачет напрямик этим переулком.

Баба была совершенно права. Офицер побежал к вагону конки, который стоял тут же, и потребовал у кондукторов лошадей, чтобы послать кого-нибудь верхом перехватить нас. Но кондукторы наотрез отказались выпрягать лошадей, а офицер не настаивал.

Что же касается скрипача и дамы, снявших серенький домик, то они тоже выбежали, присоединились к толпе вместе со старухой и слышали, таким образом, ее совет; а когда толпа рассеялась, они преспокойно ушли к себе домой.

Был прекрасный вечер. Мы покатили на острова, куда шикарный Петербург отправляется летом в погожие дни полюбоваться закатом. По дороге мы заехали на далекой улице к цырюльнику, который сбрил мне бороду. Это, конечно, изменило меня, но не очень сильно. Мы катались бесцельно по островам, но не знали, куда нам деваться, так как нам велели приехать только поздно вечером туда, где я должен был переночевать.

— Что нам делать теперь? — спросил я моего друга, который был в нерешительности.

— К Донону! — приказал он вдруг извозчику. — Никому не придет в голову искать нас в модном ресторане. Они будут искать нас везде, но только не там; а мы пообедаем и выпьем также за успешный побег.

Могу ли я возразить что-нибудь против такого благоразумного предложения? Мы отправились к Донону, прошли залитые светом залы, наполненные обедающими, и взяли отдельный кабинет, где и провели вечер до назначенного нам часа. В дом же, куда мы заезжали прямо из тюрьмы, нагрянула, часа два спустя, жандармерия. Произвели также обыск почти у всех моих друзей. Никому не пришло, однако, в голову сделать обыск у Донона.

Дня два спустя я должен был поселиться под чужим паспортом в квартире, снятой для меня. Но дама, которой предстояло сопровождать меня туда в карете, решила, для предосторожности, сперва поехать самой. Оказалось, что вокруг квартиры шпионы кишмя-кишат. Друзья так часто справлялись там, все ли обстоит благополучно, что полиция заподозрила что-то. Кроме того, моя карточка была в сотнях экземпляров распространена Третьим отделением между полицейскими и дворниками. Сыщики, знавшие меня в лицо, искали меня на улицах. Те же, которые меня не знали, бродили в сопровождении солдат и стражников, видевших меня в тюрьме. Царь был взбешен тем, что побег мог совершиться в его столице, среди бела дня, и он отдал приказ: «Разыскать во что бы то ни стало».

В Петербурге оставаться было невозможно, и я укрывался на дачах, в окрестностях. Вместе с несколькими друзьями я прожил под столицей в деревне, куда в то время года часто отправлялись петербуржцы устраивать пикники. Наконец, товарищи решили, что мне следует уехать за границу. Но в шведской газете я вычитал, что во всех портовых и пограничных городах Финляндии и Прибалтийского края находятся сыщики, знающие меня в лицо, поэтому я решил поехать по такому направлению, где меня меньше всего могли ожидать. Снабженный паспортом одного из приятелей, я, в сопровождении одного товарища [204], проехал Финляндию и добрался до отдаленного порта в Ботническом заливе, откуда и переправился в Швецию.

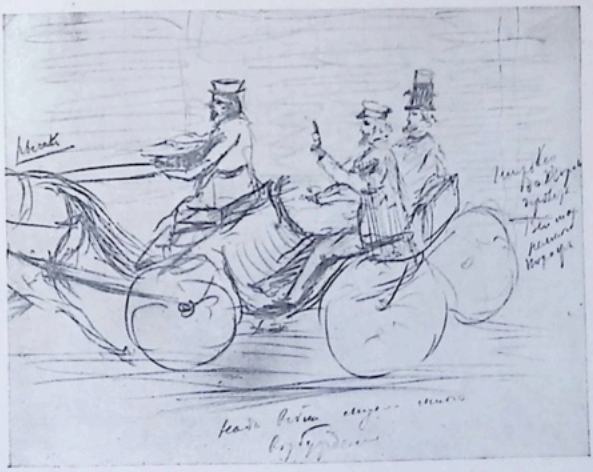
Когда я сел уже на пароход перед самым отходом, товарищ, сопровождавший меня до границы, сообщил мне петербургские новости, которые он обещал друзьям не говорить мне раньше. Сестру Елену заарестовали; забрали также сестру жены моего брата, ходившую ко мне на свидание в тюрьму раз в месяц после того, как брат Александр был выслан в Сибирь.

Сестра решительно ничего не знала о приготовлениях к побегу. Лишь после того, как я бежал, один товарищ пошел к ней, чтобы сообщить радостную весть. Сестра напрасно заявляла жандармам, что ничего не знает. Ее оторвали от детей и продержали в тюрьме две недели. Что же касается моей свояченицы, то она смутно знала о каком-то приготовлении, но не принимала в нем никакого участия. Здравый смысл должен был бы подсказать властям, что лицо, открыто посещавшее меня в тюрьме, не может быть запутано в подобном деле. Тем не менее, ее продержали в тюрьме больше двух месяцев. Ее муж, известный адвокат, тщетно хлопотал об освобождении.

— Мы теперь знаем, — сказали ему жандармы, — что она совершенно непричастна к побегу; но, видите ли, мы доложили императору, когда взяли ее, что лицо, организовавшее побег, открыто и арестовано. Теперь нужно время, чтобы подготовить государя к мысли, что взяли не настоящего виновника.

Я проехал Швецию, нигде не останавливаясь, и прибыл в Христианию, где прождал несколько дней парохода в Англию, в Гулль. На досуге я собирал сведения о крестьянской партии в Норвежском стортинге. Отправляясь на пароход, я тревожно спрашивал себя: «Под каким флагом идет он? Под норвежским, германским или английским?» Но тут я увидал на корме британский флаг, под которым нашло убежище столько русских, итальянских, французских и венгерских изгнанников. И я от души приветствовал этот флаг.

Сбрасывание халата при побеге
Рисунок П. А. Кропоткина



„Побег"
Набросок П. А. Кропоткина

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

I

В Северном море ревела буря, когда мы подходили к берегам Англии, но я с удовольствием приветствовал непогоду. Меня радовала борьба нашего парохода с яростными волнами. Целыми часами просиживал я на на фор-штевене, обдаваемый пеной волн. После двух лет, проведенных в мрачном каземате, каждый нерв моего внутреннего я трепетал и наслаждался полным биением жизни.

Пароход наш зарывался носом в громадные волны, которые рассыпались белой пеной и брызгами по всей палубе. Я сидел на самом носу, на сложенных канатах, с двумя-тремя девушками-англичанками, и радовался ветру, расходившимся волнам, качке, наслаждаясь возвратом к жизни после долгого кошмара и прозябания в крепости.

Я не думал пробыть за границей более, чем несколько недель или месяцев; ровно столько, сколько нужно, чтобы дать улечься суматохе, поднятой моим побегом, и чтобы восстановить несколько здоровье. Я высадился в Гулле под именем Левашова [295], под которым уехал из России. Избегая Лондона, где шпионы русского посольства скоро выследили бы меня, я прежде всего отправился в Эдинбург.

Случилось, однако, так, что я уже не возвратился в Россию. Меня скоро захватила волна анархического движения, которая как раз к тому времени шла на прибыль в Западной Европе. Я чувствовал, что могу быть более полезен здесь, чем в России, помогая определиться новому движению. На родине меня слишком хорошо знали, чтобы я мог вести открытую пропаганду, — в особенности среди работников и крестьян. Впоследствии, когда русское революционное движение стало заговором и превратилось в вооруженную борьбу с самодержавием, всякая мысль о народном движении роковым образом была оставлена. Мои же симпатии влекли меня все больше и больше к тому, чтобы связать свою судьбу с рабочими массами; распространять среди них идеи, способные направить их усилия ко благу всех работников вообще; углубить и расширить идеал и принципы, которые послужат основой будущей социальной революции; развить эти идеалы и принципы перед рабочими не как приказ, исходящий от главарей партии, но как последствие их собственного размышления, и, наконец, пробудить их собственный почин теперь, когда работники призваны на поприще истории, чтобы выработать новый и справедливый общественный строй, — все это казалось мне столь же необходимым для

развития человечества, как и все то, что я мог бы выполнить в то время в России. И я присоединился к горсти людей, работавших в этом направлении в Западной Европе, заменив тех, которые были надломлены годами упорной борьбы.

Я никогда не мог освоиться с русским взглядом на пропаганду за границей. Русские товарищи считали меня чуть ли не изменником русскому делу за то, что я отдал свои силы агитации в Западной Европе. Я же думаю, напротив, что, работая для Западной Европы, я и для России сделал, может быть, больше, чем если бы я оставался в России. Все движения в России зарождались под влиянием Западной Европы и носили отпечаток течений мысли, преобладавших в Европе: Петрашевский [206] — фурьерист, Чернышевский — дитя фурьеризма [207] и сенсимонизма. Наше движение 70-х годов и теперешнее — дети Интернационала и Коммуны [208] европейского Бакунина и европейского же марксизма.

Впрочем, если бы мне пришлось в Западной Европе просто усилить собою ряды существующей окрепшей партии, едва ли бы я остался там. Я ушел бы туда, где нужно было бы пахать новь. Но в 1878—1879 годах, как раз в то время, когда, после разгрома нашего движения 1873—1876 годов, в России начиналось новое движение, действительно революционного характера, в Юрской федерации, оставшейся единственным оплотом анархизма в Европе, произошло новое распадение. Из всей нашей группы, дружно работавшей до того, остался один я да еще несколько товарищей рабочих. И мне пришлось два года с ними одними нести всю работу. Но об этом скажу ниже.

Впрочем, главное еще то, что в России я не видел поприща деятельности для себя. В 1876 году, когда я бежал, ничего не делалось в революционных кружках, то есть, вернее, в остатках наших кружков. Все активные люди сидели по тюрьмам. После побега я пробыл около недели в окрестностях Петербурга, видел нескольких из наших бывших товарищей. Все пребывали в унынии безделья. И что было предпринять?

Звать в народ — некого было. Кто мог пойти, уже пошли и были переловлены. Притом вести мирную пропаганду, очевидно, было невозможно. Надо было переходить на боевое положение, а этого-то наша молодежь не хотела. Даже позже, когда — под влиянием выстрела Засулич, вооруженного сопротивления якобинцев в Одессе и виселиц — небольшая кучка молодежи решила пойти на террор, теоретически отдавая должное внимание деревенским восстаниям, на деле они думали только об одном — терроре политическом для устранения царя. Я же считал, что революционная агитация должна вестись, главным образом, среди крестьян для подготовления крестьянского восстания. Не то, чтобы я не понимал, что борьба с царем необходима, что она выработает революционный дух. Но, по-моему, она должна была быть частью агитации, ведущейся в стране, и отнюдь не всем и еще менее того — исключительным делом революционной партии.

Лично я не мог себя убедить, чтобы даже удачное убийство царя могло дать серьезные прямые результаты, хотя бы только в смысле политической свободы. Косвенные результаты, — подрыв идеи самодержавия, развитие боевого духа, — я знал, будут несомненно. Но для того чтобы всей душой отдаться террористической борьбе против царя, нужно верить в величие прямых результатов, которые можно добыть этим путем.

Этому-то я и не мог верить до тех пор, пока террористическая борьба против самодержавия и его сатрапов не шла бы рука об руку с вооруженною борьбою против *ближайших врагов* крестьянина и рабочего и не велась бы с целью взбунтовать народ. Но хотя о такого рода агитации и говорилось в программах, особенно «*Земли и Воли*»[209], но на деле никто, за исключением трех-четырех человек — в роде, например, Ковалика[210], Войнаральского — никто не хотел заниматься ею, а Исполнительный Комитет и его сторонники прямо-таки считали такую агитацию вредной. Они мечтали двинуть либералов на смелые поступки, которые вырвали бы у царя конституцию, а всякое *народное* движение, сопровождающееся неизбежно актами захвата земли, убийствами, поджогами и т. п., по их мнению, только напугало бы либералов и оттолкнуло бы их от революционной партии.

Так и по сию пору стоят дела. Как ни тяжело было бы в мои годы, да еще семейному, тронуться в Россию и окунуться там в революционную агитацию нелегального, скрывающегося агитатора, но и теперь * — если бы я почувствовал необходимость моего там присутствия, нужду во мне — я пошел бы в львиную пасть. Я это пишу совершенно обдуманно, так как часто думал об этом. Но никому-то я не нужен в России, и если бы я попал теперь в Россию, то был бы в положении человека, мешающего делать что-нибудь тем, кто что-нибудь делает, вселяя в них сомнения, а между тем не чувствуя вокруг себя людей, которые в силах были бы сделать что-нибудь лучшее. По этому самому я и не начинал издавать до сих пор никакого журнала для России.

Я глубоко убежден, что в настоящую минуту (лето 1899) для России необходимо *крестьянское восстание*, как единственный исход из теперешнего положения. Но и теперь, как двадцать пять лет тому назад, в интеллигентной молодежи не находится никого, кто бы проникся теми же мыслями. Теперь все взоры обращены на немецкую социал-демократию, успехи которой сильно преувеличиваются в России. Вот если бы в Италии началось народное восстание в широких размерах и привело бы к республиканской *революции*, в роде французской революции 1789 — 1793 годов, тогда другое дело. Или, если бы во Франции началось опять-таки народное восстание, которое привело бы к провозглашению коммун во всей Франции, и в каждой коммуне — к экспроприации, тогда опять-таки другое дело. Наша молодежь поняла бы тогда значение крестьянского, народного восстания и бросилась бы в подготовление такого же восстания в России.

Вот почему я думаю, что работать для подготовления народных восстаний в Европе и для теоретического обоснования будущих движений — еще лучшее средство для подготовления того же в России.

Когда я высадился в Гулле и поехал в Эдинбург, я известил лишь нескольких друзей в России и в Юрской федерации о том, что благополучно прибыл в Англию. Социалист всегда должен жить своим собственным трудом. Поэтому, поселившись в маленькой комнатке в предместье столицы Шотландии, я тотчас же принялся подыскивать какую-нибудь работу.

* Писано в 1899—1900 годах. *Прим. ред.*

Между пассажирами на нашем пароходе был профессор-норвежец, с которым я беседовал, стараясь припоминать то немногое, что знал когда-то по-шведски. Профессор говорил по-немецки.

— Но так как вы говорите немного по норвежски, — сказал он, — и пытаетесь научиться этому языку, то будем беседовать по-норвежски.

— Вы хотите сказать по-шведски, — нерешительно заметил я. — Ведь я говорю по-шведски, не правда ли?

— Гм! Я скорее думал бы, что это норвежский язык. Во всяком случае, не шведский, — ответил он.

Таким образом, со мной случилось то же самое, что с Паганелем, героем романа Жюля-Верна, изучившим, по рассеянности, вместо испанского португальский язык.

Как бы то ни было, мы много беседовали с профессором . . . скажем, по-норвежски. Он дал мне, между прочим, газету, выходящую в Христиании. В ней был помещен отчет о норвежской экспедиции, только что возвратившейся после исследования глубин северной части Атлантического океана.

Поселившись в Эдинбурге, я сейчас же написал заметку об этой экспедиции, по-английски, для «Nature», которую мы с братом аккуратно читали в Петербурге с самого первого ее появления. Помощник редактора поблагодарил меня за заметку и прибавил с деликатностью, которую я потом часто встречал здесь, что мой английский язык «совсем хорош», но только в нем должно быть «больше характерных особенностей, свойственных этому языку». Нужно сказать, что выучился я английскому языку в России. Вместе с братом мы перевели «Философию геологии» Пэджа и «Основы биологии» Герберта Спенсера. Но так как учился я только по книгам, то произносил очень плохо, и квартирная моя хозяйка, шотландка, с великим трудом понимала меня. С ее дочерью мы часто объяснялись письменно, на клочках бумаги. Что касается «характерных особенностей английского языка» то, должно быть, я делал самые забавные ошибки. Помню, например, уморительную историю по поводу чашки чая. Вследствие моего несовершенного знания языка, хозяйка приняла меня, вероятно, тогда за опивалу из детской сказки. Должен прибавить в мою защиту, что ни в книгах по геологии, которые я читал по-английски, ни в биологии Спенсера я не встретил ни малейшего намека по такому важному предмету, как чаепитие.

Я выписал «Известия Русского Географического Общества» и скоро начал посылать в «Times» случайные заметки о русских географических экспедициях. Пржевальский был тогда в Средней Азии, и за его путешествием следили в Англии с большим интересом.

Тем не менее, деньги, которые я привез с собою, быстро таяли, а так как все мои письма в Россию перехватывались, то я не мог указать родственникам моего адреса. Поэтому я отправился через несколько недель в Лондон, соображая, что здесь найду более правильную работу. П. Л. Лавров все еще издавал здесь «Вперед», но так как я рассчитывал скоро возвратиться в Россию, а за редакцией русской газеты наверно следили шпионы, то я не пошел туда.

Нигде жизнь эмигранта не бывает так тяжела, как в Лондоне. Когда человек обживется, найдет постоянный заработок, тогда он может даже полюбить Лондон за независимость жизни и за относительную свободу.

Орест Эдуардович Веймар, главный организатор побега П. А. Кропоткина из Николаевского военного госпиталя

Но первое время иностранцу в Лондоне, особенно рабочему, чрезвычайно тяжело.

Поселившись в Лондоне, я прежде всего отправился, само собою разумеется, в «Nature», где меня очень хорошо принял помощник редактора, Кельти [211]. Оказалось, что издатель желал расширить отдел заметок и находил, что я составляю их именно как нужно. Мне поэтому отвели в редакции стол, на котором сложили груду научных журналов на всяких языках.

— Приходите по понедельникам, г-н Левашев, — сказали мне, — пересматривайте эти журналы, и если вы встретите что-нибудь заслуживающее внимания, напишите заметку или же отметьте статью. Мы ее тогда пошлем специалисту.

Кельти не знал, конечно, что я переписывал каждую заметку по три и четыре раза, прежде чем решался показать ему мой английский язык. Но мне разрешили брать научные журналы домой, и скоро я мог жить на маленький гонорар из «Nature» и «Times'a». Последний платил случайным сотрудникам еженедельно, по четвергам, и я находил этот обычай великолепным. Конечно, бывали недели, когда я не мог дать никаких интересных сведений про Пржевальского и когда мои заметки о других частях России не попадали в печать как лишенные интереса. В эти недели я довольствовался чаем и хлебом.

Раз как-то Кельти достал с полки несколько русских книг и попросил меня написать рецензию о них для «Nature». Я взглянул на книги и, к немалому моему затруднению, увидал мои собственные работы о ледниковом периоде и об орографии Азии. Брат не преминул послать их в свой любимый журнал. Я был в большом недоумении и, сложив книги в саквояж, понес их домой, чтобы обдумать дело на досуге. «Ну, что я стану с ними делать? — спрашивал я себя. — Хвалить их я не могу, а ругать автора — тоже не согласен, так как разделяю его взгляды». Наконец, я решил отнести книги назад на другой день и объяснить Кельти, что хотя я и назвался ему Левашевым, но на деле я — автор этих книг, а потому не могу писать о них рецензии.

Кельти читал уже в газетах о побеге Кропоткина и с большим удовольствием узнал теперь о том, что он в безопасности на английской почве. Что касается моих сомнений, Кельти резонно заметил, что мне незачем ни хвалить, ни разносить автора: я могу просто изложить содержание его трудов. С того дня у нас завязалась дружба, продолжающаяся до сих пор.

В ноябре или в декабре 1876 года я прочел в «почтовом ящике» «Вперед», что К. приглашается зайти в редакцию для получения письма из России. Думая, что это относится ко мне, я заглянул в редакцию. Скоро я подружился как с П. Л. Лавровым, так и с молодежью, набиравшею журнал.

Я думал, что никто меня не узнает, когда я в первый раз постучался в двери редакции — бритый, в цилиндре, и спросил у дамы, открывшей мне, на моем наилучшем английском языке: «Дома ли мистер Лавров?» Я не назвал себя. Оказалось, однако, что дама, никогда не видавшая меня, но знавшая брата в Цюрихе, тотчас узнала меня и побежала наверх сказать, кто пришел.

— Я вас сейчас же узнала, — говорила она мне потом, — по глазам: они напомнили мне вашего брата.

В тот раз я недолго пробыл в Англии. Мне хотелось более живой деятельности, чем журнальная и литературная работа. С первых же дней я пробовал завязать знакомство с рабочими, и я начал с ними беседы по вопросам социализма. Но тогда (1876) английские рабочие о социализме и слышать не хотели. Дальше трэд-юнионизма и кооперации они не шли.

Не знаю, что я стал бы делать в Лондоне дальше, если бы мои швейцарские друзья вскоре не нашли мне постоянной работы в Швейцарии. Я находился в оживленной переписке с моим другом Джемсом Гильомом из Юрской федерации [212]. И как только я нашел постоянную географическую работу, которую мог делать и в Швейцарии, то сейчас же перебрался туда. Письма, полученные, наконец, из России, говорили мне, что я могу спокойно оставаться за границей, так как никакого особенного дела на родине не предвидится. Волна энтузиазма прокатилась в то время над Россией в пользу славян, восставших против векового турецкого гнета. Мои лучшие друзья — Сергей Степняк, Дмитрий Клеменц и многие другие — отправились на Балканский полуостров, чтобы присоединиться к инсургентам. Друзья писали мне: «Мы читаем корреспонденции «Daily News» о турецких зверствах в Болгарии, мы плачем при чтении и идем записываться в отряды инсургентов как добровольцы или как сестры милосердия».

Должно быть, в январе 1877 года я был уже в Швейцарии, присоединился к Юрской федерации Интернационала и здесь начал свою анархическую деятельность, поселившись в Шо-де-фоне [213].

II

Юрская федерация Интернационала сыграла важную роль в современном развитии социализма.

Всегда случается так, что после того, как политическая партия поставит требования и заявит, что удовлетворится только выполнением этой программы, она вскоре разделится на две фракции. Одна остается тем, чем была; другая же, хотя и заявляет, что не поступилась ни буквой, принимает некоторого рода компромиссы и постепенно, от компромисса к компромиссу, отступается от первоначальной программы и становится партией умеренных реформ.

Подобный раскол произошел и в Международном союзе работников. Открытым намерением союза при возникновении было уничтожение частной собственности и передача самим производителям всех орудий, необходимых для производства богатств. Работников всех наций призывали образовать свои собственные организации для прямой борьбы против капитализма. Им предлагалось выработать средства, как социализировать производство необходимых для жизни людей продуктов и их потребление. И когда работники будут достаточно подготовлены, они должны завладеть орудиями производства и организовать потребление без всякого отношения к современному политическому строю, который должен быть совершенно переделан. Союз, таким образом, имел задачей подготовить громадный переворот сперва в умах, а затем в самой жизни. Союзу предстояло произвести революцию, которая открыла бы для человечества новую эру прогресса, основанного на всеобщей солидарности. Таков был

идеал, пробудивший от сна миллионы европейских работников и привлекший в союз лучшие умственные силы того времени.

Вскоре, однако, в Интернационале стали намечаться две фракции. Когда война 1870 года кончилась полным поражением Франции и Парижская Коммуна была разгромлена, а против Международного союза проведены были драконовские законы, лишавшие французов возможности участвовать в движении; когда, с другой стороны, в «объединенной» Германии, о создании которой немцы мечтали с 1848 года, введен был парламентский строй, немцы сделали попытку изменить цели и методы всего социалистического движения. Лозунгом социал-демократии, как называлась новая партия, стало — завоевание власти в существующем государстве. Первые успехи этой партии на выборах в рейхстаг возбудили большие надежды. Число депутатов социал-демократов было сперва два, потом семь, потом девять; поэтому даже рассудительные люди вычисляли, что к концу XIX столетия социал-демократы будут иметь большинство в германском парламенте и путем законодательных мер смогут установить народное социалистическое государство. Социалистический идеал этой партии мало-по-малу утратил свой характер. Вместо общественного строя, который должен был выработаться самими рабочими организациями, был выставлен идеал государственного заведывания промышленностью, то есть государственный социализм, или, вернее, государственный капитализм. Так, например, в настоящее время в Швейцарии усилия социал-демократов в политическом отношении направлены к централизации и к борьбе с федерализмом, а в отношении экономическом — к эксплоатации железных дорог государством и к государственной монополии в банковом деле и в продаже спиртных напитков. Государственное же заведывание землею и главными крупными отраслями промышленности, а равно и организация потребления, будет, говорят нам, следующий шаг в более или менее отдаленном будущем.

Мало-по-малу жизнь и деятельность германской социал-демократической партии совершенно подчинились соображениям о выборах в парламент. На рабочие союзы социал-демократы стали смотреть как на подсобные организации для политической борьбы, а к стачкам относились неодобрительно, потому что они отвлекают внимание работников от выборной борьбы. Социал-демократические вожди в то же время относились к каждому народному движению и к каждой революционной агитации, в какой бы то ни было стране в Европе, еще более враждебно, чем капиталистическая печать.

В латинских странах, однако, новое течение нашло весьма мало последователей. Секции и федерации Интернационала оставались верны принципам, которые были установлены при возникновении союза. Федералисты, в силу своей истории, и враждебные к мысли о централизованном государстве, обладая притом революционными традициями, — рабочие латинских стран не могли последовать за эволюцией, происходившей у немцев.

Распадение социалистического движения на две ветви определилось тотчас же после Франко-германской войны. Как я уже упомянул, Интернационал создал себе центральное правление в лице Генерального совета, пребывавшего в Лондоне. И так как душой совета были два немца, Энгельс и Маркс, то он вскоре стал главною крепостью нового социал-

демократического движения. Вдохновителями же и умственными вождями латинских федераций стал Бакунин и его друзья.

Разлад между марксистами и бакунистами отнюдь не был делом личного самолюбия. Он представлял собою неизбежное столкновение между принципами федерализма и централизации, между свободной коммуной и отеческим управлением государства, между свободным творческим действием народных масс и законодательным улучшением существующих условий, созданных капиталистическим строем. То было, наконец, столкновение между латинским духом и германским Geist *, который разбив Францию на поле битвы, желал теперь главенства в области науки, политики, философии, а также и социализма, противопоставляя свое якобы «научное» понимание социализма «утопическому» социализму других.

На Гаагском конгрессе Интернационала, состоявшемся в 1872 году, Лондонский Генеральный совет, путем фиктивного большинства, исключил из Международного союза рабочих Бакунина, его друга Гильома и всю Юрскую федерацию. Но так как было несомненно, что Испанская, Итальянская и Бельгийская федерации примут сторону юрцев, то конгресс попытался распустить Интернационал. Он постановил, что новый Генеральный совет, состоящий из нескольких социал-демократов, будет заседать в Нью-Йорке, где не существовало рабочих организаций, которые могли бы контролировать совет. С тех пор так о нем и не слыхали, тогда как Испанская, Итальянская, Бельгийская и Юрская федерации продолжали существовать еще лет пять или шесть и ежегодно собирались на обычные конгрессы.

В то время как я приехал в Швейцарию, Юрская федерация была центром и наиболее известным выразителем Интернационала. Бакунин только что умер в Берне (1 июля 1876 года), но федерация удерживала то же положение, которое заняла под его влиянием. Через месяц после смерти Бакунина в Берне же собрался конгресс Интернационала. Решено было на могиле Бакунина сделать попытку примирения между марксистами и бакунистами. Гильом писал мне об этом, но я предвидел, что из этого ничего не выйдет. Но Гильом искренно желал примирения и искренно хотел протянуть руку. Примирение отчасти было налажено. Каждой стране предоставлялось право придавать социалистической деятельности тот характер, какой найдут нужным. Если Германии больше всего подходит парламентская социал-демократическая деятельность — пусть так и будет. Анархисты не станут нападать за это на немцев. Но зато пусть и немцы предоставят Италии, Испании, Швейцарии и Бельгии итти своим путем, не прибегая к таким гнусностям, как, например, обвинение Бакунина в шпионстве, в котором обвиняли Бакунина марксисты в 50-х годах. Либкнехт с Бебелем, приехавшие на Бернский конгресс, ручались за это от имени партии.

И вдруг среди этих примирительных излияний в Женеве выходит громоносная и ядовитая статья Беккера против бакунистов. Эта статья разожгла страсти, и между марксистами и бакунистами снова разгорелась вражда.

Положение дел во Франции, Испании и Италии было таково, что только благодаря тому, что революционный дух, развившийся между работни-

* «Духом».

Берега Англии
Рисунок П. А. Кропоткина

Вид в Швейцарии
Рисунок П. А. Кропоткина

ками раньше Франко-прусской войны, поддерживался Интернационалом, правительства не решались раздавить все рабочее движение и начать царство белого террора. Известно, что вступление на французский престол графа Шамбора, одного из Бурбонов, едва не стало совершившимся фактом. Мак-Магон [214] оставался президентом республики только для того, чтобы подготовить реставрацию монархии. Самый день торжественного въезда нового императора Генриха V в Париж был уже назначен; даже хомуты, украшенные королевской короной и вензелем, были уже готовы. Известно также, что реставрация монархии не удалась потому, что Гамбетта [215] и Клемансо [216], оппортунист и радикал, организовали в значительной части Франции ряд вооруженных комитетов, готовых восстать, как только начнется государственный переворот. Но главную силу этих комитетов составляли рабочие, из которых многие принадлежали прежде к Интернационалу и сохранили прежний дух. И я могу сказать на основании того, что знаю лично, что, если бы радикальные вожди буржуазии поколебались в решительный момент, рабочие, наоборот, в этих комитетах, особенно на юге, воспользовались бы первой возможностью, чтобы поднять восстание, которое, начавшись для защиты республики, пошло бы дальше в социалистическом направлении.

То же самое можно сказать и об Испании. Как только духовенство и аристократия, окружавшие короля, толкали его на путь реакции, республиканцы сейчас же грозили восстанием, в котором, как они знали, действительно боевым элементом выступят работники. В одной Каталонии тогда было более ста тысяч рабочих, организованных в сильные союзы; более восьмидесяти тысяч испанцев принадлежали к Интернационалу, правильно собирались на конгрессы и аккуратно платили свои членские взносы с чисто испанским сознанием долга. Я говорю об этих организациях на основании личного знакомства на месте. Я знаю, что они готовились провозгласить федеративную испанскую республику и отказаться от колоний, а в тех местностях, которые способны были итти дальше, сделали бы попытки в смысле коллективизма. Один только постоянный страх восстания удержал испанскую монархию от разгрома всех рабочих и крестьянских организаций и от грубой клерикальной реакции.

Подобные же условия господствовали и в Италии. В северной ее части рабочие союзы еще не достигли тогда такого развития как теперь, но различные части страны были усеяны секциями Интернационала и республиканскими группами. Монархия жила под вечным страхом свержения, если республиканцы средних классов обратятся к революционным элементам среди рабочих.

Одним словом, вспоминая теперь прошлое, отделенное четвертью века, я с уверенностью могу сказать, что если Европа не погрузилась после 1871 года в мрак самой тяжелой реакции, то обусловливается это главным образом тем революционным духом, который пробудился на Западе до Франко-прусской войны и поддерживался после разгрома Франции анархическими элементами Интернационала: бланкистами, мадзинианцами и испанскими «кантоналистами» (федеративными республиканцами).

Конечно, марксисты, поглощенные всецело своею местною избирательною борьбою, мало знали обо всем этом. Страшась навлечь на свои головы бисмарковские громы и боясь больше всего, чтобы в Германии не проявился революционный дух и не повел бы к репрессиям, которых они,

не будучи достаточно сильными, не могли встретить лицом к лицу, социал-демократы из тактических соображений не только относились отрицательно ко всем западным революционерам, но мало-по-малу прониклись ненавистью к революционному духу вообще. Они злобно обличали его, где бы он ни проявился, даже тогда, когда усмотрели первые его проявления в России.

Случалось ли, что Вера Засулич выстрелила в Трепова или, что русские студенты с рабочими устроили демонстрацию на Казанской площади, или, что рабочие в таком-то городе в Италии или в Испании сожгли таможенные будки, или отказались платить налоги, или, наконец, произошла где-нибудь революционная шутка, как, например, на колокольню нацепили красный флаг в ночь на 18-е марта, «Vorwärts» (Форвертс) изливал тотчас же свой яд и весь свой словарь истинно-немецкой ругани и на Засулич, и на русских студентов, и на Казанскую демонстрацию, и на итальянских и испанских рабочих, осмелившихся дать выход своему бунтовскому духу. «Putschmacher'ы» (вспышкопускатели) писали презрительно в «Форвертсе» и восхваляли с в о ю тактику, благодаря которой никто не смел и полицейскому ответить дерзостью на дерзость, храня всю свою энергию на тот день, когда придется уговаривать рабочих подавать свой голос на выборах за того или другого социал-демократического депутата.

При Мак-Магоне немыслимо было издавать революционные газеты во Франции. Даже пение «Марсельезы» считалось преступлением. Помню, как меня поразил тот ужас, который охватил моих попутчиков третьего класса, когда несколько новобранцев затянули на платформе революционную песню: то было в мае 1878 года! «Разве опять позволено петь «Марсельезу»? — спрашивали они тревожно друг друга... Таким образом, социалистических газет во Франции не было. Испанские газеты издавались очень хорошо, и некоторые манифесты испанских конгрессов прекрасно излагали принципы анархического социализма. Но кто же за пределами Испании знает что-нибудь об ее идеалах? Что же касается до итальянских газет, то они все были недолговечны: появлялись, исчезали и снова возникали под другими названиями; и, несмотря на то, что некоторые из них были превосходны, никто их не знал за пределами Италии. Поэтому Юрская федерация, с ее газетами на французском языке, стала очагом, где поддерживался и формулировался в латинских странах тот дух, который, повторяю это снова, спас Европу от мрачного периода реакции. Юрская федерация явилась также почвой, на которой теоретические положения анархизма были разработаны Бакуниным и его последователями на языке, понятном на материке Европы.

III

В то время к Юрской федерации принадлежало несколько замечательных людей различных национальностей, большею частью личные друзья Бакунина. Редактором нашей главной газеты «Bulletin de la Fédération Jurassienne» * был Джемс Гильом, учитель по профессии, принадлежавший к одной из старинных фамилий Невшателя. Среднего роста и худо-

* «Бюллетень Юрской федерации».

Локарно
Рисунок карандашом П. А. Кропоткина

Вид в Швейцарии
Рисунок карандашом П. А. Кропоткина

щавый, напоминавший несколько Робеспьера своей внешностью и решительностью ума, он вместе с тем обладал золотым сердцем, которое раскрывалось только в интимной дружбе. Он был прирожденный руководитель людей по изумительной способности работать и по своей упорной деятельности. Восемь лет боролся он со всякими препятствиями, чтобы поддержать существование газеты, принимая в то же время самое деятельное участие во всех мельчайших делах федерации, покуда ему не пришлось оставить Швейцарию, где он не мог более найти никакой работы. Тогда он поселился во Франции, и здесь его имя со временем будет упомянуто с почтением в истории освобождения народной школы от влияния попов.

Юрской федерацией была издана брошюра, написанная Гильомом, «Idées sur l'organisation sociale». (Идеи о социальной организации). Брошюра Гильома содержит изложение анархического политического идеала, как он вырабатывался в Юрской федерации. Союз производственных и ремесленных рабочих союзов, без государства, вступающих в прямое соглашение для обмена товаров, ими производимых, был ответом на идеал централизованных государств, который в то время разделяли все коммунисты-государственники, в том числе и социал-демократы.

Другой деятель Юрской федерации Адэмар Швицгебель, тоже швейцарец родом, был типичный представитель тех веселых, жизнерадостных, проницательных часовщиков из французской Юры, которых можно встретить в предгорьях Бернского кантона. Гравировщик часовых крышек по ремеслу, он никогда не пытался оставить ручного труда и вечно веселый и деятельный поддерживал свою большую семью даже во время кризисов, когда в работе бывал застой и заработки становились очень скудны. Швицгебель обладал поразительной способностью схватить сразу трудный политический или экономический вопрос и, хорошенько обдумав его, изложить ясно, просто, с точки зрения рабочего, не отнимая у него при этом ни глубины, ни значения. Его знали везде «в горах», и при встрече на конгрессах с рабочими других стран он всегда был общим любимцем.

Прямую противоположность Швицгебелю составлял другой швейцарец, тоже часовщик, Шпихигер. Он был философ, медлителен в движениях и в мысли, англичанин по наружности. Во всяком вопросе Шпихигер стремился добраться до самого корня и поражал нас верностью своих выводов, к которым доходил всесторонним размышлением, в то время как он просиживал дни за своим гильошёрным станком.

Вокруг этих трех людей группировалось несколько серьезных, развитых работников — иные средних лет, другие старики, все страстно любившие свободу и с восторгом принявшие участие в таком великом движении, и еще около сотни пылких, бойких молодых людей, тоже большею частью из часовщиков. Все они отличались независимостью образа мыслей, ласковостью и горячею преданностью делу, ради которого готовы были на всякие жертвы. Несколько бывших коммунаров, живших в изгнании, вошли в федерацию. В числе их был великий географ Элизэ Реклю [217], типичный пуританин в своих манерах и в жизни, а с интеллектуальной точки зрения — французский философ-энциклопедист XVIII века; вдохновитель других, который никогда не управлял и никогда не будет управлять никем; анархист, у которого анархизм является выводом из широкого и основательного изучения форм жизни человечества во всех климатах и на всех ступенях цивилизации, чьи книги считаются в числе лучших произве-

дений XIX века и чей стиль поражает красотой и волнует ум и совесть. Когда он входил в редакцию анархической газеты, то первый его вопрос, хотя бы редактор был мальчик по сравнению с ним: «Скажите, что мне делать?» И, получив ответ, он садился, как простой газетный чернорабочий, чтобы заполнить столько-то строк для следующего номера. Во время Коммуны Реклю просто взял ружье и стал в ряды. А когда он приглашал сотрудника для какого-нибудь тома своей всемирно-известной географии и тот робко спрашивал: «Что мне нужно делать?», — Реклю отвечал: «Вот книги, вот стол. Делайте, что хотите».

Товарищем его был пожилой Лефрансэ бывший учитель, трижды находившийся в изгнании: после июньских дней 1848 года, после наполеоновского государственного переворота и после 1871 года. Он был членом Коммуны, то есть из числа тех, о которых говорили, что они после Коммуны унесли в своих карманах миллионы франков. О достоверности этих утверждений буржуазной прессы можно судить по тому, что Лефрансэ работал, как багажный, на железнодорожной станции в Лозанне и раз едва не был убит при разгрузке, требовавшей более молодых плеч, чем его. Книга Лефрансэ о Парижской Коммуне — единственная, в которой действительное историческое значение движения представлено в настоящем свете.

— Я — коммунист, а не анархист, если вам угодно, — говорил он. — Я не могу работать с такими безумцами, как вы!

А между тем он не работал ни с кем, как только с нами, «потому что вы безумцы, — говорил он, — именно те люди, которых я могу любить. С вами можно работать, оставаясь самим собою».

С нами жил еще другой член Парижской Коммуны — Пэнди, столяр из Северной Франции, приемное дитя Парижа. Он приобрел большую известность в Париже своей энергией и ясным умом во время одной большой стачки, поддержанной Интернационалом, вскоре после основания союза рабочих. В 1871 году его выбрали членом Коммуны, которая назначила его комендантом тюильерийского дворца. Когда версальские войска вступили уже в Париж, истребляли пленных сотнями, в разных концах города расстреляли, по крайней мере, троих, которых приняли за Пэнди. После битвы его укрыла, однако, храбрая девушка-швея, своим хладнокровием спасшая его, когда солдаты пришли обыскивать дом. Впоследствии она стала его женой. Когда солдаты обыскивали квартиру, Пэнди вошел с ведром воды. Скрываться было поздно. Но молодая швея не растерялась. Она назвала Пэнди своим братом и предложила солдатам по стакану вина. Пэнди стоял рядом. Солдаты побеседовали, выпили вино и пошли в другие квартиры. Только год спустя Пэнди с женой удалось незаметно выбраться из Парижа и добраться до Швейцарии. Здесь он изучил ремесло пробирщика. Целые дни проводил он теперь у раскаленного горна, вечера же всецело отдавал пропаганде, в которой удивительно сочетал страстность революционера с здравым смыслом и организаторской способностью, характеризующими парижских рабочих.

Поль Брусс [218] был тогда молодой доктор, необыкновенно живого ума, шумный, едкий и живой, готовый развить любую идею с геометрической последовательностью до крайних ее пределов. Его критика государства и государственных учреждений отличалась особой едкостью и силой. Брусс находил время издавать две газеты: одну французскую, другую немецкую

(не зная немецкого языка), писать десятки длинных писем и быть душою рабочих вечеринок. Он постоянно был занят организацией новых групп, со всею пылкостью ума настоящего француза-«южанина».

Из итальянцев, работавших с нами в Швейцарии, в особенности замечательны были два близких друга Бакунина: Кафиеро [219] и Малатеста [220], имена которых всегда упоминаются вместе и будут поминаться в Италии не одним поколением. Кафиеро — возвышенный и чистый идеалист, отдавший все свое состояние общему делу и никогда не задававшийся вопросом, чем он будет жить потом; мыслитель, вечно погруженный в философские соображения; человек самый незлобивый, а между тем он взялся за ружье и пошел в горы Беневенто [221], когда он и друзья его решили, что надо сделать попытку социалистического восстания, хотя бы только с целью доказать народу, что крестьянский бунт должен быть серьезнее простого возмущения против сборщиков податей. Малатеста — бывший студент медицины, отказавшийся от ученой профессии и от состояния ради революции: чистый идеалист, полный жара и ума. За всю свою жизнь он никогда не думал о том, будет ли у него кусок хлеба на обед и место, где переночевать сегодня. Не имея своего угла, он готов продавать мороженое на улицах Лондона, чтобы заработать на хлеб, а по ночам будет писать блестящие статьи для итальянских газет. Во Франции его посадили в тюрьму, освободили и изгнали; в Италии он был вторично осужден и сослан на остров, откуда бежал и снова под другим именем явился в Италию. Малатесту всегда можно найти там, где борьба кипит особенно жарко: все равно — на родине или вне ее. И эту жизнь он ведет вот уже тридцать лет. И когда мы встречаем Малатесту после освобождения из тюрьмы или после побега с острова, мы находим его таким же бодрым, каким видели его в последний раз. Вечно он готов начать сызнова борьбу; постоянно он поражает тою же любовью к человечеству и тем же отсутствием ненависти к своим противникам и тюремщикам; всегда у него готова сердечная улыбка для друзей и ласка для ребенка.

Среди нас было очень мало русских, потому что большинство соотечественников шло за социал-демократами. С нами находился, однако, старый друг Герцена, Н. И. Жуковский [222], оставивший Россию в 1863 году: блестящий, изящный человек, очень умный и большой любимец рабочих. Больше, чем кто бы то ни было из нас, он имел то, что французы называют l'oreille du peuple. Рабочие всегда слушали его охотно, так как он умел зажечь сердца народа, показывая ему то важное участие, которое он должен принять в переустройстве общества. Он умел поднять настроение, открывая работникам блестящие исторические перспективы; умел сразу осветить самый запутанный экономический вопрос и наэлектризовать слушателей своею искренностью и убежденностью. Временно работал также с нами бывший офицер генерального штаба Н. В. Соколов [223], поклонник Поля Луи Курье [224]—за его смелость и Прудона [225] — за его философские взгляды. Соколов обратил многих в России в социализм своими статьями в «Русском Слове» и книге «Отщепенцы».

Упоминаю только тех, которые получили широкую известность, как писатели, как делегаты на конгрессах или как организаторы. А между тем я спрашиваю себя: не лучше ли писать о тех, которые никогда не печатались, но тем не менее принимали такое же важное участие в жизни федерации, как любой из писателей? Не лучше ли помянуть рядовых бой-

цов, всегда готовых примкнуть ко всякому движению, никогда не задаваясь вопросом, будет ли дело крупно или мелко, славно или скромно? Будет ли оно иметь великие последствия или только принесет бесконечные тревоги им и их семействам?

Я должен был бы также упомянуть о немцах Вернере и Ринке, которые пешком пропутешествовали на конгресс Интернационала из Швейцарии в Бельгию; об испанце Альбарасине, студенте, которого стачка в Алькое вынесла главою Алькойской Коммуны, и про многих других; но боюсь, что мои беглые наброски не смогут внушить читателям всего того чувства уважения и любви, с которым относились к этой маленькой семье все, знавшие членов ее лично.

Когда я вошел в Юрскую федерацию, все мое время поглощалось заботами о пропаганде и агитации. Но уже я видел, как много следует и нужно сделать для научного и философского обоснования анархизма. Но занялся я этим делом только позже, в 1879 году, когда начал издавать «Le Révolté». Заботы о повседневной пропаганде поглощали у меня все время в первые годы.

IV

Из всех известных мне швейцарских городов Шо-де-фон, быть может, наименее привлекательный. Он лежит на высоком плоскогории, совершенно лишенном растительности, и открыт для пронизывающего ветра, дующего здесь зимой. Снег здесь выпадает такой же глубокий, как в Москве, а тает и падает он снова так же часто, как в Петербурге. Но нам было важно распространить наши идеи в этом центре и придать больше жизни местной пропаганде. Здесь жили Пэнди, Шпихигер, Альбарасин и бланкисты Ферре и Жало. Время от времени я мог навещать отсюда Гильома в Невшателе и Швицгебеля в долине Сент-Имье.

Для меня началась жизнь, полная любимой деятельности. Мы устраивали многочисленные сходки, для которых сами разносили афиши по кафе и мастерским. Раз в неделю собирались наши секции, и здесь поднимались самые оживленные рассуждения. Отправлялись мы также проповедывать анархизм на собрания, созываемые политическими партиями. Я разъезжал очень много, навещая другие секции, и помогал им.

В ту зиму мы заручились симпатиями многих, хотя сильной помехой правильной работе являлся кризис в часовом деле. Половина работников сидела без работы или была занята только несколько часов в неделю. Поэтому муниципалитетам пришлось открыть дешевые столовые. Кооперативная мастерская, основанная в Шо-де-фоне анархистами, в которой заработки распределялись поровну между участниками, с большим трудом доставала себе работы, несмотря на свою почетную репутацию. Шпихигеру — одному из лучших гильошеров — пришлось даже некоторое время зарабатывать средства к жизни расческой шерсти для одного обойщика.

Мы все в том году (1877) приняли участие в демонстрации с красным знаменем в Берне. Волна реакции дошла и до Швейцарии и, наперекор конституции, бернская полиция воспретила носить рабочее знамя на улицах. Необходимо было показать поэтому, что, по крайней мере, в некоторых местах работники не допустят попрания своих прав и станут сопротивляться. В день годовщины Парижской Коммуны мы все отпра-

вились в Берн, чтобы, несмотря на запрещение, пройти по улицам с красными знаменами. Конечно, произошло столкновение с полицией, в котором два товарища получили сабельные удары, а два полицейских были ранены довольно тяжело. Но одно красное знамя донесли-таки благополучно до залы, где состоялся восторженный митинг. Нечего прибавлять, что так называемые вожаки были в рядах и дрались вместе со всеми. К ответственности было привлечено около тридцати швейцарских граждан, которые все сами заявляли следователю, что приняли участие в демонстрации, и требовали, чтобы их судили. Раньше полицейских немедленно выступили вперед и заявили, что это сделали они. Суд пробудил немалую симпатию к нашему делу. Вместо равнодушных людей, мы увидели внимательную публику, отчасти сочувствовавшую нам. Ничто не завоевывает народ, как смелость. Многие поняли, что все вольности нужно упорно защищать, чтобы их не отняли. Приговор поэтому был сравнительно мягкий и не превосходил трехмесячного заключения [226].

Однако бернское правительство воспретило вслед за этим красное знамя во всем кантоне. Тогда Юрская федерация решила выступить с ним, несмотря на все запрещения, в Сент-Имье, где должен был состояться наш годичный конгресс, и защищать его, в случае надобности, с оружием в руках. На этот раз мы были вооружены и приготовились защищать наше знамя до последней крайности. На одной из площадей, по которым мы должны были пройти, расположился полицейский отряд, чтобы остановить нашу процессию, а в соседнем поле взвод милиции упражнялся в учебной стрельбе. Мы хорошо слышали выстрелы стрелков, когда проходили по улицам города. Но когда наша процессия появилась под звуки военной музыки на площади и ясно было, что полицейское вмешательство вызовет серьезное кровопролитие, то нам предоставили спокойно итти. Мы, таким образом, беспрепятственно дошли до залы, где и состоялся наш митинг. Никто из нас особенно не желал столкновения; но подъем, созданный этим шествием в боевом порядке, при звуках военной музыки, был таков, что трудно сказать, какое чувство преобладало среди нас, когда мы добрались до залы: облегчение ли, что боевой схватки не произошло, или же сожаление о том, что все обошлось так тихо. Человек — крайне сложное существо.

Главная наша деятельность состояла в формулировке социалистического анархизма в теории и в практических его приложениях. И в этом направлении Юрская федерация выполнила работу, которая не умрет.

Мы замечали, что среди культурных наций зарождается новая форма общества на смену старой: общество р а в н ы х между собою. Члены его не будут более вынуждены продавать свой труд и свою мысль тем, которые теперь нанимают их по своему личному усмотрению. Они смогут прилагать свои знания и способности к производству на пользу всех; и для этого они будут складываться в организации, так устроенные, чтобы сочетать наличные силы для производства наивозможно большей суммы благосостояния для всех, причем в то же время личному почину будет предоставлен полнейший простор. Это общество будет состоять из множества союзов, объединенных между собою для всех целей, требующих объединения — из промышленных федераций для всякого рода производства: земледельческого, промышленного, умственного, художественного; и из потребительских общин, которые займутся всем, касающимся

с одной стороны — устройства жилищ и санитарных улучшений, а с другой — снабжением продуктами питания, одеждой и т. п.

Возникнут также федерации общин между собою и потребительных общин с производительными союзами. И, наконец, возникнут еще более широкие союзы, покрывающие всю страну или несколько стран, члены которых будут соединяться для удовлетворения экономических, умственных, художественных и нравственных потребностей, не ограничивающихся одною только страною. Все эти союзы и общины будут соединяться по свободному соглашению между собою. Так уже работают теперь сообща железнодорожные компании или же почтовые учреждения различных стран, не имея центрального железнодорожного или почтового департамента, хотя первые руководятся исключительно эгоистическими целями, а вторые принадлежат различным и часто враждебным государствам. Так же действуют метеорологические учреждения, горные клубы, английские спасательные станции, кружки велосипедистов, преподавателей, литераторов и так далее, соединяющиеся для всякого рода общей работы, а то, попросту, и для удовольствия. Развитию новых форм производства и всевозможных организаций будет предоставлена полная свобода; личный почин будет поощряться, а стремление к однородности и централизации будет задерживаться. Кроме того, это общество отнюдь не будет закристаллизовано в какую-нибудь неподвижную форму: оно будет, напротив, беспрерывно изменять свой вид, потому что оно будет живой, развивающийся организм. Ни в каком правительстве не будет тогда представляться надобности, так как во всех случаях, которые правительство теперь считает подлежащими своей власти, его заменит вполне свободное соглашение и союзный договор; случаи же столкновений неизбежно уменьшатся, а те, которые будут возникать, могут разрешаться третейским судом.

Никто из нас не уменьшал важности и величия той перемены, которая нам рисовалась впереди. Мы понимали, что ходячие взгляды о необходимости частной собственности на землю, фабрики, копи, жилища и так далее для развития прогресса промышленности, и о системе заработной платы, как средстве заставить людей работать, еще не скоро уступят место более высоким понятиям об общественной собственности и производстве. Мы знали, что предстоит утомительный период пропаганды, затем долгая борьба и ряд индивидуальных и коллективных возмущений против нынешней формы владения собственностью; что нужны личные жертвы, отдельные попытки переустройства и местные революции, прежде чем изменятся установившиеся теперь взгляды на собственность. Тем более понимали мы, что культурные народы не захотят и не смогут отказаться разом от господствующих теперь идей о необходимости власти, на которых мы все воспитывались. Понадобятся многолетняя пропаганда и длинный ряд отдельных возмущений против властей, а также полный пересмотр всех тех учений, которые извлекаются теперь из истории, прежде чем люди поймут как они ошибались, когда приписывали своему правительству и законам то, что в действительности является результатом их собственных привычек и общественных инстинктов. Мы знали все это. Но мы знали также, что, проповедуя преобразование в обоих этих направлениях, мы будем итти с прогрессом, а не против него.

Когда я ближе познакомился с западно-европейскими рабочими и с симпатизирующими им людьми из интеллигенции, я скоро убедился, что они ценят личную свободу гораздо выше, чем личное благосостояние. Пятьдесят лет тому назад рабочие готовы были продать свою личную свободу всякого рода правителям и даже какому-нибудь Цезарю в обмен за обещание материальных благ. Но теперь этого нет. Я убедился, что слепая вера в выборных правителей, даже если они взяты из лучших вожаков рабочего движения, вымирает у работников латинских рас. «Мы прежде всего должны узнать, что нам нужно, а тогда мы это лучше всего сделаем сами», говорили они; и эта мысль была сильно распространена среди работников, гораздо сильнее, чем можно было бы предположить. Устав Интернационала начинался следующими словами: «Освобождение трудящихся должно быть делом самих трудящихся», и эта мысль пустила глубокие корни в умах. Печальный опыт Парижской Коммуны вполне подтверждал ее.

Когда началось восстание Коммуны, многие из средних классов готовы были сами начать попытки в социалистическом направлении или, по крайней мере, не противиться им. «Когда мы с братом выходили из наших маленьких комнат на улицу, — сказал мне однажды Элизэ Реклю, — люди из зажиточных классов спрашивали нас со всех сторон: «Говорите, что делать? Мы готовы попытаться на новом пути». Но мы (и тут он ударил себя по лбу) тогда не знали, что им сказать».

Ни одно правительство не имело в своем составе столько представителей крайних партий, как Совет Коммуны, избранный 25 марта 1871 года. В нем были представлены в соответствующей пропорции все оттенки революционных мнений: бланкисты, якобинцы, интернационалисты. А между тем, так как сами рабочие не имели определенных взглядов на социальные реформы, то они и не могли внушить их своим представителям, и потому правительство Коммуны ничего не сделало в этом направлении. Его парализовал уже самый факт оторванности от масс и пребывания в Городской думе... И, думая об этом, мы понимали, что ради самого успеха социализма обязательно следует проповедывать идеи безначалия, самодеятельности и свободной личной инициативы, одним словом, идеи анархизма рядом с идеями о социализации собственности и производства.

Мы, конечно, предвидели, что при полной свободе мысли и действия для каждой личности мы неизбежно встретимся с некоторым крайним преувеличением наших принципов. Я видел уже нечто подобное в русском нигилизме. Но мы решили, — и опыт доказал, что мы не ошиблись, — что сама общественная жизнь, при наличности открытой и прямой критики мнений и действий, устранит понемногу крайние преувеличения. Мы действовали, в сущности, согласно старому правилу, гласящему, что свобода — наиболее верное средство против временных неудобств, проистекающих из свободы. Действительно, в человечестве есть ядро общественных привычек, доставшееся ему по наследству от прежних времен и недостаточно еще оцененное. Не по принуждению держатся эти привычки в обществе, так как они выше и древнее всякого принуждения. Но на них основан весь прогресс человечества, и до тех пор, покуда человечество не начнет вырождаться физически и умственно, эти привычки не могут быть уничтожены ни критикой людей, отрицающих ходячую нрав-

ственность, ни временным возмущением против них. В этих воззрениях я убеждался все больше и больше по мере того, как росло мое знакомство с людьми и с жизнью.

Мы понимали в то же время, что необходимые перемены в этом направлении не могут быть вызваны одним каким-нибудь человеком, хотя бы и самым гениальным. Они явятся результатом не научного открытия и не откровения, а последствием созидательной работы самих народных масс. Народными массами — не отдельными гениями — выработаны были средневековое обычное право, деревенская община, гильдия, артель, средневековый город и основы международного права.

Многие из наших предшественников пытались нарисовать идеальную республику, основывая ее то на принципе власти, то, в редких случаях, на принципе свободы. Роберт Оуэн и Фурье [227] дали миру свой идеал свободного органически развивающегося общества, в противоположность идеальной общественной пирамиде, внушенной Римскою империею и католическою церковью. Прудон продолжал работу Фурье и Оуэна, а Бакунин применил свое ясное и широкое понимание философии истории к критике современных учреждений, «создавая в то же время, как разрушал». Но все это было только подготовительной работой.

Международный рабочий союз (Интернационал) применил новый метод разрешения задач практической социологии — путем обращения к самим рабочим. Образованные люди, присоединившиеся к Союзу, брались только объяснять рабочим, что происходит в различных странах, разбирать добытые результаты и впоследствии помогать работникам точно выразить свои заключения. Мы не брались выводить из наших теоретических взглядов, каково д о л ж н о б ы т ь идеальное общество; мы только приглашали рабочих исследовать причины настоящего зла и выработать на своих сходках и конгрессах практические основы лучшего общественного строя. Велось же обсуждение так: вопросы, поднятые на международном съезде, рекомендовались всем рабочим союзам как предмет для изучения в течение следующего года. Они обсуждались тогда во всей Европе, на небольших сходках отделов (секций), соответственно с местными нуждами каждой отрасли промышленности. Затем работы отделов представлялись съезду каждой федерации и, наконец, в более обработанной форме вносились на ближайший международный съезд всего союза. Таким образом, снизу вырабатывались теоретические и практические основы того общества, к которому мы стремились. И Юрская федерация приняла широкое участие в выработке идеалов коллективизма и анархизма.

Что касается меня самого, то, находясь в столь благоприятных условиях, я мало-по-малу пришел к заключению, что анархизм — нечто большее, чем простой способ действия или чем идеал свободного общества. Он представляет собою, кроме того, философию как природы, так и общества, которая должна быть развита совершенно другим путем, чем метафизическим или диалектическим методом, применявшимся в былое время к наукам о человеке. Я видел, что анархизм должен быть построен теми же методами, какие применяются в естественных науках; но не на скользкой почве простых аналогий, как это делает Герберт Спенсер, а на солидном фундаменте индукции, примененной к человеческим учреждениям. И я сделал все, что мог, в этом направлении.

V

Осенью 1877 года в Бельгии состоялось два конгресса: один — Интернационала в Вервье, другой — международный социалистический в Генте [228]. Последний был в особенности важен, так как стало известно, что германские социал-демократы сделают попытку захватить все рабочее движение в Европе в одну организацию, главою которой будет центральный комитет, представляющий продолжение старого Генерального совета Интернационала, но только под новым названием. Поэтому необходимо было отстоять автономию рабочих организаций в латинских странах, и мы сделали все возможное, чтобы послать достаточное число делегатов на конгресс. Я поехал под именем Левашева; два немца — наборщик Вернер и механик Ринке — прошли пешком почти весь путь от Базеля до Бельгии. И, хотя нас было всего только девять анархистов в Генте, нам удалось помешать осуществлению централизационного проекта.

С тех пор прошло четверть века; состоялся ряд международных социалистических конгрессов, и на каждом из них поднималась одна и та же борьба: социал-демократы пытались завербовать все рабочее движение Европы под свое знамя и подчинить своему контролю; анархисты же восставали против этого и старались помешать этому. Сколько сил истрачено понапрасну! Сколько высказано горьких слов, как дробятся силы! И все это потому, что социал-демократы, стремящиеся к «завоеванию власти в существующем государстве», не понимают, что деятельность в этом направлении не может вместить в себя в с е социалистическое движение! С самого начала социализм стал развиваться в трех направлениях, выразителями которых явились Сен-Симон, Фурье и Роберт Оуэн. Сэн-симонизм породил социал-демократию, фурьеризм дал начало анархизму, а учение Оуэна развилось в Англии и в Америке в трэд-юнионизм, кооперацию и так называемый муниципальный социализм, причем это движение осталось враждебным государственному социализму социал-демократов, имея при этом точки соприкосновения с анархизмом. Но вследствие нежелания понять, что все три движения стремятся к общей цели тремя различными путями, — причем два последних движения вносят свой ценный вклад в прогресс, — явилось то, что двадцать пять лет было затрачено на осуществление неосуществимой утопии, которую представило бы собою единое рабочее движение по социал-демократическому образцу.

Гентский конгресс кончился для меня неожиданно.

Через три или четыре дня после начала его бельгийская полиция узнала, кто такой Левашев, и получила приказ арестовать меня за нарушение полицейских постановлений, которое я совершил, назвавшись в гостинице вымышленным именем. Мои бельгийские друзья предупредили меня. Они утверждали, что клерикальное министерство, находившееся у власти, способно выдать меня России, и настаивали на том, чтобы я немедленно оставил конгресс. Друзья не позволили мне даже возвратиться с одного большого митинга в гостиницу. Гильом загородил мне дорогу, заявивши, что он силой воспротивится тому, чтобы я шел в гостиницу. Пришлось мне направиться в другую сторону с несколькими товарищами, и как только я присоединился к ним, со всех сторон темной площади, на которой находились группы рабочих, раздались свистки и перекликиванья вполго-

лоса. Все это имело очень таинственный вид. Наконец, после долгого перешептыванья и тихого пересвистыванья, группа товарищей повела меня под конвоем к работнику социал-демократу, где мне предстояло переночевать и где меня, анархиста, приняли самым трогательным образом как брата. На следующее утро я опять уехал в Англию и, вновь высаживаясь на берегах Темзы, я, помнится, вызвал добродушную улыбку у английского таможенного чиновника. Он непременно желал осмотреть мой багаж, а я мог показать ему только крошечный ручной сак-вояж.

В этот раз я опять недолго оставался в Лондоне. По богатым материалам Британского музея я принялся за изучение Французской революции, — именно, как зачинаются революции [229]. Но это меня не удовлетворяло: мне нужна была более живая деятельность, и я скоро отправился в Париж. После беспощадного усмирения восстания Коммуны здесь начинало пробуждаться рабочее движение, и мне удалось принять в нем участие. Вместе с итальянцем Костой [230], несколькими французскими рабочими-анархистами и Жюль Гедом [231] с его товарищами, которые в то время еще не были узко-партийными социал-демократами и отрицали парламентскую деятельность, мы основывали первые социалистические группы.

Начали мы с очень небольшого. Человек по пяти, по шести мы встречались в кафе; а когда нам удалось собрать сотню рабочих на митинг, мы уже ликовали. Никто не мог предвидеть тогда, что через два года движение так разрастется. Но во Франции дела развиваются особым путем. Когда реакция берет верх, все видимые следы движения исчезают; лишь немногие энтузиасты пробуют плыть против течения. Но вот каким-то таинственным путем, через посредство невидимого впитывания идей, реакция подточена. Зарождается новое течение, и потом вдруг оказывается, что идея, которую все считали уже мертвой, была жива все время, росла и распространялась. И как только открытая агитация становится возможной, выдвигаются сразу тысячи сторонников, существования которых никто не подозревал. «В Париже, — говорил старик Бланки [232], — всегда есть пятьдесят тысяч человек, которые не принимают никакого участия в сходках и демонстрациях, но как только они почувствуют, что народ может выйти на улицу и там заявить свое мнение, они тотчас же являются и, если нужно, идут на штурм». Так оно было и тогда. Нас было не больше двадцати человек, чтобы вести движение, и мы имели не более двухсот открытых сторонников. На первых поминках Коммуны, в марте 1878 года, нас было не больше двухсот человек. Но два года спустя пришла амнистия для коммунаров, и все рабочее население Парижа высыпало на улицы, чтобы приветствовать возвращающихся. Оно толпилось на их митингах и восторженно принимало изгнанников. Социалистическое движение сразу выросло и увлекло за собою радикалов.

В апреле 1878 года пора оживления в Париже еще не наступила, и в одну прекрасную ночь арестовали Косту и еще одного товарища-анархиста француза Педуссо. Полицейский суд приговорил их к полутора годам тюрьмы, как членов Интернационала. Я избежал ареста только вследствие ошибки. Полиция искала Левашева и пришла арестовать одного русского студента с очень похожей фамилией. Я уже прописался под моим настоящим именем и прожил в Париже еще около месяца. Затем русские товарищи вызвали меня в Швейцарию [233].

VI

Во время этого пребывания в Париже я познакомился с И. С. Тургеневым. Он выразил желание нашему общему приятелю, П. Л. Лаврову, повидаться со мной и, как настоящий русский, захотел отпраздновать мой побег небольшим дружеским обедом. Я переступил порог квартиры великого романиста почти с благоговением. Своими «Записками охотника» Тургенев оказал громадную услугу России, вселив отвращение к крепостному праву (я тогда не знал еще, что Тургенев принимал участие в «Колоколе»), а последующими своими повестями он принес молодой интеллигентной России не меньшую пользу. Он вселил высшие идеалы и показал, нам, что такое русская женщина, какие сокровища таятся в ее сердце и уме и чем она может быть, как вдохновительница мужчины. Он нас научил, как лучшие люди относятся к женщинам и как они любят. На меня и на тысячи моих современников эта сторона писаний Тургенева произвела неизгладимое впечатление, гораздо более сильное, чем лучшие статьи в защиту женских прав. [Повесть Тургенева «Накануне» определила с ранних лет мое отношение к женщине, и если мне выпало редкое счастье найти жену по сердцу и прожить с ней вместе счастливо больше двадцати лет, этим я обязан Тургеневу].

Внешность Тургенева хорошо известна. Он был очень красив: высокого роста, крепко сложенный, с мягкими седыми кудрями. Глаза его светились умом и не лишены были юмористического огонька, а манеры отличались той простотой и отсутствием аффектации, которые свойственны лучшим русским писателям. Голова его сразу говорила об очень большом развитии умственных способностей; а когда, после смерти И. С. Тургенева, Поль Бер и Поль Реклю (хирург) взвесили его мозг, то они нашли, что он до такой степени превосходит весом наиболее тяжелый из известных мозгов, именно Кювье, что не поверили своим весам и достали новые, чтобы проверить себя.

В особенности была замечательна беседа Тургенева. Он говорил, как и писал, образами. Желая развить мысль, он прибегал не к аргументам, хотя был мастер вести философский спор: он поясняя ее какой-нибудь сценой, переданной в такой художественной форме, как будто бы она была взята из его повести.

— Вот вы имели случай много наблюдать французов, немцев и других европейцев, — как-то сказал он мне, — вы, верно, заметили, что существует неизмеримая пропасть между многими воззрениями иностранцев и нас, русских: есть пункты, на которых мы никогда не сможем согласиться.

Я ответил, что не заметил таких пунктов.

— Нет, они есть. Ну, вот вам пример. Раз как-то мы были на первом представлении одной новой пьесы. Я сидел в ложе с Флобером, Додэ, Золя (не помню точно, назвал ли он и Додэ, и Золя, но одного из них он упомянул наверно). Все они, конечно, люди передовых взглядов. Сюжет пьесы был вот какой. Жена разошлась с своим мужем и жила теперь с другим. В пьесе он был представлен отличным человеком. Несколько лет они были совершенно счастливы. Дети ее, мальчик и девочка, были малютками, когда мать разошлась с их отцом. Теперь они выросли и все время полагали, что сожитель их матери был их отец. Он обращался

с ними, как с родными детьми: они любили его, и он любил их. Девушке минуло восемнадцать лет, а мальчику было около семнадцати. Ну, вот, сцена представляет семейное собрание за завтраком. Девушка подходит к своему предполагаемому отцу, и тот хочет поцеловать ее. Но тут мальчик, узнавший как-то истину, бросается вперед и кричит: «Не смейте! (N'osez pas!)». Это восклицание вызвало бурю в театре. Раздался взрыв бешеных аплодисментов. Флобер и другие тоже аплодировали. Я, конечно, был возмущен. «Как! — говорил я, — эта семья была счастлива... Этот человек лучше обращался с детьми, чем их настоящий отец... Мать любила его, была счастлива с ним... Да этого дрянного, испорченного мальчишку следует просто высечь». Но сколько я ни спорил с ними, никто из этих передовых писателей не понял меня.

Я, конечно, был совершенно согласен с Тургеневым в его взглядах на этот вопрос и заметил только, что знакомства его были по преимуществу в средних классах. Там разница между нациями сильно заметна. Мои же знакомства были исключительно среди рабочих; а все работники и, в особенности, крестьяне всех стран очень похожи друг на друга.

Говоря это, я был, однако, совершенно неправ. Познакомившись впоследствии поближе с французскими рабочими, я часто вспоминал о справедливом замечании Тургенева. Действительно, существует глубокая пропасть между взглядами русских на брак и теми понятиями, которые господствуют во Франции как среди буржуазии, так и среди работников. Во многих других отношениях русские взгляды так же глубоко разнятся от взглядов других народов.

После смерти Тургенева где-то было сказано, что он собирался написать повесть на эту тему. Если он начал ее, то рассказанная мною сейчас сцена непременно должна быть в его рукописи. Как жаль, что Тургенев не написал этого произведения! Вполне «западник» по взглядам, он мог высказать очень глубокие мысли по предмету, который наверное глубоко интересовал его всю его жизнь.

Из всех беллетристов XIX века Тургенев, без сомнения, не имеет себе равных по художественной отделке и стройности произведений. Проза его звучна, как музыка, как глубокая музыка Бетховена; а в ряде его романов — «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым» и «Новь» — мы имеем быстро развивающуюся картину «делавших историю» представителей образованного класса, начиная с 1848 года. Все типы очерчены с такой философской глубиной и знанием человеческой природы и с такою художественною тонкостью, которые не имеют ничего равного ни в какой другой литературе. Между тем, большая часть молодежи приняла роман «Отцы и дети», который Тургенев считал своим наиболее глубоким произведением, с громким протестом. Она нашла, что нигилист Базаров отнюдь не представитель молодого поколения. Многие видели даже в нем карикатуру на молодое поколение. Это недоразумение сильно огорчало Тургенева. Хотя примирение между ним и молодежью состоялось впоследствии в Петербурге, после «Нови», но рана, причиненная этими нападками, никогда не залечилась.

Тургенев знал от Лаврова, что я — восторженный поклонник его произведений, и раз, когда мы возвращались в карете после посещения мастерской Антокольского, он спросил меня, какого я мнения о Базарове.

Я откровенно ответил. «Базаров — великолепный тип нигилиста, но чувствуется, что вы не любите его так, как любили других героев».

— Напротив, я любил его, сильно любил, — с неожиданным жаром воскликнул Тургенев. — Вот приедем домой, я покажу вам дневник, где записал, как я плакал, когда закончил повесть смертью Базарова.

Тургенев, без всякого сомнения, любил умственный облик Базарова. Он до такой степени отождествил себя с нигилистической философией своего героя, что даже вел дневник от его имени, в котором оценивал события с базаровской точки зрения. Но я думаю, что Тургенев все-таки больше восхищался Базаровым, чем любил его. В блестящей лекции о Гамлете и Дон-Кихоте он разделил всех «двигающих историю» людей на два класса, представленных тем или другим из этих двух типов. «Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверие. Он весь живет для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может», так характеризовал Тургенев Гамлета. Поэтому он — скептик, и потому никогда ничего не сделает, тогда как Дон-Кихот, сражающийся с ветряными мельницами и принимающий бритвенный тазик за Мамбринов шлем (кто из нас не делал подобных ошибок?), ведет за собою массы. Массы всегда следуют за тем, кто, не обращая внимания ни на насмешки большинства, ни на преследования, твердо идет вперед, не спуская глаз с цели, которая видна, быть может, ему одному. Дон-Кихоты ищут, падают, снова поднимаются и, в конце концов, достигают. И это вполне справедливо. Однако «хотя отрицание Гамлета сомневается в добре, но во зле оно не сомневается и вступает с ним в ожесточенный бой» . . .

«Скептицизм Гамлета не есть также индиферентизм, но в отрицании, как в огне, есть истребляющая сила, и эта сила истребляет его волю».

В этих мыслях, мне кажется, Тургенев дал ключ к пониманию его отношения к своим героям. Он и некоторые из его лучших друзей были более или менее Гамлетами. Тургенев любил Гамлета и восторгался Дон-Кихотом. Вот почему он уважал также Базарова. Он отлично изобразил его умственное превосходство, он превосходно понял трагизм одиночества Базарова; но он не мог окружить его тою нежностью, тою поэтической любовью, которую, как больному другу, он уделял своим героям, когда они приближались к гамлетовскому типу. Такая любовь была бы здесь неуместна. И мы чувствовали ее отсутствие!

— Знали ли вы Мышкина? [224] — спросил он меня раз в 1878 году. (Когда судили наши кружки, сильная личность Мышкина, как известно, резко выступила вперед).

— Я хотел бы знать все, касающееся его, — продолжал Тургенев. — Вот человек, — ни малейшего следа гамлетовщины. — И, говоря это, Тургенев, очевидно, обдумывал новый тип, выдвинутый русским движением и не существовавший еще в период, изображенный в «Нови». Тип такого революционера появился года два спустя после выхода «Нови» из печати.

В последний раз я видел И. С. Тургенева не то осенью, не то в июле 1881 года. Он был уже очень болен и мучился мыслью, что его долг — написать Александру III, который недавно вступил на престол и колебался еще, какой политике последовать, указать ему на необходимость дать России конституцию. С нескрываемой горестью Тургенев говорил

мне: «Чувствую, что обязан это сделать; но я вижу также, что не в силах буду это сделать». В действительности, он терпел уже страшные муки, причиняемые раком спинного мозга. Ему трудно было даже сидеть и говорить несколько минут. Так он и не написал тогда, а несколько недель позже это уже было бы бесполезно: Александр III манифестом объявил о своем намерении остаться самодержавным правителем России.

Еще одно воспоминание. Тургенев как-то заговорил со мной о тех книжках, которые издавал для народа наш кружок. «Да... но это все не то, что нужно», — заметил он, задумавшись о чем-то, и, к моему удивлению, тут же упомянул, как наш народ расправляется с конокрадами... Точных его слов не могу припомнить, но смысл его замечания врезался мне в память. К сожалению, кто-то, вошедший в кабинет, прервал наш разговор, и впоследствии я не раз спрашивал себя: «что же такое он хотел сказать?»

И вот через несколько времени после его смерти появился его рассказ, продиктованный им пред смертью г-же Виардо по-французски и переведенный на русский язык Григоровичем, где рассказано, как крестьяне расправились с одним помещиком-конокрадом...

Известно, как Тургенев любил искусство; и когда он увидал в Антокольском действительно великого художника, он с восторгом говорил о нем. «Я не знаю, встречал ли я в жизни гениального человека или нет, но если встретил, то это был Антокольский», — говорил мне Тургенев. И тут же смеясь прибавил: «и заметьте, ни на одном языке правильно не говорит. По-русски и по-французски говорит ужасно... но зато скульптор — великолепный». И когда я сказал Тургеневу, до чего я еще совсем юношей восторгался «Иваном Грозным» Антокольского, и что мне особенно понравилась его вылепленная из воска группа евреев, читающих какую-то книгу, и инквизиторы, спускающие их в погреб, то Тургенев настоял, чтобы я непременно посмотрел только что законченную статую «Христос перед народом». Я совестился итти и, может быть, помешать Антокольскому, но тогда Тургенев решил, что он условится с Антокольским и в назначенный день поведет П. Л. Лаврова и меня в мастерскую Антокольского.

Так и сделали. Известно, как поразительно хороша эта статуя. Особенно поражает необыкновенная грусть, которой проникнуто лицо Христа при виде толпы, вопиющей: «распни его!» В то же время вся фигура Христа поражает своей мощью, особенно если смотреть сзади, кажется что видишь здорового, могучего крестьянина, связанного веревками.

— А теперь посмотрите его сверху, — сказал мне Тургенев, — вы увидите, какая мощь, какое презрение в этой голове...

И Тургенев стал просить у Антокольского лестницу, чтобы я мог увидать эту голову сверху. Антокольский отнекивался.

— Да, нет, Иван Сергеевич, зачем?

— Нет, нет, — настаивал Тургенев, — ему это нужно видеть: он революционер.

И, действительно, когда принесли лестницу и я взглянул на эту голову сверху, я понял всю умственную мощь этого Христа, его глубокое презрение к глупости вопившей толпы, его ненависть к палачам. И стоя

перед статуей, хотелось, чтобы Христос разорвал связывающие его веревки и пошел разгонять палачей...*

VII

Между тем дела в России приняли совершенно новый оборот. Турецкая война 1877 года закончилась всеобщим неудовольствием. До начала войны всюду в России судьба славян вызывала большие симпатии. Многие верили также, что после войны за освобождение на Балканском полуострове последуют реформы в самой России. Но освобождение славян осуществилось лишь отчасти. Громадные жертвы русского народа были парализованы ошибками высших военных властей. Десятки тысяч солдат пали в битвах, закончившихся только полупобедой, а уступки, вырванные у Турции, были уничтожены берлинским конгрессом. Все также хорошо знали, что казнокрадство во время войны практиковалось почти в таких же широких размерах, как и во время Крымской кампании.

Среди этого всеобщего недовольства в конце 1877 года начался суд над сто девяносто тремя лицами, арестованными, начиная с 1873 года. Подсудимые, которых защищали лучшие адвокаты, сразу завоевали симпатию широкой публики. Они произвели очень хорошее впечатление на петербургское общество. А когда стало известно, что большинство из них провело в тюрьме, в ожидании суда, по три, по четыре года и что около двадцати человек сошло с ума или покончило самоубийством, симпатии в пользу подсудимых еще больше увеличились даже в самих судьях. Суд постановил очень суровые приговоры для немногих и сравнительно мягкие для всех остальных на том основании, что предварительное заключение продолжалось так долго и само по себе было уже таким суровым наказанием, что прибавлять еще новое несправедливо. Все ждали, что царь еще более смягчит приговор. Вышло, однако, ко всеобщему изумлению, что Александр II, пересмотрев решение суда, увеличил наказание. Оправданных сослали в отдаленные русские и сибирские губернии, а тех, кому суд назначил непродолжительное тюремное заключение, послали на пять и на десять лет на каторгу. Все это было делом начальника Третьего отделения, шефа жандармов, генерала Мезенцева.

В то же время петербургский обер-полицеймейстер, генерал Трепов, заметив во время посещения Дома предварительного заключения, что политический заключенный Боголюбов[235] не снял шапку перед ним, всесильным сатрапом, кинулся на него с поднятыми кулаками; а когда Боголюбов оказал сопротивление, Трепов приказал наказать его розгами. Остальные заключенные, немедленно узнав об этом, громко протестовали в своих камерах и поэтому были жестоко избиты надзирателями и вызванною для этого полициею.

Русские политические безропотно переносили суровую ссылку и каторгу; но они твердо решили ни в коем случае не позволять над собой телесного насилия. Молодая девушка Вера Засулич, не знавшая даже Боголюбова, взяла револьвер, отправилась к обер-полицеймейстеру и вы-

* Начиная со слов «Еще одно воспоминание...» до конца главы текст написан П. А. в Дмитрове, в декабре 1920 г., когда П. А. намеревался было приступить к пересмотру «Записок» и к их дополнению. *Прим. ред.*

стрелила в него. Трепов был только ранен. Александр II пришел взглянуть на молодую героиню, которая, должно быть, произвела на него впечатление своим необычайно симпатичным лицом и скромностью. Трепов имел столько врагов в Петербурге, что им удалось передать дело обыкновенному суду присяжных. Вера Засулич заявила на суде, что прибегла к оружию только тогда, когда испробованы были безуспешно все средства довести дело до сведения общества. Обращались даже к петербургскому корреспонденту газеты «Times», чтобы он разоблачил факт, но и он этого не сделал, так как, должно быть, счел рассказ невероятным. Тогда Засулич, не сказав никому ни слова о своем намерении, пошла стрелять в Трепова. Теперь же, когда дело дошло до всеобщего сведения, она была даже рада, что Трепов только был ранен. Присяжные оправдали Веру Засулич, а когда полиция захотела вновь арестовать ее при выходе из суда, молодежь, толпившаяся на улице, вырвала ее из рук жандармов. Она уехала за границу и скоро присоединилась к нам в Швейцарии.

Дело это произвело глубокое впечатление по всей Европе. Я был в Париже, когда получилось известие об оправдательном приговоре. Мне пришлось в этот день зайти по делам в несколько редакций. Всюду редакторы дышали энтузиазмом и писали энергичные передовые статьи, прославлявшие девушку. Даже серьезная «Revue des Deux Mondes» в годичном обзоре писала, что больше всего на общественное мнение Европы в 1878 году произвели впечатление два лица: князь Горчаков во время берлинского конгресса и Вера Засулич. Портреты их были помещены во многих альманахах и календарях. Что же касается европейских рабочих, то самоотверженность Веры Засулич произвела на них чрезвычайно глубокое впечатление.

Несколько месяцев спустя, без всякого заговора, произошли быстро, одно за другим, четыре покушения на коронованных лиц. Рабочий Гёдель, а вслед за ним доктор Нобилинг стреляли в германского императора; несколько недель позже испанский рабочий Олива Монкаси совершил покушение на Альфонса XII, а повар Пассананте кинулся с ножом на итальянского короля. Европейские правительства не могли допустить, чтобы покушения на трех королей могли случиться без существования какого-нибудь международного заговора, и они ухватились за предположение, что ответственность лежит на Юрской федерации Международного союза рабочих.

С тех пор прошло больше двадцати лет *, и я могу категорически заявить, что никаких решительно данных, подтверждающих подобное предположение, не существовало. Между тем все европейские правительства напали на Швейцарию, упрекая ее в том, что она дает убежище революционерам, устраивающим подобные заговоры. Редактор нашей газеты «Avant-Garde» ** Поль Брусс был арестован и привлечен к суду. Швейцарские судьи, видя, однако, что нет ни малейшего основания для предположения, что Брусс или Юрская федерация принимали участие в недавних покушениях, присудили редактора только к непродолжительному тюремному заключению за его статью и изгнанию на десять лет

* Писано в 1898 году *Прим. ред.*
** «Вперед!» — Авангард.

из Швейцарии; но зато газету запретили. Федеральное правительство обратилось даже с предложением ко всем швейцарским типографиям не печатать больше подобных изданий. Таким образом, Юрская федерация осталась без газеты.

Кроме того, швейцарские политические деятели, которые давно уже косились на рост анархической агитации в их стране, приняли под рукой такие меры, чтобы под угрозой полнейшей невозможности заработать средства к жизни заставить выдающихся членов-швейцарцев отстать от Юрской федерации. Брусса изгнали из Швейцарии. Джемс Гильом, поддерживавший, вопреки всем препятствиям, в течение восьми лет официальный орган федерации и добывавший средства к жизни уроками, теперь не мог найти никаких занятий и вынужден был уехать из Швейцарии во Францию. Адемар Швицгебель не находил больше работы в часовом деле и, имея большую семью, принужден был отстать от движения. Шпихигер находился в таком же положении и эмигрировал. Вышло так, что мне, иностранцу, пришлось взять на себя редактирование газеты юрцев. Я, конечно, колебался; но так как другого выхода не было, то в феврале 1879 года я с двумя товарищами — Дюмартрэ и Герцигом — основали в Женеве новую двухнедельную газету «Le Révolté» *. Большинство статей приходилось мне писать самому. Издательский капитал наш состоял всего из двадцати трех франков; но мы все усердно принялись собирать деньги и выпустили первый номер. Тон нашего журнала был умеренный, но сущность его была революционная, и я, по мере сил, старался излагать в нем самые сложные экономические и исторические вопросы понятным для развитых рабочих языком. Наша прежняя газета в лучшие времена расходилась всего в шестистах экземплярах. Теперь же мы отпечатали «Le Révolté» в двух тысячах экземпляров, и через несколько дней они все разошлись. Газета имела успех, и до сих пор она выходит в Париже под названием «Temps Nouveaux» (Новые времена) **.

Социалистические газеты часто проявляют стремление превратиться в скорбный лист, наполненный жалобами на существующие условия. Отмечается тяжелое положение работников в шахтах, на фабриках и в деревнях; яркими красками рисуются нищета и страдания рабочих во время стачек; подчеркивается их беспомощность в борьбе с предпринимателями. И эта летопись безнадежных усилий, повторяясь в газете из недели в неделю, производит на читателя самое удручающее впечатление. Тогда, в противовес этому впечатлению, редактор должен, главным образом, рассчитывать на зажигательные слова, при помощи которых он пытается внушить читателю веру и энергию. Я полагал, напротив, что революционная газета, главным образом, должна отмечать признаки, которые всюду знаменуют наступление новой эры, зарождение новых форм общественной жизни и растущее возмущение против устарелых учреждений. За этими признаками нужно следить; их следует сопоставлять настоящим образом и группировать их так, чтобы показать нерешительным умам ту невидимую и часто бессознательную поддержку, которую пере-

* «Бунтарь» или «Мятежник». Вскоре газета стала выходить еженедельно.

** С начала войны ее пришлось прекратить, так как большинство товарищей ушло на войну. *П. К. Прим. 1917 года.*

довые воззрения находят всюду, когда в обществе начинается пробуждение мысли. Заставить человека почувствовать себя заодно с бьющимся сердцем всего человечества, с зачинающимся бунтом против вековой несправедливости и с попытками выработки новых форм жизни — в этом состоит главная задача революционной газеты. Надежда, а вовсе не отчаянье, как нередко думают очень молодые революционеры, порождает успешные революции.

Историки часто описывают нам, как та или другая философская система совершила известную перемену в мыслях, а впоследствии и в учреждениях. Но это не история. На деле величайшие философы только улавливали признаки приближающихся изменений, понимали их внутреннюю связь и, руководимые индукцией и чутьем, предсказывали грядущие события. Социологи, с своей стороны, набрасывали нам планы социальной организации, исходя из немногих принципов и развивая их с логической последовательностью, как выводятся геометрические теоремы из немногих аксиом. Но это не социология. Правильные социальные предсказания можно делать только, если обращать внимание на тысячи признаков новой жизни, отделяя случайные факты от органически-необходимых, и строить свои обобщения на этом, единственно прочном, основании.

С этим именно методом мышления я и старался ознакомить моих читателей. При этом я писал, по возможности, без мудреных слов, чтобы приучить самых скромных рабочих к собственному суждению о том, куда и как идет общество, и дать им возможность самим поправить писателя, если тот будет делать неверные заключения. Что же касается до критики существующего строя, я делал ее только для того, чтобы выяснить корень зла и чтобы показать, как глубоко укоренившееся и заботливо взлелеянное поколение перед устаревшими формами да еще широко распространенная трусость ума и воли являются главными источниками всех бедствий.

Дюмартрэ и Герциг вполне поддерживали меня в этом направлении. Дюмартрэ родился в одной из самых бедных крестьянских семей в Савойе. Учился он только в начальной школе да и то недолго. Между тем он был один из самых умных сметливых людей, которых мне когда-либо пришлось встретить. Его оценка людей и текущих событий были так замечательны по своему здравому смыслу, что порой оказывались пророческими. Дюмартрэ был также очень тонкий критик текущей социалистической литературы, и его никогда нельзя было ослепить фейерверками красивых слов и якобы науки. Герциг был молодой приказчик, родом из Женевы, сдержанный, застенчивый, красневший, как девушка, когда высказывал оригинальную мысль. Когда же меня арестовали и ответственность за выход газеты легла на Герцига, он, благодаря своей воле, научился писать очень хорошо. Все женевские хозяева бойкотировали его, и он впал со своей семьей в крайнюю нужду; но, тем не менее, поддерживал газету, покуда явилась возможность перенести ее в Париж. Позднее вместе с итальянцем Бертони [236] он начал издавать в Женеве прекрасную анархическую рабочую газету «Le Réveil» *.

На суд этих двух друзей я мог смело положиться. Если Герциг хму-

* «Пробуждение».

рился и бормотал: «Да хорошо, сойдет!» — я знал, что статья не годится. А когда Дюмартрэ, постоянно жаловавшийся на плохое состояние своих очков, когда ему приходилось разбирать не совсем четкую рукопись, а потому пробегавший статьи только в корректуре, прерывал чтение восклицанием: «Non, ça ne va pas!» (нет, не идет), я тотчас понимал, что дело неладно, и пытался угадать, что именно вызвало его неодобрение. Я знал, что допытываться от него совершенно бесполезно. Дюмартрэ ответил бы: «Ну, это не мое дело, а ваше! Не подходит, вот все, что я могу сказать». Но я чувствовал, что он прав, и присаживался, чтобы написать место заново. А не то, взявши верстатку, набирал, вместо неодобренных строчек, новые.

Нужно сказать, что выпадали на нашу долю и тяжелые времена. Едва мы выпустили четыре или пять номеров, как типография, где мы печатали, отказала нам. Для рабочих и их изданий свобода печати, указанная в конституциях, имеет много ограничений, помимо тех, которые упомянуты в законе. Владелец типографии ничего не имел против нашей газеты: она ему нравилась; но в Швейцарии все типографии зависят от правительства, которое дает им различные заказы, как, например, печатание статистических отчетов, бланков и тому подобное. Нашему типографу решительно заявили, что если он будет продолжать печатать «Révolté» (Бунтарь), то ему нечего больше рассчитывать на заказы от женевского правительства, и он повиновался. Я объехал всю французскую Швейцарию и повидал владельцев всех типографий, но даже от сочувственно относившихся к направлению нашей газеты я получил один и тот же ответ: «Мы не можем жить без правительственных заказов, а их нам не дадут, если мы возьмемся печатать «Le Révolté».

Я возвратился в Женеву с сильно упавшим духом, но Дюмартрэ был преисполнен жара и надежд. «Отлично, — говорил он, — заведем свою типографию! Возьмем ее в долг с обязательством выплатить через три месяца. А через три-то месяца мы наверное выплатим».

— Но где же взять деньги? У нас всего несколько сот франков, — возразил я.

— Деньги? Вот вздор! Деньги придут. Закажем только немедленно шрифт и выпустим сейчас же номер. Деньги явятся.

И в этот раз оправдались его слова. Когда наш следующий номер вышел из нашей собственной «Imprimerie Jurassienne»*, и мы рассказали читателям о нашем затруднительном положении; когда мы, кроме того, выпустили две брошюрки, причем мы все помогали в наборе и печатании их, деньги, действительно, явились. Правда, большею частью то были медяки и мелкие серебряные монеты, но долг был покрыт. Постоянно в моей жизни я слышу жалобы передовых партий на недостаток средств; но чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что главное наше затруднение не в недостатке денег, а в недостатке л ю д е й, которые твердо и неукоснительно шли бы к намеченной цели и вдохновляли бы других. Вот уже двадцать семь лет как наша газета живет изо дня в день; воззвания о помощи появляются чуть ли не в каждом номере. Но покуда есть люди, которые вкладывают в дело всю энергию, как делали это Герциг и Дюмартрэ в Женеве, а теперь вот уже больше два-

* «Юрская типография» находилась на rue des Grottes, в Женеве.

дцати лет делает Грав [237] в Париже, деньги являются. Ежегодный приход, идущий на покрытие печатания газеты и брошюр, составляет около восьми тысяч рублей, и составляется он главным образом из медяков и мелкого серебра, вносимых работниками. Для газеты, как и для всякого другого дела, люди дороже денег.

Мы устроили нашу типографию в маленькой комнатке. Наш наборщик — малоросс — согласился набирать газету за очень скромную плату в шестьдесят франков в месяц. Если он имел возможность ежедневно обедать да изредка пойти в оперу, то он был доволен.

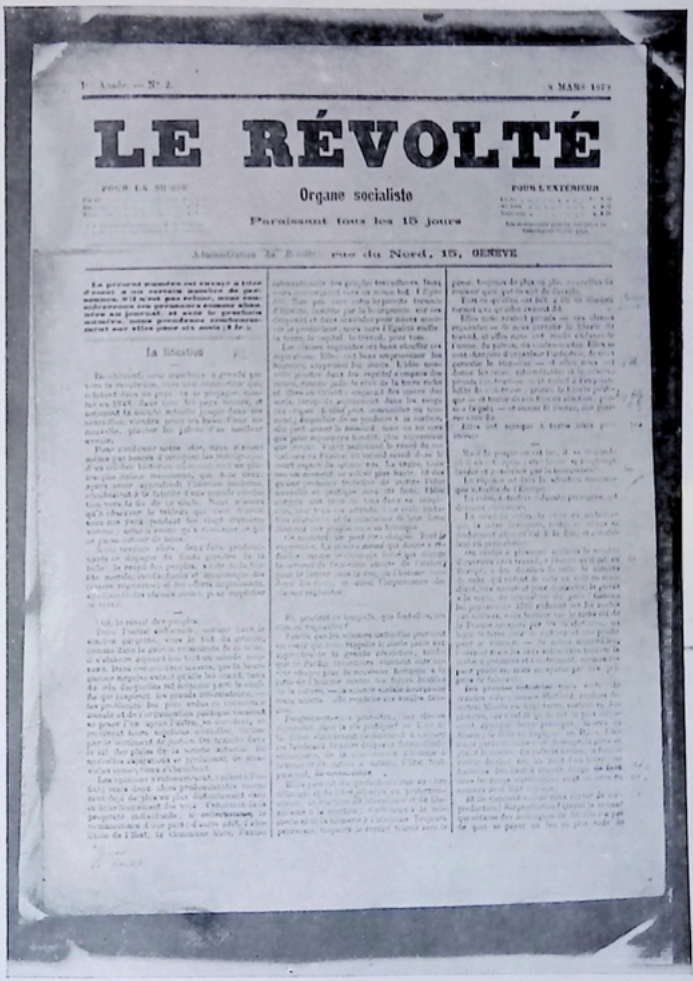
— В баню идете, Кузьма? — спросил я раз, встретив его на улице с узелком, завернутым в бумагу.

— Нет, перебираюсь на новую квартиру, — ответил он певучим голосом, с обычной улыбкой.

К несчастью, он не знал по-французски. Я писал статьи моим лучшим почерком и часто сожалел о том, что так мало воспользовался уроками чистописания доброго Эберта, но Кузьма отличался способностью читать по-французски на свой лад. Вместо «immédiatement» он читал: «immidiotarmut или inmuidiatmunt» и, соответственно с этим, набирал фантастические французские слова своего собственного изобретения. Но так как он соблюдал промежутки и не удлинял строк, то нужно было только переменить букв десять в строке, и все налаживалось. Мы были с ним в самых лучших отношениях, и под его руководством я сам вскоре научился немного набирать. Набор всегда кончался во-время, чтобы отнести корректуры к товарищу-швейцарцу, который был ответственным редактором и которому мы педантически давали на смотр весь номер в гранках. Затем кто-нибудь из нас отвозил в тележке формы в печатню. Наша «Imprimerie Jurassienne» скоро получила широкую известность своими изданиями, в особенности брошюрами, за которые мы, по настоянию Дюмартэ, никогда не назначали бо́льшую цену, чем десять сантимов — четыре копейки.

Для брошюр пришлось выработать совершенно особый слог. Должен сознаться, что я иногда завидовал тем писателям, которые могут не стесняться числом страниц для развития своих мыслей и имеют возможность воспользоваться хорошо известным извинением Талейрана: «У меня нехватило времени быть кратким». Когда мне приходилось сжать результат нескольких месяцев работы, — например, о происхождении Закона, — в десятисантимную брошюру, мне нужно было еще много работать над нею, чтобы быть кратким. Но мы писали для рабочих, для которых двадцать сантимов подчас слишком большая сумма. В результате было то, что наши брошюры в один и в два су (две и четыре копейки) расходились десятками тысяч и переводились на все другие языки за границей. Впоследствии, когда я был в тюрьме во Франции, Элизэ Реклю издал отдельной книжкой мои передовые статьи, под заглавием, им придуманным, «Речи мятежника» — «Paroles d'un Révolté».

Мы все время имели в виду, главным образом, Францию; но «Révolté» был строго воспрещен при Мак-Магоне. Контрабандисты же перетаскивали столько хороших вещей из Швейцарии во Францию, что не хотели путаться с нашей газетой. Я отправился раз с ними, перешел вместе французскую границу и нашел, что они смелый народ, на который можно положиться; но взяться за перевозку нашей газеты они не согласились.



LE RÉVOLTÉ

Organe socialiste

Paraissant tous les 15 jours

Факсимиле страницы газеты „Le Révolté", издававшейся П. А. Кропоткиным в Швейцарии

Все, что мы могли сделать, это рассылать ее в закрытых конвертах сотне адресатов во Франции. Мы ничего не брали за пересылку, рассчитывая на добровольные пожертвования подписчиков для покрытия почтовых расходов, что они и делали. Но мы часто думали, что французская полиция упускала отличный случай вконец разорить наше издание. Ей следовало только подписаться на сотню экземпляров, а добровольных пожертвований не присылать.

В первый год мы должны были рассчитывать только на самих себя; но постепенно Элизэ Реклю все более заинтересовывался изданием и впоследствии присоединился к нам, а после моего ареста всей душой отдался газете. В 1880 году Реклю пригласил меня помочь ему в составлении тома его монументальной географии, посвященного Азиатской России. Он сам выучился по-русски, но полагал, что так как я был в Сибири, то могу быть ему полезным моими сведениями. Здоровье моей жены было плохо, и врачи велели ей немедленно оставить Женеву с ее холодными ветрами, а потому весной 1880 года мы с женой переехали в Кларан, где в то время жил Реклю. Мы поселились над Кларэном, в маленьком домике, с видом на голубые воды Лемана и на белоснежную вершину Дан-дю-Миди. Под окнами журчала речка, превращавшаяся после дождей в ревущий поток, ворочавший громадные камни и вырывавший новые русла. Против нас, на склоне горы, виднелся старый замок Шатлар, владельцы которого, вплоть до революции burlà papei (то есть сожигателей бумаг) в 1799 году, взимали с соседних крепостных крестьян феодальные поборы по случаю рождений, свадеб и похорон. Здесь, при содействии моей жены, с которой я обсуждал всегда всякое событие и всякую проектируемую статью и которая была строгим критиком моих произведений, я написал лучшие мои статьи для «Révolté», — между прочим, обращение «к молодежи», сотни тысяч которого разошлись на различных языках. В сущности, я выработал здесь основу всего того, что впоследствии написал. Мы, анархисты, рассеянные преследованиями по всему свету, больше всего нуждаемся в общении с образованными людьми одинакового с нами образа мыслей. В Кларане у меня было такое общение с Элизэ Реклю и Лефрансэ да, кроме того, еще постоянные сношения с рабочими, которые я продолжал поддерживать. И хотя я работал очень много по географии, я мог вести анархическую пропаганду еще шире, чем прежде.

VIII

В России в это время борьба за свободу обострялась все более и более. Несколько политических процессов: процессы «Пятидесяти» [238], «Ста девяноста трех» [239], «Долгушинцев» [240] и другие разбирались в то время; и из всех их выяснилось одно и то же. Молодежь шла проповедывать социализм на фабрики и в деревни, распространялись брошюры, отпечатанные за границей, и народ призывался, несколько неопределенно и неясно, к бунту против гнетущих экономических условий. Словом, делалось то, что делается повсеместно социалистическими агитаторами. Следов заговора против царя или даже приготовлений к революционным действиям не было найдено никаких. И в действительности ничего подобного не было. Тогда большинство молодежи относилось даже враждебно к такой

деятельности. И, припоминая теперь движение 1870—1878 годов, я могу сказать, не боясь ошибиться, что большинство молодежи удовлетворилось бы возможностью спокойно жить среди крестьян и фабричных работников, учить их и работать с ними, либо в земстве — словом, возможностью оказывать народу те бесчисленные услуги, которыми образованные, доброжелательные и серьезные люди могут быть полезны крестьянам и рабочим. Я знал людей этого движения и говорю с полным знанием дела.

Между тем приговоры судов были жестоки, бессмысленно жестоки, так как движение, порожденное всем предыдущим состоянием России, слишком глубоко вкоренилось, чтобы его можно было раздавить одними суровыми карами. Приговоры на шесть, десять, двенадцать лет каторжных работ в рудниках, с пожизненным поселением потом в Сибири, стали делом обычным. Был даже случай, что одну девушку сослали на девять лет каторжных работ за то, что она вручила запрещенную социалистическую брошюру рабочему. В этом заключалось все ее преступление. Другую, четырнадцатилетнюю девушку Гуковскую [241], сослали на поселение в Восточную Сибирь за попытку, подобно гетевской Клерхен, подстрекнуть равнодушную толпу на освобождение Ковальского [242] и товарищей, приговоренных к смертной казни. А между тем ее поступок тем более был естествен в России, даже с точки зрения властей, что у нас нет смертной казни для уголовных преступлений и что применение ее для политических преступлений было тогда нововведением или, вернее, возвратом к самым тяжелым преданиям николаевских времен. Сосланная в Сибирь Гуковская вскоре покончила с собой самоубийством. Даже оправданных судом отправляли административным порядком в отдельные сибирские и севернорусские поселки, где им представлялась перспектива голодной смерти на казенном пособии в три рубля в месяц. В таких поселках нет спроса на ремесла, а политическим ссыльным строго воспрещается учить или заниматься каким бы то ни было интеллигентным трудом.

Как бы для того, чтобы еще больше привести молодежь в отчаянье, осужденных на каторгу не отправляли прямо в Сибирь. Их держали по нескольку лет в «центральных», в сравнении с которыми даже сибирские рудники казались завидными. Центральные каторжные тюрьмы действительно были ужасны. В одной из них — «очаге тифозной заразы», как выразился один тюремный священник в своей проповеди, смертность в один год достигла двадцати процентов. В «централках», в сибирских каторжных тюрьмах и в крепости заключенные должны были прибегать к «голодным бунтам», чтобы защитить себя от жестоких тюремщиков или чтобы добиться самых ничтожных льгот: какой-нибудь работы или книг, которые спасли бы их от помешательства, грозящего всякому сидящему в одиночном заключении без всякого занятия. Ужасы подобных голодовок, во время которых заключенные отказывались по семи и восьми дней принимать пищу, а затем лежали без движения, в бреду, повидимому, нисколько не трогали жандармов. В Харькове умирающих заключенных связывали веревками и кормили насильственно, как кормят гусей.

Сведения об этих ужасах проникали сквозь тюремные стены, долетали из далекой Сибири широко распространялись среди молодежи. Было

время, когда не проходило недели без того, чтобы не узнавалось о какой-нибудь новой подлости такого рода или еще худшей.

Полное отчаянье овладело тогда молодежью. «В других странах, — стали говорить, — люди имеют мужество сопротивляться. Англичанин или француз не потерпел бы подобных насилий. Как это мы можем терпеть их? Надо сопротивляться с оружием в руках ночным набегам жандармов. Пусть они знают, по крайней мере, что так как арест означает медленную и мучительную смерть в их руках, то возьмут они нас только с боя». В Одессе Ковальский и его друзья встретили револьверными выстрелами жандармов, явившихся ночью арестовать их.

Александр II ответил на это новое движение осадным положением. Россия была разделена на несколько округов, с генерал-губернаторами, получившими приказание вешать немилосердно. Ковальский, который, к слову сказать, никого не убил своими выстрелами, был казнен. Виселица стала своего рода лозунгом. В два года повесили двадцать три человека, в том числе девятнадцатилетнего Розовского [243], захваченного при наклеивании прокламации на железнодорожном вокзале. Этот факт был единственным обвинением против него. Хотя мальчик по летам, Розовский умер как герой.

Тогда боевым кличем революционеров стало: «Защищайтесь! Защищайтесь от шпионов, втирающихся в кружки под личиной дружбы и выдающих потом направо и налево, по той простой причине, что им перестанут платить, если они не будут доносить. Защищайтесь от тех, кто зверствует над заключенными! Защищайтесь от всемогущих жандармов!» Три видных правительственных чиновника и два или три мелких шпиона погибли в этом новом фазисе борьбы. Генерал Мезенцев, убедивший царя удвоить наказания после приговора по делу «ста девяносто трех», был убит в Петербурге среди белого дня. Один жандармский полковник, виновный еще в худшем, подвергся той же участи в Киеве, а в Харькове был убит генерал-губернатор, мой двоюродный брат, Дмитрий Кропоткин, когда он возвращался из театра. Центральная тюрьма, где началась первая голодовка и где прибегли к искусственному кормлению, находилась в его ведении. В сущности, он был не злой человек; я знаю, что лично он скорее симпатизировал политическим; но он был человек бесхарактерный, притом — придворный, флигель-адъютант царя, и поэтому предпочел не вмешиваться, тогда как одно его слово могло бы остановить жестокое обращение с заключенными. Александр II любил его, и положение его при дворе было так прочно, что его вмешательство, по всей вероятности, было бы одобрено в Петербурге.

— Спасибо! Ты поступил согласно моим собственным желаниям, — сказал ему царь в 1872 году, когда Д. Н. Кропоткин явился в Петербург, чтобы доложить о народных беспорядках в Харькове, во время которых он мягко поступил с бунтовщиками.

Но теперь он одобрил поведение тюремщиков, и харьковская молодежь до такой степени была возмущена обращением с заключенными, что по ним стреляли и смертельно ранили.

Тем не менее, личность императора оставлялась еще в стороне, и вплоть до 1879 года на его жизнь не было покушений. Слава освободителя окружила его ореолом и защищала его неизмеримо лучше, чем полчища жандармов и сыщиков. Если бы Александр II проявил тогда хотя малей-

шее желание улучшить положение дел в России, если бы он призвал хотя одного или двух из тех лиц, с которыми работал во время периода реформ и поручил им расследовать общее положение страны или хотя бы положение одних крестьян; если бы он проявил малейшее намерение ограничить власть тайной полиции, его решение приветствовали бы с восторгом. Одно слово могло бы снова сделать Александра II «освободителем», и снова молодежь воскликнула бы, как Герцен в 1858 году: «Ты победил, Галилеянин!» Но точно так же, как во время польской революции, пробудился в нем деспот и, подстрекаемый Катковым, он не нашел другого выхода, как виселицы, так точно и теперь, следуя внушениям того же злого гения — Каткова, он ничего не придумал, кроме назначения особых генерал-губернаторов, с полномочием — вешать.

Тогда и только тогда горсть революционеров — Исполнительный Комитет, поддерживаемый, однако, растущим недовольством среди образованных классов и даже среди приближенных к царю, объявил ту войну самодержавию, которая, после нескольких неудачных покушений, закончилась в 1881 году смертью Александра II.

Два человека жили в Александре II, и теперь борьба между ними, усиливавшаяся с каждым годом, приняла трагический характер. Когда он встретился с Соловьевым [244], который выстрелил в него и промахнулся, Александр II сохранил присутствие духа на столько, что побежал к ближайшему подъезду не по прямой линии, а зигзагами, покуда Соловьев продолжал стрелять. Таким образом он остался невредим. Одна пуля только слегка разорвала шинель. В день своей смерти Александр II тоже проявил несомненное мужество. Пред действительной опасностью он был храбр, но он беспрерывно трепетал пред призраками, созданными его собственным воображением. Единственно чтобы охранить свою императорскую власть, он окружил себя людьми самого реакционного направления, которым не было никакого дела до него, а просто нужно было удержать свои выгодные места.

Без сомнения, он сохранил привязанность к матери своих детей, хотя в то время он был уже близок с княжной Юрьевской-Долгорукой, на которой женился немедленно после смерти императрицы.

— Не упоминай мне про императрицу: мне это так больно, — говорил он не раз Лорис-Меликову. А между тем он совершенно оставил Марию Александровну, которая верно помогала ему раньше, когда он был освободителем. Она умирала в Зимнем дворце в полном забвении. Хорошо известный русский врач, теперь уже умерший, говорил своим друзьям, что он, посторонний человек, был возмущен пренебрежением к императрице во время ее болезни. Придворные дамы, кроме двух статс-дам, глубоко преданных императрице, покинули ее, и весь придворный мир, зная, что того требует сам император, заискивал пред Долгорукой. Александр II, живший в другом дворце, делал своей жене ежедневно лишь короткий официальный визит.

Когда Исполнительный Комитет свершил смелую попытку взорвать Зимний дворец [245], Александр II сделал шаг, до того беспримерный. Он создал род диктатуры и облек Лорис-Меликова [246] чрезвычайными полномочиями. Этому генералу, армянину родом, Александр II уже раньше давал диктаторские полномочия, когда в Ветлянке, в низовьях Волги, проявилась чума и Германия пригрозила мобилизовать свою армию и

Старый мост в Англии
Рисунок П. А. Кропоткина

объявить Россию под карантином, если эпидемия не будет прекращена. Теперь, когда Александр II увидал, что он не может доверяться бдительности даже дворцовой полиции, он дал диктаторские права Лорис-Меликову; а так как Меликов считался либералом, то новый шаг истолковали в том смысле, что скоро созовут Земский Собор. Но после взрыва в Зимнем дворце новых покушений немедленно не последовало, а потому Александр II опять успокоился, и через несколько месяцев, прежде чем Меликов мог выполнить что бы то ни было, он из диктатора превратился в простого министра внутренних дел. Внезапные припадки тоски, во время которых Александр II упрекал себя за то, что его царствование приняло реакционный характер, теперь стали выражаться сильными пароксизмами слез. В иные дни он принимался плакать так, что приводил Лорис-Меликова в отчаянье. В такие дни он спрашивал министра: «Когда будет готов твой проект конституции?» Но если два-три дня позже Меликов докладывал, что органический статут готов, царь делал вид, что решительно ничего не помнит. «Разве я тебе говорил что-нибудь об этом? — спрашивал он: — К чему? Предоставим это лучше моему преемнику. Это будет его дар России».

Когда слух про новый заговор достигал до Александра II он готов был предпринять что-нибудь; но когда в лагере революционеров все казалось спокойным, он прислушивался к нашептываниям реакционеров и оставлял все, как было прежде. Лорис-Меликов со дня на день ждал, что его попросят в отставку.

В феврале 1881 года Лорис-Меликов доложил, что Исполнительный Комитет задумал новый заговор, план которого не удается раскрыть, несмотря на самые тщательные расследования. Тогда Александр II решил созвать род совещательного собрания из представителей от земств и городов. Постоянно находясь под впечатлением, что ему предстоит судьба Людовика XVI, Александр II приравнивал предполагавшуюся «общую комиссию» тому собранию нотабелей, которое было созвано до Национального Собрания 1789 года. Проект должен был поступить в государственный совет; но тут Александр II стал снова колебаться. Только утром первого марта 1881 года, после нового, серьезного предупреждения со стороны Лорис-Меликова об опасности, Александр II назначил следующий четверг для выслушивания проекта в заседании совета министров. Первое марта падало на воскресенье, и Лорис-Меликов убедительно просил царя не ездить на парад в этот день, в виду возможности покушения. Тем не менее Александр II поехал. Он желал повидать великую княжну Екатерину Михайловну, дочь его тетки Елены Павловны, которая в шестидесятых годах была одним из вождей партии реформ, и лично сообщить ей приятную весть, быть может, как акт покаяния пред памятью Марии Александровны. Говорят, царь сказал великой княжне: «Je mesuis decidé à convoquer une Assemblée des Notables» (я решился созвать собрание именитых людей). Но эта запоздалая и нерешительная уступка не была доведена до всеобщего сведения. На обратном пути из манежа Александр II был убит.

Известно, как это случилось. Под блиндированную карету, чтобы остановить ее, была брошена бомба. Несколько черкесов из конвоя были ранены. Рысакова [247], бросившего бомбу, тут же схватили. Несмотря на настоятельные убеждения кучера не выходить из кареты, — он утвер-

ждал, что в слегка поврежденном экипаже можно еще доехать до дворца,—Александр II все-таки вышел. Он чувствовал, что военное достоинство требует посмотреть на раненых черкесов и сказать им несколько слов. Так поступал он во время Русско-турецкой войны, когда, например, в день его именин сделан был безумный штурм Плевны, кончившийся страшной катастрофой. Александр II подошел к Рысакову и спросил его о чем-то, а когда он проходил затем совсем близко от другого молодого человека, Гриневецкого [248], стоявшего тут же на набережной с бомбою, тот бросил свою бомбу между обоими так, чтобы убить и себя и царя. Оба были смертельно ранены и умерли через несколько часов.

Теперь Александр II лежал на снегу, истекая кровью, оставленный всеми своими сторонниками! Все исчезли. Кадеты, возвращавшиеся с парада, подбежали к умирающему царю, подняли его с земли, усадили в сани и прикрыли дрожащее тело кадетской шинелью, а обнаженную голову — кадетской фуражкой. Да еще один из террористов с бомбой, завернутой в бумагу подмышкой, рискуя быть схваченным и повешенным, бросился вместе с кадетами на помощь раненому... Человеческая природа полна таких противоположностей.

Так кончилась трагедия Александра II. Многие не понимали, как могло случиться, чтобы царь, сделавший так много для России, пал от руки революционеров. Но мне пришлось видеть первые реакционные проявления Александра II и следить за ними, как они усиливались впоследствии; случилось также, что я мог заглянуть в глубь его сложной души, увидать в нем прирожденного самодержца, жестокость которого была только отчасти смягчена образованием, и понять этого человека, обладавшего храбростью солдата, но лишенного мужества государственного деятеля, — человека сильных страстей, но слабой воли, — и для меня эта трагедия развивалась с фатальной последовательностью шекспировской драмы. Последний ее акт был ясен для меня уже 13 июня 1862 года, когда я слышал речь, полную угроз, произнесенную Александром II перед нами, только что произведенными офицерами, в тот день, когда по его приказу совершились первые казни в Польше.

IX

Дикая паника охватила придворные круги в Петербурге. Александр III, который, несмотря на свой колоссальный рост, не был храбрым человеком, отказался поселиться в Зимнем дворце и удалился в Гатчину, во дворец своего прадеда Павла I. Я знаю это старинное здание, планированное, как вобановская крепость, окруженное рвами и защищенное сторожевыми башнями, откуда потайные лестницы ведут в царский кабинет. Я видел люк в кабинете, через который можно бросить неожиданно врага в воду — на острые камни внизу, а затем тайные лестницы, спускающиеся в подземные тюрьмы и в подземный проход, ведущий к озеру. Все дворцы Павла I построены по такому же плану. Тем временем подземная галлерея, снабженная автоматическими электрическими приборами, чтобы революционеры не могли подкопаться, рылась вокруг Аничкова дворца, где Александр III жил до восшествия на престол.

Для охраны царя была основана тайная лига. Офицеров различных чинов соблазняли тройным жалованием поступать в эту лигу и испол-

нять в ней добровольную роль шпионов, следящих за различными классами общества. Бывали, конечно, комические эпизоды. Два офицера, например, не зная, что они оба принадлежат к одной и той же лиге, вовлекли друг друга в вагоне в революционную беседу, затем арестовывали друг друга и, к обоюдному разочарованию, убеждались, что потратили напрасно время. Эта лига существует до сих пор * в более официальном виде, под названием «охраны» и время от времени пугает царя всякими сочиненными ужасами, чтобы поддержать свое собственное существование.

Еще более тайная организация — священная дружина [249] основалась в то же время с Владимиром Александровичем, братом царя, во главе, чтобы бороться с революционерами всякими средствами — между прочим, убийством тех эмигрантов, которых считали вождями недавних заговоров. Я был в числе намеченных лиц [250]. Владимир резко порицал офицеров, членов лиги, за трусость и выражал сожаление, что среди них нет никого, который взялся бы убить таких эмигрантов. Тогда один офицер, который был камер-пажем в то время как я находился в корпусе, был выбран лигой, чтобы привести этот план в исполнение.

В действительности же эмигранты вовсе не вмешивались в деятельность Исполнительного Комитета в Петербурге. Стремление руководить заговором из Швейцарии, тогда как революционеры в Петербурге находились под беспрерывной угрозой смерти, было бы бессмыслицей. И Степняк, и я писали не раз, что никто из нас не взялся бы за сомнительный труд вырабатывания планов деятельности, не находясь на месте. Но, конечно, в интересах петербургской полиции было утверждать, что она не в силах охранять царя, так как все заговоры составляются за границей. Шпионы — я знаю это хорошо — снабжали ее в изобилии донесениями в желаемом смысле.

Генералу Скобелеву [251] тоже предложили вступить в эту лигу, но он отказался наотрез. Из сообщений Лорис-Меликова, часть которых была обнародована в Лондоне приятелем покойного (смотри «Конституция Лорис-Меликова», лондонское издание Фонда вольной прессы 1893 года), видно, что, когда Александр III вступил на престол и не решался созвать земских выборных, Скобелев предлагал даже Лорис-Меликову и графу Игнатьеву [252] («Лгун-паше», как прозвали его константинопольские дипломаты) арестовать Александра III и заставить его подписать манифест о конституции. Как говорят, Игнатьев донес об этом царю и таким образом добился назначения себя министром внутренних дел. Занимая этот пост, он, пользуясь советами бывшего префекта парижской полиции Андрие, предпринимал разные подходы, чтобы парализовать деятельность революционеров.

Если бы русские либералы проявили в то время хоть сколько-нибудь гражданского мужества и какую-нибудь способность к политической деятельности, Земский Собор был бы созван. Из тех же сообщений Меликова видно, что Александр III некоторое время думал о созыве Земского Собора. Он решился, наконец, это сделать и сообщил об этом своему брату. Старый Вильгельм I поддерживал его в этом намерении. Но либералы ничего не предпринимали, тогда как партия Каткова усиленно

* Писано в 1898 г. *Прим. ред.*

действовала в противоположном направлении. Андрие писал Александру III, что раздавить нигилистов ничего не стоит, и указывал, как это нужно сделать (письмо с советами напечатано в упомянутой брошюре). Тогда Александр III решился, наконец, заявить, что останется неограниченным самодержцем России.

Через несколько месяцев после смерти Александра II меня изгнали из Швейцарии по приказу федерального совета. Правду сказать, я не почувствовал в этом особой обиды. Донимаемые монархическими странами за убежище, даваемое Швейцарией политическим изгнанникам, и опасаясь угроз русской официальной прессы, требовавшей изгнать из России швейцарок-бонн и гувернанток, которых у нас так много, власти маленькой республики, высылая меня, давали некоторое удовлетворение русской полиции. Но мне жаль было Швейцарию, что она решилась на такой шаг. Им подтверждалась, так сказать, теория «заговоров, замышляемых на швейцарской почве»; в нем было сознание слабости, которым большие державы не преминули немедленно же воспользоваться. Два года спустя, когда Жюль Ферри [253] предложил Германии и Италии поделить Швейцарию, его главный аргумент был, что швейцарское правительство само признало, что республика является «очагом международных заговоров». Первая уступка вызвала вскоре более дерзкие требования и, несомненно, сделала положение Швейцарии менее независимым, чем оно было раньше.

Декрет об изгнании вручили мне немедленно после моего возвращения из Лондона, где в июле 1881 года я присутствовал на анархическом конгрессе [254]. После конгресса я прожил несколько недель в Лондоне, где написал для «Newcastle Chronicle» первые статьи о русских делах с нашей точки зрения. Английская печать в то время являлась отголоском мнений г-жи Новиковой [255], то есть взглядов Каткова и русских жандармов; и я был счастлив, когда старый радикал, мистер Джозеф Коуэн (Joseph Cowen) согласился уделить мне место в своей газете для выяснения наших взглядов.

Я только что приехал к жене, которая жила тогда в горах, недалеко от Элизэ Реклю, когда мне предложили покинуть Швейцарию. Мы отправили наш небольшой багаж на ближайшую железнодорожную станцию, а сами пошли пешком в Эгль [256], наслаждаясь в последний раз видом на горы, которые мы так любили. Мы перебрались через горы напрямки и много смеялись, когда убеждались, что «прямой путь» заставлял нас делать большие обходы. Наконец, мы спустились в долину и пошли по пыльной дороге. Комический элемент, который всегда является в таких случаях в жизни, был внесен в этот раз одной английской дамой. Нарядная леди, покоившаяся на подушках кареты рядом с джентльменом, бросила несколько душеспасительных брошюр двум бедно-одетым пешеходам, которых обогнала. Я поднял из пыли эти брошюры. Леди, очевидно, была одна из тех дам, которые думают, что они христианки и считают своим долгом раздавать божественные книжечки «развратным иностранцам». Рассчитывая, что мы наверное застанем даму на станции, я написал на одной из брошюр известный евангельский стих о богатом, которому труднее пройти в царство небесное, чем верблюду в игольное ушко, и прибавил соответственное место о фарисеях. Когда мы пришли в Эгль, дама закусывала и запивала, сидя в карете. Очевидно, она предпочитала продолжать путешествие по прелестной долине в экипаже, чем

PROTESTATION

contre les pendaisons en Russie

Citoyens,

Un fait inouï vient de se produire.

Reprenant la tradition léguée par son père et suivant les conseils de sa camarilla, le nouvel autocrate de Russie, retiré dans un château-fort, en dehors de sa capitale, entoure les lois humaines et commence son règne par des exécutions barbares.

Ce ne sont plus seulement les hommes révoltés contre son joug, qu'il livre aux bourreaux. Il vient de faire pendre une femme, Sophie Perowskaya.

Une autre femme, Mme Helfmann, bien qu'elle soit enceinte, est également condamnée à mort. Ses bourreaux la gardent en prison jusqu'au jour où elle accouchera, et pendant cinq longs mois elle devra subir cette torture morale, de sentir la corde sur son cou, sachant que cette corde sera serrée le jour où elle deviendra mère.

Ce n'est pas tout. Trois fois la corde s'est rompue lorsqu'on pendait le paysan Mikhaïloff ; trois fois il a eu à subir les tortures de l'agonie, et trois fois le représentant du tsar l'a fait hisser à la potence. Et cependant, même au moyen-âge, l'homme avait la vie sauve, si la corde du bourreau rompait.

Citoyens,

Les atrocités qui se commettent en Russie ne concernent pas seulement ce pays. Elles atteignent tous les pays civilisés. L'autocratie russe, avec ses procédés sauvages est une honte pour l'Europe entière, et garder le silence devant les atrocités qu'elle commet, c'est s'en rendre complice.

Citoyens,

Ce n'est pas de telle ou telle nuance politique qu'il s'agit. C'est l'Europe entière qui est outragée dans ses sentiments d'humanité.

Nous ne voulons pas, par notre silence, nous rendre complices de la torture que subit en ce moment une femme, à laquelle ses droits de mère seront un droit à la potence. Nous ne voulons pas être les complices des nouveaux actes de barbarie qui se préparent.

Nous venons exprimer notre indignation et nous ne doutons pas que dans toute la Suisse, qui a su se défaire de ses tyrans, il n'y ait qu'une seule voix pour flétrir les actes de barbarie qui se commettent en Russie.

Афиша — протест против казни первомартовцев

в душном вагоне. Я вежливо возвратил ей душеспасительные книжки, заметив, что прибавил к ним кое-что полезное для нее самой. Леди не знала, кинуться ли ей на меня или же принять урок с христианским смирением. Оба движения отражались в ее глазах одно за другим.

Жена моя собиралась сдавать в женевском университете последние экзамены на степень бакалавра естественных наук. Поэтому мы поселились в маленьком французском городке Тононе, лежащем на савойском берегу Женевского озера, где и прожили месяца два.

Что касается смертного приговора, который мне вынесла священная лига, то предупреждение о нем я получил из России от одного очень высокопоставленного лица [257]. Мне стало известно даже имя той дамы, которую послали из Петербурга в Женеву, где она должна была стать душой заговора. Поэтому я ограничился тем, что сообщил факт и имена женевскому корреспонденту «Times» с просьбой огласить их, если что-нибудь случится со мной. В этом смысле поместил я также заметку в «Révolté». После этого я больше не думал о приговоре. Жена моя, однако, не так легко отнеслась к делу, точно так же, как и добрая крестьянка, madame Сансо, у которой мы нанимали в Тононе квартиру со столом. Она узнала о заговоре другим путем (через свою сестру, служившую няней в доме русского агента, Мальшинского) и окружила меня трогательной заботливостью. Домик ее находился за городом, и каждый раз, когда я отправлялся вечером в город, чтобы встретить жену на станции или за каким-нибудь делом, мадам Сансо всегда находила предлог послать со мной своего мужа с фонарем.

— Подождите минутку, господин Кропоткин, — говорила она, — мой муж тоже идет в город за покупками и, как вы знаете, всегда берет фонарь с собою.

А не то она посылала своего брата, чтобы он издали, так чтобы я не заметил, провожал меня.

X

В октябре или ноябре 1881 года, как только жена сдала экзамены, мы переехали из Тонона в Лондон, где прожили около года. Не особенно много времени прошло с тех пор *, а между тем могу сказать, что умственная жизнь Лондона, да и всей Англии, сильно отличалась тогда от того, чем она стала всего через несколько лет. Каждому известно, что в сороковых годах Англия стояла почти во главе социалистического движения в Европе. Но в последовавшие затем годы реакции великое движение, широко захватившее рабочие классы, и во время которого все, что теперь известно под именем научного социализма и анархизма, было уже высказано, замерло, заглохло. Его забыли как в Англии, так и на континенте, а то движение, которое французские писатели называют третьим пробуждением пролетариата, еще не началось в Великобритании. Труды земледельческой комиссии 1871 года, пропаганда Джозефа Арча [258] среди сельских работников и предшествовавшие усилия христианских социалистов, конечно, до некоторой степени расчистили путь. Но пробуждение социалистических стремлений, произведенное приездом в Англию Генри

* Писано в 1898 г.

Джорджа [259], в восьмидесятых годах, и его книгой «Прогресс и бедность», еще не наступило.

Год, прожитый нами тогда в Лондоне, был настоящим годом ссылки. Для сторонника крайних социалистических взглядов не было атмосферы, чтобы жить. Того оживленного социалистического движения, которое я застал в полном разгаре при моем возвращении в 1886 году, еще не было и признака. О Бернсе [260], Чемпионе [261], Кейр Гарди [262] и других рабочих вожаках и слуха еще не было. Фабианцы [263] не существовали, Вильям Морис [264] еще не объявил себя социалистом: а тред-юнионы, в которые в Лондоне входили только некоторые привилегированные отрасли промышленности, относились враждебно к социализму. Единственными деятельными и открытыми представителями социалистического движения были супруги Гайндман [265], вокруг которых группировались немногие рабочие. Осенью 1881 года они устроили небольшой конгресс; но он был так мал, что мы в шутку говорили, что весь конгресс жил на квартире у г-жи Гайндман. Даже более или менее окрашенное социализмом радикальное движение, которое, несомненно, совершалось тогда в умах, еще не выступало открыто. Те образованные мужчины и женщины, которые вышли в большом числе на арену общественной жизни четыре года спустя и, не становясь социалистами, приняли участие в различных движениях, имевших целью благосостояние или воспитание масс, — создавая таким образом новую атмосферу и новое общество реформаторов, — такие люди еще не проявляли себя. Они, конечно, существовали, и в наличности имелись все элементы широко-распространенного движения. Но, не находя центров притяжения, которыми впоследствии стали социалистические группы, они затерывались в толпе, не знали друг друга и зачастую не знали самих себя.

Н. В. Чайковский жил тогда в Лондоне, и с ним, как в былые годы, мы начали пропаганду среди рабочих. Поддерживаемые немногими английскими рабочими, которые познакомились с нами на конгрессе 1881 года или которых преследование Иоганна Моста привлекло к социалистам, мы ходили в радикальные клубы, говорили о русских делах, о движении нашей молодежи в народ и о социализме вообще. Слушателей набиралось до смешного мало: редко-редко больше десятка человек. Порой поднимался среди слушателей какой-нибудь седобородый чартист и с грустью говорил, что все, что мы проповедуем, высказывалось уже сорок лет тому назад и тогда восторженно приветствовалось толпами работников; но теперь все умерло, и нет больше надежды на возрождение.

Гайндман только что выпустил прекрасное изложение теории социализма Маркса под названием «Англия для всех», и я помню, как летом 1882 года я убеждал его основать социалистическую газету. Я говорил ему, с какими ничтожными средствами мы начали издавать «Révolté» (Бунтарь), и предсказывал ему успех. Но положение дел было так неприглядно, что даже Гайндман считал попытку безнадежной, — разве он сам внезапно разбогатеет и сможет сам покрывать издержки. Быть может, он был прав; но когда, года два спустя, он основал «Justice» (Справедливость), рабочие охотно поддержали газету. В начале 1886 года в Англии выходили уже три социалистические газеты, и социал-демократическая федерация приобрела значительное влияние.

Летом 1882 года я произнес, на ломаном английском языке, речь перед дергамскими углекопами на их годичном собрании. Я также читал в Ньюкастле, в Глазго и в Эдинбурге лекции о русском движении, и меня принимали с большим энтузиазмом. Толпы работников восторженно кричали на улице, после лекции, у р а в честь нигилистов. Но все-таки мы с женой чувствовали себя до такой степени одинокими в Лондоне, а усилия пробудить социалистическое движение в Англии казались до такой степени безнадежными, что осенью 1882 года мы решили снова переехать во Францию. Я был уверен, что там меня скоро арестуют, но мы часто говорили друг другу: «Лучше французская тюрьма, чем эта могила».

Тем, кто вечно толкует о медленности всякой эволюции, не мешало бы изучить развитие социализма в Англии. Эволюция — медленный процесс; но развитие ее никогда не бывает одинаково. Она имеет свои периоды замирания и периоды внезапного движения вперед.

XI

Мы опять остановились в Тононе и сняли квартиру у нашей прежней хозяйки, мадам Сансо. К нам приехал из Швейцарии брат моей жены, находившийся в последнем фазисе чахотки.

Никогда не видел я такой кучи русских шпионов, как в те два месяца, что прожил в Тононе. Начать с того, что, как только мы поселились, какой-то подозрительный мужчина, выдававший себя за англичанина, снял другую часть дома. Стада, буквально стада русских шпионов осаждали дом и пытались проникнуть туда под различными предлогами, а то попросту бродили взад и вперед под окнами, партиями в два, три и четыре человека. Воображаю себе, какие удивительные донесения сочинялись ими. Шпион должен доносить. Если он попросту скажет, что он простоял неделю на улице и ничего подозрительного не заметил, его живо прогонят.

То был золотой век русской тайной полиции. Игнатьевская политика принесла плоды. Две или три разных полиции усердствовали вперегонки и вели самые смелые интриги. Каждая имела в своем распоряжении кучу денег. Полковник Судейкин [266], например, устраивал заговоры с Дегаевым [267], убившим его впоследствии, выдавал женевским эмигрантам игнатьевских агентов и предлагал террористам в России убить, при его помощи, министра внутренних дел Толстого и великого князя Владимира. Судейкин прибавлял, что тогда его самого назначат министром внутренних дел с диктаторскими полномочиями, и царь тогда всецело будет в его руках. Этот фазис развития тайной полиции достиг полного своего выражения в похищении принца Баттенбергского из Болгарии.

Французская полиция тоже находилась в возбужденном состоянии. Ее мучил вопрос: «Что он там делает в Тононе?» Я продолжал редактировать «Révolté», затем писал статьи для «Британской Энциклопедии» и для «Newcastle Chronicle». Но это казалось им слишком прозаичным. Однажды местный жандарм явился к моей квартирной хозяйке. Он слышал с улицы стук какой-то машины и горел желанием послать донос об открытии у меня тайного печатного станка. Он явился, когда меня не было, и требовал у хозяйки, чтобы та ему показала станок. Мадам Сансо ответила, что никакого станка нет, и высказала догадку, что жандарм,

вероятно, слышал стук ее швейной машины. Но тот не мог удовлетвориться таким банальным объяснением. Он заставил хозяйку шить на машине, а сам прислушивался в доме и под окнами, чтобы убедиться, походит ли стук на тот, который он слышал раньше.

— А что он делает весь день? — спросил жандарм у хозяйки.

— Пишет.

— Не может же он писать весь день!

— Он пилит дрова в саду, в полдень, а после обеда, между четырьмя и пятью, гуляет.

Дело было в ноябре.

— Ага! Вот оно. «A la tombée de la nuit»! (Когда стемнеет). И жандарм отметил в книжке: «Никогда из дому не выходит раньше, чем стемнеет» [268].

В то время я не мог объяснить себе эту необычайную внимательность со стороны русских шпионов; но, вероятно, она находилась в связи со следующим обстоятельством. Когда Игнатьев стал министром внутренних дел, он, по совету бывшего парижского префекта Андрие, напал на новый план. Он послал рой своих агентов в Швейцарию, где один из них стал издавать газету, стоявшую за некоторое расширение земского самоуправления [269]. Главная же задача издания заключалась в борьбе с революционерами и в группировке вокруг него всех эмигрантов, отрицательно относившихся к террору. То было, конечно, средство посеять раздор. Затем, когда почти всех членов Исполнительного Комитета арестовали в России и только два или три из них бежали в Париж, Игнатьев послал агента, чтобы предложить им перемирие. Он обещал, что больше казней по поводу заговоров, составленных в царствование Александра II, не будет, даже если бежавшие попадут в руки правительства, что Чернышевского выпустят из Вилюйска и что назначат комиссию для пересмотра положения всех сосланных административным путем в Сибирь. С другой стороны, Игнатьев требовал, чтобы Исполнительный Комитет не делал новых покушений на царя, покуда не состоится коронация. Быть может, упоминались также реформы, которые Александр III собирался сделать в пользу крестьян. Договор был заключен в Париже, и обе стороны соблюдали его [270]. Террористы прекратили военные действия. Правительство никого не казнило за прежние заговоры; но тех, которых арестовали, замуровали в Шлиссельбурге, в этой русской Бастилии, где никто не слыхал о них за целые пятнадцать лет и где большинство из них томится до сих пор *. Чернышевского привезли из Сибири и поселили в Астрахани, отделив его от всего интеллигентного русского мира. В этом заточении он вскоре умер. В Сибирь послали комиссию, которая возвратила некоторых ссыльных и назначила сроки для всех остальных. Моему брату она надбавила пять лет.

Когда я был в Лондоне в 1882 году, мне тоже сказали раз, что человек, называющий себя агентом русского правительства и берущийся доказать это, желает вступить со мною в переговоры.

— Скажите ему, — передал я, — что если он явится ко мне, я его сброшу с лестницы.

* Писано в 1898 году. Как известно, их освободило только революционное движение 1905 года. *Прим. ред.*

С. Г. Кропоткина, жена П. А. Кропоткина
С фотографии 1878 г.

Игнатьев, считая царя обеспеченным от покушений Исполнительного Комитета, боялся, по всей вероятности, что анархисты могут предпринять что-нибудь. Поэтому он желал, надо думать, запрятать меня подальше.

XII

Анархическое движение во Франции значительно разрослось в 1881—1882 годах. Вообще, принято было думать, что дух французов враждебен коммунизму, и поэтому в Интернациональной рабочей ассоциации проповедывался «коллективизм». В то время под коллективизмом подразумевалось обобществление средств производства и свобода для каждой группы производителей определить потребление на основе индивидуалистической или коммунистической. В действительности же французский дух враждебен только казарменному коммунизму, то есть фаланстериям старой школы и «армиям труда», о которых говорилось в сороковых годах. Когда же Юрская федерация, на конгрессе 1880 года, смело высказалась за анархический коммунизм, то есть за вольный коммунизм, анархические воззрения сейчас же нашли во Франции многих сторонников. Наша газета стала шире распространяться; мы вступили в деятельную переписку со многими французскими рабочими, и значительное анархическое движение быстро развилось в Париже и в некоторых провинциях, в особенности же вокруг Лиона. Пересекая Францию, на пути из Тонона в Лондон, я посетил Лион, Сент-Этьен и Виенн, где читал лекции. В этих городах я нашел значительное число рабочих, готовых принять наши воззрения.

В конце 1882 года в Лионском округе свирепствовал страшный кризис. Производство шелков было совсем парализовано, а нищета среди ткачей была так велика, что множество детей толпилось по утрам у ворот казарм, где солдаты раздавали им остатки своего хлеба и супа. Тут началась, между прочим, популярность генерала Буланже [271], разрешившего солдатам раздачу остатков от их харчей. Углекопы во всей области тоже находились в крайне бедственном положении.

Я знал, что там началось значительное брожение, но за одиннадцать месяцев, проведенных мною в Лондоне, у меня порвались близкие связи с французским движением. Через несколько недель после моего возвращения в Тонон я узнал уже из газет, что у углекопов из Монсо-ле-Мин [272], приведенных в отчаяние притеснениями со стороны владельца шахт — ревностных католиков, начался род восстания. Они устраивали тайные сходки и обсуждали всеобщую стачку; каменные кресты, стоявшие на всех дорогах вокруг шахт, были опрокинуты или же разрушены теми динамитными патронами, которые в большом количестве употребляются рудокопами в подземных работах и часто остаются у работников. В Лионе агитация тоже приняла более сильный характер. Анархисты, которых было довольно много в городе, не пропускали ни одного митинга оппортунистов без того, чтобы не говорить на нем, и брали платформу приступом, если им отказывали в слове. Тогда они постановляли резолюции в том смысле, что шахты, все орудия производства, а также и жилые дома должны принадлежать народу. И эти резолюции, к ужасу буржуазии, принимались восторженно [273].

С каждым днем недовольство работников росло против городских советников и политических вожаков-оппортунистов, которые ничего не делали для облегчения растущей нищеты, а также против прессы, которая говорила с легким сердцем, как о пустой вещи, о таком важном кризисе. Как водится в подобных случаях, ярость беднейшей части населения направилась прежде всего против мест увеселения и распутства, которые тем более озлобляют массы в минуту страдания и отчаяния, что эти места являются для них олицетворением эгоизма и разврата богатых. Местом, особенно ненавистным работникам, было кафе в подвальном этаже театра Бэлькур, которое оставалось открыто всю ночь. Здесь до утра журналисты и политические деятели пировали и пили в обществе веселых женщин. Не было сходки, на которой не слышались бы полускрытые угрозы по адресу этого кафе, а раз ночью кто-то взорвал там динамитный патрон. Рабочий-социалист, оказавшийся случайно в кафе, кинулся, чтобы потушить зажженный фитиль патрона, но был убит взрывом, который также слегка ранил некоторых пирующих буржуа. На следующий день динамитный патрон взорвался в дверях рекрутского присутствия, и пошла молва, что анархисты намереваются взорвать громадную статую богородицы на холме Фурвиер, близ Лиона. Нужно жить в Лионе или в его окрестностях, чтобы видеть, до какой степени население и школы находятся еще в руках католических попов и чтобы понять ту ненависть, которую питает к духовенству все мужское население.

Паника охватила лионскую буржуазию. Арестовали шестьдесят анархистов, — всех рабочих, — за исключением одного Эмиля Готье [274], дававшего в то время серию лекций в лионском округе. Лионские газеты стали в то же время систематически убеждать правительство, чтобы оно арестовало меня; они выставляли меня вожаком агитации, нарочно прибывшим из Англии, чтобы руководить движением. Опять в нашем маленьком городе стали прогуливаться своры русских шпионов. Почти ежедневно я получал послания, очевидно, написанные шпионами международной полиции, с указанием какого-нибудь динамитного заговора или с таинственными упоминаниями о партиях динамита, отправленных ко мне. Я собрал целую коллекцию подобных писем и отмечал на каждом: «Police Internationale» *. Французская полиция забрала ее у меня при обыске, но этих писем она не посмела предъявить на суде. Их, впрочем, мне не возвратили.

В декабре сделали обыск у меня в доме, совсем по-российски. Задержали также на станции и обыскали жену, отправляющуюся из Тонона в Женеву. Конечно, не нашли ничего компрометирующего меня или других.

Прошло десять дней, во время которых я мог бы свободно уехать, если бы захотел. Я получил несколько писем с советом бежать; одно из них — от неведомого русского друга, быть может, члена дипломатического корпуса, который, повидимому, знавал меня когда-то. Он советовал мне скрыться немедленно, потому что иначе я могу сделаться первой жертвой договора о выдаче, который должен быть заключен между Францией и Россией. Я остался на месте; а когда в «Times» появилась телеграмма с сообщением о моем побеге из Тонона, я написал письмо

* «Международная полиция».

в редакцию этой газеты, указал мой адрес и заявил, что не думаю скрываться после того как арестовано так много моих друзей.

В ночь на 21 декабря мой шурин умер у меня на руках. Мы знали, что его болезнь неизлечима, но всегда страшно тяжело видеть, как на ваших глазах гаснет молодая жизнь после упорной борьбы со смертью. Мы с женой были в страшном горе: мы оба очень любили этого прекрасного юношу... Часа три спустя, когда стало брезжить утро печального зимнего дня, явились жандармы — арестовать меня. Видя, в каком состоянии была жена, я просил остаться с ней до похорон, на честное слово, что явлюсь к назначенному сроку в тюрьму. Но мне отказали, и в ту же ночь меня отвезли в Лион. Элизэ Реклю, которого известили телеграммой, явился немедленно и проявил в отношении к моей жене всю доброту своего золотого сердца. Прибыли друзья из Женевы. Хотя похороны носили чисто гражданский характер, чего раньше никогда не бывало в нашем городке, половина всего населения шла за гробом. Оно желало этим показать моей жене, что симпатии бедноты и савойских крестьян были с нами, а не с правительством. Когда начался мой процесс, крестьяне следили за ним изо дня в день и спускались из горных деревень в город, чтобы купить газеты и узнать, как обстоят мои дела на суде.

Глубоко тронул меня также приезд в Лион одного знакомого англичанина. Он был прислан хорошо известным и уважаемым в Англии радикалом Джозефом Коуэном, в семье которого я провел в Лондоне немало счастливых часов в 1882 году. Посланный привез значительную сумму денег, чтобы взять меня на поруки. В то же время он передал мне желание лондонского друга, чтобы я не заботился о судьбе залога и немедленно уезжал из Франции. Каким-то таинственным путем мой знакомый ухитрился даже иметь свободное свидание со мной, то есть личное, а не в клетке за двумя решотками, как я виделся всегда с женой. Он был так же сильно взволнован моим отказом принять его предложение, как и я — трогательным проявлением дружбы со стороны лица, к которому, как и к его замечательно хорошей жене, я и прежде уже относился с большим уважением.

Французское правительство пожелало произвести сильное впечатление на массы большим процессом, но оно не могло преследовать арестованных анархистов за взрывы. Для этого пришлось бы передать разбор дела присяжным, которые, по всей вероятности, оправдали бы нас. Поэтому правительство прибегло к маккиавеллиевскому способу — преследования за принадлежность к Интернационалу. Во Франции существует закон, изданный немедленно после падения Коммуны, по которому принадлежащие к этой Ассоциации могут быть преданы обыкновенному полицейскому суду и могут быть приговорены им до пяти лет тюремного заключения. Полицейский же суд всегда выносит приговор, угодный правительству.

Суд начался в Лионе в начале января 1883 года и продолжался почти две недели. Обвинение было смешно, так как все знали, что лионские работники никогда не принадлежали к Интернационалу; оно даже вполне провалилось, как это видно из следующего эпизода. Единственным свидетелем со стороны обвинения был начальник тайной полиции в Лионе — пожилой человек, к которому суд относился с необычайным уважением. Его показания, должен я сказать, фактически были совершенно верны. «Анархисты, — говорил он, — приобрели себе многочис-

ленных сторонников среди населения. Они сделали митинги оппортунистов невозможными, так как говорили на каждом из них, проповедывали коммунизм и анархизм и увлекали таким образом слушателей». Видя, что начальник тайной полиции показывает согласно с истиной, я решился задать ему вопрос:

— Слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы в Лионе говорилось об Интернациональном товариществе рабочих?

— Никогда! — ответил он угрюмо.

— Когда я возвратился с Лондонского конгресса в 1881 году и сделал все возможное, чтобы возродить Интернационал во Франции, имел ли я успех?

— Нет. Работники нашли Интернационал недостаточно революционным.

— Благодарю вас, — сказал я; затем, обратившись к прокурору, прибавил: — Вот вам все здание обвинения, разрушенное вашими же собственными свидетелями.

Тем не менее нас всех приговорили за принадлежность к Интернационалу. Четырех из нас присудили к высшему наказанию — к пятилетнему заключению и к штрафу в две тысячи франков; остальных — к заключению на сроки от четырех лет до одного года. В действительности, обвинители наши и не пытались доказать существование Интернационала. Об этом, повидимому, совершенно забыли. Нам попросту предложили говорить об анархизме, что мы и сделали весьма охотно. А когда кто-то из лионских товарищей попытался выяснить пункт о взрыве, ему грубо заметили, что нас преследуют не за взрывы, а за участие в Интернационале, к которому, кстати сказать, кроме меня никто не принадлежал.

В подобных процессах всегда бывает какой-нибудь элемент комизма, и на этот раз он был внесен одним моим письмом. Построить обвинение решительно было не на чем. Десятки обысков были произведены в квартирах французских анархистов; но нашли только два моих письма. Прокурор пытался выжать из них все, что возможно. Одно из них я писал французскому работнику, который как-то пал духом. Я говорил ему о знаменательной эпохе, в которой мы живем, о наступающих великих переменах, о зарождении и распространении новых идей... Письмо было невелико, представитель обвинения ничего не сумел извлечь из него. Что касается до второго письма, то оно было на двенадцати страницах. И тут-то прокурор отличился. Я написал его тоже другу французу, молодому башмачнику *. Он зарабатывал средства к жизни тачанием башмаков у себя на дому. Налево от него стояла железная печурка, на которой он сам стряпал свой суп, а направо — столик, на котором он писал длинные письма к товарищам, не вставая с низенькой сапожничьей скамьи. Стачав ровно столько пар башмаков, чтобы хватило на покрытие крайне скромных расходов и осталось несколько франков, чтобы послать старухе-матери в деревню, мой друг целыми часами писал письма, в которых с замечательным здравым смыслом и проницательностью развивал принципы анархизма. Теперь он хорошо известный во Франции писатель и уважается всеми за открытый характер, прямоту и здравый политический смысл. К несчастью, в то время он мог исписать восемь или десять страниц и нигде не поставить ни одной точки или хотя бы

* Жану Граву. *Прим. ред.*

запятой. Раз я написал ему предлинное письмо, в котором объяснил, что на бумаге мысли разделяются на главные предложения и на придаточные, что первые следует отделять точкой или точкой с запятой, а для вторых — не пожалеть хотя бы запятую. Я объяснил приятелю, как много выиграют его писания, если он примет эту маленькую предосторожность.

Это письмо прокурор прочел на суде и прибавил к нему патетические комментарии:

— Вы слышали, милостивые государи, письмо, — начал он, обратившись к суду. — На первый взгляд в нем нет ничего особенного. Подсудимый дает урок грамматики рабочему... Но, — и тут голос прокурора задрожал от сильного волнения, — делал он это вовсе не для того, чтобы помочь бедному работнику в приобретении знаний, которых он, по всей вероятности из лености, не получил в школе. Не для того, чтобы пособить ему честно заработать свой хлеб... Нет, милостивые государи! Это письмо написано для того, чтобы внушить ему ненависть к нашим великим и прекрасным учреждениям; для того, чтобы лучше напитать его ядом анархизма, с единственной целью сделать его более страшным врагом общества... Да будет проклят день, когда Кропоткин ступил на французскую почву!

Мы не могли удержаться и хохотали, как дети, во время всей этой филиппики. Судьи глядели на прокурора, как бы желая сказать ему: «Довольно!», но тот вошел в азарт, ничего не замечал и, увлеченный потоком собственного красноречия, гремел, впадая все больше и больше в театральный тон. Он усердствовал изо всех сил, чтобы получить награду от русского правительства, которая и была ему действительно дана.

Вскоре после осуждения председатель полицейского суда получил повышение и был сделан членом окружного суда. Что касается до прокурора и до другого члена полицейского суда, то — трудно поверить этому — русское правительство прислало им по Анне, и французское правительство разрешило принять ордена! Таким образом, знаменитый франко-русский союз зародился еще в Лионе, после нашего процесса [275].

Этот процесс, во время которого были произнесены воспроизведенные всеми газетами блестящие анархические речи такими первоклассными ораторами, как рабочий Бернар и Эмиль Готье, и во время которого все обвиняемые держались мужественно и в течение двух недель пропагандировали свое учение, имел громадное влияние, расчистив ложные представления об анархизме во Франции. Без сомнения, он в известной степени содействовал пробуждению социализма и в других странах. Что касается осуждения, оно до такой степени мало оправдывалось фактами, что французская пресса, за исключением газет, преданных правительству, открыто осуждала судей. Даже умеренный «Journal des Economistes» * открыто не одобрял приговора, «которого отнюдь нельзя было предвидеть на основании фактов, установленных во время процесса». В состязании между нами и судом выиграли мы. Общественное мнение высказалось в нашу пользу. Немедленно же в парламент было внесено предложение об амнистии, за которое подали голоса около сотни депутатов. Предложение вносилось потом правильно каждый год, заручаясь все большим и большим числом голосов, покуда, наконец, нас освободили [276].

* «Журнал экономистов».

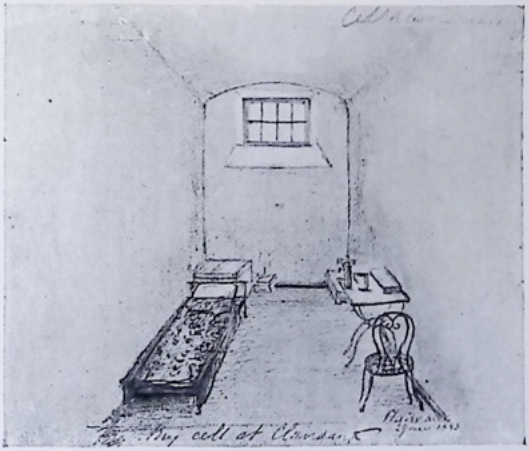
XIII

Суд кончился, но мы еще месяца два оставались в лионской тюрьме. Большинство моих товарищей апеллировало на решение полицейского суда и ждало ответа. Я же, с четырьмя друзьями, отказался принять какое-либо участие в апелляции и продолжал работать в своей камере. Мой большой приятель Мартэн [277], суконщик из Виенны, сидел в соседней камере, и так как мы уже были осуждены, то нам разрешили гулять вместе. Когда же нам хотелось поболтать в течение дня, мы перестукивались — точь-в-точь, как в России. Декабристская азбука и тут пригодилась.

Уже во время моего заключения в Лионе я начал понимать то страшно деморализующее влияние, которое тюрьма имеет на арестантов. И эти наблюдения впоследствии, во время трехлетнего пребывания в Клэрво, заставили меня решительно высказаться против всей тюремной системы вообще.

Лионская тюрьма — «современная» тюрьма, построенная в виде звезды, по камерной системе одиночного заключения. Она занимает огромное пространство, окруженное двойным поясом высоких каменных стен. При ее постройке, очевидно, руководились современными идеями в тюремном вопросе, причем были приняты также меры, чтобы можно было обратить ее в форт, в случае бунта в Лионе. Пространства между лучами звезды заняты маленькими, вымощенными асфальтом двориками. Если позволяет погода, заключенных выводят сюда на работы. Главное их занятие состоит в приготовлении шелковых оческов. В известные часы в дворики выводили также множество детей, и я часто наблюдал из моего окна эти исхудалые, изможденные, плохо кормленные существа, представлявшие скорее тени детей. Все эти истощенные лица и исхудалые, дрожащие тела носили явные следы анемии, и зло увеличивалось не только в дортуарах, но даже во дворе, среди бела дня. Что выйдет из этих детей, когда они оставят подобные школы с разрушенным здоровьем, с вытравленной волей, с надломленной энергией? Анемия, убивающая энергию и охоту к труду, ослабляющая волю, разрушающая умственные способности и развращающая воображение, подстрекает к преступлению в гораздо большей степени, чем полнокровие. И именно этот враг рода человеческого воспитывается в тюрьмах. А к тому еще надо прибавить влияние тюремного образования, получаемого в этой ужасной обстановке! Даже если бы возможно было полное разобщение арестантов, — что недостижимо, — оно не помогло бы. Тюремный воздух насыщен прославлением той страсти к азарту, которая составляет самую сущность воровства, плутовства и других противообщественных поступков того же порядка. В этих питомниках, которые государство содержит, а общество терпит только потому, что не желает слышать обсуждения и анализа его собственных зол, воспитываются целые поколения будущих преступников. «Попал ребенком в тюрьму, умереть тебе острожником», — вот что слышал я впоследствии от всех интересующихся вопросом о тюрьмах. И когда я видел этих детей и понял, что ждет их в будущем, я не мог не задать себе вопрос: «Кто больший преступник: этот ли ребенок или судья, приговаривающий ежегодно сотни детей к подобной участи?» Я охотно допускаю, что преступление судьи

Общий вид тюрьмы Клерво во Франции, где был заключен П. А. Кропоткин (1883—1886 гг.)
Рисунок П. А. Кропоткина



Камера П. А. Кропоткина в тюрьме Клерво
Рисунок П. А. Кропоткина

бессознательно. Но действительно ли так сознательны все преступления, за которые людей отправляют в тюрьму? [278].

В первые же недели моего заключения меня поразило еще одно обстоятельство, которое, однако, ускользает от внимания судей и криминалистов. Я хочу сказать, что тюрьма в большинстве случаев, не говоря уже об ошибках правосудия, представляет наказание, карающее людей совершенно невинных гораздо более сурово, чем самих осужденных.

Почти все мои товарищи — типичные представители французского рабочего населения, поддерживали своим трудом или жен и детей, или сестру, или старуху-мать. Оставшись без поддержки, все эти женщины сделали все возможное, чтобы достать работу. Некоторые достали; но ни одна из них не могла правильно зарабатывать хотя бы полтора франка в день. Девять, а иногда и семь франков — вот все, что они могли добыть в неделю для поддерживания себя и детей. Это означало, конечно, недоедание и лишения всякого рода; расстроенное здоровье женщин и детей; затем — ослабление умственных сил, энергии и воли... Я понял тогда, что приговоры, постановляемые судом, в сущности налагают на совершенно невинных людей всякого рода страдания, которые, в большинстве случаев, горше выпадающих на долю самих осужденных. Принято вообще полагать, что закон наказывает преступника, налагая на него всякие физические и нравственные мучения. Но человек — существо, привыкающее мало-по-малу ко всяким условиям жизни. Если он не может изменить их, он принимает их, как нечто неизбежное, и мало-по-малу приспособляется к ним точно так же, как он привыкает к хронической болезни и становится нечувствительным к ней. Но что приходится во время его заключения на долю его жены и детей — людей, ни в чем неповинных? Закон карает их еще с большей жестокостью, чем самого преступника. И при нашей косности мысли и рутине никто никогда не подумает даже о той великой несправедливости, которая творится. Я сам не думал о ней, пока действительность не выдвинула предо мной факты во всей их наготе.

Меня посадили в одиночную камеру. Камера имела три метра в длину и два метра в ширину. В камере имелась железная кровать, небольшой столик и маленький табурет, все наглухо прикрепленные к стенам. В Лионской тюрьме одиночки очень грязны, переполнены клопами. Каждый арестант должен сам чистить свою камеру, то есть он спускается утром на тюремный двор, где выливает и моет свою «парашу», испарениями которой он дышит в продолжение всего дня.

В середине марта 1883 года двадцать два человека из нас, осужденные больше чем на год, были с необыкновенной таинственностью перевезены в центральную тюрьму в Клэрво [279]. Когда-то тут было аббатство бернардинских монахов, превращенное во время Великой Революции в приют для неимущих. Впоследствии из него сделали исправительную тюрьму. Maison de detention et de correction *, и она получила от заключенных и даже от начальства вполне заслуженную кличку: «Maison de detention et de corruption» (дом заключения и развращения).

До тех пор, пока мы сидели в Лионе, с нами обходились, как вообще обращаются во Франции с заключенными до суда, то есть мы ходили

* Дом заключения и исправления преступников.

в своем платье, имели право получать пищу из ресторана и за несколько франков в месяц могли нанимать несколько большую камеру — так называемую pistole *. Я воспользовался этим правом, чтобы усиленно работать над статьями для «Encyclopaedia Britannica» ** и для «Nineteenth Century» ***. Теперь нас интересовало, как с нами будут обращаться в Клэрво. Но во Франции вообще принято полагать, что для политических заключенных потеря свободы и вынужденная бездеятельность уже сами по себе тяжелое наказание, так что незачем отягчать его. Поэтому нам объявили, что нас оставят на положении предварительного заключения: нам дадут отдельные камеры, позволят носить свое платье, освободят от принудительных работ и разрешат курить.

— Те из вас, — сказал смотритель, — которые пожелают заработать что-нибудь ручным трудом, могут шить корсеты или гравировать небольшие вещицы из перламутра. Все это плохо оплачивается, но вы не можете работать в тюремных мастерских, где изготовляются железные кровати, рамы для картин и тому подобное, потому что для этого вас пришлось бы поместить вместе с уголовными арестантами. — Как и другим заключенным, нам позволили покупать в тюремной маркитантской кое-какую добавочную пищу и полбутылки красного вина в день. Все это было хорошего качества и доставлялось по очень дешевой цене.

Первое впечатление, произведенное на меня Клэрво, было самое благоприятное. Мы пробыли в дороге целый день, с двух или трех часов утра, в маленьких клетках, на которые обыкновенно разделяются арестантские вагоны. Когда мы прибыли в тюрьму, нас поместили временно в здании одиночного заключения. Крошечные камеры были здесь обычного типа, очень чистые. Несмотря на поздний час ночи, нам дали простую, но превосходного качества горячую пищу. Предоставили нам также возможность получить по полбутылке хорошего vin du pays ****, которое продавалось в тюремной маркитантской всего по гривеннику (двадцать четыре сантима) за литр. Смотритель и надзиратель были с нами чрезвычайно вежливы.

На другой день смотритель повел меня показывать предназначавшиеся для нас помещения. Когда же я заметил, что они хороши, но только маловаты для двадцати двух человек, и что поэтому от скученности могут произойти болезни, он сейчас же выбрал нам другой ряд комнат в здании, где когда-то жил настоятель монастыря, а теперь помещался госпиталь. Наши окна выходили в маленький сад, и из них открывался чудесный вид на окрестность. В том же самом отделении, в соседней комнате, старый Бланки провел три или четыре года до своего освобождения. Раньше этого он содержался в здании для одиночного заключения.

Таким образом, в нашем распоряжении были три просторных комнаты и одна поменьше, отведенная мне и Готье, так что мы могли продолжать литературную работу. По всей вероятности, эта последняя любезность объяснялась ходатайством значительного числа английских уче-

* Камеру.
** «Британская Энциклопедия».
*** «Девятнадцатое Столетие», — английский научный ежемесячный журнал.
**** Местного вина.

ных, которые, как только меня осудили, подписали петицию о моем освобождении [280]. Среди подписавших были многие сотрудники «Encyclopaedia Britannica», в том числе Герберт Спенсер [281] и поэт Суинберн [282] (Swinburne). Виктор Гюго [283], кроме подписи, прибавил еще несколько красноречивых слов. Вообще, общественное мнение во Франции приняло очень неблагоприятно наше осуждение. Когда моя жена упомянула в Париже, что мне нужны книги, то Академия Наук предложила свою библиотеку, а Эрнест Ренан [284] в очень милом письме предоставил в мое распоряжение все свои книги [285].

У нас был небольшой садик, в котором мы могли играть в кегли или в jeu de boule *, причем во время последнего поднимался такой гам, на который только способны французы и южане. Кроме того, мы разработали небольшую грядку вдоль стены и на пространстве в восемьдесят квадратных метров выращивали почти невероятные количества салата, редиски и кое-каких цветов. Нечего и говорить, что мы сейчас же устроили курсы, и в течение трех лет пребывания в Клэрво я читал моим товарищам лекции по космографии, геометрии и физике, а также помогал им при изучении иностранных языков. Почти все они изучили, по крайней мере, один язык: английский, немецкий, итальянский или испанский. Некоторые же изучали два. Занимались мы также переплетным делом, учась ему по одному из томиков превосходной «Encyclopédie Roret» **.

Несмотря на это, к концу первого года мое здоровье снова подалось. Клэрво выстроено на болотистой почве; малярия здесь имеет эпидемический характер, и малярия с цынгой привязались ко мне. Тогда моя жена, учившаяся в Париже и работавшая в лаборатории Вюрца, подготовляясь к экзамену на степень доктора естественных наук, бросила все и переселилась в деревушку Клэрво, состоящую всего из десятка домиков, ютящихся у громадной стены, окружающей тюрьму. Разумеется, жизнь ее в полном одиночестве в деревушке, рядом с тюрьмой, не была красна; но она пробыла здесь, покуда меня не освободили. В течение первого года ей разрешали свидание со мной только раз в два месяца и то в присутствии надзирателя, сидевшего между нами. Но когда она твердо выразила намерение остаться в Клэрво, ей разрешили видеть меня ежедневно в одном из домиков, лежащих в тюремной ограде, где находился караульный пост. Пищу мне приносили из той гостиницы, где жила жена. Впоследствии нам позволили даже гулять в саду смотрителя, под строгим надзором сторожа. Один из товарищей обыкновенно присоединялся к нам во время этой прогулки.

К моему удивлению, я открыл, что центральная тюрьма в Клэрво — целый промышленный городок, окруженный фруктовыми садами и хлебными полями и обнесенный внешнею стеною непомерной длины. Факт тот, что если во французской центральной тюрьме заключенные, быть может, более находятся в зависимости от произвола и капризов смотрителя и надзирателей, чем в английской тюрьме, зато обращение с арестантами гораздо гуманнее, чем в соответствующих учреждениях по ту сторону Ламанша. Средневековая система возмездия, которая господствует еще в английских тюрьмах, давно уже исчезла во французских.

* Игра в мяч.

** «Энциклопедия Роре» — популярные самоучители ремесл.

Заключенного не заставляют спать на голых досках и не дают ему матрац только через день. Как только арестант поступает в тюрьму, ему дают удовлетворительную постель, которую и не отнимают больше. Его не принуждают к унижающей работе, как топтание на колесе или расщипыванье просмоленного каната для получения пеньки. Арестант, напротив, делает полезную работу, и вот почему тюрьма в Клэрво носит характер промышленного города. Тысяча шестьсот заключенных, содержащихся в ней, изготовляют железные кровати, рамы для картин, зеркала, меры, бархат, полотно, дамские корсеты, мелкие вещицы из перламутра, деревянные башмаки, и вместе с тем возделывают несколько пшеницы, овса и овощей.

Кроме того, если наказание за непослушание очень жестоко, зато нет сечения, которое практикуется еще в английских тюрьмах. Такое наказание было бы абсолютно невозможно во Франции. В общем можно сказать, что Клэрво — лучшая тюрьма в Европе. А между тем результаты, получаемые здесь, так же плохи, как во всякой другой тюрьме старого типа. «Все твердят теперь, что заключенные исправляются в наших тюрьмах, — говорил мне один из членов тюремной администрации. — Все это вздор. Я ни за что не позволю себе поддерживать подобную ложь».

Под нашими камерами находилась аптека, и мы порой приходили в соприкосновение с арестантами, работавшими там. Один из них был седой старик лет пятидесяти пяти, которому вышел срок, когда мы были в Клэрво. Трогательно было видеть, как он прощался с тюрьмой. Он знал, что через несколько месяцев или даже недель попадет обратно, и поэтому заранее просил доктора поберечь ему в аптеке место. Старик был не в первый раз в Клэрво и знал, что не в последний раз. Когда его освободили, у него не было ни души, к кому он мог бы пойти, чтобы найти приют на старость. «Кто захочет дать мне работу? — говорил он. — И какое ремесло я знаю? Никакого! Когда меня выпустят, только мне и хода, что к прежним товарищам. Они, по крайней мере, наверное примут меня как старого друга». Затем в их компании пропускался лишний стакан, следовал возбуждающий разговор о каком-нибудь ловком деле, об отличной штуке, которую можно сделать новым воровством, и частью по слабохарактерности, частью, чтобы угодить друзьям, старик присоединялся к ним и снова попадал в тюрьму. Так повторялось уже несколько раз. Прошло, однако, два месяца после освобождения старика, а он не возвращался в Клэрво. Тогда арестанты и даже надзиратели начали беспокоиться. «Неужели он успел перебраться в другой судебный округ, что его еще нет обратно? — говорили все. — Лишь бы бедняга не впутался в какое-нибудь «скверное дело» (подразумевалось под этим что-нибудь худшее, чем воровство); жалко было бы — такой славный, спокойный старик». Скоро, однако, выяснилось, что верно было первое предположение. Пришла весточка из другой тюрьмы, что наш старик сидит там и хлопочет о переводе в Клэрво.

Старые арестанты представляли самое печальное зрелище. Для многих из них тюремный опыт начался в детстве или с ранней юности; другие попали в тюрьму в зрелом возрасте, но... «Раз попал в тюрьму, значит, тюрьма на всю жизнь». Такова поговорка, сложенная на основании опыта. И теперь, перевалив за шестьдесят, старики знали, что им предстоит окончить жизнь в заключении. Как бы для того, чтобы ускорить

П. А. Кропоткин дает урок своим товарищам рабочим в тюрьме Клерво

Рисунок П. А. Кропоткина

их смерть, тюремное начальство отправляло их в мастерские, где изготовлялись из разного шерстяного отброса войлочные чулки. Пыль, стоящая в мастерских, быстро зарождала в стариках чахотку, которая и уносила их. Тогда четыре арестанта относили старого товарища в общую могилу. Кладбищенский сторож и его черная собака были единственными существами, провожавшими гроб. Тюремный священник, шедший впереди, машинально бормотал свои молитвы и рассеянно глядел на каштаны и ели по сторонам дороги; четыре товарища только радовались своей минутной свободе. И лишь черная собака, повидимому, чувствовала трогательность процессии.

Когда во Франции ввели реформированные центральные тюрьмы, то предполагалось, что возможно будет поддерживать в них систему абсолютного молчания. Но она до такой степени противна всему человеческому, что строгое применение системы пришлось оставить.

Поверхностному наблюдателю тюрьма кажется совершенно немой, но в действительности в ней идет такая же деятельная жизнь, как в маленьком городке. Вполголоса, оброненными мимоходом словами, произнесенными шопотом или же через посредство наскоро нацарапанных строчек на клочках бумаги, в тюрьме немедленно передаются из конца в конец все новости. Все, случающееся между самими заключенными, или на парадном дворе, где живет администрация, или в деревне Клэрво, или в широком мире парижской политики, немедленно передается во все общие и одиночные камеры и в мастерские. Французы слишком общительны по природе, чтобы удалось совершенно запретить им говорить. Мы не имели никаких сношений с уголовными арестантами, а между тем знали все новости дня. «Садовник Жан снова попал на два года». «Инспектора жена здорово подралась с женою такого-то». «Жака, который в одиночном, поймали, когда он передавал словцо Жану из рамочной мастерской». «Старая скотина N. больше не министр юстиции. Министерство пало». И так далее. А когда узнают, что Жан обменял у тюремного сторожа два фланелевых жилета, купленных за пятнадцать франков у тюремной администрации, на две пачки табаку в пятьдесят сантимов, то весть в одно мгновение распространяется по всей тюрьме. Со всех сторон к нам обращались за табаком. Раз как-то сидевший в тюрьме мелкий ходатай по делам захотел передать мне записку, чтобы я попросил мою жену, жившую в деревне, навестить его жену, тоже поселившуюся там. Множество арестантов приняли живейшее участие в передаче этой записки, которая должна была пройти бог весть сколько рук, покуда достигла своего назначения. А когда в парижских газетах появилась заметка, которая могла заинтересовать нас, номер газеты попадал к нам самым неожиданным путем, например, через высокую стену нашего сада, с завернутым в газету камнем.

Одиночное заключение не прекращает сношений. Когда мы прибыли в Клэрво и нас поместили в одиночках, в них было страшно холодно, так что я едва мог писать, и когда жена моя, жившая тогда в Париже, получила мое письмо, она даже не узнала почерка. Директор отдал приказ топить камеры, насколько возможно, но, несмотря на все старания, в них холод стоял такой же, как и прежде. Оказалось, что все паровые трубы

были забиты клочками бумаги, обрывками записок, перочинными ножичками и всякого рода мелочами, которые прятались там несколькими поколениями арестантов.

Пьер Мартэн, тот самый мой приятель, о котором я уже упомянул, получил разрешение отбыть часть своего срока в одиночном заключении. Он предпочитал быть один, чем с десятками людей в одной камере. Однако к великому своему изумлению, Мартэн нашел, что он вовсе не один. Стены и замочные скважины говорили вокруг него. Через два-три дня во всех одиночных камерах знали уже, кто он такой, и он завел знакомство во всем здании. В камерах, повидимому изолированных, кипит жизнь, как в улье. Эта жизнь только принимает иногда такой характер, который относит ее всецело к области психопатологии. Даже Крафт Эбинг[286] не имел представления о тех извращениях чувств, которые встречаются в одиночных камерах.

Я не стану повторять здесь того, что сказал уже о нравственном влиянии тюрем на заключенных в моей книге «В русских и французских тюрьмах», изданной по-английски в Лондоне в 1886 году, вскоре после моего освобождения из Клэрво[287]. Ограничусь лишь следующим. Тюремное население состоит из разнородных элементов. Принимая во внимание только так называемую категорию собственно «преступников», о которой мы так много наслышались в последнее время от Ломброзо и его учеников, я был крайне поражен одним фактом. Тюрьмы, обыкновенно рассматриваемые как гарантии от противообщественных поступков, в сущности являются рассадником самих этих поступков. Всякому известно, что отсутствие образования, отвращение к правильному труду, физическая неспособность к напряженному усилию, неверно направленная любовь к приключениям, наклонность к игре, отсутствие энергии, невыработанная воля и равнодушие к благу других являются причинами, приводящими этот класс заключенных в тюрьмы. Во время моего заключения меня, однако, сильно поразил тот факт, что именно эти недостатки, и каждый из них в отдельности, неизбежно усиливаются в тюрьме. И развиваются они именно потому, что такова сущность тюрьмы; покуда существуют тюрьмы, они будут развивать их.

Всякий раз, когда я видел в Клэрво арестанта, лениво передвигавшегося по двору, в сопровождении также лениво шагавшего за ним надзирателя, я мысленно переносился к дням моей юности, в дом отца, в крепостную эпоху. Арестантская работа — работа рабов, а такого рода труд не может вдохновить человека, не может дать ему сознание необходимости труда. Арестанта можно научить ремеслу, но любви к этому ремеслу ему нельзя привить. Напротив, в большинстве случаев он привыкает относиться к труду с ненавистью.

Не подлежит сомнению, что продолжительное заключение разрушает — неизбежно, фатально — энергию в человеке; оно убивает к тому же еще и волю. Заключенный не находит в тюремной жизни необходимости упражнять свою волю. Наоборот, если он ее имеет, он с нею наживет себе беды: воля арестанта д о л ж н а быть, по мнению начальства, убита, и ее убивают. Еще меньше возможности находит он для проявления естественной симпатии. Все делается так, чтобы помешать арестанту сноситься в стенах или за стенами тюрьмы с теми, к которым он чувствует влечение. Затем заключенный, по мере того как проходят годы, все

меньше и меньше становится способным в физическом и умственном отношении к напряженной работе. И если он уже прежде не любил регулярную работу, то это чувство только усиливается во время его острожной жизни.

Если прежде, чем человек попал в тюрьму, его утомлял монотонный труд, который он неспособен был выполнять надлежащим образом, или если он не взлюбил чрезмерную, плохо оплачиваемую работу, на которую обречен рабочий, то в тюрьме это чувство превращается в полное отвращение. Если прежде он только сомневался в полезности ходячих правил нравственности, то теперь, бросивши критический взгляд на официальных защитников этих правил и узнавши, как смотрят на них товарищи, он открыто бросает старый кодекс морали за борт. И если болезненное развитие страстного и чувственного темперамента толкнуло человека на преступное деяние, эта болезненная черта характера еще более разовьется за несколько лет заключения и достигает во многих случаях ужасающих размеров. В последнем направлении — наиболее опасном — сильнее всего сказывается влияние тюремного воспитания.

В Сибири я видел, какими безднами мерзости и какими очагами физического и нравственного развращения являются наши старые, грязные, переполненные арестантами остроги. Тогда, двадцатилетнему юноше, мне казалось, что эти учреждения могут быть значительно улучшены, если камеры не будут переполнены, если арестантов разделят на категории и дадут им здоровую работу. Теперь приходилось отказаться от всех этих иллюзий. Я мог убедиться, что самые лучшие, «реформированные» тюрьмы, — все равно, будут ли они одиночные или нет, — в отношении к арестантам и относительно пользы для общества так же плохи, как и старые, дореформенные остроги, если не хуже. Они не исправляют заключенных. Напротив, в громадном большинстве случаев, они имеют самое пагубное влияние. Вор, плут, грабитель, проведшие несколько лет в тюрьме, выходят оттуда, еще более готовыми приняться за старую профессию. Они теперь лучше подготовлены: они изучили все тайны ремесла и более озлоблены против общества. Они находят теперь лучшее оправдание своему восстанию против законов и обычаев. По необходимости, неизбежно человек все больше и больше погружается в противообщественные проступки, раз уже приведшие его в суд. То преступление, которое он совершит после освобождения, неизбежно будет более серьезного характера, чем то, за которое он попался в первый раз. И ему предопределено умереть или в тюрьме, или на каторге. В вышеупомянутой книге я говорил, что тюрьмы — «университеты преступности, содержимые государством». И теперь, думая через много лет об этом, я, на основании массы новых фактов, могу только повторить то же самое.

Лично я не имею никакого основания жаловаться на годы, проведенные мною во французской тюрьме. Для деятельного и независимого человека потеря свободы и деятельности сама по себе уже такое большое лишение, что обо всех остальных тюремных лишениях не стоит и говорить. Без сомнения, мы сильно томились нашею вынужденною бездеятельностью, когда до нас доходили слухи про оживленную политическую жизнь, начинавшуюся во Франции. Конец первого года, в особенности в мрачную зиму, всегда тяжел для заключенного. И когда наступает весна, больше чем когда-либо чувствуется лишение свободы. Когда я видел из окна камеры, как луга снова покрываются зеленью, а на холмах

опять висит весенняя дымка; когда в долине, бывало, промчится поезд, я, конечно, испытывал сильное желанье последовать за ним, подышать лесным воздухом или унестись в поток человеческой жизни в большом городе. Но тот, кто связывает свою судьбу с тою или другою крайнею партией, должен быть готов провести годы в тюрьме, и ему не следует на это роптать. Он сознает, что даже в заключении он не перестает в известной степени содействовать прогрессу человечества, который развивает и укрепляет дорогие ему идеи.

В Лионе тюремные надзиратели были очень грубый народ; в этом имели возможность убедиться мы все: товарищи, моя жена и я сам. Но после нескольких стычек все уладилось. На придачу администрация знала хорошо, что за нас — парижская пресса, и вовсе не желала навлечь на свои головы громы Рошфора или жгучую критику Клемансо. В Клэрво, оказалось, дело обошлось без столкновений. Всю администрацию сменили за несколько месяцев до нашего прибытия. Надзиратели убили в камере одного из арестантов и повесили потом его тело, чтоб представить смерть, как самоубийство. Но дело выплыло на этот раз благодаря врачу. Главного смотрителя и нескольких помощников сместили, и совершенно иные отношения установились в тюрьме. Вообще, я вынес из Клэрво самые лучшие воспоминания о директоре и, в конце концов, во время моего пребывания там не раз думал, что люди часто бывают лучше, чем те учреждения, к которым они принадлежат. Но, не имея личных жалоб, я тем более свободно и безусловно могу отрицать само учреждение, как пережиток мрачного прошлого, ошибочный в принципе и являющийся источником бесчисленных зол для общества.

Я должен упомянуть еще об одном, что поразило меня даже сильнее, чем деморализующее влияние тюрем на заключенных. Каким гнездом заразы является каждая тюрьма и даже каждый суд для соседей, для всех живущих вблизи! Ломброзо нашумел очень много своим «преступным типом», открытым будто бы им среди острожного населения. Если бы он с таким же вниманием наблюдал публику, тяготеющую к суду, — сыщиков, шпионов, уличных адвокатов, доносчиков и обманщиков всякого рода, — Ломброзо наверное пришел бы к заключению, что географическая сфера распространения «преступного типа» не ограничивается только тюремными стенами. Никогда я не видал такой богатой коллекции лиц самого низшего людского типа, как в лионском суде, где эти существа шныряли десятками. Ничего подобного я, конечно, не встречал в стенах Клэрво. Диккенс и Круикшэнк обессмертили некоторые из этих типов, составляющих совсем особый мир, который вращается вокруг судов и распространяет заразу далеко вокруг. То же самое относится ко всякой центральной тюрьме, в роде Клэрво. Вокруг тюрьмы, как масляное пятно, распространяется целая атмосфера мелкого воровства и мошенничества, шпионства и порочности всякого рода.

Все это я видел. И если до моего осуждения я знал уже, что современная система наказания дурна, то, оставляя Клэрво, я понял также, что система эта не только дурна и несправедлива, но что чистое безумие со стороны общества поддерживать на свой счет — по неведению или по притворному незнанию действительности — эти «университеты преступности» и эти гнезда развращения; все это под предлогом, что остроги необходимы для обуздания преступных инстинктов нескольких людей.

П. А. Кропоткин во время пребывания в тюрьме Клерво
1883 — 1886 гг.

XIV

Каждый революционер встречает на своем пути известное число шпионов и агентов-провокаторов. Я тоже сподобился этого добра. Все правительства тратят значительные деньги на содержание этих гадин, но, в сущности, они опасны только для зеленой молодежи. Кто знает немного жизнь и людей, быстро научается узнавать этот сорт людей, — что-то такое есть в этих людях, что заставляет сразу быть настороже. Вербуются они из подонков общества — из людей, нравственный уровень которых очень низок. И если кто присматривается к нравственному облику тех, с которыми встречается, то скоро замечает в манерах этих «столпов общества» нечто такое, что поражает его и заставляет задать себе вопрос: «Что привело этих людей ко мне? Что общего могут они иметь со мной?» В большинстве случаев этот простой вопрос достаточен, чтобы насторожиться.

Когда я в первый раз приехал в Женеву, агент русского правительства, который должен был следить за эмигрантами, был всем нам хорошо известен. Он назывался «графом Х.»; но так как у него не было ни лакея, ни кареты, на которой он мог бы поместить свой герб, то он вышил его на попонке своей собачки. Мы встречали его иногда в кафе, но не заговаривали с ним. В сущности, он был «безобидный», так как попросту покупал в киосках издания эмигрантов и, по всей вероятности, сдабривал их своими примечаниями в донесениях по начальству.

Совсем другой народ начал появляться в Женеве, когда туда стало приезжать новое поколение эмиграции. И однако, тем или иным путем, мы всегда узнавали и новых шпионов.

Когда на нашем горизонте появлялся неизвестный, ему с обычной нигилистичьей прямотой задавались вопросы о его прошлом, и что он думает делать. Таким образом быстро выяснялось, что за человек был перед нами. Откровенность во взаимных отношениях — лучшее средство для установления хороших отношений между людьми; в подобном же случае она неоценима. Люди, которых никто из нас не знал и о которых даже никто не слышал в России, совершенно неизвестные в наших кружках, приезжали в Женеву, и многие из них через несколько дней, а не то и часов, совсем сближались с колонией. Но шпионам, по той или другой причине, никогда не удавалось вкрасться к нам в дружбу. Шпион может назвать общих знакомых; он может дать самый лучший отчет, подчас даже верный, о своем прошлом в России; он может в совершенстве усвоить нигилистичьи манеры и жаргон; но он никогда не может усвоить нигилистичьей этики, создавшейся среди русской молодежи. И это одно держало его вдали от нашей колонии. Шпионы могут притворяться во всем, но только не в этих правилах нравственности.

Когда я работал вместе с Реклю, в Кларане жил подобный индивидуум, от которого мы все держались в стороне. Мы не знали ничего худого за ним, но чувствовали, что он «не наш». И чем больше он пытался проникнуть к нам, тем больше вызывал он подозрений. Я никогда не говорил с ним ни слова, и поэтому он особенно добивался моего знакомства. Видя, что обычным путем ему не втереться ко мне, он начал писать мне письма и назначать таинственные свидания для таинственных целей: в лесу или тому подобных местах. Шутки ради я раз принял приглаше-

кие и пошел на назначенное место, причем хороший мой приятель следовал издали. Но сей господин, который, вероятно, имел соумышленника, должно быть, узнал, что я не один, и не явился. Таким образом, я избавился от удовольствия когда бы то ни было разговаривать с ним. К тому же я тогда работал так усиленно, что каждая минута моего времени была занята или географией, или «Révolté»: для конспираций у меня не было времени. Однако мы узнали потом, что этот человек посылал в Третье отделение подробные отчеты о мнимых разговорах, которые он будто бы вел со мною, о моем доверии к нему и о страшных заговорах в Петербурге против царя, которыми я руковожу. Все это принималось в Петербурге за чистую монету. И не в одном Петербурге: в Италии также верили всякому вздору, присылавшемуся шпионами. Так, когда Кафиеро раз арестовали в Швейцарии, ему показали страшные отчеты итальянских шпионов, которые доносили своему правительству, что мы с Кафиеро, вооруженные бомбами, готовимся перейти границу. В действительности, я тогда еще не был в Италии и вовсе не собирался туда.

Нужно сказать, что шпионы не всегда составляют свои донесения из одних вымыслов. Часто они сообщают верные факты; но все зависит от того, каким образом рассказать происшествие. Мы не мало смеялись по поводу одного отчета, посланного французскому правительству шпионом, следовавшим за нами в 1881 году, на пути из Парижа в Лондон. Шпион, как это часто бывает, вел двойную игру и продал свой отчет Рошфору [288], который и напечатал его в своей газете. Все, что шпион доносил, было верно; но нужно было видеть, как это сообщалось! Соглядатай писал, например: «Я занял соседнее отделение с тем, в котором сидели Кропоткин с женой». Совершенно верно: он сидел там. Мы его заметили сразу, потому что его злобное, неприятное лицо привлекло наше внимание. «Они говорили все время по-русски, чтобы остальные пассажиры не могли их понять». Опять-таки совершенно верно: мы говорили по-русски, как всегда. «Когда они прибыли в Калэ, оба потребовали себе по бульону». Святая истина: мы спросили бульон. Но здесь начинается таинственная сторона путешествия. «После этого они оба внезапно исчезли. Я напрасно искал их на платформе и в других местах; когда же они опять появились, он был переодет, и с ним находился русский священник, который не оставлял его до самого Лондона, где я потерял его из виду». Опять-таки все это было совершенно верно. У моей жены слегка разболелся зуб, и я попросил у содержателя буфета позволения зайти в его комнату, где я мог бы прижечь зуб. Таким образом объясняется «исчезновение». А так как нам предстоял переезд через канал, я сунул мягкую поярковую шляпу в карман и надел меховую шапку: я «переоделся». Что же касается таинственного священника, то и он действительно существовал. Он был не русский, но это все равно, одет он был, во всяком случае, как греческий священник. Я увидал, как он стоял у буфета и просил чего-то, чего никто не понимал.

— Agua! Agua! * — повторял он жалобно.

— Дайте этому господину стакан воды, — сказал я служителю. Священник, пораженный моими изумительными лингвистическими способностями, стал благодарить меня за услугу с чисто восточным пылом.

* Воды! Воды!

Жена моя сжалилась над ним и попробовала заговорить с ним на различных языках, но он не понимал ни одного, кроме ново-греческого. Оказалось, наконец, что он знает несколько слов на одном из южно-славянских языков, и мы поняли следующее: «Я — грек; турецкое посольство, Лондон». Мы объяснили ему, больше знаками, что мы тоже едем в Лондон и что он может присоединиться к нам.

Забавнее всего то, что я действительно узнал для него адрес турецкого посольства раньше даже, чем мы прибыли на Чаринг-Кросский вокзал в Лондоне. Поезд остановился на какой-то станции, и в набитый уже вагон третьего класса вошли две изящно одетых дамы. Обе держали в руках газеты. Одна дама была англичанка, другая — красивая женщина, хорошо говорившая по-французски — выдавала себя за англичанку. Едва мы успели обменяться с нею несколькими словами, как она выпалила мне в упор:

— Что вы думаете о графе Игнатьеве? — и непосредственно за этим: — Скоро ли вы убьете нового царя?

Ее профессия выяснилась для меня по этим двум вопросам; но, вспомнив о моем священнике, я спросил ее:

— Не знаете ли вы, случайно, адрес турецкого посольства в Лондоне?

— На такой-то улице, такой-то номер дома, — ответила дама без запинки, как школьница.

— Вы, верно, знаете также, где русское посольство? — продолжал я.

И этот адрес был сообщен мне с тою же готовностью. Когда мы приехали на Чаринг-Кросский вокзал, дама навязчиво засуетилась около моего багажа. Она вызывалась даже нести в своих затянутых перчатками руках тяжелый чемодан, так что, наконец, к великому ее изумлению, я оборвал ее:

— Довольно; дамы не носят багажа мужчинам. Уходите!

Но возвращусь к моему правдолюбивому французскому шпиону. «Кропоткин вышел на Чаринг-Кросском вокзале, — рапортовал он, — не уезжал со станции около получаса после прибытия поезда до тех пор, покуда убедился, что все разъехались. Я все это время сторожил, спрятавшись за колонной. Убедившись, что все пассажиры разошлись с платформы, он с женой вскочил в кэб. Я тем не менее последовал за ним и слышал адрес, сообщенный извозчиком полисмену у ворот: «№ 12, улица такая-то». Я побежал за каретой. Вблизи не было извозчиков, так что я должен был бежать до Трафальгар-сквера, где нашел кэб. Тогда я погнался за ними. Они остановились у упомянутого дома».

Все эти факты, адрес и все прочее опять-таки верны. Но какой таинственный вид все это имеет! Я предупредил о моем приезде приятеля, русского, который, однако, проспал, так как в то утро стоял густой туман. Мы прождали его с полчаса, а затем, оставив вещи на вокзале, поехали к нему на квартиру.

«Они сидели до двух часов дня со спущенными шторами, — продолжал сыщик в своем рапорте, — и только тогда из дома вышел высокий человек, возвратившийся час спустя с их багажом». Даже и это замечание о спущенных шторах верно. По случаю тумана пришлось зажечь газ, и мы спустили шторы, чтобы избавиться от скверного вида маленькой улицы в Ислингтоне, закутанной в желтый туман.

Когда я работал вместе с Элизэ Реклю в Кларане, то два раза в месяц уезжал в Женеву, чтобы выпускать «Révolté». Раз, когда я пришел в ти-

графию, мне сказали, что какой-то русский желает меня видеть. Он уже побывал у моих друзей и объявил им, что приехал предложить мне издание новой русской газеты по типу «Révolté»; он вызывался дать для этого все необходимые деньги. Меня уговаривали повидаться с приезжим, и я пошел на свидание с ним в кафе. Он назвался мне немецким именем — скажем, Тонлэм — и выдавал себя за уроженца Балтийского края. Он хвастался большим состоянием, несколькими имениями и фабриками и негодовал на правительство за руссификацию остзейских губерний. В общем он производил несколько неопределенное впечатление, — не хорошее, но и не плохое, — так что друзья настаивали на том, чтобы я принял его предложение. Но мне он не особенно понравился с первого взгляда.

Из кафе он повел меня в гостиницу, в свой номер. Здесь он стал менее сдержан, стал больше самим собой, а потому произвел совсем невыгодное впечатление. «Вы не сомневайтесь в моем состоянии, — говорил он мне. — Я сделал замечательное открытие, которое даст мне кучу денег. Я возьму патент на него, и все деньги отдам на русскую революцию». Тут, к великому моему изумлению, он показал мне жалкий подсвечник, оригинальность которого заключалась в невероятном безобразии и в трех кусочках проволоки, чтобы вставлять свечу. Беднейшая хозяйка не польстилась бы на подобный подсвечник, и если бы, паче чаяния, патент и был взят, ни один фабрикант не дал бы за него больше четвертной. «Богатый человек — и возлагает надежды на подобный подсвечник, — подумал я, — да он наверное никогда не видал лучших». И мое мнение о нем определилось. Он не мог быть богачом, и деньги, которые он предлагал,— не его. Поэтому я напрямик заявил ему:

— Хорошо, если вам так желательно иметь русскую революционную газету и если вы такого лестного мнения обо мне, как вы говорите, то внесите деньги на мое имя в какой-нибудь банк, в полное мое распоряжение. Но предупреждаю вас, что вы не будете иметь никакого касательства к газете.

— О, конечно, конечно! — отвечал он. — Я ограничусь тем, что порой только буду в редакции, иногда подам совет и помогу вам перевозить газету в Россию.

— Нет, ничего этого не будет. Вы совсем не должны меня видеть.

Друзья мои полагали, что я слишком сурово обошелся с человеком; но некоторое время спустя мы получили письмо из Петербурга, в котором нас предупреждали, что у нас будет шпион из Третьего отделения, по имени Тонлэм. Подсвечник, таким образом, оказал нам хорошую услугу.

На подсвечнике или на чем-нибудь другом, но эта братия всегда выдает себя, так или иначе. В Лондоне, в туманное утро, в 1881 году нас навестили два русских. Одного из них я знал по имени, другой — молодой человек, которого первый рекомендовал, как своего приятеля — был мне совершенно незнаком. Он вызвался сопровождать своего приятеля во время кратковременного пребывания в Лондоне. Так как его рекомендовал знакомый, то у меня не было никаких подозрений относительно него. Но в тот день я был очень занят и попросил другого знакомого, жившего поблизости, найти для них комнату и показать им Лондон. Моя жена, которая тоже еще не видала Англию, отправилась вместе с ними. Вернувшись вечером, она заметила мне:

„Остров Робинзон"
Рисунок П. А. Кропоткина 1889 г.

Дочь П. А. Кропоткина
Рисунок карандашом П. А. Кропоткина

— Знаешь, этот человек мне очень не нравится. Остерегайся его.

— Но почему? В чем дело? — спрашивал я.

— Ничего, решительно ничего; но только он наверно «не наш». По его обращению с прислугой в кафе и по тому, как он платит деньги, я сразу поняла, что он «не наш».

— А если так, то зачем ему было являться к нам?

Жена была так уверена в своих подозрениях, что, исполняя долг гостеприимства, она в то же время ни на минуту не оставляла молодого человека одного в моей комнате. Мы завели разговор, и тут гость стал все больше и больше проявлять низость своего характера, так что даже его знакомый краснел за него. Когда же я задал ему более подробные вопросы о его прошлом, ответы получились еще менее удовлетворительные. Мы насторожились. Короче, дня через два оба оставили Лондон, а через две недели я получил от моего приятеля отчаянное письмо, в котором он извинялся, что представил мне молодого человека, состоявшего, как оказалось, в Париже шпионом при русском посольстве. Я справился со списком тайных агентов во Франции и в Швейцарии, который мы, эмигранты, получили недавно от Исполнительного Комитета (у него были свои люди всюду в Петербурге). И в этом списке я нашел имя молодого человека. Была изменена только одна буква.

Основать оплачиваемую полицией газету, с полицейским агентом во главе — старая штука; к ней и прибег парижский префект полиции в 1881 году. Я жил с Элизэ Реклю в горах, когда мы получили письмо от одного француза или, точнее, бельгийца, сообщавшего нам, что он собирается основать анархическую газету в Париже и просит нашего сотрудничества. Письмо, наполненное лестью, произвело на нас неблагоприятное впечатление. К тому же Реклю смутно припоминал, что слышал имя автора письма в связи с какой-то неприглядной историей. Мы решили отказаться от сотрудничества, и я написал приятелю в Париж, что мы должны сперва узнать, откуда идут деньги, на которые газета будет основана. Быть может, деньги дают орлеанисты: штука не новая, не раз практиковавшаяся этой семьей; мы должны знать источники. Мой приятель в Париже, с откровенностью, свойственной рабочим, прочитал мое письмо на собрании, на котором присутствовал и будущий издатель газеты. Тот сделал вид, что крайне оскорблен, и мне пришлось ответить на несколько писем по этому поводу; но я твердо стоял на своем: «Если лицо, о котором идет речь, серьезно относится к делу, оно поймет, что должно объяснить нам, откуда явились деньги. Если нет, то это не революционер, и никакого дела мы с ним иметь не можем».

В конце концов, этот господин ответил на настойчивые вопросы, что деньги дает его тетка, богатая дама, придерживающаяся старых взглядов, но уступившая, наконец, настойчивому желанию племянника иметь свою собственную газету. Дама живет не во Франции, а в Лондоне. Мы потребовали тогда, чтобы нам дали ее имя и адрес, а наш друг Малатеста вызвался повидаться с ней. Он отправился с другим приятелем — итальянцем, торговавшим подержанной мебелью. Дама занимала небольшую квартиру. Покуда Малатеста беседовал с «теткой» и все больше и больше приходил к заключению, что она играет только роль в комедии, приятель его, перекупщик, осматривал столы и стулья и нашел, что вся мебель

взята напрокат — вероятно, не дальше как накануне — у его соседа, тоже перекупщика. Ярлыки торговца виднелись еще на столах и стульях. Конечно, это еще ничего не доказывало, но наши подозрения усилились. Я наотрез отказался иметь что-нибудь общее с изданием.

Газета была кровожадная до крайности. Поджоги, убийства и динамитные бомбы проповедывались в каждом номере. Я встретил издателя этой газеты несколько месяцев спустя на Лондонском конгрессе, в июле 1881 года, и как только я увидел его отекшее лицо, услыхал его разговор и присмотрелся к женщинам, в обществе которых он постоянно обретался, мое мнение о нем определилось. На конгрессе, на котором он предлагал всякого рода страшные резолюции, все держались от него в стороне. А когда он захотел узнать адреса анархистов во всех странах, ему отказали далеко не в вежливой форме. Короче сказать, его разоблачили месяца два спустя, и газета на следующий день после этого прекратилась. Года два спустя префект парижской полиции Андрие издал свои записки. В них он говорил о газете, основанной им, и называл издателя этой кровожадной газеты, того самого господина Серро, который возбудил наши подозрения. Андрие рассказал также и о взрыве, который устроили его агенты в Париже, подложив «начиненные чем-то» коробки от сардинок под памятник Тьера.

Можно себе представить, какую кучу денег стоило все это Франции и другим нациям!

Я мог бы написать несколько глав на тему о шпионах, но ограничусь только одним еще рассказом о двух авантюристах в Клэрво.

Жена моя жила тогда в единственной маленькой гостинице, в деревне, выросшей под сенью тюремных стен. Раз хозяйка вошла к ней в комнату с посланием от двух господ, которые только что прибыли в гостиницу и желали видеть мою жену. Хозяйка пустила в ход все свое красноречие в их пользу:

— О! я знаю людей, — говорила она, — и могу вас уверить, мадам, что это настоящие господа, самые что ни на есть отменные! Один из них называет себя германским офицером, но он наверное, либо барон, либо «милорд», а другой — его переводчик. Они вас знают очень хорошо. Барон отправляется в Африку — быть может, навсегда — и желает вас видеть перед своим отъездом.

Жена моя взглянула на адрес письма, на котором значилось так: «A madame la princesse Kropotkine. Quand à voir?» * Ей не нужны были уже другие доказательства, чтобы убедиться, кто такие эти «что ни на есть отменные господа». Что касается содержания письма, то оно было еще хуже, чем адрес. Наперекор всем правилам грамматики и здравому смыслу «барон» писал о каком-то таинственном сообщении, которое желал ей передать. Жена решительно отказалась принять автора письма и его переводчика. Тогда «барон» стал бомбардировать ее письмами, которые она возвращала невскрытыми. Вскоре вся деревня разделилась на две партии: одна, во главе с хозяйкой, стояла за барона, другая, с хозяином во главе — против него. В деревне циркулировала уже романтическая история: барон знал мою жену раньше, чем она вышла за меня. Он танцовал с ней много раз в русском посольстве в Вене. Он все еще влюблен в нее,

* «Княгине Кропоткиной. Когда можно видеть?»

а она, жестокая, не позволяет ему даже взглянуть на себя перед отправлением в опасную экспедицию!

Затем пошла в ход таинственная история про мальчика, которого мы, — рассказывали, — скрываем. «Где их мальчик?» — барон желал это знать. «У них сын, которому теперь шесть лет. Где он?» «Она никогда не рассталась бы с сыном, если бы у них был ребенок», — говорила одна партия. «Да, рассказывайте! У них есть мальчик, но они его прячут», — заявляла другая сторона.

Для нас двух этот спор был интересным откровением. Он доказал нам, что не только тюремное начальство читает мои письма, но что их содержание становится известным и русскому посольству. Когда я был в Лионе, а жена поехала в Швейцарию, чтобы повидаться с Элизэ Реклю, она писала мне раз: «Наш мальчишка» процветает: здоровье его отлично. Вчера ему минуло пять лет, и мы провели весело вечер, празднуя его рождение». Я знал, что жена говорит о «Révolté», так как мы часто называли его «notre gamin» — нашим мальчишкой.

Теперь, когда эти господа осведомлялись о «нашем мальчишке» и точно указывали даже его возраст, было очевидно, что письмо побывало в руках не у одного тюремного смотрителя. Это следовало принять к сведению.

Ничто не ускользает от внимания деревенских жителей, и барон скоро вызвал некоторые подозрения. Он написал жене новое письмо, еще более красноречивое, чем прежние. Теперь он просил прощения за то, что, добиваясь свидания с ней, выдавал себя за ее знакомого. Он признавался, что она его не знает, но, тем не менее, он доброжелателен и должен сделать важное сообщение. Жизнь моя подвергается большой опасности, о чем он и желает предостеречь. Барон и секретарь его пошли в поле, чтобы вместе прочесть письмо и посоветоваться насчет его содержания. Лесной сторож следовал за ними издали. Они не сошлись во взглядах на письмо, разорвали его и бросили в поле. Тогда сторож обождал, покуда они скрылись из виду, подобрал лоскутки и прочел письмо. Через час вся деревня знала уже, что барон никогда не был знаком с моей женой; романтическая история, которую с таким чувством передавала партия барона, рассеялась, как дым.

— Ага! В таком случае они — не то, за что себя выдают, — заключил в свою очередь местный жандарм. — Значит, они — немецкие шпионы, — и арестовал их.

Нужно сказать в защиту жандарма, что незадолго до того в Клэрво, действительно, побывал немецкий шпион. Во время войны громадное тюремное здание может служить провиантским депо или казармами для войска; поэтому германский генеральный штаб, конечно, желал знать внутреннее расположение здания и военное его значение. И вот раз в нашу деревню прибыл веселый странствующий фотограф; он завел дружбу со всеми, снимая всех даром, и ему разрешили снять не только тюремный двор, но даже камеры. Сделав все это, он отправился в другой город, тоже на восточной границе, и здесь его арестовали французские власти и нашли на нем компрометирующие военные документы. Бригадье, в котором свежо еще было воспоминание о развязном фотографе, пришел к заключению, что барон и его секретарь тоже немецкие шпионы, и доставил их в тюрьму, в маленький городок Бар-сюр-Об. Там их освободили на

другой же день, и местная газета заявила, что задержанные — «не германские шпионы, а лица, посланные другой, более дружественной, державой».

Теперь общественное мнение всецело восстало против барона и его секретаря. Их приключения не кончились. После освобождения они зашли в маленькое деревенское кафе и, за бутылкой вина, стали по-немецки отводить душу в дружеском разговоре. «Ты дурак и трус, — говорил мнимый секретарь мнимому барону. — Будь я на твоем месте, я угостил бы вот из этого револьвера следственного судью. Пусть он только попробует проделать то же со мной: я ему всажу пулю в лоб», и так далее.

Тем временем странствующий приказчик, спокойно сидевший в углу, немедленно побежал к бригадье и передал ему подслушанный разговор. Бригадье составил тут же протокол и снова арестовал секретаря, оказавшегося аптекарем из Страсбурга. Его доставили в полицейский суд, в тот же Бар-сюр-Об, и присудили к месячному тюремному заключению «за угрозы судье в общественном месте». После этого у барона были еще другие приключения, и деревня приняла свой обычный спокойный вид только после отъезда обоих незнакомцев.

Эта шпионская история имела комический финал. Но сколько трагедий — ужасных трагедий — создают эти негодяи! Сколько драгоценных жизней потеряно, сколько семейств, счастье которых разрушено — и все для того, чтобы подобные мерзавцы могли жить в довольстве. Когда подумаешь о тысячах разъезжающих всюду шпионов, находящихся на содержании у всех правительств; о западнях, расставляемых ими неосторожным людям; о человеческих жизнях, кончающихся трагически благодаря им; когда вспомнишь о страданиях, рассеиваемых этими негодяями всюду на своем пути; о значительных суммах, издерживаемых на содержание этой гнусной армии, вербуемой среди отбросов общества; о пороках, прививаемых ими обществу вообще и в частности отдельным семьям; когда подумаешь обо всем этом, — нельзя не содрогнуться перед тем непомерным злом, которое идет от них. И эта армия состоит не только из господ, являющихся шпионами, политическими или военными. В Англии есть газеты, в особенности в курортах, столбцы которых наполнены объявлениями «сыскных агентов», берущихся собирать весь необходимый материал для разводов, выслеживающих мужей по поручению жен и жен по поручению мужей, проникающих в семьи, улавливающих глупцов и делающих все, что угодно, лишь бы им платили. Люди скандализируются теми мерзостями системы шпионства, которые недавно раскрылись во Франции в высших военных сферах; но они не замечают, что и среди них, быть может в их же доме тайные агенты, официальные и частные, делают то же самое, если еще не хуже.

XV

Требования о нашем освобождении поднимались беспрестанно как в печати, так и в палате депутатов. Тем более, что одновременно с нами осудили Луизу Мишель... за грабеж! Луизу Мишель, которая буквально отдает последнюю свою шаль или накидку нуждающейся женщине, а во время тюремного заключения никогда не хотела иметь лучшую пищу, чем другие заключенные, и всегда отдавала другим то, что ей присылали — и вдруг ее присудили к девятигодичному заключе-

нию за открытый грабеж! Это казалось несообразным даже для оппортунистов-буржуа. Действительно, Луиза Мишель стала раз во главе процессии безработных и, войдя в булочную, взяла несколько хлебов и разделила их между голодными: в этом заключался ее грабеж.

Освобождение анархистов превратилось, таким образом, в боевой клич против правительства, и осенью 1885 года всех моих товарищей, за исключением троих, освободили декретом президента Греви. Тогда еще громче стали требовать, чтобы освободили Луизу Мишель и меня. Однако против моего освобождения был Александр III. Раз премьер-министр Фрейсинэ, отвечая на запрос в палате, решился, даже сказать, что «дипломатические осложнения препятствуют освобождению Кропоткина». Странные слова в устах первого министра независимой страны! [289] Но еще более странные слова говорились впоследствии, после заключения этого злосчастного союза между республиканскою Францией и царскою Россией. Наконец, в середине января 1886 года, освободили Луизу Мишель, меня и трех товарищей, остававшихся со мною в Клэрво.

Мое освобождение означало также освобождение моей жены от ее добровольного заключения в деревушке у тюремных ворот, которое начинало сказываться на ее здоровье. Мы отправились в Париж, чтобы провести несколько недель у нашего друга Эли Реклю [290], известного антрополога, которого за пределами Франции часто смешивают с его младшим братом, географом Элизэ. Тесная дружба с раннего детства связывала обоих братьев. Когда пришло для них время поступать в университет, они пошли вместе в Страсбург пешком из деревни, лежащей в долине Жиронды. Как настоящих странствующих студентов, их сопровождала собака; и когда они останавливались в деревнях, то чашку супа получал четвероногий товарищ, тогда как ужин братьев зачастую состоял из хлеба и нескольких яблок. Из Страсбурга молодые братья пошли в Берлин, куда их привлекли лекции великого Риттера. Впоследствии, в сороковых годах, они оба были в Париже. Эли Реклю стал убежденным фурьеристом; оба видели в движении 1848 года наступление новой эры. Вследствие этого после государственного переворота Наполеона III они вынуждены были оставить Францию и эмигрировали в Англию.

После амнистии братья Реклю возвратились в Париж, где Эли издавал фурьеристскую кооперативную газету, которая пользовалась широким распространением среди рабочих. Замечу кстати, что Наполеон III, игравший, как известно, роль Цезаря и, как подобает Цезарю, интересовавшийся положением рабочих классов, отправлял одного из своих адъютантов в типографию газеты каждый раз, когда она должна была выйти, чтобы привезти в Тюильри первый экземпляр прямо из-под станка. Впоследствии Наполеон III готов был даже покровительствовать Интернациональной рабочей ассоциации, под условием, что она выразит в одном из своих бюллетеней, в нескольких словах, доверие к великим социальным реформам Цезаря. Но Интернационал наотрез отказался, и Наполеон приказал начать против него судебное преследование.

Когда провозглашена была Коммуна, оба брата всем сердцем присоединились к ней. Эли принял пост хранителя Национальной библиотеки и Луврского музея, под управлением Вальяна [291]. В значительной степени, благодаря его предусмотрительности и неусыпным трудам, уцелели, во время бомбардирования Парижа и последовавших затем пожаров, несмет-

ные сокровища человеческого знания и искусства, собранные в этих двух учреждениях. Страстный поклонник античного искусства и глубокий знаток его, он упаковал все наиболее ценные статуи и вазы Лувра и спрятал их в подвалах здания. Он принял величайшие предосторожности, чтобы укрыть в безопасном месте наиболее драгоценные книги Национальной библиотеки и спасти здание от пожаров, свирепствовавших кругом. Жена его, мужественная женщина, достойная подруга философа, сопровождаемая на улице двумя своими маленькими мальчиками, устраивала тем временем в своем квартале столовые для народа, который во время второй осады доведен был до крайней степени нужды. В последние недели своего существования Коммуна поняла, наконец, что главной ее заботой должно бы быть снабжение пищей народа, лишенного возможности зарабатывать себе хлеб, и добровольцы вызвались выполнить это. Только по чистой случайности Эли Реклю, занимавший свой пост до последнего момента, не был расстрелян версальцами. Его приговорили к каторге за то, что он дерзнул принять от Коммуны столь необходимый пост. Но он скрылся и перебрался с семьей в Швейцарию.

Теперь, возвратившись в Париж, он принялся за труд, составлявший цель его жизни — за этнографию. О достоинствах этого труда можно судить по немногим главам, изданным отдельно под названием «Les Primitifs» * и «Les Australiens» **, а также по истории происхождения религий, которую он излагал в лекциях в Брюсселе, в Ecole des Hautes Etudes ***. Во всей этнографической литературе немного найдется произведений, до такой степени проникнутых симпатией к дикарям и пониманием их. Что касается до истории религий (часть была напечатана в журнале «Société Nouvelle» ****, издававшемся впоследствии под названием «Humanité Nouvelle» *****, то это, по моему мнению, лучший труд, появившийся по этому вопросу. Без сомнения, труд Реклю лучше попыток Спенсера в том же роде, потому что английский философ, несмотря на весь свой мощный ум, не обладал тою способностью понимания безыскусственной и простой натуры первобытного человека, которая так развита в Эли Реклю. Ко всему этому Эли присоединяет еще глубокое знание мало разработанной ветви народной психологии — р а з в и т и я и п р е о б р а з о в а н и я верований. Нечего и говорить о замечательной доброте и скромности Эли Реклю или о его сильном уме и глубоком понимании всего, касающегося развития человечества. Все это видно в его стиле, не имеющем себе равного. По своей скромности, спокойствию движений и философской прозорливости, он — типичный древнегреческий философ. В обществе, менее увлеченном методами патентованного образования и отрывочного знания и более ценящем развитие широких гуманитарных понятий, Эли Реклю был бы окружен, как бывали его древние предшественники, множеством учеников.

В то время как мы жили в Париже, там росло оживленное анархическое и социалистическое движение. Луиза Мишель читала лекции ка-

* «Первобытные племена».
** «Австралийцы».
*** «Высшая школа», из которой возник вольный Новый брюссельский университет, где Эли и Элизе Реклю были профессорами.
**** «Новое Общество».
***** «Новое Человечество».

ждый вечер, и ее восторженно принимала публика как рабочая, так и буржуазная. И без того широкая популярность Луизы еще больше увеличилась и распространилась даже среди студентов, которые, быть может, ненавидели ее крайние взгляды, но преклонялись перед ней, как перед идеальной женщиной. Когда я был в Париже, произошла даже драка в кафе, потому что один из присутствующих отозвался непочтительно о Луизе Мишель в присутствии студентов. Молодые люди ополчились в ее защиту, пустились в драку и разгромили все столы и стулья.

Я также прочел одну лекцию об анархизме [292] перед публикой в несколько тысяч человек, и оставил немедленно Париж, прежде чем правительство успело послушаться реакционной и руссофильской прессы, настаивавшей на моем изгнании из Франции.

Из Парижа мы отправились в Лондон, где я еще раз встретил моих старых друзей — Степняка и Чайковского. Социалистическое движение было теперь в полном разгаре, и жизнь в Лондоне больше не была для меня скучным, томительным прозябанием, как четыре года тому назад. Мы поселились в маленьком коттедже в Харрò, под Лондоном. Меблировка нас мало заботила. Значительную часть ее мы смастерили с Чайковским. Он тем временем побывал в Соединенных Штатах, где научился немного плотничать. Мы с женой были также очень рады, что при доме оказался клочок земли. Хотя то была тяжелая мидльсекская глина, но мы с большим увлечением стали огородничать и получали великолепные результаты, которые следовало предвидеть — после знакомства с сочинением Тубо и некоторыми парижскими огородниками, а также и после наших собственных опытов в тюремном саду, в Клэрво. Что касается до моей жены, которая перенесла тиф вскоре после того как мы поселились в Харрò, то работа в саду в период выздоровления лучше помогла ей укрепиться в силах, чем помогло бы пребывание в самом лучшем санатории.

В конце лета нас сразил страшный удар. Мы узнали, что моего брата Александра нет более в живых [293].

С тех пор как я был за границей, до моего заключения во Франции, мы никогда не переписывались. В глазах русского правительства — любить брата, которого преследуют за политические убеждения, уже тяжелый грех. Поддерживать же с ним сношения, когда он в изгнании — преступление. Подданный царя обязан ненавидеть всех, возмутившихся против верховной власти, а брат находился в руках русской полиции. Я упорно отказывался поэтому писать ему или кому-нибудь из моих родственников. После того как царь ответил на прошение сестры Елены: «Пусть посидит», оставалось очень мало надежды на скорое освобождение брата. Впоследствии назначена была комиссия для определения срока административно-ссыльным в Сибири, и брату назначили пять лет. С теми двумя годами, что он уже пробыл в ссылке, это составляло семь. При Лорис-Меликове назначена была другая комиссия, которая прибавила еще пять лет. Брат, таким образом, кончал срок в октябре 1886 года, отбывши двенадцать лет ссылки сперва в Минусинске, а потом в Томске. Здесь, в низменностях Западной Сибири, он не мог даже пользоваться здоровым климатом высоких степей.

Когда я сидел в Клэрво, брат написал мне, и мы обменялись несколькими письмами. Он написал, что так как наша переписка будет читаться жандармами в Сибири и тюремными властями во Франции, то мы можем,

наконец, переписываться под этим двойным надзором. Он писал о семейной жизни, о своих троих детях, которых описывал очень хорошо, и о своей работе. Он очень советовал мне внимательно следить за развитием науки в Италии, где производятся превосходные, оригинальные исследования, которые остаются, однако, неизвестными ученому миру, пока их не использует кто-нибудь в Германии. Высказывал он также свое мнение о вероятном ходе политической жизни в России. Он не верил в возможность у нас в ближайшем будущем конституционного строя по образцу западно- европейских парламентов; но он ждал (и считал вполне достаточным для настоящего времени) созыва Земского Собора. Собор не имел бы законодательной власти, но только подготовлял бы проекты законов, которым государственный совет и царская власть давали бы окончательную форму и утверждение.

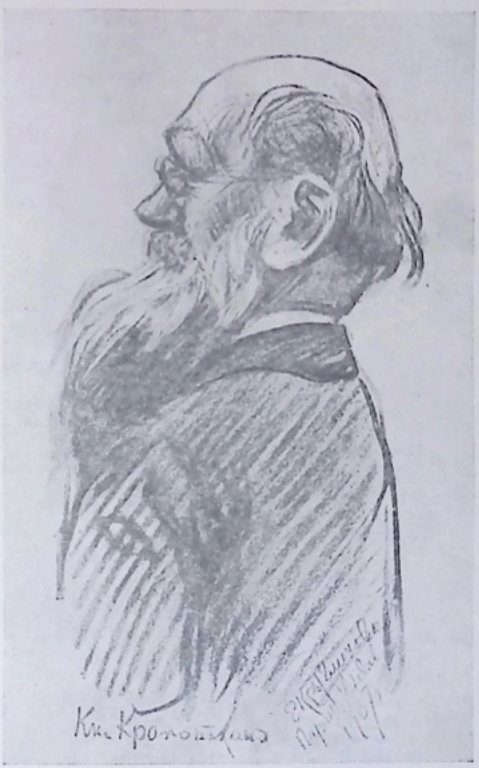
Больше всего он писал мне о своих научных работах. Брат всегда питал особенную склонность к астрономии, и, когда мы были в Петербурге, он напечатал по-русски отличный свод всего того, что известно было о падающих звездах. При помощи своего тонкого критического ума он легко различал сильные и слабые стороны различных гипотез и, без достаточного знания математики, лишь при помощи живого воображения, он схватывал результаты самых запутанных математических исследований. Живя воображением среди небесных тел, он часто постигал их сложные движения лучше некоторых математиков, особенно чистых алгебраистов, которые иногда теряют из виду действительность физического мира и видят только свои формулы и логические выводы из них. Наш петербургский астроном, старик Савич, говорил с большим уважением о работе брата. «Такие критические сводные работы нужны нам, наблюдателям и исследователям, — говорил он.

В Сибири брат принялся изучать строение звездного мира и взялся за разбор гипотез о мирах солнц, о звездных кучах и туманностях, разбросанных в бесконечном пространстве. Он старался угадать их вероятные взаимные отношения, их жизнь и законы их развития и исчезновения. Пулковский астроном Гильдэн очень заинтересовался этой новой работой брата и письменно познакомил его с известным исследователем звездного мира, американским астрономом Хольденом, которого лестное мнение о работах брата я недавно имел удовольствие слышать лично в Вашингтоне. Время от времени науке нужны именно подобные обобщения широкого размаха, произведенные добросовестным, трудолюбивым умом, одаренным и критическим духом и воображением.

Но в небольшом сибирском городе, вдали от библиотек, лишенный возможности следить за прогрессом науки, брат успел разобрать только те изыскания, которые были сделаны до его ссылки.

С тех пор появилось по тому же вопросу несколько капитальных сочинений. Александр знал о них; но как доставать необходимые книги, пока он оставался в Сибири? Окончание срока ссылки не внушало ему радужных надежд. Он знал, что ему не позволят жить в университетских городах и не пустят также за границу: за сибирской ссылкой последует другая, быть может, еще худшая, в какой-нибудь захолустный городок Восточной России.

Отчаяние овладевало им. «Порою на меня нападает фаустовская тоска», — писал он мне. Когда срок ссылки подходил к концу, он отпра-



П. А. Кропоткин

Рисунок Е. С. Кругликовой. Париж 1907 г.

вил жену и детей в Россию с последним пароходом перед закрытием навигации. И в одну темную ночь фаустовская тоска положила конец его жизни...

Туча мрачного горя висела над нашим домиком несколько месяцев, до тех пор, покуда луч света не прорезал ее. В следующую весну на свет явилось маленькое существо, носящее имя брата. И беспомощный крик ребенка затронул в моем сердце новую, неведомую до тех пор струну.

XVI

В 1886 году социалистическое движение в Англии было в полном ходу. Многочисленные группы рабочих открыто присоединялись к нему в главных городах. Представители средних классов, в особенности молодежь, всячески ему помогали. В том году многие отрасли промышленности переживали сильный кризис. Каждое утро, а иногда и весь день, я слышал, как на улицах партии безработных распевали заунывную песнь: «Мы безработные» или какой-нибудь гимн и молили о хлебе. Много народа проводило ночи на Трафальгар-сквере в дождь и ветер, прикрывшись газетным листом. И раз, в феврале, толпа, выслушав речи Бериса, Гайндмана и Чэмпиона, бросилась на Пикадилли, — одну из самых богатых улиц Лондона, — разбила несколько стекол в громадных магазинах и заставляла проезжих выходить из их экипажей. Гораздо большее значение, чем этот взрыв неудовольствия, имел, впрочем, тот дух, который господствовал среди беднейшей части рабочего населения на окраинах Лондона. Он был так враждебен к имущим, что если бы вожакам движения, привлеченным к ответственности за этот «мятеж», суд вынес суровые приговоры, то пробудился бы дотоле неизвестный в последних рабочих движениях Англии дух ненависти и мести — симптомы его были ясно видимы в 1886 году, и он наложил бы тогда свой отпечаток на долгое время на все последующие движения. Но средние классы поняли опасность. Немедленно в Вэст-Энде (западной, богатой части Лондона) собраны были громадные суммы для облегчения нищеты в бедной части — Ист-Энде. Конечно, этих денег совершенно нехватало, чтобы облегчить широко распространенную нищету, но их было достаточно, чтобы проявить хорошие намерения. Что касается до арестованных агитаторов, то на основании тех же соображений их приговорили только к двух- и трехмесячному тюремному заключению.

Во всех слоях общества заинтересовались тогда социализмом и различными проектами реформ и преобразования общества. Осенью и затем зимою ко мне постоянно обращались с предложением читать лекции. Таким образом, я объехал почти все большие города Англии и Шотландии, читая лекции отчасти о тюрьмах, но больше всего об анархическом социализме. Так как я обыкновенно принимал первое сделанное мне предложение гостеприимства после окончания лекции, то мне приходилось иногда ночевать в богатом дворце, а на другой день в бедном жилище рабочего. Каждый вечер я виделся после лекции со множеством народа, принадлежавшего к самым различным классам. И в скромной ли комнате рабочего или в гостиной богача завязывалась одинаково оживленная беседа о социализме и анархизме, продолжавшаяся до глубокой ночи.

пробуждая надежды в коттеджах и опасения в богатых домах. Всюду она велась с одинаковой серьезностью.

У богачей главный вопрос был: «Чего желают социалисты? Что они намереваются делать?» Затем следовало: «Какие уступки абсолютно необходимо будет сделать в известный момент для избежания серьезного столкновения?» Во время этих разговоров мне редко приходилось слышать, чтобы требования социалистов назывались несправедливыми или вздорными; но я находил также повсеместно твердую уверенность в том, что революция в Англии невозможна, ибо стране придется гибнуть от голода, и что требования большинства рабочих еще не достигли ни того размера, ни той точности, которые высказываются в требованиях социалистов. «Рабочие, — говорили мне, — удовлетворятся гораздо меньшим; второстепенные уступки, обеспечивающие им легкое увеличение благосостояния и немного больший досуг они примут, как временный залог лучшего будущего». «Англия — страна левого центра; мы всегда живем компромиссами», — заметил мне раз один старый член парламента — Джозеф Коуэн, который из долгого опыта хорошо знал свою страну.

В жилищах рабочих ко мне также обращались с другими вопросами, чем во Франции и Швейцарии. Рабочих латинской расы глубоко интересуют общие принципы; частные же изменения определяются самими этими принципами. Если какой-нибудь городской совет отпускает во Франции деньги на поддержание стачки или устраивает бесплатные столовые для детей в школах, то этим фактам не придают важного значения. Их считают вполне естественными. «Это само собой разумеется: голодный ребенок не может учиться, — скажет рабочий, — нужно же накормить». А если какая-нибудь городская дума ассигнует денег на стачку, французский рабочий спокойно заметит: «Хозяин, конечно, был неправ, коли довел рабочих до этой стачки: их следовало поддержать». Этим и ограничатся все разговоры. Вообще рабочие не придают никакого значения ничтожным уступкам в пользу коммунизма, делаемым в нынешнем индивидуалистическом обществе. Мысль рабочего забегает вперед. Он спрашивает себя: «Если переходить к социалистическому строю, то к т о должен будет предпринять организацию производства? Община, союзы рабочих, городская дума или государство? Достаточно ли одного вольного соглашения для поддержания общественного строя? Какой нравственный двигатель заменит существующее ныне в обществе принудительное начало? Может ли выборное демократическое правительство выполнить необходимые глубокие изменения в социалистическом направлении, и не должен ли будет совершившийся факт — захват собственности — предшествовать законодательным реформам?» Вот на какие вопросы мне приходилось отвечать во Франции.

В Англии, наоборот, больше всего заботились о том, чтобы получить ряд уступок и паллиативов. Но, с другой стороны, рабочие давно уже решили невозможность социализации производства г о с у д а р с т в о м, и больше всего их интересовала созидательная деятельность рабочего движения, а равно и средства, которые могли бы привести к осуществлению их желаний.

— Хорошо, Кропоткин, предположим, что завтра мы овладеем доками в нашем городе. Как думаете вы управлять ими? — в те годы задавали мне, например, вопрос, как только мы усаживались в комнате ра-

бочего. Или же железнодорожные рабочие писали мне: «Нынешнее нахождение железных дорог в руках отдельных компаний не что иное, как организованный грабеж. И нам вовсе не улыбается также государственное заведывание. Но предположим, что рабочие завладели железными дорогами. Как организовать тогда пользование ими?» Недостаток общих идей заменялся, таким образом, желанием глубже проникнуть в мелкие подробности и частности и разрешить затруднения, которые наверно возникнут в жизни.

Другою характерною чертою движения в Англии было значительное число лиц из средних классов, поддерживающих его всяким образом. Одни из них открыто присоединялись к движению, другие косвенно помогали ему. Во Франции и в Швейцарии обе партии, рабочие и средние классы, стояли в боевом порядке друг против друга, резко разделенные на два лагеря. Так было, по крайней мере, в 1876—1885 годах. Когда я жил в Швейцарии, то знакомства мои были исключительно среди работников; вряд ли я имел двух или трех знакомых из средних классов. В Англии это было бы невозможно. Значительное число мужчин и женщин из буржуазии, не колеблясь, открыто являлись в Лондоне и в провинции нашими помощниками при устройстве социалистических митингов, при сборе в парках денег в пользу стачечников, секретарями в секциях, организаторами манифестаций. Кроме того, мы видели зачатки движения «в народ», подобное тому, которое совершалось в России в начале семидесятых годов, — хотя не такого глубокого, не проникнутого таким же самоотречением, — иногда при этом не лишенного характера благотворительности, который совершенно отсутствовал у нас. В Англии тоже многие искали всякие способы сближения с рабочими, посещая для этого трущобы и устраивая народные университеты, «поселения» интеллигентов в трущобных кварталах, как Тойнби-Холл, и т. д.

Нужно сказать, что тогда действительно существовал значительный порыв энтузиазма. Многие из образованных классов думали, без сомнения, что социальная революция уже начинается, как это говорит герой комедии Вильяма Морриса, «Tables Turned», у которого вырывается фраза: «Революция не только приближается, она уже началась». Случилось, однако, то, что всегда бывает с подобными энтузиастами: когда они увидели, что в Англии, как и всюду, нужна долгая, упорная предварительная работа, чтобы преодолеть все препятствия, значительная часть их удалилась от борьбы. Теперь они довольствуются ролью сочувствующих зрителей.

XVII

Я принял живое участие в этом движении, и с несколькими товарищами мы основали, в придачу к существовавшим уже трем социалистическим газетам, анархическое ежемесячное издание «Freedom» *, которое живет и до сих пор. В то же время я опять принялся за научную разработку анархизма, которая была прервана моим арестом. Критическая часть моей работы — критика современного общества — была издана

* «Свобода».

Элизэ Реклю, когда я находился в Клэрво, под заглавием «Paroles d'un Révolté» («Речи мятежника»). Теперь я принялся разрабатывать созидательную часть анархически-коммунистического общества — насколько его можно предвидеть — и изложил свои взгляды в ряде статей в нашей парижской газете «La Révolté» («Наш мальчишка» — «Le Révolté» — которого преследовали за противовоенную пропаганду, должен был переменить заголовок и теперь стал «девочкой»). Впоследствии эти статьи в переработанном виде вышли в Париже отдельной книгой, под заглавием «La Conquête du Pain» (в русском переводе «Хлеб и Воля», 1902) [294].

Эти работы заставили меня изучить более внимательно некоторые стороны хозяйственной жизни современных народов. Читая лекции в разных городах Англии и Шотландии, я пользовался этими разъездами как для долгих бесед с рабочими, так и для осмотра всяких фабрик и заводов, угольных шахт и больших корабельных верфей, не забывая при этом мелких мастерских в таких больших центрах кустарного производства, как Шеффильд и Бирмангам.

Знакомясь таким образом с реальной жизнью я постоянно имел в виду вопрос: какие формы должно принять производство на социалистических началах, т. е. организованное самими трудящимися для наилучшего удовлетворения всех нужд населения. Большинство социалистов говорило до тех пор, что цивилизованное общество производит гораздо больше, чем требуется для обеспечения благосостояния всем, и что неправильно только распределение того, что производится. «Когда, — говорили они, — произойдет социальная революция, каждому останется только вернуться в свою фабрику или мастерскую и взяться за прежнюю работу. Общество само завладевает прибавочною стоимостью, то есть прибылью, идущей теперь капиталисту». Я, напротив, убедился, что, при современной системе частной собственности, само производство, ведущееся ради прибыли, приняло ложное направление, и оно совершенно недостаточно даже для удовлетворения основных жизненных потребностей всего населения. При такой низкой производительности «б л а г о с о с т о я н и е для всех» невозможно. Частная собственность и производство ради прибыли прямо-таки мешают настоящему удовлетворению потребностей населения, как они ни скромны в данное время у громадной массы народа.

Ни один продукт, замечал я, не производится в бо́льшем количестве, чем его требуется для удовлетворения всех потребностей. «Перепроизводство», о котором так часто говорят, означает только, что массы слишком бедны и не в состоянии покупать даже предметы первой необходимости, произведенные ими и в которых они сильно нуждаются. А между тем во всех образованных странах производство как промышленное, так и земледельческое очень легко м о ж е т и д о л ́ ж н о быть увеличено до такого уровня, чтобы обеспечить довольство для всех. Эти мысли повели меня к изучению того, чем м о ж е т стать современное земледелие, а также, как переустроить образование на новых началах, чтобы дать возможность каждому заняться приятной и производительной физической и умственной работой и усилить общую производительность. Я развил эти мысли в ряде статей, появившихся в «Nineteenth Century» и вышедших потом отдельной книгой, под заглавием «Fields, Factories and

Workshops» (в русском переводе А. Коншина сперва «Земледелие и Промышленность», а потом «Поля, Фабрики и Мастерские») [295].

Изучение экономической жизни народов привело меня к заключению, что мы вовсе не так богаты, как это кажется. Самая богатая страна в мире — Англия. Но если сложить все, что получает она со своих полей, с рудников, со своих многочисленных фабрик и заводов и от мировой торговли, и поделить это поровну между ее жителями, то получается только полтора рубля в день на человека и ни в коем случае не больше двух. Уже из этого видно, что социальная революция, где бы она ни произошла, должна будет поставить с самых первых дней главной своей задачей увеличение производства. В первые годы освобождения неизбежно увеличится потребление пищи и всякого товара, так как до сих пор во всех странах Европы добрая треть населения всегда живет впроголодь и терпит недостаток в одежде и во всем прочем. Следовательно, все народы должны напрячь свои силы, чтобы мощно развить у себя и усовершенствовать с одной стороны земледелие, а с другой — усиленно развивать у себя обрабатывающую промышленность. В этом — залог прогресса и успеха в освобождении труда от ига капитала.

Вскоре после этого я занялся другим важным вопросом, который уже раньше привлек мое внимание. Известно, к каким выводам пришло большинство последователей Дарвина, даже таких умных, как Гексли [296], в толковании его закона «борьбы за существование». Нет такого насилия белых народов над черными или же сильных по отношению к слабым, которого не старались бы оправдывать этими словами: «борьба за существование».

Уже во время моего пребывания в Клэрво я чувствовал, что необходимо вполне пересмотреть самое понятие «борьба за жизнь» в мире животных, а тем более его приложения к миру человеческому. Попытки, сделанные в этом направлении некоторыми социалистами, положительно не удовлетворяли меня; и я думал об этом вопросе, когда нашел в речи русского зоолога, профессора Кесслера [297], произнесенной на съезде русских естествоиспытателей в 1880 году, новое, превосходное понимание борьбы за существование. «Взаимная помощь, — говорил он, — такой же естественный закон, как и взаимная борьба; но для прогрессивного развития вида первая несравненно важнее второй».

Эта мысль, которую, к сожалению, Кесслер доказывал в своей речи лишь весьма немногими фактами (умный Северцов сейчас же принял ее и подтвердил двумя-тремя примерами), явилась для меня ключом ко всей задаче. Я написал об этом из Клэрво длинное письмо Элизэ Реклю и начал собирать материалы из жизни животных в подтверждение моей мысли.

Теперь, когда Гексли, желая бороться с социализмом, выступил в 1888 году в «Nineteenth Century» (Девятнадцатое Столетие) со своею жестокою статьею «The Struggle for Existence: a Program» («Борьба за существование: программа деятельности»), я решился, наконец, изложить в удобочитаемой форме материалы, собранные мною за последние шесть лет, и выставить мои возражения против ходячего понимания борьбы за жизнь между животными и между людьми. Я сказал об этом некоторым английским друзьям, но скоро убедился, что «борьба за существование», истолкованная, как боевой клич: «Горе слабым!» и возве-

денная на ступень непреложного «естественного закона», освященного наукой, пустила в Англии такие глубокие корни, что превратилась почти в канон. Только два человека ободрили меня выступить против этого ложного толкования жизни природы. Издатель «Nineteenth Century», Джемс Ноульз [298] (James Knowles) со своей замечательной проницательностью, тотчас усмотрел важность вопроса и стал убеждать меня, с чисто юношеской пылкостью, взяться за эту работу. Другой был Бэтс [299] (Bates), автор хорошо известной у нас книги «Натуралист на Амазонской реке». Он, как известно, много лет собирал именно такие данные изменчивости видов, на которых Дарвин построил свои великие обобщения, и Дарвин в своей автобиографии говорит о нем, как об одном из самых умных, встреченных им, людей. Бэтс был секретарем Лондонского Географического Общества, и я знал его. Когда я ему сообщил о своем намерении, он очень обрадовался. «Да, непременно сделайте эту работу! — говорил он. — Это настоящий дарвинизм. Просто обидно думать, что они сделали из идей Дарвина. Пишите вашу книгу, а когда вы ее издадите, я вам пришлю письмо, которое вы можете напечатать».

Лучшего поощрения нельзя было желать, и я с удвоенной энергией продолжал работу, которая печаталась в «Nineteenth Century» под заглавием: «Взаимная помощь у животных», затем — «у дикарей, у варваров, в средневековом городе и в современном обществе», а потом я издал все это книгою: «Mutual Aid: a Factor of Evolution») («Взаимная помощь, как фактор эволюции») [300]. К сожалению, я не послал Бэтсу двух первых статей о взаимной помощи у животных, хотя они вышли еще при его жизни. Я надеялся скоро закончить вторую часть, посвященную взаимной помощи у людей, но мне понадобилось для этого несколько лет, а тем временем Бэтс умер.

Изыскания, которые мне пришлось сделать в этой работе, чтобы ознакомиться с учреждениями варварского периода и вольных средневековых городов, привели меня к другим интересным исследованиям, а именно: к изучению роли государства в течение трех последних веков со времени новейшего его выступления в Европе в XVI веке. С другой стороны изучение учреждений взаимопомощи в различные фазисы цивилизации привело меня к изысканиям о развитии в человечестве идей справедливости и нравственности. Я изложил эти работы в двух лекциях. Одна из них озаглавлена «Государство и его роль в истории» [301], другая называется «Справедливость и нравственность» [302]. В этой второй лекции я набросал свое понимание этики, то есть общественной нравственности вообще, и эти последние три года * я занялся более полною разработкою мыслей, высказанных в этой лекции [303].

За последние десять лет развитие социализма в Англии приняло новый характер. Те, которые обращают главное внимание на число социалистических и анархических собраний и на число слушателей, привлекаемых ими, готовы заключить, что социалистическая пропаганда идет на убыль; а те, которые судят об успехах идеи по числу голосов, поданных за кандидатов, домогающихся представлять социализм в парламенте, приходят к заключению, что социалистическая пропаганда вот-вот исчезнет в Ан-

* 1895—1898.

глии. Но о глубине и ширине распространения социалистических воззрений нельзя судить по числу голосов, поданных за кандидатов, в большей или меньшей мере выставляющих в своих программах требования социалистов. В особенности это было бы неверно в Англии. В самом деле, из трех социалистических направлений, разработанных Фурье, Сен-Симоном и Робертом Оуэном, в Англии и Шотландии господствует последнее. Поэтому о силе движения нужно судить не столько по числу митингов и по количеству голосов, сколько по проникновению социалистических идей в рабочие союзы, в кооперативные общества и в так называемый муниципальный социализм, также в умы народа вообще во всей стране. В одних умах эти воззрения вполне сознательны, в других они еще очень неопределенны; но для всех они уже начинают служить меркой при оценке экономических и политических явлений.

Если рассматривать Англию с этой точки зрения, то нужно будет признать, что социалистические идеи значительно распространились здесь сравнительно с 1886 годом. И я скажу даже, не колеблясь, что их распространение громадное, сравнительно с тем, что оно было в 1876—1882 годах. Могу прибавить также, что постоянные усилия маленьких анархических групп заметно содействовали развитию и распространению в рабочей среде, а через нее — и среди вожаков, идей об умалении роли всякого правительства и о соответственном развитии прав личности, независимости местных организаций и возможности свободного соглашения. Вспомнивши, как двадцать лет тому назад повсюду царили идеалы всесильного государства, централизации и дисциплины, я смело могу сказать, что мы не потеряли даром своего времени.

Вся Европа переживает теперь очень скверный момент — развитие военщины. Военщина, то есть вера в военную силу — неизбежное последствие победы, одержанной над Францией в 1871 году военною германскою империею, с ее системой всеобщей воинской повинности. И неизбежность развития в Европе военщины и империализма была предсказана тогда же, в особенности Бакуниным. К счастью, в настоящее время начинает уже намечаться противоположное течение.

Что же касается коммунистических идей, то с тех пор как их стали проповедывать не в их казарменной или монастырской форме, а в форме общинного, вольного соглашения, они широко распространились в Европе и в Америке. Я мог убедиться в этом воочию за последние двадцать семь лет, что принимаю деятельное участие в социалистическом движении. Когда я вспоминаю о неопределенных, смутных, робких идеях, выраженных рабочими и их друзьями на первых конгрессах Интернационала, или обращавшихся в Париже во время Коммуны, даже среди наиболее выдающихся людей, и когда сравниваю их с мыслями, распространенными теперь среди громадного числа рабочих, я должен сказать, что мне эти два понимания жизни представляются принадлежащими к двум различным мирам.

Нет периода в истории, — за исключением, может быть, революционного периода XII века, вызвавшего к жизни средневековые вечевые города, — во время которого идеи общественности пережили бы такое же коренное преобразование. И теперь, на шестидесятом году жизни, я еще более глубоко убежден, чем тридцать лет тому назад, что положение Европы таково, что чисто случайное совпадение благоприятных

обстоятельств может вызвать революцию, которая так же быстро распространится по всем странам, как революция 1848 года, но будет иметь притом гораздо более глубокое значение: она представит миру не простую борьбу между враждебными политическими партиями, но быстрое и решительное преобразование всего общественного строя в направлении коммунизма.

И я глубоко убежден, что какой бы характер ни приняло это движение в различных странах, всюду, в каждой стране проявится более широкое понимание социальных перемен, сделавшихся неизбежными, чем мы это видели где бы то ни было за последние шесть веков. В то же время сопротивление со стороны привилегированных классов едва ли будет носить тот характер слепого упорства, которое делало революции прошлых веков столь кровавыми.

Этот великий результат вполне достоин тех усилий, которые были сделаны за последние тридцать лет тысячами борцов всех наций и всех классов.

Лондон.
1902 г.

Старая мельница в Бретани
Рисунок П. А. Кропоткина

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Дом, в котором родился П. А. Кропоткин и провел там свои первые детские годы, находится в 6. Штатном пер. (ныне Кропоткинский пер., д. 26), где теперь помещается музей имени П. А. Кропоткина.

В архиве П. А. Кропоткина имеется письмо П. А., датированное 3 июня 1914 г. и адресованное редактору газеты «Русское слово» в Москве.

В нем П. А. точно устанавливает, что он родился именно в этом доме.

Приводим это письмо полностью.

«Благодарю вас очень за номер «Искры» (№ 47) с фотографией дома, принадлежавшего моему отцу, в Малом Власьевском переулке. В этом доме мы жили зимы 1855—1857 гг., и он связан у меня со многими воспоминаниями, с первым пробуждением литературных наклонностей, а потом — с эпохою нашего «народнического» движения.

Здесь мы переписывали с моим «русским» учителем Ник. Павл. Смирновым, кандидатом Московского университета, второй том «Мертвых душ», ходивший тогда по рукам в рукописи, и здесь же я прочел впервые «Евгения Онегина» (в прелестном издании Эльзевир) и «Горе от ума», — тоже в маленьком издании, где цензура не позволяла называть Скалозуба полковником, и слуга докладывал, в ущерб размеру:

«Господин Скалозуб. Прикажете принять?»

Сам же Скалозуб так обрывал свой монолог:

«Мне нравится, при этой смете
Искусно как коснулись вы
Предубеждения Москвы».

И только. Стихи: «К любимцам гвардии, гвардейцам, гвардионцам» и т. д., конечно, пропускались.

Здесь же я прочел и «Войнаровского», написанного для меня братом на память, он знал всю поэму наизусть. Он был уже в 1-м кадетском корпусе и под влиянием учителя словесности Некрасова хорошо уже ознакомился с русской поэзией и сам писал стихи, очень звучные, должен сказать. Здесь же, поощряемые Ник. Павл. Смирновым, мы принялись с братом издавать «журнал», для которого он писал стихи, а я повести, т. е. то, что считал повестями.

Рядом с нашим домом стоял небольшой белый оштукатуренный дом, — он виден в правой части вашей фотографии. В нем жила графиня Салиас (Евгения Тур), и я помню, с каким любовным уважением Н. П. Смирнов, а за ним и я заглядывались на ее окна.

Тут же поблизости, за углом, в Сивцевом Вражке, во дворе с чугунными воротами, стоял дом Герцена, и мы проходили мимо него с полурелигиозным чувством. С таким же чувством, когда мы доходили в наших прогулках до Тверского бульвара, мы останавливались перед домом (вернее, кажется, флигелем), где болел и умер Гоголь.

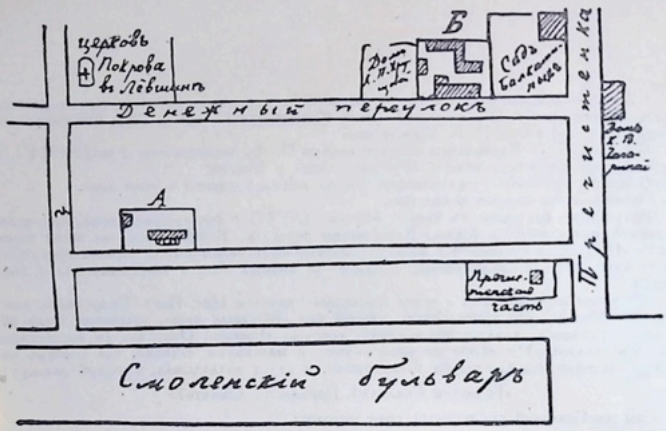
А Сивцев Вражек с его бурным ручьем, несшимся весною, во время таяния снегов, вниз к Пречистенскому бульвару, не знаю почему, всегда представлялся мне центром студенческих квартир, где по вечерам ведутся между студентами горячие разговоры обо всяких хороших предметах.

Много других воспоминаний будит во мне этот дом в Мало-Власьевском переулке и весь этот уголок Старо-Конюшенной.

В этом доме осенью 1871 года умер мой отец, и хоронили его в той же самой церкви, Иоанна Предтечи, где его крестили. Она стояла тогда — может быть, и теперь еще стоит — в довольно обширном дворе*, выходившем на Большой Власьевский переулок.

Если выйти из Малого Власьевского пер. в Гагаринский переулок и взять влево, то сейчас за углом был дом Завадовской, а следующий дом (очень похожий на дом отца) принадлежал нашей бабушке, матери нашего отца, рожденной Гагариной, сестре того кн. Гагарина, который был женат на знаменитой актрисе Семеновой.

В этот дом меня и брата возили на именины бабушки — прочесть ей по-французски un compliment. У нашего «гувернера», monsieur Poulain, как у всякого порядоч-



План квартала, где находится дом, в котором родился П. А. Кропоткин (А)

ного гувернера тех времен, конечно, имелся запас таких подходящих compliments на всякие случаи жизни — день рождения отца или производство его в чин, годовщина свадьбы, именины родителей и т. д. Находился подходящий compliment и для престарелой бабушки. Нам оставалось только затвердить каждому свой compliment, изящно подойти к бабушкиному креслу и красиво произнести по-французски заученные фразы. А бабушка, разбитая параличом, шептала что-то непонятное, крестила нас и давала поцеловать свою бледную, дрожащую руку.

После смерти бабушки этот дом перешел ее дочери Елене Петровне Друцкой, а потом он был продан генералу Дурново. Здесь выросла известная революционерка Елизавета Петровна Дурново, вышедшая впоследствии замуж за Якова Ефрона и трагически умершая в Париже в 1910 году.

Вправо, наискось от этого дома, тоже в Гагаринском переулке, стоял такой же деревянный дом, одноэтажный, с мезонином, тоже в семь окон на улицу. В него почти упирался Малый Власьевский переулок. В этом доме наша семья тоже прожила одну зиму, раньше чем отец купил сфотографированный вами дом в Мало-Власьевском переулке. В этом доме в 1872 году жила семья Армфельд, и в этом доме летом этого года мы основали с Чайковским, Цакни, Батюшковой наш Московский кружок. Наташа Армфельд была его деятельным членом. Об этом доме и собраниях в нем

* В моем детстве этот двор сообщался с Мало-Власьевским переулком узеньким проходом для пешеходов. Он начинался, если не ошибаюсь, между нашим домом и домом, где жила графиня Салиас.

говорил недавно Н. А. Морозов в своих воспоминаниях («Голос минувшего» 1913 года). О Наташе Армфельд писал Кеннан, и об этой замечательной, глубоко симпатичной девушке с любовью вспоминали все писавшие о Забайкальской каторге.

Еще одно воспоминание пробудила во мне ваша фотография. В левой ее части виден забор и ворота. Тут во дворе в 1872—1873 году был деревянный флигель, который нанимала в то время моя сестра, Елена Александровна Кравченко. Я гостил у нее, когда в двери флигеля постучался какой-то плотник, спрашивавший меня. Этот плотник был Кравчинский («Степняк»). Он ходил тогда пильщиком вместе с Рогачевым в Тверской губ. Их арестовали в одной деревне и повели к становому.

По пути «конвоиры»-крестьяне заночевали с арестантами в одной деревне, где был храмовой праздник. Все пили брагу, оба пильщика тоже не отказывались, т. е. так как пили из большого жбана, «пригубливали», а не пили. А сами продолжали свою пропаганду — больше на основании евангелия. Когда стали ложиться, один паренек шепнул пильщикам, что ворота настоящим образом не запрет.

Когда все уснули, Кравчинский с Рогачевым прокрались на двор, вышли за ворота и к утру отмахали невероятное количество верст до небольшой станции, сели на поезд и приехали в Москву.

Когда Кравчинский, одетый еще пильщиком, зашел ко мне, он уже нашел себе приют у Л.,* о которых тоже писал Морозов.

Вот сколько воспоминаний пробудила во мне ваша фотография. Но только я должен сказать, что сфотографированный в Мало-Власьевском переулке дом — не тот, где я родился. Дом, где я родился и где умерла моя мать, едва ли существует. Это был тоже одноэтажный дом в семь окон, оштукатуренный, с балконом, спускавшимся из «большой гостиной» в сад. Он стоял в небольшом саду, немного отступя от улицы, в переулке, который шел параллельно Смоленскому бульвару, и где тогда стояла посреди большого двора, поближе к Пречистенке, Пречистенская часть, с ее пожарною каланчою. Этот переулок соединял Пречистенку с другим переулком (Левшинским?), шедшим от Смоленского бульвара к церкви Покрова в Левшине.

Отец продал этот дом (на прилагаемом плане — *Л*) после смерти нашей матери, когда он женился во второй раз, в 1847 или 1848 году, на Елизавете Марковне Карандино. Тогда он купил дом в Денежном переулке. Недавно я узнал, что часть Денежного переулка, в котором жил одну зиму Л. Н. Толстой (в доме Никифорова, № 3), называется теперь Мало-Левшинским переулком. Не та ли это часть, которая была ближе к Пречистенке и видна на моем плане.

Здесь прожили мы большую часть моего детства. Это был деревянный, оштукатуренный дом обычного тогда типа в семь окон на улицу — зала, большая гостиная, малая гостиная, позади которой помещалась большая спальня. Отец очень любил строить, один монах сказал ему, что он будет жить, пока будет строить. Он и в этом доме пристроил себе кабинет и «галлерею», благодаря которой подъезд был с улицы, а не со двора, как то было прежде». **

[2] В пергаменте, выданном сенатом деду П. А. Кропоткина (пергамент находится в музее им. Кропоткина), сказано:

«Род князей Кропоткиных происходит от князей Смоленских. В родословной князей Смоленских, находящейся в Бархатной и других родословных книгах, показано, что правнук великого князя Владимира Святославовича, крестившего русскую землю, великий князь Владимир Всеволодович Мономах имел сына Мстислава, князя Смоленского, а у него был сын Ростислав, князь Смоленский же, которые потом находились и на великом княжении Киевском. Потомок сего князя Ростислава, князь Святослав Иванович, имел внука, князя Дмитрия Васильевича Кропотку. Потомки сего рода, князья Кропоткины, многие Российскому престолу служили стольниками и в иных знатных чинах и жалованы были от государей поместьями с другими почестями и знаками монарших милостей. Все сие доказывается сверх Российской истории Бархатной книгой и справкой Разрядного Архива...»

Если верить «Бархатной книге», П. А. Кропоткин родился в тридцатом колене от «первого русского князя Рюрика».

* У Лебедевых. *Прим. ред.*

** Все эти три дома существуют и теперь. Летом 1917 г., когда П. А. вернулся из сорокалетнего изгнания в Россию, он посетил дом в б. Штатном пер., где он родился и пережил в детстве сцены из крепостного быта, которые он описал в своих «Записках».

[3] Урусово, село б. Раненбургского у. Рязанской губ. — возникло в XIV в. на месте древнего укрепленного «острога» для защиты от набегов татар, от которого и получило название Урус, т. е. «русский городок». В XVIII в. Урусово принадлежало помещикам Бузиным, у которых и было куплено дедом Петра Алексеевича — П. Н. Кропоткиным.

[4] Гагарина Прасковья Алексеевна — бабка П. А. (1770—1850).

[5] Гагарин Иван Алексеевич (1771—1832) — камергер, любитель театра; женился вторым браком на знаменитой артистке Екатерине Семеновне Семеновой.

[6] Семенова Екатерина Семеновна (1786—1849) — бывшая крепостная смоленского помещика Путяты, драматическая артистка. В 1828 г. вышла замуж за князя Ивана Алексеевича Гагарина, брата бабки Петра Алексеевича Кропоткина.

[7] Род Сулима происходит от запорожского гетмана Ивана Сулимы. Сулима был одним из активных борцов за независимость Украины. В 1635 г. он был захвачен в битве с поляками в плен, привезен в Варшаву и здесь был казнен (четвертован).

Правнук Ивана Сулимы, Николай Семенович Сулима, дед. П. А. по матери (1777—1840), принимал видное участие в войне 1812—1814 гг. В 1833—1837 гг. состоял генерал-губернатором Восточной, а затем Западной Сибири.

Фамильный архив Сулимы, в котором много материалов по истории Украины в XVII и XVIII вв., был издан в 1884 г. в Киеве, под редакцией А. Лазаревского.

[8] Петровское — село б. Тамбовской губ., Борисоглебского у., родовое имение Кропоткиных, доставшееся после смерти отца (1871) П. А. Кропоткину.

[9] Кропоткина Елена Алексеевна — старшая сестра Петра Алексеевича (в замужестве Кравченко). Написала воспоминания: «Екатерининский институт полвека назад»; издано в 1900 г. В воспоминаниях говорится и о П. А.

[10] Назимов Владимир Иванович (1802—1874). В 1858 г. военный губернатор б. Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской губ.

[11] Гагарин Иван Сергеевич (1814—1882) — близкий родственник бабки П. А. В 1843 г. перешел в католичество и поступил в орден иезуитов. Был в переписке с Герценом и основал в Париже славянскую библиотеку.

[12] Мирский — князь Друцкой Дмитрий Сергеевич, был женат на тетке П. А., Елене Петровне Кропоткиной.

[13] Село Никольское, Серено Серенское тож, б. Мещовского у. Калужской губ., на реке Серене — родовое имение Кропоткиных (в 1½ верстах от разъезда № 21 Моск.-Киево-Воронежской ж. д.). Село существовало уже в XII в. — здесь была крепость; жители села, вятичи, были язычниками и отрубили головы пришедшим из Киева первым проповедникам христианства — св. Кукше и его ученикам.

[14] Кропоткина Полина Алексеевна (1850—1924), по мужу Поливанова — младшая сестра Петра Алексеевича от второго брака отца с Елизаветой Марковной Карандино.

[15] Кропоткин Николай Алексеевич — старший брат П. А., род. в 1834 г., учился в Моск. кадетск. корпусе, но, не окончив его, в 1854 г. ушел добровольцем на войну, страдал запоем, был отдан отцом в монастырь, откуда бежал в 1862 г. и пропал без вести.

[16] Кропоткин Александр Алексеевич — брат П. А., род. 10 августа 1841 г. После окончания Моск. кадетск. корпуса вопреки воле отца поступил в Московский университет. За активное участие в студенческих волнениях в 1861 г. был исключен из университета. В 1872—1874 гг. жил в Швейцарии, принимал горячее участие в делах русской эмиграции, близко сошелся с П. Л. Лавровым. В июле 1874 г., узнав об аресте П. А., вернулся в Россию. В 1874 г. был арестован, вследствие перехваченной переписки с П. Л. Лавровым, и по высочайшему повелению выслан в Минусинск на поселение. В Сибири сотрудничал в журнале «Знание» и в «Сибирской газете», занимался астрономией. Застрелился в Томске 25 июля 1881 г.

П. А. очень любил брата и в юности вел с ним обширную переписку. Об этой переписке П. А. упоминает в главе пятой своих «Записок революционера». (См также книгу «Минувшее и пережитое» И. И. Попова, изд. «Колос», 1924).

[17] Классовский Владимир Игнатьевич (1815—1877) — профессор Петербургского университета. Главнейшие его труды: «Помпея и открытие в ней древности», «Основание педагогики», «Мысли о воспитании».

[18] Гумбольдт Александр (1769—1859) — немецкий ученый и путешественник, один из основоположников географической науки. Его главный труд — «Космос» (3 тома) — представляет опыт описания «физики мира». Сочинения Гумбольдта способствовали пробуждению в П. А. любви и интереса к географии. Другое сочинение Гумбольдта — «Центральная Азия» — заставило П. А. обратить внимание на строение горных хребтов Вост. Сибири и затем на основании наблюдений критически отнестись к теориям Гумбольдта и составить новую орографию Вост. Сибири, которая и легла в основу современной орографии Вост. Сибири.

[19] Сервет, или Серва, Михаил — испанский богослов и врач (1511—1553), сожжен на костре как «еретик» в Женеве.

[20] Аугсбургская декларация, или Аугсбургское вероисповедание — книга, составленная Лютером и Меланхтоном, заключающая в себе новые тезисы протестантского вероисповедания.

[21] Кравченко Николай Павлович — муж Елены А. Кропоткиной, сестры П. А.

[22] Вольтер Франсуа, Мари, Аруэ (1694—1778) — французский философ XVIII в. и писатель. Самый яркий представитель французской просветительной философии.

[23] Марк Аврелий Антонин — римский император, философ-стоик. До нас дошла его книга «Наедине с собой. Размышления».

[24] Дарвин Чарльз (1809—1882) — английский ученый, совершивший переворот в биологических науках. До Дарвина ученые натуралисты считали, что видов и пород растений и животных столько, сколько разных форм создало «бесконечное существо», как учил Линней. Дарвин в своей книге «Происхождение видов», вышедшей в 1859 г., и в книге «Происхождение человека», вышедшей в 1871 г., показал естественное развитие органического мира и последовательное видоизменение всего существующего в природе. Дарвин построил свою теорию эволюции на взаимодействии двух факторов: «борьбы за существование» и «естественного подбора».

П. А. Кропоткин, разделяя основные идеи Д., считал, что в мире живых существ на ряду с законом «борьбы за существование» действует и другой биосоциологический закон — «взаимопомощь». Свои идеи по этому вопросу П. А. Кропоткин изложил в книге «Взаимная помощь как фактор эволюции»; см. также статью П. А. — «Charles Darwin», в газете «Le Révolté», № 5, апр. 1882.

[25] Рулье Карл (1814—1858) — врач и зоолог, профессор Петербургской Медико-хирургической академии и затем профессор Московского университета.

[26] Сущность спора между Спенсером и Вейсманом сводилась к вопросу о наследовании живыми существами изменений, вызванных в организме под влиянием окружающей среды. По мнению Вейсмана, между клетками, из которых развивается новый организм (зародышевые клетки), и всеми остальными клетками (соматическими), из которых состоит весь материнский организм, существует основная разница, и он не допускал возможности передачи по наследству приобретенных признаков, в то время как Спенсер признавал наследование их.

П. А. Кропоткин разделял взгляды Спенсера и написал по этому вопросу ряд статей, объединенных общим заглавием «Непосредственное влияние среды в мире растений и животных» (см. об этом статью академика М. А. Мензбира, «Кропоткин как биолог» в сборн. «Петр Кропоткин», М., изд. «Голос труда», 1922, стр. 99—107).

[27] Лаплас Пьер (1749—1827) — математик и астроном.

[28] Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — писатель, публицист, славянофил.

[29] В Кропоткинском музее хранится журнал «О поведении пажа князя Петра Кропоткина», где отмечен арест П. А.

[30] Грове Вильям Роберт — английский физик.

[31] Клаузиус Рудольф (1822—1888) — немецкий физик, считается вместе с Джоулем, Карно и Майером основателем механической теории теплоты, согласно которой теплота есть результат вибрации молекул, т. е. движения материи. Свои идеи Клаузиус изложил в книге «Трактат механической теории теплоты», 2 тома.

[32] Джоуль Джемс Прескот (1818—1889) — английский физик, первый нашел точное измерение механического эквивалента теплоты в 1856 г.

[33] Сегэн Марк (1786—1875) — французский инженер, изобретатель трубчатых котлов и автор своеобразной теории физических сил, где главным фактором является вибрация эфира.

[34] Гельмгольц Герман (1821—1892) — немецкий естествоиспытатель; в 1847 г. опубликовал свою замечательную работу «О сохранении силы».

[35] Тиндаль Джон (1820—1893) — английский естествоиспытатель; его лекции «Материя и сила», «Свет» и др. были переведены на все языки культурного мира. Его книга «Альпийские ледники» (вышла по-русски в 1866 г.) оказала влияние на П. А. Кропоткина в том смысле, что П. А. после ее прочтения заинтересовался ледниковыми отложениями и во время своих путешествий по Сибири начал обращать внимание на следы ледниковых отложений. Это и дало ему возможность позднее обосновать свою теорию «Ледникового периода».

[36] Герард — немецкий физик.

[37] Авогадро (1776—1855) — итальянский естествоиспытатель; его главной научной заслугой считается открытие им в 1811 г. закона о сжимаемости и давлении газов. Закон Авогадро был принят в науке лишь в 60-х гг. и положил прочное основание для дальнейшего развития химии.

[38] Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907) — русский химик, открывший так называемый «периодический закон элементов», при помощи которого устанавливается взаимная связь всех химических элементов.

[39] Мейер Лотар (1830—1895) — немецкий химик, которому немцы приписывают открытие одновременно с Менделеевым «периодического закона элементов».

[40] Ньюлаидс (1838—1898) — английский химик, первый высказавший мысль о «периодичности химических элементов» (в статье 1863 г.).

[41] Фогт Карл (1819—1895) — швейцарский зоолог-натуралист, профессор геологии, зоологии и политический деятель. Принимал участие в революции 1848 г. После эмиграции в Швейцарию превращается в заправского либерала. Выступает с клеветой на Маркса, которую последний разоблачает в брошюре «Карл Фогт». Один из видных представителей вульгарного материализма XIX в.

[42] Молешотт Якоб (1822—1893) — голландский физиолог, материалист, написал по-немецки много популярных сочинений материалистической философии. Его книга «Круговорот жизни», вышедшая в 1852 г., имела большой успех.

[43] Клод Бернар (1813—1878) — французский физиолог, основатель экспериментальной физиологии.

[44] Шульгин Иван Петрович (1795—1869) — историк, профессор Царскосельского лицея и Петербургского университета.

[45] Вильям Моррис (1834—1896) — английский поэт, художник-социалист. Свои идеи Моррис развил в целом ряде произведений, из которых наиболее известны его утопический роман «Вести ниоткуда» (есть несколько изданий по-русски), «Почему я стал коммунистом» и «Как мы живем и как мы могли бы жить». На Морриса П. А. Кропоткин оказал большое влияние.

[46] Бозио Анжелика (1824—1859) — итальянская оперная певица.

[47] Герцен Александр Иванович (1812—1871) — издатель «Колокола» и «Полярной Звезды», автор «Былое и Думы».

[48] Рукописная газета, издававшаяся П. А. Кропоткиным в корпусе, называлась «Отголоски из корпуса».

[49] Константин Павлович, великий князь (1827—1892) — был главою прогрессивной партии при дворе.

[50] Джузеппе Гарибальди (1807—1882) — итальянский патриот-революционер, боровшийся за освобождение Италии от австрийского и папского ига и за создание объединенной Италии. Был дружен с Герценом и Бакуниным.

[51] Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889).

[52] Беляев Иван Дмитриевич (1810—1873) — историк, автор исследования «Крестьяне на Руси».

[53] Кропоткин Дмитрий Николаевич — двоюродный брат П. А., флигель-адъютант и харьковский генерал-губернатор. Был убит 9 февраля 1879 г. членом

партии «Народная Воля» Григорием Гольденбергом за насилие над политическими каторжанами в харьковской центральной тюрьме и за избиение студентов в Харькове.

[54] Милютин Николай Алексеевич (1818—1872) — государственный деятель, назначенный в 1859 г. товарищем министра внутренних дел. Сделался руководителем всех работ по делу освобождения крестьян. В 1861 г. по проискам крепостников получил отставку.

[55] Валуев Петр Алексан., граф (1814—1890) — в начале своей служебной карьеры был склонен к либерализму, но затем перешел в лагерь реакционеров и весной 1861 г. был назначен министром внутренних дел вместо Ланского.

[56] Шувалов Петр Андреевич (1827—1889) — обер-полицеймейстер Петербурга, директор демартамента общих дел и шеф жандармов в 1866—1874 гг., ярый реакционер и монархист.

[57] Трепов Федор Федорович — бывший петербургский градоначальник.

[58] Игнатьев Николай Павлович, граф — в 70-х гг. был назначен вместо Лорис-Меликова министром внутренних дел. При участии Игнатьева в 1881 г. была основана тайная «Священная дружина» для борьбы с революционерами. На первом заседании этого общества были вынесены смертные приговоры Льву Гартману, Рошфору и П. А. Кропоткину. С ведома Игнатьева в 1881 г. были устроены во многих местах еврейские погромы.

[59] Николай Николаевич — великий князь, брат Александра II.

[60] Адлерберг А. В., граф (1818—1888) — с 1872 по 1881 г. министр императорского двора.

[61] Стасюлевич Михаил Матвеевич — публицист, историк и общественный деятель, либерал. С 1886 г. начал издавать журнал «Вестник Европы», ставший органом русского либерализма.

[62] Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — историк. В 40-х годах участвовал в революционном обществе на Украине в так называемом «Кирилло-Мефодьевском братстве». Принимал участие в радикальных журналах «Современник» и «Русское слово». Важнейшие его произведения — «Происхождение самодержавия на Руси» и «Северо-русские народоправства».

[63] Мария Александровна — жена Александра II.

[64] Ушинский Константин Дмитриевич (1824—1870) — педагог; его главный труд — «Человек как предмет воспитания», 2 тома. Писал статьи в «Современнике».

[65] Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — публицист, принадлежавший к либеральному лагерю.

[66] П. А. говорит о наследнике Николае Александровиче, старшем сыне Александра II, родившемся в 1843 г., умершем в апреле 1865 г. от болезни спинного мозга.

[67] Александр Александрович — второй сын Александра II, ставший после его смерти царем.

[68] Маак Ричард Карлович (1825—1886) — исследователь Амура и Уссурийского края; главные его труды — «Путешествие на Амур» (вышло в 1859 г.) и «Путешествие в долину Уссури» (вышло в 1861 г.).

[69] Риттер Карл (1779—1859) — географ, профессор Берлинского университета; в числе его учеников был Элизе Реклю. Риттер считался основоположником так называемой «сравнительной географии». Его сочинение «Азия» оказало большое влияние на П. А.

[70] Брат П. А., Александр Алексеевич, был исключен из Московского университета осенью 1861 г. за активное участие в студенческих волнениях в 1861 г.

[71] Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист, в молодости участвовал в кружках Белинского и Станкевича. С 1856 г. начал издавать журнал «Русский вестник», а в 1863 г. стал вместе с Леонтьевым редактором газеты «Московские ведомости». В 50-х гг. был умеренным либералом, но затем постепенно сделался ярым консерватором и реакционером.

Катков считал Герцена, Бакунина и Кропоткина злейшими врагами России. В одном из своих писем, адресованных К. П. Победоносцеву, Катков, рекомендуя Победоносцеву реакционного писателя И. Ф. Циона, пишет, что «статьи Циона о нашем нигилизме и анархизме, по поводу сочинений его вожаков Кропоткина и Тихомирова, при-

принадлежат к лучшему, что было у нас когда-либо написано по поводу этой язвы...» (См. переписка Победоносцева, том 1, 1-й полутом, стр. 719, Гос. изд. 1924).

[72] Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — один из основателей анархизма и его теоретик. Участвовал в московском кружке Станкевича, где познакомился с философией Гегеля. В 1840 г. уехал за границу, в Берлин. Сблизившись с немецкими революционерами, вступил на революционный путь. Во Франции познакомился с Марксом и Прудоном. За речь, произнесенную на банкете в память польского восстания, по требованию русского правительства изгнан из Франции. Принимал участие в подготовке восстания в Праге (12 июня 1848 г.) и в Дрездене (4—9 мая 1849 г.). После двух лет заключения в австрийской крепости, где он был закован в цепи и прикован к стене, он был выдан русскому правительству, присудившему его к 10 годам заключения в Шлиссельбурге. По распоряжению Николая I был посажен в Петропавловскую крепость, в которой пробыл три года. Здесь он написал свою «Исповедь». Затем был перевезен в Шлиссельбург. В 1861 г. был сослан в Вост. Сибирь, откуда бежал в 1861 г. в Японию и через Америку в Европу, в Лондон, оттуда в Италию, где основал революционное Международное братство. В 1869 г. вступил в Международное товарищество рабочих. В 1872 г. на Гаагском конгрессе Интернационала по настоянию Маркса исключен из членов Интернационала. Умер в Берне 1 июля 1876 г.

Главные произведения Бакунина: «Бог и государство», «Государственность и анархия», «Кнуто-германская империя» и ряд многочисленных памфлетов. Сочинения Бакунина в шести томах изданы в Париже по-французски его другом Джемсом Гильомом (избранные соч. Бакунина в России в 1917—1920 гг., в пяти томах, изд. «Голос труда»).

[73] Муравьев Николай Николаевич (1809—1881) — граф Амурский; в 1846 г. он поднял перед царем вопрос об освобождении крестьян и подал по этому поводу Николаю I адрес. В 1847 г. генерал-губернатор Вост. Сибири. Был уволен от службы в 1861 г.

[74] Корсаков Михаил Семенович — помощник генерал-губернатора Вост. Сибири Муравьева-Амурского. В 1861 г., после увольнения Муравьева, — генерал-губернатор Вост. Сибири. При его содействии был основан Сибирский отдел Географического Общества и организовано несколько научных экспедиций по Вост. Сибири.

[75] Кукель Болеслав Казимирович — генерал-майор, близкий сотрудник Муравьева-Амурского и Корсакова. В 1862 г. был назначен на должность военного губернатора Забайкальской области и наказным атаманом Забайкальского казачьего войска и был поэтому прямым начальником П. А. Кропоткина.

[76] Шанявский А. Л. все свое значительное состояние впоследствии завещал на устройство в Москве народного университета, который и получил наименование «университета Шанявского».

[77] Ядринцев Николай Мих. (1842—1894) — этнограф, публицист и исследователь Сибири, составитель воззвания «Патриотам Сибири». В 1864 г. был арестован вместе с Потаниным и Щаповым и обвинен в том, что пропагандировал идею отделения Сибири от России. После ссылки на 10 лет, в Архангельскую губ., где пробыл до 1873 г., Ядринцев вернулся в Сибирь, где произвел целый ряд этнографических исследований. Его главный труд — «Сибирь как колония» (1882). Был редактором «Восточного обозрения».

[78] Петр Алексеевич был избран секретарем выставочного комитета и составил отчет о выставке и «Описание первой Забайкальской выставки сельскохозяйственных и др. произведений, бывшей в городе Чите в 1862 г.». Это описание было издано особой брошюрой в г. Иркутске в 1863 г.

[79] Заседатель М. — заседатель Верхнеудинского земского суда Маркович, который позволял себе всевозможные нарушения законов. П. А. Кропоткин был послан в ноябре 1862 г. в Верхнеудинск для расследования деятельности Марковича, после чего Маркович был отстранен от должности заседателя, но назначен исправником на Камчатке.

[80] Михайлов Михаил Илларионович (1826—1865) — революционер, поэт, переводчик и беллетрист. В начале 1861 г. вместе с Н. В. Шелгуновым составил прокламацию «К молодому поколению», отпечатал ее в типографии Герцена и привез в Россию. За составление и распространение прокламации «К молодому поколению»

П. А. Кропоткин

Статуэтка работы скульптора Цейтлина (1906 г.)

Михайлов был приговорен к ссылке в каторжные работы на 6 лет и отправлен в Кадаинские рудники, где и умер 3 августа 1865 г.

[81] Муравьев М. Н., граф (1796—1866) — генерал-губернатор шести западных губерний. Во время восстания поляков в 1863 г. проявил необычайную жестокость: казнил повстанцев и отдавал приказ сжигать целые деревни и ссылать все население этих деревень в Сибирь. В апреле 1866 г. был назначен членом верховной комиссии по делу Каракозова. За свою жестокость получил от Герцена прозвище «Вешатель».

[82] Кеннан Джордж (1845—1924) — американский писатель и путешественник. После того как в английских журналах в 1883—1884 гг. появились статьи П. А. Кропоткина относительно режима в русских тюрьмах и в ссылке, Кеннан по поручению редакции американского журнала «Century Magazine» вместе с художником Фростом поехал в Сибирь, чтобы проверить правильность сведений, которые сообщил П. А. в своих статьях. Русское правительство было вынуждено дать разрешение Кеннану на посещение важнейших мест ссылки, надеясь, что американец, не зная русского языка, не сможет понять истинное положение ссыльных. Но Кеннан изучил русский язык и сам лично беседовал с ссыльными. В 1890—1891 гг. он опубликовал ряд обличительных статей, вышедших в 1891 г. отдельной книгой под заглавием «Сибирь и ссылка». Эта книга произвела в Европе и Америке огромное впечатление и была переведена на многие европейские языки.

[83] Кравчинский Сергей Михайлович (литературный псевдоним — «Степняк») (1851—1895) — член кружка чайковцев, написал пропагандистские сказки: «Мудрица Наумовна», «Сказку о копейке». В 1873 г. вел пропаганду среди рабочих за Невской заставой под Петербургом. В 1873 г. вместе с Рогачевым одним из первых пошел «в народ» для пропаганды. В 1874 г. бежал за границу, участвовал в геттоговинском движении и в попытке восстания в Беневенто (Италия). 4 августа 1878 г. убил шефа жандармов Мезенцева и скрылся за границей. Написал ряд беллетристических произведений из жизни русских революционеров: «Подпольная Россия», «Андрей Кожухов» и др. Редактировал «Free Russia» в Лондоне. Вместе с Волховским основал «Фонд Вольной русской прессы». Раздавлен поездом под Лондоном в декабре 1895 г.

[84] Чайковский Николай Васильевич (1850—1926) — один из инициаторов кружка чайковцев. В 1874 г. уехал вместе с А. К. Меликовым в Америку, где провел несколько лет. Затем в 1879 г. вернулся в Европу, поселился в Англии. Принимал активное участие в заграничном отделении Красного Креста Народной воли и Фонде Вольной русской прессы. В 1907 г. переехал в Россию. В 1917 г. был одним из лидеров трудовой нар.-соц. партии. В 1918 г. принял участие в интервенции против советской власти на севере. Затем уехал в Англию, умер в Лондоне 30 апреля 1926 г.

[85] Иннокентий (Иван Евсеевич Попов-Вениаминов) — епископ камчатский, впоследствии митрополит московский, написал ряд этнографических и лингвистических трудов об алеутах.

[86] Бутков Владимир Петрович (1820—1881) — государственный секретарь, деятель по судебной реформе 1864 г.

[87] И. И. Попов в своей книге «Минувшее и пережитое» (часть I, изд. «Колос», 1924) приводит рассказ казака-офицера П. Н. Ковригина, которому было поручено снаряжение каравана «Иркутского второй гильдии купца Петра Алексеева». Ковригин говорит, что сразу увидел, что П. А. — «купец самодельный, все приемы и говор у него деланные». Буряты-казаки, прикомандированные сопровождать карэван, также сразу раскусили купца и даже признали в нем военного — П. А. отлично ездил верхом. По улусам пошла молва о важном сановнике, командированном в Манчжурию по важным делам. «Я несколько раз, — говорит Ковригин, — заводил с П. А. разговоры о декабристах, Иркутске, Петербурге, литературе и т. п. Купец слушал с интерессом, но ничем не выдал своего купеческого происхождения. Только когда я сказал, что в Сибири купцы любят и читают литературу, он сказал, что нам, торговым людям, некогда читать книжки. П. А. уехал, а месяца через два-три офицер, снаряжавший вместе со мной караван, спросил меня.

— А знаете, Петр Николаевич, какого купца мы с вами снаряжали?

— Знаю, что это был не купец, а кто он — не знаю, — ответил я.

— Это князь Кропоткин, старший офицер особых поручений при генерал-губернаторе. Несмотря на свою молодость, человек большой учености и блестящей карьеры. Гляди, через десяток лет сам будет генерал-губернатор...»

[88] Обо или «обôи» — груда камней или хвороста на горных дорогах в Азии; всякий путешественник, проезжающий мимо, кладет свой камень и привязывает к кусту или палке часть конской гривы или несколько тряпок «в благодарность горному духу» за благополучно совершенный путь.

[89] Описание этой экспедиции П. А. дал в статье: «Две поездки в Маньчжурию в 1864 г.»; напечатано в «Записках Сибирск. Отдел. Русск. Геогр. Общ.», кн. VIII, Иркутск, 1865, стр. 1—120, а также в статье «Поездка из Забайкалья на Амур через Маньчжурию», напечатано в журнале «Русский вестник», М. 1865, том 57, стр. 663—681.

[90] О путешествии по Сунгари П. А. написал статью «Сунгари от Гирина до устья» («Записки Сибирск. Отдел. Русск. Геогр. Общ.», кн. VIII, стр. 58—111, Иркутск, 1865); краткие сведения приведены в заметке «Экспедиция по реке Сунгари» (из дневника Кропоткина) в «Известиях Русск. Геогр. Общ.», № 4, 1865, а также в газете «Голос» от 3 декабря 1864 г.

[91] Окинский караул — пограничное селение в верховьях реки Оки, притока Ангары, в Саянских горах, на китайской границе.

Экспедиция была снаряжена Сибирск. Отдел. Русск. Геогр. Общ. под начальством П. А. В течение 45 дней экспедиция сделала 1200 верст. Описание этой экспедиции сделано П. А. в статье: «Поездка в Окинский караул» («Записки Сибирск. Отдел. Русск. Геогр. Общ.», кн. IX и X, Иркутск, 1867).

[92] Уоллэс Альфред Русселы (1822—1914) — английский естествоиспытатель, еще ранее Дарвина формулировал теорию эволюции; был в дружеских отношениях с П. А.

[93] Поляков Иван Семенович (1847—1887) был народным учителем в Вост. Сибири, происходил из бедной семьи забайкальских казаков, познакомился в 1863 г. с П. А. Кропоткиным, который сразу оценил его недюжинный ум и помог ему подготовиться в университет. По окончании университета работал вместе с П. А. в Географическом Обществе; был магистром зоологии и впоследствии хранителем зоологического музея Академии Наук.

[94] «Отчет об Олекминско-Витимской экспедиции», составленный П. А. Кропоткиным и И. С. Поляковым, представляет большой том в 680 стр. с приложением 4 карт и 13 рисунков и чертежей (Спб. 1873, изд. Русск. Геогр. Общ.). Краткий отчет об этой экспедиции напечатан в немецк. геогр. журнале Петермана — «Reise im Olekminsk-Witim'schen Gebiet. Sommer 1866, von Fürsten Kropotkin». Описанию этой экспедиции посвящены также и след. статьи П. А.: 1) «Письмо с пути в Витимскую экспедицию» в газете «Сибирский вестник», Иркутск, 1866, № 22; 2) «Задонский прииск на р. Квейгри» в «Сибирском вестнике» 1867, № 4; 3) «Путешествие по Лене» статья в журнале «Записки для чтения», приложение к газете «Биржевые ведомости» 1867, № 1.

За Олекминско-Витимскую экспедицию П. А. был награжден Русским Географическим Обществом золотой медалью. Впоследствии в увековечение научных заслуг П. А. в области географии именем Кропоткина был назван горный хребет на Патомском плоскогорье.

[95] Пумпэлли Рафаэль — известный американский геолог, исследовавший север Америки, Сибирь, Монголию и Японию.

[96] Бастиан Адольф (1826—1905) — немецкий путешественник и этнограф, один из основателей этнологии как науки. Был директором музея народоведения в Берлине. Главный его труд — «Человек в истории», 3 тома, 1860 г.

[97] Корреспонденции П. А. о восстании поляков на круго-байкальской дороге были перепечатаны в № 17 журнала «Былое» (1922), а также в сборнике: «Памяти Петра Алексеевича Кропоткина», изд. «Всеросс. обществ. комитета по увековечению памяти П. А. Кропоткина». М. 1922, стр. 123—172.

[98] Шварц Людвиг — немецкий астроном, участник «Сибирской экспед. Геогр. Общ.» 1854—1859 гг., им было определено более ста астрономических пунктов и сделано 20 000 верст маршрутной съемки.

[99] Схема П. А. в строении гор Вост. Сибири была принята известным австрийским геологом Эдуардом Зюссом в его классическом трехтомном труде «Das Autlitz

der Erde» (Лик земли). Зюсс говорит, что «позднейшие исследования подтвердили предположения Кропоткина». Вообще Зюсс очень высокого мнения о работах П. А. и во многих местах своего труда цитирует и опирается на выводы П. А., между прочим, на страницах 58, 59, 63, 64, 72, 95, 145, 146, 150, 151 и 152 первого тома, а также на стр. 318 второго тома (франц. изд.).

[109] «Общий очерк орографии Вост. Сибири и материала для орографии Вост. Сибири в «Записках по общей географии», том V, 1875, изд. Географ. Общества.

[101] Петерман Август (1822—1878) — географ-картограф, работал в Лондоне в 1854 г., получил приглашение заведывать катограф. институтом «Justus Perthes» в Готе, издавал ежемесячный географический журнал «Peterman's Mittheilungen», которому много способствовал развитию географии.

[102] П. А. состоял членом нескольких комиссий при Географическом Обществе, между прочим «Комиссии для выяснения нужд Амурского края» (образованной в 1869 г.), «Метеорологической комиссии» (председатель Г. И. Вильд, директор Главной физической обсерватории), «Комиссии для организации экспедиции в Туркестан», «Комиссии для выработки программы исследований Петербургской и Олонецкой губ.» и «Комиссии по исследованию русских северных морей».

[103] Северцов Николай Алексеевич (1827—1885) — зоолог, зоогеограф и путешественник. В 1864 г. исследовал Туркестан, Памир, попал в плен к кокандцам. Главный его труд — «Путешествие по Туркестанскому краю и исследование горной страны Тянь-Шань».

[104] Миклуха-Маклай Николай Николаевич (1847—1887 — русский путешественник и исследователь Новой Гвинеи. Прожил среди дикарей несколько лет. Записки Маклея о его путешествиях изданы только в 1923 г. — «Путешествия Н. Н. Миклухи-Маклая», том I, стр. 616, «Новая Москва».

[105] Федченко Александр Павлович (1844—1873) — зоолог и путешественник. В 1869—1871 гг. исследовал Туркестан и пустыню Кизыл-Кум. Погиб в 1873 г. в Швейцарии при восхождении на Монблан.

[106] Пржевальский Николай Михайлович (1839—1888) — русский путешественник, исследователь Центральной Азии.

[107] Сидоров Михаил Константинович (1823—1887) — сибирский купец-промышленник, знаток морских промыслов и русского севера. На свои средства снарядил судно «Утренняя заря», доставившее товары из устья Енисея в Архангельск. Много писал по вопросам о судоходстве по северным морям. Главные его труды — «Север России» (1870) и «О богатствах северных окраин Сибири» (1873).

[108] Баренц Вильгельм — голландский мореплаватель XVI в. В 1594 г. отправился из Амстердама на северо-восток для отыскания северо-восточного прохода из Европы в Китай вдоль северных берегов Европы и Азии. Погиб после зимовки на Новой Земле, в 1597 г. В честь его часть Ледовитого океана между Новой Землей и Шпицбергеном названа Баренцовым морем.

[109] Норденшильд Адольф-Эрик (1832—1902) — шведский ученый и путешественник. В 1878—1880 гг. совершил на пароходе «Вега» путешествие вокруг Европы и Азии — подвиг, считавшийся до того времени невыполнимым благодаря массам плавающих вдоль северных окраин Сибири льдов.

[110] Пири Роберт — американский путешественник и исследователь полярных стран. В 1909 г. достиг Северного полюса.

[111] Доклад этот представляет собою брошюру в 8° в 92 стр. мелкого шрифта и носит заглавие: «Экспедиция для исследования русских северных морей». Составлен П. А. Кропоткиным при содействии А. И. Воейкова, М. А. Рыкачева, барона Н. Г. Шиллинга, Ф. Б. Шмидта и Ф. Ф. Яржинского. Спб. 1871. Об этом докладе и отчете о деятельности Географического Общества, составленном П. П. Семеновым-Тянь-Шаньским, говорится: «заключения, представленные комиссией, сопровождались обширной запиской, чрезвычайно талантливо написанной секретарем комиссии князем П. А. Кропоткиным».

[112] Лютке или, правильнее, Литке, Федор Петрович (1797—1882) — адмирал, путешественник, в 1821—1824 гг. исследовал Новую Землю.

[113] Пайер и Вейпрехт — австрийские путешественники и исследователи, открывшие архипелаг островов, названных ими Землей Франца-Иосифа.

[114] Гельмерсен Григорий Петрович (1803—1885) — выдающийся русский геолог, профессор Горного института в Петербурге, академик и директор Геологического комитета. Им была составлена первая геологическая карта Европейской России. Был дружен с П. А. Кропоткиным.

[115] Шмидт Фридрих Богданович — известный геолог и палеонтолог, академик; в 1859—1862 гг. принимал участие в качестве геолога и ботаника в «Большой экспедиции Русск. Геогр. Общ. для исследования Амурского края и острова Сахалина». Был большим другом П. А., который считал его своим учителем в области геологии.

[116] Вопрос о причине засух, обусловливающих периодические неурожаи на юго-востоке России, сильно занимал П. А. много лет. В результате размышлений по этому поводу у П. А. сложилась теория «о высыхании Евразии» как последствие «ледникового периода». Свою теорию о высыхании Европы и Азии П. А. изложил в докладе Лондонскому Географическому Обществу в 1904 г. Этой же теории посвящена и брошюра П. А. «The Desiccation of Eur.-Asia», London, 1904.

Эта теория П. А. встретила среди ученых многочисленные возражения. Из русских ученых противником этой теории является проф. Л. С. Берг. Однако в настоящее время в Европе и в Америке многие географы начинают признавать правильность теории П. А. относительно «высыхания» материков.

[117] Свои теории и наблюдения по вопросу «о ледниковом периоде» П. А. изложил в своем труде «Исследование о ледниковом периоде», изданном Русским Географическим Обществом, Спб. 1876, том I, стр. XXXIX + 717 + приложение (краткое изложение глав о классификации наносов и об озах) с приложением особого атласа карт и чертежей.

Второй том «Исследования о ледниковом периоде» написан П. А. в крепости; после его побега остался в руках жандармов и только в 1895 г. был передан в Географическое Общество, которое и переслало рукопись П. А. в Лондон.

О научных заслугах П. А. в деле обоснования теории «ледникового периода» говорится во многих ученых трудах по геологии и географии. Здесь мы отметим только несколько из таких произведений, вышедших в наши дни: М. Мензбир, «Великое оледенение Европы», изд. Сабашниковых, М. 1923, стр. 20; А. П. Павлов, «История развития геологических знаний», Гос. изд. 1921 г.; Г. И. Танфильев, «География России, Украины и примыкающих к ним с запада территорий». Гос. изд. Украины, 1922. Часть I. Введение, стр. 1, часть II, вып. I, стр. 121—122, часть II, вып. 2, стр. 205; Академик В. И. Вернадский, «Статьи и речи», вып. II, стр. 85.

Большое влияние взгляды П. А. по вопросу о ледниковом периоде и о влиянии ледников на формирование рельефа России оказали на знаменитого русского геолога, «отца» науки о почвах В. В. Докучаева (об этом см. «Очерки и речи» академика В. И. Вернадского, Петроград, 1922, вып. II, стр. 85).

[118] Свой доклад о «ледниковом периоде» П. А. прочитал в заседании Географического Общества 21 марта 1874 г. В протоколе заседания говорится: «Князь П. А. Кропоткин познакомил присутствующих со своими исследованиями ледниковых образований в Финляндии, приведшими его к тому убеждению, что все валуны, рассеянные на полях средней и северной России, доставлены туда из Финляндии ледниками, а не плавающими льдинами, как это большей частью предполагалось доселе...»

Далее в протоколе говорится, что «сообщения князя Кропоткина возбудили весьма оживленные прения». Оппонентами П. А. выступали граф Мёллер и известный русский геолог Н. П. Барбот де Марни. Но ни тот, ни другой, в сущности, не привели никаких веских опровержений. Барбот де Марни в заключение своей речи мог только сказать: «Князь П. А. Кропоткин о покрытии Европейской России до Киева и Воронежа огромным ледником высказал одну только гипотезу, а чтобы обратить ее в теорию, для этого у нас совсем еще нет данных».

Позднейшие исследования доставили эти данные и подтвердили предположения П. А. Кропоткина. В настоящее время существование эпохи ледникового периода никем не оспаривается. Теория ледникового периода дала ключ для расшифровки строения поверхности Европейской части СССР, без этого рельеф и происхождение верхних слоев русской почвы представляли бы для ученых неразрешимые загадки.

[119] Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт.

[120] Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — брат Николая Милютина, военный министр, вышел в отставку в 1881 г.

[121] Засулич Вера Ивановна (1851—1919). Арестована в 1869 г. по делу Нечаева, выслана в Тверь—Солигалич—Харьков, где она вступила в кружок киевских бунтарей. 24 января 1875 г., узнав о наказании розгами по распоряжению петербургского градоначальника Трепова политзаключенного Боголюбова, стреляла в Трепова и тяжело ранила его. Дело Засулич было передано суду присяжных, и суд вынес ей оправдание. В 1880 г. эмигрировала за границу, принимала участие в Красном Кресте Народной Воли. В 1883 г. вошла вместе с Плехановым и Дейчем в группу «Освобождение труда», из которой позднее развилась русская социал-демократическая партия. Один из редакторов «Искры». В 1903 г. была среди лидеров меньшевиков. В 1905 г. вернулась в Россию. Во время войны 1914—1918 гг. вместе с Плехановым была в рядах оборонцев. Умерла в 1919 г. в Петрограде.

[122] Великий князь Сергей — московский генерал-губернатор, убит социал-революционером И. П. Каляевым в Кремле 4 февраля 1905 г.

[123] Сын Константина Николаевича, брата царя.

[124] Великоросс — под этим названием появились в 1861 г. первые нелегальные прокламации (вышло три листка). Содержание их было умеренно-конституционное, выставлялось требование созыва народных представителей для выработки конституции.

[125] «Земля и Воля» — тайное общество, возникшее в начале 1862 г. по инициативе Н. А. Серно-Соловьевича. Об-во «Земля и Воля» 60-х гг. состояло преимущественно из учащейся молодежи, в нем кроме Серно-Соловьевича принимали близкое участие Н. И. Утин, Л. Пантелеев, Рымаренко. Общество выпустило несколько прокламаций и два номера газеты «Свобода». Прекратило свое существование вследствие ареста и эмиграции Серно-Соловьевича.

[126] Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883).

[127] Хвощинская Надежда Дмитриевна (1825—1889) — литературный псевдоним — В. Крестовский. В романах ее отразилась жизнь дореформенной провинции. Самым крупным романом является «Большая Медведица».

[128] Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866) — сын помещика Саратовской губ.; за участие в студенческих волнениях был исключен из университета. В 1865 г. вошел в Москве в революционный кружок, организованный Ишутиным. 4 апреля совершил покушение на Александра II. Был арестован и казнен 3 сентября 1866 г. на Смоленском поле в Петербурге.

[129] Ишутин Николай Андреевич (1840—1879). В 1864 г. основал революционный кружок «Организация». В 1866 г. был арестован по делу Каракозова и приговорен к смертной казни. Казнь была заменена бессрочной каторгой. Ишутин был заключен в Шлиссельбургскую крепость, в 1868 г. был переведен в Александровскую каторжную тюрьму в Забайкальскую область, где сошел с ума. Умер на Каре от чахотки в 1879 г.

[130] Грубер Венцеслав Леопольдович (1850—1891) — профессор, выдающийся анатом. Его учеником был известный профессор П. Ф. Лесгафт.

[131] Ковалевская Софья Васильевна (1850—1891), урожд. Корвин-Круковская — математик. В 1883 г. получила кафедру математики в Стокгольмском университете. Писала также стихи и романы.

[132] Лаврова Софья Николаевна (1840—1916) — дочь польского повстанца 1830 г. С. О. Чайковского. Училась в Цюрихе. Принимала участие в побеге П. А. Кропоткина. 15 октября 1878 г. арестована по делу об убийстве Мезенцева. За распространение запрещенных сочинений заключена в Петропавловскую крепость. В 1880 г. выслана в г. Уржум Вятской губ. По окончании срока ссылки поселилась в Париже. Умерла в 1916 г. в Петербурге.

[133] Стасова Надежда Васильевна (1822—1895) — поборница женского равноправия и деятельница в области женского образования.

[134] Корф Николай Александрович (1834—1883) известный деятель по народному образованию.

[135] Ген. Дурново — брат бывшего в 60-х гг. московского генерал-губернатора.

[136] Дурново Елизавета Петровна (по мужу Ефрон) — народница, друг П. А. После 1905 г. должна была эмигрировать и поселилась в Париже. Покончила само-

убийством в 1910 г. (О ней см. в книге Н. А. Морозова «Повести моей жизни», том I, изд. «Задруга», М. 1918, глава «Лиза Дурново», стр. 181—197).

[137] Армфельд Наталья Александровна (1846—1887) — член московского кружка чайковцев, народница. Была арестована в 1874 г. за распространение социалистических революционных сочинений и затем вторично в 1879 г. Была приговорена к 14 годам каторжных работ и отправлена на Кару. Умерла от чахотки в 1887 г. Была дружна с П. А. Кропоткиным.

[138] В Московский кружок чайковцев входили: Н. А. Армфельд, М. Антонова, Варвара Батюшкова, Иванчин-Писарев, Клячко, Кравчинский, Татьяна Лебедева, Н. А. Морозов, М. Ф. Фроленко.

[139] О жизни русской учащейся молодежи в Цюрихе см. книгу В. Н. Фигнер «Студенческие годы», М. 1924, изд. «Голос труда», стр. 212.

[140] Сонечка — Софья Николаевна Лаврова, родственница П. А.

[141] Смецкая Надежда Николаевна (1850—1905) — анархистка. Училась в Цюрихском политехникуме, дочь богатых родителей. Чтобы получить от родителей приданое, которое она хотела употребить на дело революции, она предлагала в 1877 г. П. А. вступить с ней в фиктивный брак. П. А. вначале дал было свое согласие, потом отказался. Смецкая уехала в 1878 г. в Россию, где пыталась поднять восстание среди уральских казаков. Была арестована в 1879 г., выслана в Вост. Сибирь. За попытку к побегу была отправлена в Якутскую область, где вышла замуж за ссыльного поляка, писателя Адама Шиманского. В 1896 г. заболела душевной болезнью и пробыла 9 лет в психиатрической лечебнице, где и умерла в 1905 г.

[142] Росс Арман — псевдоним революционера Михаила Петровича Сажина. Сажин (род. в 1845 г.) был «правой рукой» Бакунина в русских делах. Состоял членом I Интернационала и принимал участие в защите Парижской Коммуны. В 1870 г. он основал в Цюрихе русскую библиотеку, русскую типографию, где напечатал сочинения Бакунина: «Государственность и анархия», «Историческое развитие Интернационала». В 1876 г. был арестован на границе, судился по делу 193-х и приговорен к пяти годам каторжных работ, был заключен в новоборисоглебскую центральную тюрьму Харьковской губ. По отбытии срока каторги отправлен на поселение в Сибирь, где пробыл 16 лет. В 1883 г. женился в Сибири на политической ссыльной Евгении Николаевне Фигнер. В 1896 г. разрешено вернуться в Европейскую Россию. Жил одно время в Нижнем, а затем переселился в Петербург, где заведывал издательством журнала «Русское богатство». В настоящее время живет в Москве.

[143] Интернационал — Международное товарищество рабочих, основано 28 сентября 1864 г.

[144] Пьер Дюпон — французский рабочий, поэт, певец революции, мировой республики и международного братства. Наиболее известны его произведения: «Песня рабочих», «Песня о хлебе», «Песня ссыльных», посвященная сосланным на одинокий остров среди бушующего океана рабочим каторжанам после июньской бойни, «Машинист», «Два товарища».

[145] Тьер Луи Адольф (1797—1877) — французский государственный деятель и историк. В 1871 г. был главой исполнительной власти и по его приказу расстреливали коммунаров.

[146] Оуэн Роберт — один из основоположников (вместе с Фурье и Сен-Симоном) так называемого «утопического социализма». В 1812 г. написал книгу «Об образовании человеческого характера», в которой доказывал, что «развитие характера человека находится в зависимости от материального положения и воспитания». Чтобы доказать верность своих идей, Оуэн организовал на новых началах большую фабрику в Шотландии. В 1824 г. Оуэн устроил в Америке на коммунистических началах общину «Новая Гармония», однако она вскоре распалась. Идеи Оуэна оказали большое влияние на английское рабочее и кооперативное движение.

[147] Лассаль Фердинанд (1825—1864).

[148] Энгельс Фридрих (1820—1895).

[149] Кабэ Этьен (1788—1856) — французский утопист-коммунист. Свои теории изложил в романе «Путешествие в Икарию» (вышел в 1842 г.). В 1847 г. несколько сот человек, последователей Кабэ, переселились в Техас, в Америку, где и основали коммунистическую общину, но эти коммуны долго не просуществовали.

[150] Тейш (1839—1887) — французский рабочий, социалист, член Интернационала. Во время Парижской Коммуны был комиссаром почт и телеграфа. После

П. А. Кропоткин в своем рабочем кабинете в Англии

разгрома Коммуны бежал в Лондон, где вел полуголодное существование, пробиваясь поденной работой. После амнистии 1880 г. вернулся в Париж и сотрудничал в разных социалистических газетах. Умер в 1887 г. в Париже.

[151] Утин Николай Исаахович — в 1862—1864 гг. состоял членом об-ва «Земля и Воля». В 1863 г. эмигрировал за границу, поселился сначала в Лондоне, потом в Женеве. Член славянской секции Интернационала. В 1877 г. Утин испросил у царского правительства разрешения вернуться в Россию, где и умер в 1883 г.

[152] Жуковский Николай Иванович (1842—1895) — эмигрант с 1862 г., друг Герцена и Бакунина. Сотрудничал в «Колоколе» Герцена. Принимал участие в издании заграничных революционных органов: «Народное дело», «Община», «Работник». Умер в Женеве в 1895 г.

[153] Юрская федерация Интернационала была основана в 1871 г. и объединяла рабочие секции Юрской Швейцарии, главным образом рабочих часового производства в Невшателе, Шо-де-Фоне, Сент-Имье, Сонвилье и др. В ее недрах развился и оформился анархический коммунизм. Из видных ее деятелей были: Бакунин, Джемс Гильом, Швитгебель, Н. Жуковский, Шпихгер, с 1876 г. П. Кропоткин. Юрская федерация прекратила свое существование в 1878 г., когда распался Интернационал.

[154] Генеральный совет Интернационала, который состоял из делегатов рабочих отдельных стран. Руководящую роль в совете играл Карл Маркс.

[155] Карл Маркс (1818—1883).

[156] Джемс Гильом (1844—1916) — один из виднейших деятелей Юрской федерации, близкий друг Бакунина, в 1862 г. был на философском факультете Цюрихского университета, где пробыл два года, учитель колледжа в городе Локль. В 1869 г. познакомился с Бакуниным и стал его последователем. До 1872 г. редактор печатных органов Романской федерации Интернационала «Прогресс» и «Солидарность». В 1872 г. редактор органа Юрской федерации — Бюллетеня Юрской федерации, который он издает до 1878 г. В 1878 г. Гильом покидает Швейцарию и поселяется в Париже. В 1879 г. секретарь «Педагогического обозрения». В 1889 г написал книгу о Законодательном комитете во время Французской революции. Сотрудник Географического словаря Франции «Революционные очерки», в двух томах. Написал четыре тома «Воспоминаний об Интернационале».

[157] Галифэ Гастон (1830—1909) — французский генерал, при подавлении Коммуны проявил необычайную жестокость по отношению к пленным коммунарам. Впоследствии был военным министром.

[158] Малон Бенуа (1841—1893) — французский социалист, член Интернационала, видный деятель Парижской Коммуны. По происхождению крестьянин, был пастухом, 16 лет самоучебой выучился грамоте. После разгрома Коммуны Малону удалось бежать в Швейцарию, где написал свою книгу «Третье поражение французского пролетариата». После амнистии 1880 г. вернулся в Париж, где начал издавать журнал «Социалистическое обозрение». Писал много по социальным вопросам, составил пятитомную «Историю социализма», где пытался дать теорию «интегрального», т. е. всестороннего социализма.

[159] Варлен Евгений (1839—1871) — французский рабочий, переплетчик, один из основателей I Интернационала, видный деятель французского рабочего движения. Во время Коммуны 1871 г. был комиссаром по продовольствию, затем комиссаром финансов. Геройски боролся на баррикадах, был взят в плен 28 мая 1871 г., в последний день Коммуны, и расстрелян версальскими солдатами на Монмартре.

[160] Пэнди — французский рабочий, столяр, деятельный член Интернационала и Парижской Коммуны. На Базельском конгрессе Интернационала в 1869 г. выступал с докладом об организации профессиональных союзов и об их роли в революции. В этом докладе Пэнди высказал много мыслей, роднящих его с революционными синдикалистами. Умер в 1917 г. в Швейцарии.

[161] Делеклюз Шарль (1809—1871) — французский журналист, революционер, член Интернационала, видный участник Парижской Коммуны (был военным комиссаром), мужественно боролся против версальцев и был убит на последней баррикаде 28 мая 1871 г.

[162] Риго Рауль (1846—1871) — коммунар, после свержения Наполеона III поступил на службу в полицию. Во время Коммуны сделался полицейским пре-

фектом. По его распоряжению были расстреляны заложники. Был взят в плен версальцами и расстрелян на улице Парижа, близ Люксембургского сада.

[163] Мишель Луиза (1836—1905) — французская анархистка-коммунистка, большой друг П. А. Кропоткина. Во время Коммуны организовала женский комитет и принимала участие в вооруженной борьбе. Была захвачена в плен и сослана в каторжные работы на остров Новой Каледонии. В 1880 г. после амнистии вернулась в Париж, где стала вести пропаганду анархизма. В 1883 г. была арестована и приговорена к шестилетнему тюремному заключению. В 1886 г. была амнистирована. За свою революционность Мишель получила от парижских рабочих прозвище «Красная дева». Мишель много писала: наиболее ценные из ее произведений — «Коммуна» (есть русский перевод), «Воспоминания» и роман «Ниццета».

[164] Лефрансэ Густав (1826—1901) — член Коммуны, по профессии учитель, участник революции 1848 г. Был приговорен версальцами к расстрелу, но ему удалось скрыться в Швейцарию. Написал книгу «Etude sur le mouvement communaliste à Paris en 1871». Genève 1872. На русском языке есть перевод его воспоминаний о Коммуне.

[165] Швицгебель Адамар (1844—1895) — рабочий-часовщик из Сонвилье (Бернская Юра). Член I Интернационала, секретарь одно время Романского федерального комитета в Сент-Имье, друг Бакунина, а впоследствии П. А. Кропоткина. Швицгебеля по его идеям и мировоззрению можно назвать одним из предшественников революционного синдикализма. Некоторые статьи и речи Швицгебеля были изданы Джемсом Гильомом в Париже в 1912 г.

[166] «Нигилизм». Это слово было введено И. С. Тургеневым (происходит от латинского слова nihil, что значит — ничего, отрицание всего). Так было названо революционное движение среди интеллигенции 60—70-х гг.

[167] Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ, изложил свою систему синтетической философии в книгах: «Первоначальные основы», «Основы биологии», «Основы психологии», «Основы социологии», «Этика».

[168] Клеменц Дмитрий Александрович (1847—1914) — член петербургского кружка чайковцев, автор пропагандистского стихотворения «Барка» и «Сказок». В 1872—1873 гг. вел пропаганду среди рабочих в Петербурге за Невской заставой и на Выборгской стороне, член об-ва «Земля и Воля», сотрудничал в «Отечественных записках», был арестован в 1879 г. и сослан в Вост. Сибирь. Здесь он предпринял этнографические и антропологические исследования, организовал экспедицию для изучения Якутского края. По ходатайству академика Радлова Клеменцу было разрешено в конце 90-х гг. возвратиться в Европейскую Россию. В 1900 г. ему было поручено организовать этнографический отдел музея Александра III в Петербурге. Умер 8 января 1910 г. в Москве.

[169] Перовская Софья Львовна (1853—1881) — одна из наиболее выдающихся членов петербургского кружка чайковцев, об-ва «Земля и Воля». Привлекалась к большому процессу 193-х, была административно выслана в Олонецкую губ., бежала с пути. Вступив в партию «Народная Воля», она становится членом ее исполнительного комитета, принимает участие в нескольких покушениях на Александра II. В деле 1 марта 1881 г. сыграла видную роль, руководила бросанием бомб. Была арестована 10 марта и приговорена к смертной казни. Приговор приведен в исполнение 3 апреля 1881 г. Перовская была повешена вместе с Желябовым, Кибальчичем, Михайловым и Рысаковым.

[170] Сестры Корниловы — члены петербургского кружка чайковцев: Александра Ивановна (по мужу Мороз), судившаяся по делу 193-х, была сослана в Пермскую губ.; Любовь Ивановна (по мужу Сердюкова) привлекавшаяся в 1878 г. по делу о московском кружке, выслана административно, умерла в 1892 г.; Вера Ивановна (по мужу Грибоедова) умерла в 1875 г.

[171] Кружок Чайковского образовался в 1871 г. из студенческого кружка натансоновцев (Коммуна на Вульфовой улице) и кружка сестер Корниловых, в котором участвовали: Софья Перовская, Ободовская, сестры Корниловы и Шлейснер. Цель кружка — создание среди интеллигенции и студентов «революционно-социалистических кадров», или, как тогда выражались, кадров истинно-народной партии в России. Кружок Чайковского вел систематическую пропаганду среди учащейся молодежи; устраивал кружки самообразования, землячества и так называемые ком-

муны, затем отделения кружка в провинции и в разных городах, — так возникли московский кружок, одесский, киевский и др.

Наиболее видные члены центрального петербургского кружка чайковцев: В. Александров, Ю. Н. Богданович, О. Э. Веймар, Ф. В. Волховской, Н. А. Грибоедов, Зубок-Мокиевский, Д. А. Клеменц, А. И., В. И., Л. И. Корниловы, С. М. Кравчинский, П. А. Кропоткин, А. Д. Кувшинская, М. Д. Куприянов, Ф. Н. Лермонтов, Н. К. Лопатин, М. А. Натансон, А. Я. Ободовская, С. Л. Перовская, Д. М. Рогачев, А. И. Сердюков, С. С. Синегуб, Л. А. Тихомиров, Н. В. Чайковский, Н. А. Чарушин, Л. Э. Шишко, О. А. Шлейснер.

Московского кружка: Н. М. Аносов, О. Г. Алексеева, Н. А. Армфельд, В. Н. Батюшкова, И. И. Гамов, С. Л. Клячко, Т. И. Лебедева, В. А. Лопатин, А. О. Лукашевич, Н. А. Морозов, Н. А. Саблин, Л. А. Тихомиров, М. Ф. Фроленко, Цакни

Одесско-херсонского: А. И. Желябов, В. Ф. Костюрин, М. Р. Ланганс, А. А. Франжоли.

Харьковской группы: Д. А. Лизогуб.

Киевского кружка: П. Б. Аксельрод, Лазарь Гольденберг, Н. Н. Колодкевич, С. Г. Лурье.

П. А. Кропоткин вместе с Львом Тихомировым и Сергеем Кравчинским были выбраны в редакционную комиссию кружка. П. А. Кропоткину кружок поручил составить программу деятельности, в результате чего явилась большая статья П. А.: «Должны ли мы заняться изучением идеала будущего». Рукопись этого доклада была захвачена у Кропоткина при обыске и фигурировала как вещественное доказательство на процессе 193-х. (Статья напечатана в № 17 «Былого» и в сборн. «Памяти П. А. Кропоткина», М. 1921).

Кружок чайковцев прекратил свое существование в 1874 г., когда большинство членов кружка было арестовано, а часть эмигрировала за границу.

172 Берви-Флеровский В. В. (1829—1918) — публицист и социолог. В конце 60-х и начале 70-х гг. написал работы, имевшие большое пропагандистское значение: «Положение рабочего класса в России» (1869) и «Азбуку социальных наук» (1871). В 1893 г. уехал за границу, написал «Три политические системы», изданные в Лондоне в 1897 г. Умер 4 октября 1918 г.

173 Шишко Леонид Эммануилович (1854—1910) — бывший артиллерийский офицер, член петербургского кружка чайковцев. Был арестован в 1874 г., судился по процессу 193-х (приговорен к 9 годам каторги на Кару), бежал в 1889 г. за границу, где занимался главным образом литературной работой. Большой популярностью пользуются его «Рассказы из русской истории».

174 Тамбовский помещик Свечин, сосед Кропоткина по имению.

175 Исполнительный комитет партии «Народная Воля» — центральный руководящий орган этой партии. Партия «Народная Воля» была организована строго централистически. Через исполнительный комитет устанавливались связь и единство среди тайных народовольческих групп.

Исполнительный комитет организовал целый ряд покушений на высших агентов правительства и на самого царя, эта борьба закончилась делом 1 марта.

Наиболее видными членами исполнительного комитета были: С. Л. Перовская, А. И. Желябов, В. Н. Фигнер, Н. А. Морозов, Александр Михайлов, Квятковский, Лев Тихомиров, впоследствии ренегат. О деятельности исполнительного комитета см. книгу В. Н. Фигнер «Запечатленный труд».

176 Куприянов М. В. — член петербургского кружка чайковцев, организовал библиотеку для рабочих, был послан кружком в 1872 г. в Швейцарию (с паспортом П. А. Кропоткина) для переговоров с Лавровым и Сажиным об издании революционного журнала и для организации транспорта запрещенных книг. Осенью 1873 г. вместе с Чарушиным вел пропаганду рабочих на Выборгской стороне. Судился по процессу 193-х, умер в Петропавловской крепости 18 апреля 1878 г.

177 Варвара Николаевна Батюшкова (1852—1894) — член московского кружка чайковцев, дочь генерала. Была арестована в 1875 г., судилась по процессу 50-ти, была приговорена к каторжным работам на 9 лет, замененным ссылкой на поселение.

178 Рогачев Дмитрий Мих. (1851—1884) — член петербургского кружка чайковцев, бывший артиллерийский офицер, товарищ по училищу Кравчинского и Шишко. В 1873 г. поступил рабочим на Путиловский завод и начал вести про-

паганду среди рабочих. Арестован в 1876 г., судился по процессу 193-х и был приговорен к 19 годам каторжных работ. Умер на Каре.

[179] Лебедева Татьяна Ивановна (1850—1887) — член московского кружка чайковцев. Судилась по процессу 193-х. После отбытия тюремного заключения в 1879 г. вошла в партию «Народная Воля» и принимала участие во всех важнейших делах партии. Была арестована осенью 1881 г. и приговорена к смертной казни, замененной потом каторжными работами без срока. Сидела в Петропавловской крепости, в 1884 г. была отправлена на Кару, где вскоре и умерла.

[180] Сердюков Анатолий Иванович — член петербургского кружка чайковцев, друг П. А. Кропоткина, вместе с ним вел пропаганду среди рабочих. Судился по процессу 193-х и был выслан в Тверь, где 5 апреля 1878 г. покончил жизнь самоубийством.

[181] Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский историк, автор книги «История цивилизации в Англии».

[182] Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский мыслитель и экономист, его произведения имели огромное влияние на русскую молодежь 60-х и 70-х гг. Главные его труды: «Основы политической экономии», к которому были сделаны обширные примечания Чернышевским, а также трактат «О свободе» и «Утилитарианизм».

[183] Дрэпер Джон Вильям (1811—1882) — американский историк, известен главным образом как автор книги «Умственное развитие Европы».

[184] Шпильгаген Фридрих (1829—1911) — немецкий романист, его романы пользовались в эпоху 70-х гг. большой популярностью, в особенности «Один в поле не воин».

[185] Чарушин Николай Аполлонович (род. в 1853 г.) — член петербургского кружка чайковцев, был арестован в 1874 г., судился по процессу 193-х, приговорен к каторжным работам на 9 лет, после был на поселении. В настоящее время живет в Вятке. Написал книгу «Кружок чайковцев», изд. Общества политкаторжан М. 1926.

[186] Кувшинская Анна Дмитриевна — член петербургского кружка чайковцев, вместе с Чарушиным вела социалистическую пропаганду среди рабочих. Была арестована весной 1874 г., судилась по процессу 193-х и приговорена к ссылке в Сибирь, где вышла замуж за Чарушина. Умерла 11 января 1909 г. в Вятке.

[187] Синегуб Сергей Силыч (1853—1907) — член петербургского кружка чайковцев, вместе с Кропоткиным вел пропаганду среди рабочих, судился по процессу 193-х, был приговорен к 9 годам каторги. После отбытия срока жил в Томске. Написал «Воспоминания» (напечатанные в журнале «Былое» 1906, №№ 8, 9, 10). Стихотворения Синегуба изданы «Донской речью» в 1906 г.

[188] Низовкин — студент, провокатор.

[189] Прозвище «Бородин» было дано П. А. рабочими за большую бороду.

[190] Доклад П. А. в Географическом Обществе состоялся 21 марта 1874 г.

[191] Барбот де Марни Николай Павлович (1829—1877) — известный геолог, профессор Горного института в Петербурге.

[192] Войнаральский Порфирий Иванович (1848—1898) на дело русской революции пожертвовал все свое состояние свыше 40 000 руб. Судился по процессу 193-х, приговорен к 10 годам каторжных работ.

[193] Мезенцев Н. В. (1827—1878) — шеф жандармов. За издевательства над политическими заключенными был убит 9 августа 1878 г. Степняком-Кравчинским.

[194] Лорис-Меликов Н. В. (1825—1888) — министр внутренних дел до 1881 г. Ему было поручено выработать «конституцию». После 1 марта 1881 г. был отстранен от государственной службы. Управление Лорис-Меликова получило название «диктатуры сердца», ибо одновременно с жестокой борьбой с революционерами он делал кое-какие уступки либеральному обществу.

[195] Кропоткин был заключен в камеру № 52 Трубецкого бастиона.

[196] Мост Иоганн (1846—1906) — известный немецкий анархист. В 70-х гг. был социал-демократом и дружил с Марксом. В 1878 г. был исключен из социал-

П. А. Кропоткин у входа в свою квартиру в Лондоне

демократической партии за одобрение террористических актов против германского императора. В 1880 г. эмигрировал в Англию, где подружился с П. А. Кропоткиным и начал издавать газету «Фрейхейт» (Свобода). В 1881 г. был привлечен к суду и приговорен к полутора годам тюремного заключения за статью, где он одобрял убийство царя Александра II. После отбытия срока заключения Мост уехал в Нью-Йорк, где и продолжал издавать газету «Фрейхейт», выступая в то же время на рабочих митингах и собраниях. На русский язык переведена его брошюра «Религиозная язва».

[197] Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — ученый, философ, теоретик революционного народничества, член о-ва «Земля и Воля». В 1866 г. был сослан в Вологодскую губ. В 1868 г. в ссылке написал «Исторические письма», имевшие большое влияние на молодежь. В 1870 г. Лопатин организовал Лаврову побег за границу, и Лавров поселился в Париже. В 1870 г. вступил в Интернационал, принимал участие в Парижской Коммуне. В 1872 г. переселился в Цюрих, затем переехал снова в Париж. В 1882 г. был выслан из Парижа, переехал в Лондон, редактировал вместе с Тихомировым «Вестник Народной Воли». С 1897 г. жил в Париже, занимаясь научно-литературной работой.

Был в хороших отношениях со старшим братом П. А. Кропоткина Александром Алексеевичем, а также и с самим П. А. Кропоткиным (см. ст. П. А. Кропоткина «Воспоминания о П. Л. Лаврове» в сборн. «П. Л. Лавров», изд. «Колос», 1922, стр. 436—439).

[198] Савич Алексей Николаевич (1810—1883) — астроном, профессор Петербургского университета, хороший знакомый братьев Кропоткиных .

[199] «Лавристы» — социалисты-народники умеренного направления.

[200] «Бакунисты» — последователи М. А. Бакунина — социалисты-народники, ставившие своей целью социальную революцию и призывавшие народ к восстанию. В отличие от «лавристов» назывались также «бунтарями».

[201] Гольденберг Лазарь — арестован в 1869 г. за участие в студенческих волнениях, эмигрировал за границу в 1872 г. и заведывал типографией чайковцев в Женеве. В 1876 г. переселился в Лондон, работал по изданию «Вперед». В 1890 г. принимал участие в организации «Фонда вольной русской прессы». Умер в Лондоне в 1916 г.

[202] Тихомиров Лев Александрович (1850—1917) — бывший революционер-народник, член кружка чайковцев, а впоследствии один из видных членов партии «Народная Воля». В 1883 г. эмигрировал за границу, в 1888 г. отрекся от своих прежних убеждений и напечатал брошюру «Почему я перестал быть революционером». Получил после этого от царского правительства разрешение вернуться в Россию и стал одним из видных монархистов; сотрудничал в «Московских ведомостях» и в «Новом времени». В 1930 г. изданы его воспоминания.

[203] Полное заглавие этого труда П. А. — «Исследование о ледниковом периоде». О ледниковых наносах в Финляндии. Об основаниях гипотезы ледникового периода. Вып. I. Спб., 1876, стр. XXIX + 717. С приложением альбома, карт, чертежей и рисунков в особой брошюре. «Записки Русск. Геогр. Общ.», том VII, изданный под редакцией А. Кропоткина и Ив. Пюлякова.

[204] То был Натансон Марк Андреевич (1850—1919) — социалист-народник, член кружка чайковцев. Один из основателей северной народнической группы, из которой впоследствии образовалось об-во «Земля и Воля». Вскоре был арестован и сослан в Вост. Сибирь на 10 лет. Вернувшись в 1890 г. в Европейскую Россию, организовал социалистическую партию «Народного права». В 1894 г. был снова арестован и выслан на 5 лет в Сибирь. Впоследствии был членом партии социалистов-революционеров. При расколе партии в 1917 г. был в числе «левых с.-р.», участвовал в международной конференции в Циммервальде, затем примкнул к коммунистам, умер в 1919 г. в Берне.

Натансон принимал деятельное участие в организации побега П. А. и сопровождал его по Финляндии до посадки на пароход.

[205] Левашев Александр Константинович (род. в 1851 г.) — член кружка чайковцев. Принимал участие в организации побега П. А. (был кучером) и дал ему свой паспорт. По этому паспорту П. А. жил некоторое время за границей. В 1876 г. Левашев уехал добровольцем в Сербию, затем вернулся в Россию.

[206] Петрашевский-Буташевич Михаил Васильевич (1821—1866) — юрист по образованию, глава кружка, члены которого получили по его имени название «петрашевцев». На средства кружка была организована библиотека книг по социальным вопросам и был издан «Карманный словарь иностранных слов», где делались ссылки на Оуэна (Сен-Симона, Фурье и др.). На собраниях кружка говорилось об учении Фурье и др. Был арестован в 1849 г. вместе с другими петрашевцами. 21 человек приговорены к расстрелу. 22 декабря 1849 г. осужденные были привезены на Семеновский плац. По прочтении смертного приговора было объявлено о замене его бессрочной каторгой, и осужденные отправлены в Сибирь. В 1857 г. жил в Иркутске и участвовал в «Иркутских губернских ведомостях». Умер в 1866 г.

[207] Фурьеризм — учение французского социалиста-утописта Фурье.

[208] В начатой осенью 1918 г. статье «Народничество» П. А., между прочим, пишет: «Источники нашего народнического движения, начавшегося в 1871 г., были Интернационал и Коммуна».

[209] «Земля и Воля» — революционная народническая организация, возникла осенью в 1876 г. в Петербурге; ставила своей целью подготовление народного восстания за «землю и волю», ища опоры главным образом в крестьянстве и среди революционно-настроенной интеллигенции.

В 1879 г. «Земля и Воля» распалась на две партии: «Черный передел» и партию «Народная воля». Причиной распадения «Земли и Воли» было разногласие между членами по вопросу о политической борьбе.

Чернопередельцы ставили главной целью пропаганду социалистических идей в народе и организацию крестьянских и рабочих масс для экономической борьбы и восстания. Партия же «Народная воля», не отказываясь ни от одного из требований международного революционного социализма, ставила своей ближайшей задачей «снять с народа подавляющий гнет самодержавия, считая правительство в его современной организации главнейшим врагом народа во всех сферах его деятельности». Народовольцы главное внимание обращали «на политическую борьбу, на заговор против верховной власти с целью захвата ее в свои руки и передачи ее в руки народа» (см. В. Н. Фигнер, «Запечатленный труд», часть I, изд. Политкаторжан, М. 1928).

[210] Ковалик Сергей Филиппович (1846—1926). По окончании университета пошел в мировые судьи, пробовал организовать в Мглинском уезде кружки (Черниговской губ.) для пропаганды среди крестьян. В 1873 г. примкнул к бакунистам, организовал в Петербурге кружок для пропаганды. В 1873 г. уехал за границу, познакомился с Бакуниным, Лавровым и Ткачевым, по возвращении в Россию организовал несколько революционных кружков в Харькове, Нижнем-Новгороде. Был арестован в 1874 г., судился по процессу 193-х и приговорен к каторжным работам на 10 лет. В 1890 г. принимал участие в экспедиции по изучению Якутского края. Умер в Минске в 1926 г.

[211] Кельти Скотт (1840—1922) — известный английский географ, секретарь Лондонского Географического Общества. Главный редактор известного статистического справочника Statesma's Year Book.

[212] Юрская федерация I Интернационала была основана в 1871 г. Получила свое наименование от Юрских гор в Швейцарии, где находился главный центр деятельности этой федерации. Федерация была основана друзьями Бакунина и стояла на платформе федерализма, выступая против Главного совета Интернационала в Лондоне.

[213] Поселившись в Шо-де-Фоне, П. А. для добывания средств к существованию поступил рабочим в одну из местных часовых мастерских и стал изучать часовое ремесло.

[214] Мак-Магон (1808—1893) — французский маршал и политический деятель, участвовал в 1854 г. в Крымской войне и взял приступом Малахов курган. В 1873 г. был выбран президентом республики. Был убежденным монархистом.

[215] Гамбетта Леон (1838—1883) — адвокат, государственный деятель Франции, один из творцов Третьей республики.

[216] Клемансо Жорж (род. в 1841 г.) — французский политический деятель, радикал. Премьер-министр в эпоху империалистической войны, один из творцов Версальского мира.

[217] Реклю Элизе (1830—1905) — географ, анархист-коммунист, автор известных трудов «Всеобщая география — Земля и Люди» — 19 томов, «Земля» — 2 тома, «Человек и Земля» — 6 томов. Свои анархические теории изложил в книге «Эволюция, Революция и анархический идеал». В 1894 г. основал в Брюсселе «Новый Университет», где читал лекции по географии.

[218] Брусс Поль (1845—1912) — французский социалист, врач, в конце 70-х годов был анархистом и членом Юрской федерации, издавал анархическую газету «Авангард», где сотрудничал П. А. Кропоткин. В 1878 г. был арестован, выслан из Швейцарии, переехал в Лондон, где познакомился с Марксом и Энгельсом. Под их влиянием перестал быть анархистом и перешел в лагерь марксистов. В 1880 г. переселился во Францию и основал социалистическую партию с умеренной программой. Эта партия получила название «поссибилистов», или «бруссистов». В 1906 г. вместе с Аллеманом, Гэдом и Жоресом образовал объединенную французскую социалистическую партию. В последние годы был членом парижской городской думы и депутатом в парламенте.

[219] Кафиеро — итальянский анархист, друг и последователь Бакунина, отдал все свое большое состояние на дело революционной пропаганды. На его деньги была куплена вилла Бароната для престарелого Бакунина. Умер в психиатрической больнице в 1883 г.

[220] Малатеста Энрико (1854—1932) — итальянский анархист, сподвижник Бакунина, друг Кропоткина, с которым разошелся впоследствии из-за приятия Кропоткиным войны.

[221] Беневенто — город в Южной Италии, в революционном движении известен тем, что в апреле 1877 г. в его окрестностях революционерами была сделана попытка восстания, причем в нескольких общинах были захвачены архивы и сожжены бумаги. В этой попытке принимали участие Кафиеро и Малатеста. Из русских революционеров в восстании участвовал Степняк (Кравчинский). Восстание известно в истории революционного движения под названием «Беневентского дела».

[222] Жуковский Николай Иванович (1842—1895) — бакунист, эмигрант, член I Интернационала.

[223] Соколов Николай Васильевич — революционер, бывший подполковник, автор книги «Отщепенцы», которая была конфискована и уничтожена цензурой в 1866 г. и против Соколова было возбуждено преследование. После заключения в Петропавловскую крепость Соколов был сослан в 1868 г. в гор. Мезень, откуда он в 1872 г. эмигрировал за границу, жил сначала в Цюрихе, затем в Женеве и Париже. Умер в 1888 г. в Париже.

[224] Курье Поль-Луи (1772—1828) — французский памфлетист, в своих памфлетах защищал крестьян от нападок крестьянства и бичевал полицию.

[225] Прудон Пьер-Жозеф (1809—1865) — французский анархист, крестьянин-самоучка, друг Бакунина и Герцена, выдающийся мыслитель XIX в. Его сочинения охватывают более 40 томов. Главные из них: 1) «Система экономических противоречий», или «Философия нищеты» (это произведение Прудона вызвало жестокую критику Маркса, который написал брошюру «Нищета философии»); 2) «Что такое собственность?» и 3) «Справедливость в революции и в церкви».

Прудон оказал большое влияние на П. А. Кропоткина.

[226] Бернская манифестация 18 марта 1877 г. в память Парижской Коммуны была первой большой манифестацией в Западной Европе после Коммуны. В ней принимало участие до 2000 чел. Во время манифестации произошла борьба манифестантов с полицией, пытавшейся вырвать красное знамя. В результате столкновения было ранено 7 манифестантов и 5 полицейских. Вместе с П. А. Кропоткиным участ-ие в бернской манифестации из русских революционеров принимали: Г. В. Плеханов, Д. А. Клеменц, А. З. Ралли.

[227] Фурье Шарль (1772—1837) — один из представителей французского утопического социализма, одной из форм которого Фурье считал свободные трудовые общины, так называемые фаланстеры.

[228] Девятый конгресс Интернационала в Вервье (Бельгия) состоялся 6—8 сентября 1877 г., а всемирный социалистический конгресс в Генте был 9—15 сентября 1877 г. На этом конгрессе П. А. был избран секретарем. Из наиболее видных

социалистов на конгрессе были: Либкнехт, Цезарь де-Пап, Брусс, Джемс Гильом, А. Коста, Анзеле.

[229] Результатом этого изучения явился целый ряд эскизов и очерков по истории Французской революции, печатавшихся в журналах «La Révolté» и «Les temps nouveaux», а также большой труд П. А.: «Великая французская революция», вышедший в 1909 г. одновременно на трех языках: по-французски — в Париже, по-английски — в Лондоне и по-немецки — в Берлине. Позднее это произведение П. А. было переведено на испанский, итальянский, польский и шведский языки. На русском языке вышло в Лондоне в 1914 г., а в 1917 г. появилось и в России. Об этом труде дали хорошие отзывы известный французский историк Олар и Н. И. Кареев, а также профессор Московского университета Н. М. Лукин. По отзыву В. И. Ленина «Французская революция» П. А. Кропоткина представляет одну из наилучших книг по истории Французской революции. Ленин неоднократно высказывал пожелание, чтобы эта книга была напечатана, по крайней мере, в ста тысячах экземпляров и имелась во всех библиотеках (см. ст. Бонч-Бруевича «Что читал Ленин», «Огонек» № 13, 1926).

[230] Коста Андреа — итальянский революционер, вначале был анархистом и близким другом Бакунина, затем перешел в лагерь социалистов-марксистов. Впоследствии был членом итальянского парламента.

[231] Гед Жюль (1845—1916) — в 70-х гг. был близок к анархизму, организовал вместе с Кропоткиным в Париже рабочие революционные кружки. Вскоре перешел в лагерь марксистов и вместе с Марксом и Энгельсом выработал программу рабочей партии и стал теоретиком марксизма. Его главные сочинения: «Опыты социалистического катехизиса», «Коллективизм и революция», «Общественные службы и социализм». Во время империалистической войны занял оборонческую позицию.

[232] Бланки Огюст (1805—1881) — французский революционер, участник революции 1830—1848 гг. Вечный узник, проведший в тюрьмах 37 лет своей жизни, основатель революционной партии бланкистов, ставивших в основу своей политической программы диктатуру революционной партии, организующей восстание. Партия бланкистов была построена на строгой конспирации и дисциплине ее членов. Освобожденный из тюрьмы революцией 1870 г., он был снова арестован временным республиканским правительством 17 марта 1871 г. (за день до провозглашения Парижской Коммуны). Был приговорен к ссылке в Новую Каледонию, но затем ссылка была заменена пожизненным тюремным заключением. В 1879 г. был освобожден по общей амнистии. Поселился в Париже. Издавал газету «Ни бога, ни хозяина». Написал «Социальную критику», 2 тома, которая издана после его смерти в 1885 г.

[233] П. А. приехал из Парижа в Женеву в конце мая или в начале июня 1878 г. и здесь познакомился с молодой студенткой Женевского университета Софьей Григорьевной Ананьевой-Рабинович. Их знакомство закончилось осенью 1878 г. браком. Об этом факте своей жизни П. А. не упоминает в своих «Записках революционера», и поэтому мы позволяем себе привести выписку из письма П. А. к Полю Робену в Лондон от 1 января 1879 г. П. А. пишет:

«...помимо всех неприятностей, которые принесло мне закрытие «Авангарда», была чисто личная причина, из-за которой я не писал тебе так долго. Я встретился в Женеве с одной русской женщиной, молодой, тихой, доброй, с одним из тех удивительных характеров, которые после суровой молодости становятся еще лучше. Она меня очень полюбила, я ее тоже. Она учится в Берне и приехала провести со мною каникулы...»

Софья Григорьевна родилась в 1856 г. в Киеве, а свое детство до семнадцати лет провела в Томске, куда был сослан ее отец.

В Шо-де-Фоне П. А. поселился в начале февраля 1877 г., что видно из его письма к Полю Робену, члену Интернационала, от 16 февраля 1877 г.

«...Вот я, наконец, и поселился на месяц или два в Шо-де-Фон и, как всегда, нуждаюсь в деньгах...»

Чтобы иметь средства к существованию, П. А. решил научиться часовому мастерству. В письме к тому же Полю Робену от 10 марта 1877 г. П. А. пишет: «...я все еще нахожусь в Шо-де-Фоне, я не ученик, ни мастер... Над моей затеей смеются (часовое мастерство нельзя изучить в два-три месяца...), я много работаю, да притом надо еще находить время писать статьи для наших изданий...»

Вид в Канаде

Рисунок карандашом П. А. Кропоткина, сделанный во время его путешествия по Канаде в 1897 г.

Ночь на море

Рисунок карандашом П. А. Кропоткина

[234] Мышкин Ипполит Никитич (1848—1885) — сын николаевского солдата и крепостной крестьянки, был в школе кантонистов, изучил стенографию, служил стенографом при Московском окружном суде, стенографировал нечаевский процесс. В 1874 г. открыл собственную типографию в Москве, где стал печатать нелегальные книги. В 1875 г. сдал в Сибирь с целью устроить побег с каторги Н. Г. Чернышевскому, был арестован и судился по процессу 193-х, на суде произнес свою знаменитую речь. Был приговорен к каторжным работам на 10 лет, содержался в Новобелгородском централе, пытался бежать, за это было прибавлено еще 15 лет. В 1883 г., закованный в кандалы, был привезен из Сибири в Петропавловскую крепость, а в 1884 г. переведен в Шлиссельбург. 25 декабря 1884 г. бросил тарелкой в тюремного смотрителя в расчете, что за такое «оскорбление действием» он будет подвергнут смертной казни. 26 января 1885 г. Мышкин был расстрелян.

[235] Боголюбов (Емельянов) Алексей Степанович — был арестован и осужден по делу о политической демонстрации на Казанской площади в Петербурге 6 декабря 1876 г. По приказу Трепова был подвергнут телесному наказанию. После выстрела Засулич был увезен из Петербурга в Харьковскую тюрьму, где в 1880 г. сошел с ума.

[236] Бертони Луиджи — швейцарский анархист, друг и последователь П. А. Кропоткина, в настоящее время издает в Женеве анархо-коммунистическую еженедельную газету «Le Réveil» (Пробуждение).

[237] Грав Жан — французский анархист, близкий друг П. А. Кропоткина. После того как П. А. был в 1883 г. заключен в тюрьму на 5 лет, Грав стал редактором газеты «La Révolté». Впоследствии эта газета была переименована в «Les temps nouveaux» (Новые времена), которая выходила без перерыва вплоть до войны 1914 г. Наиболее крупные произведения Грава: «Умирающее общество и анархия», «Будущее общество» (есть русские переводы). В 1930 г. издал свои воспоминания — «Le mouvement libertaire sous 3-me République», Paris, стр. 303.

[238] Процесс «Пятидесяти» — суд происходил 21 февраля 1877 г.; это был первый большой политический процесс в России, где в числе подсудимых среди интеллигентов были фабричные рабочие (в их числе ткач Петр Алексеев, который сказал на суде свою известную речь).

[239] Процесс «Ста девяноста трех» — или «большой процесс» (18 октября 1877 г. — 23 января 1878 г.), один из крупнейших политических процессов в России; число лиц, привлеченных по этому процессу, превышало 2000 человек. При установлении степени виновности число обвиняемых сократилось до 900, а к началу процесса их осталось только 193 (многие умерли в тюрьмах, не дождавшись суда, многим, как П. А. Кропоткину, удалось бежать). (О процессе см. сборн. Базилевского «Государственные преступления в России», том III).

[240] «Долгушинцы» — члены революционного кружка, организованного в 1873 г. Александром Васильевичем Долгушиным. Кружок выпустил три прокламации: «К русскому народу», «Как должно жить по закону природы и правды», «К интеллигентным людям». В 1874 г. Долгушин был арестован и приговорен к каторжным работам на 15 лет. На Каре провел 1882—1883 гг. За содействие побегу Мышкина Д. был отправлен в Петропавловскую крепость и в Шлиссельбург, где и умер. Написал брошюру «Заживо погребенные», рисующую ужасное положение заключенных в центральных каторжных тюрьмах.

[241] Гуковская Виктория Леонтьевна (1864—1881) — родилась в еврейской семье в Одессе. Возмущенная смертным приговором, вынесенным революционеру Ковальскому (см. прим. 242), стала открыто на бульваре в Одессе высказывать свое возмущение; проходивший мимо офицер схватил Гуковскую, но она вырвалась и дала офицеру пощечину; подоспевшая полиция арестовала Гуковскую. Во время суда Гуковской не было еще 15 лет, но тем не менее суд приговорил ее к ссылке в Вост. Сибирь. Заброшенная в далекий край, она не вынесла тяжелых условий и повесилась в 1881 г. в Красноярске.

[242] Ковальский Иван Мартынович (1850—1878) — видный южный бунтарь. При аресте в Одессе 30 января оказал сопротивление. Был расстрелян по приговору военного окружного суда 2 августа 1878 г.

[243] Розовский Осип Исаакович (1861—1880) — был арестован в декабре 1879 г. за то, что у него было найдено несколько прокламаций, в которых говорилось

о покушении на Александра II; несколько этих прокламаций были расклеены гимназистом Родионовым на ст. Ольшанке и Здолбунове Киево-Брестской ж. д. Розовский был предан военному суду и приговорен к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение в Киеве 6 марта 1880 г. Казни Розовского Л. Н. Толстой посвящает несколько страниц в романе «Воскресенье» (полн. издание без пропусков, часть 3, глава VI).

[244] Соловьев Александр Константинович (1846—1879) — революционер; 2 апреля 1879 г. совершил покушение на жизнь Александра II, но неудачно; был схвачен на месте покушения и приговорен к смертной казни. Казнен 28 мая 1879 г. на Смоленском кладбище в Петербурге, в присутствии четырехтысячной толпы

[245] Попытка взрыва Зимнего дворца была предпринята по инициативе Степана Халтурина, рабочего-столяра; с одобрения Исполнительного комитета партии «Народная Воля», Халтурин поступил в Зимний дворец столяром, и ему отвели помещение в нижнем, подвальном, этаже дворца, где помещалась столярная. Халтурин начал носить во дворец в карманах динамит и складывал его в свой сундук, под постелью. Халтурину удалось накопить до трех пудов динамита, 5 февраля 1880 г. он установил сундук между двумя капитальными стенами, приспособил фитиль и вышел из дворца. В 6 час. 20 мин. раздался взрыв, но царь не был убит, так как под в столовой, где обедал царь, устоял от взрыва, погибла лишь стража, находившаяся в комнате под столовой.

[246] Лорис-Меликов М. Т. (1825—1888) — министр внутренних дел, в 1881 г. сообщил М. Е. Салтыкову-Щедрину о постановлении «Священной дружины» убить Кропоткина.

[247] Рысаков Николай Иванович (1861—1881) — революционер, член партии «Народная Воля», участник дела 1 марта 1881 г. По сигналу, данному Перовской, Рысаков бросил бомбу, но эта бомба не причинила Александру II вреда. Рысаков был тут же схвачен; на допросе Рысаков оговорил всех, кого знал, думая этим добиться помилования. Его судили вместе с Перовской, Желябовым, Кибальчичем и Михайловым и, несмотря на его показания, повесили 3 апреля 1881 г. на Семеновском плацу.

[248] Гриневицкий Игнатий Иоахимов (1856—1881) — революционер, член партии «Народная Воля», участник дела 1 марта; после того как бомба Рысакова не убила Александра II, Гриневицкий, по сигналу Перовской, подошел к царю и бросил между царем и собою взрывчатый снаряд. Когда после оглушительного взрыва дым рассеялся, то среди раненых увидали царя, сидевшего на панели, и недалеко от него другого раненого в бессознательном состоянии — это был Гриневицкий; когда его привели в больнице в сознание, то на все вопросы, обращенные к нему, он отвечал «не знаю». После страшных мучений Гриневицкий умер вечером 1 марта 1881 г.

[249] «Священная дружина» — тайное общество реакционеров-монархистов, возникшее летом 1881 г. для активной борьбы с революционерами. В это общество входили великие князья, князь Сан-Донато-Демидов, многие министры, генералы и сыщики. Общество, или «братство», было основано на строгой конспирации, и члены группировались «по пятеркам» и разделялись на высших и низших. Сатирическое описание деятельности «Священной дружины» мы находим у Салтыкова в его «Письмах к тетеньке» (письмо III), где «Священная дружина» выведена под именем: «Общество частной инициативы спасения», а наиболее деятельный член, князь Сан-Донато, фигурирует под именем князя Сан-патре. «Священная дружина» на одном из первых заседаний вынесла три смертных приговора: 1) Льву Гартману, участнику в организации взрыва царского поезда на Курской ж. д. 19 ноября 1879 г., скрывшемуся затем за границу, 2) Анри Рошфору, французскому журналисту, издававшему газету «L'intransigeant», в которой он защищал русских революционеров и нападал на царское правительство, и 3) П. А. Кропоткину, которого великие князья, знавшие П. А. лично, считали одним из главных вдохновителей убийства Александра II. Почему не был приведен в исполнение приговор по отношению к П. А., см. прим. 250.

С целью провокации в Женеву в 1881 г. послан «Священной дружиной» некий Климов, бывший исправник и охранник Александра III в Гатчине. Климову было поручено установить знакомство с Кропоткиным и выведать у него дальнейшие планы революционеров. Для того чтобы войти в революционную среду, Климов стал издавать в Женеве революционную газету «Правда» (вышло 20 номеров), где называл Александра III «тромбонистом», «царем Митрофанушкой» и «намазанным истуканом».

Несмотря на все старания Климова, П. А. не захотел знакомиться с Климовым и сразу почувствовал в нем шпиона, хотя Черкезов был знаком с Климовым и даже сотрудничал в «Правде».

Климов, чтобы оправдать надежды «Священной дружины», в одном из своих писем-донесений писал, что ему, наконец, удалось познакомиться «с самим» Кропоткиным. «Кропоткин, — писал Климов, — мужчина представительный, с черной бородой, вид у него надменный, и революционеры его очень боятся. Он и с ним (Климовым) сначала держал себя свысока и начал было допрашивать: «кто, да откуда, да какой фракции». На что Климов будто бы ответил: «я двенадцать лет не был у священника, — почему я должен перед вами исповедываться?» «Такой гордый ответ, — добавляет Климов, — поразил Кропоткина, и он пожал мою руку и предложил свою дружбу».

Нечего и говорить, что все это была неправда. Климов П. А. никогда не видал и не беседовал. Над ним просто посмеялись эмигранты и познакомили его с мнимым Кропоткиным, который и разыграл свою роль. П. А. в то время ничего не знал об этом водевиле и только удивлялся и недоумевал, почему полиция в циркуляре о розыске наделяет его «черной бородой».

Только впоследствии ему рассказали историю с Климовым, и в своей статье «Поправка к дневнику В. Н. Смельского», члена «Священной дружины», напечатанной в «Голосе минувшего» за 1916 г., П. А. рассказывает об этом факте и прибавляет, что никогда он с Климовым не разговаривал и не был с ним знаком. (См. также статью П. А. Кропоткина «Священная дружина» в газете «Русские ведомости» за 1912 г.).

[250] Приговор «Священной дружины» по отношению к П. А. не был приведен в исполнение только потому, что о готовящемся на него покушении ему было заблаговременно сообщено М. Е. Салтыковым-Щедриным через Лаврова. Узнав об этом, П. А. напечатал в своей газете «Le Révolté» заметку, в которой указывал, что ему известны инициаторы покушения на его жизнь и что имена их будут опубликованы в европейской прессе тотчас же, как только приговор будет приведен в исполнение. Во избежание европейского скандала «Священная дружина» отменила приговор, и русское правительство заставило швейцарское изгнать П. А. из пределов Швейцарии (август 1881 г).

В придворных сферах, где многие хорошо знали П. А. Кропоткина, были убеждены, что он принимал деятельное участие в деле 1 марта. Это убеждение поддерживали в великих князьях шпионы и агенты «Священной дружины»: так, один из них в письме из Парижа сообщил осенью 1882 г., что Кропоткин со своей кликой намерен скоро прибыть в Петербург для цареубийства и вообще для производства террора и что «по прибытии некоторых из них в Петербург в мужицком платье» они предварительно будут собираться для совещания около памятника Петра Первого». (См. об этом дневник генерала Смельского, члена «Священной дружины», напечатанный в журнале «Голос минувшего» 1916 г., № 2).

[251] Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал, один из главных участников Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., был в Париже и хотел завязать сношения с революционерами, с этой целью посылал своего адъютанта к П. А. Лаврову; адъютант передал Лаврову от Скобелева следующее предложение: «Скобелеву крайне нужно повидаться с Петром Лавровичем для переговоров о некоторых важных вопросах. Но в виду своего служебного и общественного положения — Скобелева — ему очень неудобно прибыть лично к Петру Лавровичу... и поэтому он просит Лаврова назначить ему свидание в нейтральном месте, где они могли бы обсудить на свободе все то, что имеет сказать ему Скобелев...» Лавров наотрез отказался от свидания.

[252] Игнатьев Н. П., граф — при его участии была основана «Священная дружина» для борьбы с революцией.

[253] Ферри Жюль (1832—1893) — французский адвокат, государственный деятель, неоднократно был министром, умеренный республиканец.

[254] Анархический конгресс в Лондоне происходил с 14 по 20 июля 1881 г. П. А. был главным докладчиком на конгрессе.

[255] Новикова Ольга Алексеевна, урожд. Киреева, жила долгое время в Лондоне и состояла корреспондентом газеты «Новое время». Была знакома со многими государственными и общественными деятелями Англии, пользовалась большой симпатией Гладстона, и благодаря этому она играла большую политическую роль.

[255] Эгль — местечко во Французской Швейцарии.

[257] Сообщение о смертном приговоре, вынесенном ему «Священной дружиной», П. А. получил через М. Е. Салтыкова-Щедрина, который узнал это, в свою очередь, от Лорис-Меликова. Узнав о готовящемся покушении на Кропоткина, Салтыков-Щедрин поехал в Висбаден и оттуда написал своему близкому другу доктору Белоголовому и Лаврову, прося их уведомить П. А. Кропоткина. Опасаясь, что извещение может запоздать, Салтыков решил лично повидаться с П. А. и отправился в Швейцарию, но в это время П. А. был в Лондоне на анархистском конгрессе; Салтыков еще раз поэтому написал Лаврову, который, в свою очередь, полунамеками сообщил в письме обо всем этом П. А., советуя ему «избегать выходить по вечерам и прогуливаться по пустынным улицам».

[258] Джозеф Арч (1826—1919) — английский политический деятель, был долгое время сельским батраком; путем самообразования приобрел солидные знания, в 1872 г. основал «Национальный союз сельских рабочих». В 1885 г. был избран в парламент, членом которого был до 1900 г.; по политическим убеждениям — «либерал», свою программу он формулировал в словах: «три акра земли и корова каждому крестьянину». Явился в парламент в рабочей блузе, и поэтому в парламенте был поднят вопрос о праве депутатов присутствовать на заседаниях в рабочей блузе. Вопрос был решен положительно.

[259] Генри Джордж (1839—1897) — американский экономист, автор книги «Прогресс и бедность». Генри Джордж видел причину всех экономических бедствий в частной собственности на землю, поэтому он требовал установления единого земельного налога в размере, равном земельной ренте, без вознаграждения владельца, так как, по его мнению, доход от такого земельного налога дал бы государству такую сумму, что можно отменить все прочие налоги и пошлины. «Прогресс и бедность» и другие произведения Джорджа переведены на русский язык С. Д. Николаевым, близким другом Л. Н. Толстого, который разделял идеи Джорджа относительно земельного вопроса.

[260] Бернс Джон (род. в 1858 г.) — английский политический деятель, рабочий, выдающийся оратор, принадлежал к социал-демократической фракции. В 1887 г. играл выдающуюся роль в знаменитом движении безработных, закончившемся «кровавым воскресеньем» в Трафальгарском сквере. В 1892 г. был выбран в парламент. В 1905 г. вошел в состав либерального министерства Кембелль Баннермана, и с этих пор Бернс потерял в рабочих массах свой прежний авторитет.

[261] Чемпион (Champion) — английский социалистический агитатор, был членом социал-демократической федерации, некоторое время издавал еженедельную газету «The Labour Elector».

[262] Кейр-Гарди Джемс (род. в 1856 г.) — английский политический деятель, рабочий-углекоп. В 1893 г. по его инициативе была образована «Независимая рабочая партия», от которой он прошел в парламент.

[263] «Фабианцы» — английские социалисты, члены Фабианского общества, основанного в 1883 г. Вильям Моррисом, Сидней Веббом, Бернаром Шоу и др. Фабианцы ставят целью передачу всех орудий производства в руки государства, но не путем насильственной революции, а мирным и постепенным образом. Свое наименование фабианцы производят от имени римского консула Фабия Кунктатора (Медлителя), который получил это прозвище за свою тактику в войне с Ганнибалом, когда Фабий предпочитал производить постепенное и медленное истощение врага.

[264] Моррис Вильям (1834—1896) — английский поэт, художник, социалист. Познакомившись с П. А. Кропоткиным, стал разделять идеи анархического коммунизма. Под влиянием идей Кропоткина написал известный роман-утопию «Весть ниоткуда», где рисует жизнь анархического общества.

[265] Гайндман Генри (1842—1921) — английский социалист, написал краткое изложение марксизма под заглавием «Англия для всех». В 1881 г. с несколькими друзьями основал «социал-демократическую федерацию».

[266] Судейкин — жандармский полковник, который стал применять провокацию как средство борьбы с революционерами; избрал своим орудием Дегаева (см. след. прим.).

[267] Дегаев Сергей Петрович — бывший член «Народной Воли», ставший предателем, выдавшим целый ряд виднейших деятелей партии «Народная Воля», в том числе и В. Н. Фигнер.

[268] Насколько энергично была поставлена слежка за П. А. Кропоткиным, можно судить по следующему факту: после революции 1918 г. в прусском государственном архиве в Берлине найдено следующее донесение берлинского полицейпрезидента прусскому министру внутренних дел в декабре 1879 г.: «Проживающий в Женеве под именем Левашова вождь нигилистического движения, князь Кропоткин, имел 18-го с. м. свидание в кофейне с одной личностью, уже неоднократно бывавшей в Женеве и замеченной, в сношениях с нигилистами. Последний — небольшого роста, приземистый, сорока с лишком лет, очень чисто одетый, носит бороду и совершенно не похож на нигилиста, а скорее на зажиточного пивовара; он был и этим летом в Женеве в сопровождении своих двух мальчиков (6 и 8 лет). Во время этой беседы, которая велась очень тихо по-русски, Левашов взял лист бумаги, потребовал чернил и стал что-то очень подробно чертить, давая при этом своему собеседнику весьма точные объяснения. При уходе Левашов забыл захватить этот листок, однако тотчас же вернулся назад и стал искать его очень старательно, но безрезультатно, так как листок был уже взят другим» (то есть следившим за Кропоткиным шпионом). На листке оказался начертанным план Петербурга». Этого было достаточно, чтобы заподозрить Кропоткина в том, что он готовит покушение на царя. В архиве имеется целая переписка по этому поводу, и в Петербург было послано донесение о новом подготовляющемся покушении на Александра II.

[269] Газета эта была «Вольное слово», издавал эту газету А. П. Мальшинский, агент «Священной дружины», мистифицировавший публику именем несуществующего «Земского союза». В 1882 г. редактирование газеты принял на себя, не подозревая провокации, М. П. Драгоманов, сделавший ее органом агитации в пользу политической свободы с земским самоуправлением.

[270] Посредником между правительством и революционерами был писатель Н. Я. Николадзе, который и был инициатором идеи переговоров. Николадзе сообщил о желании правительства войти в переговоры с революционерами Н. К. Михайловскому, который отнесся к этому положительно и отправился в Харьков, чтобы сообщить об этом В. Н. Фигнер, бывшей в то время единственным членом Исполнительного комитета на свободе. В. Н. Фигнер сразу же отнеслась к предложению отрицательно и не хотела, чтобы кто бы то ни было из находившихся в России народовольцев вступил в эти переговоры. Но, по настоянию Михайловского, решено было указать Николадзе находившихся за границей членов партии: Льва Тихомирова и Оловенникову, предварительно предупредив их об этом; Николадзе и вел переговоры с Тихомировым.

[271] Буланже (1873—1891) — французский генерал, принимал участие в подавлении Парижской Коммуны 1871 г. Будучи в 1886 г. военным министром, постарался завоевать симпатии солдат и мечтал сделать государственный переворот, который не удался благодаря противодействию радикалов и социалистов.

[272] Монсо-ле-Мин — местечко в департаменте Соны и Луары (центральная Франция), район каменноугольной промышленности. В августе 1882 г. здесь произошли крупные рабочие волнения, которые, по мнению правительства, были вызваны анархистами.

[273] Волнения углекопов в районе Монсо-ле-Мин 1882 г. и вообще жизнь углекопов в этом районе описаны Эмилем Золя в его романе «Жерминаль» (в русском переводе «Углекопы»). В этом романе Золя вывел действующим лицом русского революционера, агитатора Суварина, в котором он первоначально хотел изобразить П. А. Кропоткина, а затем сделал его учеником Бакунина и Кропоткина.

[274] Готье Эмиль (род. 1853 г.) — юрист по образованию, анархист, агитатор и хороший оратор. Вместе с Кропоткиным и Гэдом организовал революционные кружки в Париже; в 1883 г. был осужден вместе с П. А. Кропоткиным на 5 лет тюремного заключения. Был освобожден в августе 1885 г. После освобождения посвятил себя исключительно научным занятиям, писал много популярно-научных статей. Из его книг следует отметить «Le Darvinisme social» (1183); «Les propos anarchistes» (1885); «Les endormeurs» (1885).

[275] Награду за осуждение П. А. получил, вероятно, не только прокурор и судья, но и бывший в то время министр юстиции Дервес. Дервес приезжал в 1888 г. в Россию с рекомендательным письмом И. Ф. Циона к министру Делянову. Цион

писал в письме: «Имею честь представить Вам подателя сего письма, сенатора Девеса, бывшего министра юстиции... Девес хотя и республиканец, но глубокий консерватор. Будучи министром юстиции, он арестовал Кропоткина и приговорил его к пятилетнему заключению...» Цион просит Делянова представить Девеса К. П. Победоносцеву. К сожалению, нам неизвестно, какую награду «за Кропоткина» получил французский министр юстиции от Победоносцева и Александра III.

[276] Краткие сообщения о суде над Кропоткиным были помещены в газетах «Московские ведомости», «Голос» и в журнале «Юридическое обозрение», издававшемся в Тифлисе. В «Юридическом обозрении» дается такая характеристика П. А.: «Кропоткин, лет 45, почти совершенно плешивый, с большой окладистой русо-рыжеватой бородкой. Огромные уши, приподнятые брови и золотые очки придают его лицу выражение более ученого, нежели революционера. Одет он крайне небрежно, чтобы не сказать грязно. При входе его в залу, у него на голове была большая черная шляпа в роде тех, которые носят в Петербурге факельщики на немецких похоронах. Шляпу эту Кропоткин, несмотря на настояние своего соседа-городового, отказывался снять вплоть до входа суда».

В «Московских ведомостях», в статье о Лионском процессе, между прочим, говорится: «Глава интернационалки князь Кропоткин приговорен Лионским судом к пятилетнему тюремному заключению... Но, будучи лишен возможности руководить шайкой международных разбойников, Кропоткин тем не менее продолжает быть душою всех анархистических шаек».

[277] Пьер Мартэн — рабочий, ткач, анархист; впоследствии стал издавать в Париже анархическую газету «Libertaire».

[278] О развращающем влиянии тюрем на заключенных и вообще о взглядах П. А. Кропоткина на наказание см. книгу «В русских и французских тюрьмах», русский перевод в издании т-ва «Знание» (Спб. 1906, стр. 242) и брошюру на французском языке «Les prisons». О наказании вообще см. брошюру П. А. «Узаконенная месть, именуемая правосудием». Эта брошюра представляет собою доклад, который должен был бы быть прочитан П. А. на международном анархическом конгрессе 1900 г. в Париже. (Конгресс не был разрешен). Об этой статье был очень высокого мнения Л. Н. Толстой.

[279] Клерво — центральная французская тюрьма, устроенная в бывшем монастыре, основанном в 1184 г. св. Бернаром.

[280] Требование радикальных слоев французского общества освобождения П. А. Кропоткина вызвало злобные нападки в среде русских монархистов. Примером этого может служить статья «Поклонники Кропоткина» в газете «Московские ведомости», № 100 за 1883 г., и статья «По поводу помилования Кропоткина» в газете «Новое время», № 3289, 1885 г.

[281] Спенсер Герберт — знаменитый английский философ.

[282] Суинбери Чарльз (1837—1909) — известный английский поэт, радикал.

[283] Гюго Виктор (1802—1887) — знаменитый французский поэт и романист, борец против политического гнета.

[284] Ренан Эрнест (1823—1892) — французский писатель и историк, автор знаменитой книги «Жизнь Иисуса».

[285] Во время пребывания П. А. в Клерво его посетил знаменитый французский астроном Камилл Фламмарион, а известный бельгийский экономист, автор книги «Современный социализм», Эмиль Лавеле, написал П. А. письмо, в котором просил кратко изложить систему анархизма. В ответ на это П. А. написал Лавеле в 1883 г. большое письмо об анархизме, объемом не менее трех печатных листов (до сих пор в печати не появилось).

[286] Крафт-Эбинг Рихард (1840—1902) — известный немецкий психиатр, профессор в Страсбурге, Граце и Вене.

[287] Книга «В русских и французских тюрьмах» составилась из статей, написанных П. А. в 1883—1884 гг., как ответ некоему английскому священнику Ландсделлю, который ездил в Сибирь и одобрительно отзывался о русских тюрьмах. Ландсделль превосходно охарактеризован Л. Н. Толстым в его романе «Воскресение». Книга П. А. Кропоткина о тюрьмах вместе со статьями Степняка-Кравчинского послужила причиной поездки в Россию Кеннана.

[288] Рошфор Анри (1831—1913) — французский публицист, издававший ежедневные газеты «Фонарь» и «L'intransigeant»; за участие в Парижской Коммуне был сослан в Новую Каледонию, откуда ему удалось бежать. По своим убеждениям не был социалистом, но радикалом. Был в хороших отношениях с П. А. Кропоткиным, Луизой Мишель. Впоследствии перешел в лагерь «националистов и умеренных».

[289] В 1933 г. в сборн. «Звенья» № 2 напечатана интересная дипломатическая переписка по делу Кропоткина между Петербургом и Парижем. Среди напечатанных документов имеется донесение барона Моренгейма, русского посла во Франции, министр. дел Гирсу. В этом донесении Моренгейм сообщает свою беседу с французским премьером Фрейсинэ относительно освобождения Кропоткина.

[290] Реклю Элн (1827—1904) — старший брат Элизе Реклю, философ и этнолог, принимал участие в Парижской Коммуне, о которой написал книгу «Коммуна изо дня в день». Главный его труд — лекции по сравнительной мифологии, читанные в Новом Брюссельском университете. Сотрудничал в русских радикальных журналах 70-х годов: «Дело» и «Русское слово».

[291] Вальян Мари-Эдуард (1840—1919) — французский социалист-бланкист, член Интернационала и участник Парижской Коммуны. При вступлении версальцев в Париж бежал в Лондон, где сделался членом Главного совета Интернационала.

[292] Лекция П. А. состоялась 28 февраля 1886 г. в Париже, в зале Левис (в рабочем квартале Батиньоль). Эта лекция затем была издана отдельной брошюрой под заглавием «Анархия и ее место в социалистической эволюции». Брошюра выдержала на французском языке четыре издания и была переведена на английский, португальский, голландский, греческий, болгарский, испанский и итальянский языки. На русском языке была издана в 1907 и 1917 гг.

[293] Кропоткин А. А. в последние годы своей ссылки жил в Томске. Ему было строжайше запрещено вести какую бы то ни было переписку с П. А. Не надеясь вырваться из цепких рук царского правительства и сознавая, что вся его научная деятельность разбита, А. А. покончил с собою выстрелом из револьвера 25 июля вечером 1886 г., предварительно отправив свою семью к родным в Европейскую Россию. (Некролог о его смерти был напечатан в газете «Восточное обозрение», № 34, Спб. 21 августа 1886 г.).

[294] «Хлеб и воля», или «Завоевание хлеба» — вышло первоначально по-французски в 1892 г. В эту книгу вошли следующие статьи П. А. из «La Révolté»: I. Наши богатства. II. Довольство для всех. III. Анархический коммунизм. IV. Экспроприация. V. Жизненные припасы. VI. Жилища. VII. Одежда. VIII. Пути и средства достижения. IX. Потребности, составляющие роскошь. X. Привлекательный труд. XI. Свободное соглашение. XII. Наемный труд в коллективистическом обществе. XIII. Потребление и производство. XIV. Разделение труда. XV. Децентрализация промышленности. XVI. Сельское хозяйство. «Завоевание хлеба» переведено на все культурные языки мира. В России было издано несколько раз. Последнее русское издание — «Голос труда», 1920 г. — снабжено предисловием П. А., датированным «г. Дмитров, июнь 1919 г.».

[295] «Поля, фабрики и мастерские» — составилась из ряда статей, написанных П. А. по-английски и печатавшихся в журнале «Nineteenth Century»; отдельным изданием вышла в Бостоне в 1899 г., а затем в Лондоне. Книга переведена на французский, немецкий, испанский и итальянский языки. По-русски вышла с цензурными пропусками в 1903 г., в изд. «Посредника», без фамилии автора, затем вышло новое просмотренное П. А. издание в 1918 г. и в 1921 г. Книга состоит из следующих глав: I. Децентрализация промышленности. II. Возможности земледелия. III. Мелкое производство и промышленные поселения. IV. Умственный труд и ручной. Последняя глава была несколько переработана П. А. и вышла в 1918 г. отдельной брошюрой под заглавием «Труд умственный и физический, к чему и как его прилагать».

[296] Гексли Томас-Генри (1825—1895) — зоолог, английский естествоиспытатель, друг Дарвина и Спенсера. Много лет вел научные обзоры в журнале «Nineteenth Century». Когда в 1892 г. он заболел и отказался от этой работы, то редактор журнала Ноульз, по совету Гексли и Спенсера, предложил П. А. Кропоткину быть заместителем Гексли. П. А. выполнял эту работу до конца 1901 г., когда болезнь сердца заставила его отказаться.

[297] Кесслер Карл Федорович (1815—1881) — зоолог, русский естествоиспытатель; был профессором в Киеве, затем в Петербурге; инициатор устройства периодических съездов естествоиспытателей. Первый из натуралистов высказал идею о том, что в мире живых существ на ряду с законом борьбы за существование есть и другой закон — взаимной помощи.

[298] Ноульз Джемс (1831—1908) — английский либеральный издатель, друг поэта Теннисона и философа Спенсера, Гексли и Рескина. Большой почитатель и друг П. А. Кропоткина. Он пригласил П. А. сотрудничать в издававшемся им научном журнале «Девятнадцатый век» (Nineteenth Century).

[299] Бэтс Генри-Вальтер (1825—1892) — английский естествоиспытатель и путешественник. Вместе с Уоллесом исследовал Амазонку. О своих путешествиях и исследованиях написал книгу «Натуралист на Амазонке».

[300] «Взаимная помощь как фактор эволюции» вышла по-английски в 1902 г. Исследования П. А. Кропоткина о взаимной помощи среди животных и людей печатались сперва в английском журнале «Nineteenth Century». Французский перевод вышел в 1906 г. По-русски первоначально была издана Ореховым в 1904 г. под заглавием «Взаимопомощь среди животных и людей» с цензурными урезками и фамилия автора была заменена П. Кр—ин. В 1906 г. книга вышла в издании т-ва «Знание», но была арестована. В 1917—1921 гг. была переиздана в Москве и Харькове. Последнее издание «Голос труда» было корректировано П. А. незадолго до его смерти. В архиве П. А. Кропоткина имеется много материалов по вопросу о взаимной помощи в мире животных. Эти материалы П. А. намеревался обработать и издать отдельным прибавлением к «Взаимной помощи».

[301] «Государство и его роль в истории» вошло как глава в книгу «Современная наука и анархия» и, кроме того, вышло отдельной брошюрой, переведенной на многие языки.

[302] Лекция «Справедливость и нравственность» была переведена П. А. на русский язык в Дмитрове в 1918 г. и вышла по-русски отдельной брошюрой в 1921 г. в изд. «Голос труда».

[303] Болезнь в конце 1901 и 1904 гг., а затем русская революция 1905 г. и работа над большими произведениями: «Великая французская революция» и «Современная наука и анархия» — все это заставило П. А. отложить разработку «Этики». Затем события 1914—1917 гг., война и революция отвлекали его от этой темы. Лишь в 1918 г., поселившись в глухом Дмитрове, П. А. снова вернулся к своим работам в области морали и приступил к описанию книги по этике. Это произведение должно было состоять из двух томов: первая часть — «Происхождение и развитие нравственности» и вторая часть — «Основы нравственности».

П. А. успел написать, и то не в окончательном виде, лишь первый том «Этики». Для второго же тома им было написано лишь несколько отрывков и набросков. Первый том «Этики» вышел по-русски в издательстве «Голос труда», 1922, 8, стр. 263, под редакцией и с послесловием Н. К. Лебедева. Материалы и фрагменты для второго тома «Этики» в настоящее время подготовляются к печати.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН

А

Авогадро 80, 328
Аврелий, Марк 69
Адлерберг, А. В. 99, 329
Аксаков, И. С. 72, 89, 114, 327
Аксельрод, П. Б. 339
Алеев, М. 29
Александра Иосифовна, вел. кн. 153
Александр I 39
Александр II 77, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 108, 109, 110, 115, 117, 118, 119, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 161, 162, 182, 190, 192, 193, 204, 211, 215, 224, 229, 232, 244, 269, 270, 277, 278, 279, 280, 282, 286, 329, 335, 338, 346, 349
Александр III 100, 101, 153, 157, 267, 268, 280, 281, 286, 309, 346, 350
Александров, В. 221, 239
Алексеев, О. Г. 339
Алексеев, Петр 128, 345
Алексей Михайлович, царь 11
Алексей, царевич 211
Аллеман, Жан 343
Альбарасин 258
Альфонс XII 270
Амберни, адвокат 173
Ананьева-Рабинович, С. Г. см. Кропоткина, С. Г.
Андреев 133
Андрие 281, 282, 286, 306
Анзеле 344
Анна Иоанновна 204
Анна Павловна (королева Нидерландская) 68
Анненков, петербургский обер-полицеймейстер 106
Аносов, Н. М. 339
Антокольский, М. М. 266, 268
Антонова, М. 336
Аракчеев, А. А. 13
Армфельд, Н. А. 164, 324, 325, 336, 339
Арч, Джозеф 283, 348

Б

Бавери 91
Базилевский, В. В. 345
Байрон, Д.-Г. 14
Бакунин, М. А. VIII, X, XIII, 86, 89, 108, 111, 177, 178, 211, 221, 246, 252, 254, 257, 262, 319, 328, 329, 330, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 349
Барбот де Марни, Н. П. 203, 333, 340
Баренц, Вильгельм 145, 333
Бастиан, Адольф 137
Батенбергский, принц болгарский 285
Батюшкова, В. Н. 195, 324, 332, 336, 339
Бебель, Август 252
Беккер, Иоганн 252
Беккер, преподаватель 60, 61, 79
Белинский, В. Г. 329
Белоголовый 348
Белоха 63, 64
Беляев, И. Д. 89, 214, 328
Бер, Поль 265
Берви-Флеровский, В. В. 187, 339
Берг, А. С. 156, 334
Бернар, Клод 80, 328
Бернар, рабочий 291
Берис, Джон 284, 313, 348
Бертони, Луиджи 272, 345
Бестужев 87, 230
Бетховен, Л. 266
Бирон 204
Бланки, Огюст 232, 264, 344
Богданович, Ю. Н. 339
Боголюбов (Емельянов), А. С. 269, 335, 345
Богородский 223, 234
Бозио, Анжелика 83, 328
Бокль, Г. Т. 198, 340
Бонифаций VIII 71, 78
Бонч-Бруевич, В. Д. 342
Бородин 202
Бревери фон, Ф. К. 75
Брусс, Поль 256, 270, 271, 343
Буксгевден 128, 129

Буланже 287, 349
Бунины 326
Бурман 10, 14, 15
Бутков, В. П. 126, 331
Бэтс, Генри 318, 352

В

Ваганов 128
Вагин 137
Валуев, П. А. 90, 117, 329
Вальян, М.-Э. 309, 351
Варлэн, Евгений 175, 176, 337
Васильев 133
Васильчиков 56
Вейерштрассе 161
Веймар, О. Э. 232, 242, 243, 339
Вейпрехт 147, 333
Вейсман 70, 327
Велепольский 108
Веневитинов, Д. В. 67
Вернадский, В. И. 334
Вернер, рабочий 258, 263
Виардо, П. 268
Виклиф 191
Вильгельм I 281
Вильд, Г. И. 333
Вильям, М. 83, 328
Винклер, П. П. 54, 60, 62
Владимир Александрович, вел. кн 153, 281, 285
Воейков, А. И. 333
Войнаральский, П. И. 197, 203, 204, 234, 247, 340
Волконский, кн. 33
Волконский 89
Волохов, Марк 184
Волховской, Ф. В. 331, 339
Вольтер, Ф.-М. 69, 327
Вюрц 295

Г

Гагарин, И. А. 21, 326
Гагарин, И. С. 25, 326
Гагарина, П. А. 11, 324, 326
Гайндман, Генри 284, 313, 340, 348
Галифэ, Г. 175, 176, 337
Гальтон 70
Гамалея, фрейлина 78
Гамбетта, Леон 253, 342
Ганц, учитель 65, 66
Гарибальди, Д. 89, 328
Гамов, Н. И. 339
Гартман, Л. Н. 346
Гартунг, ген. 46
Ге, Н. Н. 232
Гегель, Г.-В. 330
Гед, Жюль 264, 343, 344, 349
Гёдель, рабочий 270
Геккель, Эрнест 144
Гексли, Т.-Г. 317, 351
Гельмгольц, Г. П. 80, 328
Гельмерсен, Г. Б. 147, 334
Генрих V 253
Герард, физик 80, 328
Герцен, А. И. 50, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 100, 108, 112, 155, 257, 278, 323, 326, 328, 329, 330, 331, 337, 343
Герциг 271, 272, 273
Гете, Вольфганг 69
Гильден, астроном 219, 312
Гильом, Джемс VIII, XIII, 168, 175, 178, 250, 252, 254, 255, 258, 263, 271, 330, 337, 338, 344
Гирс, Н. К. 351
Гладстон, Вильям 347
Говоруха 231
Гоголь, Н. В. 50, 52, 323
Гольденберг, Лазарь 221, 339, 341
Гольденберг, Гр. 328
Гомер 62
Гончаров, И. А. 184
Горчакова, А. М., кн. 270
Госсе, Л. Л. 106
Готье, Эмиль 288, 291, 294, 349
Грав, Жан 274, 290, 345
Грибоедов, А. С. 50
Грибоедов, Н. А. 339
Григорович, Д. В. 45, 86, 268
Гриневицкий, И. И. 280, 346
Грове 80, 327
Грубер, В. Л. 160, 335
Грэви 349
Гуковская, В. Л. 276, 345
Гумбольт, А. 63, 103, 142, 327
Гюго, Виктор 295, 350

Д

Даву 32
Дадешкилиани 113
Дарвин, Чарльз 69, 70, 80, 317, 318, 325, 327, 351
Девес 348
Дегаев, С. П. 285, 348, 349, 350
Дейч, Л. Г. 335
Декарт VII, 192
Делеклюз, Шарль 176, 337
Делянов 349, 350
Де-Пап, Цезарь 344
Джордж, Генри 284, 348
Джоуль, Д. 80, 327
Диккенс, Чарльз 182, 224, 300
Дистервег 141
Доде, Альфонс 50, 265
Докучаев, В. В. 334
Долгорукая, княжна 90, 96, 151, 278
Долгушин, А. В. 345
Донауров 62, 63, 103
Достоевский, Ф. М. 86, 211
Драгоманов, М. П. 349
Друцкая, В. Д. 87

Друцкая, Е. П. 87, 164, 324
Друцкой, Д. С. см. Мирский, Д. С.
Дреппер, Д. В. 198, 199, 238, 340
Дурново, ген. 24, 324, 335
Дурново (Ефрон), Елизавета Петровна 164, 335
Дюма, Александр, 50
Дюмартре 271, 272, 273, 274
Дюпон, Пьер 166, 336

Е

Екатерина II 21
Екатерина Михайловна, вел. кн. 279
Елена Павловна, вел. кн. 88, 100, 280
Елисеев, Г. З. 155
Ефрон, Яков 324

Ж

Жадо, бланкист 258
Жданов 109
Желтухин 54, 76
Желябов, А. И. 338, 339, 346
Жирардот 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75
Жорес, Жак 343
Жуковский, Н. И. 173, 257, 337, 343
Жюль Верн 248

З

Завадовская 324
Загоскин, Н. Н. 16, 50
Загоскин, С. Н. 16, 17
Замыцкие 80
Засулич, В. И. 152, 246, 254, 269, 270, 335, 345
Золя, Эмиль 265, 349
Зубок-Моклевский 339
Зюсс, Эдуард 332, 333

И

Иванчин-Писарев, А. И. 336
Игнатьев, Н. П. 97, 126, 281, 286, 287, 303, 329, 347
Иннокентий, митрополит 120, 331
Иоанн Грозный 11, 215
Иогансен 147
Ишутин, Н. А. 157, 335

К

Кабэ, Этьен 170, 336
Кавелин, К. Д. 100, 329
Каляев, И. П. 335
Кант, Иммануил 56
Каракозов, Д. В. 151, 157, 158, 159, 211, 331, 335
Карандино, Е. М., см. Кропоткина, Е. М.
Кареев, Н. И. 344
Карльсен 147
Карно, Лазарь 327
Катков, М. Н. 108, 117, 158, 161, 189, 278, 281, 282, 329
Кафиэро, Карл 257, 302, 343
Каховский, П. Г. 87
Квятковский 339
Кейр-Гарди, Джемс 284, 348
Кельти, Скотт 249, 342
Кеннан, Джордж 118, 164, 325, 331, 350
Кесслер, К. Ф. 317, 352
Кибальчич, Н. И. 338, 346
Киреева, см. Новикова О. А.
Классовский, В. И. 60, 62, 103, 104, 326
Клазнус 80, 327
Клемансо, Жорж 253, 300, 342
Клеменц, Д. А. 186, 190, 199, 201, 203, 206, 221, 222, 250, 338, 339, 343
Климов, П. А. 346, 347
Клод Бернар 80, 328
Клюгенау 62
Клячко, С. Л. 336, 339
Ковалевская, С. В. 161, 335
Ковалик, С. Ф. 247, 342
Ковальский, И. М. 276, 277, 345
Ковригин, П. Н. 331
Козлов, П. К. 145
Колоткевич, Н. Н. 339
Комиссаров, О. 158
Конради 132
Константин Николаевич, вел. кн. 68, 98, 99, 100, 108, 157, 158, 335
Константин Павлович, вел. кн. 88, 328
Коншин, А. Н. 317
Корниловы сестры А. И., Л. И. и В. И. 187, 194, 195, 222, 338, 339
Корсаков, М. С. 104, 107, 111, 132, 330
Корсаков, коменд. Петропавл. креп. 207, 208
Корф, Н. А. 163, 335
Корш 141
Коста, Андреа 264, 344
Костомаров, Н. И. 99, 329
Костюрин, В. Ф. 339
Коуэн, Джозеф 282, 287, 314
Кравченко, Н. П. 327
Кравченко, Елена А., см. Кропоткина, Е. А.
Кравчинский, С. М. (Степняк) 164, 172, 188, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 222, 250, 281, 311, 325, 331, 336, 339, 340, 343, 350
Крафт-Эбинг, Рихард 298, 350
Крестовский, В. 156, 336
Кропотка, Дмитрий Васильевич 325
Кропоткин, Александр Алексеевич 10, 11, 14, 15, 20, 22, 30, 33, 34, 37, 38, 50, 51, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 110, 125, 140, 141, 163, 164, 180, 216, 217, 219, 220, 223,

228, 229, 244, 286, 311, 312, 313, 326, 329, 341, 351
Кропоткин, Алексей Петрович 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 53, 164
Кропоткин, Дмитрий Николаевич 90, 229, 277, 328
Кропоткин, Димитрий Петрович 11
Кропоткин, Иван 11
Кропоткин, Николай Алексеевич, 10, 15, 22, 34, 48, 326
Кропоткин, Петр Алексеевич (автор) VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV; детство 9—38; поступление в гимназию 39; пажеский корпус 49—66, 75—81, 84—86, 93—98; первые литературные опыты 51, 53, 66; переписка с братом А. А. 66—71; производство в офицеры 109; жизнь в Сибири 110—113, плавание по Амуру 119—137; путешествие по Манчжурии 128—132; экспедиция по р. Сунгари 132—135; исследование Саян 135; Витимско-Олекминская экспедиция 135—136; университет 141; работа в Географическом обществе 143; путешествие по Финляндии и Швеции 147—150; первая поездка в Швейцарию 165; кружок Чайковского 187; пропаганда среди петербургских рабочих 198—200; арест 203; в Петропавловской крепости 211; побег 238—244; первые годы эмиграции 245—250; работа в Юрской федерации 251—262; издание «Le Révolté» 271; изгнание из Швейцарии 282; арест во Франции 289; суд в Лионе 289—291; заключение в тюрьму Клерво 293; освобождение 309; переезд в Англию 311; литературная и ораторская деятельность в Англии 316—319; примечания 323—352
Кропоткин, Петр Николаевич 116, 326
Кропоткина, Александра Петровна 313
Кропоткина, Екатерина Николаевна 10, 13, 14, 71
Кропоткина (Кравченко), Елена Алексеевна 10, 15, 17, 24, 31, 44, 51, 69, 196, 222, 228, 229, 237, 244, 311, 325, 326, 327
Кропоткина, Елена Петровна 326
Кропоткина, Елизавета Марковна 13, 15, 20, 21, 30, 31, 41, 42, 45, 53, 163, 325, 326
Кропоткина, Полина Алексеевна 31, 40, 163, 164, 326
Кропоткина, Софья Григорьевна 265, 275, 282, 283, 285, 288, 289, 295, 297, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 343
Круглов, Герасим 45, 46
Круикшенк 300
Кувшинская, А. Д. 194, 199, 339, 340
Кукель, Б. К. 111, 112, 113, 117, 126, 330
Куприянов, М. В. 125, 221, 339
Курочкин, В. С. 155, 156
Курье, Поль Луи 257, 343
Кювье, Жорж 265

Л

Лавеле, Эмиль 350
Лавров, П. Л. 67, 154, 217, 220, 221 222, 229, 248, 249, 265, 266, 268, 326, 339, 341, 342, 347, 348
Лаврова, С. Н. 162, 169, 241, 335, 336
Лазаревский, А. 326
Ламарк, Максимилиан 219
Ламартин, Альфонс-Мари-Луи 14
Ламенэ, Фелисите 198
Ланганс, М. Р. 339
Ланселль 350
Лаплас, Пьер 71, 327
Лассаль, Фердинанд 187, 198, 336
Лебедев, Н. К. 352
Лебедева, Т. И. 197, 336, 338, 339, 340
Лебедевы 197, 325
Левашев, А. К. 245, 341
Левашев, см. Кропоткин, П. А.
Лейкин, Н. А. 155
Ленин IX, XIV, 344
Ленц 79
Леонтьев 329
Лермонтов, М. Ю. 50, 67
Лермонтов, Ф. Н. 339
Лесгафт, П. С. 335
Лефрансэ, Густав 176, 256, 275, 338, 341
Либкнехт, Вильгельм 252, 343
Ливингстон, 195
Лизогуб, Д. А. 339
Линней, 327
Литке, Ф. П. 333
Лойола, Игнатий 54
Ломброзо, Цезарь 235, 298, 300
Ломоносов, М. В. 146
Лопатин Герман А. 339
Лоренц 78
Лорис-Меликов, М. Т. 204, 278, 279, 281, 311, 340, 346, 348
Лошкарев 152
Лукашевич, А. О. 339
Лукин, Н. М. 344
Лурье, С. Г. 339
Людерс 108
Людовик XI 215
Людовик XIV 58, 215
Людовик XV 215
Людовик XVI—X, 151, 215, 279
Лютер, Мартин 327
Лютке 146
Лядова 156
Льюис 213, 214

М

Маак, Р. К. 103, 320
Магницкий, преподаватель 39
Майер 327
Майков, А. Н. 150, 334
Мак-Магон 253, 254, 274, 342
Макар, крепостной 23, 41, 42
Малатеста, Энрико 257, 305, 343
Маликов 330
Малиновский 121, 123
Малон, Бенуа 175, 176, 337
Мальшинский, А. П. 283, 349
Мария Александровна, жена Александра II 21, 60, 99, 100, 153, 278, 279, 320
Мария Федоровна, жена Александра III 155
Маркович 330
Маркс, Карл VII, VIII, IX, X, XI, XIII, 174, 187, 199, 251, 330, 337, 343, 344
Мартен, Пьер 292, 298, 350
Масловский 234
Мезенцев, Н. В. 204, 269, 277, 331, 335, 340
Мейер, Лотар 80, 328
Меланхтон 327
Меллер 334
Меликов, А. К. 331
Менделеев, Д. И. 80, 328
Менэбир, М. А. 327, 334
Миклуха-Маклай, Н. Н. 144, 333
Милютин, Д. А. 151, 334
Милютин, Н. А. 90, 100, 115, 116, 117, 126, 151, 329
Милль, Джон Стюарт 198, 199, 216, 340
Минаев, Д. И. 155
Миних, Б. Ч. 211
Мирабо, Оноре 35
Мирский, Д. С., кн. Друцкой 25, 26, 87, 326
Михаил Павлович, вел. кн. 12, 43, 44, 99, 104, 107
Михайлов, А. И. 338, 339, 346
Михайлов, М. И. 113, 154, 330, 331
Михайловский, Н. К. 155, 349
Мишель, Луиза 176, 308, 309, 310, 311, 338, 351
Мишле, Жюль 69
Молешотт, Якоб 80, 328
Монкаси, Олива 270
Моренгейм, А. П. 351
Мороз 338
Морозов, Н. А. 325, 336, 339
Морис, Вильям 83, 284, 315, 348
Мост, Иоганн 213, 284, 340
Мошинский, П. Н. 135
Муравьев Амурский, Н. Н. 111, 113, 117, 119, 120, 133, 151, 330
Муравьев-Апостол 87
Муравьев, М. Н. (вешатель) 92, 116, 117, 155, 158, 331
Мусин-Пушкин, Н. И. 87
Мышкин, И. 267, 345

Н

Назимов В. И. 89, 326
Назимова 20, 21
Наполеон I 31, 32, 88
Наполеон III 89, 108, 114, 151, 309
Натансон, М. А. 339, 341
Невенгловский 39
Некрасов, Н. А. 50, 67, 86, 155, 185
Нестеров 66
Нечаев, С. 187, 211, 213, 337
Низовкин, провокатор 201, 202, 340
Николадзе Н. Я. 349
Николаев 39
Николай I 11, 12, 15, 20, 21, 22, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 55, 68, 99, 151, 166, 204, 330
Николай Александрович, вел. кн. 60, 158, 329
Николай Николаевич, вел. кн. 99, 231, 232, 329
Нис 89
Нобилинг 270
Новикова, О. А. 282, 347
Новицкий 233, 234, 235
Норденшильд Эрик 146, 147, 333
Ноульз Джемс 318, 351, 352
Ньюланде 80, 328

О

Ободовская, А. Я. 338, 339
Огарев, Н. П. 82, 86
Озеров 104
Олива 270
Оловенников 349
Оляр 344
Остен-Сакен, Ф. Р. 148, 151
Островский, А. Н. 54, 86, 128
Оуэн, Роберт 167, 262, 263, 319, 336, 342

П

Павел I 100, 101, 280
Павлов, А. П. 332
Павлов, Н. М. 51
Пайер 147, 333
Пальмерстон, Генри Джон 47
Пан де, Цезарь 343
Пантелеев, Л. 335
Паскевич, И. Ф. 12
Пассананте 270
Певцов 145
Педашенко, К. Н. 112, 125
Пэдж, Вальтер 4
Педуссо 264

Перовская, С. Л. 187, 188, 194, 195, 201, 222, 338, 339, 346
Пестель, П. И. 87
Петерман, Август 143, 333
Петр I 7, 204, 211, 215
Петрашевский-Буташевич, М. В. 246, 342
Петрушевский 80
Пири, Роберт 86, 146, 333
Писарев, Д. И. 154, 211, 223
Платонова 230
Плеханов, Г. В. 335, 343
Победоносцев, К. П. 329, 330, 350
Поза 232
Поляков, И. С. 135, 203, 206, 207, 224, 228, 234, 332, 341
Попов, И. И. 326, 331
Попов-Вениаминов, И. Е. см. Иннокентий
Потанин, Григорий Николаевич 330
Потапов 152, 153
Пржевальский Н. М. 144, 145, 248, 249, 333
Прохоров 139
Прудон, Пьер-Жозеф VIII, IX, X, XI, 257, 262, 330, 343
Пуль 196
Пулэн, М. 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
Пумпелли, Рафаэль 137, 332
Путята 326
Пушкин, А. С. 50, 58
Пэдж, Вальтер 4, 141, 248
Пэнди 175, 176, 256, 258, 337
Пятковский 155, 156
Пятницкий 156

Р

Радлов, акад. 338
Ралли, А. З. 343
Расин, Жан 19
Реклю, Поль 265
Реклю, Эли 309, 310, 351
Реклю Элизе 176, 255, 256, 261, 274, 275, 282, 289, 301, 303, 305, 307, 310, 316, 317, 329, 343, 351
Ренан, Эрнест 295, 350
Репнинский, ген. 34
Риго, Рауль 176, 337
Ринке 258, 263
Риттер, Карл 103, 148, 329, 359
Робен, Поль 344
Робеспьер, Максимилиан 255
Роборовский 145
Рогачев, Д. М. 196, 197, 325, 331, 339
Родионов 346
Розовский, О. И. 277, 345, 346
Рос, Арман см. Сажин, М. Б.
Россель 172
Рошфор, Анри 300, 346, 351
Рулье, К. Ф. 69, 327
Рухлов, М. В. 135
Рыкачев, М. А. 333
Рылеев, К. Ф. 14, 50, 87, 211, 234
Рымаренко 335
Рысаков Н. И. 279, 280, 338, 346
Рюрик 11

С

Сабашниковы 334
Саблин, Н. А. 339
Сабуров, Адриан 159
Савахины 149
Савельев, А. 93
Савич, А. Н. 219, 312, 341
Садовский, провокатор 19, 20
Сажин, М. П. 166, 336, 339
Салиас де-Турнемир, Е. В. (Евгения Тур) 50, 222, 323, 324
Салтыков-Щедрин, М. Е. XII, 155, 346, 347, 348
Сан Донато Демидов 346
Сансо 283, 285
Свечин 19, 283, 339
Севастьянов 57, 58
Северцов, Н. А. 143, 317, 333
Сеген, Марк 80, 328
Сей, Жан Батист 70
Семенов-Тяньшанский, П. П. 141, 333
Семенова, Е. С. 11, 319, 324, 326, 336, 342
Сен-Симон, Клод-Анри 263
Сервет, М. 69, 327
Сергеевич 214
Сергей Александрович, вел. кн. 153, 335
Сердюков, А. И. 198, 202, 231, 338, 339, 340
Серно-Соловьевич Н. А. 335
Серро 306
Сеченов, И. М. 237
Сидоров, М. К. 145, 333
Сидней, Вебб 348
Синегуб С. С. 194, 199, 201, 339, 340
Сирин, Ефрем 68
Скобелев, М. Д. 281, 347
Смельский, В. Н. 347
Смецкая, Н. Н. 166, 336
Смирнов 221, 222
Смирнов Н. П. 15, 18, 31, 35, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 323
Соколов, Н. В. 221, 222, 257, 343
Соловьев, А. К. 278, 346
Соловьев, С. М. 11, 214
Сорокина 38
Спенсер, Герберт 70, 141, 170, 183, 248, 262, 295, 310, 327, 338, 350, 351
Станкевич, Н. В. 329, 330
Стасова, Н. В. 163, 335
Стасюлевич, М. М. 99, 214, 329
Степняк (см. Кравчинский)
Стэнли 195
Суварин 349
Суворов, А. В. 106, 107

Судейкин, жанд. полк. 285, 348
Суинбери, Чарльз 295, 350
Сулима 70
Сулима, Иван 326
Сулима, Н. С. 11, 12, 15, 326
Сухонин 60
Сю, Евгений 213, 215

Т

Телейран, Шарль-Морис 274
Танфильев, Г. И. 334
Тараканова 211, 227
Тейш 170, 335
Теккерей 182
Тимофеев 15, 43, 62
Тимофеева 18
Тиндаль, Джон 80, 328
Тихомиров, Л. А. XII, XIII, 188, 233, 222, 329, 339, 341, 349
Токарев 152
Ткачев 342
Толль 147
Толмачев, И. С. 35, 36
Толмачева, К. 36, 37
Толмачевы 149
Толстой А. К. 50, 67
Толстой, Д. 285
Толстой, Л. Н. 86, 136, 188, 233, 325, 346, 350
Толстой, Федор 35
Трепов, Ф. Ф. 97, 151, 152, 153, 158, 254, 269, 270, 329, 335, 345
Тубо 311
Тургенев, И. С. 38, 45, 50, 67, 68, 83, 86, 87, 89, 96, 155, 156, 182, 184, 185, 189, 265, 266, 267, 268, 335, 338
Тьер, Луи 166, 167, 172, 306, 336
Тьери, Огюстен 214

У

Уашбери, посланник, 100
Уоллес, А. Р. 135, 352
Усольцев Ф. 132, 134
Утин, Н. И. 171, 173, 174, 335, 337
Ушинский, К. Д. 100, 329

Ф

Фанелли 178
Федченко, А. П. 144, 333
Федченко, Ольга 144
Ферре 172, 258
Ферри, Жюль 282, 347
Фигнер, Е. Н. 336
Фигнер, В. Н. 336, 339, 342, 349
Фламмарион, Камилл 350
Флери 151
Флобер 265, 266
Фогт, Карл 80, 328
Франжоли, А. А. 339
Фрейсине 309, 351
Фроленко, М. Ф. 336, 339
Фрост 331
Фурье, Шарль IX, 262, 263, 319, 336, 342, 343

Х

Халтурин, Степан 346
Хвощинская, Н. Д. 156, 335
Хольден 219, 312

Ц

Цакни 324, 339
Целинский 139
Цион, И. Ф. 329, 349, 350

Ч

Чайковский, Н. В. 118, 164, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 198, 201, 205, 221, 311, 324, 331, 338, 339
Чайковский, С. О. 335
Чарухин 79
Чарушин, Н. А. 188, 199, 222, 339, 340
Чемпион 284, 313, 348
Черкасов 214
Черкасский 115, 116
Черкезов 346
Чернышевский, Н. Г. 89, 90, 109, 126, 150, 154, 185, 211, 213, 223, 246, 286, 328, 340, 345
Черняев, М. Г. 132
Чигарев 54
Чичерин, Б. Н. 48
Чэмпион 284

Ш

Шамбор 253
Шанявский, А. Л. 112, 330
Шарамович 139
Шатриан, Александр 200
Шауф фон 56
Шаховской 57
Шварц, Людвиг 126, 141, 142, 332
Швицгебель Адемар 177, 255, 271, 337, 338
Шевченко, Т. Г. 211
Шекспир, Вильям 54, 62, 183
Шелгунов, Н. В. 330
Шиллер, Фридрих 39, 62
Шиллинг 146, 333
Шиманский, А. 336
Шишко, Л. Э. 190, 199, 339

Шишмарев, консул 132
Шлейснер, О. А. 338, 339
Шлоссер, Фридрих 214
Шмидт, Ф. Б. 147, 202, 333, 334
Шоу, Бернар 348
Шпильгаген, Фридрих 198, 346
Шпихигер, анархист 255, 258, 271, 337
Штекгардт, 80
Штиллер 143
Штирнер IX
Шубин 235, 236, 237
Шувалов П. А. XII, 97, 151, 152, 153, 158, 329
Шульгин, И. П. 81, 328
Шумский, актер 19

Щ

Щапов, Афанасий Прокофьевич 330
Щепкин, М. С. 19, 20

Э

Эберт, учитель 64, 274
Эльслер Фанни 18, 19
Энгельс, Фридрих VIII, IX, X, XI, XIII, 170, 174, 251, 336, 343, 344
Эркман, Эмиль 200

Ю

Юрьевская-Долгорукая, см. кн. Долгорукая

Я

Ядринцев, Н. М. 112, 330
Яржинский, Ф. Ф. 333

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Петр Алексеевич Кропоткин (1906 г.). С фотографии Надара . . . Фронтиспис
2. Дом, в котором родился П. А. Кропоткин, в Москве. В настоящее время в этом доме находится Музей Кропоткина (Кропоткинский пер., 26) . . . . . 6—7
3. Петр Николаевич Кропоткин, дед П. А. Кропоткина. С портрета крепостного художника. (Из собрания Музея Кропоткина в Москве) 10—11
4. Прасковья Алексеевна Кропоткина, урожд. Гагарина, бабка П. А. Кропоткина. С портрета крепостного художника. (Из собрания Музея Кропоткина в Москве) . . . . . 16—17
5. Николай Семенович Сулима, дед П. А. Кропоткина со стороны матери. С портрета работы Герарда Доу 1817 г. (Из собрания Музея Кропоткина в Москве) . . . . . 20—21
6. Екатерина Николаевна Кропоткина, мать П. А. Кропоткина. Автопортрет, акварель . . . . . 28—29
7. Алексей Петрович Кропоткин, отец П. А. Кропоткина. (Из собрания Музея Кропоткина в Москве) . . . . . 32—33
8. П. А. Кропоткин в возрасте 4-х лет. С акварели, рисованной матерью П. А. Кропоткина . . . . . 36—37
9. Детский рисунок П. А. Кропоткина 1854 г. На рисунке позднейшая приписка П. А.: «моя комната в новом доме» . . . . . 44—45
10. Титульная страница детского рукописного журнала П. А. Кропоткина «Временник». (С оригинала, хранящегося в Музее Кропоткина в Москве) . . . . . 52—53
11. Факсимиле страницы детского рукописного журнала «Временник» . . —
12. Пажеский корпус в Петербурге, где учился П. А. Кропоткин. (Снимок с гравюры первой половины XIX в.) . . . . . 60—61
13. Петр Алексеевич Кропоткин. (С фотографии 1861 г.) . . . . . 64—65
14. Александр Алексеевич Кропоткин, старший брат П. А. Кропоткина. (С фотографии 1861 г.) . . . . . 80—81
15. Пожар Апраксинского рынка в Петербурге в 1862 г. (С гравюры того времени) . . . . . 112—113
16. По Амуру в почтовой лодке. Рисунок карандашом П. А. Кропоткина 128—129
17. Путешествие П. А. Кропоткина по Амуру. Рисунок карандашом П. А. Кропоткина . . . . . —
18. Титульная страница доклада П. А. Кропоткина о полярной экспедиции, в котором П. А. Кропоткин говорит, что к северу от Новой Земли должен существовать архипелаг островов . . . . . 152—153
19. П. А. Кропоткин в каземате Петропавловской крепости. Рисунок карандашом П. А. Кропоткина. Оригинал находится в Музее Кропоткина в Москве) . . . . . 212—213
20. П. А. Кропоткин в камере Дома предварительного заключения. Рисунок карандашом П. А. Кропоткина, рисованный в камере в 1876 г. (Оригинал находится в Музее Кропоткина в Москве) . . . . 220—221
21. Рисунок карандашом П. А. Кропоткина, на котором он изображает себя за решотчатым окном в госпитальной тюрьме весной 1876 г. . 24

22. Набросок побега П. А. Кропоткина. Рисунок карандашом П. А. Кропоткина. (Из собрания Музея Кропоткина в Москве) . . . . . 242—243
23. Сбрасывание халата при побеге. Рисунок П. А. Кропоткина . . . . 244—245
24. «Побег». Набросок П. А. Кропоткина . . . . . —
25. Орест Эдуардович Веймар, главный организатор побега П. А. Кропоткина из Николаевского военного госпиталя . . . . . 248—249
26. Берега Англии. Рисунок П. А. Кропоткина . . . . . 252—253
27. Вид в Швейцарии. Рисунок П. А. Кропоткина . . . . . —
28. Локарно. Рисунок карандашом П. А. Кропоткина. (Из собрания Музея Кропоткина в Москве) . . . . . 254—255
29. Вид в Швейцарии. Рисунок карандашом П. А. Кропоткина . . . . —
30. Факсимиле страницы газеты «Le Révolté», издававшейся П. А. Кропоткиным в Швейцарии . . . . . 274—275
31. Старый мост в Англии. Рисунок П. А. Кропоткина . . . . . 278—279
32. Афиша — «протест против казни первомартовцев». Афиша была составлена и напечатана П. А. Кропоткиным в Женеве в апреле 1881 г. 282—283
33. С. Г. Кропоткина, жена П. А. Кропоткина. (С фотографии 1878 г.) . 286—287
34. Общий вид тюрьмы Клерво во Франции, где был заключен П. А. Кропоткин (1883—1886). Собственноручный рисунок П. А. Кропоткина. (Из собрания П. А. Кропоткина в Москве) . . . . . 292—293
35. Камера П. А. Кропоткина в тюрьме Клерво. Рисунок П. А. Кропоткина. (Из собрания Музея Кропоткина в Москве) . . . . . —
36. П. А. Кропоткин дает урок своим товарищам рабочим в тюрьме Клерво. Рисунок П. А. Кропоткина . . . . . 296—297
37. П. А. Кропоткин во время пребывания в тюрьме Клерво 1883—1886 гг. Офорт английского художника . . . . . 300—301
38. «Остров Робинзон». Собственноручный рисунок П. А. Кропоткина 1889 г. . . . . 304—305
39. Дочь П. А. Кропоткина Саша. Набросок карандашом П. А. Кропоткина. —
40. П. А. Кропоткин. Рисунок Е. С. Кругликовой. Париж. 1907 г. . . . 312—313
41. Старая мельница в Бретани. Рисунок П. А. Кропоткина . . . . . 320—321
42. План квартала, где находится дом, в котором родился П. А. Кропоткин. 324
43. П. А. Кропоткин. Статуэтка работы скульптора Цейтлина (1906 г.) 330—331
44. П. А. Кропоткин в своем рабочем кабинете в Англии . . . . . 336—337
45. П. А. Кропоткин у входа в свою квартиру в Лондоне . . . . . 340—341
46. Вид в Канаде. Рисунок карандашом П. А. Кропоткина, сделанный во время путешествия по Канаде в 1897 г. . . . . 344—345
47. Ночь на море. Рисунок карандашом П. А. Кропоткина . . . . . —

СОДЕРЖАНИЕ

П. Парадизов. — Предисловие VII
От редактора XV

ЗАПИСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Предисловие автора к первому русскому изданию 3

Часть первая

Детство

I. Старая Конюшенная 7
II. Смерть матери 10
III. Род Кропоткиных. — Отец. — Мать. . . . . —
IV. Мадам Бурман. — Ульяна. — Пулэн. — Изучение французского языка и древней истории. — Воскресные развлечения. — Страсть к театру . . 14
V. Бал в честь Николая I. — Назначение в пажи 20
VI. Нравы старого барства. — Крепостные слуги. — Типы старой Конюшенной 22
VII. Наказы бурмистрам. — Доставка живности. — Переезд в Никольское. — Долгие сборы. — Пулэн объясняет подвиги наполеоновской армии. — Военные упражнения. — Пробуждение демократического духа. — Наши соседи 26
VIII. Крепостное право. — Махар. — Браки по приказу. — Андрей-портной. — Сдача в солдаты. — Горничная Поля. — Саша-доктор. — Герасим Круглов. — Как Маша получила вольную 38
IX. Крымская война. — Смерть Николая I 47
X. Благотворное влияние студентов-учителей. — Н. П. Смирнов. — Проявление литературных наклонностей. — Первые литературные опыты. — «Временник» 49

Пажеский корпус

I. Поступление в корпус. — Экзамены. — Полковник Жирардот. — Порядок и нравы корпуса 53
II. Отражение в пажеском корпусе пробуждения России. — Преподаватели 59
III. Переписка с Сашей. — Его увлечение философией и политической экономией. — Религия. — Великое разочарование. — Тайные свидания с братом 66
IV. Ярмарка в Никольском. — Первая статистическая работа. — Поездка с «Козлом». — Белая харчевня 72
V. Бурное время в корпусе. — Похороны императрицы Александры Федоровны 75
VI. Занятия в пажеском корпусе. — Изучение физики, химии, математики. — Часы досуга. — Итальянская опера 78
VII. Лагерная жизнь в Петергофе. — Практические занятия в поле. — Совет воспитателям 84
VIII. Распространение революционных идей. — Отмена крепостного права. — Важные последствия освобождения крестьян 86
IX. Жизнь при Дворе. — Система шпионства во дворце. — Александр II. — Мария Александровна. — Великие князья 94

Сибирь

I. Выбор полка. — Пожар Апраксина двора. — Начало реакции. — Производство в офицеры. — Отъезд в Сибирь 102
II. Иркутск. — Генерал Кукель. — Реформационная деятельность. — Волна реакции 110
III. Польское восстание. — Гибельные последствия для поляков и для русских. — Реакция в Сибири. — Конец реформам 113
IV. Присоединение Амурского края. — Плавание по Амуру. — Первые опыты на сплаве. — Тайфун. — Командировка в Петербург 119
V. Возвращение в Иркутск. — Путешествие по Манчжурии. — Перевал через Хинчан. — Открытие вулканической области Уюн — Холдонзи . . . 127
VI. Плавание по Сунгари. — Гирин. — Приятели-китайцы. — Исследование Западных Саян. — Олекминско-Витимская экспедиция. — Уроки, вынесенные из Сибири 132
VII. Восстание ссыльных поляков на кругобайкальской дороге. — Усмирение. — Выход в отставку 137

Петербург. Первая поездка за границу

I. Поступление в университет. — Поправки к орографии и картографии Северной Азии 141
II. Русское Географическое общество. — Русские путешественники того времени: Северцов, Миклуха-Маклай, Федченко, Пржевальский. — Проект полярной экспедиции. — Геологические исследования в Финляндии . . 143
III. Цель жизни. — Отказ от предложения занять место секретаря Географического общества 148
IV. Положение дел в Петербурге. — Двойственность натуры Александра II. — Продажность администрации. — Препятствия распространению народного образования 150
V. Перемены к худшему в петербургском обществе. — Результаты реакции. — Покушение Каракозова. — Пытали ли Каракозова? — Трагическая борьба молодежи 154
VI. Высшее женское образование. — Стремление женской молодежи к науке. — Причины успеха 160
VII. Смерть отца. — Новые веяния в Старой Конюшенной 163
VIII. Первая поездка за границу. — Пребывание в Цюрихе. — Интернационал. — Социалистическая литература. — Женевские вожди и политиканы 165
IX. У юрских рабочих часового дела. — Начало анархизма. — Невшательские друзья. — Коммунары-эмигранты 174
X. Влияние Бакунина. — Социалистическая программа 178
XI. Краков. — Переговоры с контрабандистами. — Перевозка книг через границу 180
XII. Нигилизм. — Его презрение к условностям, его правдивость. — Движение в «народ» 182
XIII. Кружок «чайковцев». — Дмитрий, Сергей, Софья Перовская, Чайковский . 186
XIV. Политические и социалистические течения. — Александр II и революционеры 188
XV. Видные деятели кружка «чайковцев». — Дружба с Кравчинским. — Его «хождение в народ». — Успешная пропаганда среди рабочих 193
XVI. Аресты. — Клеменц в положении «нелегального». — Мой арест. — Допрос. — Прокурор-лгун. — Заключение в Петропавловской крепости . . 201

Часть вторая

Петропавловская крепость. Побег

I. Петропавловская крепость. — Мой каземат. — Страдания от вынужденной бездеятельности. — Приезд брата. — Разрешение продолжать научные занятия 211

II. Научная работа в крепости. — Изучение истории России 224
III. Прогулка в тюремном дворе. — Арест брата. — Месть Третьего отделения 225
IV. Перестукивание заключенных. — Неожиданный визит брата царя — Николая Николаевича 230
V. Результаты тюремного заключения. — Допросы в следственной комиссии. — Перевод в Николаевский военный госпиталь. — Побег. — На английском пароходе 232

Западная Европа

I. В Эдинбурге и в Лондоне. — Сотрудничество в «Nature» и в «Times». — Отъезд в Швейцарию 245
II. Интернационал и немецкая социал-демократия. — Развитие Интернационала во Франции, в Испании и в Италии 250
III. Юрская федерация и ее деятели: Гильом, Швицгебель, Шпихигер, Элизе Реклю, Лефрансэ и другие 254
IV. Пребывание в Шо-де-Фоне. — Воспрещение красного знамени в Швейцарии. — Новый общественный строй 258
V. Борьба между анархизмом и социал-демократией. — Изгнание из Бельгии. — Пребывание в Швейцарии. — Возрождение социализма во Франции 263
VI. Мое знакомство с Тургеневым. — Его влияние на русскую молодежь. — Тургенев и нигилизм. — Базаров. — Мое знакомство с Антокольским . 265
VII. Рост недовольства в России после русско-турецкой войны. — Процесс «ста девяноста трех». — Покушение на Трепова. — Четыре покушения на коронованных лиц. — Мы основываем «Le Révolté». — Чем должен быть социалистический журнал. — Денежные и технические затруднения . . 269
VIII. Революционное движение в России принимает более серьезный характер. — Покушения на Александра II, устроенные Исполнительным Комитетом партии «Народной Воли». — Смерть Александра II 275
IX. Основание «священной дружины» для борьбы с революционерами и для защиты императора. — Предполагавшиеся убийства революционеров. — Меня изгоняют из Швейцарии 280
X. Переезд в Лондон. — Год в Лондоне. — Застой в Англии 283
XI. Отъезд из Лондона во Францию. — Жизнь в Тононе. — Шпионы. — Договор Игнатьева с Исполнительным Комитетом 285
XII. Франция в 1881—1882 гг. — Страдания рабочих в Лионе. — Взрыв в кафэ Бельжур. — Мой арест. — Суд в Лионе 287
XIII. Лионская тюрьма. — Пагубное влияние тюрем с общественной точки зрения. — В Центральной тюрьме Клерво. — Занятия заключенных. — Печальное положение старых арестантов. — Тюремные будни. — Деморализующее влияние тюрем 292
XIV. Мои столкновения с тайной полицией. — Забавное донесение тайного агента. — Разоблаченные шпионы. — Мнимый барон. — Последствия шпионства 301
XV. «Грабеж» Луизы Мишель. — Освобождение из тюрьмы. — Париж. — Эли Реклю. — Переезд в Англию. — Жизнь в Харро. — Научные труды моего брата Александра. — Смерть брата 308
XVI. Социалистическое движение в Англии в 1886 г. — Его характер . . . 313
XVII. Мое участие в английском социалистическом движении. — Литературная работа. — Формула «борьба за существование», дополненная естественным законом «взаимной помощи». — Великое распространение социалистических идей 315

Примечания 321
Указатель личных имен 353
Перечень иллюстраций 361

LATVIJAS PSR ZINĀTŅU AKADĒMIJA BIBLIOTĒKA 1524

Редактор В. И. Невский.
Художественная редакция
М. П. Соколникова
Техн. ред. Г. Л. Гилес.

*

Сдана в набор 21/VII 1932 г.
Подписано к печати 10/IX
1933 г. Тираж 10.300. Уполномоч. Главлита № Б-24094.
Индекс А-1. Изд. № 78.
Бумага 74×105 в 1/16. Печ.
л. 23+37 вкладок. Бумаж.
л. 11,5 по 100000 знаков.

*

Отпечатано во 2-й типогр.
ОНТИ им. Евг. Соколовой.
Ленинград, Пр. Красных
Командиров, 29.

*

Цена Р. 13.

Переплет Р. 3.